А.Ф. Вельтман

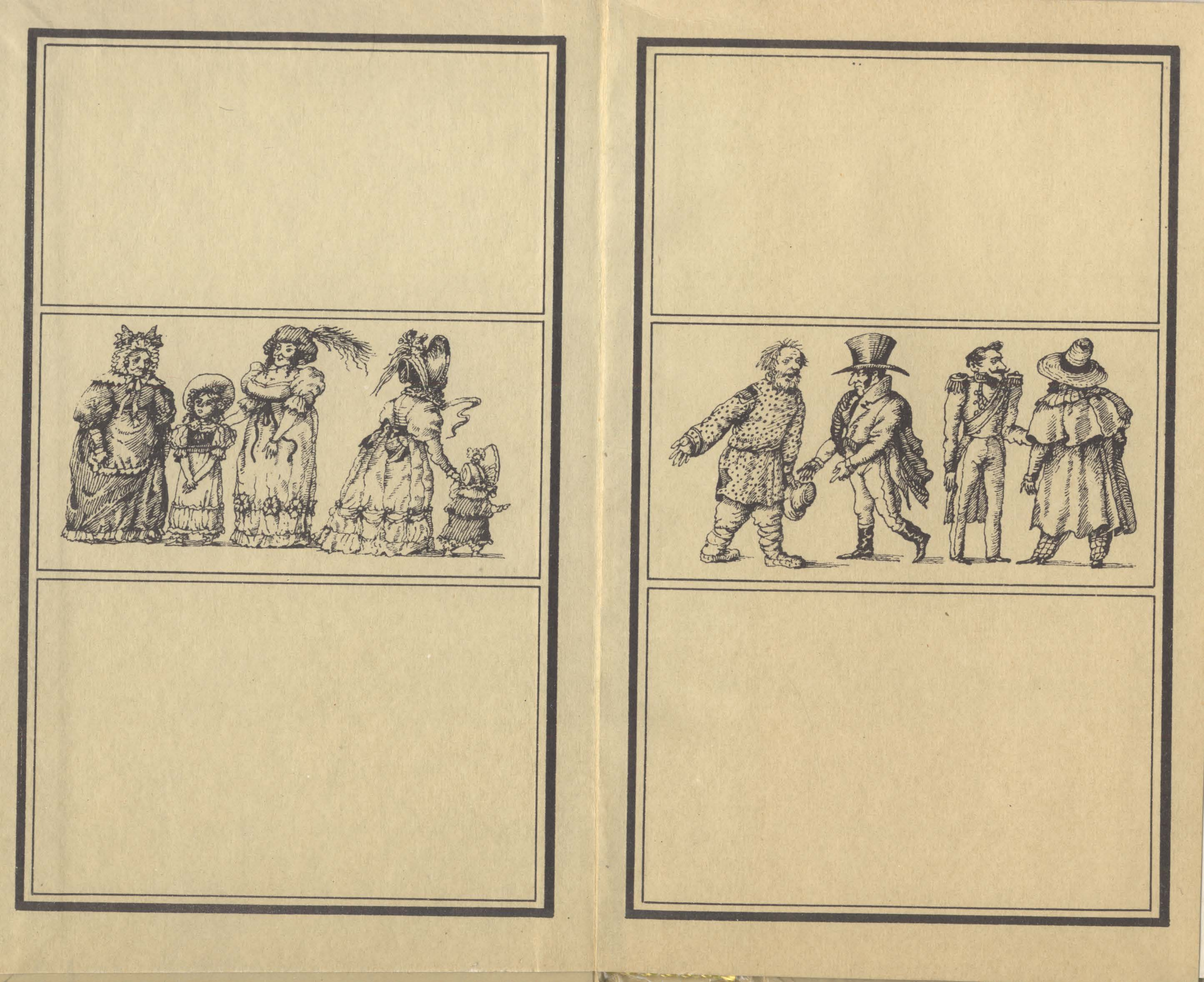


А.Ф. Вельтман

ИЗБРАННОЕ







А.Ф.Вельтман



А. Ф. Вельтман

ИЗБРАННОЕ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

*Составление,
вступительная статья
В. И. Калугина*

*Примечания
В. И. Калугина и А. Б. Иванова*

*Иллюстрации и оформление
Н. М. Костиной, А. Л. Костина.*

В $\frac{4702010100-1854}{080(02)-89}$ 1854 — 89



Были и небыли Александра Вельтмана

«Теперь Вельтман забыт, но в свое время он был популярнейшим из беллетристов, произведения которого ждали с нетерпением и встречали с шумными приветствиями появление их в печати. Читатели и критика выделяли Вельтмана из толпы беллетристов наряду с Марлинским, Загоскиным, Лажечниковым, видя в них чуть только не классиков русской прозы»,— писал известный советский литературовед В. Ф. Переверзев в 1937 году. «Ныне имя А. Ф. Вельтмана забыто настолько основательно, что даже в больших курсах по истории русской литературы оно упоминается лишь вскользь»,— отмечали современные исследователи В. А. Кошелев и А. В. Чернов в 1986 году. Но стоит нам ознакомиться с критическими отзывами середины или конца прошлого, начала нашего века, и мы встретим почти те же самые слова о «всеми забытом» Вельтмане.

И дело здесь, конечно же, не в повторах, а в устоявшихся мнениях, которые действительно переживают века и обладают поразительной жизнеспособностью. Литературная судьба Александра Вельтмана в этом отношении, пожалуй, наиболее характерна. Еще при жизни он попал в число «забытых», и ничто, даже такое значительное произведение, как «Приключения, почерпнутые из моря житейского», созданное в 1840—1860 годы, не смогло вырвать его из небытия. История, казалось бы, вынесла свой приговор — окончательный, обжалованию не подлежащий. И этот приговор сохранял свою магическую силу более столетия. Только сейчас мы уже поостережемся причислить Вельтмана к забытым авторам, а если и назовем таковым, то с неизменной оговоркой, что он принадлежит «к числу писателей, прославившихся при жизни, забытых последующими поколениями и вновь возвращающихся на литературную авансцену, чтобы уже обрести полное признание». Так писал в 1977 году Ю. М. Акутин, благодаря которому во многом и произошло «возвращение» Александра Фомича Вельтмана.

Впрочем, произошло оно одновременно с подобным же «возвращением» и Марлинского, и Загоскина, и Лажечникова, и многих

других писателей прошлого, книги которых стали выходить в разных издательствах страны массовыми тиражами. Так что в данном случае мы имеем дело с одним из характернейших явлений именно нашего времени, нашего постижения и восприятия культурного наследия. Издание сборников литературно-критических и эстетических работ И. В. Киреевского, Аполлона Григорьева, братьев Аксаковых, А. В. Дружинина, Н. Н. Страхова, а также возвращение из небытия писателей, считавшихся навек забытыми, принадлежащими ко второму или к третьему ряду,— это результат исторического подхода к литературному наследию, результат осознания необходимости изучения не только первых, но и всех последующих «рядов», входящих в число неизменных составных русской культуры, без которых не было бы и ее высочайших достижений.

Творческое наследие Вельтмана обширно, в 30—60-е годы он издал пятнадцать романов и два сборника повестей. Особое место в его творчестве занимают романы «Кощей бессмертный» и «Светославич, вражий питомец», а также повесть «Райна, королевна Болгарская», стоящие у истоков русской исторической романистики, наиболее значимые как в художественном, так и в историко-культурном отношении.

«Кощей бессмертный» вышел в 1833 году, «Светославич, вражий питомец» — в 1835-м, в годы появления целой вереницы русских исторических романов, повестей, драм. Ни до, ни после мы уже не встретим такой картины, когда в течение одного десятилетия — с 1826 по 1836 год — появились: «Борис Годунов» и «Капитанская дочка» А. С. Пушкина (1826, 1836), «Юрий Милославский» и «Аскольдова могила» М. Н. Загоскина (1829, 1833), «Дмитрий Самозванец» и «Мазепа» Ф. В. Булгарина (1830, 1834), «Клятва при гробе господнем» Н. А. Полевого (1832), «Последний новик» и «Ледяной дом» И. И. Лажечникова (1832, 1835), «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя (1835), исторические произведения Н. В. Кукольника, К. П. Массальского, П. П. Свиньина и других, менее известных беллетристов.

Естественно, и раньше русские писатели обращались к отечественной истории: «Марфа Посадница» Н. М. Карамзина создана в 1802 году, а исторические драмы М. М. Хераскова и В. А. Озерова тоже предшествовали пушкинскому «Борису Годунову». Известно, какое значение приобрела история в поэзии и публицистике декабристов, став «вернейшим средством привития народу сильной привязанности к родине» (К. Ф. Рылеев), но историческая романистика появилась именно в пушкинские времена — это факт неоспоримый. Появилась одновременно с переводами романов великого шотландского исторического романиста Вальтера Скотта, по праву считающегося родоначальником этого литературного жанра, оказавшего огромное влияние на многих европейских, в том числе и русских писателей. Это тоже общеизвестно. И все-таки дело не во внешних влияниях, не в прямых или косвенных заимствованиях литературных форм, беллетристических приемов (здесь пальма первенства действительно принадлежит Вальтеру Скотту), а в общих законах развития всемирной литературы, воплощенных в Англии — Вальтером Скоттом, в Америке — Фенимором Купером, во Франции — Жорж Санд, Стендалем, Мериме, Виктором Гюго, а в России — Пушкиным, Гоголем, Вельтманом, Лажечниковым, Загоскиным, Полевым и даже... Фаддеем Булгариным, поскольку в литературе тоже есть свои моцарты и свои сальери.

Литература каждой нации должна была рано или поздно «открыть Америку» своей собственной истории, обрести тем самым не-

обходимую почву для развития национальных форм. В России это сделал Карамзин. Не просто историк, но и крупнейший поэт своего времени. Когда Пушкин говорил: «история народа принадлежит поэту», он имел в виду и Карамзина, и Рылеева, и себя, и многих других современников-поэтов, пытавшихся осмыслить исторические судьбы России.

При этом русская история зачастую считалась недостойной «роскошной жатвы» (Н. И. Надеждин) для исторического романиста. П. П. Свиньин, например, писал в предисловии к своему историческому роману «Шемякин суд, или Междоусобие князей русских» (1832): История русская с первого взгляда представляет богатые источники, разительные картины для искусного пера писателя; но сам Вальтер Скотт затруднился бы в выборе оных для обработки по строгим правилам романтизма, ибо не нашел бы главного — любви».

По строгих правил романтизма, любви в русской истории, быть может, действительно было маловато. Тем не менее В. Г. Белинский отмечал, ссылаясь на романы Вельтмана: «Русская история есть неистощимый источник для романиста и драматика; многие думают напротив, но и это потому, что они не понимают русской жизни и меряют ее немецким аршином... Да что говорить о романистах, когда и историки наши ищут в русской истории приложений к идеям Гизо и европейской цивилизации и первый период меряют норманским футом вместо русского аршина!.. Боже мой, а какие эпохи, какие лица! Да их стало бы нескольким Шекспирам и Вальтер Скоттам. Вот период до Ярослава — этот период сказочный и полусказочный. Г-н Вельтман *первый* намекнул, *как* должна пользоваться им фантазия поэта».

30-е годы — время журнальных баталий вокруг этого нового литературного жанра исторической романистики, отголоски которых мы ощущаем и поныне всякий раз, когда писатель обращается к истории. И каждый из романистов неизменно клялся своей верности истории. Это делали и Погодин, и Загоскин, и Лажечников, и Нестор Кукольник, вполне убежденный, что в пресловутой драме «Рука Всевышнего отечество спасла» (1834) он дает «другое направление литературе», по его убеждению, более «прочное и значительное», чем пушкинское. Да и Фаддей Булгарин в своем «Дмитрии Самозванце», созданном как антитеза пушкинскому «Борису Годунову», уверял читателей: «Все современные главные происшествия изображены мною верно, и я позволил себе вводить вымыслы там только, где история молчит или представляет одни сомнения. Но и в этом случае я руководствовался преданиями и разными повествованиями о сей необыкновенной эпохе. Все исторические лица старался я изобразить точно в таком виде, как их представляет история.

И чем клятвеннее звучали подобные заверения, тем чудовищнее выглядели фальсификации истории. Чудовищнее именно потому, что читатель не подозревал о подмене, а кукольники и булгарины были (да и остаются) в достаточной мере мастеровиты, чтобы заставить верить в свои «вымыслы».

Но если рассматривать исторические произведения Вельтмана только на этом фоне идейной борьбы за историческую достоверность, то они вполне могут попасть в разряд исторически недостоверных. Не потому, что действительно являются таковыми, а потому, что не укладываются в привычные представления об исторической романистике. Как, впрочем, и все его творчество в соотнесе-

нии с любым литературным явлением 20—30-х, 40—50-х или же 60-х годов, будь то романтизм, основные черты которого сохранили почти все его произведения, или же «натуральная школа», критический реализм. В этом отношении В. Г. Белинский, пожалуй, наиболее точно определил и место, и значение Вельтмана в истории русской литературы, и основную причину, почему он «выпал» из нее. «Талант Вельтмана,— писал он в 1836 году,— самобытен и оригинален в высочайшей степени, он никому не подражает, и ему никто не может подражать. Он создал себе какой-то особенный, ни для кого не доступный мир, его взгляд и его слог тоже принадлежат одному ему».

Но любое литературное явление, пусть даже абсолютно оригинальное, не существует изолированно, само по себе, вне историко-литературного контекста своего (и не только своего) времени. Значит, надо попытаться найти более точные его временные или жанровые координаты, выявить ошибку в их определении.

Уже традиционно принято причислять романы «Кощей бессмертный» и «Светославич, вражий питомец» к историческим, предъявляя к ним и все соответствующие требования этого литературного жанра. Так было в прошлом столетии, когда Шевырев, Погодин и другие историки указывали Вельтману на исторические несоответствия в его произведениях, и так, по сути, продолжается поныне в постоянных оговорках о том, что эти романы «далеки от исторической правдивости». Но дело в том, что подобное жанровое определение не совсем точно. Все встанет на свои места, если мы попытаемся рассмотреть эти романы как *фольклорно-исторические,* с учетом фольклорной поэтики.

А для этого есть все основания, если вспомнить, что 30-е годы— время появления не только исторических романов, но и сказок Ореста Сомова, Пушкина, Жуковского, Владимира Даля и «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя; время создания первого свода русских народных песен П. В. Киреевского, среди «вкладчиков» которого вместе с Пушкиным, Гоголем, Языковым, Кольцовым и Владимиром Далем был и Александр Вельтман.

Интерес к фольклору — одна из важнейших особенностей не только русского, но и европейского романтизма, противопоставлявшего классицизму идею обращения к народному творчеству, обретения национальных форм через фольклор. «Мысль о создании самобытных народных литератур почти повсюду и об отыскании для того национальных элементов» (Н. А. Погодин) станет центральной в теории и практике русского романтизма.

Таким «национальным элементом» в произведениях многих русских писателей-романтиков становятся история и фольклор, как правило, взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга: историческая романистика почти неизменно включает в себя описания народных обрядов, обычаев, а фольклорная проза нередко обращается к истории. «Вечера на хуторе близ Диканьки» и романы Вельтмана, пожалуй, лучшие тому примеры. Но у Гоголя и Вельтмана есть предшественник — Орест Сомов, трактат которого «О романтической поэзии» (1823) стал литературным знаменем русского романтизма. Однако не меньшая заслуга Ореста Сомова заключается как раз в том, что знаменитый призыв *«иметь свою народную поэзию, неподражательную и независимую от преданий чуждых»,* он осуществил практически. В конце 20-х — начале 30-х годов Орест Сомов создал целый ряд произведений, предвосхитивших и гоголевские «Вечера», и вельтмановские романы-сказки.

Фольклорную прозу Ореста Сомова[1] обычно сравнивают с произведениями Гоголя: «Русалку» с «Майской ночью, или Утопленницей», а «Киевскую ведьму» с «Ночью перед Рождеством». Прямых совпадений в них более чем достаточно, что, впрочем, объясняется не столько заимствованием, сколько использованием одних и тех же народных поверий и легенд украинской демонологии. Взаимосвязь романов-сказок Вельтмана со сказками Ореста Сомова не столь явная, она в стилевых приемах, в общих тенденциях развития самой романтической литературы. Их фольклорные произведения непосредственно связаны с так называемой «неистовой» школой в романтизме, стремившейся поразить читателя описаниями всевозможных ужасов.

Определенную дань «страшным рассказам» («литературе ужасов» своего времени) отдали не только Орест Сомов и Вельтман, но и Гоголь в «Кровавом бандуристе» и «Страшной мести», Пушкин — в «Русалке», «Женихе». Немалой популярностью пользовались у читателей всевозможные переводные «романы ужасов», среди которых был, например, «Вампир», приписываемый Байрону (он вышел в 1828 году в Москве в переводе П. В. Киреевского).

Интерес к подобного рода литературе не иссяк и поныне, но в европейском и русском романтизме он имел одну важную особенность: «страшные» рассказы, повести, романы во многом основывались на фантастике народных преданий, поверий, легенд. Так называемые «страшилки» — один из древнейших фольклорных жанров (слушая сказки «о мертвецах, о подвигах Бовы, засыпал юный Пушкин, «страшные рассказы зимою в темноте ночей» пленяли Татьяну Ларину в «Евгении Онегине», ими заслушивались мальчики в тургеневском «Бежином луге»), благодаря «страшилкам» в литературу входил фольклор.

«Сказочнику казаку Луганскому — сказочник Александр Пушкин!» — с такой надписью Пушкин подарил Владимиру Далю свою «Сказку о рыбаке и рыбке». Вельтман тоже считал себя прежде всего сказочником. Он писал, вспоминая о детстве: «При мне был дядька Борис. Он был вместе с тем отличный башмачник и удивительный сказочник. Следить за резвым мальчиком и в то же время строчить и шить башмаки было бы невозможно, а потому, садясь за станок, он меня ловко привязывал к себе длинной сказкой, нисколько не воображая, что со временем и из меня выйдет сказочник». Вельтман называл свои произведения именно сказками. «Вот расскажу я вам сказку про сердце и думку, сказку волшебную», — так начинается его роман «Сердце и Думка» (1838).

Потомку шведских дворян Вельдманов, как и потомку датских дворян Далей, суждено было одними из первых в России прикоснуться к сокровищам народного творчества и как собирателям, и как писателям-сказочникам.

«Оба они не русские по крови; но тем более причины для нас радоваться той нравственной притягательной силе русской народности, которая умела не только вполне усыновить себе этих иностранцев по происхождению и привлечь их к разработке своих умственных богатств, но и одухотворила их не русское трудолюбие русской мыслью и чувством», — так писал Иван Аксаков в 1873 году о Владимире Ивановиче Дале и прибалтийском немце, выдающемся русском фольклористе Александре Федоровиче Гильфердинге. Эти

[1] См.: Сомов О. М. Были и небылицы. Составление, вступительная статья и примечания Н. Н. Петруниной.— М.: Советская Россия, 1984.

примечательные слова можно с полным правом отнести и к Александру Фомичу Вельтману. Да и в русскую литературу они вступили почти одновременно: Вельтман — сказочным «Кощеем бессмертным», а Владимир Даль в том же 1833 году — сказками казака Луганского, воплощая во многом близкие художественные принципы. Поэтому и хвалить, и ругать их будут обычно тоже вместе.

«Признаюсь откровенно,— писал в 1834 году о Вельтмане и Владимире Дале О. Сенковский (барон Брамбеус),— я не признаю изящности этой кабачной литературы, на которую наши Вальтер-Скотты так падки... Нет сомнения, что можно иногда вводить в повесть просторечие; но всему мерою должны быть разборчивый вкус и верное чувство изящного: а в этом грубом, сыромятном каляканье я не вижу даже искусства!»

Ни Александр Вельтман, ни Владимир Даль не прислушались к критике влиятельного литературного магната, упорно продолжая вводить в свои произведения «сыромятное каляканье».

Использование народной речи — это еще далеко не все, что привнесли они в свои произведения, фольклорные не только по стилистике языка, но и по стилистике образов, сюжетосложения.

Любая сказка — это прежде всего условность, так называемая «установка на вымысел», составляющий основу основ сказочной поэтики. Вельтман перенес эту «установку» в свои произведения, хотя действие у него происходит не в некотором царстве, не в некотором государстве, не при царе Горохе, а в конкретной исторической обстановке. Его исторические произведения обильно снабжены «выносками» и пространными примечаниями. В этом отношении он соблюдает все правила игры исторической романистики, используя один из самых известных ее художественных приемов — соприкосновение реальных и вымышленных героев, реальных и вымышленных событий.

Своеобразие жанра подчеркнуто и в названиях: «Кощей бессмертный. Былина старого времени», «Светославич, вражий питомец. Диво времен Красного Солнца Владимира» (кстати, именно Вельтман в 1833 году впервые ввел древнерусское слово б ы л и н а из «Слова о полку Игореве» в литературный язык XIX века). Он создавал *былинные дива,* романы-сказки.

Необходимо учитывать также, что традиции фольклорной и исторической прозы пушкинского времени (в том числе и традиция «неистового» романтизма) неизменно включали в себя элемент пародии. Если в «Страннике» Вельтман пародировал романтические путешествия, то в «Кощее бессмертном», «Светославиче», «Новом Емеле, или Превращениях» — романтические превращения. И в этом отношении он близок к тому же Оресту Сомову. Перечисляя в «Оборотне» всех заморских чудовищ и вампиров, совершающих «набеги на читающее поколение», Орест Сомов противопоставляет им русских оборотней, которые «до сих пор еще не пугали добрых людей в книжном быту» и являются в литературе «чем-то новым, небывалым».

Вельтман тоже поведет читателей в мир новый и небывалый, тоже создаст своего чисто русского о б о р о т н я, но этот оборотень окажется у него героем не просто сказочным, мифологическим, а и с т о р и ч е с к и м. Чисто фольклорный сюжет о младенце, проклятом в чреве матери, ставшем так называемым «вынужденным» оборотнем, введен у него в реальную историческую обстановку: про́клятый Светославич — двойник князя Владимира, пытающийся «заменить» его на Киевском столе. Действие романа «Светославич,

вражий питомец» происходит сразу в двух планах — реально-историческом и сказочно-фантастическом.

Современников, уже имевших возможность сравнивать романы Вельтмана с другими историческими романами, поразила именно эта жанровая необычность. Николай Полевой, сам будучи романистом совершенно иного плана, отмечал, что о «Кощее бессмертном» Вельтмана «нельзя говорить, как о явлении обыкновенном. Это явление редкое, чудное, фантастическое и вместе верное истине». В своем отзыве, помещенном в «Московском Телеграфе» (1833, № 12), он давал развернутую характеристику романа: «Это уже перестает быть чтением для вас, когда вы переселяетесь в очарованную область *Кощея:* это какое-то видение, которому верите вы, потому что видите его своими глазами. Автор имел право назвать его не романом, хотя сочинение это имеет всю форму романа, не сказкой, хотя все очарование сказки находится в нем, и не былью, потому что не было того происшествия, о котором повествует он, хотя и не могло бы оно быть иначе, если б случилось. В общности этого произведения условия Искусства выполнены превосходно и, вместе с тем, оно до такой степени оригинально, до того не походит ни на один из всех явившихся доныне романов Русских, что может означать совсем особый род... Русь, истинная древняя Русь, оживлена тут фантазиею Сказки Русской».

Как видим, Николай Полевой пытается найти и не находит четких жанровых определителей, что это — роман, сказка, быль или же «совсем особый род», отмечая главное, что несколько позже выделит и Белинский — *«древняя Русь оживлена тут фантазиею. Сказки Русской»,* то есть совершенно непривычную и новую для литературы роль сказочной фантазии в историческом произведении.

В известном отзыве 1836 года Белинский тоже будет говорить о сказочных чудесах, о сказочном мире «Кощея бессмертного» и «Светославича»: «Кому неизвестен талант г. Вельтмана?.. Кто не жил с ним в баснословных временах нашей Руси, столь полной сказочными чудесами, столь богатой сильными, могучими богатырями, красными девицами, седыми кудесниками, всею нечистою силою, начиная от дедушки Кощея Бессмертного до лохматого домового и обольстительной русалки старого Днепра? Кто не помнит Ивы Олельковича, с его «нетути» и кривыми ногами, кто не помнит Мильцы и Младеня?.. И кто перечтет все эти фантастические полуобразы, эти пестрые картины русского сказочного мира?..»

Такое жанровое смещение еще более усложнялось смещением языковых стилей, всех норм и привычных пластов литературного языка и устной народной речи, славянизмов, многочисленных явных и скрытых цитат из «Слова о полку Игореве», летописей. А в дополнение ко всему повествование постоянно прерывалось вставными новеллами, сказками, легендами, былями, так что порой читатель и впрямь способен был потерять основную нить рассказа. Что, в свою очередь, тоже являлось своеобразным художественным приемом. «Не думайте же, читатели,— оговаривался автор,— что я поступил с вами как проводник, который, показывая войску дорогу чрез скрытые пути гор и лесов, сбился с дороги и со страха бежал. Нет, не бойтесь, читатели! Клубок, который дала мне Баба-яга, катится предо мною...»

«Двойственность» стиля переходит в «двойственность» героя. «Сквозь смешной облик Ивы Олельковича просвечивает другое — серьезное, полное философского смысла лицо. Образ Ивы двоится, становится лукавым и обманчивым,— не уловишь: смешное тут или

серьезное, фантастика или реальность, мистика или мистификация» (В. Ф. Переверзев). Позднее эти черты главного героя романа «Кощей бессмертный» Ивы Олельковича перейдут к Емеле — образу не менее «двойственному» по сочетанию реального и фантастического.

Столь сложная стилевая и сюжетная вязь — основа поэтики романов Вельтмана. «В них романтическое «двоемирие» сочетается с эмпирической действительностью, сказочный герой идет по ярко описанным зловонным трущобам, фольклорное добродушие и улыбчивая ирония соединяются с всеобнажающей сатирой, гротеск и водевильный «перевертыш» — с вернейшим реалистическим развитием действия, приподнятость лексики — с великолепным умением писать живым, разговорным языком» (Ю. М. Акутин).

Проза Вельтмана воспринималась порой как мистификация, как некий *«фокус-покус фантазии»* (Белинский о «Мартыне Задеке»), литературная шарада, ребус, заставляющий невольно пожимать плечами: «Что это такое? — спрашивал Белинский о том же «Мартыне Задеке».— Сказка не сказка, роман не роман, а если и роман, то совсем не исторический, а разве *этимологический»*. С годами это недоумение возрастало, достигнув своего предела после выхода «Емели».

В этом романе мы встретим все тот же художественный прием введения сказочного персонажа в реальную историческую обстановку. В главном герое романа Емельяне Герасимовиче мы без труда узнаем сказочного Емелю-дурачка, которого Вельтман проводит через события Отечественной войны 1812 года, превращая то во французского генерала, то в шута, то в богатого наследника, то в русского барина-реформатора. Правда, помимо фольклорных параллелей, в этом романе, как, впрочем, и в предыдущих, не менее явственны литературные. Емельян Герасимович и Ива Олелькович со своими верными слугами — это, конечно же, не только сказочные емели, но и русские донкихоты. Вельтман, вне всякого сомнения, соотносит своих героев с всемирными литературными образами, такое соотнесение тоже являлось традиционным романтическим приемом, рассчитанным на «двойственность» прочтения, на неизменные литературные ассоциации. Сервантес, Стерн, Байрон, Вальтер Скотт, Гофман, Тик — вот далеко не полный перечень имен, составляющих литературный фон произведений Вельтмана и других романтиков. Но основой для Вельтмана (в отличие, например, от Владимира Одоевского) стал все-таки русский фольклор и русская история, поэтому общелитературные параллели остаются лишь фоном, почти обязательным для любого произведения.

Все это было уже в достаточной степени знакомо. Тем не менее «Новый Емеля, или Превращения», изданный в 1845 году, вызвал наиболее резкие отзывы критики. В том числе и Белинского, писавшего: «Тут ничего не поймете: это не роман, а довольно нескладный сон. Даровитый автор «Кощея бессмертного» в «Емеле» превзошел самого себя в странной прихотливости своей фантазии, прежде эта странная прихотливость выкупалась блестками поэзии, о «Емеле» и этого нельзя сказать».

Отрицательный отзыв великого критика не менее характерен для литературной судьбы Вельтмана, чем предыдущие положительные. Если в 30-е годы все странности и прихотливости его фантазии находили объяснение в оригинальности, «в редчайшем, почти психологическом явлении» его таланта, то в 40-е и 50-е годы эта же оригинальность из основного достоинства превратилась в основной недостаток.

Правда, и ранее речь заходила о некоторой незаконченности, фрагментарности его произведений, критики требовали «созданий полных, отчетистых». «Прежде,— отмечал в 1836 году критик «Северной Пчелы»,— мы извиняли эту несвязность как умышленное следствие усилий автора. Теперь нам уже кажется несносным этот литературный порок, который беспрестанно растет и развивается. Г. Вельтман кончит тем, что будет писать одно начало страниц, а там пиши сам читатель, как угодно». Под *прежними* произведениями здесь подразумевается «Странник», под новыми — «Кощей бессмертный» и «Светославич», которые критик «Северной Пчелы» (а в этом качестве обычно выступал сам издатель — Фаддей Булгарин) считает уже «несносными».

В 40-е годы так будут считать даже почитатели его таланта, обращавшие внимание на «странную форму» романа «Емеля», доведенную «до крайности и невероятности», и заключая: «Да и не странная ли мысль выбрать в герои романа совершенного дурака, каких не бывало на свете в четырех частях» («Москвитянин», 1846, № 2).

Подобная точка зрения, укрепившаяся, ставшая общепризнанной (слова Белинского как бы подкрепляли ее), к сожалению, имела далеко идущие последствия не только в судьбе Вельтмана, но и того нового литературного жанра, контуры которого уже обозначились в его романах. «Консервативная критика 30—40-х годов,— пишет по этому поводу современный исследователь И. П. Щеблыкин,— пользуясь отсутствием в статьях Белинского развернутых анализов исторических романов Вельтмана, охотно повторяла тезис о творческом фиаско Вельтмана после «Кощея бессмертного». Отсюда выводилась и другая неверная мысль о бесперспективности обращения к фольклору и художественной фантастике в целях исторического повествования».

Представление о «писателе-метеоре» (так нередко называли Вельтмана в критических отзывах), однажды промелькнувшем на небосклоне русской литературы и навсегда исчезнувшем, закрепилось довольно прочно. Хотя достаточно хорошо были известны и другие отзывы о том же «Емеле», например, Добролюбова, Достоевского. Весьма существенные коррективы в восприятие современниками этого романа вносит статья Аполлона Григорьева, появившаяся в 1846 году в «Финском вестнике»:

«Перед нами является чисто мифологическое лицо русских сказок, русский дурак, только без двух братьев умных, русский дурак, с его простодушным и потому метким и злым изумлением от разного рода лжи общественной, для него непонятной — с его глупостью, которая кажется скорее избытком ума, с его бесстрастием ко всему, происходящим опять оттого же, что его простая природа не понимает, как можно страдать от разного рода наклонных потребностей, приличий и проч. Да — русский дурак, грубое, суздальское, пожалуй, изображение той же мысли, которая создала американского Патфиндера [1], которая воодушевила Руссо!.. Емеля — это эпопея о русском сказочном дураке, эпопея, пожалуй, комическая, но комическая только по форме, как Сервантесов Дон Кихот, сближение которого с русским Емелей, вероятно, также покажется вопиющим парадоксом».

Статья Аполлона Григорьева давала ключ к пониманию «Емели» и других произведений Вельтмана, раскрывая основной принцип его

---

[1] Следопыт, Кожаный Чулок — герой романов Фенимора Купера.

поэтики, но она не могла изменить уже устоявшихся мнений. Выход романа совпал со временем наиболее острых споров между западниками и славянофилами, что также далеко не способствовало его пониманию, поскольку ни те, ни другие не могли назвать Вельтмана своим единомышленником. Западники считали его славянофилом, славянофилы — западником, но он не примыкал ни к тем, ни к другим, всегда оставаясь только самим собой.

Его и не пытались понять, судить по его собственным законам.

В 1863 году «Русское слово» отмечало: «Вельтман, как и другие писатели его же периода, совершенно расходятся с современными требованиями литературы; он точно не знает, что делается вокруг него».

Но непризнанный не означало неизданный. Произведения Вельтмана продолжали выходить и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е годы. И судьбы их были порой непредсказуемы.

Так произошло с исторической повестью Вельтмана «Райна, королевна Болгарская», впервые изданной в 1846 году, но привлекшей внимание лишь через десятилетие, и не русской критики, а болгарских революционеров, писателей, художников.

В 1852 и 1856 годах «Райна» вышла в Петербурге и Одессе в переводе на болгарский язык Елены Мутьевой, в 1866 году ее перевел и издал в Вене известный болгарский писатель Иоаким Груев, и тогда же, в 60-е годы, один из основоположников болгарского национального театра, Добри Войников, создал на основе «Райны» драму «Райна-княгиня», которая многие годы с огромным успехом шла в Болгарии на профессиональных и любительских сценах. Но и это еще не все. Классикой болгарского изобразительного искусства стали иллюстрации к «Райне», созданные в 1860—1880 годы знаменитым болгарским художником Николаем Павловичем и получившие распространение в народных массах, став своеобразными народными лубками.

Причины столь пристального внимания видных деятелей Болгарского Возрождения к этому произведению русского писателя сами по себе тоже заслуживают внимания, относятся к числу исторических.

Болгарское, и не только Болгарское, но и все Славянское Возрождение XIX века, национально-освободительная борьба в славянских странах самым непосредственным образом связаны с русской культурой, наукой, литературой. Известно, например, что граф Румянцев в 20-е годы неоднократно оказывал материальную поддержку выдающемуся сербскому собирателю Вуку Караджичу, а Российская Академия в 1838 году выделила средства на издание научных трудов Шафарика и Ганке. Известно также, какую огромную роль в Славянском Возрождении играли научные труды Юрия Венелина, Востокова, Бодянского, Гильфердинга по истории, этнографии и фольклору Болгарии, Сербии, Черногории, Словакии. Сама национально-освободительная борьба в этих странах начиналась с возрождения исторической памяти.

Вельтман (а одновременно с ним Владимир Даль и А. С. Хомяков) побывал в Болгарии еще во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов, когда Россия почти освободила Болгарию от Османского ига. Поэтому и к легендарному походу древнерусского князя Святослава он тоже обратился далеко не случайно: в 971 году Святослав шел на Царьград почти тем же путем через Балканы, что и русская армия в 1829 году, когда, как писал Пушкин в стихотворении «Олегов щит», «ко граду Константина... пришла славянская дружина». А «тень Святослава», воспеть которую призывал Пушкина

Николай Гнедич, впервые появляется в вельтмановском «Светославиче», где прóклятый сын киевского князя отправляется на Дунай за черепом отца.

Сам поход Святослава в Болгарию был достаточно хорошо знаком по летописным источникам и по «Истории» Карамзина, но Вельтман писал о том, чего не было ни в летописях, ни в «Истории Государства Российского»: о романтической роковой любви Святослава и Райны, дочери болгарского царя Петра, трагически погибающей в финале вместе с древнерусским князем.

Византия уговаривает Святослава обнажить свой меч на «непокорных и насилующих Грецию Болгар». Святослав соглашается, и в начале повествования он отправляется в Болгарию завоевателем, а не освободителем. Но из завоевателя он превращается в освободителя, распутывающего кровавый узел придворных интриг, спасающего королевну Райну. «Народ со всей Болгарии,— описывает Вельтман встречу Святослава,— стекался в Преславль на великий праздник, на благодатную погоду после бури. Взоры всех слезились от радости, и на народе, как на облаке, отражалась радуга мира, знамение завета между Русью и Болгарией».

Нетрудно представить, как воспринималась эта сцена в Болгарии в самый разгар национально-освободительной борьбы. Освобождение Болгарии с помощью России получало, таким образом, историческое предопределение в событиях тысячелетней давности.

«Эта история на средневековый сюжет,— отмечает современный болгарский исследователь, академик Николай Райнов,— помимо исторического содержания, близкого каждому болгарину, привлекла внимание еще и трогательным до слез сюжетом. Автор не следовал точно историческим фактам, но и болгарские читатели не были особенно придирчивы, да и сама болгарская история не была достаточно разработана». Привлекла основная идея «Райны» — идея исторической освободительной миссии России, приобретавшая чрезвычайно актуальное значение, находившая горячий отклик в сердцах болгар.

«Райна, королевна Болгарская» выстроена по всем законам исторической беллетристики и в этом отношении отличается от «Кощея бессмертного» и «Светославича», хотя и здесь Вельтман приводит песенные тексты, создает образ гусляра, удачно использует тексты из «Слова о полку Игореве», летописей и былин. И тем не менее, несмотря на насыщенность фольклорными мотивами, «Райну» нельзя причислить к фольклорно-историческим произведениям Вельтмана. Развитие сюжета подчинено здесь иным законам, образы лишены сказочности, которая предопределяет принципиально иные стилистические и сюжетные приемы в «Кощее бессмертном», «Светославиче» и «Емеле».

В творчестве Вельтмана важна и такая чисто биографическая деталь. Служба в армии и жизнь в Бессарабии в 1818—1823 годах, участие в русско-турецкой войне 1828—1829 годов определили тематику многих его произведений, но, главное, ознаменовались двумя событиями, имевшими решающее значение во всей его дальнейшей жизни и литературной судьбе,— это знакомство с Пушкиным и дружба с Владимиром Далем.

Известные воспоминания Вельтмана о Пушкине во многом дополняются его произведениями, воссоздающими историческую и бытовую обстановку Кишиневского периода жизни поэта 1820—1823 годов. Да и сами «Воспоминания о Бессарабии» не случайно начинаются словами: «Очерк этой страны будет рамой, в которую я вставлю воспоминания о Пушкине». К сожалению, почти во всех публи-

кациях эта «рама» снимается, оставляются лишь фрагменты, имеющие непосредственное отношение к Пушкину. Хотя для Вельтмана было важно создать именно «очерк этой страны». Первый публикатор воспоминаний Л. Майков вполне справедливо писал об этом в 1893 году: «Дело в том, что, вставляя рассказы о Пушкине в очерк о Бессарабии, Вельтман имел в виду выяснить то влияние, которое оказали на поэта и самый край, и условия тамошней жизни; в своей статье Вельтман, кроме прямых сведений о Пушкине, дает прекрасное изображение бессарабской природы, сообщает много занимательных подробностей о разнообразном составе и быте местного населения и рассказывает о той попытке освобождения греков из-под турецкого ига, которая известна под названием предприятия етерии. Многое из того, о чем говорит автор «Воспоминаний», обращало на себя внимание и Пушкина, и если не возбуждало в нем, как в Вельтмане, ученой пытливости, зато действовало на его воображение и так или иначе питало его творчество. Эту таинственную связь между личностью поэта и краем, куда он попал, Вельтман угадал с большою проницательностью, а потому именно взятая в целом его статья представляет хороший материал для истории жизни и творчества Пушкина в период его пребывания в Кишиневе».

Необходимо также учитывать, что оба они были одинаково молоды, воспринимали экзотическую природу и историю Бессарабии глазами двадцатилетних поэтов-романтиков. Почти все, о чем пишет Вельтман, видел Пушкин. Об этом можно судить по дневниковым записям и воспоминаниям их общих кишиневских друзей, особенно И. П. Липранди. Пушкин точно так же, как Вельтман, ездил в Аккерман, Бендеры, Измаил, собирал сведения о ссылке Овидия, о Траяновом вале, о цыганах, о Карле XII и Мазепе, о штурме Суворова, он записывает сербские песни, молдавские и болгарские исторические предания. Обо всем этом и рассказывает Вельтман, который, как никто другой, «выучил наизусть этот край», объездил всю Бессарабию, будучи военным топографом. Так что никто, кроме Вельтмана, не мог с такой достоверностью воссоздать историческую и бытовую атмосферу Кишиневского периода жизни Пушкина.

Помимо очерка о Бессарабии, Вельтман создал целый цикл рассказов и повестей, которые тоже могут быть «рамой» к воспоминаниям о Пушкине. В них описываются те же самые события, действуют те же самые герои. В «Воспоминаниях» лишь упоминаются Костештские скалы и курган Сто Могил. В рассказе 1840 года «Костештские скалы» Вельтман приводит солдатскую сказку об этих скалах, а герои рассказа — его друзья-топографы, которых знал Пушкин, один из них, Ф. Н. Лугинин (в рассказе — Лугин), оставил воспоминания о поэте. В «Воспоминаниях» описывается сцена поимки разбойника Урсула. «Я полагаю, что поэма «Разбойники» внушена Пушкину взглядом на талгаря Урсула (*талгарь* — разбойник, *урсул* — медведь)»,— замечает Вельтман. В 1841 году в повести «Урсул» он подробно расскажет о судьбе этого разбойника. В «Воспоминаниях» воспроизведено несколько эпизодов с кишиневским пьяницей-шутом Ильей Лариным. В 1847 году в рассказе «Илья Ларин» Вельтман приведет новые подробности, в том числе о встречах Ларина с Пушкиным. В «Воспоминаниях» рассказывается о кишиневской красавице Пульхерице, в которой Пушкин особенно ценил «простодушную красоту и безответное сердце», посвятил ей стихи. В 1848 году в рассказе «Два майора» Вельтман как бы поставил последнюю точку в судьбе Пульхерицы.

Правда, это не значит, что рассказы 40-х годов только дополняют «Воспоминания о Бессарабии и Пушкине», впервые опубликованные в 1837 году в «Современнике». В «Воспоминаниях» — реальность, а в рассказах — авторская фантазия. Вельтман никогда не встречался с разбойником Урсулом, а Пульхерица никогда не убегала из дома, но таковы уж законы жанра.

Причудливое сплетение реальности и фантастики — основа всех произведений Вельтмана. И почти всюду — в «Страннике», в «Лунатике», в «Радое», в «Приключениях, почерпнутых из моря житейского» — он использует Кишиневские впечатления. В Кишиневе определился основной круг друзей и интересов Вельтмана-писателя, Вельтмана-историка и Вельтмана-фольклориста.

Все это мало сказалось на его литературной судьбе. А причина все та же: если в 30-е годы творческие поиски Вельтмана совпадали с основными тенденциями развития русской литературы — к фольклору и истории обращались почти все его современники, включая Пушкина и Гоголя, то в последующие десятилетия он окажется едва ли не единственным, кто последовательно, из романа в роман, будет развивать принципы фольклорно-сказочной поэтики. Но уже как бы вне литературы, вне ее основных течений и направлений. С годами эта дистанция увеличивалась, Вельтман все дальше «уходил» от литературы своего времени, и казалось, что та же участь постигла и его романы. По крайней мере в конце столетия один из историков литературы (К. Н. Бестужев-Рюмин) искренне сожалел, что Вельтман неизвестен даже «друзьям литературы», способным «оценить неудержимый поток фантазии».

Это уже в XX веке исследователи обратили внимание, что мнения современников не были столь однозначными, что романы Вельтмана оставили ощутимый след в творчестве целого ряда писателей, что в образе его «Емели» «потенциально таится» князь Мышкин, а в образах героев «Саломеи» — Раскольников, Настасья Филипповна, Грушенька. «Вельтман для Достоевского,— отмечал В. Ф. Переверзев,— то же, что Нарежный для Гоголя — предтеча и необходимая предпосылка. Без «Бурсака» и «Аристиона» не было бы и «Вия» и «Мертвых душ»; без «Саломеи» Вельтмана не было бы «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» Достоевского. С неменьшим основанием Вельтмана можно назвать «предтечей и предпосылкой» не только героев Достоевского, но и стиля, поэтики Лескова. Что само по себе тоже немало для писателя «всеми забытого» — быть предтечей двух великих художников слова. «По принципу борьбы и смещения семантических элементов,— отмечал в 1926 году Б. Я. Бухштаб,— Вельтман в течение двадцати лет вырабатывал своеобразную языковую систему, которая впоследствии ложится в основу Лесковского языка».

Стоит только добавить, что подобное «семантическое смещение» у Вельтмана имело вполне определенную направленность и основу. Как в «Кощее бессмертном», «Светославиче», «Емеле» Вельтмана, так и в сказах, «Очарованном страннике», «Левше» Лескова, основа эта — фольклорность образов и фольклорность стиля, в сторону которой и «смещались» все другие «элементы». Поэтому, повторяю, столь важно представлять эту жанровую особенность произведений Вельтмана, чтобы сравнивать их не с «Юрием Милославским» или любым другим историческим романом того времени, а с былями и небылицами Ореста Сомова и Владимира Даля, с «Вечерами на хуторе близ Диканьки» и «Тарасом Бульбой» Гоголя. Только в таком

случае они не «выпадут», а, наборот, встанут на свое реальное место в истории русской литературы.

Но Вельтман и Достоевский, Вельтман и Лесков — далеко не единственные возможные сопоставления и сближения. Поэтику и ритмику прозы Вельтмана можно сопоставить с «Петербургом» Андрея Белого, а его фантастику — с фантастикой Михаила Булгакова. А все это опять же свидетельствует, что произведения Вельтмана никогда не «выпадали» из живого процесса развития русской литературы, имеющего, подобно любой полноводной реке, притоки, ее питающие. Проза Вельтмана — один из таких животворных притоков. И глубоко знаменательно, что в наше время эти пересохшие было притоки начинают оживать заново...

Виктор Калугин



ИЗБРАННОЕ





НОВЫЙ ЕМЕЛЯ, ИЛИ ПРЕВРАЩЕНИЯ

Роман

ЧАСТЬ I

Глава первая

О том, как Наталья Дмитриевна за неимением собственных детей взяла на воспитание Емелюшку

Москвич Платон Андреевич сидел на спокойном канапе́, подле стола и раскладывал гран-пасьянс в ожидании вечера и бостончика; а Наталья Дмитриевна покоилась в креслах подле маленького китайского столика и занята была чем-то мысленно. Нежные супруги наблюдали мир и тишину ненарушимую.

Платон Андреевич был муж почтенный, немножко буфф; а Наталья Дмитриевна — молодая и чувствительная дама, как говорится, с претензиями. В противоположность этим нравственным свойствам Платон Андреевич по природе своей был сидень; а супруга его *непосида*. Главное дело Платона Андреевича было покушать, да засесть в бостончик, дома или в гостях, все равно, лишь бы покушать, да засесть в бостончик. Без этого — день не в день. У Натальи Дмитриевны, напротив, была другого рода светская страстишка. Она считалась визи-

тами. Принимать визиты, отдавать визиты — такое важное дело, что нужно было бы завести бухгалтерию визитов, книги, графы́, итоги, с означением кредита и дебета, прихода и расхода, весу, достоинства и цены,— где лично,— где билет,— где проценты,— а где и плата тою же монетою,— словом, истинный мелочной торг изъявлениями любви, дружбы, уважения и почтения. Все это было еще в то время, когда в России преобладал тон старой Франции, Франции-эмигрантки, в исходе счастливого века тупеев, фижм и робронов; когда в высшем обществе все мыслило, говорило и делало чисто по-французски; а в среднем кругу русский язык только еще подкрашивался французскими словами, и вместо «душа моя» говорили — *мон ам,* вместо «моя дорогая» — *ма шер;* когда все, от мала до велика, учились ловко шаркать и гнуться, что, правду сказать, не шло к русскому стану, который мать-природа чеканила, а не из воску лепила; но уж таков был век.

После долгого молчания Платон Андреевич, смешав карты, сказал, прилично случаю, по-русски:

— Фу, ты, пропасть! никак не выходит!..

Тогда Наталья Дмитриевна сказала нежно, по-французски: — Mon ami!

— Что прикажешь, мой друг? — спросил Платон Андреевич по-русски и, в припадке нежности сделав рогульку из пальцев, хотел пощекотать жену.

— Перестань, пожалуйста! — сказала Наталья Дмитриевна.

— Чего ж тебе хочется, душа моя?

— Я хочу говорить тебе о сериозном деле, а у тебя все шутки!

— Готов слушать.

— А вот что́...

— Ну, что́ такое?

— У нас нет детей.

— Сам я об этом думал.

— Может быть, и не будет...

— Почему ж так?

— Мне... так кажется!.. Знаешь ли, что́? скучно без детей: я думаю взять хоть приемыша, на воспитанье.

— Приемыша? Вот новость!.. А по-моему лучше дождаться своих... Потерпи немного.

— Когда-то будет! А я хочу теперь... Я возьму какого-нибудь мальчика на воспитанье.

— Мальчика? Вот новость!

— Что́ ж такое?

— А по-мо́ему, если брать, так девочку.

— Ах, нет!

— Отчего же нет?

— Мальчик милее.

— Ну, нет!

— Отчего же нет?

— Девочка милее. С мальчиком много хлопот: учи, воспитывай, да и мало ли что́ еще!.. а потом куда с ним денешься?

— А мне кажется, напротив: девочка требует гораздо больше забот.

— То-то и есть, что тебе все кажется напротив,— сказал Платон Андреевич, начиная снова раскладывать пасьянс.

— Я возьму мальчика... ты согласен, Платоша, не правда ли?

После этих слов над ясным теменем Платона Андреевича раздался поцелуй. Он оставил пасьянс и поцеловал полненькую ручку своей жены.

— Согласен, согласен, Наташа; но...

— Вот умник! — прервала Наталья Дмитриевна, не любившая никаких *но.*

— Послушай... право, подождать бы еще немного! — продолжал Платон Андреевич,— потому что, возьмешь, а потом... будут свои дети. До постороннего ли ребенка тогда?

— О! если я возьму на себя обязанность быть матерью постороннего, то буду любить и его как родного сына.

— Помилуй, Наташа! что́ ты это? постороннего человека ввести в права семейства! Это ужасно!

Наталья Дмитриевна ничего не отвечала на эти слова. Человек доложил, что карета готова, а горничная накинула на нее мантилью и подала веер. Платон Андреевич, задумавшись, которую карту переложить на другую, не заметил, как исчезла его супруга; четверка гнедых, в шорах, управляемая Адамом Адамовичем, в треугольной шляпе, в лосинных штанах и ботфортах, несла ее по мостовой.

— Что́ ж ты на это скажешь? — продолжал Платон Андреевич, нюхая табак. Не получив ответа, он кликнул одного из малых, вязавших паголенки в передней, и получил от него доклад, что барыня изволила уехать со двора.

— Странные женщины! — сказал он,— захотелось — вынь, да положь, да еще что́ — ребенка! А сама детского крику слышать не может!.. Дня не пройдет — велит вон вытащить...

И Платон Андреевич сперва внутренно посмеялся капризу жены, а потом захохотал вслух. Потом — время было послеобеденное,— прилег к мягкой спинке канапе́, задремал, заснул и, казалось, продолжал во сне забавляться насчет Натальи Дмитриевны: лицо его смеялось. Вскоре сновидение как будто осуществилось: вот слышит он звонкий крик ребенка... вот Наталья Дмитриевна то нежно потреплет его по щеке, то потянет за нос, то дернет за ухо... вот он с любовью взглядывается на нее и говорит сквозь сон: «Я говорил тебе, Наташа, что будут свои!..» И с этим словом Платон Андреевич перевалился на другой бок.

— Вставай же, Платон! — тщетно повторяла несколько раз Наталья Дмитриевна.

Но вдруг над ухом Платона Андреевича раздался пронзительный крик.

— Что такое! — вскричал Платон Андреевич, очнувшись с испугом и вытаращив глаза на Наталью Дмитриевну, которая стояла подле него с плачущим ребенком на руках.— Что́ это такое? — повторил он.

— Рекомендую тебе моего воспитанника, Платоша,— сказала Наталья Дмитриевна, поднося ребенка к мужу.— Посмотри, мой друг, какой ангел! Возьми его к себе на руки, приласкай. Ведь ты любишь детей, не правда ли? Эмилий, душенька, а-гу!

— Помилуй, душа моя, откуда ты взяла такого урода!

— Как тебе не стыдно это говорить!

— Сделай одолжение, скажи, откуда ты взяла такого зверка?

— Ты, я вижу, ненавидишь детей! — сказала с сердцем Наталья Дмитриевна, целуя ребенка.

— Да скажи, пожалуйста, Наташа, откуда ты взяла такого... Емелю?..

Наталья Дмитриевна ничего не отвечала на обидный вопрос, а Платон Андреевич до тех пор смотрел на нежности жены своей к ребенку, покуда они не показались ему очень забавными, и он захохотал.

— Чему вы, сударь, смеетесь? — спросила выведенная из себя Наталья Дмитриевна.

Помилуй, Наташа, да это не только мне, это всем людям на посмешище! Чтó за Хамово отродье такое! Я не видывал безобразнее... Телячьи глаза, рот как у ласточки, нос как у кукушки...

— Да, он точно был бы такой, если б хоть сколько-нибудь походил на вас!

— Сердись, пожалуй! А я тебя предупреждаю, что завтра же ты его на двор выкинешь.

Зная Наталью Дмитриевну, Платон Андреевич в самом деле думал, что ее охота воспитывать приемыша не продолжится долее суток. Он не любил, когда Наталья Дмитриевна сердилась на него; и потому, в угождение ей, погладил против шерсти маленького Емелюшку, и мир был заключен.

— Где ж ты достала его? — спросил опять Платон Андреевич.

— Где достала?.. Я уверена была, что ты исполнишь мое желание, и потому давно заказала бабушке приискать мне на воспитание хорошенькое дитя.

— Уж если на заказ, мой друг, то можно было бы заказать что-нибудь получше.

— Чем же тебе не нравится Эмилий? — спросила с досадой Наталья Дмитриевна.

— Я бы заказал, во-первых... не рыженького.

— У него еще потемнеют волоса.

— Потом не такого смугленького.

— Смуглость к мужчине идет.

— Потом, чтоб глаза и рот хоть немножно походили на человечьи.

Наталья Дмитриевна ушла с ребенком в свою комнату. Платон Андреевич последовал за ней и должен был подтвердить божбой, что он шутил, чтобы утишить гнев ее. И вот начались хлопоты, где назначить детскую. Платон Андреевич советовал в мезонине; но Наталья Дмитриевна хотела непременно, чтоб детская была подле ее спальни, и, следовательно, в детскую суждено было обратить кабинет Платона Андреевича. Напрасно он отстаивал свое соседство с спальней: кабинет переведен на другую половину дома. Но для удобного помещения Емелюшки мало одной комнаты. Наталья Дмитриевна уступила ему и свой кабинет; этажерки с бронзой, с фарфором китайским, со всеми дамскими причудами и игрушками, все пошло в изгнание, в другие комнаты.

Платон Андреевич, заложив руки назад, ходил взад и вперед, дулся, вздыхал. Завел он было опять ссору;

но пришлось тотчас же просить пощады, и был отправлен покупать для Емелюшки красного дерева колыбель и деревянного коня, между тем как Наталья Дмитриевна поехала в город для закупки всего необходимого к снаряжению Емелюшки. К вечеру Емелюшка ползал между игрушками, которыми уставлены были все комнаты, а Платон Андреевич опять ходил из угла в угол, дулся и вздыхал.

И вот Емелюшке то бисквитку, то конфетку, то кашки, то вареньица. Настала ночь; надо спать, а у Емелюшки заболел желудок: кричит благим матом на весь дом; Наталья Дмитриевна сама его баюкает, поет колыбельную песню: «Спи, усни, угомон тебя возьми!» Ничто́ не берет!

— Выкинь ты этого ребенка в кухню! — кричит Платон Андреевич, вскочив с постели и прибежав из своей спальни в детскую, в колпаке и халате.

— Это не щенок, сударь! — вскричала гневно Наталья Дмитриевна.— Лучше бы вы, хоть из жалости, послали за доктором. У вас нисколько нет человечества. Извольте послать скорее за доктором, говорю я вам!.. О! Боже мой, боже мой! я сама заболею!

И обильные слезы потекли из глаз Натальи Дмитриевны.

Нечего делать, посылает Платон Андреевич за доктором; а между тем Емелюшка посинел от крику, мечется на руках бледной и утомленной названой матери. Она то убаюкивает, то шушукает, то уговаривает Емелюшку или проклинает доктора, или велит позвать Платона Андреевича, клянет его и сквозь слезы повторяет: «Он умрет! Боже мой, он умрет!.. и никто об этом не думает, не жалеет! Да съездите, сударь, сами за доктором!»

Нечего делать Платону Андреевичу, велит запрягать лошадей, сам начинает бранить доктора, что долго не едет, и кучеров, что долго не запрягают: «Хорош доктор! прекрасный врач! бесподобный лекарь!.. Да ну, скоро ли?»

Наконец карету подали, садится, едет к годовому своему доктору, не застает дома, скачет к другому. Только что он с крыльца, а Емелюшка, как на зло, тише, тише, умолк, заснул. Только что Наталья Дмитриевна сложила его с рук в колыбельку, а в зале шум, стук...

— Что́ там за безумный кричит и стучит! — прошептала она, и сама побежала унять дерзкого.

Она к дверям, а Платон Андреевич в двери.

— Покорно прошу!

— Тс! что̀ ты кричишь! — проговорила тихо Наталья Дмитриевна, и, махнув рукой, чтоб он шел прочь, притворила двери.

Испуганный Платон Андреевич, а за ним и доктор, отретировались в залу, молча и едва дотрогиваясь до полу.

Усадив доктора, в ожидании требования в детскую, он занимает его разговорами, шепотом про дела политические. Проходит час: требования нет. Все тихо. Платон Андреевич отправляется сам на цыпочках, прикладывает ухо к двери: тихо; хотел отворить: заперта.

Возвратившись в залу и не решаясь еще отпускать доктора, он снова принялся занимать его разговором.

— Да, политика государственная важная вещь, от нее много зависит... Вы в каких местах Европы изволили быть?..

— В Германии и Франции...

— И во Франции?.. да!.. это край!..

— Я завтра к вам приеду... пораньше... — повторил в третий раз доктор, смотря на часы.

— Нет, пожалуйста, подождемте еще немного. Политика — важная вещь... Например, теперь во Франции...

— Я полагаю, что это просто была резь: прошла, и дитя уснуло.

— Верно, не больше как резь; но жена так встревожилась... признаюсь, я испугался за нее...

— Вы давно уже женаты?

— Году нет.

— Вероятно это—первый младенец вашей супруги?...

— Это?.. нет!.. это...

В это время Емелюшка вскрикнул. Платон Андреевич вскочил и бросился к дверям; но снова все тихо, двери по-прежнему заперты.

— Нет, это не мой ребенок, — продолжал Платон Андреевич, отходя от дверей.

— Тем лучше; стало быть, ваше дитя спит спокойно; извините, мне надо ехать... завтра, если угодно, я заеду.

И доктор, боясь, чтобы хозяин не задержал его снова политикою, быстро выпорхнул в двери, а Платон Андреевич плюнул с досады и пошел в свою спальню переворачиваться с боку на бок от бессонья.

Глава вторая

О том, какое приложено было попечение Натальей Дмитриевной, Платоном Андреевичем и всем домом о воспитании Емелюшки

Мы уже сказали, что Платон Андреевич был вполне уверен, что Наталье Дмитриевне скоро наскучит не только чужой, но и свой собственный ребенок; однако же не так случилось. Прошел день, другой, а Наталья Дмитриевна и не думает скучать Емелюшкой: сама нянчится с ним, сама его обшивает, сама обмывает и одевает, десять раз в день одевает; не нарадуется на Емелюшку.

— Посмотри, Платоша, какой милый ребенок!

— Прекрасный, бесподобный, душа моя! чудо! редко видал таких...

— Видишь ли, я знала, что ты полюбишь Эмилия!

— Как же... истинное наказание... виноват — утешение... боюсь только, что ты заболеешь от забот об нем!..

— О, не беспокойся!

— Вот не было печали, да черти накачали! — ворчал про себя Платон Андреевич.

В самом деле Емелюшка поселился в доме как домовой: все пошло наперекор. Бывало, до Емелюшки, Платон Андреевич мог ходить, когда вздумается, по всем комнатам и даже насвистывать любимую свою арию из *Русалки;* но едва явился Емелюшка, Платон Андреевич не смел ступить ни в гостиную, ни в залу во время его сна. Ему даже не позволено было раскладывать гранпасьянс в гостиной, потому что иногда, забывшись, он кричал: «Эй! малой!»

Во время сна Емелюшки все в доме говорило шепотом и ходило по воздуху; но и тут Наталья Дмитриевна часто грозила пальцем и шикала. Одного наемного человека согнала со двора за то, что у него сапоги со скрыпом, другого, крепостного, сослала в деревню за то, что он точно как рупор вскрикивал: «слушаю-с!»

То в доме тишина ненарушимая, то неумолкаемый крик Емелюшки; то дитя играет, и все играй и забавляй его; даже Иван-косая-сажень должен был часто, по требованию Емелюшки, садиться на пол и строить домик из карт или тютюкать вместе с ребенком. Емелюшке накупленных игрушек мало, он тянется ко всему, что кидается в глаза, блестит и светит. Не дать — закричит,

заплачет — ничем не уймешь; а Наталья Дмитриевна знает, что от крику может сделаться грыжа. Таким образом Емелюшка мял по очереди прекрасные восковые цветы, подаренные Платоном Андреевичем Наталье Дмитриевне в день ее имянин; Емелюшка переломал все вещицы, украшавшие комнаты, перебил вдребезги китайских истуканчиков и французских пастушек; перервал целый портфель картин, которые трудился собирать Платон Андреевич, словом, истребил все, что только могло назваться игрушкой старых и малых. Платон Андреевич приходил в отчаяние, но должен был привыкать к новому порядку вещей и в дополнение должен был еще ласкать Емелюшку и называть не иначе как Эмилием, чтобы не лишиться самому ласк супружеских. Но зато когда Натальи Дмитриевны не было дома, душа его вволю мстила Емелюшке; он забавлялся им как зверком, называл его по-русски Емелею, привязывал конфетку на ниточку и дразнил его как кошку мышкой; а если Емелюшка не хотел ловить мышку, его тянули за ухо; а если кричал, его теребили за волосы.

Первое слово, которое Емелюшка начал произносить, было «папа», и как назло, только что Платон Андреевич в двери, он и тянется к нему и кричит «папа».

— Наташа, ты отучи этого чушкина сына называть меня отцом! Тебя он может величать мамашей, а я ему не папа! — вскричал Платон Андреевич, и с этого началась ссора с Натальей Дмитриевной; а когда ее не было дома, и Емелюшка осмелится произнести папа, Платон Андреевич его за ухо.

Часто, возвращаясь домой, Наталья Дмитриевна воображала, что у него разгорелись уши от золотухи, и поила Емелюшку чередой и анютиными глазками.

Любовь Натальи Дмитриевны к Эмилию росла вместе с ним. Всем доставалось за него от Натальи Дмитриевны. Люди называли его, кроме Емелюшки, чертовым детищем, а Платон Андреевич называл его различным образом. Известно всем имеющим детей, что когда ребенок становится на ноги и начинает говорить, то он делается истинным утешением. При Наталье Дмитриевне никто однако же в доме не смел потешаться Емелюшкой; но в отсутствие барыни им тешился барин; а когда и барина нет дома, им тешилась вся людская. Кузьма учил его делать гримасы, Филька косить глаза, Ванька кувыркаться. Каждый день эта наука стоила Емелюшке клока волос, и вскоре голова его стала гладка как ла-

донь. Наталья Дмитриевна советовалась с докторами, отчего у Емелюшки лезут, а не растут волосы, и все тело в синяках? Все единогласно подтвердили, что это явные признаки золотухи; и вот для укрепления его пасочной системы и волокон вливали в него насильно то желудковый кофе, то услажденную ртуть, то ассафетиду. Лекарства стали для Емелюшки хуже побоев; он даже возненавидел маменькины ласки, которые всегда сопровождались скрупулом или унцией отвратительного лекарства. Чтоб потешить его, у Натальи Дмитриевны всегда был готов запас бисквитов, конфектов, сладких пирожков и сахарных крендельков; она бы засахарила его, если б, к счастью, то Дарья, то Марья не шептали ему: «Не кушай, сударь, этого, ведь все это лекарство, а ты, слава богу, здоров: дай-ко мне, у меня голова болит». Емелюшка отдавал свое лакомство и еще с радостью, потому что за это его гладили по головке и приговаривали: «Вот теперь уж ты, Емелюшка, умник! вот разумник! вот добрая душа!» И вскоре все эти жертвы совершенно переменили отношения Емелюшки к людской, к передней и к девичьей. Во всех углах дома поняли наконец, что Емелюшка добрая душа,— и дворецкие, ливрейные, кучера и повара не преминули воспользоваться этим прекрасным свойством Емелюшки. Когда он выбегал на крыльцо или на двор, и чушка, мотая головой и хрюкая проходила с поросятами мимо, тогда то Иван, то Осип не пропускали случая возбудить в Емелюшке чувство великодушной щедрости и милосердия, особенно в то время, когда у Натальи Дмитриевны бывали гости. «Посмотри-ко, сударь, нищенькая хавронья тебе кланяется, с праздником поздравляет: попросил бы ты у маминьки что-нибудь ей на бедность: дети с голоду умирают, а самой опохмелиться нечем». Емелюшка тотчас же бежал в гостиную: «Маман, а маман! нищенькая хавронья милостинку просит: детей у ней куча, кормить нечем!»

— Какое доброе сердце у ребенка! — говорила Наталья Дмитриевна, целуя Емелюшку.— На, душенька, Эмилий, отдай ей.

Емелюшка схватит деньги и бегом на крыльцо: «Где же нищенькая хавронья?» — «Давай, сударь, я ей отнесу». Иван с Осипом возьмут деньги и отправляются куда следует. Иногда и кучер Селиверст придумывал штучку не хуже других. «Вот, барин,— говорил он ему однажды,— мокрая-то курица сегодня имянинница, а ты

ее ничем не поздравишь; а она бы тебе на ладонке яйцо снесла». Емелюшка и бежит к маминьке. «Дай мне гривенничек».— «Зачем?» — «Имянинnице дать».— «Что за имянинница?» — «Мокрая курица сегодня имянинница». Гости: ха, ха, ха, ха! а Наталья Дмитриевна радуется, что Емелюшка *бон-мо*[1] сказал. «Какая острота у ребенка! Я уверена, что прачка Фекла имянинница: она совершенная мокрая курица; на, душенька, дай ей». Емелюшка и бежит к Селиверсту. «Селиверст, где мокрая курица?» — «Просушиться, сударь, пошла, давай я ей отдам». Возьмет у Емелюшки гривенничек и пойдет куда следует.

И сам Платон Андреевич не упускал удобного случая тешиться Емелюшкой. Спросит ли Платон Андреевич Емелюшку: «Кто приехал?» — «Петр Федосеевич с женой»,— скажет Емелюшка; а Платон Андреевич и возразит следующим образом: «Ах ты, дурень, неразумный бабень, то же бы ты слово, да не так бы молвил; ты бы молвил: его почтение Петр Федосеевич с дражайшей своей половиной».

Платону Андреевичу очень хотелось выработать из Емелюшки домашнего дурня и шута; но в Емелюшке была природная самостоятельность: он не любил шутить. Из него вырабатывалась добрая душа, душа прямая, щедрая, услужливая и такая доверчивая, что боже упаси. «Емелюшка, кликни человека!» Он всех соберет. «Зачем ты призвал их?» — «Да вы не сказали, маминька, которого вам нужно». Скажет и прав. Иногда Наталья Дмитриевна, не желая принимать кого-нибудь, вышлет его сказать, что ее нет дома. Он и бежит в переднюю. «Маминьки нет дома-с».— «А где же она?» — «В спальне».

Таким образом Емелюшка был чист душою, не понимал светских ухищрений; при нем никак нельзя было солгать — тотчас все выведет на чистую воду.

До двенадцати лет его ничему не учили, потому что Наталья Дмитриевна боялась ранним ученьем утомить его природные способности; она считала полезным дать развернуться им на свободе. Однако же Платон Андреевич, вероятно, в угождение Наталье Дмитриевне, заставлял его учить наизусть басни и пословицы; басни с декламацией, а пословицы на выворот.

---

[1] острота (буквально «хорошее слово» от *фр.* «bon mot»).

— Ну, Емеля, говори-ко басню. Что́ сказал осел?

— Осел сказал:

Коза, коза,
Моя краса,
Серые глаза,
Льняная коса!

— Хорошо! ну, потом осел почесал в голове, закинул ножку на ножку, прищурился, вздохнул — и что запел?

— Он пел:

Ну ж, умилися,
Сердцем склонися,
Не будь жестока...

— Что́ ты там поешь диким голосом? — спросит Наталья Дмитриевна из другой комнаты.

— Ничего, маман: ту песню, которую Платон Андреевич вам поет:

Люблю, драгая,
Тя, сам весь тая.

— Ах ты, осленок! — кричал вполголоса Платон Андреевич,— я тебя проучу! Говори пословицы, которые я тебя учил.

И между тем, как Платон Андреевич рвал ухо Емелюшке, crescendo и con fuoco[1], Емелюшка, вместо того чтоб кричать от боли, говорил нараспев пословицы:

— Кто больно любит, тот нежно бьет... Блажен скот иже человеки милует...

— Ах ты, мерзкой мальчишко! — возглашал вполголоса Платон Андреевич и принимался драть еще отрывистее, а Емелюшка, то дискантом, то басом, продолжал: — знает мясо, чью кошку съело...

— Что ты на него сердишься? — спросит гневно Наталья Дмитриевна из другой комнаты.

— Да вот,— отвечает Платон Андреевич,— учу, учу, толку нет! все на выворот; я ему твержу: знает кошка, чье мясо съела; а он по-сво́ему: знает мясо, чью кошку съело...

Таким образом и Платону Андреевичу доставалось иногда от Емелюшки, как невестке на отместку.

Но нельзя было отдать справедливости и Платону Андреевичу за аккуратность и опрятность, которым он между прочим учил и Емелюшку. Платон Андреевич любил порядок. Все свободное время его посвящено было на то, чтоб ходить за женой и за людьми. Наталья Дмитриевна, как гений беспорядка, размечет свои вещи по

[1] Музыкальные термины: «с нарастанием» и «с огнем» *(ит.)*.

всему дому; а Платон Андреевич соберет их со всего дому и препроводит в уборную. Наталье Дмитриевне жарко в блондовом чепчике, она не скинет его и не положит бережно, а сбросит с головы, оставит где попало; а Платон Андреевич, обходя дозором, найдет чепчик, поворчит, поворчит и отнесет в уборную.

— Ты, матушка, чудный человек: скинешь, да и кинешь!

— А вас кто просит прибирать? без вас приберут!

К умственному образованию Емелюшки немало способствовали домашние спектакли, которые устраивал малый Федька. У прежнего барина он был в числе домашних актеров и играл свою же роль слуги, хотя имел полную способность быть трагиком, и сверх того мог, за неимением баса, петь баса в домашней опере. Он славно играл на балалайке, потешал горничных девушек и всю дворню тирадами из опер и монологами из трагедий; но это делалось только на условии: *поставить штоф пенной.* В таком случае он брался за балалайку и начинал арией из оперы *Свадьба Волдырева:*

Споворю! не задлюся!
Приправлюсь, наряжуся
И тотчас появлюся
К богине я моей,
Пущу к ней ласки,
Прищурю глазки
И бровью поведу!
Сейчас приду!

И тотчас же шел наряжаться соответственно роли, которую играл.

Представления его сначала происходили на кухне; об них слыхала и строгая ключница Наталии Дмитриевны Степанида Агеевна, смеялась рассказам, но не унижала себя любопытством сходить посмотреть на кухню; а заставить Федьку ломать комедию в комнатах господских — боялась, неравно барчонок Емелюшка проговорится барыне.

Так пусть же он сам заставит представлять Федьку.

Немного стоило труда внушить Емелюшке любопытство.

Однажды Наталья Дмитриевна поехала в театр.

— Что тебя, сударь, не берет барыня в театр-то? — спросила его Степанида Агеевна.

— Не берет, да и не берет, — отвечал Емелюшка, — говорит, что мне надо учиться, что там только большие бывают.

— Экое дело! да ведь ты уж, слава богу, хоть куда.

— Верно *не совсем хоть куда*, коли не берет; а мне бы хотелось посмотреть; да что ж там делают, Степанида?

— Такие есть актеры, что представляют разные комедии.

— Расскажи, как представляют.

— Где ж рассказать!

— Вот бы Федька показал барину, он ведь знает представлять и трагедии: он был сам актером у прежнего барина,— сказала Даша, горничная девушка.— А как он Алаферна представляет! Ужасть да и только!

— Позови его, Даша,— вскричал Емелюшка,— позови скорее!

— Как можно, сударь, здесь представлять, неравно еще маминька узнает, как-нибудь сам проговоришься.

— Ей-богу, не скажу!

— Ей-ей, боюсь; приказывай сам, уж не моя вина.

— Ну, давай его сюда! — вскричал Емелюшка, запрыгав от радости.

Побежали к Федьке.

— Ступай представлять в комнаты, Емельян Герасимович зовет.

— Чтó? вот тебе раз! Емельян Герасимович!

— Ступай!

— Нет, не пойду!

— Говорят тебе, ступай!

— Говорят, не пойду!

Степаниде Агеевне дали знать, что до *поднесеньева дни* Федька не будет представлять.

— Экая собака! где же мне взять! У меня все барское!

— Как же быть-то, уж он и не может иначе; это уж, говорит, нельзя, не выпивши, представлять.

— Есть, правда, у меня своя горькая настойка от живота.

— Ему все равно.

— Ну, ин позови.

Федька явился; Степанида Агеевна, увлекаемая любопытством, сама поднесла ему стакан настойки, с тем чтоб он непременно представил что-нибудь.

— Есть у нас комедь славная, да одному нельзя играть,— сказал Федька; — тут начинается с того, что идет пир, пьют и гуляют; так если пожалуете, Степанида Агеевна, полштофика, так извольте.

— Вот тебе раз! еще и полштофика! пустяки!

— Какие пустяки! На всех-то? да еще и не разомнешься с полштофа. Тут бы и штофа мало. Уж если представлять, так представлять.

— Ну добро, и полштофа будет.

— Так я пойду наряжаться.

С полчаса прошло в нетерпеливом ожидании. Степанида Агеевна во все времена напоминала Емелюшке, чтоб он как-нибудь не проговорился Наталье Дмитриевне. Наконец Даша прибежала сказать, чтоб Емельян Герасимович и Степанида Агеевна шли в залу, где все было готово, и усадила их против кожаного канапе, на котором лежало что-то вроде изголовья. Подле канапе на полу разостлан ковер.

Все девушки и женщины дворни собрались толпой около почетных зрителей, Емелюшки и Степаниды Агеевны, и устремили глаза на двери из буфета.

Вдруг дверь приотворилась; зрители вздрогнули.

— Авертюра! — раздался голос Федьки из-за двери,— извольте слушать.— И вместе с этим раздалось брячанье на балалайке:

Трынь-ты дрынь, трын-дрынь-трын-дрынь-трынь... и так далее.

Авертюра кончилась, дверь распахнулась, быстро вышли из нее, размахивая руками и раскачиваясь на обе стороны, Иван, Осип, Трофим и Фаддей в картонных шлемах, с петушьими перьями, щеки вымазаны суриком, усы и льняные бороды наклеены на подбородки, сверх кучерских кафтанов попоны и санные полости на плечах вместо мантий, деревянные мечи чрез плечо на подпругах, в руках жерди вместо пик.

Они сели на ковер; а вслед за ними вышел Петька в курточке, вымазанный сажей, красный кушак повязан на голове чалмой; на подносе вынес он полштофа настойки и стаканы, поставил на ковер и стал у дверей. Воины, наполнив стаканы, запели:

Братья любимая,
Пейте вино;
Силу бо дает,
Внутрь укрепляет,
Аз веселюся,
Возрадуюся,
И пию к тебе,
Братие, за здравие
Прекрасных девиц!

Вдруг из передней *вытечка или вылазка чинится.* Кучер Савостьян с своей командой конюхов и форейторов, в кожухах навыворот, вымазанные сажей, в чалмах, также вооруженные деревянными мечами и пиками, выбегают из передней.

Начинается сражение; Трофим прячется за стул.

— Возьмите в полон того пса! — кричит Савостьян, показывая своим воинам на Трофима.

— Пощадите, господа мои! — восклицает Трофим,— даруйте живот.

Тут началось генеральное сражение. Убитый Федька, закрывшись мантиею, упал на диван; воины его разбежались; неприятели за ними.

— Только? — спросила Степанида Агеевна.

— Нет еще,— отвечали девушки.

— Дивертисмент! — раздался голос Федьки из-под мантии. Глядь — убитый вскочил, схватил балалайку, и пошел вприсядку по комнате, напевая:

Гей, ты! голова, трынь-трава!
Что задумалася?
Аль с похмелья голова?
Черта с два!
Гей, ты! молода красота
Позачванилася!
Не заглянет молода
В воро́та!

Вдруг мантия с воина слетела, явился Федька с огромной бородой из мычек льна.

Гей, ты! борода, что ль, седа?
Не понравилася?
Эх, седая борода,
Не беда!

Трынь, трынь-дрынь-трынь! Поклонился, ушел в буфет. Представление кончилось.

— Ну, признательно сказать! можно еще поднести Федьке: славно сломал комедию,— сказала Степанида Агеевна.

— Славно,— сказал и Емелюшка.

Во все время представления он сидел сам не свой: ему хотелось самому представлять.

С этого времени представления часто повторялись, когда Платон Андреевич или Наталья Дмитриевна куда-нибудь уезжали на весь вечер. Емелюшка приставал к Федьке, чтоб он учил его представлять; для Федьки

это была выгодная кондиция, и он учил барчонка декламации. Эти уроки были приятнее для Емелюшки, нежели уроки чтения и письма; потому что пришло же время, когда Наталья Дмитриевна решилась начать учить Емелюшку читать и писать по-русски и по-французски. Русского учителя поручено было отыскать Платону Андреевичу, а о французском учителе хлопотала сама Наталья Дмитриевна. Но, покуда она нашла самого дорогого, студент успел уже пройти с Емелюшкой русскую азбуку.

— О,— сказал мосье Гризель,— наружность мосье Эмилия обещает большие успехи.

— О, я уверена, он понятлив,— сказала Наталья Дмитриевна.

— Начнем с начала! — И мосье Гризель громогласно произнес «А!», поставив палец на первую букву азбуки.

— А,— повторил Емелюшка,— и вот аз, и вот аз, и вот аз, я знаю.

— Хорошо!.. b...

— Бе, нет не *бе*-с, а ерь-с; я знаю,— сказал Емелюшка.

— Ты не спорь, душенька, а повторяй, что говорит мосье Гризель.

— Нельзя, маминька, он не так говорит.

— Тс! — произнесла Наталья Дмитриевна строго, выходя из комнаты.

— Се.

— Се? нет, это не *се*-с, а слово-с!

— Что это мальчишка ворчит себе под нос,— говорил Гризель, не понимая возражений ученика и продолжая называть французские буквы; а Емелюшка повторит букву, да потом про себя сердито: «Нет, не де-с, а добро-с».

— Нет, маминька-с, как хотите, а этот мусье сам не знает азбуки: ерь называет *пе,* червь называет *ерь,* ижицу велит называть *ве*, херь *иксом*... черт знает чему учит!..

Как ни бились мосье Гризель и Наталья Дмитриевна, чтоб Емелюшка читал французскую азбуку по-французски, а не по-русски, ни за что он не мог примириться с различным названием одних и тех же букв. Наталья Дмитриевна сердилась не на Емелюшку, а на русскую азбуку.

— Странный русский язык! все буквы перековерканы! я этого до сих пор не заметила,— говорила Наталья Дмитриевна.

— Помилуй, душенька! — возражал Платон Андреевич,— это французы перековеркали все по-сво́ему, а не мы.

— Ах вы! — отвечала на эти возражения Наталья Дмитриевна, и вопреки всем доказательствам Платона Андреевича отказала русскому учителю и решила, что не для чего Емелюшке учиться русскому языку: сам научится. Русского учителя заменили танцовальным. Мосье Морель поставил Емелюшку за стул на первую позитуру, велел стоять прямо, смотреть вперед, а сам, наигрывая на скрипке менуэт, вышаркивал перед ним разные хитрые *па* и дрягал дригодоны.

Но и хитростей Емелюшка терпеть не мог.

— Маман,— сказал он после первого урока,— этот учитель чудак: сам пляшет, а меня, вместо танцованья, учит как стоять за стулом: я ведь не лакей. Да еще велит мне вот так выворачивать ноги, а у нас за столом и Иван и Кузьма вот так стоят.

— Помилуй, друг мой! так стоят косолапые, а тебя учит мосье Морель первым правилам танцев и выправляет ноги.

— А мне кажется, что он-то и косолап и меня хочет сделать косолапым; уж я знаю, маминька,— сказал Емелюшка,— уж мне сказали, что французы всему на выворот учат. Я знаю, что наверно написано *татап*, то есть тятенька, а он велит читать *маман*, потому что вам это слово нравится.

— Ты сам не знаешь, что́ говоришь!

— Нет, знаю.

— Что́ ж ты знаешь?

— А то, что вы тятеньку не любите.

— Кто тебе наговорил таких нелепостей? а? — вскричала Наталья Дмитриевна.

— Все.

— Кто все?

— Не кто, маман, а все.

— Я хочу знать, кто именно?

— Именно, маман, никто не говорил.

Личность была святое дело для Емелюшки: никогда и никого он не выдавал в жертву гнева Натальи Дмитриевны.

Убежденная замечанием Емелюшки, что ему ни в коем случае не прилично стоять за стулом, она предложила мосье Морелю начать свои уроки с шассе́; но Еме-

люшка ни en avant, ни arriere, ни en de côté[1], или лучше, как говорится по-русски: ни взад, ни вперед; он как будто был создан, чтоб никуда не уходить от начала науки.

Много денег истратила на него Наталья Дмитриевна; но он остался тем же, чем был: неизменным копьем простодушия, природы неиспорченной, не поддававшейся ни под какие условия суеты мирской. Лет двадцать от роду он еще ходил в курточке и был на счету ребенка. Однако же Наталья Дмитриевна говорила ему всегда, чтоб он учился *бонтону* образованных молодых людей, которые бывали в доме.

— Как же мне быть таким, как они? — замечал он всегда на слова Натальи Дмитриевны: — у меня нет ни фрака такого, ни очков, ни хлыстика.

— Еще успеешь носить фрак; я не хочу тебя рано пускать в свет.

— Так успею еще научиться и бонтону.

— Нет, мой друг, тогда уже поздно будет.

— Ей-богу, маминька, это все такие пустяки, что и говорить не стоит; например: ах, мзель, я не слыхал так прекрасно петь, как вы!.. Софи, ты божество мое!

Последние слова Емелюшка произнес так пламенно, тихо и похоже на кого-то, что Наталья Дмитриевна вспыхнула, и, казалось, убедясь, что Емелюшке не учиться-стать бонтону, замолчала.

Смотря на Емелюшку, можно было бы подумать, что он ничего более, как существо само по себе ничего не значащее, словом, ноль, заменяющий собою недостаток единиц, десятков, тысяч, миллионов, а в обществе недостаток людей, имеющих какой-нибудь смысл и значение. Смотря на Емелюшку, можно было бы подумать... да лучше, чем думать, будем читать далее.

Глава третья

О том, как заботилась сама судьба об определении Емелюшки на службу

Емелюшка выравнивался, час от часу становился рослее, круглее и румянее. Наталья Дмитриевна считала его красавцем, а Платон Андреевич уродом; кто из них был прав, кто виноват — задача. У Емелюшки была какая-то неизменная наружность, вероятно, вследствие

[1] вперед, назад, боком *(фр.)*.

того, что Платон Андреевич терпеть не мог слез, а Наталья Дмитриевна ненавидела смеху. Таким образом, чувствовать горе и оживлять его слезами Емелюшке не дозволялось с малолетства Платоном Андреевичем. Радость в нем также была безмолвна — заходит бывало в сердце ни с того ни с сего, а Наталья Дмитриевна и кричит: «Чему ты обрадовался, как дурак?» Словом, Емелюшке не дозволялось ни охать, ни ахать, и он привык к этому равнодушию большого света. Вследствие ли этого равнодушия, или по особому дару природы Емелюшка был сонлив и, что страннее всего, никак не мог отличить того, что видел во сне, от того, что было наяву. Очень часто случалось, что он задремлет за уроком, клюнется носом об стол и покажется ему, что это ваза разбилась вдребезги и что Наталья Дмитриевна велит ему стать носом в угол; он очнется и станет носом в угол.

— Кто тебя поставил в угол? — спросит Платон Андреевич.

— Маминька.

— Маминька! насилу-то собралась наказать козла, чтоб псиной не вонял!.. А за что наказала *маминька?*

— Ваза разбилась.

— Так! ах ты, рыжая щетина! полосатая чушка! Помилуй, матушка, долго ли держать у себя этого шелопая, дурня Емелю: перебил, переколотил, передрал, переломал, перепортил все! наконец и японскую мою вазу разбил!.. Да что это такое! Это ни на что не похоже!

— Какую японскую вазу разбил?

— Еще спрашивает! Не сама ли ты наказала его за это?

— Что́ вы бредите? я наказала его? когда это?

— Пожалуйте сюда: это что?

— Эмилий, что́ ты делаешь в углу?

— Стою, маминька.

— Для чего стоишь?

— За наказание.

— За наказание! вот прекрасно! ступай, душенька, в свою комнату... Я вас, Платон Андреевич, прошу вперед не распоряжаться наказаниями ребенка!

— Ребенок с доброго вола! будет все бить, да портить, да бить!..

— Позвольте вас спросить, какую же вазу он разбил?.. кажется, другой японской вазы нет!..

— Я почему знаю какую! ты должна знать, когда его наказывала.

— Так безбожно лгать на ребенка!.. так выдумывать! так ненавидеть невинное существо!..

— Нелегкий вас знает! оба вы полоумные!

И супруги, ворча друг на друга, расходились по своим комнатам, нисколько не воображая, что действительно Емелюшка во сне разбил вазу и был поставлен Натальей Дмитриевной в угол.

До двадцати двух лет сама Наталья Дмитриевна подстригала Емелюшке пробивающуюся бороду ножинками; но когда пришло время, что без цирюльника нельзя уже было обойтиться, тогда Наталья Дмитриевна подумала, что надо дать ему какое-нибудь звание в свете. Она предложила Платону Андреевичу озаботиться пристроить его к месту.

— Помилуй, душа моя,— сказал Платон Андреевич,— куда пристроишь такого болвана? Да если б он был по крайней мере настоящий болван, я бы его в огороде поставил или на межу, а то...

Наталья Дмитриевна не дослушала слов Платона Андреевича, рассердилась и ушла от него; но после серебряной свадьбы, по обычаю, мало уже внимания обращается на сердце, и Платон Андреевич, который считал уже себе за шестьдесят, а Наталье Дмитриевне под сорок, очень равнодушно сказал: «А пожалуй сердись — плевать мне на твоего Емелюшку!»

К счастью Емелюшки, хитрая звездочка, под которою он родился, сама заботилась об нем. Долго думала она, в какую определить его службу? в штатскую или в военную? — для одной слишком прям, а для другой упрям, что делать? Но загорелась война, и дело устроилось следующим образом. Двоюродный брат Натальи Дмитриевны, один из милиционных командиров, привез к ней единородную дочь свою с тем, чтоб Варенька жила у тетки, покуда он будет воевать.

— Для чего же не оставил ты ее у сестры Прасковьи Матвеевны? — спросила его Наталья Дмитриевна.

— А оттого,— отвечал Артамон Матвеевич,— что сестра вздумала покровительствовать одному любезнику; а я не слишком жалую этих сладчайших...

Когда Наталья Дмитриевна представила ему своего воспитанника, Эмилия, у командира разгорелись глаза на Емелюшку.

— Что ж делает у тебя этот молодец, сестра? Давай его ко мне.

Какая бы родная мать отказалась от подобного предложения!

— Ну, хочешь быть при мне, Емельян? — спросил Артамон Матвеевич.

— Хочу,— ответил Емелюшка простодушно.

— Хочу! фалелей! надо отвечать: за особенную честь поставляю.

— Можно и так сказать: за особенную честь поставляю,— повторил Емелюшка.

— Насилу догадался!

— Ну, братец, ты уж начал муштровать и переучивать его по-своему; ведь он еще не под командой твоей! — сказала с сердцем Наталья Дмитриевна,— право, я боюсь отдать тебе ребенка на руки.

— А который годок минул этому ребенку? чай, тридцатый? В его годы я, помнится, был уже субалтерн-офицером.

— Лежа на печи, знаю я.

Господин милиционный командир в самом деле был одним из добрейших и миролюбивых людей, какие только могут возрости в домашнем быту, в межах поместья и боярского двора, обнесенного тыном. Но отец Артамона Матвеевича еще в золотые времена имел случай записать сына на службу с колыбели, впредь до востребования; востребования не было, а чины между тем шли своим чередом, и двоюродный братец Натальи Дмитриевны дослужился в домашнем быту до пример-майорского чина. При постоянстве мира сего он дослужился бы таким образом до генералиссимуса; но обстоятельства изменилось, и пример-майор, не прося увольнения от сочтения его на службе, получил чистую отставку. Когда услышал он о вторжении двадесяти язык в границы России и когда ему прочли воззвание к верным сынам отечества, вдруг возгорелась в нем жажда вражьей крови. Он пожелал стать в ряды ополчившихся и был назначен сверх ожидания командиром полка ратников.

Он не затруднился, немедленно же принял Емелюшку к себе, и вот Емелюшка экипирован, благословлен, отпущен с хлебом и солью, сдан с рук на руки Артамону Матвеевичу, *приказан,* денег и белья рачителю, дядьке, старому Пафнутьичу, и едет вместе с своим командиром.

Наталья Дмитриевна с горькими слезами провожала своего дорогого воспитанника и требовала с брата клят-

венного обещания, что Емелюшку не убьют на войне, что он его не пошлет в сражение.

— Хорошо, хорошо, не убьют, не бойся! не пошлю! — отвечал Артамон Матвеевич.

В дополнение приказано было и Пафнутьичу: не отходить от него ни шагу и не пускать его в сражение.

— Да смотри же, чтоб не простудился.

— Слушаю, сударыня! — отвечал Пафнутьич.

И вот поехал наш Емелюшка.

— Ну, брат, Емельян,— сказал Артамон Матвеевич дорогой, раскинувшись в бричке,—...смотри же, воюй хорошенько.

— Только покажите мне, как воюют, Артамон Матвеевич: а уж я все сделаю, что нужно,— сказал Емелюшка.

— Экой ты, братец, пустая голова! как воюют! Что касается до твоего вопроса, то я тебе буду отвечать,— видишь — воюют, братец, оружием, на пиках, например, или пушках... ты видал пушки?

— Как же, видел и царь-пушку... Престрашная, преогромная пушка!.. Я слышал, что в ней в карточки поигрывали.

— Картечью! Ну, чтò ж за беда! — проговорил Артамон Матвеевич, которого клонил уже сон.

— Как не беда! Когда стрельнули из нее, то все окошки в Москве полопались.

— Ой-ли? когда ж это?.. лжешь?..

— Мне сказывала наша Матрена; а за то ее высекли розгами.

— Неужели?.. Матрену? Кто ж приказал ее высечь? — спросил Артамон Матвеевич всхрапнув.

— Царь Иван Васильевич Грозный.

— Ой-ли? Ну что ж Матрена?

— Матрена ничего; а Назар сказывал, что у большого колокола, что в Кремле, мыши край отгрызли.

— Мыши?

— Да.

— Экия какие!

Этим замечанием кончилась беседа; Артамон Матвеевич спал уже крепким сном, и Емелюшка умолк.

Через два дня они нагнали полк.

Артамон Матвеевич назначил Емелюшку состоять при себе. Артамон Матвеевич, на вороном коне, впереди полка, а Емелюшка на сером коне вслед за ним.

У Емелюшки хоть и младенческая была душа; но с тех пор, как из курточки перерядили его в милиционный чекмень, в наружности его проявилось что-то значительное, необыкновенно осанистое, во взгляде какая-то почетная суровость. Эта наружность была в нем что-то породистое; на двадцатом году он и в курточке походил более на гусара древних лет, нежели на современного ребенка, и потому не след нам называть его впредь Емелей, будем величать его, с должным почтением, по имени и по отчеству: Емельяном Герасимовичем, а по фамилии Неизвестным.

Глава четвертая

О том, как Емельян Герасимович,
исполнив в точности приказание своего командира,
заслужил гнев его, и прочее, и прочее

Выступив в поход, полк должен был следовать через Москву. Артамон Матвеевич заехал проститься с своей дочерью. Емельян Герасимович при нем. Наталья Дмитриевна встретила его со слезами, как будто после нескольких лет разлуки.

— Что, сестра,— сказал Артамон Матвеевич,— оставить тебе на несколько дней молодца? Покуда полк проходит через Москву, твой Емеля может здесь бить баклуши.

Наталья Дмитриевна с радостью приняла предложение, и Емельян Герасимович, готовый уже следовать за командиром, должен был поневоле оставаться в домовом отпуску впредь до повеления.

— Право, мне с вами лучше бы ехать, Артамон Матвеевич,— сказал он, провожая его,— что мне здесь делать?

— Пустяки! оставайся! и волочись от безделья. Ты умеешь приволакиваться за девчатами? а?

— За какими девчатами?

— Как за какими? за хорошенькими, братец, за барышнями.

— Нет, не умею, Артамон Матвеевич,— отвечал Емельян Герасимович, которому сроду еще барышни и во сне не снились.

— Экой простофиля! главного-то и не умеет! Ну, я тебя научу; слушай: первая, которая полюбится, ты за ней и ухаживай, по принадлежности, вздыхай чаще

и громче; а как спросит, о чем вздыхаешь? — «О ком же вздыхать, как не о вас, сударыня»,— скажи ей, да и атакуй: — «Пожалуйте ручку!..» — и так далее, по принадлежности... Экой, братец! стоит только закинуть уду, рыба сама пойдет; а если закобянится, приди в отчаяние, пугни ее, скажи, что голову размозжишь себе — струсит!.. Смотри же, чтоб к возвращенью в полк было чем похвастать, слышишь?

Наставления отца-командира не погибли; на приказание «слышишь?» Емельян Герасимович отвечал: «Слушаю, Артамон Матвеевич!» И отправился в гостиную исполнять немедленно все, по принадлежности. Емельяну Герасимовичу до сих пор и в голову не приходило ни одной мужественной мысли о женщинах; сердце его нисколько не было внимательно к прекрасному полу, а чувства не отличали «земных» от «неземных», и всякую неземную, существо томное, задумчивое, он назвал бы скорее подземной, нежели небесной, назвал бы просто тенью, привидением...

Но едва отдано было приказание волочиться по принадлежности, он тотчас же понял, что женщины для того созданы, чтобы мужчины волочились за ними и просили у них поцеловать ручку, и так далее, по принадлежности.

Бывало Емельян Герасимович смотрел исподлобья на какого-нибудь кавалера, сердился про себя и думал: что он пристал к ней! Теперь он смекнул, что дело шло о пожалуйте ручку и так далее.

Проводив командира, Емельян Герасимович возвратился в гостиную, окинул волшебным взглядом всех бывших тут женщин и прицепился к их красоте. На почтенных дам, неизвестно почему, он не обратил внимания; две петербургские племянницы Натальи Дмитриевны, Софи и Надина, показались ему неудобными для исполнения приказания полковника. Они были девушками себе на уме, полированные, с душком и с выходками — демуазели абсолютные; а так как любовь ищет девушек индивидуальных, то и Емельян Герасимович отдал преимущество собственной дочери Артамона Матвеевича, Вареньке. Это была девушка — розовая распуколка, лет пятнадцати, такая хорошенькая и простодушная, что всякий другой, кроме Емельяна Герасимовича, и без приказания стал бы за ней волочиться. Сперва он долго всматривался в нее и что-то думал; потом, как будто надумавшись вдоволь и насмотревшись на нее, стал хо-

дить за ней следом: куда она, туда и он; она сядет и он сядет — и смотрит ей в глаза молча. Варенька вспыхнет, вскочит с места, уйдет в свою комнату, а Емельян Герасимович караулит ее: только что она покажется — он тут...

Однажды племянницы Натальи Дмитриевны ходили с Варенькой по комнатам и, забавляясь ее губернской простотою, выпытывали, что у нее на сердце, выспрашивали, каким образом любят в губерниях, в моде ли еще становиться мужчинам на колени при объяснениях в любви? на оба коленка становятся в губерниях или на одно? говорят ли при этом случае речи и клянутся ли в вечной любви? просят ли кусочка ленточки или локона волос в знак памяти? Словом, ведутся ли еще там все обычаи рыцарских времен? Петербургские гостьи смеялись над обрядами и обычаями любви; а простодушная Варенька с восторгом передавала им губернские повести любви и с ужасом рассказывала, когда герой или героиня, взаимно или порознь, изменяли клятвам.

— Что вы ходите, Емельян Герасимович, за нами? — сказала одна из племянниц, заметив, что Емельян Герасимович, как привязанный, не остает от них.

— Я не за вами,— отвечал он.

— За кем же? — спросила другая.

— И не за вами.

— А, так за Варварой Артамоновной! Как вы счастливы, Варвара Артамоновна: вы теперь совершенная комета с хвостом,— сказала одна из племянниц.

Простодушная Варенька сгорела от стыда.

— Что вы пристали ко мне? подите прочь!

— Где ж я пристал к вам, Варвара Артамоновна,— сказал Емельян Герасимович,— я к вам нисколько не пристал! вы меня приводите в отчаяние!

И он сел в углу и нахмурился.

— Ах, ma chère, что вы сделали? — сказала одна из племянниц.

— Что ж мне делать, он все пристает, так и ходит за мной! — отвечала сквозь слезы Варенька.

— Это значит, что он вас без памяти любит; а вы так жестоко с ним поступили: прогнали от себя.

— Что если он придет в отчаяние и в первом сражении будет искать смерти или застрелится с горя,— прибавила другая.

— Ах, боже мой! что ж мне делать!..— проговорила Варенька.

— Посмотрите, какой он печальный, как туча нахмурился!.. Утешьте его, поговорите с ним.

— Нет, я ни за что не хочу говорить с ним,— сказала Варенька.

— Вы свели с ума молодого человека!..

Испуганная Варенька готова была просить прощения у Емельяна Герасимовича; но ей стыдно было решиться на это при других. К счастью, племянницы скоро уехали. Варенька прошла по комнате раз, прошла другой, прошла мимо Емельяна Герасимовича; а он сидит в отчаянии, не встанет, не пойдет следом за ней. Дорого стоило Вареньке преодолеть чувство страху, подойти к молодому человеку; но она наконец решилась, подошла, села подле.

— О чем вы так задумались, Емельян Герасимович! — спросила она его голосом простодушного участия.

— О чем же мне думать, как не о вас, Варвара Артамоновна,— отвечал он, вздохнув глубоко.

Варенька вспыхнула.

— Пожалуйте ручку, Варвара Артамоновна! — продолжал он, протягивая к ней свою руку.

Варенька с испугом отдернула руку, вскочила с места, хотела бежать; но Емельян Герасимович загородил ей дорогу, расставил руки и ноги, как колосс родосский, и произнес отчаянным голосом:

— Говорю вам, Варвара Артамоновна, пожалуйте ручку! а не то сейчас же разобью себе голову вдребезги! брошусь в окно!.. ей-ей брошусь! тогда поминайте как звали!

— Ах, что вы это! — вскричала с ужасом Варенька, схватив его за руку.

— Что же мне делать! — сказал Емельян Герасимович.

— Как это можно бросаться в окно!

— Что же мне делать! я пришел в отчаяние,— сказал Емельян Герасимович и, как пламенный обожатель, схватил руку Вареньки, и напечатлел на ней страстный поцелуй.

По навыку отвечать на поцелуй руки поцелуем в щеку, Варенька исполнила обряд; но Емельян Герасимович впился в пухленькую ладоньку. Варенька повторила поцелуй в щеку, еще раз повторила, и ей стало страшно.

— Ах, пустите, Емельян Герасимович! — вскричала она.

— Нет, не пущу! — сказал он, запыхавшись от пламенных лобзаний и схватив руку Вареньки обеими руками. К счастью ее, кто-то подъехал к крыльцу; в передней послышался голос Натальи Дмитриевны. Варенька ахнула, рванулась и выбежала из комнаты. Емельян Герасимович кинулся вслед за нею.

— Ах, остановитесь! миленькой Емельян Герасимович, остановитесь! не ходите, ради бога! — проговорила она в дверях, прихлопнула их и скрылась.

— А где Варенька? — спросила Наталья Дмитриевна, входя в гостиную.

— Сейчас только выбежала отсюда,— отвечал Емельян Герасимович.

— Как выбежала?

— Испугалась вас. Сидела со мной; а как услышала ваш голос, вдруг вскочила с места и бегом отсюда.

— Что это значит? — спросила с удивлением Наталья Дмитриевна, смотря на своего Эмилия, у которого разгорелось лицо. Подумав что-то, Наталья Дмитриевна покачала головою и сказала.— Кажется, за тобой брат прислал.

В самом деле Пафнутьич вошел и доложил, что Артамон Матвеевич прислал за Емельяном Герасимовичем, чтоб сейчас же изволил ехать к нему.

— Полк выступает в поход? — спросила Наталья Дмитриевна.

— Не слыхать,— отвечал Пафнутьич.

— Так я с тобой не прощаюсь, Эмилий,— сказала Наталья Дмитриевна, целуя его в чело.

— И я не прощаюсь,— отвечал Емельян Герасимович,— какая-то лень напала и ехать не хочется.

— Ты, верно, нездоров; я пошлю сказать брату, что ты нездоров.

— Кто, я нездоров? что вы это, maman! как это можно! Знаете ли вы, что на службе нездоровьем не отговариваются.

— Скажи, пожалуйста! откуда это ты набрался таких правил?

— Ей-богу, некогда отвечать, maman! — сказал Емельян Герасимович,— прощайте! Мне должно немедленно донести командиру об исполнении возложенного на меня поручения.

— Бог знает, в кого ты уродился таким усердным,— сказала Наталья Дмитриевна; но Емельян Герасимович вместо ответа! — в двери, на коня — и марш!

— Ну что, брат Емельян: все ли обстоит благополучно? — спросил Артамон Матвеевич, когда он явился к нему.

— Все обстоит благополучно! — отвечал Емельян Герасимович.

— Весело провел время?

— Очень весело, как нельзя веселее, Артамон Матвеевич.

— А исполнил приказ мой? а?

— Как же можно не исполнить приказа! Исполнил в точности, как следует, по принадлежности.

— Ну, говори... исправно, удачно волочился?

— По долгу обязанности, исправно.

— Хорошо! О, да из тебя будет прок! ну, за кем же волочился? говори всю подноготную... я и сам бывал не промах! За кем же? а?

— За кем? — повторил Емельян Герасимович,— за кем же, как не за Варварой Артамоновной!

— Как! — вскричал Артамон Матвеевич,— за моей дочерью?..

— Варвара Артамоновна лучше всех,— отвечал Емельян Герасимович.

— Как! Ах ты, шпареной поросенок!.. за моей дочерью!

Емельян Герасимович удивился грозным восклицаниям Артамона Матвеевича.

— Ну! что ж ты, говори! волочился? Она тебе отвечала?

— Отвечала.

— Отвечала?

— Отвечала.

— Ах ты, разбойник!.. соблазнять мою дочь!.. Ну, что ж ты, говори! говори все, как было!

— Она спросила меня: о чем я задумался...

— Ну!

— Я сказал: о ком же мне думать, как не о вас, Варвара Артамоновна...

— Ну, а она?

— А она?... я потребовал у нее ручку...

— Еще и руку!.. руку моей дочери!.. Ну, что ж она?

— Она не давала...

— Еще бы тебе дочь моя дала свою руку, да еще без согласия отца.

— Да я сказал, что разобью себе голову!

— Жаль, пусть бы шишка вскочила на лбу!..

— Что ж, я бы и разбил себе голову! — сказал Емельян Герасимович решительно,— мало того, я бросился бы в окно.

— Кто ж помешал? черт, что ли?

— Нет, не черт, а Варвара Артамоновна не допустила.

— Как! — вскричал Артамон Матвеевич, вскочив с места.

— Вот так... схватила меня обеими руками, а я тотчас же...

— Что тотчас же?.. ах, ты, негодяй! мою дочь срамить!.. Сестра сквозь пальцы смотрит, что в ее доме такой соблазн!.. Да я тебя обдеру, как крупу, сударь!.. Что ж вы, целовались?.. миловались?.. а?

— По принадлежности,— отвечал тихо Емельян Герасимович, не понимая, за что сердится Артамон Матвеевич.

— По принадлежности? а? что? ну!.. Э, э! да ты молчишь, приятель! Знает кошка, чье мясо съела!.. Постой, я тебя выучу, дружок!.. Вестовой! под арест его! на хлеб да на воду!..

Артамон Матвеевич так рассердился, что вдруг охрип и осип; он что-то говорил, но нельзя было разобрать его слов; вестовой стоял в ожидании конца приказания и повторял: «Слушаю-сь!» до тех пор, покуда Артамон Матвеевич и его и Емельяна Герасимовича не вытолкал в дверь.

До самого Можайска арестованный Емельян Герасимович ехал в обозе и не горевал, за него горевал Пафнутьич.

— Батюшка-барин, за что это на вас прогневался Артамон Матвеевич?

— За что? за Варвару Артамоновну.

— Да что ж вы ей сделали?

— Да так, ничего!

— Да что ж такое, сударь?

— Ах, да отстань, Пафнутьич! Что сделал, то и сделал!

— Ах, ты, господи боже мой! что я скажу Наталье Дмитриевне! — твердил Пафнутьич.— Да вы уж, сударь, не погубили ли девушку-то?

— Погубил? Да не сам ли он приказал мне губить первую, которая понравится! Кто его знал, что приказание не распространяется на Варвару Артамоновну!.. Я исполнил все, как сказано, по принадлежности, и прав!

— Ох, барин, барин, что вы наделали! — слезно плакался Пафнутьич.— Я думал, что вы тихая душа, что уж добрее вас и на свете нет; ан вот... какой казус учинили! Что я напишу Наталье Дмитриевне?.. а я *обовязан* докладывать истинную правду.

— Ну, перестань выть! — сказал Емельян Герасимович и прибавил одну из пословиц, которые заставлял его твердить Платон Андреевич на выворот,— что написано топором, того не вырубишь пером!

Глава пятая

О том, как Емельян Герасимович поднял на ноги всю камеру лихорадочных в лазарете

Полк пришел в Можайск; Артамону Матвеевичу предписано было принять в свое ведение походный лазарет и по получении повеления конвоировать его в Москву.

По принятии лазарета, Артамон Матвеевич назначил Емельяна Герасимовича бессменным дежурным с тем, чтоб ни шагу из лазарета.

Как исправный дежурный, Емельян Герасимович тотчас же пошел по камерам раненых и больных.

— Чтó, ребята, больны?

— Больны, ваше благородие.

— Все до одного больны?

— Все до одного, ваше благородие.

— Ну, на здоровье, ребята; а чтó ж вы тут делаете?

— Да чтó, нéчего делать, ваше благородие, лежим, а подчас и посидим, как отляжет.

— Стыдно сидеть сложа руки!

— Стыдно, ваше благородие, да дело невольное.

— А кто неволит?

— Да есть тут командирша лазаретная.

— Чтó за командирша такая, где она?

— Да вот она, ваше благородие: Кузьму Иванова, полкового сказочника треплет — трррах! трах! трах! трррррр!

— Это чтó такое!

— А вот, ваше благородие, он зубами бьет сбор на плац; сейчас начнет сказку.

— Трррах! трах! трах! Лежи смирно, ребята! по команде, слушай! В некотором царстве, в некотором го-

сударстве...— начал, пробарабанив зубами, полковой сказочник, который в жару лихорадки бредил сказками. Только что начнет его бить лихорадка, пойдет стукотня зубами, потом кинет в жар, и солдат начинает сказку: — В некотором царстве, в некотором государстве...

— В некотором государстве? ну! — сказал Емельян Герасимович, ужасный охотник до сказок, садясь на табурет подле койки солдата-сказочника и внимательно слушая его рассказ.

— В некотором царстве, в некотором государстве,— продолжал солдат-сказочник,— жил-был на постоянных квартирах полковой командир, и было у него три майора, два умных, а третий — так ничего; и был у него сад, а в саду на деревьях росли румяные солдатики, а в цветнике все полевые цветы: ружья, тесаки, ранцы и разные снаряды. Дорожки словно солдатская портупея, мелком вычищены и вылакированы. Вот, долгое время все честно было и в целости, вдруг смотрит дежурный по караулам, что ночь, то пропажа и казне убыток: кто-то обрывает солдатиков. Что делать! дежурный глаз не смыкает; да перед зарей ветерок, словно винный спирт, в нос кинется,— смотришь, охмелеет дежурный и всхрапнет — глядь, а на каком-нибудь дереве нет солдатиков. Пошел дежурный докладывать про беду полковому командиру.— «Ваше высокоблагородие! у нас в саду что-то не честно, кто-то солдатиков обрывает».— «Что ж ты смотрел? а?» — «И в очки смотрю, да не вижу, ваше высокоблагородие».

Посылает полковой командир пример-майора на ночь в сад стеречь солдатиков. Пошел пример-майор; чтоб не спать, стал амуницию пригонять. Всю ночь просидел — нет никого; а перед утром подул ветерок винным спиртом, такой хмельной, что мочи нет; отуманило доброго молодца, приклонил он голову на плечо, да как всхрапнет — глядь, а белый день на дворе, и солдатики оборваны. Погонял полковой командир пример-майора; на следующую ночь послал секунд-майора. И тот тоже. Пришел черед третьему — просто майору. «Постой, думает он, я не таковской!» И взял он с собой чесночку да лучку, залег под деревом — затянул песню:

Ох ты, девица,
Ты красавица,
Ты позволь, душа, солдату
Поживиться от тебя!

Вдруг слышит, под утро, хмельным запахло. «Доброе дело! говорит, у нас есть чем и закусить». Только что ветерок пахнет спиртом, поднесет ему, а он и закусит лучком да чесночком. И притворился он, прилег пьянюгой, всхрапнул, свистнул носом, высматривает, что будет. Видит — летят, черт знает на чем, душки-холодашки, а впереди их лихоманка — синяя-пресиняя. «Постойте, говорит, не нужно ли ему еще поднести?» И подошла она к майору, приложила ухо; а он ее цап-царап за длинную косу. «Ух, говорит, какая славная коса, точно грива, хоть на гренадерский султан!» — «Сударик, солдатик, господин служилый, господин майорик, генерал ты мой сердечный, сделай милость, что хочешь возьми, только пусти!» — «Ну, а что́ дашь?» — «Дам тебе любую душку-холодашку, выбирай по́ сердцу».— «А зачем ее мне?» — «В жены — славная будет жена, молодица, каких свет не производил».— «Э, нет, уж если жениться мне, так на тебе».— «Как можно! ведь я лихоманка, царица лазаретного царства».— «А чем я хуже тебя — майор и разных орденов кавалер? Не хочешь, так ступай со мной в главную квартиру; там тебя сквозь строй проведут».— «Ну, так и быть, говорит, вот тебе рука моя».— «Э, нет, покажи сперва свое царство, да много ли у тебя всякого богатства».— «Нечего делать, полетим».

Вот, закрутив косу в руке, полетел добрый мо́лодец с лихоманкой,— душки-холодашки за ним следом. Летели долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, и прилетели они в лазаретное царство, спустились у белокаменных палат. Лекаря, фершала́ повыскакали на крыльцо, навстречу, приняли лихоманку под руки, и майор с ней рядом. Вошли в палату, а в палате по обе стороны на койках солдатики лежат да поохивают. «Много народу в твоем царстве! — сказал майор.— Здорово, ребята!»— «Здравия желаем, В. В.!» — проговорили в голос солдатики, выровнявшись на койках, руки по швам.— «Что́, каково вам здесь?»

— Очень.., ваше высокоблагородие... если б порция немножко...

— Как, что́? да чем вас кормят?

— А бог знает чем, ваше высокоблагородие, и названья-то кушаньев все не русские.

— Прикажите-ко, сударыня моя, показать ваши провиантские магазины.

Провели майора в аптеку.— Ну, говорит, какой порядок! это, верно, крупа и мука, солдатские пайки в банках? славный порядок! Посмотрим теперь кухню.— Посмотрел майор, подивился.— Что́ же это, говорит, такое? верно похлебка, а это размазня с маслом? — А вот мы тебя поподчуем, возлюбленный мой,— говорит ему лихоманка, подает ручку и ведет за браные столы. Уставлены столы склянками и банками, все с ерлычками печатными. Только что майор в палату, вдруг душки-холодашки застонали, заохали лазаретную песню.

— Что́ ж это у тебя за девицы такие голосистые?

— А это все мои прислужницы; они и за больными ухаживают. Вот эта запевальница — резь, это — костоедица, это — грыжа, это — ломота... невесты хоть-куда! женись только на какой — сохранит верность до гроба; не то что горячки-наложницы — нет, у меня на это строго! Садись же, возлюбленный мой!

— Ничего, мы постоим; поднеси-ко сперва водочки да погорчее.

— Изволь, возлюбленный! Подайте, мои врачи любезные, хинной.

— А закусить-то чем?

— У нас, возлюбленный мой, не закусывают, а запивают водицей.

— Тьфу, что́ это, желудочная, что́ ли, для сварения желудка?

— Именно для сварения желудка, чтоб сам он не смел пищи варить — на то ему кухня латинская; глупому ли желудку вверять жизнь человеческую: ни выбирать пищи не умеет, ни меры не знает; то переварит, то недоварит — нет, у нас пища по выбору, вся на здоровье, отпускается весом да мерой, чтоб уж нечего было выбрасывать... Вот для этого-то хинная настойка — прекрасная вещь: тотчас завалит желудок, запрет хоть куда.

— Вот что́! а потом ты и женишь на какой-нибудь душке-холодашке?

— Нет, сперва вытреплю хорошенько, сперва заморожу кровь в жилах, а потом растоплю мозг в костях...

— Как! ты и солдатиков треплешь! А вы позволяете себя трепать?

— А что́ ж делать, ваше высокоблагородие: здесь не своя воля. Вот если б поднесли нам полынковой, по стаканчику, так мы бы сами растрепали ее.

— Полынковой! — воскликнул майор.

— Смилуйся, возлюбленный мой! — крикнула лихоманка.

— А вот постой, смилуюсь.

Как поднесли фершала́ больным по стаканчику полынковой... ух! так по животу и пошло!

— Ну, ребята, принимайтесь за дело!

Как встрепанные, вскочили они с коек, надели халаты и колпаки лазаретные.

— Трепли ее! — крикнул майор.

Начали они трепать госпожу лазаретную: разбежались со страху душки-холодашки, лекаря и фершала.

— Стой, братцы, надо представить ее за́живо полковому командиру, чтоб видел он ее, что́ за птица такая; во фронт! строй колонну по любому взводу! скоком, лётом, марш, марш!

Вот выстроились солдатики во фронт, потом построили колонну. Целая армия идет; а лихоманку связали и везут в обозе.

Как стали подходить к полковой квартире, часовые на городских стенах *ужахнулись,* бегут докладывать командиру, что турки идут в силе великой, в халатах и колпаках. Командир смотрит, а это свои в госпитальной амуниции. «Господин полковник, честь имею явиться! — крикнул майор,— команда обстоит благополучно, больных ни одного». Обрадовался полковой командир, не знает, как принимать майора, по службе или по дружбе. Как представил майор лихоманку, он так и ахнул, и собрал военный совет: что с ней делать? присуждено было уничтожить ее, а полковой лекарь говорит: «Нет, не дозволю, она по моей части». Пример-майор и секунд подтвердили, что действительно лихоманка не по фронтовой части. Вот и решили отдать лихоманку в распоряжение полкового лекаря; а полковой лекарь взял, да и женился на ней. Пошел пир горой! я там был, микстуру пил; выпил с полбочки, а толку нет!.. ух! трррр!.. что́ это, братцы, за злая такая барыня!..

— А что́? — спросил Емельян Герасимович.

— Да весь полк переколотила. Кроме майора — его боится.

— Неужели?

— Право так, ваше благородие! вот и ко мне привязалась ни с того ни с сего; за то, что походом, в жары, холодной водицы испил; бог свидетель! да так бьет, как изволите видеть — все зубы выбила!

— Бедный! — сказал Емельян Герасимович.

— Бедность не порок, ваше благородие.

— Что́ ж такое?

— Да так, ничего.

— А если ничего, так о чем же и горевать?

— Кто ж горюет, ваше благородие: одно только горе на свете, как опохмелиться нечем да как вместо полынковой поднесут хинной.

— Действительно, ваше благородие, уж это горе такое, что господи упаси! вот хоть бы и здесь...— крикнула в один голос вся камора лихорадочных.

— Постойте же, ребята, я вам полынковой поднесу! — сказал Емельян Герасимович и тотчас же выдал вестовому денег на три ведра полынковой.

Три ведра вмиг явились.

— Лей ребятам в лазаретные кружки!

Как налили. «Здравия желаем, ваше благородие!» — крикнула вся камора лихорадочных — и залпом, ух! так и пошло по́ сердцу!

— Что́ ж, братцы, будем мы лежать в койках,— сказал солдат-сказочник,— по команде, вставай! надевай амуницию, запевалы, вперед! потешим его благородие... Ну, вприсядку!

Ой, жги, говори-говори!
То не ветры шумят,
То не буйные:
У солдатика с похмелья
Зашумело в голове!
Ой, жги, говори-говори!
То не писарь строчит,
По листу крутит пером;
То солдатик, ножка в ножку,
Знай — выписывает.
Ой, жги, говори-говори!

И все до одного солдатика лихорадочной каморы *расходились*, знай, выписывают; стук, гам. У Емельяна Герасимовича сердце радуется, а дежурный фельдшер проснулся, глядь в камору спросонок, и бегом к дежурному лекарю.

— Ваше благородие, в лихорадочной каморе неспокойно.

— Что́ такое?

— Да все до одного в белой горячке, с коек повскакали, крик, гам, так и возит их по каморе.

— Ну, уж сердце чувствует, что аптекарь вместо хины, ошибкой черт знает чего в микстуру положил!

Бежит дежурный лекарь в камору, взглянул и стал в дверях как вкопанный.

— Здравия желаем, ваше благородие! — крикнули солдатики.— Просим извинения, мы на радости: завтра на выписку из лазарета.

— А каково я их поднял на ноги? — сказал Емельян Герасимович,— ребята, ну, эй, жги, говори-говори!

— Чтó вы делаете! — вскричал лекарь.— Как можно больных заставлять плясать и петь!

— Как больных? да они здоровехоньки; кто их заставляет! Я только велел им поднести по кружке полынковой — и пошла писать, да не пером, а как бишь, братцы?

— Что вы сделали, господин дежурный! вы произвели в них жар и бред! белую горячку! Я не отвечаю!.. Я сейчас же доложу г. полковнику!

— А! доносите, пожалуй! — сказал Емельян Герасимович.

— Вы уморите их, господин офицер! — кричал дежурный лекарь, выходя поспешно из каморы.

— Слышите, ребята? говорит, что я уморил вас!

— Рады умереть за ваше благородие! — крикнули солдатики.

Ой, жги, говори-говори!

Вдруг послышался громкий голос Артамона Матвеевича.

— Братцы, по койкам! — сказал солдат-запевало.

— По местам,— сказал Емельян Герасимович, выходя в дежурную.

Двери каморы отворились, вошел Артамон Матвеевич, за ним старшие и младшие лекаря.

— Ну, чтó тут такое? — сказал громогласно Артамон Матвеевич, войдя в камору.

Видит — все солдатики лежат на койках, спят, как убитые.

— Ну, чтó ж такое? — повторил Артамон Матвеевич.

— Я сам видел, вот и фельдшер видел,— сказал лекарь.

— Все были в бреду и в жару, повскакали с коек, как бешеные,— сказал фельдшер.

— Да ты, любезный, кажется, сам в жару — ступай, ступай; вперед с просонков прошу не поднимать тревоги, мало ли тебе что во сне приснится!

— Да, помилуйте, они верно впали в летаргию, в болезненное бесчувствие после сильного горячешного припадка... Очень неудивительно... Извольте сами испытать, они лежат как деревянные, совершенно без чувств!

— Изволь, испытаю, услышат ли они мой голос: здорово, ребята!

Вдруг, кто всхрапнул, кто чихнул — потерли глаза, приподнялись, глянули на полковника да как крикнули: — Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

— Довольно; спи, ребята, на здоровье! — сказал Артамон Матвеевич, уходя.

Глава шестая

О том, как Наталья Дмитриевна
боялась страстной любви
Емельяна Герасимовича к Вареньке
и женила бы его на ней,
если бы не французы

Емельяну Герасимовичу не удалось выслушать всех сказок, которые солдат-сказочник пересказывал в жару и бреду лихорадки.

На другой же день лазарет, под прикрытием полка ратников, отправился в Москву. По прибытии полк расположился в Головинских казармах. Артамон Матвеевич приказал Емельяну Герасимовичу явиться к себе.

— А!.. приятель, это ты? — сказал он,— слушай: если ты осмелишься отлучиться хоть на шаг из казарм или хоть нос свой покажешь в доме сестры, то я тебя, понимаешь?..

— Понимаю,— отвечал Емельян Герасимович.

— Понимаю! я тебе дам понимаю! Ступай!

Емельян Герасимович отправился в казармы; а Артамон Матвеевич прямо к сестре.

Наталья Дмитриевна и Варенька, узнав о его приезде, бросились к нему навстречу; но он дочь оттолкнул от себя, а Наталью Дмитриевну взял за руку, повел в другую комнату.

— Слушай, сестра! — начал он гневным голосом.

— Что́ это значит? — вскричала Наталья Дмитриевна.

— А вот что́: я оставил тебе на руки дочь свою не для того, чтоб какой-нибудь мальчишка, Емелька, осмеливался...

— Что́ такое? — крикнула опять Наталья Дмитриевна, прервав его слова.

— А вот что́: Варвара!

Варенька, испуганная и огорченная встречей отца, вошла вся в слезах.

— Поди сюда!

— За что́ вы, папинька, сердитесь на меня? — проговорила она, схватив руку отца.

— Прочь!

— Папинька!..— повторила Варенька умоляющим голосом.

— Знаю я, сударыня, все!

— Вы с ума сошли, сударь,— сказала Наталья Дмитриевна, тщетно вырывая свою руку, которую Артамон Матвеевич крепко держал.

— Погоди! не с ума сошел, а на ум набрел!.. Знаю я, сударыня, ваши шашни с Емельяном!.. Ты думала, что в кармане шило утаишь?.. Врешь, милая!.. а! в слезы!.. Пошла, плачь, негодная девчонка!.. Вот, сударыня-сестрица, чему учится в вашем доме моя дочь, а ваша племянница!.. Не думаете ли вы упрочить ее в жены своему любезному воспитаннику! Нет, сударыня, не паршивой шафке-замарашке этот кусок!.. Чего доброго, может быть, и с вашего позволения мальчишка вздумал искать со мной родства, просить руки моей дочери; да я не посмотрю на страстную любовь: одного в фурлейты, другую в монастырь!.. Прощайте-с! очень сожалею, что не могу сейчас же взять дочь из-под вашего надежного покровительства; но постараюсь скоро это исполнить!

И с этими словами Артамон Матвеевич оттолкнул от себя Вареньку, бросил руку сестры и скорыми шагами вышел.

Наталья Дмитриевна насилу опомнилась.

— Что́ это значит, Варенька? — спросила она.

— Не знаю, ей-богу, не знаю, тетенька! — повторила Варенька, горько рыдая.

— Не может быть, ты должна знать; признайся мне, Варенька... Ты должна открыть свое сердце тетке своей... Про какую любовь говорит твой отец?

— Не знаю, не знаю! — повторила Варенька.

— Он сам сказал, что Эмилий просил у него твоей руки, и признался, что ты его любишь... Говори же, друг мой!.. Было между вами что́-нибудь?

— Он просил точно у меня руки... да что́ ж...

— И скрыл от меня! Что́ ж ты ему отвечала?

— Ах, боже мой, он перепугал меня, сказал, что убьет себя, я дала поцеловать руку... чтó ж в этом?..

— И скрыла от меня? прекрасно! Это любовь и доверенность к тетке... Теперь все кончено; я знаю брата: он не пощадит своей родной крови... пожалуй, в самом деле отдаст в монастырь.

Варенька от страху почти без чувств упала в объятия тетки.

— Бедная! — продолжала Наталья Дмитриевна,— знай я это, я бы исподволь устроила судьбу вашу. Он загонит его в гроб!.. Варенька! успокойся, друг мой: может быть, я успею еще чтó-нибудь для вас сделать...

И Наталья Дмитриевна немедленно же послала за Емельяном Герасимовичем. Но посланный воротился и сказал, что Емельян Герасимович не может отлучиться из казарм. Наталья Дмитриевна в отчаянии села в карету и отправилась сама в казармы.

— Едем, мой друг! — сказала она, нежно обняв своего воспитанника, который, как утомленный, лениво приподнялся с постели.

— Как едем? — спросил Емельян Герасимович.

— Едем домой, одевайся скорей, Эмилий!

— Домой? не могу,— отвечал Емельян Герасимович.

— Как не можешь? Это чтó такое?

— Так, не могу; полковник не велел мне отлучаться из казарм; а к вам носу показывать не велел... чтó ж мне делать? не отрезать нос, да ехать к вам!..

— Какая злоба!.. я этого не перенесу!.. А ты, как тебе не стыдно скрывать от меня свое сердце? я все знаю. Бешеный мой брат все высказал... Ты просил руки Вареньки... и не предупредил меня, не предупредил ту, которая любит тебя как мать!..

— Почему ж я знал, что мне надо было вас предупреждать! Вольно ж вам было не учить меня как предупреждают,— сказал Емельян Герасимович.

— Как! я тебя не учила иметь ко мне во всем доверенность?

— Да это не доверенность, maman! — отвечал Емельян Герасимович.

— Как не доверенность? Вдруг, прямо, не обдумавши, не посоветовавшись, открыть свои намерения отцу ее!.. ты погубил и себя, и Вареньку!

— Опять я погубил! Да каким же образом погубил? черт ее знает, как и губят-то, я не знаю! — сказал Емельян Герасимович.

— Черт! что это за слово!.. да, сударь, погубил! Он хочет отдать Вареньку в монастырь, а тебя загонит!..

— Загонит так загонит! да куда ж он меня загонит? загоняют только в хлев — знаете кого?

— Молодость, молодость! — произнесла с вздохом Наталья Дмитриевна,— скажи мне все, я хочу знать подробно... признайся мне!..

— Подробно! до подробности ли, когда он рассердился на меня так, что велел арестовать.

— Арестовать! — вскричала Наталья Дмитриевна.

— Во все время похода я был арестован, а за кого? ни за кого? черт знает за кого!

— Опять черт! Что́ это, Эмилий, ты совсем загрубел!

— Ну, не буду, не буду, маман, говорить про черта, черт с ним!

— Так он тебя арестовал?

— А как бы вы думали!

Наталья Дмитриевна прослезилась.

— О, я вижу, чего это тебе стоило!.. недаром ты похудел, глаза впали...

— Не спал целую ночь,— отвечал, зевая, Емельян Герасимович.

— Не спал ночь! удивительно ли!

— Проиграли целую ночь в банк с товарищами... шампанское рекой лилось... роскошь!

Наталья Дмитриевна ужаснулась.

— О, боже мой! любовь и отчаяние погубят его!.. Друг мой! я вижу, что отчаяние овладело тобой; отчаяваться не должно; дай мне честное слово, что ты не будешь предаваться отчаянию, я все для тебя сделаю,— ведь ты бедный сирота, у тебя нет наследия; кто ж пристроит тебя, если я не пристрою при жизни своей... Варенька будет твоей.

— Варенька? нет, не будет! — сказал Емельян Герасимович.

— А почему?

— Почему? как почему?

— Да, почему?

— А потому не будет, что не будет!

— Будет, будет, верь мне! только нужно терпенье.

— Шутка! сами вы говорите, что терпенье-то есть добродетель.

— Твоя безнадежность слишком велика, друг мой, ты даже мне не веришь. Все это говорит твое отчаяние; но если б ты видел положение Вареньки!.. О, нет, я не

хочу, чтоб ты и племянница моя были жертвами каприза моего брата!.. Ты даешь мне честное слово не играть и не пить?

— Как это можно! да это никак невозможно! — вскричал Емельян Герасимович.

— Как невозможно? отчего невозможно? Предаваться порокам!

— Все предаются, а я что́ за выскочка?

— Беги от тех, которые предаются.

— Бежать? нет, покорно благодарю! за побег худо бывает!

Наталья Дмитриевна, предвидя все бедственные последствия страстной любви, начала уговаривать Емельяна Герасимовича, но вдруг повестка к сбору. Он схватился за вооружение, крикнул: — Прощайте, maman, некогда слушать! — И ушел.

Наталья Дмитриевна в отчаянии поехала домой. Она придумывала уже средства, как устроить союз своего воспитанника Эмилия с Варенькой. Приезжает — ей докладывают, что Артамон Матвеевич был без нее и увез Вареньку; посылает карету за Емельяном Герасимовичем, чтоб ехать к ней непременно; ей докладывают, что полк уже в походе.

Наталья Дмитриевна заболела от отчаяния — слегла в постель.

Глава седьмая

В которой описывается,
как Емельян Герасимович отправлен был в Москву,
приехал туда живой, а выехал мертвым

Между тем полк Артамона Матвеевича конвоировал новый отряд пленных по Владимирской дороге. В Шуе получил повеление опять следовать в Москву; но не доходя двух переходов, был остановлен известием, что французы вступили в древнепрестольный град. Известие о взятии Москвы ужасно как встревожило Артамона Матвеевича; потому что он не имел никакого известия о дочери.

Забыв сердце свое на Емельяна Герасимовича, он призвал его к себе.

— Знаешь ли, брат Емельян,— сказал он ему,— Москва-то в руках французов; а в Москве-то остались и се-

стра Наталья Дмитриевна, и Варенька у сестры Прасковьи. Чаю, это и тебя беспокоит?..

— Как же, Артамон Матвеевич! чрезвычайно беспокоит! Пафнутьич наговорил мне таких ужасов, что страх!

— Как бы узнать, братец, об них?

— Отчего ж не узнать, Артамон Матвеевич: когда придем с полком в Москву, так и узнаем.

— Куда с полком? помилуй, любезный, полку предписано идти не на Москву.

— Для чего же это так предписано? надо бы предписать непременно идти на Москву, потому что там Варвара Артамоновна.

— Чтó ж будешь делать! а надо как-нибудь съездить туда... не знаю, кого бы послать...

— Да зачем же посылать, я съезжу, Артамон Матвеевич: отчего ж не съездить, слетаю! — сказал Емельян Герасимович.

— Право? съездишь?

— Извольте, съезжу, по долгу обязанности, начальничье приказание всё равно, что просьба.

— Нет, приказывать-то я не стану; это, братец, дело не по службе; а так, от себя съезди... так, как будто поехал форпосты осматривать.

— Слушаю, Артамон Матвеевич: исполню ваше приказание.

— Да нет, братец, не приказание!..

— Ну, не приказание, так не приказание, все равно, я еду.

— У тебя конь лихой; отсюда верст с тридцать, не больше; гони в хвост и в голову, к ночи приедешь; а по ночи проберешься переулками к дому сестры Натальи Дмитриевны; а там узнай, уехала ли из Москвы сестра Прасковья... Сам бы поехал!.. Ну, да нечего делать, поезжай, брат Емельян, с богом! да только молчи, никому ни слова, куда и зачем едешь — слышишь?

— Слушаю, Артамон Матвеевич.

— Эх, да нет, брат, не говори «слушаю».

— Ну, как угодно.

— Как угодно!.. Опять-таки тебе говорю, что я не приказываю.

— Да я и еду без приказания, так еду, просто.

— Ступай, ступай с богом, да скорее вернись. Ну, выпей на дорогу, для куражу.

И Артамон Матвеевич своими руками поднес Емельяну Герасимовичу добрый стакан мадеры, которую сам пивал для куражу.

Емельян Герасимович крикнул:

— Коня!

— Куда это вы едете, Емельян Герасимович? — спросил дядька Пафнутьич.

Емельян Герасимович, не отвечая ни слова, вскочил на коня, свистнул и пустился по большой московской дороге. Исполняя приказание командира и не щадя вороного, мчался он как от погони, мимо тянущихся обозов и бегущих из Москвы жителей. К вечеру заблестели перед ним золотые маковки. Как испуганная ворона, размахивает он ногами и руками, будто крыльями, летит прямо на форпост неприятельский, состоявший из польских улан. Они преспокойно раскладывали огонек, и, покуда успели взглянуть, что́ за птица несется на них, Емельян Герасимович пропорхнул мимо, скрылся из глаз. Покуда часовые подле заставы без шлагбаума разинули рот, чтоб крикнуть: qui vive? [1] — Емельян Герасимович скакал уже по Москве, не обращая внимания на бедную, погоревшую Москву. Но богатырский конь не вынес рвения, которым был исполнен его седок, задохся от быстрого полету, надорвался и со всех четырех ног грянулся оземь. Емельян Герасимович, хоть не на пуховике, а растянулся посреди улицы; но перевел дыхание, крякнул, приподнялся: «Ну, ну!» — да не тут-то было. Вороной ни с места.

— Вставай же, говорят тебе,— вскричал Емельян Герасимович,— а не то я наплюю на тебя! слышишь?..

Напрасно тянул он коня за узду; хотел уже с досады плюнуть. Вдруг кто-то схватил его за горло, так что чуть-чуть глаза не выкатились. Это были три мародера *великой армии.*

— Хопп-са! — вскричал один из них, повалив Емельяна Герасимовича на землю; другие двое стащили с него сапоги, стянули с плеч кафтан; к счастью, мародерам послышались вдали голоса и конский топот приближающегося патруля; они оставили Емельяна Герасимовича, не успев снять с него всей аммуниции; одеяние, украшенное лампасами, уцелело на нем. Полежав несколько секунд на земле в молчании и недоумении, что̀ с ним случилось, Емельян Герасимович встал, осмотрелся кругом: на улице, озаряемой только отдаленным пожаром, пусто.

[1] Кто идет? *(фр.)*

— Да ну, вставай! — крикнул он на коня, толкнув его в морду ногой,— слышишь? вставай, покуда черти опять не пришли!.. тьфу, дурак!..

И Емельян Герасимович, исполнив данное обещание бедному воронку, пошел вдоль по улице пешком. Сентябрьская ночь холодна; упаренный во время скачки и вдруг спешенный и разоблаченный почти донага, Емельян Герасимович продрог и в надежде согреться дома торопился. Но вот он почувствовал, что температура как будто переменилась, стало теплее: он приблизился к сгоревшему, но еще тлеющему каменному дому. Внутри то потухал, то вспыхивал еще пламень. Емельян Герасимович, утомленный, присел на мостовую, как на горячую лежанку,— славно! — да вместо холода одолела страшная жажда. Жаль расстаться с теплом, да нечего делать — дома чай и согреет и утолит жажду. До дому же и не так уж далеко. Пошел Емельян Герасимович то шагом, то рысью. «Вот и улица наша! вот и соседский дом! эге, а наш-то где?» Только что каменный фундамент цел.

Хоть в Емельяне Герасимовиче было природное равнодушие ко всем превратностям мира, но он остановился и, осматриваясь кругом, не поверил бы глазам своим, если б на дворе не уцелели знакомые ему кухня, конюшня, сарай и над сараем сушильня в виде китайской беседки.

В кухне светит огонек. Чувствуя уже какое-то онемение во всех членах, Емельян Герасимович едва добрался до кухни, вошел. На столе нагоревшая свеча бросает слабый свет; по столу разбросаны остатки хлеба и картофелю; тут же с чем-то баклажки. Казалось бы, что в кухне пусто; но тут должны быть постояльцы — по стенам развешана военная аммуниция, по лавкам сабли и карабины, а на печке и на нарах подле печки кто-то храпит на разные голоса. Не обращая внимания, что̀ за усачи лежат под шинелями и попонами, утомленный Емельян Герасимович подошел к столу, схватил баклажку и стал с жадностью пить. Баклажка уже была пуста; но он еще судорожными движениями рта ловил ее, и вдруг грохнулся без памяти на пол. Баклажка покатилась под лавку.

— Qui vive? [1] — вскричал один усач во сне, но прочие не откликнулись.

---

[1] Кто идет? *(фр.)*

С рассветом один из конных *шассёров* проснулся, накинул шинель, встал.

— Чтó за черт! Это чтó? — сказал он, взглянув на распростертого на полу Емельяна Герасимовича.

— Hé! camarades! [1] — крикнул солдат к товарищам.— Смотрите, откуда взялся тут мертвец?

Все вскочили, подошли к Емельяну Герасимовичу, толкают его ногами.

— Вправду мертвец!.. да еще кажется русский казак! Э, братцы, не притворился ли? Смотрите, осторожнее.

— Какое притворился, зубы оскалил.

— Да! смотрите ему в зубы-то!

— Да кольни его саблей!

— Кольни-ка сам.

— Э, трус!

— Кто, я трус? En garde! [2] становись!

— Полно братцы, как не стыдно! за мертвеца подрались!

— В самом деле мертвец! откуда его черт принес?

— Разумеется, не с того света.

— Что ж с ним делать?

— Что делают с мертвыми собаками.

— Куда ж его выбросить?

— А по-моему, поймать какого-нибудь мужика, взвалить ему на плечи, да и выпроводить за ворота.

— В самом деле.

Как сказано, так и сделано. Привели какого-то отощавшего русского. «Бери! — говорят ему,— тащи!» Но он не в силах был поднять бездыханного Емельяна Герасимовича.

— Так запречь клячу, что на конюшне, в дроги, и пусть его везет.

И вот взвалили бедного Емельяна Герасимовича на дроги, покрыли рогожкой, посадили на передок пойманного человека, дали в руки возжи и дубинку и погнали пегую клячу со двора долой.

— Марш!

Но пойманный русский с роду не исправлял должности Харона, сроду не хоронил людей. Поворотив в другую улицу, он оглянулся назад, бросил возжи, соскочил с дрог, хлопнул по кляче дубинкой, а сам тягу.

Кляча проскочила сначала вдоль по улице, потом пошла шажком, потом остановилась, поосмотрелась, за-

---

[1] Эй, товарищ! *(фр.)*

[2] Защищайся! *(фр.)*

ржала и, как будто ориентировавшись, поворотила назад и побежала рысцой.

Пегая была из числа оставшихся подвод, пригнатых перед вступлением французов в Москву для вывоза разных тяжестей. Хозяин ее ушел от французов, а она осталась в плену.

Чувствуя свободу, она ржала на всю улицу, подавая голос обозным клячам своего села, с которыми привыкла она возить в Москву сено, овес и мороженых свиней.

Выбравшись на Арбатскую площадь, она как будто узнала наконец дорогу к дому, заржала и прытко пустилась по Знаменке к Каменному мосту. Перед мостом бросились было ловить ее несколько человек кавалеристов, но, взглянув на поклажу, которую она везла, отступились и долго смотрели с удивлением вслед за ней. На Полянке погнались было за ней человека три каких-то русских молодцов, схватили уж было за узду, да вдруг остановились как вкопанные и, крестясь, смотрели вслед за ней.

— Halte-la! [1] — вскричал часовой подле заставы; но коняка кинулась во всю прыть мимо его. Часовой паф! вслед за ней. С гауптвахты выбежали солдаты.

— Что̀ такое?

— Догоняй! прорвалась в заставу!

Капрал и два рейтара баварских вскочили на лошадей, догнали клячу, остановили.

— Держите *исправно,*— сказал капрал,— а я буду осматривать, что̀ такое здесь находится... Тс! тут скрывается человек! Надо принять меры осторожности.

Капрал вынул из чушки пистолет и приказал одному рейтару держать *исправно* лошадь, а другому подойти к дрогам и поднять рогожу, под которой скрывался человек...

— Это казак! — сказал рейтар с испугом, приподняв саблей край рогожи.

— Вероятно, он притворился спящим; сбрось с него рогожу; если он вскочит, я тотчас же выстрелю и положу его на месте.

— Гораздо лучше выстрелить, покуда он еще не вскочил: он вероятно вооружен с ног до головы и может кого-нибудь из нас ранить.

— Конечно, но мне хотелось бы взять его в плен: за пленного казака можно получить награду.

---

[1] Стой! *(фр.)*

— Но все не худо бы ранить его хоть в ногу.

— Постой же!

Капрал взвел курок, нацелился в ногу Емельяна Герасимовича — паф!

Кляча так испугалась выстрела, что рванулась, свалила с ног державшего ее рейтара и поскакала во весь опор. Капрал с другим рейтаром пустились было ее догонять, но, куда! тяжелым ли рыцарским коням догонять русскую клячу!

Освободившись от преследований, пегая освежила себя прохладной водицей из одного ручейка, протекавшего по лощине, пощипала травки, отдохнула и пустилась снова по дороге.

Пробежав верст тридцать по столбовой, пегая своротила влево к селу; здесь, верно, были ее знакомые. Но при въезде в село встретил ее только серый, хромоногий мерин, кости да кожа. Пегая приостановилась, заржала, подошла к серому, пообнюхались и, без сомнения, не поверив ему на́ слово, что селение пусто, отправилась прямо на постоялый двор, под навес, фыркнула, вытянула шею, зевнула и ждет — вот распрягут и поставят к корму. Не тут-то было. Посмотрев нетерпеливо назад — что ж это медлят ее распрягать? пегая подошла к яслям — пусто! ни сенца, ни овсеца. Нечего делать, поела соломки там-сям разбросанной и пошла на водопой к колодцу; в колодце было немного водицы,— испила, посмотрела на стороны, заржала и пустилась рысцой вон из села. При выезде было три дороги. Не затрудняясь в выборе, пегая избрала среднюю и благополучно прибыла к вечеру к другому селу. Тут уж верно были ее родные; подавая радостный голос, подняв хвост трубой, она бежала по селу бодрым, лихим конем.

Сельский мир, собравшись у избы старосты, о чем-то толковал.

— Чья это лошадь-то бежит с возом одна? — сказал один из мужиков.

— Держи!

— Э, дядя Василий, это твоя пегая!

— Да пегая же, пегая! ах, ты, господи, да откуда она взялась?

— Держи!

Народ кинулся вслед за пегой; но она, не поддаваясь никому, припустилась во весь скок прямо было в ворота одной избы,— да заперты. Остановилась.

— Ма́ма! пежко прибежал! — вскричал мальчик, сидевший на завалинке; но народ уже окружил пегую, обступил дороги, на которых лежал труп героя повести, накрытый рогожкой.

— Не замай, братцы! — кричал дядя Василий, расталкивая мужиков,— не замай, что привезла, то мое счастье! Прочь, говорят! Прочь, убью! Не подступай! Хозяйка, отворяй ворота!

Он встал перед возом, лицом к народу, кулаки наготове и повторял: — Отворяй ворота! — Но сбоку один молодец успел ухватить рогожку за край и сдернуть ее.

— Мертвец! — вскричали несколько голосов, увидя распростертого на дрогах Емельяна Герасимовича.

— Бери, бери себе, дядя Василий! Подавись им!

— Врешь, братцы, не надуешь! прочь, говорю! отворяй, баба, ворота, веди на двор!.. Подступись только кто, не помилую! ей-ей, не помилую! — кричал дядя Василий, не озираясь назад.

— Да что ты, Василий; ополоумел, что ль, пегая-то привезла убитого солдата! — вскричала хозяйка дяди Василия.

— Ах, ты, господи! — сказал дядя Василий, оглянувшись,— напасть какая!

— Солдат убитый! — повторил народ, обступив снова дроги.

— Ах, ты, господи! напасть какая! — повторял дядя Василий, схватясь за голову.

— Что брат, дядя Василий, а давича: не замай!

— Не трожь, братцы, не трожь, вишь это бог дал дяде Василию!

Пегая было двинулась в отворенные ворота.

— Пррр! ты! — вскричал дядя Василий, схватив пегую за узду и треснув ее по морде.

— Что ты, дядя Василий, не пускаешь свое счастье-то на двор?

— Ох, братцы, что̀ ж мне делать?

— Схорони к себе в сундук его.

— Свезти на кладбище, что̀ ль, дядя Иван? — спросил дядя Василий старосту.

— Что̀? нехристь может какой, а мы его к себе на кладбище! да еще следствие какое выйдет; скажут, убили солдата, да и похоронили.

— Вестимо, что надо его с нашей земли спровадить.

— Как спровадить-то: помилуй бог, кто увидит — все село покарают.

— Да откуда он взялся?

— Откуда? чай из Москвы везли раненых; пегая взяла да и своротила на свое село.

— А что ты думаешь!

— Ей-богу, так; стало быть, везли в лазарет, что в селе Куколкине.

— Так туда бы его и препроводить; а то еще хватятся его да и найдут по следам. Спросят, куда девали.

— Так ступай, брат Василий, вези его в лазарет.

— Что ж, я свезу.

Потолковали еще, повторили свое решение, и дядя Василий повез Емельяна Герасимовича в походный лазарет, который находился верстах в десяти от села.

Глава восьмая

О том, как Емельян Герасимович, успел ожить вовремя и каким образом волочился

Покрыв снова нашего героя рогожкой, дядя Василий засел на дроги и погнал свою бедную пегую добрым кнутом. Ночь уже была на дворе, когда он приехал в село, занимаемое лазаретом. Часовой у въезда окликнул.

— Раненого везу,— отвечал дядя Василий.

Часовой вызвал из ближней избы караул. Один из солдат отправился проводить подводу с раненым к дежурному лекарю.

Лекарь выслал фельдшера принять раненого; но фельдшер, по освидетельствовании, донес, что раненый уже умер.

— Ну, так свалить его в сарай, а завтра похоронить; или постой: Федор Федорович велел приготовить ему субъект для исследования мозговой перепонки. Отнеси его на адъютантскую квартиру; Сергей Яковлевич воротится не прежде недели; а там славно анатомировать, светло.

И вот несколько человек инвалидов взвалили Емельяна Герасимовича на носилки и перенесли в отдельный домик скотного двора подле помещичьего сада. Домик разделялся на две половины; лучшую занимал адъютант, а маленькую светелку раненый юнкер. Сложив субъект для исследования мозговой перепонки на пол, инвалиды вышли и отправились по квартирам.

С рассветом наш мертвец чихнул.

Добрый знак!

Вот он открыл глаза, смотрит, приподнялся, сел и опять смотрит на себя и вокруг себя. Нога вся в крови, рубашка также, что-то больно поворотиться. Комната незнакомая: подле стенки кровать, зеленый столик, несколько стульев; на одном стуле чемодан, на чемодане военный старенькой сюртук, с красной стамедной подкладкой, на колышке фуражка, в углу черкесская шашка да пары две сапогов.

Дрожь пробирала Емельяна Герасимовича; сперва он подполз к сапогам; сапоги с большой ноги, впору ему, только правая нога как будто поопухла, как будто обожжена икра. Отдохнув, Емельян Герасимович стащил с чемодана сюртук, с большим трудом напялил его на плеча и, приподнявшись, добрался до кровати, на которой лежал тюфяк, набитый сеном.

В это время дверь отворилась, и старший хирург в сопровождении младшего и двух фельдшеров вошли в комнату и остановились с удивлением в дверях.

— Где ж? — спросил старший хирург,— что ж вы мне сказали?..

— Ведь ты сказал? — спросил младший хирург, таращив глаза на фельдшера.

— Позвольте узнать, где я, господа? — спросил Емельян Герасимович.

— Здесь полковой лазарет. Мы думали, что вы умерли,— сказал старший хирург,— но слава богу...

— Лазарет? вот тебе раз! Да каким же образом я здесь очутился!

— Вас привезли совершенно мертвого!

— Как привезли? да нешто не сам я сюда приехал?.. Откуда привезли?

— Мы не знаем.

— Я не знаю, вы не знаете, да кто ж знает?

— Не припомните ли, где вы были в сражении?

— Я был не в сражении, а в Москве, по делам службы; стало быть меня там французы и убили?

— Он, кажется, в горячечном состоянии,— сказал тихо старший хирург.— Вы какого полка?

— Полка?.. милиционного.

— Жар и бред, однако же, невелики,— сказал тихо младший медик.

— Что̀ вы знаете! — заметил старший хирург.— Позвольте осмотреть ваши раны.

— Осмотреть? ну, осмотрите,— сказал Емельян Герасимович, протягивая ногу.

— Снимите ваш сюртук, вам принесут сейчас лазаретную одежду.

— Принеси халат и колпак! — сказал младший хирург фельдшеру.

— Покорно благодарю, я халатов и колпаков терпеть не могу!

— Но вам спокойнее будет... Посмотрите, вы все изранены... Ого! как вас нашпиговали! верно штыками!

— Штыками? неужели? вот тебе раз!

— В плечо рана пулей, но вскользь; позвольте — рейтузы прострелены, кажется, и нога ранена?.. Да, да, ранена пулей, но также счастливая рана... опасности нет; через несколько дней вы будете в состоянии отправиться в полк. Между прочим, мы вам пропишем микстуру для предупреждения лихорадочного состояния, которое очень легко может перейти в горячку.

— От лихорадки? от лазаретной барыни? микстуру хинную? покорно благодарю!

— А, стало быть вы с ней знакомы?

— Как не знать — синяя-пресиняя; я и на ее свадьбе был, микстуру пил, выпил полбочки, а толку нет.

— Видите ли,— сказал старший хирург младшему,— а вы, молодой человек, сказали, что у него нет бреда.

— Я, Федор Федорович, думал...

— Что̀ вы думали? вы лучше слушайте, что̀ вам говорят опытные. Ему надо прежде всего пустить кровь.

— Нет ли у вас полынковой? — спросил Емельян Герасимович,— да чего-нибудь поесть; мне ужасно как есть хочется!

— Хорошо, хорошо, в свое время вы получите свою порцию. Пустите кровь, чашки четыре, микстуру через час; а потом часа через два можно дать порцию супу.

Старший хирург вышел; а младший, оставшись с фельдшерами, предложил Емельяну Герасимовичу снять сюртук, чтоб промыть и перевязать раны.

— Я и ран не дам перевязывать, покуда не дадите мне есть,— сказал решительно Емельян Герасимович.

Медик тщетно уговаривал его и должен был наконец согласиться на требование раненого, по убеждению, что это — требование самой природы.

Принесли порцию супу и кружку воды; Емельян Герасимович удовлетворил несколько голод и жажду и согласился наконец на перевязку. Но когда медик предло-

жил ему протянуть руку, чтоб пустить кровь — Емельян Герасимович видал в лазарете, как пускают кровь, фонтанчик забавлял его; но, подумав, он сказал:

— Нет, теперь не хочется, в другой раз.

Медик согласился.

Оставшись один, Емельян Герасимович прилег на кровать и заснул. Ввечеру приставленный к нему инвалид принес порцию ужина, но не решился его будить. Он проспал богатырским сном весь день, всю ночь, все утро и очнулся в полдень. Фельдшер перевязал ему раны, инвалид пошел за порцией обеда, а Емельян Герасимович в ожидании утоления сильного аппетита присел к окну. За решеткой сада прекрасная аллея высоких густых лип, как нарочно, тянулась против него. Воображение поэта представило бы себе сверхъестественные вещи, вглядываясь в сумрачное отдаление аллеи; фантасмагорическое существо непременно затеплилось бы вдруг, как искорка посреди мрака, и стало бы разрастаться в очаровательную деву, в идеал совершенства, в существо, которого жаждут все чувства. Поэт ясно бы видел, что на ней ничего нет, кроме роз без шипов, кроме лилий и распадающейся косы по персям; она еще безбоязненно смотрит, еще не видит вызывающего ее всеми чарами мысли и мрака... Но вот, как пораженная, она приостанавливается, румянец вспыхнул, лен и шелк начинают застилать наготу ее, коса заплетается под гребень, локоны вьются и прилегают к пылающим щекам, взор поник, а ножка обулась, исчезла под ниспадающими струями одежды... исчезла, и сколько сокровищ природы запахнулось от скромных взоров поэта... Он бы и сам ни на что не смотрел, кроме ее глаз, ничего не хотел бы видеть, кроме взора любви... Он смотрел бы благоговейно, а ему не верят!

Емельян Герасимович, как не поэт, не видел ничего, что происходило в мире очарования; он только видел, что по аллее шла девушка с книгой в руках, медленно, как будто углубясь в чтение, приблизилась почти к самой решетке, боязливо приподняла глаза, глубоко вздохнула, взглянула прямо на него, вспыхнула, смутилась и скрылась в боковой аллее.

— Ушла! — сказал Емельян Герасимович, продожая с любопытством смотреть в окно. Но вот она снова появилась в аллее, снова, углубленная в чтение, подошла почти к самой решетке, села на дерновую скамью, оглянулась и торопливо опять устремила глаза в книгу;

потом склонила голову на плечо; грудь ее была в каком-то беспокойном волнении, вздымалась от стесненного вздоха и готова была хлынуть вон; но, к счастью, вздох освободился, вылетел из заключения и пропорхнул мимо Емельяна Герасимовича.

Не сводя глаз с очаровательного видения, Емельян Герасимович припоминал любимую свою полковую песню: «Ах, голубочка моя, о чем ты тоскуешь, и под сизое крыло головушку клонишь?» Он готов был пропеть ее, но вошел инвалид с порцией обеда.

— Эй ты! — сказал Емельян Герасимович,— не знаешь ли ты, чтó это за девушка такая ходит по саду?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Не могу знать! смотри в окно — видишь?

— Никак нет, не вижу, ваше благородие.

— Слепень!

— Да немножко есть, ваше благородие.

— Видишь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Не могу знать! Кто ж может знать?

— Да вот, может статься, сосед ваш, господин юнкер, знает про то.

— Так позови его.

— Ходить-то ему еще не можно, ваше благородие, он раненый.

— Так я сам пойду к нему,— сказал Емельян Герасимович и, скушав свою порцию, отправился к соседу.

— Мое почтение,— сказал он, войдя в комнату, где молоденький юнкер, лежа в постели, что-то писал.

Молоденький юнкер, привстав немного, робко поклонился. Это был природный поэт. До французов, в университетском пансионе, в каждом классе, был парнас, лавка высокая, под самым потолком. На этом парнассе восседали всегда лентяи, беспамятные и рассеянные, потому что из этого рода юношей развертывались всегда поэты, как из куколок мотыльки. Молоденький юнкер поступил на военную службу прямо с парнаса средних классов; под Бородином в пылу сражения он был ранен в ногу, но крылья души уцелели, и он в походном лазарете парил по беспредельному пространству мира фантазии; описывал ужасы битвы, гром и молнию орудий, стон земли, реки крови и потоки слез, проливаемых любовию в разлуке и в страхе за милых героев. Грустно поэту, когда он пишет, пишет, а прочесть нéкому. Моло-

денький юнкер обрадовался знакомству с бесцеремонным Емельяном Герасимовичем.

— Мне сказали, что мы соседи,— начал Емельян Герасимович, садясь.

— Очень приятно,— отвечал юнкер, воображая, что это адъютант.

— А вы все лежите?

— Я ранен в ногу,— отвечал юнкер.

— А я весь изранен. А вы все пишете?

— Да-с, я занимаюсь,— отвечал юнкер, смотря с любовью на исписанную бумагу.

— А я не пишу,— сказал Емельян Герасимович.

— Для меня музы составляют одно утешение,— отвечал юнкер,— я пишу оду, да еще не совсем кончил.

— Нет, мне грации лучше нравятся,— возразил Емельян Герасимович, помня, что Платон Андреевич музами называл замужних женщин, а грациями девушек.— А, вот, кстати, я было и позабыл,— продолжал он,— не знаете ли вы, что за грация ходит здесь по саду? чрезвычайная!

— Может быть, дочь помещика?

— Дочь помещика? О, так за ней можно волочиться.

Юнкер улыбнулся.

— Впрочем, не знаю,— сказал он,— беседуя с музами...

— Ходила, ходила по саду, подошла к самой решетке, посмотрела на меня и вздохнула, да как вздохнула-то, если б вы знали!..

Воображение поэта, затронутое таинственной «девой» и глубоким вздохом, воспламенилось; он с завистью посмотрел на счастливца.

— Хочу волочиться,— продолжал Емельян Герасимович,— да не знаю, как бы это лучше сделать; говорят, не спросясь воды, не суйся в брод.

Бесцеремонное обращение Емельяна Герасимовича ободрило юнкера.

— Зачем же дело стало? Писать любовное объяснение,— отвечал он, вызванный на совет в отношении чувства, принадлежащего поэзии, и проникнутый мыслью, что развивать в человечестве любовь и помогать любви — долг поэта.

— Помилуйте! писать! да она не за горами живет.

— Помилуйте! как же не писать?

— Помилуйте! что̀ это за волокитство — марать бумагу,— сказал Емельян Герасимович.

— Как же иначе? — сказал юнкер.
— Просто без церемоний.
— Просто! да это ни на что не похоже!
— Ну, так напишите мне письмо; я сам не мастер писать.
— Сначала совсем не письмо бы надо писать.
— А что̀ же?
— Послание в стихах.
— В стихах?

Коза, коза,
Моя краса,
Серые глаза,
Льняная коса!

Да какую же басню вы напишете?
— О, за вымыслом дело не станет,— сказал юнкер горделиво,— вы говорите, что она вздохнула, взглянув на вас?
— Вздохнула.
— Я напишу стихи на вздох; только надо будет узнать, как ее зовут.
— Сейчас же пошлю в дом спросить, как ее зовут. Эй, служба! — крикнул Емельян Герасимович, прибежав в свою комнату,— ты молодец?
— Был молодец, ваше благородие, а теперь не могу знать.
— Не могу знать! Не знаешь ли ты, как зовут барышню, что̀ в саду ходит?
— Не могу знать.
— Не могу знать! Так узнай, братец, как ее зовут?
— Слушаю, ваше благородие!.. От кого прикажете узнать?
— От кого? от кого хочешь узнай: узнай, да и кончено.
— Понимаю, ваше благородие! сейчас прикажете?
— Сейчас же!
— Стороной прикажете узнать?
— Хоть стороной, хоть боком, только узнай!
— Нет, ваше благородие, то есть из-под руки... или... Да уж я знаю, ваше благородие: в аптеку ходит со двора горничная; я ее допрошу.
— Так ступай же, ступай, допрашивай скорее аптеку!
— Торопиться нѐчего, ведь она ходит по вечеру,— сказал инвалид.
— Ступай, ступай, подгони ее!

Инвалид ушел, а Емельян Герасимович с нетерпением ждал его возвращения; но инвалид воротился очень поздно.

— Ну! что?

— Все обстоит благополучно, ваше благородие, зовут барышню Аленой Ивановной.

Емельян Герасимович побежал к юнкеру; но юнкер уже спал, надо было ждать утра.

— Ах ты, ужин после горчицы! — сказал он инвалиду с досадой. Залег в постель, но не спал. Боясь позабыть имя, он твердил его до половины ночи. Сон, однако же, одолел. Емельян Герасимович заснул; но и в грезах сна губы продолжали твердить урок про себя.

Только что взошло солнце и фельдшер перевязал ему раны, то есть не солнцу, а Емельяну Герасимовичу, он побежал к соседу и испугал его, крикнув: «Пишите: Алена Ивановна!»

— Славное имя, и стихи готовы,— сказал юнкер; заглавие будет: на вздох Елены; слушайте:

О, если б знала ты, как твой глубокий вздох
Проник во все души моей изгибы!
Я чувствую, то был любви крылатый бог —
Какие ж от него моленья помогли бы?
Он опалил меня невидимым огнем,
Он напоил меня сладчайшим ядом!
О, исцели ж меня, Елена, волшебством,
Бальзамом чувств и животворным взглядом!

— Меня, меня? то есть меня? Славно, бесподобно! — вскричал Емельян Герасимович,— про раненого иначе и писать нельзя. А как вы думаете, возьмется она лечить меня?

— А как же? после таких стихов... Постойте: О, если б знала ты...

— Славно! бальзамом! — повторял Емельян Герасимович.

— Послушайте. О, если б знала ты...

— Прекрасно! Итак, мы просим у ней бальзаму... Поэт в пятый раз хотел прочесть стихи свои; но Емельян Герасимович схватил стихи — и в двери.

— Ну, служба! — сказал он инвалиду,— вот тебе еще дело. Отдай это письмо, нет стихи, братец, горничной девушке... куда бишь она ходит ввечеру?

— В аптеку, ваше благородие.

— Так отдай в аптеку и скажи, чтоб она вручила самой Елене Ивановне... слышишь! понимаешь? скажи, что это стихи!

— Слушаю, понимаю, ваше благородие!

И инвалид отправился и ввечеру донес Емельяну Герасимовичу, что все обстоит благополучно, письмо доставлено по принадлежности.

— А ответ?

— Не могу знать.

— Ах ты, шитая рожа, вязаной нос! Не могу знать! а еще солдат!

И Емельян Герасимович опять с досадой повалился в постель.

Глава девятая

О том, как Емельян Герасимович уступил успехи своего волокитства другому

Емельян Герасимович на следующий день сидел с утра у окна и смотрел вдоль аллеи — никто не показывался. Но после обеда видит он — идет прекрасная Елена; в руках у нее листок, взгляды ее часто приподнимаются на окно. Емельян Герасимович не сводит с нее глаз и едва переводит дыхание. Вот Елена сделала еще несколько шагов, взглянула на окно, спрятала листок за корсет и скрылась в боковой аллее.

Емельян Герасимович побежал к юнкеру и рассказал ему все, что видел.

— Браво! постойте! сейчас,— сказал юнкер, дописывая что-то и диктуя сам себе: «и утолили жажду мести, упились кровию своей, и улеглись на поле чести, как неразлучный сонм друзей...» Теперь надо писать без церемоний объяснение в любви, решительное объяснение в любви.

— Пишите объяснение без церемоний, а я буду смотреть в окно.

— Слушайте,— сказал юнкер, написав несколько строк:

«Елена, прекрасная Елена! Для чего пощадила меня неприятельская пуля? Для того ли, чтоб я встретил вас...» Как вы думаете, как писать, вас или тебя?

— Вас или тебя?.. хм! а вы как думаете?

— Я думаю, «тебя».

— И я думаю... нет, постойте, *тебя* не годится.

— Отчего же?

— Грубо.

— Вас так вас,— сказал юнкер,— слушайте сначала:

«Елена, прекрасная Елена! Для чего пощадила меня неприятельская пуля? Для того ли, чтобы я встретил вас и благословил мою судьбу, или для того, чтоб я торопился снова в бой и искал верной смерти? Это вы только можете решить. Я вас увидел и люблю страстно, неизлечимо люблю! Отвечайте мне хоть слово, хоть одно слово!»

— Неизлечимо? — вскричал Емельян Герасимович,— нет, покорно благодарю! Нет, этого *одного слова* не хочу, что мне в нем!

— Так я поставлю: вечно.

— Вечно? а что такое это значит? Ну, да уж пишите!

— Ну, служба! — сказал опять торопливый Емельян Герасимович инвалиду,— ступай, неси девушке, вручи письмо, а она чтоб отдала в аптеку, понимаешь?

— Понимаю, ваше благородие.

Отправился инвалид, отдал письмо. На другой день Емельян Герасимович ждал ответа — нет ответа. Пошел жаловаться юнкеру; юнкер в утешение целый день ему читал свои стихи.

На третий день, вдруг, неожиданно, рано утром горничная вручила инвалиду письмо, для доставления адъютанту.

— Есть! — вскричал Емельян Герасимович, входя к юнкеру.

— Браво! — вскричал и юнкер,— сейчас только кончу... Послушайте: «на поле бранном веют ветры...»

— Ну, пусть их там воют!

— Нет, не воют, а веют.

— Ну, пусть их хоть дуют.

— Нет-с, нисколько не дуют.

— Ну, чтоб их горой раздуло! бросьте это, читайте, пожалуйста, письмо.

— Видите ли, что значат стихи! — сказал юнкер, пробежав ответ:

«Вы требуете надежды. Что̀ буду я отвечать вам на это? Я могу отвечать только на чувства...»

— Далее? — спросил Емельян Герасимович.

— Только; что̀ ж вам еще более? Этого слишком довольно.

— Что̀ ж тут довольного?

— А эти слова: «я могу отвечать только на чувства». Не ясно ли они говорят: я отвечаю вашей любви.

— Так что ж из этого?

— А вот что: мы теперь имеем право требовать свидания.

— Это дело другое!.. При свидании дело лучше объяснится.

— Так требуем свидания?

— Требуем! пишите требование!..

Юнкер присел и написал предлинное письмо к Елене; все нежные названия, все выражения пламенной страсти, все слова, какими только может располагать любовь, чтоб возвеличить себя в глазах так называемого обожаемого предмета,— все тут было. Бедный Емельян Герасимович был жертвою самой пламенной любви.

— Ей богу так! я и люблю, и обожаю ее, точно! и боготворю! — вскричал Емельян Герасимович,— именно так!.. не могу жить без нее!.. Нет, постойте: не могу жить без нее? Это что̀ значит!

— Как что́? Кто любит, тот не может жить без предмета любви.

— Пустяки! лучше прибавьте, что если она отдаст мне свою руку, так я... постойте, что бы прибавить?

— Все остальное вы сами скажете ей при свидании.

— Ну хорошо, при свидании, так при свидании!

Письмо запечатано, письмо отослано по экстра-почте. Вдруг приходит дежурный лекарь.

— Извините,— сказал он Емельяну Герасимовичу,— приехал адъютант генерала... Здесь их квартира.

Вслед за медиком вошел и адъютант, молодой человек, прекрасный собою.

— Очень рад, что вас поместили в моей квартире,— сказал он.

— Очень рад,— сказал и Емельян Герасимович, осматривая красивого адъютанта.

Адъютант также посмотрел на него с удивлением.

— Позвольте уж переночевать им,— продолжал дежурный лекарь,— теперь нельзя переводить их на другую квартиру.

— Пожалуй,— отвечал с неудовольствием адъютант.

Лекарь ушел.

— В каком полку изволите служить? — спросил адъютант.

— В милиционном,— отвечал Емельян Герасимович.

— В каком деле ранены?

— В самом деле, в Москве,— отвечал Емельян Герасимович.

— Ваше благородие,— сказал тихо инвалид, войдя в комнату,— пожалуйте сюда.

— Что! письмо? — вскричал Емельян Герасимович.

Инвалид махнул таинственно головой и показал глазами на фуражку свою.

— Давай, давай, чего ты боишься?

Инвалид вынул из фуражки письмо, прикрытое носовой тряпочкой, и отдал Емельяну Герасимовичу, который стремглав бросился вон из комнаты.

— Чтó за чудак? — сказал адъютант, садясь против окна и поглядывая в сад. Вдруг в аллее показалась прекрасная Елена. Медленно и задумчиво подходила она к решетке ограды; когда взор ее поднимался, он всегда был обращен на окно, подле которого сидел адъютант. Наконец, она села на скамейку, сложила пленительно свои руки, и взор ее снова приподнялся и остановился на очаровательном адъютанте. Он вспыхнул; но также не сводил с нее глаз своих. В этом положении они пробыли несколько минут.

— Божество мое! — вскрикнул невольно адъютант и приложил руку к сердцу. Его видение сделало то же самое; но пламенный взор поник стыдливо. И вдруг Елена вскочила с места, бросила еще взгляд и исчезла в боковой аллее.

— Она меня любит! — вскричал снова адъютант.

— На кого это вы смотрите? — спросил Емельян Герасимович, входя в комнату,— верно на Алену Ивановну.

— Вы... знакомы с ней? — спросил адъютант, смутясь.

— А как же, разумеется, познакомился, да еще и как!

— Познакомились?.. каким же образом?..

— Каким это образом? Завел переписку.

— И она отвечала! — вскричал адъютант.

— Отвечала; вот чтó пишет. Вы умеете читать?

— Кажется,— отвечал адъютант.

— Так прочитайте.

Адъютант тревожно развернул письмо, и удивление его более и более возрастало, когда он читал:

«Я почти вас не знаю; но какая-то неизбежная судьба заставляет меня предаться непонятному для меня чувству. Я назову его симпатиею душ. Я верю вашим словам; они кажутся мне отголоском собственных моих чувств. Я бы то же сказала вам, если б имела право...

Но для чего вы требуете свидания?.. Мне легко забыться до того, чтобы решиться исполнить желание ваше... любовь требует покорности; но пощадите меня, если вы захотите уважить скромность мою... Я буду в одиннадцать часов в боковой аллее; но еще раз прошу, откажитесь от собственного вашего желания, и вы усилите мое чувство любви чувством уважения...

Е.»

— И вы решились писать... к этой девушке! — сказал адъютант дрожащим голосом,— и это она вам отвечала!

— Отвечала,— сказал Емельян Герасимович,— я послал ей стихи, потом письмо, потом другое письмо; вот она и пишет, что очень рада видеть меня.

— Милостивый государь! — вскричал адъютант,— кто вас уверил, что она вас любит?

— Вот забавно, уверять в таких пустяках,— сказал Емельян Герасимович.

— Милостивый государь! — продолжал адъютант, выходя из себя,— знаете ли вы, что ее чувство принадлежит мне, что она вас приняла за меня?

— Вас приняла за меня? — спросил Емельян Герасимович.

— Нет, вас за меня.

— Ну, вас за меня, так за меня; да ведь вас здесь не было.

— Нет-с, я был здесь прежде вас и успел обратить на себя ее внимание.

— Для чего ж она вам не писала об этом?

— Оттого, что я никогда бы не осмелился писать к девушке тайные любовные письма.

— Вольно вам не осмеливаться! а я осмелился; попробуйте напишите к ней, будет ли она вам так отвечать?

— Вы воспользовались мне принадлежащим чувством, и она отвечала вам по ошибке.

— По ошибке? посмотрим! Я лично спрошу ее, когда пойду на свидание. А лучше всего пойдемте вместе и спросим, кому она отвечала, мне или вам.

— Я шуток, сударь, ваших не буду сносить и попрошу вас прежде на свидание со мной в поле, на благородное расстояние осьми шагов! Там мы переговорим с вами!

— Зачем же в поле? мы лучше здесь будем иметь свидание, нос с носом, я засяду на постель, а вы на сту-

ле — гораздо спокойнее,— отвечал Емельян Герасимович, садясь на постель.

Равнодушный ответ Емельяна Герасимовича поразил адъютанта. «Нос с носом»,— подумал он. Но как же отказаться от предложения, которое было осьмью шагами благороднее?

— Хорошо-с! завтра же! — сказал адъютант.

— Для чего завтра? вот сейчас же,— сказал Емельян Герасимович.

— Я должен прежде привести дела свои в порядок.

— Да знаете ли что́? — продолжал Емельян Герасимович.

— Что́ такое-с?

— Она назначила свидание в полночь.

— Ну-с!

— Так не хотите ли вы вместо меня идти на свидание?

Взволнованный адъютант принял новое предложение Емельяна Герасимовича за новую насмешку; но уж пугать его было нечем.

— Шутите-с, шутите-с! — сказал он, ходя большими шагами по комнате.

— Шутите-с! кто шутит-с? стало быть, и вам не хочется по ночам таскаться?

— Я не способен на такие вещи! я не решусь...

— Не способны? ну, нѐчего делать; отчего ж она способна? верно у ней бессонница; а мы бессонницей не страдаем.

— Я никогда не решусь погубить девушку!

— А я уж погубил одну,— отвечал Емельян Герасимович и без церемоний разделся, повалился на постель, зевнул и скоро захрапел.

— Гм! какое безнравственное животное!.. Вздумал надувать меня! притворился будто спит, чтоб и я скорее спать лег! — думал адъютант.— Нет, мечта, приятель! всю ночь напролет просижу! — И адъютант закурил трубку, сел подле окна. Последняя искра дня потухла, настала темная ночь; адъютант велел подать свечу, закурил снова трубку и смотрел то на часы, то на спящего Емельяна Герасимовича.

Четыре часа тянулись на долгих. Когда стрелки стали приближаться к полночи, адъютант еще беспокойнее стал посматривать то на часы, то на соперника своего, то в окно против сада, хотя в окно ничего нельзя было

рассмотреть, кроме темной ночи. Вдруг раздался в сенях громкий голос:

— Здесь адъютант?

— Здесь,— отвечал человек адъютанта.

— Доложи, что генерал приехал.

Адъютант вздрогнул.

Едва человек вошел в комнату и хотел передать слова вестового.

— Тс! — произнес он шепотом,— дай мундир!

Одевшись и накинув на себя плащ, адъютант отправился; но вместо того, чтоб из калитки налево, он взял направо, к решетке сада, и исчез в темноте.

А Емельян Герасимович спал крепким сном.

Глава десятая

О том, как Емельян Герасимович, проезжая чрез один город, был зазван Тихоном Еремеевичем на чаек и какой учинил казус

На другой день, когда Емельян Герасимович проснулся, адъютанта не было, а пришедший лекарь с извинением сказал Емельяну Герасимовичу, что ему назначена другая квартира.

— Да для чего ж мне две квартиры? — спросил он лекаря.

— Здесь назначена бригадная канцелярия. Другая квартира для вас будет спокойнее этой; перебраться не долго.

— Да перебираться-то я не намерен.

— Да это нельзя-с.

— Да и оставаться-то не хочу!

— Как вам угодно-с!

— Мне угодно ехать.

— Можно: раны ваши зажили,— отвечал медик и вышел вон.

— Кажется, это мой вороной ржет у крыльца! Именно вороной,— сказал Емельян Герасимович, выглянув в окно,— едем, брат, едем, нас с тобой ждет Артамон Матвеевич.

И Емельян Герасимович надел сюртук, повязал шашку сверх сюртука, взял фуражку и пошел к юнкеру.

— Прощай! —сказал он ему.

— Это чтó значит? вы едете?

— Еду.

— Как жаль! Что ж, скажите, имели вы свидание?

— С кем?

— С Еленой.

— В полночь-то! вот прекрасно!

— Что́ ж такое?

— Да помилуйте, в полночь! она просто смеется; да притом же тут приехал какой-то адъютант, пришел в отчаяние, уверял, что она ему принадлежит. Принадлежит так принадлежит, возьми себе; да притом же мне ехать пора, когда тут возиться с ней... Постойте, еще что́-то... да! да притом же я вспомнил, что уж погубил одну, Варвару Артамоновну, что́ ж мне, думаю, губить еще и Алену Ивановну? Черт с ней!

— Прощайте,— сказал юнкер.

Ему было жалко расставаться с таким соседом.

Оседланный адъютантский конь стоял привязанный подле крыльца. Конь был вороной, а этого было достаточно для Емельяна Герасимовича, чтоб принять его за воронка, на котором он совершил путь в Москву.

— Что́, брат, отлежался? — сказал Емельян Герасимович, взобравшись на седло.— Ну марш.

И он пустился вдоль по селу.

— Где дорога в милиционный полк? — спросил он у мужика.

— В армию ездят сюда, по калужской дороге.

Рысью пустился Емельян Герасимович в чистое поле и поскакал по дороге, которая шла прямо.

Проезжая селение, у всех встречных и поперечных он только спрашивал: «А что, братцы, где тут полк милиционный?» — «Прошел»,— отвечали ему.

Он вперед да вперед. Однако ж воронко его был так взмылен, что походил на серко с вздутыми боками, совсем изнемог, повесил голову, не слушает ни узды, ни пинков. Около полудня Емельян Герасимович прибыл в какой-то городок.

— А что́, братцы, прошел полк милиционный? — спросил он у толпы народа, стоявшего на площади.

— А что, братцы, никак прошел? — спросил один купец у прочих.

— Да прошел же, кажись, прошел! — отвечали несколько голосов.

— А куда прошел?

— Да, чай, в Калугу.

— Уж правду ли ты говоришь, Евсей Гаврилович: уж не во Владимир ли?

— Статочное ли дело ты говоришь! ведь они пошли навстречу французу; а Владимир-то где?

— У тебя, Яфим Тихоныч, на все своя причина; с головой ты малый, да не бывалый. Дозвольте, ваше благородие, спросить, откуда изволите ехать?

— Из Москвы.

— Из Москвы? Прошу ко мне откушать чайку, ваше благородие; лошадка-то ваша позобала бы тем временем овсеца,— вся в мыле, чуть дышит... покорно просим!

— Уж если так, ваше благородие, так уж ко мне пожалуйте откушать чайку с подливочкой.

— Постой, Лукьян Федосеич, не всякому прошению почтение: его благородию угодно моей хлеба-соли откушать... Пожалуйте, пожалуйте!.. ведь у него дом на краю города, пожалуйте!

Гостеприимный купец, сняв шапку, шел задом к своему дому и, кланяясь Емельяну Герасимовичу, повторял: «Пожалуйте!»

Голодный, утомленный Емельян Герасимович рад был приглашению: он ехал вслед за настойчивым купцом, а Лукьян Федосеевич и толпа шли за ними. Лукьян Федосеевич в сердцах поносил перебившего у него честь угощать ратника, от которого можно было поузнать коечто о французах.

— Знаем мы ваши угощения, Тихон Еремеевич: чаек-то у вас ханской, первого разбору, китайской укладки: с одной чашки подопрет бока!

— Пожалуйте, пожалуйте! — повторял Тихон Еремеевич Емельяну Герасимовичу, подъезжавшему к крыльцу его дома.

— А что́, Тихон Еремеевич,— продолжал Лукьян Федосеевич,— чай, и трубочкой попотчуешь его благородие?

— И трубочкой попотчую, Лукьян Федосеевич, если на то пойдет!

— То́-то душа! истинный христианин! Да нет ли у вас невест в доме?.. на струменте каком не играют ли? потешила бы его благородие!

— Собака!.. Пожалуйте, покорно просим, ваше благородие,— повторял Тихон Еремеевич, отворяя уже дверь для дорогого гостя. А между тем вся толпа собравшегося народа окружила одноэтажный дом его. Едва Тихон Еремеевич ввел гостя в покои, сотни голов как

будто росли одна на другой, уставились с улицы в окно и затемнили собою свет божий.

— Ах, мошенники, бусурманы! — вскричал Тихон Еремеевич и бросился отгонять толпу от окон; он на улицу — все разбегутся; он в комнату — головы снова в окне.

— Прочь, говорю вам! прочь, окаянные!.. извините, ваше благородие!.. Прочь, говорю вам! ей-ей не пожалею окончины!.. Припугните хоть вы, ваше благородие, задайте страху этим французам! вы военный, они побоятся вас.

— Прочь! — закричал и Емельян Герасимович.

Никто не думает прочь.

— Эй, прочь, говорю! — повторил Емельян Герасимович разгорячась,— слышите? а? не слышите?

И с этими словами, наметив в одну широкую образину, прилипшую к стеклам, как хлопнет кулаком... посыпались стекла и головы; крик, шум поднялся на улице.

— Ах ты, господи! — вскричал опять Тихон Еремеевич. Прибежали его жена, дочь, работница.

— Что́ вы это делаете, ваше благородие! пригодно ли стеклы бить в доме!

— Стеклы! нет, не стеклы! я им дам! — повторял Емельян Герасимович, расходившись и не внимая словам хозяйки Тихона Еремеевича.

— Ах ты, господи! — вскричал опять Тихон Еремеевич, схватив Емельяна Герасимовича за руку, которую он занес было снова, чтоб поразить другую окончину.

— Пригодно ли бить стеклы! — кричала расходившись и хозяйка; а дочь за матерью.

Емельян Герасимович немножко вышел из себя и действительно перебил бы все стеклы, рассердившись пуще всего на одну широкую образину; но Тихон Еремеевич, к счастью, совершенно овладел его кулаком.

— Ах, да оставьте их дураков, ваше благородие, ведь это дураки!

— Давно бы ты сказал, что это дураки; если дураки, так черт с ними!

— Только попортили все стеклы да и руку-то попортили! — говорил охая Тихон Еремеевич.

— В самом деле попортил! — сказал Емельян Герасимович, взглянул на окровавленный кулак, нашпигованный стеклами,— что́ ж теперь делать с рукой?

— Чтоб отгнить ей по локоть! — отвечала ему озлобленная хозяйка.

Тихон Еремеевич с трудом усовестил ее замолчать и подавать чай, а сам побежал искать паутины, чтоб обложить изрезанную кисть руки Емельяна Герасимовича; осталась только пухленькая дочь в комнате завешивать окны.

— Посмотрите-ко, девушка! — сказал Емельян Герасимович, показывая ей окровавленный кулак свой.

— А кто вам велел стеклы бить,— отвечала она, отходя от него и садясь в углу.

— Ты прекрасненькая! А знаешь ли что? В Москве косу комком на голове носят, гребешком затыкают,— сказал Емельян Герасимович, подсев к красной девице.

— Видали мы ваших московских,— отвечала она, вскочив с места и удаляясь от него в другой угол.

— Что́, неловко здесь? Ну пересядем,— сказал Емельян Герасимович, снова садясь подле красной девицы и взяв ее за руку.

— Пошлите прочь! — крикнула она, рванувшись и хлопнув его по больной руке.

— Нет, пррр! — сказал Емельян Герасимович, как останавливают лошадей.

В это время вошла хозяйка, ужаснулась и в исступлении, грохнув поднос с чаем на стол, бросилась на Емельяна Герасимовича, который, не видя хозяйки, на крик ее дочери, повторял: «Драчунья! ну еще! ну!»

— Ах ты, разбойник! — заголосила купчиха, вырывая руку дочери из руки Емельяна Герасимовича.

— Озорник! — кричала дочь, освободя свою руку.

— Муза! не пора ли слог отменить твой грубый,
— И сатир не говорить! мне оне не любы! — сказал Емельян Герасимович, вспомнив стихи Кантемира, которым Платон Андреевич утишал гнев Натальи Дмитриевны.

В дополнение картины прибежал Тихон Еремеевич с паутиной и с изумлением остановился в дверях. Воображая, что жена и дочь все еще сердятся за разбитые стеклы, он стал уговарить жену и прогнал дочь; но они не умолкали, повторяя: «Разбойник! озорник!»

Взглянув на поднос, на разлетевшиеся чашки и разлитый чай, Тихон Еремеевич испугался и не знал, что́ думать.

— Ну, хозяин, чем же перевязать рану? — спросил Емельян Герасимович, рассматривая кисть руки своей, которая стала похожа на трехпудовую чугунную гирю.

— Ваше благородие, может быть, наш чаек вам не по нраву,— сказал Тихон Еремеевич боязливо, подходя к Емельяну Герасимовичу и перевязывая ему руку платком,— прошу прощения, каков есть... по-нашему... чаек хоть куда... может статься, кизлярочка не понравилась.

— Кизлярочка! ай да кизлярочка! спасибо! ну с душком твоя кизлярочка, презлая!

— Ей-ей, нет, ваше благородие, чистая, настоящая, у нас лучше нигде не сыщешь! Да помилуйте, неужели стали бы вас угощать дурной?

— Кто тебе говорит, что дурна: дурна не дурна, а бьет больно.

— Да что̀ ж бы было в ней, если б немножко в голову не била.

— Скажи, пожалуйста! еще и голову ей подставь!

— Да уж так следует, ваше благородие!

— Вот тебе раз! а? каков?

— Ох, ручка-то ваша худа! поторопились бы вы скорей, ваше благородие, в лазарет полковой, отсюда верст десять...

— Был уж я в этом лазарете, черт с ним,— сказал Емельян Герасимович,— сама заживет, покуда доеду до полка.

— Оно, конечно, ваше благородие. Прикажете лошадку подать... она сытенька теперь... я уж подсажу вас... левая-то ручка, слава богу, здорова... а правую-то подвяжем... Да уж позвольте отправить вас с хлебом-солью.

— Да ты не знаешь ли, где стоит милиционный полк?

— Милиционный? да он, кажись, поутру прошел на Калугу...

— Неужели? так скорей надо догонять.

— Пожалуйте же, ваше благородие, сейчас подадим лошадку.

Тихон Еремеевич побежал вон и вскоре доложил, что все готово. Подле крыльца стоял оседланный воронко. Тихон Еремеевич подсадил Емельяна Герасимовича и вложил ему в руку повода.

— А вот здесь на дорожку, ваше благородие,— сказал он, привязывая к седлу кулек,— желаю благополучного пути, и всякого благополучия, и божьей милости! дай бог во здравие!.. Позвольте проведу под уздцы... вот по той дорожке, на гору...

И Тихон Еремеевич в заключение прощания с своим дорогим званым гостем хлопнул широкой ладонью по крупу коня.

— Дай бог вашему благородию пути, и дороги, и доброго здравья!

Емельян Герасимович понесся на волю божью: Тихон Еремеевич ко дворам, а Лукьян Федосеевич вслед ему:

— Что̀, Тихон Еремеевич, курица-то никак болтуна снесла?

Глава одиннадцатая

О том, как дорога,
по которой ехал Емельян Герасимович,
разделилась на три пути,
как он остановил бабу-ягу
и добыл у нее клубок

Вот выехал Емельян Герасимович по показанной дорожке за город; усталый и голодный конь везет его шажком. Ехал-ехал; вдруг дорога разделилась на три пути. По которому же пути приедешь в полк? — задача; а спросить некого. Емельян Герасимович стал в пень; а голодный воронко стал щипать траву, напомнил и седоку своему, что давно пора пообедать. Подумал, подумал Емельян Герасимович: подожду проезжего или прохожего... А тут что? И он слез с коня, запустил руку в кулек. В кулечке солома; а в соломе что? в соломе завернуто что-то в бумаге... ба! паюсная икра!

Экой злодей Тихон Еремеевич! отправил Емельяна Герасимовича в дорогу с солью, а хлеба ни кусочка!

Емельян Герасимович скушал ломтик икры; но и без хлеба не дурно; скушал другой ломтик, и еще, и всю съел икорку; да вдруг жажда смертная, пить хочется, а напиться нечего; кругом поле, глазом не окинешь, и ни криницы, ни источника. Мо̀чи нет! Хоть воротись! да что ты будешь делать: вперед три пути да и назад три пути, куда ни повернись, во все стороны дороги, как лучи от солнца. Как быть? надо ждать проезжего; жажда как огонь палит внутренность: утолить ее хоть икоркой. Опустил Емельян Герасимович с горя руку в запасный магазин... Ба! что это? полуштофчик!.. откупорил... буль-буль... все залпом выбульбулил и не заметил от жажды, что эта та кизлярочка, что в голову бьет. Зашумело в голове, под ногами земля как будто немножко покачнулась. Что за чудо? верно, трясина.

Отскочил Емельян Герасимович с места, глядь — и земля наклонилась крутой горой на другую сторону, того и смотри что опрокинешься... Вдруг — шум, гам, скрип, грохот, все ближе и ближе. Что̀ за приключение такое? Конь или ступа с полсвета величиной, рысцой бежит, топочет по дороге! Кажись, что конь, кости да кожа, тащит телѐгу — несмазанные колеса; а в телеге старуха; а на коленях у нее сидит смазливенькая девочка. Да Емельяну Герасимовичу что-то все не простым конем кажется и не телегой, и не просто старуха сидит на телеге. Смотрит он, выпучив глаза из-под богатырского чела, дивится, покачиваясь с боку на бок.

— Ого!.. да это баба-яга в ступе едет, пестом погоняет! эге! ребеночка украла, везет на жаркое! — проговорил Емельян Герасимович, которого воображение в домашнем воспитании было напитано и сказочным миром. Кизлярочка оживила этот мир во всей красе.

— Стой! — крикнул Емельян Герасимович, покачиваясь с боку на бок.

— Бабушка, бабушка! солдат! — крикнула девочка.

— Стой! — повторил Емельян Герасимович.

— Батюшка ты мой родимый! — пробормотала со страху беззубая старуха.

А девочка в слезы.

— Не плачь, девочка!.. Стой, говорю! где украла девочку! ведь ты баба-яга?

— Баба, сударик, баба, старуха; ну что̀ тебе во мне?

— Знаю, знаю, что ты старуха,— говорил Емельян Герасимович, хватаясь за девочку, которая с криком и ужасом прижалась к старухе.

— Батюшка-солдатик! солнце ты мое красное! помилуй! возьми что хочешь, только внучку не тронь!

— Ну, ну, ну!

И Емельян Герасимович потянул было раненую за мечом-кладенцом; но рука не слушает; шарит другой с боку и за спиной — нет меча; а старуха вопит:

— Милосердный отец! помилуй! ей-ей, ничего у меня нет!.. Только и есть что в мешочке остальной клубочек ниток... возьми, пожалуй, только помилуй!

— Ну, счастье твое! давай клубочек! Стой! побожись, что не съешь девочки.

— Ох, побожусь!

— Хорошо, верю! Подавай клубочек; как покачу чтоб катился... слышишь? чтоб привел прямо в полк, слышишь?

— Возьми, милосердный отец, возьми, сударик, остальной клубочек, возьми на здоровье!

— Давай! — сказал Емельян Герасимович,— да смотри!

— Смотрю, смотрю, батюшка! — пробормотала старуха; да как хлопнет хворостинкой по коняке.

Побежал коняка козлом, затопотал по дороге, заскрыпела телега, скрылась из глаз.

— Ну, брат, веди в полк! — сказал Емельян Герасимович.— Прррр! — крикнул он к коню, который, как преразумная скотина, щипал-щипал траву подле дороги, подумал да и пошел искать корму посочнее.

— Прррр! — повторил Емельян Герасимович; а воронко хитер, как будто не слышит, идет себе вперед; Емельян Герасимович за конем, а конь от него; а догнать не догонит — земля то на бок, то на сторону, так и хочет опрокинуться. Солнце пропало; а края земли все больше и больше клонятся на низ; а небо вокруг как бездна, а воронко стоит на самом краю бездны.

— Пррр! — крикнул опять Емельян Герасимович,— ну, пропал, сквозь землю провалился!

Чудеса с землей делаются, никак не устоит Емельян Герасимович на ногах. «Ах, ты, проклятая баба-яга! какую игру сыграла!» Припал к земле, осматривается кругом; того и гляди, что свалится с земного шара. Вечерний туман потянулся со всех сторон валами, подмывает нашего героя. Вот уж он чувствует, что обдает его холодной волной; видит, что земля загорелась с одного края, дым так и вздымается тучей, а полымя клубом... И вдруг из пучины поднялась каленая голова, разинула пасть, выпучила на Емельяна Герасимовича очи, тянется к нему... как не испугаться такого чудовища! Вдруг голова оторвалась от плеч и поплыла по темному небу.

— Ну, Алаферну голову отрубили! — проговорил Емельян Герасимович; но и его голова также как будто оторвалась от плеч, да не поплыла, а скатилась на землю.

Неловко ей без подушки; бродят мысли, ищут подушки: вот улица не улица перед Емельяном Герасимовичем да и не переулок; шел-шел, пришел на толкучий рынок. «Ваше благородие, пожалуйте — одеялы, тюфяки, подушки самые лучшие-с! самого тонкого лебяжьего пуху!.. извольте прилечь-с! лучше не бывает!» «Да это, братец, перина». «Никак нет-с, пуховик! извольте попро-

бовать прилечь! такой пуховик, что ах-с!» Прилег Емельян Герасимович. «Ой! жестко! — говорит,— верно, щебнем набито!» «Помилуйте-с, извольте перевернуться на другой бок!» «Ой, жестко!» «Помилуйте-с, кто ж в платье ложится: верно, складки или пуговица под бок попала; извольте раздеться!» Разделся Емельян Герасимович, лег — мочи нет, жестко! руку отлежал — смерть больно! «Нельзя же, ваше благородие, чтоб новый пуховик был так мягок, как подержанный: раза два постелите — размякнет, особенно как постелите на кровать, будет чрезвычайно мягко». Перевернулся еще раз на другой бок Емельян Герасимович. Вдруг видит, идет полковник Артамон Матвеевич с командой. «Ба-ба-ба! Емельян залег на пуховике! — сказал он как гром грянул.— Эй, ратники! окатить его с ног до головы! лей, не жалей, ребята!» Льют на бедного Емельяна Герасимовича, ливнем льют — промок до костей, прозяб, зуб на зуб не попадет... крикнул «Ура!», вскочил, проснулся. Смотрит — над ним белый день, небо ясно, солнце ярко; а сам весь хоть выжми.

— Что̀ за чудеса? окатили меня с ног до головы да и ушли!.. точно как во сне! Вот тебе раз, во сне! а это что̀,— сказал Емельян Герасимович, ощупывая себя,— и баба-яга, и светопреставление? все во сне? А клубок-то откуда взялся?

Долго Емельян Герасимович думал и не мог решить, что̀ с ним случилось во сне и что на яву. К счастью, воронко заржал и вывел его из недоумения. Кизлярочка просила похмелья.

— Сейчас, брат, сейчас! едем, едем! — сказал Емельян Герасимович, погладив коня своего.— Во сне так во сне, и во сне поедем! поедем, брат, и во сне, что за беда такая!

Глава двенадцатая

О том, как добытый у бабы-яги клубок
обратился в зайца, а заяц в ворону,
а ворона неизвестно во что;
а Емельян Герасимович прикомандировался
к одной бригаде и обратился в хозяйку,
и прочее, и прочее

— Ну-ко, брат, посмотрим, как ты покатишь вперед показывать дорогу! — сказал Емельян Герасимович, качаясь. Кое-как вскарабкавшись на вороного, он швырнул клубок перед собою, на зеленый луг. Глядь, клубок

грохнулся в траву, да как вспрыгнет — и помчался по полю.

— Ах, чертов клубок, как покатил! его не догонишь! — вскричал Емельян Герасимович, приударив обеими ногами по бедрам, и поскакал за клубком во весь опор. Клубок вправо, и он вправо, клубок влево, и он влево. «Тише, проклятый!» Не слушает клубок, скачет себе; скачет и Емельян Герасимович, и выскакал клубок на тропинку — туда, сюда и вдруг исчез.

— Экая свинья! — вскричал Емельян Герасимович.— Не видали ли вы, прокатил здесь? — спросил он у встречных крестьян.

— Заяц? видели, барин.

— Какой заяц! клубок.

— Не видали, барин; да какой, сизой, что̀ ли?

— Какой сизой барин? белой клубок, клубок, ну слышите, клубок!

— Так верно белой?

— Не видать! — продолжали крестьяне, смотря под небеса,— глядь-ко, Васька, у тебя очи зоркие, никак он летает?

— То ворона, дядя Иван.

И Емельян Герасимович смотрит к небу и видит — точно, летит ворона.

— Ах, черт! — вскричал он,— в ворону оборотился?

— Не в примету, барин, а уж если оборотень, статочное и то дело.

— Ах ты, ворона! — сказал Емельян Герасимович,— ну, поедем за вороной, ворона еще лучше: не колесит, летит себе прямо.

И вот, приударив коня, помчался он за вороной.

— Что, братцы, барин-то никак тово? — сказал один крестьянин.

— Да знать што!

— Оказия!

— Ишь ты, глядь-ко!

— Эка!

Крестьяне пошли своей дорогой, а ворона летит чрез широкое поле своим путем; скачет за ней Емельян Герасимович.

К вечеру, подъезжая к одному селению, он увидел полк на походе и пустился во всю конскую прыть. Подскакав к толпе офицеров, Емельян Герасимович крикнул богатырским голосом:

— Не знаете ли, господа, где тут милиционный полк?

— Что такое? — спросил кто-то тучный, ехавший впереди в шинели.

— Милиционный полк.

— А ты откуда?

— Из лазарета.

— Из какого лазарета?

— Из госпитального.

— Что̀ за лазарет госпитальный, где он?

— Да вот там, в больнице,— отвечал Емельян Герасимович.

— В какой там больнице? Да что ж, ты отправляешься обратно в полк?

— Обратно; да не знаю, куда ехать.

— Где ж теперь искать полка, можешь прикомандироваться покуда к нашей резервной бригаде впредь до соединения с главной квартирой.

— Да как же...— начал было Емельян Герасимович.

— Да так же, прикомандироваться и кончено!

— Не угодно ли выпить и закусить вместе с нами? — сказал бригадный адъютант.

И он поднес Емельяну Герасимовичу чарку рому. Емельян Герасимович ни от чего не отказывался, выпил и крякнул, как то делал обыкновенно его командир.

После этой чарки слово за словом, переход за переходом, и артиллеристы поняли, что за золотой человек Емельян Герасимович. Ему было раздолье в бригаде; он забыл о своем полке и в одни сутки так привык к артиллеристам, как к единоутробным братьям. Народ был все славный, жил дружной семьею, от первого до последнего; на службе друг за друга; времени нет, сил не достанет, какие-нибудь сердечные делишки,— ну, я за тебя! На стоянке все сообща. В любви один другому не помеха и не соперник: на кого бросит богиня любви взор любви — тот и Марс; все прочие служат ему Меркуриями.

Емельяна Герасимовича приютил к себе бригадный адъютант, к которому всегда стекалась вся братия; тут пир горой, очки перекидываются направо и налево, фигуры переваливаются с боку на бок, рюмочки по столику похаживают, золотцо червонное побрякивает. И Емельян Герасимович не последнее лицо: он обер-мундшенк; на его попечении биттер-шнапс, гоголь-моголь, глинт-вейн, шампаньер-вейн-муссе и нон-муссе.

Как хозяйка он обо всем всегда хлопочет, разливает чай, за столом на первом месте, всех потчует, угощает,

не забывая себя. Денщики и вестовые у него в распоряжении. Необыкновенная способность к хозяйству. Только что на квартиру — Емельян Герасимович хлопочет уже, кричит, чтоб скорей ставили чайник, добыли провизии, готовили ужин, несли ларец из фургона; покуда адъютант сходит к полковнику, получит приказания, распорядится в своей походной канцелярии, на квартире вода уже вскипела, стаканы, ром, сливки на столе, гренки на сковороде. Соберется к адъютанту, по обычаю, молодежь — карты готовы, мелки очищены, и обо всем этом хлопочет Емельян Герасимович.

— Хозяйка! нельзя ли поразбавить чай? слишком крепок!

И Емельян Герасимович знает уже, чем разбавляется походный чай в стакане.

— Хозяйка! мне одной воды.

И Емельян Герасимович знает уже, что значит одной воды.

— Хозяйка! не пора ли закусить?

И Емельян Герасимович знает уже, что закусить ничто в сравнении выпить.

Так прошли месяца три и более. До перехода за границу резервной бригаде, к которой прикомандировался Емельян Герасимович, случилось еще две-три долговременных стоянки. Время было дорого, надо было проводить его весело. Приятные мимолетные знакомства не упускались из виду. Емельян Герасимович был неразлучен с артиллеристами, принявшими его к себе в товарищество. Где они, там и он; но его не оставляли на жертву его собственному простодушию вне круга своих. Знакомясь с каким-нибудь домом, где была и играющая компания, и гуляющий хозяин, и любезная хозяйка, и одаренные нежными сердцами существа, Емельяна Герасимовича подготовляли к этому знакомству и рекомендовали то гением ума, притворяющимся простяком, то страшным дуэлистом, который убил более десяти человек, то немного тронутым от любви, и прочее и прочее. Эти рекомендации были причиною, что на Емельяна Герасимовича смотрели все, особенно женщины, как на интересное лицо, и все подходило к нему с робостью, вслушивалось в его слова, находило в нем особый смысл, ум, остроту и оригинальность. Особенно Емельян Герасимович необыкновенно как был полезен для занятия несносных особ, помех любви, пресерьезных, преразумных, прерассудительных, ревнующих всех и ко всем.

В одном городе молодежь познакомилась с Анисимом Ивановичем, прекраснейшим человеком, хлебосолом, любящим военную собратию, вистик, бостончик и в заключение банчик; супруга его Ирина Яковлевна была также прекраснейшая женщина, дочка Оленька — прекраснейшая девушка; словом, все в доме, кроме Саломеи Ивановны, были бесподобные люди.

Саломея Ивановна, сестра Анисима Ивановича, золовка Ирины Яковлевны и тетенька Оленьки, была старая девка и одна из тех несносных особ, которых строгий, полицейский глаз не дает промельнуть ничьему воровскому взору любви—тотчас поймает; которых острое ухо не дает пропорхнуть ничьему вздоху любви — тотчас изловит; а о словах и речах любви нечего и говорить, при ней никто не смей высказать что-нибудь языком, варенным в сахаре. Избави бог, беда тому нежному существу, у которого при ней как-нибудь проговорится сердце.

В доме Анисима Ивановича *черед неуменья играть в карты* пришелся бригадному адъютанту. Он тотчас понял, что все слова, взоры и вздохи необходимо застраховать от Саломеи Ивановны. С первого же дня он подсел к Саломее Ивановне, подле которой Оленька всегда сидела как на привязи, завел разговор о погоде, от погоды перешел к пушкам, батареям, стал рассказывать, каким образом стреляют, как убивают и как умирают. С первого же дня Саломея Ивановна не выдержала рассказов, от которых ей делалось дурно, ушла и предоставила племяннице дослушать офицера, который ни о чем более не умеет говорить, кроме как о убитых да раненых. Оленька дослушала как нельзя лучше.

На другой день та же история, и Оленька опять слушает с любопытством.

Саломея Ивановна несколько раз поверяла, проходя дозором мимо, точно ли он продолжает говорить страсти? — Точно, подойти — ужас: только и слышно, что про огонь, про поражение, про убийственные страдания, про какие-то напитанные губительным ядом стрелы.

— Помилуй, Оленька, что̀ тебе за удовольствие слушать эту солдатскую душу?

— Ах, тетенька, я очень люблю слушать про войну! — отвечала Оленька,— что́ это за ужас! вы не поверите! Что́ вы не послушаете?

— Поди ты, пожалуйста, с ним! у меня сердце содрогается! четвертого дня наслушалась страстей, ночь не спала: только и видится, как убивают!

— А какие он рассказывал странные приключения о привидениях, это ужас!

— Поди ты, пожалуйста, с ним! Меня и теперь мороз по коже подирает!

Таким образом главное дело сделано; но надо было занять Саломею Ивановну. На третий день явился в дом и Емельян Герасимович; об нем предуведомили как об гении ума и учености и вместе с тем как о человеке, который любит казаться странным.

— Вы не поверите, что́ это за человек,— сказано было между прочим Саломее Ивановне,— у него иногда страсть говорить нелепости. Только в умном разговоре, глаз на глаз, он забывает свое притворство; особенно беседу с умной и любезной женщиной он предпочитает всему.

Смотри же, брат, Емельян Герасимович,— вот это Оленька, а эта туча — ее тетенька; отведи же ты эту тучу в сторону. Сядь подле нее, сперва спроси: любите ли вы разговоры о погоде? потом: любите ли вы большой свет? потом: любите ли вы прогулку? потом: что́ вы больше любите, лето или зиму? Спросишь и молчи.

— Понимаю! — отвечал Емельян Герасимович, и когда адъютант отогнал Саломею Ивановну от Оленьки и от бывших у ней в гостях подруг, Емельян Герасимович принял пожелтелую от злости старую весталку на свои руки. Она сама начала разговор с ним вопросом:

— Какой прекрасный день!

— Конечно,— отвечал он,— а вы любите разговоры о погоде?

Саломея Ивановна смутилась несколько; но, собравшись с духом, отвечала с улыбкой пренебрежения к погоде:

— О, нет!

Емельян Герасимович смотрел на нее таким взором, который ожидал доказательств: почему нет, а не да.

— Что́ ж такое погода,— продолжала Саломея Ивановна,— конечно, приятно в хороший день прогуляться, особенно за городом в компании; это очень приятно! Я не знаю, как люди находят удовольствие сидеть в такую прекрасную погоду за картами? я ненавижу карты! Ну уж, конечно, в дурную погоду не́чего делать; да и тут можно провести время в приятных разговорах в компании.

— А вы любите большой свет? — спросил Емельян Герасимович.

— Да, конечно,— отвечала Саломея Ивановна значительно,— но какой же здесь большой свет, в городишке? Я говорила братцу: чтó тебе за охота ехать служить в уездном городе? Чтó ж делать, поставил по-своему, или, правду сказать, не по-своему, потому что и Ирина Яковлевна здешняя уроженка; а я родилась в Москве. Все-таки больше имею понятия о людях и обществе; бывала и сама в людях. Княгиня Леокадия Григорьевна была истинный мой друг; бывало с утра пришлет карету за мной, быть без меня не могла! Если вы бывали в Москве, то, верно, знаете княгиню Леокадию Григорьевну, а может быть, и знакомы, были в доме?

— Конечно,— отвечал Емельян Герасимович.

— Ах, боже мой, так, верно, я вас видела там, в девяносто девятом году, до отъезда ее за границу? Тó-то чтó-то лицо мне ваше знакомо! как это приятно! Ах, я об ней не могу и забыть! Поехала ли бы я сюда, если б она была жива! ни за чтó! она бы меня не пустила.

Рассказы Саломеи Ивановны о княгине и о большом свете были бесконечны. Емельян Герасимович, сложив на груди кренделем руки и закинув ножка на ножку, усердно слушал ее и берег экономно вопросы о прогулке, о лете и зиме и о прочем для следующих бесед. Саломея Ивановна, встретив такого хорошего знакомого, забыла все подозрения и ревность до такой степени, что хитрая Оленька приревновала ее к Емельяну Герасимовичу.

— Вы, тетенька, совсем отбили от нас лучшего кавалера.

— Ах, мать моя,— отвечала Саломея Ивановна,— да ведь это давнишний мой знакомый, человек большого света, образованный: будет ли он с вами баклуши бить!

— Да, тетенька, вы так заняли его собой, что он во все время мне слова не сказал.

— Я заняла! скажи, пожалуйста! Это с чего ты взяла? Человек находит удовольствие говорить со мной — не бежать же мне от него.

— А на меня так сердитесь, зачем я долго говорю с кем-нибудь.

— Разумеется, сержусь, когда какой-нибудь вертопрах с тобой говорит, а ты и уши развесишь; да пожалуй-себе проговори хоть целую ночь вот с этим адъю-

тантом, кто тебе мешает: слушай, если любишь слушать страсти.

— На зло вам буду слушать страсти, ничего в них нет страшного; а вот этот капитан привязался к Сонюшке и толкует ей про астрономию; вот это по мне тоска слушать: я ухожу от них.

— Образованные люди никогда пустых разговоров не ведут и не говорят комплиментов и сладостей.

— Помилуйте, кто ж любит эти сладости!

— Да, милая, теперь-то ты так говоришь, потому что я в тебя внушила уважение к самой себе и научила, как отличать умных и скромных людей от ветреников.

— Я вам благодарна, тетенька,— сказала Оленька, целуя руку у Саломеи Ивановны.— Знаете что́, тетенька: поедемте сегодня кататься в тележках за́ город.

— Вот прекрасно!

— Поедемте!

— Нет, нет, нет! вот прекрасно! я оставь гостей да поезжай с ними!

— Да кто ж гости? все в карты играют; только адъютант да капитан; они поедут с нами.

— Кроме их есть люди.

— Да кто ж? вот этот, как его? Емельян Герасимович? он, верно, также поедет.

— Уж он поедет! скромный степенный мужчина поедет с вами!

— И, какие вы, тетенька! — сказала Оленька.

А между тем Емельян Герасимович получил следующие наставления:

— Послушай, душа моя, теперь тебе следует чуть-чуть приволокнуться за Саломеей Ивановной: сегодня ты заведи с ней разговор, спроси: любит ли она прогулки? Когда Оленька будет звать ее ехать кататься на тележках и тебя будет звать, ты отвечай, что готов ехать, если это приятно будет Саломее Ивановне. Мы распорядимся, усадим тебя с ней на особенную тележку, ты будешь править, и как только за́ город, поедем лесом, ты непременно вывали ее на землю, потом схвати и держи на руках, покуда мы возвратимся, слышишь? Сослужи же, брат, службу, да поцелуй ее, если совсем не зазрит.

— Не в службу, а в дружбу, изволь, поцелую; а просто — извини, фэ! — отвечал Емельян Гера́симович.

Как сказано, так и сделано. Саломея Ивановна согласилась ехать кататься на мужицких тележках. На одной не могли усесться шесть человек: Саломея Ива-

новна, Оленька, Сонюшка, адъютант, капитан и Емельян Герасимович; молоденькую девушку с молодым мужчиной также неловко было посадить, и потому одной с кем-нибудь из мужчин необходимо должно было ехать Саломее Ивановне. Адъютант вызвался было править ее экипажем.

— Я чудно правлю,— сказал он,— особенно если вы любите ездить скоро! во весь опор с горы — и ничего, как по маслу!

— Нет, нет, нет! — вскричала Саломея Ивановна,— я с вами не поеду!

— Так поезжайте вы, Емельян Герасимович, с Саломеей Ивановной.

— Если позволит Саломея Ивановна,— сказал Емельян Герасимович.

— Пожалуйста, только не очень гоните,— сказала Саломея Ивановна, бросив на него преумильный взгляд.

Покуда Саломея Ивановна садилась в тележку и предлагала сесть Емельяну Герасимовичу вместо облучка с ней рядом, передняя тележка быстро двинулась с места. Сонечка села с капитаном рядышком; править взялась сама Оленька; а адъютант, стоя на коленях позади ее, в опасных местах помогал ей и брал вожжи вместе с ручками правительницы.

Емельян Герасимович так тихо ехал, что Саломея Ивановна стала просить, чтоб он подгонял лошаденку.

— Они совсем из глаз пропали! — вскричала она, не видя уже впереди тележки.

— Догнать их? — спросил Емельян Герасимович, въезжая в лес; и не ожидая ответа, он приударил коняку, поднял на рысь и потом на скок и разогнался на повороте дороги по косогору.

— Ах, опрокинете! — вскричала Саломея Ивановна.

— Ничего, ничего, не бойтесь!

И с этим «не бойтесь» телега на бок; Саломея Ивановна как сноп с возу.

— Прррр! — вскричал Емельян Герасимович, вскочив с земли и дав пинка лошаденке. Лошаденка поскакала куда глаза глядят; а он подбежал к Саломее Ивановне, поднял ее, сел на землю, положил драгоценную ношу себе на колена, голову ее на левую руку, а правою рукою обхватил перетянутый стан беспамятной «девы».

Как нянька, довольная, что ребенок уснул, сидит и не шелохнется, так сидел и Емельян Герасимович.

Бесчувственное состояние долго бы продолжалось, если б Емельян Герасимович не решился привести Саломею Ивановну в память поцелуем, обещанным не в службу, а в дружбу.

Саломея Ивановна вздохнула, взглянула, ахнула и сказала нежно:

— Ах, пустите!

— Нет, невозможно! — сказал Емельян Герасимович.

— Ах, я умираю! — произнесла Саломея Ивановна, и снова молчание в виде беспамятства.

— Ах, пусти, милый сердцу человек, пусти! — прошептала опять Саломея Ивановна, вырываясь из объятий Емельяна Герасимовича.

— Нет, невозможно! — отвечал он, обхватив еще крепче руками.

— Ах, я умираю! — проговорила снова Саломея Ивановна, и снова впала в бесчувствие, и снова очувствовалась, и снова проговорила:

— Ах, пусти, милый человек, пощади мою скромность!

— Невозможно! — отвечал Емельян Герасимович.

Между тем лошаденка, которую Емельян Герасимович неучтиво толкнул ногою, поскакала во весь опор по дороге, догнала тележку, нагруженную влюбленными сердцами, и, по привычке ходить впереди обозов, пронеслась мимо, задела колесом за колесо, опрокинула тележку, а сама дует вперед; подруга ее, освободясь от поклажи и почитая обязанностью не отставать, пустилась также скоком за передовым порожняком.

Таким образом, беда родила беду.

Адъютант поднимает с земли почти беспамятную Оленьку, а капитан — Софи.

И тут также история сердечного участия.

— Ах, пустите!

— Невозможно!

Но ни адъютант, ни капитан не выдержали характера, подобно Емельяну Герасимовичу,— пустили, и вскоре пассажиры передней тележки нашли Саломею Ивановну в отчаянном положении, без чувств и без памяти, на руках Емельяна Герасимовича.

— Фу, мочи нет, как устал! — сказал он,— кажется, кости да кожа, а так оттянула руки, что ужас!

— Сделайте одолжение, не беспокойтесь! — вдруг очнувшись, вскричала Саломея Ивановна, недовольная холодностью своего кавалера,— я вас не просила беспокоиться!

— Помилуйте, что́ за беспокойство, не сто́ит благодарности,— отвечал Емельян Герасимович.

Можно представить себе, в каком духе возвратилась Саломея Ивановна домой. Оленьке и Софи не было бы житья от ее гнева; но, к счастью, бригаде велено было выступать на другой день в поход, и история кончилась.

Наполеон, нагостившись в Москве и наскучив наступательной войной, предпринял ретираду [1], чтоб испытать счастия в оборонительной войне; запасшись зимними салопами и шляпками, его барыня, *великая армия*, отправилась по зимнему пути обратно в Париж. Не поберечь женщину, беременную славой покорения целой Европы, было ужасно. Бедная простудилась и слегла.

Когда выморозки *великой армии* вступили в Вильну, под начальством главнокомандующего всей кавалерией, неаполитанского короля, шла уже эссенция кавалерии, состоявшая из четырех полков, каждый в полтораста человек; судьба разжаловала маршалов в командиры рот и эскадронов, дивизионных и бригадных командиров в начальники взводов, а все остальное офицерство отправила на фронт впредь до повышения. Бригада, в которой обретался Емельян Герасимович, также способствовала к сотрению рога кичливого врага. Вышли награды. Надо было вспрыснуть вновь произведенных и пожалованных орденами.

— Э, господа, что ж это значит, что нашему Емельяну Герасимовичу не вышло награды?

— Его произведут прямо в бригадиры Екатерининских времен,— сказал адъютант.

— Э, нет, брат, это жирно будет.

— Что за жирно,— сказал Емельян Герасимович,— если жирно, так на жирное выпить — и кончено!

— Право, ей-богу, право, Емельян Герасимович! Выпьем за здоровье его дюжину; посылайте к маркитанту.

Послали к маркитанту за шампанским. Сам Емельян Герасимович напенил в стаканы вина.

Чокаясь с каждым, он опоражнивал бокал за бокалом. Несколько бокалов взяли свое — лицо Емельяна Герасимовича раскраснелось, глаза забегали; чувство удовольствия, которое обыкновенно проявлялось в нем холодной улыбкой, вдруг как будто ожило, прорвалось,

---

[1] Ретирада — отступление (от *фр.* retirer — отступать).

разыгралось, сперва мелким хохотом, потом с перебоем; наконец и он, и все так расхохотались, что бригадный медик испугался, налил в стаканы воды и начал всем подносить.

— Выпейте, выпейте, господа!

— Ну, залп! за здоровье Емельяна Герасимовича! — вскричали все, взяв стаканы и воображая, что в них шампанское.

— Раз, два, три! ура!

— Пфу! что́ это такое!.. вода!.. пфу гадость какая!.. ха, ха, ха, ха! — раздалось залпом.

— В самом деле вода,— сказал Емельян Герасимович.

— Ха, ха, ха, ха!

— Верно, в какой-нибудь бутылке вместо шампанского была зельцерская да выдохлась.

— Отослать бутылку назад к маркитанту!

— Непременно!

И вот все давай сливать из стаканов воду в пустую шампанскую бутылку: закупорили, посылают за маркитантом.

— Притащить его сюда, мошенника!

Маркитант явился.

— Пожалуй-ка сюда, любезный!

— Что́ прикажете, ваше благородие? — отвечал бородатый мужик, кланяясь.

— Ты что́ продаешь вместо шампанского?

— Шампанское, ваше благородие.

— На-ка, брат, выпей!

— Не нашему брату пить, ваше благородие,— продавать продаю, а пить не пью.

— Пей же, говорят! — прикрикнул адъютант.

Маркитант прихлебнул со страхом.

— Что́, хорошо?

— И скусу не знаю, ваше благородие.

— Допивай же стакан!

Маркитант, морщась, прихлебывал.

— Ну, хорошо?

— Ваше благородие лучше изволите знать вкус в нем, коли изволите пить.

— Тебя спрашивают, хорошо или нет?

— Сладенько...

— Небось, винцо легонькое, а?..

— Ха, ха, ха, ха!

— Вестимо, что легонькое, ваше благородие,— отвечал смущенный маркитант, видя, что все над ним смеются,— не то что русское...

— Ха, ха, ха, ха!

— Точно вода, не правда ли?

— Как можно, ваше благородие: такая ли вода бывает?

— Тьфу ты, дурак! так это не вода? пей еще!

Маркитант посмотрел кругом; все, кроме адъютанта и Емельяна Герасимовича, надрывались от хохоту; медик лежал уже на лавке и охал.

— Вода хмельная не бывает, ваше благородие... может статься, эта бутылочка повыдохлась немножко...

— Ха, ха, ха, ха! — раздалось опять.

А адъютант вышел из себя, он схватил маркитанта за бороду, потянул и вскричал.

— Так это не вода?

— Помилуйте, ваше благородие! ведь не я делаю шампанское, а сам хозяин; сам разливает и закупоривает... а я чем виноват?

— Ах, мошенник! так он еще нас поил шампанским своего рукоделья!

— Что́ ж, ваше благородие, наше винцо не хуже какого другого было; все оставались довольны!..

— Ой, ой! — раздалось по всей избе.

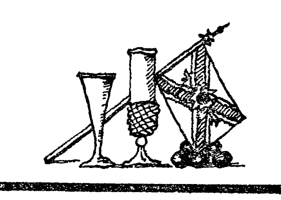
Все испугались, бросились к медику; от смеху у него сделалось колотье, и он с лавки свалился на пол и катался по полу. Между тем как хлопотали около него, маркитант ушел.

— Ах!.. мочи нет! — сказал медик, приходя в себя.— Он не виноват... ведь это я налил воды вам в стаканы!

— Ах ты шутник!.. а я хотел ему всю бороду вырвать!.. впрочем, кстати: не продавай поддельного вина!

Сели по маленькой; потом заложили банчик, другой, третий, все до одного были сорваны; реванш был отложен до следующего растаха.

Конец первой части



ЧАСТЬ II

Глава первая

О том, какой шаг сделал
Емельян Герасимович

Бригада, к которой прикомандировался наш Емельян Герасимович, прославилась в делах; там, где она,— неприятельские батареи сбиты. Офицеры осыпаны наградами; но и Емельян Герасимович, который иногда тоже смотрел в прицел, не отстает в производстве.

Все было дело испортил отрядный командир, к которому прикомандирована была бригада.

— Что это значит,— сказал он один раз адъютанту,— для чего милиционный офицер живет при бригаде? кто его прикомандировал?

— Он прикомандирован с начала кампании,— отвечал адъютант.

— Да где же бумаги?

— Бумаг нет.

— Так чтобы немедленно же отправлялся к своему месту в полк.

Это приказание было ужасно как горько для офицеров бригады. Все так привыкли к Емельяну Герасимовичу, что без него упал бы дух в целой бригаде. К счастью, бригада получила новое назначение и сверх того исправляющим должность командира бригады назначен был старший капитан, произведенный в подполковники.

В тот же вечер все офицеры собрались к нему на квартиру. Начался разговор очень серьезный о военных действиях; стали рассуждать, кого-то утвердят командиром бригады. Вдруг является вестовой с конвертом.

— Откуда это? — спрашивает адъютант.

— Писарь подал из канцелярии, ваше благородие.

— Что это! — вскричал адъютант,— на имя... господина бригадира... Емельяна Герасимовича.

— Как! неужели! — вскричали все офицеры.

— Что такое, что такое? — спросил Емельян Герасимович.

— На имя ваше конверт.

— Честь имею поздравить, В. П.! — произнесли все офицеры по очереди, почтительно подходя к Емельяну Герасимовичу и кланяясь.

— Это что такое, господа? — повторил Емельян Герасимович.

— Извольте читать,— сказал адъютант, подавая конверт.

— Что тут такое? Ваше превосходительство, ваше превосходительство! что за ваше превосходительство?

— Да как же иначе, извольте читать, что тут написано.

— Что мне читать, читайте сами!

— Если прикажете или если позволите, я буду читать.

Адъютант разломил печать и, не улыбнувшись, прочел следующее:

«Состоящий при бригаде Емельян Герасимович Неизвестный за отличия, оказанные в стрельбе противу неприятеля, производится в бригадиры Екатерининских времен и назначается впредь до утверждения исправлять таковую должность».

— В бригадиры Екатерининских времен! какое счастье! по старому положению! не позволите ли порадоваться, В. П.?

— Радуйтесь, сколько хотите, господа,— сказал Емельян Герасимович,— если вы рады, так и я рад.

— Прикажете с церемониями радоваться или просто от души?

— С какими церемониями?

— Наденем мундиры и представимся по форме; прикажете, В. П.?

— Я, господа, ей-богу, уйду, если вы еще прикажете! — сказал Емельян Герасимович.

— Господа, г. Бригадир желает, чтоб радовались от души. Ура!

— Не прикажете ли, В. П., послать за шампанским?

— Прикажете ли, прикажете ли! что приказывать, когда само собою разумеется.

— Как угодно.

— Разумеется, что очень угодно, тут нечего и спрашивать.

— Слушаем-с! шампанского!

— Позволите тост за бригадское здоровье?

— Позволите ли! — вскричал опять Емельян Герасимович.

— Нельзя же без позволения, с вашего позволения: ура! за здоровье В. П.!

— Черт знает что за церемония! я не терплю церемоний!

— Еще предстоит церемония качать В. П. Угодно В. П.?

— Не угодно! — отвечал Емельян Герасимович.

— Как угодно; но так следует; а впрочем, как угодно будет приказать.

— Так следует! черт так следует! — вскричал Емельян Герасимович,— ну, мне никак не угодно и никак не приказываю!

— Как угодно, г. Бригадир.

— Опять! — вскричал Емельян Герасимович,— что ж вы стоите да молчите, господа? Ну, и я встану; ну, будем стоять столбами! хорошо?

— Как угодно!

Емельян Герасимович вышел из себя, ударил кулаком по столу, плюнул и, заложив руки назад, стал ходить по комнате.

Все офицеры вытянулись во фрунт и молча стояли.

— Что ж это такое будет! — вскричал снова Емельян Герасимович, остановясь и смотря на всех,— Иван Петрович!

— Что угодно будет приказать, г. Бригадир? — сказал адъютант, бросясь к Емельяну Герасимовичу.

— Вели, брат, подавать чай и карты!

— Кому прикажете подавать, Ивану или Кузьме?

— И тут надо приказывать! Черт их возьми, пусть их оба подают!

— Как угодно, г. Бригадир; сами будете разливать чай?

— Сам! — отвечал Емельян Герасимович.— Да что ж вы, господа, стоите, не играете?

— Как прикажете: играть по большой или по маленькой?

— Да пожалоста играйте как хотите, по-прежнему, без церемоний.

— Нельзя же, В. П., уж это так следует.

— Черт следует! — повторил Емельян Герасимович, принимаясь разливать чай.

— В. П., г. Бригадир!

— Ну, что там такое?
— Ко мне совсем карты нейдут.
— Что ж с ними будешь делать?
— Ничего, В. П.; я только донес по долгу обязанности.
— Г. Бригадир!
— Что такое?
— Не угодно ли будет приказать поразбавить чай?
— Хорошо, хорошо! угодно!
— Не прикажете ли, г. Бригадир, мне одной воды?
— Хорошо, хорошо! прикажу!
— Г. Бригадир!
— Ну!
— Не угодно ли будет сделать смотр моим картам?
— Вот господин поручик говорит, что я должен козырять.
— Зачем же дело стало?
— Да козырей нет, г. Бригадир.
— Ну, что ж такое?
— За неимением козырей не позволите ли с простых ходить?

Тяжко Емельяну Герасимовичу; но, убедившись, что без его приказания ничего не делается, он попривык и отдавал приказания, не долго думавши.

Ни шагу без его воли. Он задремал, его поминутно будят.

— В. П., город идет чрез войско и недостаточно людей для помещения квартир, как прикажете?
— Ну, что ж, пусть его едет; а если недостаточно людей, так прикомандировать.
— Слушаю-с.

Начальствование Емельяна Герасимовича должно было записать в военных летописях; его любили, величали сладостными именами на всех языках: то по-русски начальником, то по-немецки командиром, то по-французски шефом.

Бригада была уже за границей; а между тем...

Глава вторая

О том, как Пафнутьич искал своего барина; а между тем Емельян Герасимович был причиной счастия двух любящих сердец

Между тем как Емельян Герасимович пропадает из полка, мы должны хоть взглянуть на тех существ, которых интересует его судьба. Помните, как усердно

поскакал он в Москву, наведаться о Варваре Артамоновне.

Солнце село, ночь легла, а Пафнутьичу не сидится и не лежится; он вышел встретить барина за деревню,— барин не едет.

— Батюшки мои,— спрашивает он у всех офицеров полка,— не знаете ли, куда послал полковник моего барина?

— А тебе что за дело?

— Как же, сударь, не дело; ведь он мой барин. Вот уж ночь на дворе, а он бог его знает где, один одинехонек; а мне барыня не приказала от него отлучаться.

Все захохотали над бедным стариком и над его заботой о барине.

Пафнутьич пошел к самому Артамону Матвеевичу.

— Полковник почивать изволит,— сказал вестовой.

— Что ж что почивать изволит, надо ему доложить, что мой барин пропал.

— Пропал? как пропал?

— Да; поехал куда-то, верно, полковник послал его, да и не возвращается по сю пору.

— Что ж, брат, послал так послал; уж если послал, так по службе. Воротится небось. А полковника будить нельзя.

Пафнутьич убедился служебной невозможностью; пошел снова за деревню по дороге к Москве; дорога полна народом: едут, идут люди из Москвы. В иное время он бы погоревал о всеобщей беде; но теперь Пафнутьичу не до Москвы и не до народа; он посматривает, не едет ли и его барин, допрашивает всех, не встретили ли его барина.

Настало утро. Бежит он опять к Артамону Матвеевичу, ворвался к нему — и в ноги.

— Батюшка, Артамон Матвеевич, куда изволили послать моего барина?

Артамон Матвеевич сам не спокоен был, приход Пафнутьича смутил его; но он спросил строго:

— Что?

— Барина, барина, сударь, Артамон Матвеевич, Емельяна Герасимовича, ведь он пропал.

— Что? как пропал?

— Ваше высокоблагородие изволили послать его куда-то, а он и поскакал, а меня не взял с собою.

— Как, кто посылал?

— Да вы, батюшка.

— Что ты врешь! он сам куда-нибудь уехал,— экой какой!

— Как, сударь, сам?

— Да, сам, без спросу; уж я догадываюсь, что поехал наведаться о Наталье Дмитриевне.

— Ах, ты господи! В Москву? да из Москвы-то все бегут, в Москве-то французы... Ах ты господи! побегу... он пропадет там!

И Пафнутьич хотел уже бежать.

— Куда ты?

— Побегу искать.

— Пустяки; воротится сам.

— Нет, уж как угодно, пойду навстречу, в Москву пойду!

И Пафнутьич побежал опять по дороге к Москве.

Полк двинулся, прошел несколько переходов; прошло несколько дней — ни Емельян Герасимович, ни дядька его не возвращаются к полку.

Артамон Матвеевич призадумался и раскаивался, что послал Емельяна справляться о своей дочери.

— Ах я дурак! послал волка справляться о здоровье овцы!.. То-то он радехонек был! Ах я дурак! пришло же в голову!.. Сестра Прасковья с Варей в деревне, сестра Наталья также, верно, не в подмосковной, а к ней же отправилась; и Емельян там!..

Эта мысль привела в совершенное исступление Артамона Матвеевича; он готов был сам сесть на коня и спасать дочь свою от Емельяна.

А между тем Пафнутьич бежит в Москву, прибежал и всплеснул руками.

— Матушка ты моя, сударыня, что с тобой делается!

Благополучно прокрался он мимо встречавшихся по пожарищам улиц французских солдат, добрался до сгоревшего дома Платона Андреевича, всплеснул снова руками, закрыл лицо и зарыдал.

Команда французских солдат прошла мимо его. Один гренадер, обносившийся сапогами, вымерял глазомером ногу Пафнутьича и, находя, что сапоги его будут ему впору, попросил товарища помочь снять их с него.

— Батюшки, господа французы, помилуйте,— воззвал он к усачам.

Но его повалили на землю, стащили сапоги и оставили на месте. Пафнутьич приподнялся, перекрестился и снова зарыдал.

В другой проходящей команде у одного драгуна неисправен был мундир; он стащил старый сюртук с Пафнутьича и напялил на себя.

Третья команда погнала Пафнутьича на работу, носить с огородов картофель; чрез несколько дней дали ему свободу идти на все четыре стороны; но эта свобода продолжалась до первого перекрестка. Тут попался он навстречу четвертой команде, которая погнала его таскать провиант, а потом аммуницию.

Таким образом, бедный Пафнутьич во все время пребывания французов в Москве носил на плечах военные тягости. Когда же французы вышли из Москвы и оставили его в покое, он отправился в господское поместье донести со слезами барыне, что вот так и так.

— Пафнутьич! — вскричала Наталья Дмитриевна.

Пафнутьич в ноги.

— Что ты? откуда ты? где Емилий?

— Матушка! — проговорил Пафнутьич.

— Говори, где Емилий? слышишь? — повторила Наталья Дмитриевна дрожащим голосом.

— Матушка, сударыня... Полковник Артамон Матвеевич отправил его куда-то по службе... сказал, что он поехал к вам...

— А ты пустил его одного? он один поехал?.. Ах, мошенник!

— Ведь по службе, сударыня... изволил сесть на коня, я спрашиваю: батюшка, Емельян Герасимович, куда, сударь, изволите ехать; а он ни словечка не отвечал, взял да и поскакал...

— Где ж он? — вскричала Наталья Дмитриевна.

— Не могу знать, сударыня... я...

— Где он, говори! говори, мошенник! умер?

На крик Натальи Дмитриевны прибежал из кабинета Платон Андреевич.

— Что такое? что такое? ба! Пафнутьич! А что Емельян?

— Не могу знать, сударь,— проговорил Пафнутьич, целуя руку Платона Андреевича.

— О боже мой, он верно умер! — вскричала Наталья Дмитриевна, закрыв лицо руками и припадая к спинке кресел.

— Неужели умер? убили? — спросил Платон Андреевич.

— Вон! вон ступай! вон с глаз моих!

— Матушка...— начал было Пафнутьич.

— Вон, мошенник! вон! — повторяла Наталья Дмитриевна, обливаясь слезами.

Пафнутьич, также отирая кулаком слезы, вышел вон.

— Помилуй, матушка, ты с ума сошла! что он родной твой сын, что ли?

— Родной, сударь, родной! Подите прочь, оставьте меня!

Платон Андреевич плюнул и пошел обратно в кабинет.

Выплакав много слез, Наталья Дмитриевна послала за Пафнутьичем. Он вошел, без души.

— Говори, как он умер, — сказала Наталья Дмитриевна.

— Матушка, да кто ж вам сказал, что он умер?

— Молчи! мне сердце это говорит!

— Матушка, сударыня, позвольте вам сказать всю истинную правду.

— Нет, не говори, мне страшно! поди вон!

Поплакав еще наедине, Наталья Дмитриевна снова приказала позвать Пафнутьича.

— Матушка, сударыня, Наталья Дмитриевна, сделайте божескую милость, успокойтесь; уж если Емельян Герасимович не здесь, так он теперь в полку.

— В полку? ты не лжешь?

— Ей-ей, не лгу, сударыня.

— Зачем же ты пришел сюда?

— Да вот, так и так; я испугался, что его долго нет, да и побежал сдуру в Москву... а в Москве-то меня французы пленили... Уж я догадываюсь теперь, что Артамон Матвеевич послал его вперед занимать квартиры... да подшутил надо мною, сказал, что он к вам поехал...

— И ты правду говоришь?

— Хоть образ со стены сниму!

— Ступай в полк! не хочу я службы его! чтоб сейчас подал в отставку!..

— Сию минуту побегу, сударыня!

— Постой! может быть у него нет денег... Вот тебе деньги... поезжай сейчас и привези мне Емилия.

Пафнутьич побежал, взял подводу в деревне и отправился искать следов своего барина.

А между тем Емельян Герасимович в кругу офицеров бригады продолжал играть роль бригадира. В свете часто не нужно быть и дураком, чтоб попасть в дураки.

Простодушие, неопытность и доверчивая душа, такие ли роли играют по милости людей смышленых.

Артиллерийская бригада прибыла в один немецкий городок. Подполковнику, командующему бригадой, отвели квартиру у одного члена магистрата. Емельян Герасимович распорядился, по обычаю, на счет чаю; офицеры собрались; дежурный донес ему, что все состоит благополучно, лошадям задан корм, а люди спать залегли; адъютант спросил его, как угодно будет приказать, с которой стороны ворот ставить часового, с правой или с левой.

— А разве не все равно! — спросил Емельян Герасимович.

— Оно и все равно и не все равно,— отвечал адъютант,— потому что если он с одной стороны будет стоять, так не будет стоять с другой.

— Как же это решить, господа?

— Как угодно, В. П.

— С левой?

— Как прикажете.

— Ну, так с правой; или нет, с левой.

— Так с левой?

— Или уж с правой поставить?

— Так с правой?

— Пьфу! дьявол знает! — вскричал Емельян Герасимович.

— Так не прикажете ли по-прежнему, не упоминая о правой и левой стороне, а просто подле ворот.

— Слава богу, насилу догадался, а еще адъютант,— сказал Емельян Герасимович, принимаясь разливать чай.

Вдруг пришел приказ немедленно же отправить орудия куда-то в дело, а обоз оставить в городке.

Емельян Герасимович также засуетился было идти в поход; но ему донесли, что он, как бригадир, по старому положению, должен оставаться при обозе.

— Это почему? — спросил Емельян Герасимович.

— Потому что по новому положению этого чина не существует,— отвечал адъютант.

— От чего?

— От того, что этот чин заштатный.

— Почему заштатный?

— Трудный вопрос; не поможет ли кто ответить мне, господа?

— А вот почему. Этот чин в старину был как улица *тупик,* выход позволялся только избранным, чрез калитку. В него набралось столько народу, так стеснились и приперли к калитке, так что ее уж и отворить было опасно, чтоб не прорвались все без разбору. Вот взяли да и заколотили калитку наглухо. С этих-то пор чрез этот тупик и проходу нет.

— Что ж это такое, господа, я-то за что попал в этот тупик? — спросил Емельян Герасимович,— от чего я-то заштатный?

— От того, что вы, г. бригадир, не состоите в штате бригады, а состоите при обозе.

— Что ж мне при обозе делать?

— Ничего; оставаться при обозе, покуда мы возвратимся или покуда обоз двинется вперед. В ожидании можете волочиться за немочкой, чу! поет: «Mein Lieber Augustin» [1].

— Ну, хорошо,— сказал Емельян Герасимович,— поезжайте.

Оставшись один, он подумал: в самом деле пойти было волочиться за немочкой.

И без церемоний отправился на хозяйскую половину.

Хозяин, член магистрата, был тучный немец, добряк, с утра до ночи обкуривал большую пеньковую трубку и рассуждал про себя, что со временем он достигнет звания бургомистра. Супруга его была в полном смысле простодушная швабка, хлопотунья по хозяйству, постоянно в фартуке и с очками на носу. Дочь *Мальхен* была белая роза, не очень душистая; но могла очень приглянуться для человека аккуратного; она и приглянулась некоему философу Карлу Трауму.

Хандельштат Лейпциг, лежащий, как говорит немецкая география, на слиянии трех рек — белого Эльстера, зеленого Плейса и синей Парды, заключает в себе университет; а этот университет заключал в себе магистра философского факультета, упомянутого Карла Траума.

Он уже собирался опровергнуть du fond en comble[2], как говорят и делают французы, все философские системы и смутить все германские умы грамматическим вопросом: какого рода должно быть философское Я? мужского, женского или среднего? Мужского рода оно не может быть; ибо, заключая в себе семена идей, но не

---

[1] «Мой любимый Августин» *(нем)*. Название популярной немецкой народной песенки.

[2] сверху донизу *(фр.)*.

имея почвы идей, не в состоянии родить идей; женского рода также не может быть, ибо почва без семени бесплодна. Следовательно, Я должно быть среднего рода; но что такое средний род? мужской и женский вместе или ни тот, ни другой?

Таким образом, рассуждая и созидая в голове своей идею идей, Карл Траум после многолетней разлуки приехал в каникулы погостить к тетке своей, старушке, в упомянутый нами городок; приехал в то время, когда у ней была Мальхен. Прекрасный молодой человек и прекрасная молодая девушка взглянули друг на друга и вспыхнули, загорелись, как серные спички; а старушка невольно вскрикнула: «Мейн гот, вы как будто уродились друг для друга!» Это простодушное восклицание имело большие последствия. Карл и Амалия начали разговор с погоды, в котором принимала участие и старушка; но когда они перешли к разговору о стихиях, потом о чувствах, вследствие магистрского замечания, что индейцы считают пять стихий, соответственно пяти чувствам человека; потом от чувств перешли к чувствам же; тогда старушка, задремав, перешла в другую комнату. Их сердца вдоволь набеседовались. Старушка по болезни не успела познакомить своего племянника с отцом и матерью Амалии, но им удалось побеседовать раза два-три до рассуждения о счастии семейном; но Карл Траум должен был отправиться в путь обратный.

— Ах, вы уже едете! — вскричала Амалия, и у ней навернулись слезы.

— Ах! — произнес и молодой человек,— не прежде как в будущем году я буду опять здесь и, если б я имел счастье сохранить доброе расположение...

Амалия поняла остальное, потупила глаза, и они расстались.

— Га! — думал Траум дорогой,— я не есть я; ибо без Амалии я не я.

Сочиняя диссертацию о Я, бедный Траум не знал, как бы выразить Амалию: буквами, числами или идеями? Амалия стала для него чем-то, без чего его Я не могло существовать. Это завлекло его в ужасные мышления о значении Амалии.

Прошло не более полгода, вдруг Траум получает в письме от тетки между прочим следующее известие:

«Мой любезный племянник Карл! Ты справляешься о здоровье Амалии; я тебе скажу, что ей предстоит великое счастье. Представь себе, она выходит замуж за

русского генерала, и так бедненькая радехонька, что плачет от радости. Поторопись приехать; нас, верно, позовут на свадьбу».

Траум помертвел.

Он сидел в это время подле камина и перечитывал свое сочинение, плод нескольких лет, плод глубоких изучений и надежда на славу. Толстая тетрадь выпала из рук его на дрова, и он безмолвно, мутными глазами смотрел на огонь. Дрова перегорели, огонь стал потухать; Траум наклонился, бросил в камин полено, другое; бросил тетрадь и опять устремил мутный взор на пламень, который стал вспыхивать и перебегать по листам; но густой дым вдруг задушил пламя.

— Боже мой! потухло! — вскричал Траум, и, набросав в камин еще несколько полен, он, казалось, ждал, что из всего этого будет. Густой дым встал столбом, дрова затрещали, листы закоробило — и вдруг пламя вспыхнуло; Траум очнулся, потер лоб свой.

— За генерала выходит замуж!.. Что ж мне делать? а? голова, говори!.. ну, работай! Индивидуум, что ж ты? где ж ты? неделимая неделимость разделилась!.. ищи же по свету своей половины!.. узнавай ее всеми пятью чувствами! всматривайся, прислушивайся, отведывай языком, щупай рукой, нюхай! Вот тебе и Амалия! Какая же следует из всего этого пропорция? Я содержусь к ней так, как она содержится к другому, тот к третьему, третий к четвертому... до бесконечности... Где ж тут individuum? Если б она любила меня так же, как я ее, о! дело другое: тогда мы бы составляли друг с другом полный individuum, полный Я, самобытный, сосредоточенный в самого себя, готовый свободно отделиться и жить вне земли и неба; а теперь что я? я ли индивидуум — неделимый? ложь! я неотделимый, я прикован к Амалии, а с ней ко всему человечеству. Как ни рвись, нет сил оторваться! О, это новая глава!.. Где моя тетрадь?.. Куда я ее девал? Эй, Иоган, ты взял тетрадь со стола?

— Какую тетрадь? — спросил вошедший Иоган, поправляя в камине огонь.

— Мою большую тетрадь.

— А бог знает, вы в камине сожжете, да на мне спрашиваете! Вот и теперь полон камин бумаг; вот и обгорелая тетрадь.

— О, все пропало! — вскричал Траум, схватив себя за волосы.— Ну, теперь одна дорога — в солдаты!

И Траум начал швырять все книги и бумаги в огонь.

— Прочь! — вскричал он, оттащив Иогана от камина и вытолкав вон.— Прощай, душа моя, ученость! прощай, голова! теперь я не буду вами работать!

И Траум присел снова на стуле подле камина и начал ворочать в нем книги и бумаги, как дрова.

— Прощайте, друзья! иду в солдаты! Иоган! я сегодня же — еду, укладывайся.

— Уложили бы вы лучше свою голову в постель, барин,— сказал Иоган с сердцем, смотря на безумие своего господина.

— Укладывайся, говорят!

— Что укладывать? хотел бы я знать, что? только добра-то и было, что книги.

Прежде поступления в солдаты Траум хотел проститься с теткой, приехал в городок; но сердце его сжалось от горя.— Нет, думал он, она еще вздумает уговаривать меня, разжалобить! запишусь в солдаты... в русскую службу! вон из отечества! запишусь; а потом приду к тетке, когда у ней будет Амалия... скажу ей: прощай, Амалия!

Надо знать, что любознательный Траум, как лингвист, между прочим учился по-русски по самоучителю и лексикону.

— Где квартир от начальник? — спросил он у проходящего фурлейта.

— А вон,— отвечал ему фурлейт, показывая на дом члена магистрата.

— Это дом отца Амалии... тем лучше! — подумал Траум, и прямо на крыльцо; спросил у попавшейся служанки, где комнаты русского начальника полка.

— Вот оне.

Траум вошел.

Емельян Герасимович лежал в это время на канапе в халате подполковника и курил трубку.

— Позвольте знание иметь: вы есть начальник?

— Я,— отвечал Емельян Герасимович,— а тебе что?

— Господин генерал,— начал Траум, кланяясь,— я есть магистр, Карл Траум, и имею хотение взойти на руской службу.

— Ну?

— Просим покорно принимать меня.

— На службу принимать? изволь; а ты кто такой?

— Я есмь магистр университета от Лейпциг,— отвечал Траум, подавая свой диплом.

— Это что?

— Мой есть диплом сие.

— Просьба?

— Да, просим покорно ваше благорасположение и покровительство! я нахожусь в огромном охотности служить.

— Ты, верно, немец.

— Я есмь немец; от ваша самохотная воля зависимость есть; ручание смею представить, что я есмь постоянник, и заслугу буду честь иметь в достопримечательности, милостивый государь, ваше превосходительство.

— Так ты немец?

— Немец, господин генерал. Сие есть моего отечествия язык; так как отечестволюбец не можно знание не иметь в оном.

— И прекрасно; а мне, братец, нужен немец переводчик; пойдем-ко со мной, уж кажется пора.

Емельян Герасимович вскочил, сбросил халат, надел сюртук, взял Траума за руку и потащил на хозяйскую половину. Траум шел вслед за ним, не понимая, что это значит. Они вошли в комнаты члена магистрата.

— Барина нет дома, барыня занята, сейчас выйдет барышня,— сказала женщина.

— Что она сказала?

Траум не успел еще перевести дрожащим голосом слов служанки, вдруг дверь отворилась, вошла Амалия с потупленными глазами, присела. Емельян Герасимович подошел к руке ее и сказал к Трауму.

— Господин немец, скажи ей по-немецки: мое почтение.

— Карл! — вскрикнула Амалия..

— Амалия! — проговорил Траум, бледный и смущенный.

— Ну, что ж ты не говоришь? — спросил Емельян Герасимович.

— Господин генерал... я...

— Оробел? Экой трус! Да ну же, братец, говори!

Емельян Герасимович так крикнул, что Амалия испугалась и вообразила, что он выгоняет Траума вон, а Траум противится выходить.

— Ах, Карл, Карл! уйдите от этого варвара! уйдите! но знайте, что меня насильно выдают за него,— проговорила она умоляющим голосом Трауму, сложив руки и почти припав на колена.

— Насильно! нет, это невозможно! — сказал исступленно Траум.— Генерал!..

— Ну, что ж ты молчишь?

— Вы хотите эта девушка брать силой замуж? — проговорил наконец Траум, подходя к Емельяну Герасимовичу.

— Что? эту девушку брать замуж? кто это тебе сказал?

— Сам она сказал.

— Как она? спроси ее еще, спроси!

— О, милый Карл, оставь его, он убьет тебя! — произнесла жалобным голосом Амалия, удерживая его за руку, чтоб он не приближался к Емельяну Герасимовичу.

— Я не пустой говорю, генерал! я знаю, что говорю! Отец приказание дал, чтоб она выходил за вас замуж.

— Отец приказал?

— Да! прошу вас, генерал, говорите мне!

— Милый Карл! — вскричала снова Амалия.

— Так вот он что́ приказывал ей; а я и не понимал. Я думал, что он только приказывает давать мне целовать ее руку, когда захочу.

— Амалия, что это значит? — спросил Траум.

— Я не поняла, что он говорит,— отвечала Амалия.

— Он говорит, что он не понимал намерения твоего отца.

— Ах, мейн гот, не понимал! несколько дней сряду сидит у нас с утра до вечера, просит, чтоб я пела, целует руки. Я уж и не знаю, как иначе сватаются. Я не хотела ни петь, ни позволять целовать мне руку; а фатер очень был рад этому, сказал мне, что я буду великою госпожою; а вчера взял меня за руку и сказал ему: вам нравится дочь моя, хотите иметь ее руку? и он кивнул головой, взял руку и поцеловал. Фатер и муттер велели поцеловать его в губы, я так и обмерла; а как пришла в себя, муттер бранила-бранила меня... Ах, как я боюсь!.. я умру!

— Генерал! — сказал разжалобленный Траум,— прошу говорить мне, желание есть ли ваше брать фрейлен Амалия в жена?

— Пустяки! — отвечал Емельян Герасимович,— скажи, чтоб и не воображала.

— Амалия, будь спокойна, он на тебе не женится!

— Ах, правду ли ты говоришь, Карл? — произнесла недоверчиво Амалия.— О, как я благодарю генерала! —

продолжала она, присев пред Емельяном Герасимовичем.

— Что ж делать, извините, не могу! — сказал Емельян Герасимович.

— Это составляет мое счастье! — вскричал Траум, схватив руку Амалии.

— А знаешь ли что, Карл,— сказала тихо Амалия,— фатер сегодня звал всех знакомых к обеду и хотел объявить им, что я выхожу замуж за русского генерала.

— Неужели?

— Да, муттер хлопочет на кухне; я не знаю, что из этого будет... Ах, вот, кажется, и фатер!

Как испуганная, Амалия выбежала из гостиной.

Член магистрата вошел, пыхтя, с лицом радостным.

— Herr Brigadier! — сказал он, взяв за руку Емельяна Герасимовича.

— С кем имею честь говорить? — продолжал он, обратясь к Трауму.

— Честь имею рекомендовать себя: магистр философии Траум.

— Очень рад,— сказал банкир,— вы, верно, при генерале переводчиком?

— Никак нет, высокопочтеннейший господин Коль; я намерен определиться в русскую службу и потому явился к их экселенции.

Члену магистрата очень понравился почтительный тон Траума.

— Очень рад,— сказал он,— видеть вас у себя.

— Послушайте, господин хозяин,— сказал Емельян Герасимович,— что город, то норов; а кто говорил вам, что я женюсь на вашей дочери? на вашей дочери, понимаете?

— А! дочь, дочь, мейне тохтер? сейчас, сейчас! Мальхен!

— Господин немец, спросите-ко у него, что́ я спрашиваю,— сказал Емельян Герасимович, обращаясь к Трауму.

— Херр Траум, не понимаете ли, что говорит херр Бригадир?

— Я знаю немного по-русски,— отвечал Траум,— Г. Бригадир удивляется, что во всем городе говорят о женитьбе их экселенции на вашей дочери; а между тем...

— Как!.. неужели? — вскричал высокопочтенный член магистрата,— уж об этом говорят в городе! Я так-

же этого не ожидал и хотел сегодня объявить за тайну только добрым моим приятелям об этом событии.

— Что он сказал? — спросил Емельян Герасимович.

— Он говорит,— отвечал смущенный Траум,— что на это решение ваше последовало.

— Какое решение?

— То есть что вы изъявление показывали в получении руки их дочери.

— Так что ж?

— Стало быть, вы имеете желание на женитьба.

— На ней? на немке? Вот тебе раз! и от русской жены не знаешь куда деваться, как не понимает, что ей ни говори! — сказал Емельян Герасимович.

— Что говорит г. Бригадир?

— Тут есть какое-нибудь недоумение,— отвечал Траум,— г. Бригадир говорит, что он не может жениться на вашей дочери, тем более что он уже женат, в России.

— Оо! я в дураках! — вскричал член магистрата, схватив себя за волосы.

— Что такое? что такое? — спросила вошедшая супруга его с Амалией, бледной, как полотно.

— Слышишь, Аугуста? слышишь? Г. Бригадир изволил сейчас объявить, что он женат!.. что он только забавлялся нашей дочерью!.. Нет, это невозможно! это, г. Бригадир, бесчестно!

— О, готт! — вскричала мать Амалии, всплеснув руками,— а ты еще созвал весь город!..

— Созвал! все знают!.. Нет, я никому не говорил! нет, это невозможно! Вы острамили меня, г. Бригадир!

— Он с ума сошел! — сказал Емельян Герасимович,— что он говорит?

— Чу, едут, едут, собираются! о, я погиб!.. Господин Траум, вы честный немец?.. пожалуйте сюда...

И член магистрата схватил за руку Траума, потащил его в другую комнату.

— Г. Траум, вы еще не женаты?

— Нет еще, высокопочтенный г. Коль.

— Послушайте, дочь моя не дурна собою... я даю за ней десять тысяч гульденов... хотите на ней жениться?.. двадцать тысяч гульденов!.. Я вас объявлю ее женихом.

— За счастье почитаю,— отвечал Траум, смущенный подобной неожиданной радостью.

— Говорите, говорите скорее! согласны? по рукам!

Траум подал руку.

— Ну, идемте, идéмте!

Держа за руку Траума, отец Амалии вышел в гостиную, где несколько важных особ расшаркивались уже перед смущенными хозяйкой и ее дочерью и почтительно кланялись Емельяну Герасимовичу.

— А, господа! — сказал хозяин, входя,— очень радуюсь!

Емельян Герасимович подсел было по обычаю к Амалии; но отец подал ей знак, чтоб она вышла.

— *Мейне фрау,*— сказал он,— распорядись, чтоб подавали кушанье.— Вслед за женой он и сам вышел и объявил ей, на что решился для спасения своей чести.

— Бедная Амалия, это ее поразит!

— Что ж делать, уговори ее, успокой. Амалия, ты не огорчайся, друг мой, *холь им дер тейфель!..*[1] я тебе дам жениха лучше, моложе, немца, а не русского медведя... Как тебе нравится этот молодой человек, г. Траум?

Амалия вспыхнула, закрыла лицо платком, упала на грудь матери.

— Что ж делать, мой друг! — продолжал отец,— разумеется, ты привыкла уже думать, что будешь знатной госпожой, генеральшей... неожиданность тебя поразила; но что ж делать! он обманул! нечего делать! успокойся, скрепись... Ну, мне надо идти к гостям.

— Успокойся, Амалия! — говорила и мать, целуя ее.— А какой милый этот человек, Траум! какое умное, приятное лицо!.. Конечно, неожиданно, вдруг... но ведь перемена в твою пользу. Что ж было бы, если б ты вышла за этого женатого бирюка. К счастью, совесть заставила его отказаться; а то, пожалуй, эти варвары готовы на каждом шагу жениться и бросать жен!.. Скажи же, душенька, ты не противишься новому нашему выбору? Это и тебя спасет от злословия... Скажи, как тебе нравится г. Траум?

— Нравится, муттер! — проговорила Амалия, спрятав лицо на груди матери.

— Успокойся же, выйди с веселым лицом, порадуй мать свою!

Амалия пламенно поцеловала мать свою.

— Вот так; пойдем же.

С пылающим лицом, опустив глаза в землю, вышла Амалия в гостиную.

Траум взглянул на нее и также вспыхнул. Ему хотелось подойти к ней, сказать что-то необходимое для

---

[1] Черт его побери! *(нем.)*

сердца; но Емельян Герасимович не отпускал его от себя и расспрашивал по очереди про всех гостей, которые ему казались ужасными чудаками.

Между тем все званые собрались; некоторые покороче знакомые подходили к хозяину и делали намеки о женихе.

— Кажется, теперь уж лишнее таиться! представь нас будущему зятю, его экселенции.

— Ха, ха, ха, ха! откуда это вы взяли такие вести, мои господа? Я никогда не имел и не имею желания родниться с русскими медведями, хоть бы они были сиятельные герцоги, не только бригадиры.

— Ого! ты нас хочешь подурачить до времени.

— Нимало!

— Хэ, хэ, хэ! рано возгордился великой честью!

— Конец дело решает,— сказал хозяин, прося всех садиться за стол.

Обед начался очень чинно. Емельян Герасимович во время обеда не очень любил разговаривать, но любил хвалить кушанье. Фрау-муттер с намерением изготовила его любимые блюды.

— Это *клюмпхен,*— говорил он,— это очень хорошо, не правда ли, господа?

Траум переводил его слова, и все изъявляли согласие.

— А это *ганс?* кажется, *ганс?*

— Действительно так, херр бригадир.

— А с чем?

— Право, не знаю,— отвечал Траум.

Когда стали разносить *мандель-кухен,* член магистрата напенил рюмки шампанским и возгласил:

— Meine Herren![1] за здоровье жениха и невесты!

Амалия вспыхнула; все привстали, обратились к ней, потом к Емельяну Герасимовичу, раздалось уже:

— Имеем честь поздравить! желаем вашей экселенции...

— Ошиблись, господа!.. вот жених моей дочери, г. Траум. Г. Траум, за здоровье вашей невесты! И так вы ошиблись, господа! Очень рад, что это удивляет вас!..

Головы гостей, как будто дернутые снурком, от Емельяна Герасимовича повернулись к Трауму, на которого прежде никто не обратил внимания.

---

[1] Мои господа! (*нем.*)

С удивлением и недоумением на лице, с рюмками в руках, все стояли и не верили ушам своим. Но когда Траум и Амалия приподнялись с мест также с рюмками в руках, общие поздравления обратились к ним.

После обеда Траум с невестой забились в угол, рассуждали о *я* и о *ты,* и решили заменить их посредством *мы;* при этом Траум сказал, что сердечное *мы* происходит не от *я* сложенного с *ты*, но от *я* помноженного на *ты*.

— О, мой Карл! я во всем тебе верю! — сказала Амалия, подавая ему руку свою.

— Послушай, брат г. немец,— сказал Емельян Герасимович, подходя к Трауму,— я тебе не советую брать ее за руку.

— Почему, г. Бригадир?

— Увидишь сам, почему.

— Я не боюсь последствий,— сказал Траум.

— О, так ты хват! таких нам и надо; ты поступишь прямо в прапорщики.

— Покорно благодарю, г. Бригадир! Я имею намерение жениться; не хочу поступать теперь на службу.

— Ну, так ты трус, дрянь,— сказал Емельян Герасимович.

— Я не знаю, что такое дрянь,— сказал Траум.

— А вот такая же дрянь, как все эти *мейнгеры* [1]. Честь приложена, от убытку бог избавил.

И Емельян Герасимович пошел на свою половину отдохнуть после сытного обеда.

Глава третья

О том, как Пафнутьич
отыскал своего барина
и увез на порожняке из армии;
и как Емельян Герасимович
превратился в актера

Пафнутьич, пробираясь в армию, должен был неизбежно проходить чрез городок, где расположена была резервная артиллерийская бригада. Солнце уже село, когда Пафнутьич добрался до виртс-хауза, или до гостиницы. Тут встретил он нескольких солдатиков, угостил земляков биттершнапсом, завел беседу:

— Что, братцы, совсем уж разбили Бонапарта-то?

[1] Принятое в Германии прямое обращение «мои господа», в данном случае звучащее иронически.

— Бонапарта-то, брат, разбили,— отвечал один солдатик,— да вишь ты, еще есть какой-то Аполион о двенадцати головах: одна голова король французской, другая тальянской, третья немецкой, четвертая цесарской, пятая корсиканской, шестая наполитанской, седьмая... позабыл! восьмая... позабыл! девятая... Пфу!.. дай бог память!.. как-бишь?.. да, аглицкой... нет, брат, не аглицкой, а голанской... Вот срубят одну голову, примером сказать цесарскую, глядь — другая наросла... Видишь, какой-то есть у него сертук — ни пуля не берет, ни штык, ништо не берет. Так уж, хоть расстреляйся! Ездит себе под ядрами да посмеивается. Выбрался было таков казачок: «Позвольте, говорит, ваше превосходительство, я накину на него аркан». Да знаете, не поверили казаку,— как это можно, думают, целая армия воюет, ничего не сделает, а простой казак с одного наскоку победит Аполиона,— быть не может! — и прогнали казака. «Ну, повоюете же вы досыта! — сказал казак,— не мое дело, коли начальники не велят; а уж я бы его помыкал по полю, привез бы вам одне косточки в кожаном мешочке!» С тех пор, брат, вот уж полгода бьемся; черт его знает! водит-водит, водит-водит, точно леший! и бог весть сколько царств уж прошли, того и гляди, что в трущобу заведет, так что и не выберешься. Вот уж, говорят, близко какая-то Европа, такая земля, что страшно и подумать.

— А это какая же земля? — спросил Пафнутьич.

— А это, брат, немецкая; а ты куда пробираешься?

— Да к барину; служит в милиционном полку, бог его знает где, говорят, в армии.

— Да в армии же, в армии; ты бы попросил в канцелярии маршрутца; по маршруту прямо бы так и пришел в полковой штаб.

— Ой ли?

— Ей-ей.

— Да что ж это такое?

— Как что? в маршруте все выписано: куда идти, где привал, где растах.

— В самом деле попрошу; спасибо, что надоумил; а я вот иду сам не знаю куда.

— Как же, по маршруту не то что так идешь, куда глаза глядят,— дорога показана, не собьешься с пути.

— А где канцелярия-то?

— Дома через четыре, где командир бригадный стоит; там увидишь фуры, спроси у часового.

— Побегу!

Побежал Пафнутьич, спросил у часового: где канцелярия?

— Ступай на крыльцо; направо-то полковницкая квартира, как войдешь в переднюю, так тут же и дверь в канцелярию; да там вестовой укажет.

Пафнутьич вошел в переднюю; в передней никого нет; из передней налево двери и прямо двери — эти притворены; Пафнутьич приложил сперва ухо — слышит голоса, хохот.

— Г. Бригадир!

— Заснул!

— Донеси, братец, ему, что город идет через войско.

— Г. Бригадир! город идет через войско, и недостаточно людей для помещения квартир.

— А?

— Город идет.

— Ну, пусть его идет.

— Не угодно ли распорядиться, Емельян Герасимович!

— Ну!

— Город идет через войско.

— Какой? кавалерийский или пехотный?

— Батюшки мои! — раздалось вдруг в дверях,— Емельян Герасимович! барин!

И Пафнутьич вбежал в комнату, где офицеры сидели вокруг стола, с трубочками, а Емельян Герасимович лежал на канапе врастяжку.

— Что это за человек? откуда ты?

— Ваше благородие, я дядька Емельяна Герасимовича,— проговорил Пафнутьич, продолжая целовать руку своего спящего барина.— Господи! вот он! нашел его! Емельян сударь Герасимович!

— Ну, ну, ну! приказано один раз и кончено! разместить его по квартирам! — проговорил сквозь сон Емельян Герасимович.

Все захохотали.

— Ступай, брат, вон,— сказал подполковник.

— Нет, сударь, от барина своего вон не пойду! — сказал Пафнутьич,— не вам здесь приказывать.

— Эй! вытащи этого дурака!

Вестовой схватил Пафнутьича за шиворот и потащил вон.

— Батюшко, Емельян Герасимович! — вскричал Пафнутьич.

— Ну, ну, ну! — отозвался Емельян Герасимович,— я приказываю!

Бедного Пафнутьича выгнали. Всю ночь он проходил около дома в ожидании утра и пробуждения своего барина.

— Господи! живехонек!.. Разбойники! споили его с кругу!— повторял он про себя.

Чем свет, когда стали новые часовые, Пафнутьич употребил хитрость, чтоб добиться до барина своего.

— Здесь канцелярия, служивой?

— Здесь.

— Куда же, брат, идти?

— А вот сюда.

Пафнутьич пробрался в переднюю, из передней в залу, где Емельян Герасимович, как уснул с вечера в халате, так и спал, на канапе. Впрочем, зала всегда обращалась на ночь в его спальню.

На цыпочках подошел к нему Пафнутьич и начал шептать на ухо:

— Барин, Емельян сударь Герасимович!

Но Емельян Герасимович крепко спит, занят во сне важным делом: ему опять доносят, что город проходит через войско и что недостаточно людей для помещения квартир — как прикажете?

— Барин, а барин! — повторил Пафнутьич.

Емельян Герасимович раскрыл глаза, посмотрел на него и сказал: «Я этого знать не хочу!» — хотел было уже перевернуться на другой бок; но Пафнутьич расшевелил его опять.

— Батюшко барин, встаньте поскорее!

— Ну, еще что?

— Тс! пожалуйте-ко сюда.

— Кто там еще?

— Тс! пожалуйте сюда.

Емельян Герасимович протер глаза, приподнялся. Пафнутьич, взяв его за руку, повел вон из комнаты, в сени, на улицу. Емельян Герасимович, полусонный, идет за ним и повторяет: «Ну, ну, где? покажи».

— Батюшко-барин,— сказал Пафнутьич, подходя к гостинице и посадив его на скамью,— что вы делаете с собой!..

— Да что ж, братец, делать, когда город едет, а квартир мало,— сказал Емельян Герасимович сквозь дремоту.

— Да вы, сударь, бредите что-то во сне: какой город?

— Спроси у него,— отвечал Емельян Герасимович, всхрапнув.

— Очнитесь, Емельян Герасимович!.. не узнаете меня что ли? Разбойники! так упоили, что по сю пору не очнется. Ах ты господи, что мне делать!

— Прррру! постой, дядя Иван, я забегу,— раздалось вдруг позади Пафнутьича.

— Ба, русские мужички! родные мои! откуда? — спросил Пафнутьич.

— Из армии,— отвечал мужик в красной рубахе с белыми ластовицами.

— Куда?

— Да в Киев, а потом в Москву за товаром.

— В Москву! неужели? — У Пафнутьича забилось сердце при слове Москва.— Увезу барина, ей-богу, увезу! — подумал он решительно.— А что, братцы, не возьмете ли нас в попутчики?

— Да пожалуй; только уж ждать не будем, садитесь.

Пафнутьич подумал, перекрестился и попросил одного из мужичков перенести его барина в телегу.

И вот сонного Емельяна Герасимовича взвалили на воз, на сено; Пафнутьич сел подле него, снова перекрестился; мужички хлопнули по лошадям и понеслись рысцой.

Емельян Герасимович спал без просыпу. Когда остановились кормить лошадей, Пафнутьич толкнул его тихонько, потянул за нос, чтоб не испугать внезапным пробуждением.

— Что, привал? — спросил Емельян Герасимович, очнувшись.

— Здравствуйте, батюшка, Емельян Герасимович! здравствуйте, сударь!

— Ба, Пафнутьич! откуда ты?

— Ищу вас бог знает сколько времени; Наталья Дмитриевна велела вас хоть с того света привезти к ней; сказала, что если не приедете, так умрет.

— Вот тебе раз! да как же мне можно ехать из похода, оставить бригаду?.. А где ж наши?

— Кто, сударь?

— Как это? артиллерийская бригада.

— Батюшка, Емельян Герасимович, уж вы меня простите великодушно,— сказал Пафнутьич, повалясь в ноги,— я по приказанию Натальи Дмитриевны увез вас от этих разбойников.

— Как увез? — вскричал Емельян Герасимович.

— Да как же, сударь, ведь вас уморили бы! Попали вы в компанию,— с кругу споили бы!.. Без меня пропали бы вы: ведь я почти мертвого вас вывез.

— Как вывез?.. Да кто тебя просил вывозить? Вези назад! вези, вези! Из бригады меня вывозить! черт знает что!

— Батюшка, Емельян Герасимович, помилуйте: ведь я в ответе за вас перед Натальей Дмитриевной, она меня с белого света сгонит! Вы хоть побывайте у ней в отпуску; а потом уж, если угодно, воротитесь на службу... Помилуйте старика!

— Если в отпуск, так это дело другое,— сказал Емельян Герасимович,— в отпуск поедем.

— Поедемте, батюшка; слава тебе господи! Да вы бы чего-нибудь изволили покушать; уж я и чай приготовил для вас.

— За это-то я тебя и люблю, Пафнутьич, что у тебя все готово, и заботиться не о чем,— сказал Емельян Герасимович, вылезая из телеги,— а вот в бригаде черт знает что за денщики: все сам приказывай,— терпеть не могу!

Таким образом, Емельян Герасимович с верным своим дядькой Пафнутьичем следовал в Москву. Долго ехали они, очень долго, покуда выбрались из заграницы. В дороге особенных происшествий с ним не приключилось, кроме того, что случайно попал он в актеры и потом совершенно неожиданно во французы.

Прибыв в один городок, подводы, на которых ехал наш герой, остановились на ночлег в корчме. Велев изготовить чаю, Пафнутьич побежал в лавки закупить кой-чего на дорогу.

В ожидании чаю Емельян Герасимович лежал на канапе.

— Рому, сударь, прикажете к чаю? — спросила жидовка, входя в комнату.

Увидя красную чалму на голове ее, Емельян Герасимович припомнил Эсфирь в представлении Федьки.

— Ба, ба, ба! ты откуда? — крикнул он, вскочив с канапе.

— Хозяйка, сударь.

— Хозяйка? в красной чалме? не может быть: ты жидовка.

— Жидовка, сударь.

— То-то, я узнал, что ты жидовка! А знаешь Алаферна, которому жидовка голову срубила?

— Нет, не знаю, сударь.

— Как? а помнишь: «Не зриши ли, прекрасная богиня! яко силы красоты твоея мя уже отчасти преодолевает...» Садись подле меня!

— Вы также верно актер, сударь?

— «Смотрю на тя, но уже видети не могу; хощу же говорити, но языком больше прорещи не могу!» — возгласил Емельян Герасимович.— Ну, садись!

— Некогда, сударь; я пойду принесу чаю вам.

— Экая какая! ну, принеси, принеси!

Воображение Емельяна Герасимовича совершенно наполнилось представлениями Федьки. В это время потихоньку приотворилась дверь и показалась чья-то голова.

Эта голова принадлежала антрепренеру походной группы комедиантов, которые в этот самый вечер давали городу в пустом балагане, построенном для склада запасного провианта, представление современной пиэсы, а именно: «Изгнание французов из Москвы». Походная труппа стояла в той же корчме, где остановился Емельян Герасимович с Пафнутьичем, или лучше сказать, Пафнутьич с Емельяном Герасимовичем. Все уже было готово к представлению, билеты разобраны; большая часть зрителей забралась в балаган спозаранку и засела на устроенных лавках. К несчастью, актер, представлявший Бонапарта, почти перед самым началом пиэсы наступил на гвоздь, которого конец забыли загнуть строители подмосток, и нога его совсем стала негодна для выхода на сцену. Антрепренер вздумал было по этому непредвидимому случаю представить Бонапарта на костылях, как раненого, но и этого нельзя было сделать, потому что антрепренер, понимая характер роли, позволял раненому только морщиться от боли, но отнюдь не охать. Но раненый сказал, что это совершенно для него невозможно, тем более, что он не настоящий Бонапарте и не в состоянии переносить боли.

— Ах, ты баба проклятая!.. ну, что я буду делать! — вскричал антрепренер в отчаянии,— придется выкинуть все слова и отдать роль Юзефу! Гей, хлопче!.. а, дьявол! где он? верно, ушел на квартиру! Гей, хозяйка, не видала ли Юзефа?

— Пошел в лавки с слугой актера, вот что приехал сейчас.

— Где? актер? ах, батюшки, да это верно Гловацкий! вот счастье: где он?

— Вот здесь.

Антрепренер бросился в двери показанного отделения корчмы, где Емельян Герасимович лежал в халате на канапе, закинув руку под голову, вскинув ногу на ногу, и напевал:

Прославльшегось ратию
Купно и веселием,
Воспоемте братию
Гласом убо велием.

— Извините! — сказал антрепренер, приостановясь в дверях.

Емельян Герасимович приподнял голову, посмотрел на него и спросил:

— Что?

— Извините! — повторил антрепренер, входя в комнату.

— Здесь никого нет,— сказал Емельян Герасимович, приподняв опять голову и смотря на худощавую высокую фигуру.

— Извините! я известный вам антрепренер Раковец; мне сказали, что приехал великий трагик, и я тотчас же узнал, что это вы! тотчас узнал! рыбак рыбака далеко в плёсе видит! Ей-богу! как я рад, вы не поверите! — продолжал антрепренер, протягивая руку к Емельяну Герасимовичу,— ведь мы хоть по слуху, а старые знакомцы, церемониться друг с другом не будем: милости просим ко мне. Пойдемте, пойдемте, так, в чем есть!

— Где ж это я его видел,— подумал Емельян Герасимович, осматривая антрепренера,— извините, не могу, устал с дороги...

— Нет, как уж хотите; у меня на первый раз до вас и просьба есть.

— Какая же просьба? — спросил Емельян Герасимович.

— Большая просьба, просто благодеяние! Сделайте милость, не откажитесь! я без вас погиб, помогите!

— Чем же помочь вам?

— Разумеется, что дело касается до вашего искусства. Я объявил представление; актер, игравший роль главного героя, заболел, и я пропал, если вы не согласитесь взять эту роль на себя. Роли героев ваше дело: Эдип в Афинах, Баярд, и прочее, и прочее.

— Кто ж это вам сказывал? — спросил Емельян Герасимович.

— Слава ваша сказала. Руку, без церемоний! Вот так! идем ко мне!

— Как идем ко мне?

— Да, да, да, уж кончено. Слово дано! я без вас просто пропаду! Роль без слов, слова выкинем, останется только одна высокая декламация.

И антрепренер схватил Емельяна Герасимовича за руку, потащил вон из комнаты.

— Постойте, постойте! — вскричал Емельян Герасимович.

— Э, без церемоний, в чем есть! ведь я здесь же стою, через сени; а сцена через улицу.

Снова ухватив Емельяна Герасимовича за руку, антрепренер повлек его торопливо к себе. Емельян Герасимович очутился в комнате, где были набросаны и навешены по столам, по стенам и по стульям костюмы: военные мундиры, ботфорты, истертые ботинки с бахромой, разбойничьи сапоги с широкими раструбами, засаленые корсеты и тюники, обшитые мишурными позументами; парики, усы, носы, бороды, лысые лбы, на бумажках тертый мел и сурик, сажа и бакан, складные бумажные зеркала, бутылки, полуштофы, тарелки с крошками хлеба и с кожицей колбасы, и проч...

— Позвольте же! — сказал антрепренер, вытащив из погребца штофик и стакан.— Во-первых, здоровье амплуа трагических ролей! — И он, выпив сам, снова налил и поднес Емельяну Герасимовичу; — Покорно прошу! настоящий ямайский.

— Это что такое?

— Нет, уж нельзя! как хотите! для куражу! необходимо! закусить прикажете? кажется, тут есть бублики.

— Фу! — вскричал Емельян Герасимович, поморщившись.

— Бесподобный ром! Ну, вот видите, роль Бонапарта в пиэсе «Изгнание французов из Москвы». Извольте надеть костюм, а потом я пройду с вами главные сцены. Театр уж полнехонек, зрителей тьма, нас ждут...

И с этим словом антрепренер схватил с крючка французский генеральский мундир с эполетами и, стянув халат с Емельяна Герасимовича, напялил на него.

— В театр? — подумал Емельян Герасимович,— какая роль-то?

— Сейчас... вот и мундир, как по вас сшит!

— Как же играть не твердивши роли? — спросил Емельян Герасимович.

— Сию минуту пройдем... Шляпа!..— И антрепренер нахлобучил на Емельяна Герасимовича треугольную шляпу.— Ботфорты! — И антрепренер вставил ноги Емельяна Герасимовича в огромные ботфорты.— Надо бы серой сюртук, да, к несчастью, нет; не важная вещь, впрочем... Шпага!.. ах проклятая! где же портупея?.. Пьфу, черт знает, берут не спросясь! ну, да вставьте шпагу... вот, в петлю бокового кармана... славно! Теперь я должен изъяснить вам смысл роли. Вот, видите ли, Бонапарте́ в недоумении: оставаться ему в Москве или идти вон,— маршалы стоят вокруг него, он ходит по сцене, вот так, заложив руки назад и смотря в землю. Пройдитесь...

— Так?..

— Бесподобно, бесподобно!

— Ну?

— Так вот он ходит. Маршалы начинают его уговаривать. Например: — Ваше Величество! — говорит ему маршал, как бишь его?.. ну, да все равно!.. только что маршал произнесет Ваше Величество! вы тотчас же остановитесь против него в следующей позиции... вот так.

— Так?

— Так! прекрасно! руки в боки, перехватите себе талию, расставьте ноги шире!.. Чудо! Вот и вся роль. Словом, едва кто заговорит, Бонапартѐ остановится против него, устремит быстрый взор; а когда маршал кончит монолог, он начинает опять ходить по сцене.

— Это нетрудно,— сказал Емельян Герасимович,— а говорить-то что же?

— Хорошо бы, если б вы успели просмотреть роль; да нет, когда тут! пойдемте, пойдемте! время начинать.

Антрепренер схватил Емельяна Герасимовича за руку и повел за собою.

— Постойте же! — вскричал Емельян Герасимович,— надо сказать Пафнутьичу.

— Прикажем! — отвечал антрепренер, и, проходя мимо хозяйской комнаты, он крикнул, чтоб сказали Пафнутьичу, что его господин в театре.

Театр был прелюбопытная вещь в воображении Емельяна Герасимовича; он сам торопился вслед за антрепренером.

Вскоре они явились на помосте сцены, где вся труппа была уже готова к представлению.

— Велите играть музыку! — сказал антрепренер.— Господа, рекомендую вам нового товарища, который займет у вас трагические роли.

Толпа военных мужей с наклеенными усами и дам в наколках, перьях, платье повыше колена, поклонились Емельяну Герасимовичу, который смотрел на них с неописанным удивлением, хотя и видел в представлениях Федьки людей, вымазанных суриком, в париках, с накладными усами.

— Ну, господа, долой со сцены! Пусть, в дополнение к увертюре, проиграют еще мазурку. Ну, вот видите ли,— продолжал антрепренер, обращаясь к Емельяну Герасимовичу, который, осмотрев живых чучел, с новым удивлением стал смотреть на ширмы, расставленные по сторонам помоста, на лубочный потолок и на висящую грязную холстину, за которой слышна была жидовская музыка, говор, чиханье, сморканье и кашлянье.

— Вот видите ли,— повторил антрепренер, откашливаясь.

— Вижу,— отвечал Емельян Герасимович,— так это-то театр?

— Сцена не велика, да что ж делать; на будущий год выстроим свой театр. Так вот, видите ли: когда занавес поднимется, Бонапартѐ сидит; вдруг, когда последует взрыв, он ударяет кулаком по столу, вскакивает и начинает ходить по сцене; тут приходят маршалы; он не отвечает им ни слова, ударяет себя в лоб и удаляется за кулисы. Вот и все для первого действия; второе пробежим в антракте. Садитесь, примите какое-нибудь оригинальное положение; а я велю поднимать занавес.

Емельян Герасимович сел на стул и сказал:

— Посмотрим!

— Смотрите же, только что поднимут занавес и раздастся взрыв, хорошенько кулаком по столу, чтоб стол к черту! — сказал антрепренер и, выбежав за кулисы, свистнул.

Занавес закоробило кверху, зрители онемели, устремили глаза на сидящего Емельяна Герасимовича во французском генеральском мундире, шляпе и ботфортах до самого живота. Он, в свою очередь, уставил глаза на городских чиновных дам, сидящих пред ним на первой лавке, на чинов порядка городского, уездного суда, инвалидной команды, провиантского магазейна, военного гошпиталя, занимающих ряд за дамами, на почетное купечество с семьями и на всю че́стную публику.

Долго продолжалось взаимное молчание; вдруг за кулисами последовал обещанный взрыв Кремля — стук, грохот, треск.

Емельян Герасимович вскочил с места и, заложив руки назад, стал ходить по сцене, вытаращив глаза на зрителей, в подражание Федьке.

Знатоки драматического искусства, магазейный смотритель и исправник, чтоб окуражить дебют трагического актера, закричали: «Браво! браво!», и захлопали; все последовали их примеру.

— Он, кажется, импровизирует! — шепнул антрепренер, потирая руки,— смотрите, пожалуйста, одним словом вызвал аплодисменты! смотрите, пожалуйста, как он величественно ходит, заложив руки назад, и смотрит на публику, как будто ожидая ее ответа! черт возьми! да это чудо!

— Что ж далее?.. да! — вскричал Емельян Герасимович. И с этим словом, вероятно, вспомнив наставление антрепренера, что надо уничтожить стоящий на сцене маленький стол вдребезги, он швырнул его ногою.

Рукоплескания снова загремели.

Между тем Пафнутьич, узнав от хозяина, что барин его в театре и велел прийти ему к себе, побежал в театр. При входе, где собирали билеты, его не допустили, не смотря на убеждение, что барин приказал ему прийти к себе. Он хотел прорваться насильно, но солдатик помог сборщице билетов выжить его вон.

Пафнутьич с горя обошел кругом *гамазею* и, заметив другой ход, никем не защищаемый, вошел и — очутился в загородке для оркестра, в двух шагах от своего барина, которому рукоплескал весь театр, и который стоял, расставив ноги, закинув руки назад, и смотрел на всех, вытаращив глаза.

— Боже ты мой, господи! что он тут делает? — проговорил Пафнутьич, всплеснув руками и пробираясь ближе к сцене.

На него невольно все обратили внимание. Городничий, полагая, что это пьяный, дал знак, чтоб поскорее схватить его и вытащить вон; между тем как Емельян Герасимович остановился снова, хотел что-то воскликнуть; вдруг видит, два инвалидных солдата, скрутив руки, зажав рот, тащат верного слугу его за ворот; Пафнутьич барахтался; умоляющий взор его был обращен на барина.

— Куда! — вскричал Емельян Герасимович, остановясь.

— Батюшка, барин! — крикнул Пафнутьич, рванувшись из рук инвалидов.

— Господи, что там такое? — крикнул за кулисами и антрепренер.

— Тащи! тащи его!.. дьяволы! ах он черт! — прошипел городничий, вскочив с места; а публика между тем рукоплескала снова Емельяну Герасимовичу, который кричал:

— Дьяволы! стой!

Но солдаты вытащили уже Пафнутьича на улицу; сам квартальный ухватил его за ворот, да в спину, да под затылок — провожает его сквозь темную ночь куда следует. А между тем Емельян Герасимович из себя вышел, хочет прыгнуть со сцены в оркестр прямо жиду на шею.

— Ваше величество! — вскричал антрепренер, игравший роль Мюрата, выбежав на сцену,— пощадите нас!.. теперь зима, куда мы пойдем?

— Кто, что, кого? я щади? бьют, а я щади! врешь, брат!

— Браво, браво! браво, браво! — кричит публика; а Емельян Герасимович уже за кулисами, выбежал в первые попавшиеся ему двери на улицу, крикнул: «Пафнутьич!» — ответа нет; только вдали слышны голоса. Пустился бегом вслед; а ночь претемная. Слышит — идут, говорят.

— Пафнутьич! — крикнул снова Емельян Герасимович.

— Гей! сюда! кто отстал? — раздалось в ответ.

— Паф...— крикнул было опять Емельян Герасимович, прибавив рыси и вдруг наткнулся на кого-то.

— Ну, мусье, не отставай, а то прикладом! — раздался грозный голос, а сильная рука, паф! Емельяна Герасимовича взашей. Он очутился посреди тесной толпы идущих людей.

Глава четвертая

О том, как Пафнутьич
снова лишился своего барина

Когда Емельян Герасимович в роли Бонапарта так внезапно, как говорится, оставил сцену, то можете себе представить восторг публики. Зрители были уверены, что все случившееся входило в состав пиэсы. После дол-

гих рукоплесканий все ожидали, что скажет стоящий на сцене в отчаянии Мюрат. А он совершенно потерялся, сложил на груди руки и не знает что сказать.

— Ах он проклятый, ведь он рано ушел! надо было дождаться всех маршалов! — сказал про себя антрепренер; а суфлер, воображая, что Мюрат забыл роль, уставил на него глаза и шепчет вслух: «Ваше Величество! положение наше ужасно! Ваше Величество! положение наше ужасно!»

— Ах, положение наше ужасно! — начал Мюрат,— он, сей великий муж, бежал из сего великого града, пожранного пожаром... зима преследует его на пути... где ж он... где все маршалы?..

Так как монолог маршала был страницы в три, то прочие маршалы, которым следовало выходить в третьем явлении, отправились на минуту в уборную выпить по стакану пива. Когда они воротились, утирая накладные усы, Бонапарт уже исчез, а антрепренер импровизировал монолог бегства его из Москвы.

— Господа, нам выходить! — сказал Лористон за кулисами и выступил на сцену.

— Ваше Величество! — вскричал он,— нет надежды на мир! — и, увидя, что Бонапарта нет на сцене, остановился в недоумении. Напрасно суфлер повторял: «Предложения Вашего Величества отвергнуты». Все прочие маршалы, вышедшие вслед за Лористоном, стояли также безмолвно.

— Что ж вы скажете? — произнес наконец Мюрат к маршалам.

— Ваше Величество! предложения наши отвергнуты! — повторял суфлер вместо Лористона.

— Предложения отвергнуты! хорошо! Император желает до выступления из Москвы дать бал. Пойдемте, господа, готовиться к танцам.

С этими словами Мюрат вышел, за ним все маршалы; занавесь опустилась.

Между тем, как антрепренер переряжался, назначив актеру, игравшему роль Лористона, играть роль Бонапарта, а жена его с прочими актрисами — она же и билетчица — репетировали кор-де-балэ; а зрители в ожидании бала рассуждали, как искусно актер, игравший роль Бонапартѐ, *схватил* его характер,— Пафнутьича привели в часть.

— Что за человек? — спросил писарь, который играл очень важную роль в частном храме Фемиды. Деятель-

ность, расторопность, разное *уменье* вести дела порядочно и служение без жалованья доставили ему *частную* доверенность.

День и ночь он был так занят, что даже не имел времени пообедать; и потому неудивительно было, что перед ним на столе, накрытом зеленым толстым сукном, постоянно лежали кучи дел, стояли: чернильница, бумажная коробочка с песком, табакерка, полуштоф пенника и в чашке соленые огурцы. Так как он служил за трех, то и был бессменным дежурным и жил в части; а так как канцелярия помещалась в одной комнате и в ней нельзя было поместить ни его имущества, ни даже кровати, то он имущество пропил и спал на вышереченном столе, положив под голову вместо подушек текущие дела, а вместо одеяла употреблял зеленое сукно, закорузлое от чернильных пятен, которым накрыт был стол.

— Что за человек? — повторил он.

— Да вот, неизвестно какой такой, буйство учинил в театре,— отвечал один из инвалидов.

— Помилуйте, ваше благородие, какое буйство я учинил? — отвечал Пафнутьич,— и не думал! Барин мой в театре был, а я пришел сказать ему, что пора ехать.

— А кто твой барин?

— Мой барин? Емельян Герасимович, ваше благородие.

— То-то, да кто такой? что за птица? в каком чине?

— Военный, бригадирского звания.

— Аа! так ты денщик.

— Нет, не денщик, а камердинер его.

— Хм! вас, почтеннейший, верно по ошибке взяли... уж я уверен, что по ошибке!.. Ах вы ослы! да как вы смели беспокоить генеральского камердинера? а?

— Власий Агеевич, сам частной приказал.

— Частной! вот вам будет частной! пошлите вон!

Инвалиды вышли.

— Да, такие скоты! — сказал Пафнутьич,— скрутили руки назад, да и потащили; я было кричать, а они рот зажали; ну, да бог с ними!.. Побегу ж я, чай барин ждет меня...

— Э, нет, брат, погоди! — сказал писарь, схватив за ворот Пафнутьича,— меня не надует ваша братия, мошенники! попал к черту в лапы, подавай душу!

— Мошенник? кто, я мошенник? — вскричал было Пафнутьич, вырываясь из рук писаря; но он жилистой

рукой стянул шейный платок Пафнутьича так, что бедный захрапел.

— Молчать! а не то кликну... знаешь? или не бывал еще в расправе? вздую как дохлую скотину, а потом, брат, *на стул* посажу, набью колодки да скую, так и будет тебе камердинер! видишь, камердинер!

— Батюшка, помилуй! — просипел Пафнутьич.

— А, помилуй! ты думал, что мошенничество даром с рук сходит? нет, брат, порасплатишься.

— Ей богу, я не мошенник, я всю правду сказал...

— Ну, ну, ну! журавли! давай-ко лучше синицу!

Пафнутьич, поняв наконец в чем дело, вынул из жилетного кармана старую синюю бумажку, которая была вложена в новую красную. Писарь взял поданную ему Пафнутьичем синюю бумажку, поднес к свечке, потер рукой.

— Нет, брат! эту ты сбывай в другом месте, в казну не годится.

— Ей богу, нет другой!

— Ну, разменяем; давай красную, а вот тебе синяя назад, сдачи... как раз так и будет.

— Да как же,— начал было Пафнутьич, отдавая красную бумажку и взяв обратно свою синюю.

— Ну, ну, ступай себе, да благодари бога, что дешево обошлось!

Пафнутьич с радости, что выкупил душу из лап черта с красным носом, бросился благим матом в двери, бегом в заездный дом. Ждет-пождет своего барина, а барина нет как нет. А маркитанты, почесывая в голове, твердят, что ехать пора. Пафнутьича лихорадка бьет от думы и печалования о барине — пора бы и театру кончиться. Побежал бы Пафнутьич в театр, да боится снова попасть в лапы к черту; однако же не вытерпел, побежал, крадется в темноте к магазейну — ни одного луча света не мелькнет сквозь щели, ни одна душа не пикнет среди тьмы кромешной. Холодом обдало Пафнутьича; но, несмотря на страх и трепет, приближается он к магазейну, хочет приложить ухо к стене — прислушать, что там делается? Только что он к стене, а кто-то как встрепенется да крикнет: «Кто идет!» Пафнутьич так и обмер, подкосились ноги, припал на землю, да на четвереньках дале-дале от магазейна, перевалился медведем через улицу, да лбом во что-то — и растянулся без памяти.

Стало уже рассветать, когда он очнулся, привстал, перекрестился, пошел домой; а барина нет как нет. И залился горькими слезами Пафнутьич.

Маркитанты собираются ехать, ждать не хотят. Уговорив их переждать утро, стал он допытываться у всех, как и с кем вышел из дому его барин, и допытался наконец, что он пошел вместе с комедиантом. «Верно он у комедианта и ночует!» — подумал Пафнутьич радостно и побежал на половину, занимаемую походной труппой.

— Что там за дьявол? — отозвался голос на стук Пафнутьича в двери.

— Позвольте войти! мне барину нужно слово сказать.

— От кого?

— От Емельяна Герасимовича.

— А! верно костюм принес!.. Слава богу!.. ну, подавай!

И антрепренер, не сомкнувший еще глаз от раздумья о необыкновенном спектакле, который так счастливо сошел с рук, отпер двери.

— Мой барин здесь, сударь? — спросил Пафнутьич, войдя в комнату.

— Как здесь?

— У вас ночует?

— У меня! вот тебе раз!

— Да ведь он с вами в театр пошел?

— Так он и не приходил домой? да мне черт с ним! костюм-то мой подай: французской генеральской мундир с эполетами, жилет, шляпу, шпагу да ботфорты...

— Да где ж, сударь, мой барин-то, я вас спрашиваю? куда вы изволили девать его?

— Мне черт с тобой и с твоим барином! пьяница! ушел в кабак со сцены! да добро бы во время антракта! а то в самом начале пиэсы!

— Да! споили его! Бог знает куда завели, да и прикидываются! Нет, извольте-ко мне сказать, где он?

— Чтоб он провалился сквозь землю, да только не в моем костюме! Костюма я не подарю! Собака! верно пропил, да где-нибудь в грязи валяется! вытребую через полицию!

— Да уж не прикидывайтесь! я сам скорей в полицию-то сбегаю!.. Напоили, да обыграть хотите? Нет! слышите, где мой барин, говорю!

И Пафнутьич топнул ногой.

Вся труппа проснулась, актеры сбежались в комнату, где происходила сцена между антрепренером и Пафнутьичем.

— Не отделаетесь! цыгане! отдайте барина! — кричал Пафнутьич.

— Сами вы пьянюшки с своим барином! отдавайте костюм! мундир с золотыми эполетами, жилет шитой, шпагу, шляпу, да ботфорты! — кричал антрепренер.

— Нет, барина-то отдайте, цыгане! — заревел еще громче Пафнутьич и бросился в другую комнату, где в постелях лежали супруга антрепренера и прочие актрисы.

— Ах! — вскричали все они в один голос, окутав головы одеялами.

— А! вот куда завели! — вскричал Пафнутьич, увидя халат Емельяна Герасимовича.— Емельян Герасимович! стыдно, сударь! — И с этим словом Пафнутьич сдернул халат, которым укрылись вместо одеяла две актрисы, спавшие на одной постели. «Ах, ах!» А Емельяна Герасимовича нет как нет.

Пафнутьич остолбенел; а между тем его вытолкали вон.

Присел он на корточки в сенях, заплакал было опять, да надумался: вскочил, побежал по городу искать барина. Никто слыхом не слыхал об таком барине, никто видом не видал такого барина. Не пьет, не ест Пафнутьич, обегал все до одного дома, объездил все окрестности — пропал да пропал Емельян Герасимович.

Глава пятая

О том, как Емельян Герасимович попал в область теней, а потом превратился во французского генерала и потерял употребление русского языка

Где ж Емельян Герасимович? А помните, как он разлетелся по ночи на злодеев, которые тащили Пафнутьича из театра? помните, как он наткнулся на кого-то, крикнул было: «Паф...», а вдруг кто-то *паф* его в спину, да так удачно, что Емельян Герасимович перекусил себе язык надвое; а из глаз брызнули искры. Стиснув очи, Емельян Герасимович ничего не чувствует, кроме ужасной боли, ничего не видит, кроме летающих огненных змеек; а между тем тесная толпа несет его с собою.

Но вот он поочувствовался наконец и, переставляя поневоле ноги, всматривается, вслушивается: вокруг него какие-то чудовища, что-то бормочут не по-человечески. «Ну,— думает Емельян Герасимович,— светопреставление! и Пафнутьича и меня черти взяли!.. вот тебе и театр!» Он хотел что-то сказать, но бл-бл-бл! язык не ворочается. «Ну! — думает он опять,— с покойниками на тот свет иду!» И идет. Шли-шли-шли и куда-то пришли, приостановились, а между тем хлынул дождь, какой-то черт побранился по-русски, потом скомандовал: «Марш!», и толпа, стеснясь, сдавила Емельяна Герасимовича. Потом чувствует он, как будто все провалились сквозь землю, и он грохнулся от усталости; по нем ходят, топчут его ногами; кругом говор и шум, что-то бормочут по-демонски.

— Черт! ступа! молотит по головам! — хотел бы вскрикнуть Емельян Герасимович, да не тут-то было.

Долго Емельян Герасимович безгласно сердился на беспокойных демонов; но, наконец, намагнетизированный пинками и толчками, он задремал. Магнетический сон обдал его, как будто волной, и он пошел ко дну.

Верьте или не верьте, но с ним сбылись истинно магнетические чудеса. Всем известно, что во время магнетического сна человек все знает, видит и провидит, хоть бы то было на мильон верст выше его понятий.

Таким образом и Емельян Герасимович, опускаясь ко дну, шел-шел и вдруг очутился в области теней. Область теней была совершенная тень этого света. Все, что умерло и стерлось с лица земли: люди, животные, красоты природы, горы, моря, города, домы, ограды, страсти, чувства, литература, все явилось в области теней, но все это было уже тень.

Увидя перед собою обширный город, Емельян Герасимович спросил у сидящей под тенью дерева женщины:

— Скажи, пожалоста, моя милая, где я?

— Моя милая! на каком это языке? даже и тени нет того уважения, которым я пользовалась! Кто ты, дерзкий? — воскликнула женщина по-вавилонски.

— Не сердись, душа моя, я не знаю по-каковски с тобою говорить?

— Ты верно с того света, молодец?

— С того, молодица,— отвечал Емельян Герасимович.

— Ты верно необразованный человек, не знаешь древней истории, спрашиваешь, где ты? казалось бы,

трудно не узнать Вавилона, особенно по вавилонской башне и по моим воздушным садам. Впрочем, точно, окрестности совсем другие; потому что здесь нет еще Тигра и Евфрата. Тебя, может быть, удивляет, что Колосс Родосский стоит вместо городских ворот? это куролесит здесь капрал Карл... Я, однако ж, заговорилась, не знаю еще тебя... Позволь спросить, что ты за человек? какую ты роль играл на белом свете?

— Какую ролю? ролю Бонапарта,— отвечал Емельян Герасимович.

— Как! — вскричала женщина, всплеснув руками,— о, земное величие! наконец-то ты в Елисейских полях! тень моей надежды! О, узнай во мне Семирамиду! дозволь мне, бедной Семирамиде, угнетенной Семирамиде, прикоснуться к фалде твоего мундира!.. О, я тебя давно жду, как избавителя!.. мы все тебя ждали!.. твоя Египетская армия давно уже здесь!.. Злодей северный капрал Карл XII уничтожил и тень моего Нина, овладел Вавилоном и намерен покорить всю область теней... Здесь много героев, но ни один не хочет восстать против него. Александр Великий говорит, что он довольно повоевал в своей жизни, пора отдохнуть, набил лаврами перины и подушки и отдыхает; Август собирает свои стихи, погрязшие в Лете; Карл Великий собирает туфли папские; китайские герои сидят на корточках как Сфинксы и говорят, что все, что только желаешь, можно высидеть на месте. О! тебя мы давно ожидаем! ты наша защита! в тебе верно не умер воинственный дух!

— Если б не умер, то каким же образом очутился бы я в области теней,— сказал Емельян Герасимович.

— Правда; но Египетская армия и вся Великая армия, по манию руки твоей, восстанут против похитителя власти; а я с своей стороны соединю своих ассирийцев, и ты будешь иметь под командой несколько десятков, сот, тысяч, миллионов воинов, солдат, спагов, на конях, на ослах, на колесницах и на верблюдах.

— Это все прекрасно; но мне нужна моя артиллерийская бригада,— сказал Емельян Герасимович.

— Пушки? пушки дрянь! здесь есть греческий огонь.

— А! прекрасно! так пойдем в Вавилон, я возьму его. Да нет ли здесь казаков?

— Казаков? неужели ты в самом деле боишься их?

— Кто, я боюсь? вот тебе раз! с ними-то я и возьму город.

— Ах, как можно! Это значит предаться в руки врагу! Я и забыла тебе сказать, что все двенадцать Сивилл предсказали Карлу XII, что в 1821 году, в области теней явишься ты и покоришь весь сей свет; к счастью, что они девятью годами ошиблись в расчете, иначе Карл принял бы строжайшие меры, чтоб тебя не впустить в границы. Не имея возможности проникнуть сюда, ты бы должен был отправиться в чистилище; там бы тебя так выжгли и очистили, что не осталось бы и тени твоих великих, героических достоинств, как например в Александре, Цесаре и других гениях, попавших, по старанию моего мужа, в чистилище.

— Так можно поступить иначе,— сказал Емельян Герасимович.

— Положись на меня, дражайший, возлюбленный мой! Ты позволишь мне называть тебя дражайшим и возлюбленным, по древнему обычаю?

— Изволь, пожалуй, называй меня хоть дражайшим, хоть возлюбленным; распоряжайся как хочешь; я здесь в гостях.

— Как в гостях? нет, ты шутишь! Мы вместе отнимем область теней у капрала Карла, вместе будем царствовать... ты по военной части, а я по гражданской... Так вот что, возлюбленный мой: по полученным здесь известиям с земного шара, пишут в Constitutionnel, что бывшая на Вандомской площади статуя твоя низвергнута; притворись статуей — тень статуи от тени человека трудно распознать; только постарайся быть неподвижным, не води глазами и не говори ни слова. Ляг здесь подобно низвергнутой статуе, а я отправлюсь в город. Смотри же, ни гугу, когда придут за тобой и понесут тебя... а я знаю, что капрал Карл рад будет иметь твою статую, чтоб знать наружность твою и приметы для задержания тебя на границе... Ну, ляг!

— Ляг? Пожалуй, я лягу; да нет ли чего под голову положить помягче.

— Ах, как можно! статуи лежат без подушек.

— Это скверно! у них, я думаю, голова затекает.

— Нет, не затекает; ну, до свиданья!.. поцелуй меня! Ты не поверишь, как сладко видеть великого человека!.. Доверенность, великодушие, быстрота понятий, быстрота действий без дальних рассуждений и разговоров... Таков был Нин в молодости; но и он сначала задумался: верить мне или нет — о, возлюбленный мой, тебе нет подобных!

Семирамида уложила Емельяна Герасимовича под тенью дерева и отправилась в город. От нечего делать он смотрел на Ливийское море, которое некогда существовало в Африке на месте песчаной степи Сахары, и на Атлас, который воздымался вдали, расстилая свою тень на бесконечное пространство. Владетели области теней украсили столицу свою Вавилон всем, чем только можно было придумать, обставили всеми погибшими роскошнейшими местоположениями земного шара. Вообще вся природа была очень естественна и хороша, только солнце было что-то странно; это была тень одного из потухших светил всемирной сферы, не имело лучей, не жгло и не палило; а висело себе просто фонарем на своде.

Емельян Герасимович готов уже был заснуть, как вдруг показался из городских ворот великий северный капрал Карл XII, сопровождаемый свитой своей и отрядом драбантов.

— Где же этот истукан? — спросил он.

— Вот он,— отвечала Семирамида, одетая уже в ту самую, известную истории, одежду, в которой она была при взятии города Бакты и в которой нельзя было узнать, кто она такая: мужчина или женщина.

— Но почему же можно думать, что это именно статуя его?

— Потому, что она явилась здесь в тот самый день, когда низвергнули ее с колонны на Вандомской площади,— отвечала Семирамида самым грубым мужским голосом.

— А!

— Притом же французский генеральский мундир, орден почетного легиона,— прибавила Семирамида.— Впрочем, чтоб удостовериться, действительно ли это статуя Бонапарта и похожа ли она на него, стоит только собрать Египетскую армию и Великую армию...

— Приподнимите-ко статую! — сказал Карл к драбантам,— да! конечно, для удостоверения сейчас же собрать всю Египетскую армию и всю Великую армию, которая погибла в московской войне; солдаты должны знать в лицо своего повелителя. А между тем перенести статую во дворец, в Валгаллу, и призвать ко мне командира исторического батальона и живописно-скульптурной роты капрала — мы сделаем снимки и разошлем по границе.

— Ваше королевское Величество,— сказал генерал-архитектор,— вы изволили приказать перенести статую во дворец, но для сего необходимо отыскать подъемную машину; потому что нести на руках опасно, неравно, как-нибудь вывихнут какой-нибудь член у статуи... Не угодно ли будет приказать обер-прикащику по части механического военного коллегиума...

— А сколько времени нужно на механический перенос статуи во дворец? — спросил Карл.

— По крайней мере два солнечных затмения.

— Тс! пустяки!.. Драбанты, слушай! несите по команде: протягивай руки! берись! взваливай на плеча! марш, марш!

Драбанты, по команде, подхватили Емельяна Герасимовича за руки и за ноги, взвалили на плеча,— он было поморщился, готов был крякнуть; но Семирамида шепнула ему что-то, и Емельян Герасимович, как вылитый из бронзы, неподвижно лежал на плечах четырех драбантов. Его понесли в город. Человеческие тени всех веков, племен и состояний высыпали на улицы и с удивлением смотрели на процессию. Нельзя себе вообразить этой толпы, которая кишела по улицам. Во всем городе не заметно было иной деятельности, кроме тени неумолкаемого говора, неутолимого любопытства, аханья и восклицаний. Так как все потребности в Елисейских полях получались готовыми с белого света, то там и не было ни производимости, ни производителей, а были только, по статистическому выражению, потребление и потребители. Съестные депо были полнехоньки всего съеденного и выпитого на белом свете. Стоило только велеть себе подать, например, хоть золотого фазана, изжаренного Архимедом посредством зажигательного стекла, на корабле консула Маркела — римского меча, или хоть любимое блюдо Лукулла, которого не переваривал его желудок; или, для редкости, одного из гусей, откромленных Римом за спасение отечества; или, даже, последнего финикийского феникса, который уже не возродился на белый свет из своего пепла. Тени ресторато-ров немедленно же доставляли все требуемое, со всею возможною французскою ловкостью и китайскими учтивостями. Депо носильного платья заключало в себе все роды и покрои изношенных на белом свете одежд. Можно было потребовать драгоценную мантию Креза и носить ее вместо халата, и рыцарский кованый шлем вместо колпака; потому что тень шлема необыкновенно как

была мягка и покойна, точно пуховая. В сапожном депо, всякого приходящего за сапогами обступали сапожники с криком: «Пожалуйте ножку!», и можно было выбирать по ноге хоть сапоги-самоходы или туфельки, засаленные поцелуями.

Нарядившись во что угодно и накушавшись чего угодно, каждый мог отправиться куда угодно, к кому угодно и просить рассказать свою жизнь на белом свете. Биология составляла главное занятие в Елисейских полях. Тут могли вы слышать историю Кира или историю Александра Великого из собственных их уст; могли поверять Египетскую историю тех времен, когда еще там царствовали боги, а для поверки начала Римской истории допросить всех волчиц, которая из них кормила своей грудью Ромула и Рема. Разумеется, что волчицы помотали бы головами и хамкнули: «Помилуйте, мы бы лучше их съели!» Таким образом истина разоблачалась догола, и невозможно бы было выразить того наслаждения, которое испытывали чувства, когда все постепенно приводилось в ясность, узлы событий развязывались, тьма спадала со всего. Только одно горе было в Елисейских полях — необходимость отыскивать настоящую возлюбленную свою половину; по этой части и в Елисейских полях были затруднения, потому что и там к женскому полу нельзя было подойти просто и сказать: «Кажется, сударыня, вы моя половина? покорнейше прошу сопутствовать мне!»

— Вам, сударь мой, это только кажется!

— Конечно, сударыня, именно мне это кажется; если б не казалось, я бы и не догадался, что вы моя половина.

— А позвольте узнать, с чем вы адресовались к госпоже Иоанне д'Арк?

— Я только любопытствовал узнать от нее самой, действительно ли она была сожжена и продолжает ли любить Сира Лионеля.

— То есть вы хотели испытать ее чувство в отношении себя.

— Испытание не преступление.

— Вы привыкли испытывать на белом свете!

— Помилуйте, если б я испытывал, я бы непременно женился на вас.

— Вы от того и не женились на мне, что именно только меня не хотели испытывать!

— Помилосердуйте! сколько раз я ангажировал вас на манимаску, на полонез, вы всегда отвечали: ангажирована-с! и с какой-то миной презрения.

— Вы не хотели понять меня!

— Помилуйте! да что ж мы долго будем разговаривать, угодно вам сейчас же начать сопутствовать мне или угодно ходить одной?

— Что за тон!

— Тон обыкновенный-с!

— Вы меня обижаете!

— Помилуйте, чем же?

— Вы знали, что я ваша половина, а подошли ко мне к последней!

— Да почему ж я мог узнать, покуда не встретил вас? Ну, не плачьте, не плачьте, составимте из себя целое, единое, нераздельное. Дражайшая половина моя! ну, зачем было встречать меня церемониями?

— Неужели же просто, без церемоний броситься на шею?

— Конечно.

— Конечно! на что это похоже!

Таким-то образом составлялось и в Елисейских полях из двух половин одно целое. Обратимся же теперь к Емельяну Герасимовичу.

Емельяна Герасимовича внесли во дворец, в огромную залу, которая была некогда августеумом императоров Византии. Тут между генерал-архитектором и хох-смотрителем произошел спор: прислонить ли статую к стене, покуда приготовят для нее пьедестал, или просто положить на пол? Решили поставить ее на ноги, а головой прислонить к стене, но в наклоненном положении, чтоб не опрокинулась.

У Емельяна Герасимовича чуть-чуть не подкосились ноги от этого положения; к счастью его, все бросились встречать Карла, и он поправился, встал прямо на ноги.

— Поставили, ваше величество! — сказал хох-директор.

— Где? а! глупо поставлена! скверно поставлена! тупые головы! сейчас же упадет!

— Я приказывал прислонить ее к стене головой,— сказал хох-директор,— верно господин обер-хох-инспектор велел поставить таким образом.

— Никогда и не думал; а напротив полагал, что гораздо лучше просто положить ее на пол, во избежание того, чтоб как-нибудь не упала и не разбилась вдребезги.

— Странно! кто ж осмелился? кто дерзнул? отыскать виноватого! — сказал. Карл грозно.— Тут именно скрывается злое намерение, чтоб статуя упала и разбилась! — продолжал он, отходя с Семирамидой,— тут должны быть наполеонисты! Обер-гренцмейстер! надо поспешнее собрать всех чинов пограничной стражи, чтоб они всмотрелись в лицо Бонапарта, и когда он явится с земного шара, схватили его и отправили в чистилище...

— Да, как известно из преданий, и Нин, по совету Семирамиды, поступил также с Сезострисом, Александром Великим, Цесарем и вообще со всеми, кто только мог быть ему опасен.

— За этот совет на земном шаре я бы женился на Семирамиде; но здесь дело другое, это бесполезная вещь; да если б и полезно было, то, признаюсь тебе, любезная тень, я не Нин, не люблю, чтоб женщины мешались не в свои дела.

— Но кто способствовал Нину покорить землю? не женщина ли? не она ли и в области теней соделала его владыкой?

— Я не люблю никому быть обязанным,— сказал Карл.

— Карл! — вскричала Семирамида, сбросив таинственную одежду, ты забываешь, кому говоришь это!.. или хочешь, чтоб я напомнила тебе, что без Семирамиды и ты был бы в чистилище?.. Слава о твоем величии и красоте пленили меня, и я тебе дала средства проникнуть прямо в область теней, с твоими драбантами, потому только, что желала изменить здесь устарелый порядок вещей.

— Ба, ба, ба! Семирамида! кто тебе позволил вход в Вавилон? как ты осмелилась?

— Желание в последний раз быть тебе полезной. Я все для тебя делаю, а ты изгоняешь меня! не даешь мне даже одного взвода под команду.

— Ах ты баба, баба! послушай, если хочешь, распоряжайся в кухне; поваренный батальон, со всеми кухарками и чумичками, твой!

— Бесчувственный! — вскричала Семирамида,— сердце помрачило ум мой! я предалась тебе со всею доверенностью страстной женщины... и — погубила себя, погубила Нина и благо всей области теней!.. Я не знала, что ты не что иное, как грубый солдат, которому нужен только бой да драка, который способен владеть железным мечом, а не золотым скипетром!.. который из

мирной области теней сделал военный стан, и за недостатком неприятеля держит в осаде Елисейские поля, так что бедным теням негде прогуляться!

— Ах ты храбрая садовница! молчать!

— Презренная тобою, я о тебе же забочусь, бесчувственный! тебя же предохраняю от нашествия Наполеона! а ты, деспот, не ценишь этого!

— Есть что ценить! да я очень рад буду сразиться с Наполеоном!

— О, ты бы был очень рад этому, если б мог надеяться на победу; но ты не должен забывать предсказания Нострадама: и в области теней он будет победитель.

В это время послышался ужасный крик.

Обер-тишмейстер с ужасом вбежал в комнату из залы.

— Что там такое? — вскричал Карл.

— Ваше величество, ужас! — сказал обер-тишмейстер,— только что мы накрыли на стол, поставили бульон, пошли к штаб-повару за фрикасе без костей, возвращаемся — а на вашем месте сидит статуя и ест,— все блюда у нас из рук вон, и сами мы грохнулись на пол; очувствовавшись, я приподнялся, смотрю, действительно, статуя сидит и ест ваш бульон!

— Что такое? что такое? — вскричал Карл, бросясь в залу. И он остановился в дверях в недоумении: статуя, насытившись, утирала уже салфеткой рот.

— Казнись, злодей! — вскричала Семирамида,— это тень великого Наполеона; настал конец твоему владычеству! Храбрые солдаты Египетской и Великой армий Наполеона, сюда!

Вооруженные тени солдат Египетской и Великой армий ворвались тучей в залу.

— Где наш повелитель, где наш маленький капрал! — вскричали они,— vivat!

— Храбрые драбанты! защищайтесь! — вскричал великий капрал, ретируясь с драбантами в угол залы,— стройте из столов и стульев крепость! вспомните Бендеры!

— Возлюбленный мой, веди в битву храбрых твоих солдат! — сказала Семирамида, подавая меч Емельяну Герасимовичу.

— Ура! за мной, ребята! марш! — вскричал Емельян Герасимович,— марш! валяй их! катай их! по усам, в рыло!

Поднялся крик, шум, гам.

— Что там такое? огня! отпирай! — раздалось по-русски; — верно передрались!.. что такое?

— Да вот, господин офицер, кто-то тут по головам ходит! — отвечало несколько голосов по-французски.

— Огню, огню!

— Знать, что домовой! верно домовой, ваше благородие,— кто-то сказал по-русски,— не по нутру ему эти гости французы, он и начал их душить.

— Отпирай!

Вот проскрипел запор, отворились ворота огромного сарая. Вошел офицер, за ним несколько солдат и мужиков с фонарями. Ряды французов лежат наповалку на соломе, между ними лежит Емельян Герасимович во французском мундире; очнулся, смотрит на все спросонья.

— Ну, что тут такое? кто буянит? — спросил офицер.

— Кому буянить? — отвечают французы.

— Это капрал с драбантами,— думает Емельян Герасимович,— разбил мою французскую армию, наповал! ах каналья!.. Ребята, вставай! — хотел он крикнуть, приподнимясь с земли; но язык его безгласен, руки как отбиты.

— Смотрите же, смирно лежать! — сказал офицер, выходя и приказав запереть ворота сарая.

— Черт знает, что это такое! — сказал Емельян Герасимович, припоминая все, что случилось с ним наяву и во сне.— Не понимаю!

Между тем рассвело; ворота сарая опять растворились, русские солдаты принесли хлеба и воды.

— Нате-ко, господа французы, русского хлеба,— сказали они.

— Не понимаю! ни слова не понимаю! совсем ничего не понимаю! — повторял Емельян Герасимович, видя, что разбитые наповал Египетская и Великая армии встают с поля сражения и начинают есть русский хлеб и запивать водой.

Французы посматривают на Емельяна Герасимовича да шепчут друг другу: «Камарад! ведь это наш генерал! артиллерийский генерал!» — «В самом деле: на фалдах шитые бомбы. И бедного пешком ведут!» — «Господин генерал! позвольте узнать, где взяты в плен?» — «Что же он не отвечает?» — «Верно оглушен контузией».— «Крикни на ухо».— «Господин генерал! вас верно утомила дорога пешком! Эти варвары московиты не озаботи-

лись даже о том, чтобы дать вам экипаж, господин генерал!»

Емельян Герасимович видит, что ему говорят; хотел было отвечать сгоряча, да бл-бл-бл! и только; боль ужасная! язык распух, так загородил уста, что самому крошечному русскому слову негде было пролететь на свет божий.

— Что вы изволили сказать, генерал?

Емельян Герасимович с досады хотел сказать: «Ну, что я сказал — черт знает, что сказал, ничего не сказал!» Но вместо всего этого сказал арабский стих: *«Ай ахлия ель бали кад бальбальта биль бальбали бали»*.

Великий арабский поэт Тантарани от восторга вскочил бы с места и прибавил: *«Биннава заль зальтани уаль акли физ зальзали зали»;* а французы стали рассуждать:

— Генерал ранен в рот, камарад! вот и кровь запеклась на губах. Господин генерал, пуля верно у вас засела в гортани?

— Не понимаю! — пробильбальбалибалил Емельян Герасимович, качнув головой вместо ответа.

— Ух, это скверно! в языке засела! Вам и операцию не делали?

— Уж верно не делали! и спрашивать нечего! Надобно, камарад, сказать, чтоб сделали генералу операцию; промедлят, так быть ему в плохих списках.

— Марш! — скомандовал офицер, когда французы позавтракали хлеба и воды.

— Камарад, стой! — крикнул один из пленных французов.— Стой! надо попросить офицера, чтоб нашего генерала посадили по крайней мере на повозку.

— Марш! — крикнули русские солдаты.

— Monsieur! — сказал один француз к офицеру.

— Что такое? — спросил офицер.

— Monsieur le capitane![1] к пленному французскому генералу можно было бы иметь побольше снисхождения и особенно к раненому.

— Какой здесь генерал? — спросил офицер по-французски.

— Вот он, наш артиллерийский генерал.

— Странно! — сказал офицер,— откуда ж он явился? разве в числе присоединившейся партии в последнем городе? Ваша фамилия, генерал?

[1] Господин капитан! *(фр.)*

— Он не может говорить, господин офицер: он ранен в рот.

— В списке у меня нет генерала.

— Что ж, это могло случиться: сам он не сказал о своем чине, а по платью ваши казаки нашего тамбурмажора скорее примут за генерала. Старенький мундир и закоптелые эполеты верно не произвели на них большого впечатления; иначе бы...

— Извините, генерал,— сказал офицер по-французски, обращаясь к Емельяну Герасимовичу,— все это произошло от недоумения; вы поедете в моей бричке.

— Не понимаю! — отвечал Емельян Герасимович, издав дикий звук, как орангутанг.

— Как только приедем в город, немедленно же будут приняты меры к излечению вашей раны.

— Все-таки не понимаю, г. капрал! — прошептал Емельян Герасимович.

— Не угодно ли садиться в бричку, пора выступать,— сказал офицер.

— Злодей, верно и меня отправляет в чистилище! — подумал Емельян Герасимович.

И вот он садится в бричку и преспокойно едет в чистилище. Офицер прилагает об нем заботы, поит своим чаем, кормит жиденькой кашицей, потому что кусок нейдет в горло Емельяну Герасимовичу.

Видя, что об нем заботятся, поят, кормят, спи сколько хочешь, Емельян Герасимович получил лучшие понятия о том свете.

Когда партия пленных пришла в один город близ Днепра, офицер сдал ее местному начальству и между прочим донес, что «хотя в списке пленных, порученных ему для препровождения, и не имеется французского генерала, но таковой имеется налицо, вероятно по ошибке приобщенный к партии из больницы города А.., где по всякому вероятию оставлен был по болезни другою проходящею партиею пленных; а так как означенный французский генерал ранен в рот и не может дать о себе никаких показаний, то по сей причине в списках сведений о фамилии и чине его не имеется, а показан он просто в числе пленных».

Местное начальство на сей рапорт его благородия отвечало, что так как французский генерал не показан в списке в числе пленных, то оное и не может его как считать *таковым*, так равномерно и принять на свою ответственность.

Бедный офицер, которому навязался на шею Емельян Герасимович, бросился сам к местному начальству.

— Помилуйте, что ж мне делать с пленным генералом?

— Уж это не наше дело. Представьте вышнему начальству; по получении разрешения мы немедленно же примем.

— Помилуйте, да куда же, к какому начальству мне доносить? Когда мне ждать разрешения! Я следую по маршруту, и в назначенное число обязан прибыть с своей командой в город К... для приемки и препровождения амуниции и снарядов.

— Уж этого я не знаю. Мы не имеем права разрешать подобных недоумений.

— Да сделайте одолжение, научите меня, что ж мне делать с ним?

— Как же я вас научу?.. А позвольте взглянуть, где он?

— Я вам сейчас же его представлю.

— Да не угодно ли взять мой экипаж, дрожки.

— Очень хорошо.

— Жена! Лукочка! Фенечка! Кирило Яковлевич! ступайте сюда! — вскричал местный начальник по выходе офицера.

— Что такое? что такое? — вскричало несколько голосов из гостиной.

И вслед за этим выбежали: жена местного начальника, его дочь и еще дочь, премилые девушки; о них нельзя не сказать слова два. Низенькая, толстенькая, румянец не во всю щеку, а во все лицо, называлась Лукерьей, Лукашей и Лукочкой. Тоненькая, худенькая, ни кровинки в лице, называлась Федосьей, Феней и Фенечкой. Лукочка бой-девка, с мечтами, с фантазиями, целый день в халате, целый день разговаривает, раздабарывает, судит и рядит, ей и книги в руки — романы Дюкре-Дюминиля, г-жи Ратклиф, г-жи Жанлис, г-жи Коттен и проч. и проч. И действительно, как только добудет книг, засядет и начнет пожирать и Жилблаза и Фобласа и «Мальчика, наигрывающего колокольчиками» и Кума Матвея и все, что попадет под руку. Фенечка, напротив, читать не любит, разговоров не терпит, все о чем-то думает. Встанет чем свет и начнет одеваться, и одевается до самого обеда, и все что-то говорит сама с собой, сердится. Наденет шнуровку, перетянется,— неловко! — и давай перешнуровываться. Наденет платье, по-

смотрит в зеркало,— и начнет сердиться про себя на платье, бранит-бранит его; а тут, к несчастью, локон распустился, коса слабо стянута, височка ничем не примажешь — все торчит: «Экой скверной! право, это ни на что не похоже! черт!» И Фенечка в отчаянии, сядет в угол, выплачется хорошенько и начнет снова расчесывать волосы, смачивать косу, примазывать слюнкой височки, крутить на пальцах локоны. Иной недобрый человек подумал бы, что Фенечка кокетка, или по крайней мере влюблена, собирается ехать на бал, хочет нравиться — не тут-то было: чем больше нарядится, тем дальше спрячется, засядет где-нибудь в темный уголок и сидит; или начнет рыться в своем сундучке, тщательно уложит белье и наряды, все угладит рукой,— кажется, все в порядке, остается только припереть да ключик в карман положить; да Фенечка рассердилась на кофту, которая все лезет вон из сундука, разбранила ее *скверной* и выбросила вон; а вместе с кофтой вылетели платочки да косыночки, развернулись, измялись. Возможно ли не выйти из себя? Фенечка с досады повыбросает все из сундука и сядет в углу, сидит, дуется, покуда мать не прикрикнет на нее: помилуй, что ты это разложилась! или покуда не пройдет сестра, шагая без внимания по платочкам, шемизеткам[1], юбочкам, чулочкам и кофточкам.

— Помилуйте-с, что вы это ходите-с по белью! — вскрикнет Фенечка.

— Вольно вам разложить свое белье на дороге! где ж мне прикажете ходить? — скажет Лукочка и пройдет еще раз по белью.

— Вы дура-с!

— Что вы сказали?

— Ничего-с, я про себя говорю!

— Про себя, это другое дело, браните себя как угодно!

Фенечка, в сердцах, начнет укладывать разбросанное белье, ворчит про себя, а слезы градом; хватится платка своего, ищет-ищет, нигде нет.

— Уж верно вы взяли мой платок?

Лукочке некогда отвечать, она читает Малек-Аделя.

— Я вам говорю-с!

— Ах, да поди!

— Уж я знаю, что вы взяли мой платок!

---

[1] Кружевная вставка, блузка или манишка.

— Ах, да отстаньте-с! на что мне ваш платок?

— А я почему знаю на что; привстаньте-с!

— Ах, господи, несносная какая!

— Прекрасно-с! только и знаете, что браниться-с! Вот я говорила, что вы взяли и засморкали чужой платок! Ей-богу, я не знаю, как это не стыдно! лень достать себе свой платок из комода!

— Маминька-с! Велите Фенечке отстать от меня-с!

— Ну, перебранились! — отвечает мать из другой комнаты.

— Прекрасно-с! только и знаете что жаловаться! Бог с вами!

— Что, вы целый день будете говорить?

— Охота мне говорить с вами! вы только и знаете что бранитесь!

— Конечно!

— Да чего конечно, не конечно, я неправду не буду говорить.

— Конечно!

— Передразнивайте! вы только и знаете что передразнивать-с!

— Ну да!

— Я не понимаю, что в этом прекрасного!

— Ха, ха, ха, ха!

— Чему вы смеетесь?

— Ха, ха, ха, ха! тут одно лицо совершенно как наш пристав Фадей Савич! и такая же лысина!

— Что такое? а?

— Ничего, маминька, мы говорим между собою.

— Да что ты там говорила про Фадея Савича? Если я спрашиваю, так кажется можно отвечать.

— Да ничего-с, я говорю, что у него лысина.

— Так что ж такое, что лысина? велика беда!

— Да кто ж говорит, что беда-с?

— То-то же, ты смотри у меня!

— Что ж мне смотреть, маминька-с?

— А вот что!

И маминька вскочит с места и взобьет волосы Лукочки.

— Вот, бог вас наказал! — скажет Фенечка.

— За такую дуру, как вы-с!

— Вы сами дура-с!

— Фенечка, что вы бранитесь! это бог знает что! от вас житья нет! — закричит Лукочка, и в слезы.

— Что такое? о чем ты плачешь?.. ты что сделала сестре?

— Что я сделала ей-с, ничего не сделала-с,— отвечает Фенечка.

— Что ж это ты, сударыня, так отвечаешь?

И вот,— и локоны, и височки Фенечки взбиты, всклокочены беспощадной рукой матери. Фенечка, заливаясь слезами, идет в свою комнату, заливаясь слезами, поправляет перед зеркалом прическу, примазывает слюнками височки, садится в уголок, и вспомнив, что в сундуке беспорядок, начинает перекладывать вещи, сердясь то на косыночку, которая не ложится как должно, то на кофточку, то на то, то на се.

Так, таким-то образом, как уже мы сказали, на призыв местного начальника выбежала местная начальница, дочь ее и другая дочь, и Кирило Яковлевич, приятель Ивана Сергеевича, помещик, огромное здание.

— Ну, что такое? — повторила жена местного начальника.

— А вот что такое: сейчас будет у меня французский генерал.

— Французский генерал? Ах, как это интересно! Помилуй, да что ж ты не сказал об этом заблаговременно! Неужели мы так будем принимать его? в халатах! Да зачем он сюда приехал?

— А вот увидишь,— сказал важно местный начальник.

— Лукочка, Фенечка! оденьтесь! я и сама так не выйду, это неприлично! — сказала важно местная начальница и поплыла белым лебедем в спальню.

— Что ж это такое за генерал, Иван Сергеевич? неужели французский? — спросил Кирило Яковлевич.

— Истинно так!

— А!.. да зачем же он здесь?

— Вот уж тебе и вынь да выложи.

— А у тебя из всяких пустяков тайна.

— Какие, братцы, пустяки! я в ужасном затруднении!

— Да что такое, говори, Иван Сергеевич!

— Я не знаю, на каком основании его принять!

— Что ж, братец, хоть с французами и война, но, по моему мнению, следует принять как генерала; вероятно он эмигрант... я бы даже дал обед... Да говори, братец!

— Ей богу, я сам еще ничего определительно не знаю... Ах, да вот и он едет!

Кирило Яковлевич с середины залы отошел к стороне, местный начальник встал против дверей, приказал

слуге откинуть обе половинки. Емельян Герасимович, в сопровождении офицера, уже в передней, а слуга загородил собою двери, никак не сладит с задвижкой. Сам Иван Сергеевич бросился помогать ему.

Прошу же представить себе Емельяна Герасимовича во французском генеральском мундире, Емельяна Герасимовича, который ничего не понимал, что с ним делается, который ничего не может произнести, кроме чудного арабского стиха: ай халия ель бали, кад баль-бальша биль бальбали бали, который воображает, что его везут в чистилище вместе с Египетской армией. Только что он вошел, а местный начальник и Кирило Яковлевич низко поклонились ему, вдруг влетела в залу и супруга местного начальника с двумя дщерями. Увидев генерала, они остановились и, по местному обычаю, опустив очи в землю, свернув голову на сторону, локотки вперед, присели — дружно, как по флигельману.

— Так сделайте одолжение, угодно ли будет принять генерала? — начал офицер.

— Как же...— начал было местный начальник.

— Как же, помилуйте, мы считаем за особенную честь себе,— начала и продолжала хозяйка,— покорнейше прошу, ваше превосходительство, в гостиную, сделайте одолжение! Покорнейше прошу садиться, вот здесь, на диване. С дороги вы верно устали. Как нравится вам наш город?.. что изволите говорить, ваше превосходительство? Ах, как жаль, что не понимаю хорошо по-французскому!

— Хм, и я по-французски не говорю! — подумал вслух Емельян Герасимович, садясь на диван.

— Что изволите говорить? — спросила хозяйка.

— Экой глупой язык! балаболка! свинья! — пролепетал с досадой Емельян Герасимович.

— Что ж делать, ваше превосходительство,— продолжала хозяйка,— погостите в России, научитесь по-русски.

— Да, да, да! как же, непременно, в России! бл-бл-бл! — сказал Емельян Герасимович.

Чтоб занять гостя, местная начальница усадила дочерей, Кирила Яковлевича, просила садиться офицера и начала говорить неумолкаемо, обращаясь к Емельяну Герасимовичу.

— Очень, очень жаль, что ваше превосходительство не может объясниться, совершенно ничего нельзя понять; не знаю, понятно ли вам, что я говорю.

— Вот... пьфу! чччерт! — пролепетал Емельян Герасимович.

— Помилуй, матушка, с какой стати господин французский генерал будет понимать по-русски.

— У-гм! — произнес Емельян Герасимович, показывая на себя и мотая головой.— Черт его знает,— прибавил он мысленно,— как попал мне французский язык в рот! бл, бл, бл, бл, сам не знаю, что говорить!

— Вот видишь, верно понимает,— сказала местная начальница мужу,— да уж ты не беспокойся, я буду уметь занять его превосходительство.

И Иван Сергеевич, по данному супругой знаку, побежал насчет чего-то распорядиться.

— Что ж вы не садитесь? — повторила хозяйка офицеру.

— Извините, мне надо отправляться,— отвечал он, поклонясь и выходя вон.— Черт его возьми! принял без росписки, пусть и остается без росписки! — думал офицер, отправляясь на квартиру. Собрав команду, он немедленно же выступил в поход.

Вот подали завтрак — водку и колбасы; Емельян Герасимович посмотрел, покачал головой.

— Нет, мне бы чаю, поразмочить этот проклятый французский язык.

— Что ж это вы, ваше превосходительство? позвольте просить водочки! Не угодно? ах, боже мой, чем же вас просить? право не догадаемся?

Емельян Герасимович толковал-толковал, никто не понимает, встал с места и пошел в спальню.

— Не сюда, ваше превосходительство, пожалуйте сюда! — вскричал местный начальник, бросившись вслед за Емельяном Герасимовичем; но он, не обращая внимания на его слова, прошел в спальню, из спальни в детскую, и наконец в девичью, и чего-то искал.

Беспорядок и неопрятность заводятся посреди недостатков, вместе с клопами, тараканами и мышами; входят в привычку и потом преспокойно живут и посреди избытка. По всему было видно, что местный начальник с своей супругой привыкли жить на свиную ногу или, чтоб выразиться опрятнее: *кошонами*[1]. Чего не было в спальне и в детской, не говоря уже о девичей! Это были живые чуланы всякого хламу; на окнах грелись на солнышке огромные бутыли с наливкой и настойкой;

---

[1] «Кошон» по-французски означает «свинья».

между ними также грелись на солнышке кошки и котята; моська лежала на ворохе черного белья под постелью; костюмы барина, служебные, домашние и спальные, дружно лежали с нарядами барыни. Текущие дела полиции не шли в ход, не прослужив прежде покрышками банок, горшков и тарелок в хозяйстве местной начальницы. На столах и комодах, кроме отпечатанных поддонков чайных блюдечек и пивных стаканов, красовалась и кристаллизация накапанного и размазанного варенья. На полу можно было сосчитать все ступни барина, барыни, дщерей и босых девок, и легко было ходить по чьим-нибудь горячим следам. В доме любила порядок только Фенечка. У ней в сундуке был чудный порядок, и каждый день раза два-три новый порядок, да и нельзя иначе: уложит вниз кофточки, юбки, платки, чулки, сорочки и сверху шемизетки, спальные чепчики и прочие наряды, да и подумает: «Ах, батюшки, ведь завтра воскресенье, надо переменять белье!» Заложит вниз ситцевое полосатенькое платье. «Я, думает, надену завтра пестренькое». А тут как назло, когда уже все уложено и в порядке, сестра спросит: «Ты, Фенечка, какое платье наденешь завтра? пестренькое?» — «Нет, полосатенькое». И пойдет перекладывать в сундуке, вынимать снизу полосатенькое платье.

Таков был порядок в доме.

Емельян Герасимович, пройдя спальню, выбрался уже в девичью.

— Ну, куда вы идете за ним! — прошептал сердито Иван Сергеевич к жене и к дочерям; — вы видите, чего ему хочется.

— Ах, боже мой! почему ж я знаю, что ему нужно! — отвечала сердито хозяйка,— пойдемте, дети!

Емельян Герасимович, заметив наконец на лежанке самовар, завешенный тряпками, указал на него и повторил:

— Чаю!

— Ах, чаю! понимаю, понимаю! генерал охотник до русского чаю! — вскричал местный начальник и сам передал самовар в руки горничной, с приказанием скорее поставить.

Самовар готов, подан; Емельян Герасимович с жадностью стал пить чай. Все смотрят внимательно, как он кушает, дивятся на эполеты, на мундир и на звезду. И надо сказать, что Емельян Герасимович очень не дурен был во французском генеральском мундире; как

француз после перерождения, он смотрел на все прямо, вытаращив глаза и смущая всех, в ком было хоть немного скромности или робости. Движения его были вольны, *позы* бесцеремонны.

— А где ж офицер? — спросил Иван Сергеевич, спохватясь.

— Пошел по делам службы,— отвечала жена его.

— А! так он возвратится.

Утолив голод и жажду чаем, Емельян Герасимович встал и пошел по комнате рассматривать картины. Хозяйка, ее дочери, местный начальник и Кирило Яковлевич шли за ним толпой, и когда он останавливался перед картиной, окружали его и толковали значение картин, все в один голос.

— Это древний русской царь! Это царь Иван Васильевич Грозный! Ах, вот, ваше превосходительство, история одной французской девушки! как бишь ее?

— Женевьева.

— Что вы, сестрица! не Женевьева, а Генофева.

— Вот прекрасно! уж вам лучше знать!

— Конечно, знаю, я читала историю; а вы что читали?

Спор Лукочки и Фенечки прекращен был грозным:

— Тс! молчать!

Лукочка и Фенечка хотели было миновать притчу в картинках; но Емельян Герасимович не прошел мимо и долго рассматривал купальню граций. Обозрение картинной галереи местного начальника продолжалось до обеда. Подали на стол. Иван Сергеевич беспокоился об офицере; он послал его отыскивать и сказать ему, что генерал остался обедать, а потому просят и его пожаловать.

— Ну, мы ждать какого-нибудь офицера не будем! покорнейше прошу! — сказала хозяйка, подавая руку Емельяну Герасимовичу. Сели за стол; а между тем посланный возвратился и доложил, что офицер с командой уже отправился из города неизвестно куда.

— Как отправился! — вскричал местный начальник и весь побледнел.

— Что с тобой, помилуй! что ты взбеленился! что за беда такая? Ну, отправился, так отправился, бог с ним! — сказала хозяйка.

— Ничего, ничего, моя милая! — проговорил, отдуваясь, Иван Сергеевич.

— Если ничего, так не за что и сердиться,— отвечала его супруга, накладывая гостю закаленных в огне котлет; но Емельян Герасимович ничего не мог есть, кроме жижицы супу.

— Вам не нравится русской стол,— повторяла она угощая его; — как жаль, что у нас в городе нет французского бульону; я бы весь стол приказала изготовить на бульоне.

— Да, да, бульону! пьфу!.. понимаю теперь, от чего французы охотники до бульону: французский язык куска порядочного в горло не пропустит, весь рот занял, свинья, балаболка! — пролепетал Емельян Герасимович в сердцах на свой язык.

Иван Сергеевич ничего не ел от беспокойства душевного, Лукочка и Фенечка от скромности и взоров Емельяна Герасимовича; местная начальница также ничего не кушала в заботах угощения и от досады, что Кирило Яковлевич, несмотря ни на что и ни на кого, все ел, ел медленно, всякий кусок тщательно пережевывал и заливал сантуринским.

Без Кирила Яковлевича обед не долго бы продолжался; хозяйка, как благовоспитанная женщина, занимала гостя рассказом о том, как она хотела учить Лукочку и Фенечку по-французски, да *город такой,* что учителя не найдешь.

— Они бы с вами поговорили, ваше превосходительство, особенно Лукочка, такая память!

— Да, да, радость большая говорить по-французски,— повторял Емельян Герасимович, рассматривая пышный чепчик и открытые плечи хозяйки. Эта инспекция смущала Ивана Сергеевича, и он проклинал себя, что полюбопытствовал видеть французского генерала.

Когда встали из-за стола, хозяйка снова подала руку Емельяну Герасимовичу и повела его обратно в гостиную; а Иван Сергеевич, схватив за руку Кирила Яковлевича, повел его в сторону.

— Послушай, любезный Кирило Яковлевич! мне надо с тобой переговорить.

— Что такое? постой, братец, я выпью стаканчик пивца... жена твоя такая торопливая!

— Да пойдем в сад, я велю подать тебе целую бутылку.

— И то дело, только посвежее, братец.

— Или постой, сейчас, только съезжу в полицию, верно налгали! Как можно, чтоб офицер уехал.

И Иван Сергеевич поскакал в полицию, узнать, где остановился офицер; потом в квартиру его, и возвратился домой в отчаянии.

— Ну, Кирило Яковлевич, навязали на меня обузу! — сказал он, проходя запыхавшись залу, где сидел Кирило Яковлевич и курил трубку.

— Где же генерал? — спросил он, войдя в гостиную, в которой сидели только Лукочка и Фенечка, и за что-то ссорились.

— Он опять вышел туда-с.

— Куда?

— Да мы не знаем-с.

— А мать? опять пошла следом за ним?

— Мы не знаем-с.

Иван Сергеевич, ухватясь за ручку замка, хотел отворить двери в спальню; но двери заперты.

— Что за черт! — сказал он, побежав в коридор. Приложил ухо к дверям, хотел приотворить — и тут заперто.

— Где барыня? — спросил он, прибежав в девичью.

— Не могу знать-с! — отвечала девка, перемывавшая посуду.

— Вот прекрасно! да куда ж она девалась?

И с этим словом, зная слабость двери, ведущей из коридора в спальню, он отодвинул задвижки, дернул, язычок соскочил, дверь отворилась, Иван Сергеевич взглянул в спальню и — на цыпочках отретировался опять в гостиную.

— Что, братец,— сказал он Кирилу Яковлевичу,— я не знаю, что делать! прах его знает! посмотри, пожалуй, распоряжается как дома, дрыхнет себе, разделся и развалился на диване!

— Да я тебя не понимаю, Иван Сергеевич; скажи мне сперва, откуда взялся у тебя французский генерал?

— А леший его знает! офицер привез его с пленными, да и бросил на мои руки. Да мне прах его возьми! я его не принимал! я расписок не давал в получении! Кто хочет, тот и отвечай!

— Стало быть, это пленный французский генерал? скажи, пожалоста! Ну, что ж, братец, это не велика беда.

— Не велика беда! прах его возьми! расположился здесь как дома!.. разделся догола, разлегся! Ведь у меня, братец, жена, дочери-девушки!

— Эх, Иван Сергеевич, ведь он француз, русских обычаев не знает; да я уверен, он воображает, что здесь ему отведена квартира.

— У меня квартира? нет, брат, покорно благодарю! пусть куда хочет отправляется, я его не принимал в числе пленных, я не получал никакого на счет его предписания и не имею сумм на содержание!

— Да, может быть, предписание было словесное?

— Никакого!

— Странно! постой же, знаешь ли что? я его беру к себе на поруку, на свою ответственность.

— Да как же это можно? да если вдруг меня спросят об нем?

— Уж я отвечаю; когда востребуют, я представлю. В прошлую кампанию у моей тетки жил также в доме пленный француз, в учителях. Как, братец, он барабанил! я тебе скажу! бывало пустит дробь, да потом в перебой, с разными фокусами, да с переметом палок!..

— Вот, сравнил барабанщика с генералом!

— Извини, не барабанщик, а майор. Он не хотел ехать и во Францию; женился на одной барышне, взял пятьсот душ. А тоже был взят на расписку. И я тебе дам расписку.

— Да полно, так ли? хорошо ли это будет?

— Уж верь мне, что так. Как только получится востребование, тотчас же дай мне знать; а я в тот же день представлю его живьем.

— А ну, избави боже, он уйдет от тебя?

— Помилуй, братец, генерал уйдет! да куда ему уходить-то? без языка, на чужой стороне!

— И то правда; так ты дай поручительство, что по востребованию представишь мне его здрава и невредима.

— Нет, покорно благодарю!

— А что?

— Я ни за здоровье, ни за бессмертие его не ручаюсь.

— Да как же, ну, избави боже, умрет; кто ж будет отвечать?

— Уж по крайней мере я не отвечаю! пусть умирает на твоих руках!

— Нет, прах его возьми! у меня нет сумм ни на содержание, ни на лечение, ни на похороны! нет, спасибо! издержишь свои и кланяйся им потом!

— Так что ж ты будешь делать с ним?

— Да сделай одолжение, возьми его, делай с ним, что хочешь!

— Изволь, возьму, а расписку дам только в том, что он у меня с холоду и с голоду не умрет, и только!

Иван Сергеевич согласился; и когда Емельян Герасимович проснулся, дорожная коляска Кирила Яковлевича была уже готова, и нашему французскому генералу объяснили знаками, что надо ехать.

— Не угодно ли? — сказал Кирило Яковлевич,— вам спокойно будет у меня в деревне; покорнейше прошу!

— В поход? ну, слава богу, едем, едем; мне надоели эти шлюхи! — подумал Емельян Герасимович. Взяв свою трехугольную шляпу, без поклона местному начальнику и его семейству, он вышел вслед за Кирилой Яковлевичем.

Сели, поехали. По отъезде нежданного гостя, Иван Сергеевич объяснил супруге своей причину, по которой французский генерал поехал к Кириле Яковлевичу, и некстати упомянул о пленном французском майоре, который женился в России. Местная начальница покачала головой и сказала:

— Фалелей ты, фалелей! посылал бог клад, да не умел брать! Посмотри, если Кирило Яковлевич не прикормит его, да не выдаст за него дочери своей? а у тебя ведь две! фалелей, фалелей!

Иван Сергеевич задумался: не послать ли воротить Кирила Яковлевича?

Глава шестая

В сей главе заключается повесть о Змее Горыныче и о том, как Емельян Герасимович намерен был спасти прекрасную Каллирою от Змея Горыныча, как встретил Пафнутьича, как река унесла было его с верным слугою в море, как они спаслись, как получил Емельян Герасимович снова употребление русского языка и уверился, что он только во сне разлучался с Пафнутьичем.

После тщетных поисков в городе и в окрестностях пропавшего своего барина Пафнутьич возвратился на постоялый двор, сел на завалинку и слезно плакал.

— Куда я без него поеду? — думал он,— я поеду, а как он вдруг воротится.

В этих мыслях Пафнутьич останавливал всех мимошельцев, не видали ли где по дороге вот такого-то и такого барина?

— Да что ж, дядюшка, бежал что ли от тебя баринто? — спросил его один из них, сняв шапку, чтобы почесать макушку, и отряхивая свои льняные космы.

— Бежал! куда ему бежать-то! — сказал сердито Пафнутьич.

— Да что, худо было ему жить, аль снес что со двора, что ты так печалуешься об нем?

— Пошел ты! — вскричал сердито Пафнутьич.

— Знаешь что, дядюшка, погадал бы ты у бабушки Юрьевны, она всю правду скажет тебе, где искать. Что призадумался? ступай.

Пафнутьич в самом деле призадумался и сам себе подивился, как это ему не пришло до сих пор в голову погадать о барине.

— А где живет Юрьевна? — спросил он.

— Да у нас на селе; ступай за мной, прямо к ней приведу во двор.

— Веди! — сказал Пафнутьич и пошел вслед за белобрысым.

И пришли они в слободу, к избушке с одним окошечком; вошли в избушку; сидит в ней престарая старуха да шелушит бобы и кладет их на стол кучками.

— Бабушка, вот пришел к тебе человек погадать.

— Милости просим, дворецкой! — пробормотала старуха.

— Эге, узнала, что я дворецкой,— подумал Пафнутьич.— Погадай, бабушка, сделай милость! Видишь: барин у меня сгинул да пропал, где мне его искать?

— Барин пропал? знаю! Да что ж тебе, али господ на белом свете мало?

— Много, бабушка, да не мои.

— Твои — мои, мои — твои... Правда, не твои: есть у тебя свой господин.

— Его-то мне и надо.

— Надо, не надо... так! надо.

— Где же, бабушка, найти мне его?

— Идти — найдти, не идти — не найдти — идти, идти, вестимо что идти!..

— Да куда идти, где он теперь?

— Теперь?.. а вот постой... да нигде.

— Как нигде?

— Так нигде; вот видишь: дорога; а он в дороге; а перед ним три пути. Бог весть по которому пойдет. Приходи завтра.

Вздохнул Пафнутьич, воротился в город, переночевал, пришел наутро к бабушке Юрьевне. Бабушка шелушит бобы, раскладывает на кучки.

— Погадай же, бабушка, где мой барин?

— Барин — не барин, и не господин... ни того, ни другого, а выходит все... на пути не на пути, да и не на дороге... в дому, да ни гость, ни хозяин... Нем — не нем, а слова русского не промолвит. Приходи завтра, дворецкой, сегодня темна вода во облацех воздушных.

Пришел Пафнутьич в третий раз.

— Погадай же, бабушка, где искать моего барина.

— Постой-ко, постой... идти тебе на восход солнца... ладно... путь не дальний... первой — другой — три, да еще первой — другой — три; три раза по три сколько будет?

Пафнутьич сосчитал по пальцам.

— Всего-то десять без одного.

— Так вот в этот-то денек ты и повстречаешь своего барина.

— Да где же повстречаю я его?

— А где бог приведет, сударь; он теперь на месте; а вот около него увивается какая-то красная девица, ведет с ним разговоры... да что он, не немец ли?

— Нет, бабушка, русской.

— Что ж это он словно немой сидит? Ну, да все едино, ступай, ступай, а то опоздаешь! да на своих на двоих!

— Так на восход солнца, бабушка? — спросил Пафнутьич, положив перед старухой гривенник.

— Раз сказано, будет с тебя.

Пафнутьич поклонился и бегом в город, на постоялый двор; расплатился, взвалил чемоданчик на плечо и пошел да пошел на восход солнца.

Между тем Емельян Герасимович, мало заботясь о том, что делали с ним судьба и люди, преблагополучно ехал с Кирилой Яковлевичем в его деревню.

Расстояние от города до деревни Кирила Яковлевича было не более как на шесть часов езды. На Днепре, близ Бериславля, на первой же версте, Емельян Герасимович заснул в коляске, как в люльке младенец. Кирило Яковлевич последовал его примеру и очнулся, когда

уже лакей отворил дверцы коляски и, растолкав барина, доложил, что приехал домой, Емельяна Герасимовича насилу разбудили, почти сонного ввели в комнату, которую назначил ему Кирило Яковлевич; почти сонного раздели, и он погруз и в мягкой перине и в сладком сне.

Покуда наш герой почивает, познакомимся с Каллипигой Ликарионовной, супругой Кирила Яковлевича, которую приобрел он на одном из островов Средиземного моря, во время кампании. До замужества, по красоте своей она была Хиоской, но после замужества стала Афинянкой. Когда Кирило Яковлевич увидел ее в первый раз, в коротенькой юбочке по колено, когда взглянул на ее ножку в красных чулочках и в желтых сафьянных папушках, с икрами, каких не бывало у самой Венеры Каллипиги,— Кирило Яковлевич пленился; а когда однажды за обедом замаслил он усы пилавом [1] и она подала ему широкий рукав своей белой сорочки вместо салфетки, он растаял и женился, женился и вышел в отставку. Возвратясь на Русь, он мечтал похвастать живой греческой красотой и длинной густой косой как удав; но на беду случилась метаморфоза. Бог даровал ему дочь Каллирою; потому ли, что Каллипига Ликарионовна, по обычаю, красила волосы, белилась и румянилась, последствия беременности ее были самые горестные для ее красоты: волоса вылезли, брови выпали, зубы почернели, все розовое, нежное, пышное измялось, и она превратилась в дородную бабу, с выщекатуренным лицом, с шелковой афинской косой и с накладными сырцовыми локонами. Так как все почти без исключения греки, даже торгующие греческим мылом, приходятся сродни Василевсам и Василиссам греческим, то и Каллипига Ликарионовна, считая себя происходящею от царской крови, считалась и визитами, хотела взять верх над соседними русскими барынями; а соседние русские барыни и распустили слухи: что приехала фря, расфуфыренная, что приехала фря на позорище, на позорище, на посмешище! Разгневалась Каллипига Ликарионовна и ни сама из дому, ни к себе в дом. Люди звали ее Кулебякой Лукерьевной и, удивляясь, что у греков прозываются по матери, а не по отцу. Для компании себе и для присмотра за дочерью наняла она Албертину Розамундовну, мамзель лет за сорок, которая пересказывала ей немецкие романы Крамера, Коцебу, Лафонтена, Шписа

[1] Плов.

и проч., а Каллирою учила приседать, говорить на русском языке немецкие комплименты и сверх того как обходиться и быть любезной с мужчинами. Каллипига Ликарионовна не забыла условиться с ней, что хотя она при малолетстве Каллирои нанимает ее как мамзель, но когда вырастет Каллироя, то она же будет и мадам. Когда Каллирое минуло шестнадцать лет, ей ужасно как хотелось видеть кавалеров, потому что всех знакомых, которые приезжали изредка к отцу, она не считала кавалерами, и сама Албертина Розамундовна всегда говорила: «Такие ли бывают кавалир!» Притом же, по романам, кавалеры вечно говорили только о любви, вечно клялись, при первом удобном случае становились на колени, потом бросались в объятия, а наконец увозили своих возлюбленных. Албертина Розамундовна хвалила немецких кавалеров; но особенно любила французов и говорила, что это самые лучшие герои романов. Пламенная по природе, Каллироя напитала воображение свое рассказами фрейлейн Албертины, переняла всю немецкую чувствительность или, если угодно, сентиментальность и мечтала о том кавалере, который будет героем ее собственного романа. Во время этого разгара чувств возвратился ее отец из обычных своих поездок отдохнуть на стороне от скуки домашней и привез с собою пленного французского генерала. И вот, между тем, как приезжие наши почивали еще, девушки-рукодельницы, которыми набита была девичья Каллипиги Ликарионовны, встали, пронюхали, что с барином приехал какой-то немецкий генерал, и изволит почивать в комнате, что подле барышниной, тотчас же взгромоздили стул на стол и чрез окно, которое было над дверями, для освещения темного коридора, насмотрелись вдоволь на спящего Емельяна Герасимовича.

— Барышня, а барышня! вставайте скорее! какой гость у нас! какой у нас гость, сударыня барышня!

Каллироя опрометью вскочила с постели, накинула на себя капотик.— Где? — Здесь, здесь!

Вот и Каллироя смотрит на спящего Емельяна Герасимовича, и сердце ее бьется.

— Кто ж это такой? — спрашивает она шепотом.

— Немецкий генерал, с папинькой приехал, барышня!

— Немецкий генерал! — вскричала Каллироя и зажала сама себе рот.

— Что вы кричите, барышня, вы разбудите его!.. Вот бы вам, барышня, жених!

— Ах, поди ты с женихами! дай мне поскорее одеться! Папинька скоро встанет, а мне при чужом человеке нельзя же так выйти.

Каллироя побежала одеваться; наскоро завила волосы, нарядилась с бóльшим вниманием против обыкновенного; ждет с нетерпением, когда все встанут; а часы пробили шесть часов. Она ужаснулась: папинька и маминька встают не прежде десяти. Ждать целых четыре часа! Албертина Розамундовна также еще спит. Не вытерпела Каллироя, пошла будить ее.

— Вставайте, Албертина Розамундовна!

— Што такое вставайте! — проговорила сердито фрейлейн Албертина.

— Вставайте, Албертина Розамундовна! с папинькой приехал немецкий генерал!

Эта новость встревожила и Албертину Розамундовну.

— Што немецкий генерал? какой немецкий генерал? — повторяла она полусонная, торопливо одеваясь.

Вникнув наконец в слова Каллирои, фрейлейн также принялась устроивать свои букли и хлопотать о наряде.

— А знает маминька?

— Нет еще.

— Ах, боже мой! надо скорей сказать!

Разбудили наконец и Каллипигу Ликарионовну. И она захлопотала, сперва о туалете, потом, на всякий случай, распорядилась об чае, кофе, завтраке и обеде, велела прибрать в комнатах, снять со всего чехлы. И когда все было готово, села чинно с дочерью и компаньонкой в гостиной. Ждут нетерпеливо пробуждения Кирилы Яковлевича и генерала.

Прошло по крайней мере три часа, самых мучительных для женского любопытства, во время которых наши дамы рассуждали шепотом, что бы за генерал такой? Призвали человека, который ездил с Кирилой Яковлевичем,— начались допросы.

— Ей-ей, не знаю, матушка-сударыня; барин приказал подать коляску, вот я и велел Тихону подавать. Барин и вышел, говорит: извольте садиться, ваше превосходительство; я подсадил, сел на козлы и поехали.

— Ну!

— Вот и приехали; уж поздненько, так уж, чаю, за полночь было.

— Об чем же они разговаривали дорогой?

— Никак нет-с, не разговаривали.

— Ты по сю пору не проспался? Где ж тебе было слышать!

— Ей-ей, нет, матушка-сударыня; уж если б слышал что, смел ли бы скрывать!.. Признаться, версты две отъехали, я и обернулся посмотреть, что, дескать, господа-то молчат; барин-то спит в углу, а генерал-то спит у него на плече. Так и домой приехали.

— С чего же взяли, что он немецкий генерал?

— Этого-то я, сударыня-матушка, утверждать не могу, говорил ли Тихон про то или нет, не могу знать; стало быть, он сказал; сам я подумал: уж если не говорит ни слова, кому ж быть иному...

— Пошел, призови Тихона.

Явился Тихон.

— С чего ты взял, что с Кирилой Яковлевичем приехал немецкий генерал?

— С чего ж мне взять, сударыня; я с козел не слезал; у нас, сами знаете, какие кони, шагу не отходи, не заглядывайся, не то чтоб с кем слово перемолвить.

Целый дом допросила Каллипига Ликарионовна, кто́ сказал, что с Кирилой Яковлевичем генерал немецкий приехал. Никто знать не знает. Вся девичья отреклась даже и в том, что никто не называл его и просто генералом, не только что немецким.

— Это ни на что не похоже! — сказала Каллипига Ликарионовна, и вдруг ахнула.

Каллироя также ахнула.

Мамзель Албертина также ахнула. И все три встали с мест, потупили очи.

В дверях стоял неизвестный мужчина в халате. Должно было полагать, что он потерялся, увидя перед собою трех дам, и в забывчивости, вместо того, чтобы скрыться от них в неприличном своем наряде, он подошел к ним к ручке: сперва к ручке мамзель Албертины, потом Каллирои, а наконец Каллипиги Ликарионовны. Каллипига Ликарионовна смутилась, обиделась, вспыхнула, в *конфузе* и в гневе, не знала, что говорить, что делать; но чувство обиженной гордости подсказало ей, что она должна показать титул и значение свое в доме.

— Покорнейше прошу садиться, ваше превосходительство, муж мой сейчас встанет.

Емельян Герасимович сел и произнес несколько невнятных звуков, показывая на уста свои.

— Понимаю, вы по-нашему не умеете,— сказала Каллипига Ликарионовна,— извольте поговорить с генералом что-нибудь по-немецки, Албертина Розамундовна; спросите, спокойно ли они ночевали.

— Хабен зи воль гешлафен, херр генераль? [1] — произнесла стыдливо мамзель Албертина.

Но Емельян Герасимович не обратил внимания на ее слова; он рассматривал Каллирою, которая, заметив это, вся сгорела и опустила в землю черненькие глазки. В этих глазках было много чего-то питательного для души, сладкого для сердца; никогда и ни на что эти глазки не смотрели холодно, взор был светел, как прекрасный майский утренник над розовыми кустарниками Кралева в Булгарии.

Мамзель Албертина, воображая, что генерал не расслышал вопроса, повторила слова свои. Но тоже невнимание ее обидело, и она, также потупив глаза в землю, замолкла.

— Что это вы так говорите, Албертина Розамундовна, что вас не понимают?

— Ах, мой бог, генерал, вероятно, не расположен говорить,— отмечала она и, снова обратясь к Емельяну Герасимовичу, спросила по-немецки: — Не правда ли, здесь места усладительные? но все не могут сравниться с очаровательной Германией! Вы давно, генерал, из Германии? проездом? вероятно, путешествуете?..

— Что она бормочет? верно, и у ней французский язык в роту? — подумал Емельян Герасимович, заметив наконец, что Албертина Розамундовна о чем-то его допрашивает.

— Правда ли, генерал,— продолжала Албертина Розамундовна сердито,— что французское невнимание к дамам вошло в обычай и в Германии? И удивительно ли! солдатам к лицу грубость.

— Вы, верно, по-чухонски говорите, Албертина Розамундовна,— сказала Каллипига Ликарионовна.

— Нет, верно, генерал без языка!..— начала было Албертина Розамундовна; но речь ее прервал вошедший хозяин.

— Ах, генерал,— сказал он,— извините! немного проспал. Представляю вам жену мою!.. Извини, душа моя, что генерал в халате, по французски это водится.

[1] Хорошо ли вы спали, господин генерал? (*нем.*)

— У-гм! — сказал Емельян Герасимович, кланяясь и выходя в свою комнату. И он немедленно же надел французский мундир и явился снова в гостиную. Кирило Яковлевич почтительно представил французскому генералу жену свою и дочь.

— Виновата ли я, что французский солдат не понимает немецкого языка! — сказала Албертина Розамундовна сердито.

— Вас представляют, сударыня, генералу, а не солдату! — отвечала Каллипига Ликарионовна, вытаращив на нее глаза.

У Каллирои затрепетало сердце при слове французский генерал. В наружности и приемах Емельяна Герасимовича столько было особенностей, что он не только Каллирое, но и всякому показался бы иностранцем. Каллироя не видывала еще мужчин романических, она видела только мужчин простых, которые на все, что им ни скажи, отвечали улыбаясь и кивая головой: «Да-с, так точно-с, конечно, Каллироя Кириловна!..», которые стояли и сидели смиренно, потупив или вытаращив глаза, которые говорили про *маленькое дельце* или повторяли: «Да-с, это важное дело!» Какое же сравнение с Емельяном Герасимовичем. Первое, на суровом лице его изображалась какая-то насмешливость; прямых, устремленных взоров его нельзя было выносить; обхождение простое, бесцеремонно; повсюду, где бы он ни был, какая-то хозяйская свобода, ничего гостиного. Албертине Розамундовне очень не нравился французский генерал.

— Груб и совершенно без приличий,— сказала она шепотом Каллирое,— это француз не старой Франции, который отличался утонченной вежливостью, изысканностью во всех приемах, вечно приятной улыбкой на устах, угодливостью к дамам... Это француз революционный или наполеоновский солдат.

Каллироя заступилась за Емельяна Герасимовича.

— Ах, подите вы, Албертина Розамундовна, с вашими старыми французами,— сказала она также шепотом,— ваши старые французы похожи на нашего стряпчего! бесик с хвостиком! куда ни поди, везде носится со стулом!

Между тем как Каллироя оспоривала Албертину Розамундовну, а Албертина Розамундовна в сердцах доказывала ей, что она молода и не знает толку в мужчинах, Каллипига Ликарионовна сама села разливать чай для значительного гостя и утомилась до поту лица, наливая

ему чашку за чашкой. Емельян Герасимович пил медленно и, казалось, испытывал, сколько чашек чаю можно выпить в один присест.

— Я никак не думала, чтоб французы были такие охотники до чаю! — сказала наконец Каллипига Ликарионовна.

— У меня только язык французский, а больше ничего,— пролепетал Емельян Герасимович,— ровно ничего.

— Не понимаю! — сказала Каллипига Ликарионовна, тщетно вслушиваясь и желая понять его слова.

— Не понимаете, так нечего и говорить! — продолжал Емельян Герасимович,— потому что, видите?

И он показал пальцем на себя, потом покачал головой, потом показал на рот.

— А! понимаю, понимаю! это значит, что вы не понимаете русского языка, понимаю!

— А-га, гм! бл-бл! — произнес Емельян Герасимович с досадой, желая сказать, что Каллипига Ликарионовна ничего не понимает.

— Ах, как жаль, что никто из нас не говорит по-французски! — сказала, вздыхая, Каллипига Ликарионовна.

— Пьфу! — произнес Емельян Герасимович. Ему ужасно как хотелось выплюнуть проклятый язык.

— Утомилась, мочи нет! — сказала Каллипига Ликарионовна, вставая из-за стола,— сядь, Каллироя, разливай да спроси, не угодно ли еще.

Кому не известна сельская съедобная жизнь. От 8 до 10 пить чай или кофе, от 10 до 11 шоколад, от 11 до 12 завтракать, от 12 до 2 показывать гостям конюшни и сараи, от 2 до 4 обедать и пить кофе, от 4 до 5 кушать десерт: смоквы и прочие разные сушенья, печенья и варенья, от 5 до 6 кушать ягоды со сливками, от 6 до 7 пить чай, от 7 до 9 для моциону проходиться, в 9 ужинать, а в 10 ложиться спать. В промежутках же всей этой дневной деятельности бостонировать; а после обеда, если совесть не зазрит, *часок соснуть*. Так водится в сельском свете,— главное: поесть чего-нибудь питательного; и это-то составляет разницу между городским и сельским светом. Городская жизнь во всех отношениях упоительна, а сельская во всех отношениях питательна. В одной господин житель вечно хмелен, а смотрит голодным; в другой вечно сыт, а не утолить ничем жажды; по-сельски, гостей должно угостить всем, чем бог послал, чтоб они, уезжая, сказали: «Ну, хлебосол хозяин!

спасибо!» А по-городски главное угощение состоит в любезности хозяйки; и каждый гость, упоенный ее красотой и речами, оставляя *салон*, вполне доволен, но голоден, повторяя про себя: «Прелесть! я бы съел ее!» Словом, ему в гостях дали выпить, а закусить может дома.

Таким образом, по сельскому обычаю, чтоб укоротить время до обеда, Кирило Яковлевич повел и Емельяна Герасимовича на свой конский завод и овчарню.

Емельян Герасимович смотрел на все с обыкновенною своею любознательностью. О конях говорил он: «У-гм!», а об овцах сказал: «Бл, бл, бл!» Кирило Яковлевич замечал удивление французского генерала и был в восторге.

— Да-с, это мне стоило! — повторял он.

Когда подали обедать, Емельян Герасимович съел тарелку супу и, махнув рукой, встал без церемоний из-за стола, поцеловал руку у хозяйки, что ей очень понравилось, и пошел в свою комнату отдохнуть. Кирило Яковлевич проводил его, возвратился к столу и объяснил недоумение Каллипиги Ликарионовны, по какой причине французский генерал находится у них в доме.

— Как он груб! — сказала Албертина Розамундовна.

— Я этого нисколько не вижу,— заметила Каллипига Ликарионовна,— не потому ли груб, что ошибкой принял вас сначала за хозяйку, да не долго остался при этом мнении?.. Что ж удивительного, вы показались ему старше всех.

— Порядочный человек не по летам различает достоинства! — сказала едко Албертина Розамундовна.

— Вот что! то есть вы похожи во всем на хозяйку дома; а я такая пошлая дура, что только что быть компаньонкой в доме!

Женское *не тронь меня* затронуто за живое; слово за слово, крюк за крюк, сцепились, посчитались добрым порядком, потом рассчитались, и еще не успели убрать со стола, а экипаж уже был готов, и Албертине Розамундовне донесли, что она может отправляться в губернский город.

Сойдутся же иногда люди с труфелем вместо сердца; живут-живут вместе, и вдруг, ни с того ни с сего *опорочат* друг друга и — врозь, как после шапочного знакомства, без слез, без горя.

Албертина Розамундовна, накопив в продолжении восьми лет достаточный капитал, казалось, рада была благоприятному ветру к отплытию от чуждого берега.

Торопливо укладывалась она, как будто боясь, чтоб ее не упросили остаться; как фурия метала хозяйские вещи, которые попадались под руку. Каллироя боялась к ней подойти.

Албертина Розамундовна собралась, надела шляпку, опустила вуаль и, ни с кем не прощаясь, вышла вон.

Албертина Розамундовна уехала. Кирило Яковлевич давно уже спал, не зная, чем кончится история, а Каллипига Ликарионовна, спроводив со двора *мамзель она же и мадам,* также по обычаю легла отдохнуть. Каллироя в горе пошла в сад, села на дерновую скамью под навесом густой липы, и в первый еще раз сидела одна-одинехонька: с десяти лет по осмнадцатый ее год Албертина Розамундовна была неразлучна с ней. Она еще не знала ни задумчивости, ни тоски уединения. При говорливой компаньонке некогда было задуматься.

Растосковавшись по Албертине Розамундовне, Каллироя смочила слезами платочек и припомнила один роман, в котором некоторая прекрасная девица также сидела в саду одна-одинехонька и плакала; вдруг явился любимый ею рыцарь, взял ее за руку и сказал: «Девица всех прекраснейшая! драгой предмет любви моей!» и так далее. Девица упала в его объятия...

Во время этой сладкой задумчивости Емельян Герасимович подкрался к Каллирое; ему казалось, что она заснула. Почувствовав кого-то подле себя, Каллироя вздрогнула.

— Упадете! — крикнул Емельян Герасимович, как индейский петух, и обхватил ее обеими руками.

У бедной Каллирои замерла душа от страха, дыхание занялось, сердце бьет как молот, грудь ходит валом.

— Ах, пустите! — проговорила она, приходя в себя.

— У-гм! — пролепетал Емельян Герасимович, мотая головой.

— Ах, пустите пожалуйста! — повторила Каллироя умоляющим голосом.

— У-гм! — повторил и Емельян Герасимович.

— Ах, я не понимаю, что вы говорите!

— Пьфу! — произнес Емельян Герасимович, не выпуская Каллирои из рук.

— Ну, я вас поцелую, только пустите.

И Каллироя чмокнула Емельяна Герасимовича в щеку, вскричала: «Ах, маминька!» — и, вырвавшись, убежала.

Емельян Герасимович долго смотрел вслед за ней, потом пошел вслед за ней по аллее, все прямо, да прямо, и не заметил, как вышел в калитку на берег Днепра. Шел-шел по берегу и видит — сидит подле реки дедушко, белый как лунь, и удит рыбу; а подле него стоит болван каменный. Емельян Герасимович подошел к старику и произнес арабский стих, указывая пальцем на болвана.

— Ась? что делаю? — спросил старик,— да золотую рыбку — кудесницу ужу... около уды ходит, а на уду нейдет! а хитрая, хитрая, да я перехитрю ее!

Емельян Герасимович сказал:

— Гм!

— Ась? не слыхать, посадской! говори погромче; были у меня ушки с молоду, бывало слышу, как трава растет, да пришла смерть за мной; а я и говорю ей: «Погоди, сударыня!» — «Откупись!» — говорит, и взяла за выкуп ушки, да глазок взяла, насилу умолил, чтоб хоть один оставила на время... ась? что изволишь говорить?

— Пьфу! — сказал Емельян Герасимович, осматривая кругом каменного болвана.

— А! это кто? Да это, сударь, дочь моя. Люди говорят: каменная баба,— не верь. Ей-ей, дочка! причина такая с ней случилась! давно, ох давно! еще до татар. Ась? не слыхать. Рассказать, как было? Изволь.

— Ага! га! га! — сказал Емельян Герасимович, садясь подле старика.

— Изволь слушать. Вот там за рекой Днепром, на берегу, видишь, какая нора? и взглянуть в нее страшно; там свил гнездо Змей Горыныч. По сю пору водятся там дети Горыныча, змеяты сосунки; еще не выросли, только еще жалют да кусают людей, а есть не едят. А Змей Горыныч был такой большой, что как вылезет из норы, так в головах у него, говорят, светлый день, а в хвосте темная ночь; а как сидит в норе, так по извитому хвосту можно сойти в преисподнюю как по лестнице. А в то время на Днепре, до самого моря, было великое царство, жили мы, славный народ, такой добрый, что никому худого слова не молвил, богу молился, посты соблюдал; приди бывало к нам в гости — вымоем, выхолим, в новое платье оденем, за браный стол усадим, запоим, закормим, да еще и спать на мягких перинах уложим; а женам и дочерям велим мух махать. Жили мы весело и богато, шесть дней на себя, а седьмой господу богу; да черт натрубил в уши: не давай! возьми и седьмой на

себя! Народ и послушался. Говорил нам один святой человек: «Ей, не делайте того, будете черту служить!» Так и сбылось: откуда ни возьмись Змей Горыныч приполз, захлестнул хвостом все царство и говорит: «Ну, теперь вы мои; у меня вам будет привольно: панщины и барщины у меня не будет, а будете вы платить мне оброк, только по одной красной девице с тягла». Поохал, поохал народ, да и пошел по домам. «Что ж, братцы, думаете, ведь вправду немного, только по одной. Раз в год отдал, да и прав, уж зато не будем ходить на барщину, своя воля». Ну, хорошо; вот и пришло время платить оброк. Собрался мир. «Что ж, братцы, как отдавать-то нам: старшую или младшую дочку посылать к черту или по жеребью, или которая похуже всех?» Вот иному жаль старшую, иному младшую, по жеребью страшно,— решили вести в оброк ту, что похуже, да не по сердцу. Ну, хорошо. Вот и я говорю жене: «Поведем Парашу», а жена говорит: «Нет, поведем Пашу».— «Не поведем Пашу. Паша работница, нам помощница!» — «А я не дам Парашу — Параша красавица!» Перебранились, подрались; да чья сила, того и воля. «Будешь делать что велят?» — «Ой, буду, буду!» — «Ну, снаряжай!» Пошла снаряжать дочку, да не Парашеньку. «Ты, говорит, мое дитятко, будешь жить в высоком тереме, в палатах господских!» И снарядила как невесту на свадьбу, в красной сарафанчик, на голову шитую бисером плетеную повязочку да белое покрывало, а в ручки платочек шитой золотом. Повели отцы дочерей; матери следом, так и воют; и моя воет, так и разрывается: «Ах ты, мое дитятко ненаглядное, сизая голубушка Парашенька!» Да! Парашенька! как бы не так!.. Привели к реке; за рекой Змей Горыныч из пещеры выглядывает. Поклонились мы в землю, речь заговорили:

— Привели тебе дань, Змей Горыныч, смилуйся, возьми! счетом, по красной девице с тягла!

Змей Горыныч повысунулся из норы, встрепенулся, взмахнул перепончатыми крыльями и протянул язык мостом через Днепр. Стали отпускать первую девицу; поклонилась она в ноги отцу и матери, расцеловали ее отец и мать, оплакали, благословили; нарядная сваха взвела на язык, сдернула покрывало, расплела косы, запела свадебную песню. Потянулся мостик назад, а девица-то, грешница, потупила очи, разрумянилась, не об отце и матери, не об отческом доме думает, а об молодом муже да об высоких палатах господских... Вдруг, хам!

только ее и было. Верно, вкусна была — почавкал, почавкал Змей Горыныч, пооблизался и протянул язык за другой, и другая тоже, и третья, и пятая, и десятая тоже. Пришел черед и моей дочке. Я зарыдал, мать завыла, охватила вокруг шеи и запела прощальную песню.

— Да дай ты ей поклониться в ноги отцу и матери! Отпускайте скорее с благословением! — кричит народ.

— Умру, не отдам мою Парашеньку! — кричит жена.

Взбеленился от нетерпения Змей Горыныч, как хлеснет языком поперек реки, так и рассыпал Днепр словно стекло в мелкия дребезги.

— Давай скорей! — крикнули посаженые отцы, вырвали ее из рук матери, поставили на кончик языка; сваха не успела расплести косы — потянулся язык назад; а она безгрешная была: как задумала, что расстается навеки с отцом, с матерью и с отческим домом; как капнут ее горючия слезы словно кипяток на язык Змея Горыныча, обварили, обожгли; он и рявкнул, замотал языком; а моя дочка как ахнет, да так, как стояла, держа обеими руками платочек, так со страху и окаменела. Змей Горыныч хамкнул было, да зуб не берет; как рявкнет он снова, да плюнет, и переплюнул он ее на другой берег; грохнулась она перед народом. Бросился народ: «Что такое?» И я бросился, смотрю, ан это не Парашенька, а Пашенька; упал на нее, да и облил слезами: «Родная ты моя, милая дочка, холоднее ты камня могильного!.. погубила тебя родная мать, а не мачеха! Пусть же она смотрит на тебя да век казнится!» И схватил я ее, понес домой, поставил ее перед крыльцом, чтоб мать век смотрела на нее да казнилась.

Змею Горынычу вместо Пашеньки поставили другую девицу; он и скушал ее со вкусом. Много было грешных красных девушек, а много и безгрешных. Грешные все пошли в утробу чертову, а безгрешные от страха окаменели; а отцы да матери разнесли назад по домам, и поставили как каменных болванов на юрах перед хатами.

Так, года три прошло ладно; отцы и матери попривыкли к горю; народ выставлял подать сполна; да вдруг настал неурожай на красных девушек, нéчем платить подати. Пришли-было жалиться к Змею Горынычу, а он и знать ничего не хочет: «Поем вас всех до одного»,— говорит. Что делать народу: думали-думали, и пошли воровать себе жен, а в дань Змею Горынычу красных девушек. Забыли хлеб пахать, только и думаем, как бы оброк уплатить; нет веселого лица в целом царстве. На-

родился сын — горе, народится дочь — другое; да уж все лучше: по крайней мере есть чем дань давать; а недоимков накопилось много.

— Помилуй нас, Змей Горыныч, сложи недоимки.

— А вот я вам сложу! — сказал Змей Горыныч,— ступайте по домам!

Пошли по домам,— а тут же Змей Горыныч наслал экзекуцию — змеят сосунков. Расползлись по всему царству. Чем накормить их? куда спать уложить? Молочка не хлебают, на пуховой перине жестко спать — пустишь на ночлег под сердце, да дай крови пососать. Что ж делать? пришло терпеть! Так иссосали народ, что боже упаси!

Вот ехал мимо какой-то витязь в светлой броне, на белом коне. «Что вы пригорюнились?» — спрашивает. «Да вот, вашей милости, так и так!» — «А от чего бы это так?» — «Да прогневили господа бога».— «Не прогневили вы его, а сами от него отреклись; он оставил вас; а на свете жить, кому-нибудь служить: не белому дню, так черной ночи. Сами выбирали — служите черту».— «Ох, кабы кто нас помиловал!» — «Кому вас миловать, когда сами себя невзлюбили и не милуете сами себя».— «Каемся!» — «Кто кается, тот спасается,— сказал витязь.— Ступайте, зовите Змея Горыныча, пусть выходит на чистое поле, на суд божий со мною».

— Как можно! дай бог вашей милости за доброе сердце радостно день встречать, в мире души провожать! Как можно! он нас съест!

— В ком боязнь, в том нечистая сила, говорят; изгоните из себя духа тьмы молитвой; молитва союз с богом, союз с светом и с жизнью союз, никто не разорвет его, покуда сам человек не разрознит тела своего с духом.

— Пойдем, братцы! благослови господи!

Пришли к берегу Днепра. Был полдень. Змей Горыныч в норе своей уложил голову на лапы, свесил язык на сторону, пыхтит, как пес утомленный. Стал народ на берегу, снял шапки, земно поклонился.

— Государь ты наш, Змей Горыныч, удостой, государь, выслушать наше челобитье. Приехал какой-то храбрый витязь во светлой броне на белом коне, лик заря, а очи небо лазоревое.

Змей Горыныч как хамкнет, повело его дугой. Испугался народ, припал на землю.

— Приехал... да и грозится извести... заступись, многомилостивый Змей Горыныч... выйди!.. вон он на поле...

А Змей Горыныч ни слова; крутился-крутился, примолк и выглядывает украдкой из норы.

— Пожалуй, выйди, Змей Горыныч, на чистое поле!

— Что ж, братцы, он и слышать не хочет! — сказал Ратко.

— Змей Горыныч! храбрый и младый витязь в светлой броне, на белом коне вызывает тебя на бой!

— Что ж, братцы, замолк, слышать не хочет! — сказал Живко.

— Змей Горыныч! тебе говорим!.. Зовет на поле на суд божий!

— Молчит!

— Что ж, братцы, ведь мы не шутим, а зовем его; а он и слышать не хочет! — сказал Огнян.

— Дочерей наших поел, а ответа дать не хочет!

— Лихой пес поджал хвост!

— Тс! что ты это, Немир!

— Что Немир,— а вот что!

И высунул Немир язык, дразнит Змея Горыныча:

— Ты, гадюка! заел у меня две дочки!.. а последнюю... нет, брат... видел?

Разгорячился Немир, схватил камень, да как пустит через Днепр, щелк прямо в бровь Змею Горынычу; ну, будет беда! дрогнули мы, да бежать.

— Стой, братцы! снес дурака, снесет и кулака! вот я ему, да не в бровь, а прямо в глаз! — крикнул Ратко.

Да как свистнет камнем через Днепр и вышиб глаз Змею Горынычу. Рявкнул Змей Горыныч, и ни с места, завернул голову под перепончатое крыло.

Тут все мы поотдохнули да по камню. Посыпались в него камни:

— Эй ты, полосатая чушка!.. струсил!

Молчит, ни гугу.

— Что, ваше благородие, господин витязь, не вызовем на поле Змея Горыныча! как прикажете?

— Выводите нечистую силу из гнезда на чистую воду как знаете, а мое дело выжить его с белого света,— дал ответ витязь в светлой броне, на белом коне.

— Так пойдемте, братцы,— сказал народ.

— Постойте, братцы,— сказал Славой,— его просто не выживешь: надо его выкурить, пойдем за священным чином.

А священный чин разошелся от грешного народа по пустыням и жил келейно. Умолил народ отшельников идти с ними, выкуривать Змея Горыныча. Вот и пошли

все чином, кто с дубиной, а кто с кадилом, пришли на Днепр, наметали плоты, переправились. Как послышал Змей Горыныч ладан, как рявкнет, поднялся на дыбы, распахнул крылья, разинул пасть, расправил когти и потянулся на воду, на народ. Как пахнут на него ладаном, так и взмело Змея Горыныча с места, скакнул он на чистое поле, хотел лететь, а витязь расскакался, смял его под коня и пригвоздил копьем к земле. Заревел Змей Горыныч, взмутил воздух, взмел песок вихрем, поднялась страшная гроза, завились вокруг черной тучи огненные змеи, перекатился гром с конца в конец. Народ в страхе бежит домой, запирается по домам, припали все лицом к земле, молимся богу, думаем, настало светопреставленье. Вдруг гром рассыпался и все стихло, словно душа отошла. Лежим — словно умерли, никто не дохнет, сердце не колыхнется... Господи боже, чудится или нет: вот, словно певень крикнул?.. Чу, зачирикал воробей... чу, жаворонок вспел песню... Сердце что-то радостно колотит... Глядь, а на дворе ясный день, солнце играет на небе, благовейный ветер шелестит по листьям,— так весело на душе; кажись бы, нет никакой еще радости, а сердце не нарадуется. Сошелся народ, все здравствуются, обнимаются друг с другом. «Что, батюшка, как вы?» — «Слава богу».— «Слава богу лучше всего». И побежали все на Днепр.

— Да что ж это такое с нами было? где Змей Горыныч? где храбрый витязь? ужели все это был сон?

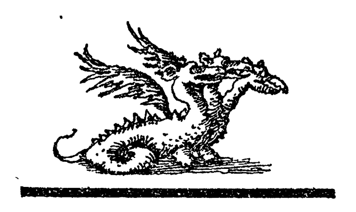
— А дай бог, чтоб и сон был в науку,— сказал один старец-отшельник,— у божьего стада сама совесть пастырь; изведете совесть, погубите душу; а душа-то, братцы, наш дружок сердечный; расставаться с другом, расставаться с жизнью!

Вот что; и вы изгубили было своего друга-хранителя да шатались мертвецами по белому свету; холодом и могилой несло от вас. Ни ложь, ни ночь не приодели вас, благоуханья не умастили, вино не согрело. Высоко поднимались на хитрость, да низко падали. Только у души, братцы, неподдельные, ангельские крылья, она лишь летает по вольной воле и не роняет кровного друга с вершины к подножью. Много было у вас красных девиц, родных дочерей, да много ли впрок пошло — доброму молодцу в жену, а малому детищу в мать? Всех поел Змей Горыныч, да только вам косточки на похороны повыплевал. Безгрешные только спаслись,— обратились в камень — берегите в память!

Народ слушал старца, да и сотворил слезную молитву. И стали мы жить мирно, радушно, шесть дней на себя, а седьмой господу богу. Колено шло за коленом. Все каменныя девицы... вот и дочка моя... сначала были как живые, только что румянец не играл на щеках; а и оне избавились от смерти, да не избавились от старости, сморщились, почернели, а худеть не худеют. Стоят и теперь по полям на горах, где жили отцы. Глупый народ зовет их теперь *бабами;* да какие же оне бабы, сроду оне бабами не были, оне неповинные красные девицы. Глупый народ теперь мостит мосты ими, да кругом двора вместо тыну их ставит. А я не даю своей дочки. Нет, ни за что не отдам! Изловлю золотую рыбку, так она мне ее живой сотворит. Вот что!.. Тс! молчи, молчи! вот идет к уде! не замай! ах ты окаянная! сдернула червячка!.. Ступай, брат, посадской, прочь отсюда! Сделай божескую милость, ступай! не мешай мне изловить ее!

— Ну, ну, ну! — проговорил Емельян Герасимович, отходя от старика.

Конец второй части



ЧАСТЬ III

Глава первая

Продолжение предыдущей главы

— Ну, ну, ну! — проговорил Емельян Герасимович, отходя от старика и рассуждая сам с собой о черте, который ест девушек. В доме хватились его, беспокоились, куда девался французский генерал; но, к счастью, он скоро отыскался. После чаю хозяйка предложила Емельяну Герасимовичу идти в сад, повела его показывать свой цветник и парники, предлагала ему свежий огурчик с грядки, красное яблочко с дерева... Емельян Герасимович отказывался, но при всяком случае целовал ручку у хозяйки: так привык он благодарить за все Наталью Дмитриевну.

Возвратясь в комнаты, Кирило Яковлевич, в уверенности, что французский генерал должен непременно уметь играть в карты, взял две колоды и спросил:

— Ваше превосходительство, умеете играть?

Емельян Герасимович кивнул головой и взял карты из рук Кирила Яковлевича.

— Эй, стол ломберный! — крикнул Кирило Яковлевич.

— Слава богу, по крайней мере в карты играет: все-таки развлечение... Покорно просим! Садись, Каллипига Ликарионовна!

Емельяна Герасимовича усадили на диван; Кирило Яковлевич сел справа, откашлянулся и понюхал табаку. Каллипига Ликарионовна села слева и приказала дочери распорядиться о закуске.

— Во что же?

— В бостончик? по грошику?

Емельян Герасимович помотал головой в знак отрицания и начал тасовать обе колоды вместе.

— Это что ж такое?

— О-го! гм! — я, дескать, вам покажу,— отвечал Емельян Герасимович по-своему.

— Не понимаю; верно, какая-нибудь французская игра?

Махнув рукой в знак отрицания, Емельян Герасимович начал раскладывать пасьянс *двенадцать спящих дев,* курныкая про себя: «Чем тебя я огорчила».

Кирило Яковлевич и супруга его, воздыхая, долго смотрели, как французский генерал с глубоким вниманием раскладывал карты; от скуки стали прислушиваться, что он курныкает, и наконец заспорили, курныкает он «чем тебя я огорчила» или какую-нибудь французскую песню?

— У вас все французское! — пролепетал по-своему Емельян Герасимович,— ну, что тут французского; о, хо, хо, хо-хо, хо-хо-хо! Слышите?

— Он, кажется, сердится на нас, что мы не смотрим. Я тебе говорю, что это французский напев.

— Слава тебе господи, уж я не знаю!

— Ну, смотрите, я начну сначала.

Эта история продолжалась целый вечер.

— Что, понимаете? — спрашивал Емельян Герасимович.

— Что он говорит? — спрашивал Кирило Яковлевич у жены.

— А я почему знаю? — отвечала Каллипига Ликарионовна.

— Да это черт знает что такое! — сказал наконец Кирило Яковлевич.

— Нет, не черт знает что такое,— отвечал по-своему Емельян Герасимович.

— Не понимаю,— сказала Каллипига Ликарионовна.

— Ну, так смотрите, я еще раз разложу,— сказал Емельян Герасимович.

— Не понимаю, ни слова не понимаю,— сказал наконец Кирило Яковлевич, вставая с досадой с места,— ни одного слова не понимаю, что он говорит: такая странная речь!

— Да что ж ему и говорить-то с нами, когда он знает, что мы ни слова не говорим по-французски.

— Вижу, что и вам хочется говорить по-французски,— рассуждал Емельян Герасимович,— да поживите сперва с французами, вот как я, так язык будет говорить, вот как мой; а понимать по-французски, и я не понимаю, вот как вы.

— Каллироя, не понимаешь ли ты?

— Нет, папинька.

— Досадно! Я думал, что все-таки можно будет понять хоть сколько-нибудь друг друга; а выходит на поверку, что слова не разберешь: ы да ы, да бл-бл-бл!

— Именно так,— сказал Емельян Герасимович,— уж такой французской язык, не разговоришься; лучше пойти спать!

— К чему ты его взял к себе? — спросила Каллипига Ликарионовна, когда Емельян Герасимович вышел.

— Вот вопрос! Надо же ему где-нибудь жить, покуда кончится кампания. Сверх того, с генералом, хоть и с французским, все-таки приятнее иметь сообщество, чем с каким-нибудь заседателем; притом же я думал, что Каллироя будет иметь случай поучиться по-французски.

— Нашел ей учителя! Немка жила целых восемь лет, а она ни слова по-немецки не знает.

— Маминька, я не люблю немецкого языка, а французский люблю! — сказала торопливо Каллироя,— я буду разговаривать с генералом.

— Еще как-то позволят, сударыня; да будет ли он еще заниматься тобой, моя милая,— сказала, приосанясь, Каллипига Ликарионовна.

Каллироя покраснела и пожелала матери спокойной ночи.

Емельян Герасимович провел почти всю ночь в грезах: в комнате было жарко, душно, и ему все снилось, что Каллироя лежит у него на груди. Это и приятно ему и беспокойно; потому что нельзя свободно вздохнуть.

Емельян Герасимович не привык рассуждать о своей участи. Где он, как он, что он? — Эти вопросы не занимали его. Все его существо как будто искони обдумало, что, где бы ни был человек, повсюду у него будет переменная погода на душе; как бы ни проводил он время,— везде оно мерно проходит, под солнцем и под луной; чем бы он ни был, все для него будет мало того, что он есть. Емельян Герасимович как будто вполне был уверен, что только совершенная, младенческая беззаботность о себе есть лучшее право на заботы других. Все изменчивости жизни казались ему очень естественными, все люди — фигурами, вылитыми в одну форму; все места — одной и той же поверхностью земного шара. Попав неожиданным образом во французы, он терпеливо сносил эту участь, как будто почитая это необходимой

метаморфозой для человека, которому с малолетства ставили в образец французов. Воображая, что его везут в чистилище, и проснувшись рано, он ждал, когда скажут, что пора ехать; но, к удивлению его, прошло несколько дней. Кирило Яковлевич и супруга его не знали, чем занять гостя, а гость также не знал, чем заняться, кроме Каллирои; но когда он сядет подле Каллирои, маминька сгонит его с места, сядет сама и начнет сожалеть, что он не понимает по-русски.

Однажды Емельян Герасимович, раным-ранешенько, ни о чем не думая, не гадая, долго разглядывал окружающие его предметы, потом преследовал взорами муху, потом смотрел, куда тянется узор на обоях, потом сел подле окна в сад и провожал глазами облако, сторожил восходящее солнце, наконец ноги вздумали нести его в сад и посадили под липкой у пруда. Здесь он снова начал смотреть: на берегу беседка, и на воде беседка вверх дном; по воздуху летит птица, и в воде летит птица вверх ногами. Это очень занимательно.

Вдруг слышит он, чей-то тоненький голосок напевает заунывную песенку.

— Это она! — пролепетал Емельян Герасимович про себя и спрятался за куст.

В самом деле, это была Каллироя. По привычке вставать рано и прогуливаться с Албертиной Розамундовной Каллироя также раным-ранешенько пошла в сад. Грустнее вчерашнего было у ней на сердце. Три ночи сряду продумала Каллироя, каким образом очутилась она в объятиях французского генерала? любит ли он ее? Верно, не любит: в продолжение целого вечера он не взглянул на нее нежно. В этих грустных мыслях шла она, распевая: «Мой милый друг, мой нежный друг!.. мой... ангел мой!..» и так далее, и потом опять сначала. Потом села на дерновую скамью под липку, склонила голову на ручку, пригорюнилась; а слезки как капель падают. Жалко стало Емельяну Герасимовичу. Слезы чудо что такое: благотворный дождичек во время засухи; горе иссушило бы, сожгло, а печаль и зальет горе слезками.

— О чем вы плачете? — спросил Емельян Герасимович, подходя к Каллирое.

Каллироя вздрогнула, хотела встать и уйти; но Емельян Герасимович удержал ее за руку.

— О чем же вы плачете? скажите мне?

— Ах, я вас не понимаю! — сказала Каллироя.

— Что ж об этом плакать? — сказал Емельян Герасимович.

— Какое несчастье, что меня не учили по-французски! — сказала Каллироя.

— Это для чего? — спросил Емельян Герасимович.

— Не понимаю, что вы говорите мне!.. Ах, пустите! кажется кто-то идет!

И с этим словом Каллироя побежала в глубину сада, чтоб скрыть взволнованные свои чувства.

— О чем это она плачет? — думал Емельян Герасимович.

В продолжение целого дня он подходил к ней с сердечным участием и допрашивал, о чем она плачет.

Это сердечное участие Каллипига Ликарионовна поняла по-своему.

— Скажите, пожалоста! — думала она, присматривая за дочерью,— он ей что-то говорит, а она краснеет; верно, понимает его. О, да ты, моя милая, в самом деле, я вижу, скоро научишься по-французски! Да я-то этого не хочу! слишком нежны, сударыня, французские разговоры!

— Мне хочется научиться по-французски, маминька,— тихо произнесла Каллироя.

— Вижу, вижу! ты чай и не понимаешь, что он тебе говорит?

— Нет, не понимаю, маминька.

— Так я тебя научу, как понимать: когда он подойдет с своими учтивостями, прошу в сторону от этих учтивостей! понимаешь?.. Ба! да мне и не в догад: скажи, пожалоста, как разрядилась! как на бал! а не угодно ли надеть свое старенькое ситцевое платье!

— Как же можно, маминька, при гостях.

— Пошла! — вскричала сердито мать. И бедная Каллироя, залившись слезами, отправилась в свою комнату, переоделась. Но ей стыдно было показаться в изношенном платье, и она сидела в своей комнате, пригорюнясь, у окна. Мать была этим довольна; а Кирило Яковлевич хватился дочери; но ему доложили, что у ней голова болит.

— Это от жару,— сказал он; — я сам чувствую точно как угар в голове.

Емельян Герасимович целый следующий день проскучал, не видя Каллирои. Целый день проходил он по саду и по берегу Днепра.

— Это скучно наконец! — сказала и Каллипига Ликарионовна мужу,— что за несносного такого постояльца ты вывез из города! какой-то немой!

— Верно, тоскует по родине, душа моя! Сама согласись, каково жить на чужой стороне.

— Да долго ли же он будет жить здесь?

— Я думал, до конца войны; но теперь сам, кажется, раздумываю держать его у себя. Действительно, скучная материя! отвезу в город!

— По мне пусть его живет, не объест; но вот что: заметил ты, как он подъезжал к Коленьке? он совсем ее собьет с толку, после с ней и не сладишь.

— Да это бы ничего; я сначала думал, что это бы и не мешало: выдать Коленьку за генерала, хоть и французского, все-таки что-нибудь да значит; да теперь, кажется, раздумываю; потому что с французом век не сговоришь; а у него еще какое-то странное наречие, совсем в нос.

— Хорош зять! — сказала Каллипига Ликарионовна,— с первого дня никакого уважения! Правду говорила Албертина Розамундовна, что он груб и неотесан, должен быть революционный генерал, произошел из солдат. Избави бог, чтоб за выходца отдала я свою дочь! Ведь уже решено принять предложение Самея Гордиановича; кажется, ей и не нужно мужа лучше его.

— Конечно; все-таки с человеком и поговоришь, и повистуешь; любезный человек, уездный предводитель... да Коле не нравится.

— Ну, батюшка, на девку не угодишь!

— И то правда.

— Я полагаю, что этим делом медлить не должно. Девушка до тех пор и послушна, покуда не набила себе чего-нибудь в голову.

Этот разговор, очень естественно, был ввечеру подслушан и передан Каллирое на сон грядущий. Бедная не могла заснуть, ранехонько встала и села плакать подле окна; потом вышла поплакать в сад. Закрыла лицо платком и идет по дорожке мимо липки; а Емельян Герасимович уж тут.

— Опять плачете! — сказал он, вскочив с дерновой скамьи и взяв Каллирою за руку.

— Ах, я погибла! спасите меня! — проговорила Каллироя, остановясь.— О, боже мой! вы не понимаете, что я говорю!.. Ах, если б вы знали! Папинька и маминька хотят отдать меня замуж за черта Самея Гордионовича!

— Яхаллия ель бали кад бильбальта биль баль-бали бали! — вскричал удивленный Емельян Герасимович,— за черта? за Змея Горыныча? ах он собака!

— Ах, если б вы могли понять меня! — продолжала Каллироя,— вы бы спасли меня!.. я умру!

— Спасти вас от него? спасу! непременно спасу! — вскричал Емельян Герасимович.

Вдали послышался чей-то голос, Каллироя бросилась стремглав от Емельяна Герасимовича.

— Спасу! — повторял он, прибежав в свою комнату и снимая со стены древний меч, про который Кирило Яковлевич говорил, что это богатырский меч кладенец, вырытый из кургана, что этим мечом можно снести голову черту. Вооруженный мечом, Емельян Герасимович отправился чрез сад на берег реки, против самой пещеры Змея Горыныча. Старика уже не было, а к каменной бабе, как к столбу, была привязана лодка.

— Ну, где ты? протягивай язык через реку! Э, погоди, вот лодка!

И Емельян Герасимович отвязал лодку, влез в нее, ищет весел.

— Эй, постой, постой, голубчик! перевези меня! — закричал кто-то, прибежав к берегу, весь в пыли и поту, с чемоданчиком за плечами.

— Кто, постой? — лепетал Емельян Герасимович.

— Да постой же! — И с этим словом прохожий прыг в лодку, взглянул на перевощика и всплеснул руками.— Господи! Барин! Емельян Герасимович!

— Паф! — вскричал Емельян Герасимович.

— Батюшка!

— Паф! — повторил Емельян Герасимович и, кинув меч, бросился в объятия верного своего дядьки. Лодка заколебалась.

— Тише, тише, барин, опрокинется!

— Паф! — повторял Емельян Герасимович, лобзая Пафнутьича.

— Господи! да нас унесет! — вскричал Пафнутьич, вырываясь из объятий обрадованного барина своего.— Ах, постойте, постойте! пропадем! ни весла, ни лопаты! Господи! Сядьте, сядьте, барин, сидите смирно; а я буду грести горстью к берегу.

Пафнутьич принялся грести горстью; но с течением трудно было справиться; лодка летела стрелой.

— Батюшки, помогите! — кричал Пафнутьич; а на берегу ни души.

— Биль, биль бали бали! — вскричал Емельян Герасимович, ища меч, который давно уже был на дне реки.

— Где я был? Ох, да не время, сударь, рассказывать! ведь мы пропали!

— Биль баль бали бали! — повторил Емельян Герасимович.

— Вам шутки! дразнитесь, дразнитесь! А вот как в море унесет, там и прощай!

Пафнутьич еще сильнее принялся грести горстью, чтоб причалить к берегу; да напрасно.

— Барин, барин, гребите и вы с этой стороны!

Емельян Герасимович также принялся грести. Выбились из сил оба, а на дворе уже стало смеркаться, совершенно смерклось, на ясном небе затеплились звезды.

— Погибли! — повторял Пафнутьич.

Но волны прибили лодку к берегу подле какого-то города. Пафнутьич перекрестился и помог барину своему стать твердою ногою на сухую землю. Емельян Герасимович прозяб, выбился из сил и уже дремал, позабыв и о Каллирое, и о Змее Горыныче. Добыть ночлег за деньги не трудно; а у Пафнутьича барских денег было много. Утомленный Емельян Герасимович немедленно же лег спать; а на утро чудо совершилось: вдруг развязался язык Емельяна Герасимовича. Только что он проснулся, как крикнет:

— Эй!

— Ну, проспали вы! — сказал Пафнутьич.

— Пафнутьич! — сказал Емельян Герасимович, протирая глаза.

— Что, сударь?

— Черт знает, сон это был или не сон?

— Ох, барин, барин, у вас все сон! А я нагоревался об вас. Где это вы были, батюшка? — отвечал Пафнутьич, целуя руки у барина.

— Так ты говоришь, что это все не сон?

— Да какой же сон, сударь! где ж это вы изволили быть?

— Где? на том свете; французом был, братец, воевал; повезли меня в чистилище, приехали к Кирилу Яковлевичу, дочь его хотят выдать замуж за Змея Горыныча, я хотел спасти ее...

— Господи боже мой! да это уж истинно сон вы рассказываете!

— Сон?

— Да как же, сударь, не сон? что ж это такое?

— Так сон? да это пречудный сон! Я тебе расскажу.

— Да кушайте, сударь, чай; да уж поедемте скорей: Наталья Дмитриевна, чай, ждет не дождется. Я и подводу уж нанял.

Емельян Герасимович, напившись чаю, засел на повозку с Пафнутьичем и — поехали в Москву.

— Куда ж это вы, сударь, пропали из театра? Каким образом вы очутились на Днепре-то?

— Из театра? Да я и сам не знаю; как заснул, вдруг вижу, приходит ко мне кто-то и потащил к себе, нарядил меня и привел черт знает куда. Вдруг слышу, ты кричишь; гляжу, черти тащат тебя; я за тобой — тьма ужасная! Я бежал-бежал да вдруг и провалился сквозь землю, очутился на том свете.

— Бог вас знает, сударь, это сон.

— Так нéчего и рассказывать, нéчего и спрашивать, где я во сне был: мало ли что чудится. Жаль только, что я во сне видел Каллирою: как она бедная плакала, что ее выдают замуж за Змея Горыныча!

— Ох, господи! — проговорил, крестясь, Пафнутьич,— хоть бы привезти вас в добром здоровье домой! Право, и мне уж кажется, не во сне ли мне мерещилось, что вы пропадали.

— Разумеется, во сне.

— Ох, нет, тут какое-то дьявольское наваждение было; тут что-нибудь да подыграли комедианты, чертовы дети!

Таким образом Емельян Герасимович сбил и Пафнутьича с толку: наяву барин пропадал или нечистая сила носила его по мытарствам? Комедианты, колдуньи, Днепр — что-нибудь да не даром! тут должны быть штучки лешего и русалок.

— Как вы ее, сударь, назвали, девушку-то?

— Каллироя.

— Ну так, это русалка, ей-ей русалка! — говорил Пафнутьич.

Глава вторая

Новая разлука с Пафнутьичем

Вот, наконец, Емельян Герасимович с Пафнутьичем подъезжают к Москве. Извощик, подгоняя коня, распевает песню, Емельян Герасимович дремлет, а Пафнутьич взглянул на Москву, положил крест на себя и прослезился.

— Матушка ты моя, сударыня ты моя, родная моя белокаменная! сгубила тебя нехристь поганая!.. спалила твои золотые маковки!.. Емельян Герасимович, взгляните-ко, сударь, на Москву!

— Зачем? — спросил Емельян Герасимович.

— Как зачем, сударь? взгляните ради самого господа бога!

— Ну, гляжу,— сказал Емельян Герасимович, приподнявшись.

— Видите?

— Вижу.

— Что, сударь?

— Да о чем же ты плачешь, Пафнутьич?

— Как о чем? Вот она, смотрите на нее, какова? Такова ли была до французов? а? Отцы-то наши живали в ней, да ею же и славились... Бывало, только и свету, что в Москве; а теперь наше гнездо где?.. Говорил я давно: не быть добру! вороной каркать — ворон накликать; так и сбылось: как заговорили по-французскому,— вот вам и французы!.. Обгорелые стены да трубы!.. Вот там был дом графа Разумовского, там Паниных, да Шуваловых, да Шереметевых, да и мало ли... Господи, все это пожжено!..

— Так что ж такое что пожжено? — сказал Емельян Герасимович; — новые выстроят.

— Новые? Нет, сударь, старая птица на пепелище гнезда снова не вьет,— будет новое, да на новый лад! Старое приволье уж похоронено, остается только деревянный крест на могилке поставить!..

— А что, Пафнутьич, ты чай правду говоришь: вот и нашу деревню сожгли французы, да мы как раз построили новые избы,— сказал извощик.

— А что, где лучше было житье, в новых или старых? — спросил Пафнутьич.

— Были у нас курные, а теперь построили трубы; да как-то все голову ломит в них, а подчас дымком подышать хочется; все как-то неприводьно; старики так тоскуют, что и — господи! по их, вишь, красна изба не углами, а пирогами.

— А по-вашему-то как? — спросил Пафнутьич.

— По-нашему?.. По-нашему, изба сама по себе; вот уж я с полгода дома не был; а пироги трактирные лучше.

— Э, эх, голова, голова,— сказал Пафнутьич, отирая слезы; — где ж, барин, остановимся мы? чай и наш дом сгорел?

— Прикажете везти, барин, на постоялый двор? — спросил извощик.

— Прикажете! все прикажете! ступай да и кончено! — крикнул Емельян Герасимович.

— Нет, барин, хоть проедем мимо пепелища своего,— сказал Пафнутьич.

Едва они выбрались на Лубянку.— «Господи ты мой милостивый! — вскричал Пафнутьич,— ведь наш дом-то оправлен! Пошел, скорее! пошел!»

— Ну! тише будешь, дале едешь! — сказал Емельян Герасимович.

Но Пафнутьич не утерпел, вскочил с телеги и пустился бежать вдоль по Лубянке. Подбежав к воротам дома Платона Андреевича, он махнул извощику, крикнул: «Сюда!», а сам в вороты, на крыльцо, в переднюю.

— Ни души нет! Доложить-то не́кому... Да я сам пойду обрадовать барыню, что приехал Емельян Герасимович.

И с этим словом Пафнутьич входит в залу, крадется на цыпочках к гостиной, приостановился у дверей, взглянул, видит по̀лы женского платья, кашлянул...

— Кто тут? — спросила пожилая дама, сидевшая на диване.

— Дозволено ли будет, матушка сударыня, войти?

— Кто такой? поди сюда!

— Я, сударыня матушка, Наталья Дмитриевна! — крикнул Пафнутьич и бросился в гостиную, прямо к ногам сидевшей дамы.

Она вскрикнула от испуга.

— Матушка, Емельян Герасимович приехал! — прогозорил Пафнутьич, схватил руку дамы, чтоб поцеловать.

— Эй, люди! — крикнула дама, зазвенев в колокольчик.

Пафнутьич, взглянув на нее, оторопел и онемел. Перед ним была вместо Натальи Дмитриевны Прасковья Дмитриевна; в дверях из залы явился малый, а в дверях из спальни стояла горничная с вопросом: «Чего изволите?»

— Что это за человек? как смели пустить его ко мне без докладу! — крикнула Прасковья Дмитриевна к малому.

— Не могу знать, сударыня,— отвечал он.

— Простите, матушка, Прасковья Дмитриевна... мне

и не в догад,— проговорил Пафнутьич,— я думал, барыня моя Наталья Дмитриевна...

— А ты ее человек?

— Крепостной, сударыня.

— То есть теперь мой; покойная сестра всех вас распустила! а где ты, мой любезный, таскался? по отпускной ходил? давно бы пора явиться к своим господам!.. Я не люблю, мой любезный, отпускать шататься!.. Ступай на кухню, покуда позовут!..

Пафнутьич стоял как оглушенный громом.

— Как, матушка,— начал он,— Наталья Дмитриевна...

И не мог продолжать: слезы хлынули градом, и он зарыдал.

— Пошел же вон, говорю! — вскричала Прасковья Дмитриевна,— отпускных у меня нет! видишь, привыкли шататься на воле!..

Не докончила Прасковья Дмитриевна слов своих, как послышался из передней шум.

— Ах ты дурак! да как ты смеешь!

— Да-с, не извольте ходить без докладу!

— Малой! что там такое? — крикнула Прасковья Дмитриевна.

— Какой-то, сударыня, лезет сюда насильно.

— Матушка, Прасковья Дмитриевна, это, верно, мой барин.

— Да я тебе голову разобью!

— Не извольте драться-с,— раздалось опять из передней.

— Твой барин? какой твой барин? — спросила Прасковья Дмитриевна.

— Емельян Герасимович, молодой барин... сын, то есть воспитанник, как вам известно чай, Натальи Дмитриевны.

— Знаю, знаю! балбес-то этот?.. Ах мои батюшки, не ко мне ли он лезет? вон его!..

— Так и прет, сударыня, в халате, да в грязных сапогах, в залу,— сказал малой, отправляясь исполнять приказание барыни.

— Вон, вон его! А ты, любезный, ступай на кухню, покуда получишь приказание!

— Да как же, матушка, Прасковья Дмитриевна, ведь сестрица ваша приказала мне...

— А я тебе приказываю идти на кухню, добром, слышишь?

— Позвольте хоть проводить барина моего до квартиры, матушка!

Пафнутьич повалился в ноги, обливаясь слезами.

— Прочь, говорю! Малой! ей, малой!

— Никого нет, сударыня,— проговорила, запыхавшись, горничная, вбежав в комнату,— такая драка на дворе, что и боже упаси! Петрушка и Василий хотели проводить со двора какого-то приезжего, а он их бить; а Иван да Осип заступаться за него, говорят, что это их молодой барин, наследник Натальи Дмитриевны.

— Господи! — вскричал Пафнутьич, вскочив с полу,— они еще его убьют! — И бросился бежать вон.

— Барин! наследник! я им дам наследник! — раздавался грозный голос Прасковьи Дмитриевны вслед за ним.

Пафнутьич выбежал на двор и застал ужасную картину. Бывшие люди Натальи Дмитриевны, Иван и Осип, загородя собою Емельяна Герасимовича и засучив рукава, выходили на целую дворню Прасковьи Дмитриевны.

— Валяй их, валяй! — повторял грозно Емельян Герасимович.

— Пафнутий Иванович! — крикнули они, увидя дядьку Емельяна Герасимовича, и, забыв все, бросились его обнимать.— Откуда ты?.. Что, брат, приволье-то наше кончилось!

Пафнутьич не мог ни слова отвечать и залился снова слезами.

— Батюшка барин! матушки нашей Натальи Дмитриевны нет уже на свете! Круглой ты сиротой остался на свете!

Между тем был отдан новый господский приказ; несколько дюжих молодцев налетели на Ивана, на Осипа и на Пафнутьича, скрутили им руки и потащили на конюшню.

— Что, брат Пафнутьич, вот тебе и прием; видишь, как нас теперь чествуют? — говорили Иван и Осип.

— Прощай, батюшка мой барин! отняли меня у тебя! круглой ты сиротой остался на свете! — кричал Пафнутьич Емельяну Герасимовичу, которого также успели уже выпроводить за ворота.

Когда он, очутившись за воротами, оглянулся, ворота уже были задвинуты запором.

— Куда ж, барин, ехать? — спросил его извощик.

Емельян Герасимович ничего не понял из всей этой драмы; но он в таком был ожесточении, что ни слова

не мог выговорить; сел сперва в телегу, а потом завалился по-дорожному.

Извощик повторил свой вопрос.

— Подождем! придет Пафнутьич,— отвечал он,— не ехать же без него.

— Да что, барин, произошло такое у вас? аль на постой вас не пускают? — спросил извощик.

— Не пускают,— отвечал Емельян Герасимович.

— Что ж, места что ли нет?

— Вот, пустышь какая, места нет! просто знать не хотят! — отвечал Емельян Герасимович.

— Вот, по-господскому-то не то, что у нас,— заметил извощик.

— Да где ж Пафнутьич-то?

— Ты видишь, что его заперли. Да не постучать ли? кликнуть бы; ведь уж ночь на дворе, барин; а лошади-то не кормлены. Ехали бы вы покуда на постоялый двор, чем ждать; вот и дождик покрапывает.

— Постучи-ко в вороты! — сказал Емельян Герасимович.

Извощик стучал-стучал в вороты, но напрасно; ничей голос не отзывался. А между тем дождь и крупнее и сильнее.

Емельяна Герасимовича и сон клонил и дождь мочил. Решился он наконец ехать на постоялый двор.

Глава третья

О том, как сирого Емельяна Герасимовича не оставляет судьба

— Эй, хозяин! — крикнул извощик, подъехав к постоялому двору,— отведи барину хороший покой, да слышь хороший; барин добрый.

По этой рекомендации Емельяну Герасимовичу и отвели приютный покойчик. Емельян Герасимович потребовал, по предложению хозяина, галенку [1] чаю и стал пить на здоровье. Перекатный жемчуг выступил, унизал все чело и нос его и по зернышку таял, струился по румяным ланитам.

Напившись чаю, Емельян Герасимович повалился сонный на кровать. Но только что начнет забываться,

[1] Галёнка — порция.

а грубый лакей и заступит ему дорогу: «Позвольте-с, не извольте ходить!» Он выйдет из себя и перевернется на другой бок. И с того боку грубиян лакей не пускает. Таким образом толпа лакеев мучила Емельяна Герасимовича до самого рассвета.

На другой день поутру извощик пришел просить отпустить его.

— А ступай себе с богом! — сказал ему Емельян Герасимович.

— А денежки-то, барин?

— Какие?

— Как какие? за провоз.

— Пафнутьич тебя нанимал, у него и деньги.

— Где ж мне искать его? мне пора, сударь, ехать.

— А мне-то что ж делать?

— Так уж я пойду на двор к нему.

— Ступай да скажи ему: что ж он пропал?

Покуда Емельян Герасимович позавтракал, извощик успел воротиться и донес, что Пафнутьича барыня сослала в деревню.

— В деревню? это зачем? — спросил Емельян Герасимович.

— А бог его знает,— отвечал извощик,— дворник сказал мне: чем свет отправили, на подводах, что дрова привозили на барский двор; да еще трех отправили, видишь, за буйство, в колодках, чтоб не бежали... Что ж, барин, пожалуйте заплатите.

— Деньги у Пафнутьича; заплатит, как воротится.

— Где уж воротиться, барин; не ждать мне его.

— Как не ждать? надо ждать; ты видишь, что и я жду его.

— Что ж толку, сударь, ждать: век прождешь.

— Что ж такое — век так век.

— То ваша воля, сударь; а мне пожалуйте деньги; день-то мне пять рублев стоит.

— Ах ты мужичина! — вскричал Емельян Герасимович,— день пять рублей стоит! Скажи пожалоста! у благородного человека день нипочем, пьфу! как пришел, так и ушел; а у него пять рублей.

— Вестимо так: по-господскому ничего, а по-нашему тройку коней накорми, да сам пообедай, да что-нибудь заработать надо. Уж, как изволите, по пяти рубликов на день за простой; вам в угоду я буду ждать, пожалуй, и прислужу, что прикажете.

— Хорошо,— сказал Емельян Герасимович,— раскладывай же чемодан, я хочу одеваться.

Извощик принялся выбирать из чемоданчика. Но в чемоданчике нет ничего, кроме черного белья, да в черном же белье укутан изрядной величины мешочек.

— Это что?

— Да, кажись, деньги.

— Точно деньги,— сказал Емельян Герасимович, развязав мешок, и вынул целую горсть червонцев.

Уложив белье снова в чемодан, извощик не просил уже расплаты за провоз, а только поклонился и просил *пожаловать что-нибудь, покуда.*

— Сколько тебе?

— Да покуда хоть два червончика, а остальные при расчете.

— Вот тебе два.

— Как вез-то я вашу милость: не жалел коней!.. стоило бы, барин, дать на водочку,— за ваше здоровье надо выпить, ей-богу!

— Вот тебе и на водку,— сказал Емельян Герасимович, подавая червонец извощику, который, не веря ни глазам своим, ни великой щедрости, стал рассматривать, не фальшивый ли.

— Что, небось мало?

— Благодарим покорно и за то, вашей милости... уж кстати бы расплатились и за провоз.

— А что тебе за провоз?

— Рядились за пятьдесят; да ось на дороге сломалась; за нее, если милость будет, что-нибудь пожалуйте; да вот простоял даром сутки — уж так бы еще пять червончиков пожаловали, и счет бы кончен.

— Сколько тут?

— Первой, другой, три... шесть, вашей милости... один только лишний...

— А сколько еще надобно лишних?

— Как можно, вашей милости, лишнее не приходится брать, греха на душу не возьмем; мы и тем будем довольны, что сами пожалуете.

— Ну, так вот тебе, больше не дам,— сказал Емельян Герасимович, бросив еще два червонца.

— Век милости вашей не забуду, всем скажу: вот барина привел бог везти, так уж барин! не обидел!.. Дай же боже вам много лет здравствовать!

Только что вышел извощик, подле дверей раздался чей-то трубный глас: «Кто здесь стоит? а?» И с этим

словом ввалил необъятный барин, в синем сертуке на калмыцком сером меху.

— А где твой пан? — спросил он у Емельяна Герасимовича, который укладывал разбросанное белье в чемодан.

— А кто ж его знает! — отвечал Емельян Герасимович, посмотрев на необъятного барина и продолжая укладывать белье.— А ты что, хозяин здешний?

— Хо, хо, хо! хозяин, да не здешний, а сельский хозяин.

— Тебе зачем его?

— Хо, хо, хо! да хоть бы с твоего позволения хотелось иметь честь познакомиться с ним.

— Пожалуй, знакомься, кто тебе мешает, он у меня славный малый! только, брат, извини, он не гуляка; с вашей братьей, с красной рожей, в кабак не ходит.

— Ах, ты, животное! — вскричал необъятный барин,— да знаешь ли ты, с кем говоришь?

— Знаю: с холопом; да мой холоп плохой тебе камарад, любезный; он в рот ничего не берет.

— Тут есть какое-нибудь недоразумение,— сказал, смутясь, толстый барин, выслушав слова Емельяна Герасимовича; — извините, я дворянин и помещик Иван Иванович Тузлов... желал познакомиться с соседом своим... может быть, ошибся...

— Дворянин и помещик? познакомиться с соседом! Ну, здесь соседа нет; а, впрочем, если дворянин и помещик, так очень рад, прошу садиться.

— Куда изволите ехать? — спросил Иван Иванович Тузлов, садясь и с любопытством рассматривая Емельяна Герасимовича, который бесцеремонно прилег на постель.

— Куда ж мне ехать? Дело другое на службе: едешь туда, куда велят; а тут кто мне велит ехать.

— Стало быть, вы вышли в отставку и теперь едете домой?

— Не еду, а приехал.

— Ваш дом, верно, сгорел?

— Дом не мой, а мамашин.

— Стало быть, ваши родители живы?

— Какие родители?

— Как какие? батюшка, матушка.

— Батюшка? Да! смей бывало назвать батюшкой Платона Андреевича, а он за ухо: «Вот тебе батюшка, вот тебе папинька, вот тебе тятенька, вот тебе отец!

чушка тебя родила, а я поросенку отец!» Истеребит ухо до крови, да и велит молчать; доктор приедет и велит мне пить и есть бодягу и всякую дрянь.

Тузлов не вытерпел, захохотал.

— А, позвольте спросить, кто ж такой был Платон Андреевич?

— Он был муж Натальи Дмитриевны, моей маминьки.

— А, так вы сын ее от первого мужа?

— У ней никогда первого мужа и не было,— отвечал Емельян Герасимович,— у ней был только второй, Платон Андреевич, такой же толстый, как вы.

Иван Иванович не утерпел — опять захохотал и совсем было умер со смеху, слушая похождения Емельяна Герасимовича, из которых понял он только то, что наш герой круглая, бесприютная сирота. Иван Иванович любил хохотать, и Емельян Герасимович так понравился ему и так показался потешен, что он не расстался бы с ним.

— Где ж вы будете теперь жить?

— Там же, где все люди живут,— отвечал Емельян Герасимович.

— Между небом и землей? плохое житье!

— Что ж за беда; Платон Андреевич говорил всегда, что хорошо тому только жить, у кого батюшка жид, а бабушка ворожит.

— Ха, ха, ха! Знаете ли что, поедемте погостить ко мне.

— Пожалуй,— отвечал Емельян Герасимович,— я поеду, если вам это очень хочется.

— Так послезавтра же поутру мы отправимся ко мне в деревню; а покуда прощайте, мне надо ехать к портному заказать пару платья.

— Постойте же, постойте... как бишь вас зовут?

— Иван Иванович.

— В самом деле? так я с вами еду и к портному; мне также надо заказать штатское платье.

— Деньги-то есть у вас?

— Деньги? столько, что ни куры, ни петухи не клюют,— отвечал Емельян Герасимович, вынул из чемодана кошель с червонцами.

— Ого-го! откуда это у вас столько денег?

— Наталья Дмитриевна прислала.

— Едемте.

Иван Иванович с Емельяном Герасимовичем сели в дрожки и отправились на Тверскую к Гаммеру. Покуда Иван Иванович примеривал сшитое платье, Емельян Герасимович заказал, по наставлению портного, богатую венгерку, новомодный фрак, пеструю жилетку, английский сертук, шинель и рейтузы с пуговицами по шву, внизу пошире, с прорезами и с цепями. Иван Иванович поехал к сапожнику заказать себе сапоги, и Емельян Герасимович купил себе сапоги на высоких каблуках, со скрипом, передки цельные, все в складках.

Иван Иванович купил себе картуз, а Емельян Герасимович круглую шляпу.

Возвратясь домой, Иван Иванович снова поехал по делам; а Емельян Герасимович от нéчего делать, по обыкновению, соснул, потом пообедал, потом опять уснул, потом напился чаю и снова уснул и не просыпался уже до утра. Следующий день проведен был точно так же. На третий день принесли заказное платье. Емельян Герасимович нарядился в рейтузы с пуговицами на боку, с разрезами внизу и с цепями вместо *подножек,* надел венгерку — и — его узнать нельзя. Красуясь перед зеркалом, он припомнил наставления Натальи Дмитриевны о бонтоне и стал припоминать все манеры одного московского щеголя, которого часто видел в доме.

— Надо завиться. Пантелей, позови парикмахера! — сказал он камердинеру Ивана Ивановича.

— Если угодно, я завью, я сам не хуже парикмахера завиваю,— отвечал Пантелей и, согрев щипцы, в несколько минут привел голову Емельяна Герасимовича в самое лучшее состояние, в каком только состоят все головы, образованные парикмахерами.

— Ну, вот тебе за работу,— сказал Емельян Герасимович, не узнав себя в зеркало и подавая червонец камердинеру.

Пораженный такою щедростию, камердинер поцеловал у него ручку.

— А вы, сударь, не изволите носить очков? — спросил Пантелей, собирая порошинки с платья Емельяна Герасимовича.

— А что?

— Да есть у меня прекраснейшие очки, настоящие золотые, сударь; поручили мне продать, да все нéкогда.

— Так продай мне; в самом деле, мне очки нужны. Как же, без очков неприлично.

Пантелей немедленно же принес очки; и еще раз поцеловал руку, когда Емельян Герасимович вместо требуемых за них двадцати пяти рублей дал четыре червонца.

Иван Иванович, возвратясь из гостиного двора, где нужно было сделать еще кое-какие покупки, не узнал Емельяна Герасимовича и только что не спросил: с кем имею честь говорить?

Коляска была уже запряжена. И вот Иван Иванович с Емельяном Герасимовичем, позавтракав, пустились в путь.

Глава четвертая

О том, как Емельян Герасимович превратился в мильонщика, вторично был причиною счастия двух любящих сердец, поразил громовым ударом некую злобную Полину и уехал к Эразму Львовичу

Поместье Ивана Ивановича было верстах в пятидесяти от Москвы.

Дорогой Емельян Герасимович не мог не спать; а Иван Иванович придумывал, как ему представить гостя своей семье, которая состояла из жены Пелагеи Васильевны, дочери Катеньки и падчерицы Полины.

Когда коляска Ивана Ивановича подъехала к дому, только одна Катенька выбежала к отцу навстречу и поцеловала руку. Полина называла это подлостью и лестью; а так как она была деспот в доме, то никто, не исключая и Пелагеи Васильевны, не осмеливался ничего делать вопреки ее мнений, под опасением, что она разгневается и истериками своими приведет всех в отчаяние или, в известной степени припадка, назовет всех без исключения — не помню — тварями или творениями. А если кто осмелится заступиться за себя и сказать: «Как вы смеете это делать! как вы смеете браниться!», то припадок доходит до того, что одержимая им *девушка* посягает на жизнь свою, бросается к открытому окну, и Пелагея Васильевна первая падает пред ней на колена и молит пощадить себя.

Но всех больше доставалось от Полины и за Полину Катеньке. Полина была для всех, для родных, для знакомых, для мужчин и для женщин существом недоступным, недотрогой; как хорошенькую змейку, ее невозможно было поласкать; а Катенька была нежна и любила ласки, как козочка, газель.

— А у тебя все глаза красны, Катя, точно как заплаканы,— сказал Иван Иванович, целуя дочь.

— Немного болят опять, папинька.

— Какие у тебя слабые глаза!

Емельян Герасимович, одетый по-модному и подражая своему идеалу, важно поклонился Катеньке.

Иван Иванович любил иногда от доброго сердца подшутить над простодушием жены; иногда любил и подурачить ее, особенно после какой-нибудь порядочной ссоры; шутками вымещал он вымозженные слезами и криком причуды. А теперь он был зол на нее и именно вот за что: одному прекрасному молодому человеку, соседу по именью, отставному ротмистру гвардии, понравилась Катенька, и он ей понравился. Хоть Сергея Алексеевича Осенецкого и преследовала взорами Полина и Пелагея Васильевна адресовала его всегда не иначе, как к Полине, но он нашел случай адресоваться с требованиями сердца к Катеньке, а потом с требованиями руки Катеньки к отцу ее. Иван Иванович сказал: «Очень рад, но позвольте переговорить мне с женой. Обедайте завтра у нас». Осенецкий с нетерпением ждал завтрашнего дня, с трепетом сердца ждал двух часов пополудни. А между тем Иван Иванович объяснил дело своей супруге. «Надо подумать»,— сказала она и — сперва проговорилась, а потом рассказала о предложении Осенецкого Полине.

— Я удивляюсь,— сказала Полина, вспыхнув,— для чего батюшка ваш говорил об этом?

— Как для чего? как будто без моего согласия может он выдать дочь за кого хочет.

— Разумеется, может. Когда дело кончено, тогда вам объявили.

— Как кончено?

— Очень натурально, и мимо вас; вам остается для порядка только сказать, что и вы согласны.

— А вот то-то ты и ошиблась! я нисколько не согласна! Уж это одно, что он осмелился мимо меня делать предложение отцу. Никогда, никогда, во веки веков этого не будет!

— Отчего же? Он прекрасный человек и очень должен быть привязан к нашему семейству; потому что не успела *одна* показать ему, чтоб он *не беспокоился,* он немедленно же присватался к другой.

— В самом деле? да, да, я сама замечала, что он за тобой ухаживает и вдруг — смотри, пожалуй! Сегодня отец звал его обедать.

— Видите ли, маминька: звал обедать! Не давши верного слова, можно ли это делать? Нет, я бы на вашем месте просто не велела принимать!.. Я знаю, как батюшка поступит: он, верно, назвал сегодня к обеду гостей и при всех объявит его женихом Кати; тогда ваше согласие и несогласие — ничто!

— Какая хитрость, скажи, пожалуйста! Да я перехитрю!

И в самом деле, Пелагея Васильевна очень хитро поступила. Только что Осенецкий явился с трепещущим сердцем у подъезда, а ему преотвратительным басом в ухо: «Дома нет-с!»

— Ты, братец, лжешь!

— Никак нет-с! А нам что лгать-то-с? Что приказано сказать, то и говорим.

— А! если так! — проговорил было, вспыхнув, пораженный Осенецкий; но рана била близко к сердцу; дрожащим голосом он прибавил: — Ступай домой!

Стол давно накрыт, обычный час обеда давно прошел; Иван Иванович посматривает на часы.

— Что ж это наш гость не едет?.. странно!.. четыре часа!.. верно, не будет!.. подавайте обедать!.. Эй, малой! когда приедет Сергей Алексеевич, просить его,— сказал Иван Иванович, садясь за стол.

— Да они изволили приезжать,— бухнул было малой; а Пелагея Васильевна как выпучит на него глаза, он и прикусил язык.

— Как? когда приезжал? — спросил Иван Иванович.

— Что ты лжешь! — сказала Полина,— это приезжал Ряполов, и маминька выслала сказать ему, что нет дома.

— И очень хорошо сделала,— заметил Иван Иванович,— он мне надоел.

— Извините, сестрица! — сказала, вспыхнув, Катенька,— Ряполов никогда не приезжал!

— Вам бы, сударыня, только спор завести! — крикнула мать.

— Кто ж приезжал? — грянул Иван Иванович на всех слуг, стоящих вокруг стола.

Все молчат, уставив на Ивана Ивановича немые, безответные, неморгающие, стеклянные глаза, вставленные в болванов топорной работы.

— Тебя спрашивают, собака?

— Не могу знать-с!

— И ты не можешь знать? и ты не можешь знать?

Все молчат.

— Тебе, Пелагея Васильевна, кто сказал, что приезжал Ряполов?

— Скажи, пожалоста! вот вопрос! жену на очную ставку с лакеями! — отвечала гневно Пелагея Васильевна.

Слово за слово, и — Иван Иванович поссорился с женой, пересек всю дворню. Проходит день, другой, вокруг него какое-то царство молчания; Пелагея Васильевна с ним ни слова, Полина только поутру подойдет, холодно поцелует в щеку. Катенька боится приласкаться, а все прочие боятся *нарушить семейную тишину*. Проходит еще день, Иван Иванович готов разразиться грозой; но делает умнее, уезжает с досады в Москву. Встреча с Емельяном Герасимовичем утешила его; для рассеяния деревенской скуки решился он взять его к себе на житье и, возвратясь в деревню, в отмщение жене, хотел, по крайней мере, подурачить ее, представя гостя не тем, что он в самом деле есть.

— С кем приехал отец? — спросила Пелагея Васильевна Полину, которая читала роман, сидя у окна в гостиной.

— Емельян Герасимович, честь имею представить вам мое семейство,— сказал очень сурьезно и с особенным вниманием к гостю Иван Иванович.

Пелагея Васильевна встала с дивана, Полина присела, а Емельян Герасимович, перегнувшись вперед и опустив руки как отвесы, смотрел на всех неробким взглядом очков, шаркал и раскланивался с ловкостью самого лучшего молодого светского человека, когда он входит в гостиную и обращает на себя общее внимание.

— Пелагея Васильевна,— сказал Иван Иванович,— я имел удовольствие познакомиться с Емельяном Герасимовичем в Москве; — и потом прибавил тихо: — они хотят купить подмосковную... мильонщик!

— Покорнейше просим садиться,— сказала Пелагея Васильевна.

— К вашим услугам! — сказал Емельян Герасимович, садясь без церемоний на диван, и, вспомнив об очках, он вынул очки из кармана, надел и стал смотреть свысока.

Всем, я думаю, известна тайна очков. Очки необыкновенно, как говорится, поднимают человека, облагораживают наружность, придают важности и, что всего

важнее: в глазах выражается ум блеском; а блеск стекол можно всегда принять за проблеск ума.

— Вы московский житель?

— К моему удовольствию,— отвечал Емельян Герасимович, рассматривая Полину и не обращая внимания на вопрос.

— О, как вы любите Москву; у вас там есть семейство, супруга, дети?

— Нет, еще нет; ни того, ни другого.

Близорукая Полина, заметив достоинство и внимание к себе гостя, вышла и чрез несколько минут явилась снова; но как будто в новом, живописном издании, revue, corrigée, augmentée et illustrée[1], так что Емельян Герасимович не узнал ее, когда она вошла, шумя шелковым платьем. Он встал и расшаркался; а она шаг назад, головку на сторону, дирекция[2] на гостя, присела и потом села.

Иван Иванович думал, что шутка его скоро развяжется; но ошибся: Емельян Герасимович так искусно подражал своему идеалу, а Пелагея Васильевна так была уверена, что это un homme comme il faut[3], что Иван Иванович смотрел, смотрел, встал, вышел в другую комнату, захохотал в горсть, плюнул и сказал: «Чудная метаморфоза! право, он надул меня!.. или уж так легко быть светским бонтонным человеком!..»

Между тем Пелагея Васильевна так и переливается от предмета к предмету, то о погоде, то о приятностях сельской жизни, то о приятностях городской. Полина тоже вмешалась в разговор; перебивают одна другую. Емельян Герасимович слушает обеих.

— Так вы не в Москве были в зиму перед французом? да что я спрашиваю: я, верно бы, вас видела в собрании или где-нибудь на балу; мы всякую зиму живем в Москве, да и нельзя — дети.

— Вы знакомы с Ветлинскими? — спросила Полина.

— С Ветлинскими? — спросил Емельян Герасимович.

— Они живут на валу.

— На валу? как на валу?

— Не на валу, Поленька; это место не валом называется.

---

[1] проверенном, уточненном, прибавленном и иллюстрированном (*фр.*).

[2] направление (от *лат.* dirigere — направлять).

[3] приличный или порядочный человек; дословно — «как следует» (*фр.*).

— Ах, нет, на валу!.. Так вы знаете и Вареньку? не правда ли, очень образованная девушка, только жаль...

— Вареньку? знаю, очень знаю, как мне не знать ее,— отвечал Емельян Герасимович,— я за ней волочился.

— Ха, ха, ха, ха! ах, какой вы забавник! Не опасное волокитство!

— Одна ножка покороче другой, один глазок в сторону, ротик крошечку покривился.

— И, полноте, я этого не заметил,— сказал Емельян Герасимович.

— Какая ты насмешница, Полина,— сказала мать.

— Чем же я смеюсь; зато эти маленькие недостатки выкупаются большим достоинством: слон уродлив, но зато как умен! не правда ли?

— Слон? это дело другое, слона я не заметил,— сказал Емельян Герасимович, припомнив басню Крылова о слоне.

— Ха, ха, ха, ха! ах, как вы злы!

— Емельян Герасимович, не угодно ли посмотреть мой конский завод, пойдемте-ко, пойдемте!

— К вашим услугам, Иван Иванович, пойдемте.

— Ах, какой вы несносный, с своим заводом! — сказала Пелагея Васильевна мужу.— Какой приятный, любезный человек! — продолжала она.— По всему видно, что лучшего круга и без всякой гордости... Мильонщик; хочет купить нашу деревню.

— Долго он у нас останется? — спросила Полина.

— Вероятно, несколько дней; потому что нельзя же скоро все осмотреть.

Во все это время Катерина грустно сидела в своей комнате; но к обеду для постороннего человека также принарядилась. Иван Иванович с Емельяном Герасимовичем возвратились с конского завода; стол был готов; сели обедать.

— Ну, Емельян Герасимович, какой вы знаток в лошадях! — сказал Иван Иванович.

Емельян Герасимович в самом деле удивил его. Платон Андреевич также был охотник до лошадей и всякий день посещал свою конюшню, с гостями, охотниками и заводчиками, а в случае *неимения* таковых рассуждал с своими кучерами о достоинствах своих лошадей. Емельян Герасимович наслушался коннозаводских изречений, и особенно один заводчик, со всеми своими приемами и восклицаниями, врезался у него в памяти.

Во время обеда Пелагея Васильевна и Полина овладели гостем. Ивану Ивановичу негде было и слова приставить. Катенька также молчала; но она из любопытства всматривалась в гостя, и, когда он уставлял на нее свои очки и смотрел прямо, как на картину, она стыдливо склоняла взоры и краснела. Полина заметила это, говорливость ее исчезла, и она не сводила глаз с сестры. После обеда она подошла к ней и стала осматривать ее с ног до головы.

— Что вы так смотрите на меня, сестрица? — спросила Катенька.

— Так, мне это приятно, вы очень милы сегодня! — отвечала с усмешкой Полина.

— Ах, да что вы это, сестрица!

— Ничего, смотрю; ты очень интересна...

Катенька перешла на другое место.

Полина, преспокойно, следом за ней, снова остановилась, продолжает осматривать ее с усмешкой.

Катенька вскочила, ушла в свою комнату.

Выжив соперницу, Полина вышла на террасу, где Пелагея Васильевна показывала Емельяну Герасимовичу цветы свои; а Иван Иванович, от нечего делать, обрезывал ножичком сухие ветки. Занявшись этим делом, он забыл о госте, устал, присел на зеленую скамью и задремал. А между тем Емельяном Герасимовичем овладела Полина и предложила показать ему сад. Пелагея Васильевна уступила поле дочери; и вскоре Полина с гостем ходили уже одни под ручку, потому что Емельян Герасимович не упустил и этой учтивости. Полина старалась занимать его разговором; не умолкая, рассказывала, как приятно они проводят время в деревне; а Емельян Герасимович, между тем, припоминал, что говорил его идеал в подобном случае, прогуливаясь с петербургскими племянницами Натальи Дмитриевны. Первою необходимостью был хлыстик, и Емельян Герасимович сломил ветку и стал помахивать им *с грацией,* подражая бульварной и салонической молодежи.

— Ах, мзель, какая поэзия! какая прелесть! — произнес он вдруг, не слушая, что говорит Полина,— наслаждение! любовь! чувство! не правда ли?

Полина смутилась, умолкла.

— Что ж вы ничего не говорите, мзель?

— Что сказать мне... на эти слова? — произнесла Полина с чувством и голосом, который, казалось, просил совета, что́ сказать.

— Скажите что-нибудь приятное.

Полина молчала, но, казалось, хотела, чтоб ее без слов поняли. Взоры ее то поднимутся, то опустятся, головка колеблется как мысли; вся она в каком-то расслаблении, как старушка, которая требует, чтоб попечительная рука поддержала ее. И в эту-то роковую минуту вдруг из сходящейся углом аллеи — Катенька. С горя она бродила по саду и, задумавшись, очутилась рядом с Емельяном Герасимовичем и Полиной.

— Какая очаровательная прогулка! — сказал Емельян Герасимович.

— Да-с,— отвечала она сухо.

— Какое время!

— Да-с.

— Куда ж вы? — вскричал Емельян Герасимович,— нам без вас скучно.

Полина вспыхнула.

— Извините,— сказала она,— кажется, меня зовут, сестра займет вас!

Резко отдернула она руку и, удаляясь, сделала несколько шагов, припрыгивая и напевая, как веселое и беспечное дитя; но потом скоро, исступленно, как гонимая из рая. Бледная и едва переводя дыхание, вошла она в комнату матери, хлопнула дверью, губы ее дрожали, взор сух, выражение лица судорожно.

— Что с тобой, Полина? — вскричала с испугом мать, заботливо бросясь к ней.

— Оставьте меня!

— Что это значит, Полина?

— Ничего!

— Как ничего? не может быть ничего!

— Совершенно ничего! Я только прошу вас отдать меня в монастырь!

— Что это ты, Полина! Скажи же, друг мой, кто тебя обидел или огорчил? отец?

— Хм! как будто отец может обижать детей!

— Да кто же? Катенька? кажется она такая овца.

— О, смиренница! — язвительно произнесла Полина.

— Что ж она могла сделать тебе, мой друг?

— Кто ж вам говорит; кажется я жалоб не приносила... и что ж она может мне сделать? она овца — не кусается.

— Может быть, она сказала тебе какую-нибудь дерзость?

— Дерзость! я бы посмотрела!.. Да что об этом говорить; я одного прошу у вас, отдайте меня в монастырь.

— Полинька, дружочек мой, скажи мне, что она сделала, я накажу ее...

— О, поможет наказание отучить от подлых привычек!

— Что ж тебе мешают ее подлые привычки?

— То, что я не хочу из-за нее сидеть век в девках!

— Что ты несешь, Полина, ты с ума сошла!

— Низкая кокетка! только явись порядочный человек в дом, тотчас разрядится, начнет перед ним вздыхать и бросать нежные взоры! Это невыносимо!

Тут Полина расчувствовалась и продолжала, обливаясь слезами:

— Вот уж второй раз!.. человек думает искать моей руки... вдруг является с нежностями, с сентиментальностью!.. это хоть кого взорвет! Я удаляюсь, уступаю ей торжествовать... Я не умею подличать перед мужчинами!.. Один раз я в состоянии была перенести, но теперь... Это уж слишком! Она будет иметь состояние от отца, а я что имею?.. Всякий счастливый случай, который мне представится, она расстроит!

— Почему ж ты вдруг полагаешь, милая, что человек только что приехал и уже имеет намерение жениться?

— Я знаю почему... И вы думаете, что батюшка без намерения привез его сюда? Поверьте, что Катерина Ивановна не даром разрядилась? Небось он теперь забыл сердце, что вы отказали этой дряни Осенецкому; он еще, я думаю, рад теперь, потому что у Осенецкого всего-то двести душ, а этот мильонщик.

— Постой же! я сейчас это выпытаю! — сказала Пелагея Васильевна,— я скажу, что я согласна на союз Катеньки с Осенецким.

— О, попробуйте, попробуйте! вы увидите, что я говорю правду!

Пелагея Васильевна не любила медлить и обдумывать свои действия. Что в голову пришло, то и свято, особенно же, когда дело касалось до возлюбленной дщери Полины, то оно не в пример другим и не в очередь следовало к немедленному исполнению. Как захочет Полина, так тому и быть; иначе от дочери беда маминьке, а от маминьки всем и каждому в доме. Попробуй маминька сказать: «Пустяки, сударыня! этого не будет!» Чувствительная дочь сокрушит нежное материнское

сердце вдребезги: тотчас же сделается дурно, потом еще дурнее и, наконец, совсем скверно, спазмы страшные, в голове жар, в ногах холод, в руках ни то ни се, и мать в отчаянии кричит: «Полина, душенька, что с тобой!» — ничто не помогает. Полина при смерти. Покуда Пелагея Васильевна не станет на колени и не изломает себе всех рук с отчаяния, до тех пор нет спасения. Но, наконец, материнскими мольбами жертва извлечена из челюстей смерти; вот вздохнула. «Полинька!» — «Оставьте меня, вы меня не любите!» — «Помилуй!» — «Я умру, я хочу умереть!» — «Да чего ж ты желаешь? чего ты хочешь? неужели я для тебя не сделаю. Ну, поедем, поедем, одевайся, а Катю не возьму с собой!» Полинька не соглашается, мать начинает умолять, и наконец кончится тем, что желание дочери обращается в требование матери, и дочь, только исполняя ее родительскую волю, не противится ей. По-русски такая маминька называется *детской рабой*.

Иван Иванович, вздремнув на террасе, хотел перебраться в свой кабинет, чтоб прилечь основательнее,— вдруг слышит нежный голос своей супруги.

— Друг мой!

— Что, Палаша?

— Мы с тобой поссорились... Я виновата перед тобой!

— В чем?

— Насчет сватовства Осенецкого за Катенькой. Я рассердилась, что он мимо меня объявил тебе свое желание, но я одумалась и совесть мучит меня; может быть, я лишила Катеньку ее счастья.

— То-то и беда, что ты поздно одумываешься.

— Это можно как-нибудь исправить.

— Нет, моя милая! отрезав голову, туловища на ноги не поставишь.

— Полно пожалоста! ты, верно, сам отдумал!

— Что мне отдумывать! и мне и Катеньке Осенецкий нравится. Человек, какого лучше не скоро найдешь, чего ж мне еще?

— Чего? стало быть отдумал, когда не хочешь принять никакой меры!

— Какие принимать меры, когда человеку сказали: вот образ, а вот двери.

— Поезжай к нему, скажи, что люди по ошибке отказали ему.

— Нет, милая, он не дурак, да и я в дураки не хочу попасть!

— Так ты не хочешь?.. Так-то ты заботишься о счастии детей! прекрасный отец!.. После этого мне одно остается...

Пелагея Васильевна с гневом вышла из комнаты; а Иван Иванович, походив по комнате в раздумье, крикнул, чтоб заложили коляску. Не успела Пелагея Васильевна сознаться Полине, что ее догадка справедлива, Иван Иванович ехал уже к молодому соседу своему. Через полчаса он уже был у него. Подле крыльца стояла дорожная коляска.

— Кто это едет?

— Барин.

— Куда?

— В Питер.

— Эге! — сказал Иван Иванович, пробираясь в кабинет. Осенецкий был уже в дорожном платье и, взглянув с удивлением на Ивана Ивановича, сухо поклонился:

— Что доставляет мне удовольствие вас видеть?

— А вот что,— сказал Иван Иванович,— во-первых, наши добрые отношения друг к другу; а, во-вторых, я сам привез вам ответ на ваше предложение.

— Как прикажете мне принимать его после...

— Позвольте!.. Вот краткая история всего: вы сделали мне предложение, я вас звал на другой день обедать, потому что был уверен, что ваше предложение отказа не встретит. В тот же вечер объявил я жене и встретил с ее стороны ожидаемое согласие. На другой день мы ждем вас обедать, вас нет...

— Я думаю, на это была причина.

— А причина вот какая. Я не хотел, чтоб кто-нибудь из посторонних был при этом случае, и приказал никого не принимать, разумеется, кроме вас... Что ж будешь делать с холопами! переврали приказ. До четырех часов ждали вас; сажусь за стол и говорю: «Что это значит, что не приехал Сергей Алексеевич?» А Филька: «Они изволили быть-с».— «Как! кто встречал, что сказали?» Ни одна собака не знает. Как вы думаете, ведь не нашел виноватого; точно как черт сыграл штуку.

Осенецкий задумался. В нем водились маленькие предрассудки: не судьба ли предостерегает его?

— Что задумались; не о том ли, что с неделю почти прошло, и я не уведомил вас? да не мог, ей-богу, не мог. После обеда хотел ехать сам к вам, лошади были уже запряжены, да вместо вас попал в Москву — по одному необходимому случаю. Да вот и пробыл там вместо не-

скольких часов, как полагал, пять дней. Итак, взаимное наше согласие я вам сам привез... а впрочем...

Иван Иванович встал с места.

Осенецкий испугался этого движения, забыл, что судьба предостерегала его, и бросился в объятия будущего своего тестя.

— Ну, теперь ко мне.

— Иван Иванович, вот какое обстоятельство: к 15-му числу мне должно быть в Петербурге; и, если я не потороплюсь туда, то могу потерять дело.

— Что ж мешает ехать туда женатым?

— О, если б только это было возможно!

— Помилуй, Сергей Алексеевич, да хоть сегодня женись. Приданое дочерям у меня давно заготовлено.

— Итак, поездка моя в Петербург отложена на четыре дня, и я еду туда вместе с Катенькой?

— Ну, едем же сперва ко мне, вместе со мной.

За несколько минут Осенецкий сделал новые распоряжения, сел в коляску с Иваном Ивановичем и — к невесте.

Чрез полчаса Иван Иванович сложил его руку с рукой Катеньки. Пелагея Васильевна отрекомендовала ему миллионера Емельяна Герасимовича; он завел с ним разговор, подумал было: «Что-то глуп!» Но так как мильонами всегда обладают оригиналы, то вместо: «Что-то глуп», он подумал: «Что-то странен, верно, любит мистифировать незнакомых ему еще людей».

Сладостное обращение Пелагеи Васильевны с Емельяном Герасимовичем и сладостные взоры Полины заставили Осенецкого подозревать, что этот гость также готовится в женихи. С этой мыслью, считая себя некоторым образом лишним на террасе, он удалился с Катенькой в гостиную и прошептал с ней целый вечер о блаженствах будущей жизни.

Только одному Ивану Ивановичу было скучно: ему невозможно было приютиться ни туда, ни сюда. В гостиной разговаривали о вещах давно известных ему; а на террасе — Пелагея Васильевна распространялась о вещах, тысячу раз слыханных и переслыханных. Хотел было он исправить ошибки жены своей по части хронологии, но неудачно. «Помилуй, друг мой, да это случилось не в твои, а в мои имянины: какой же гром бывает зимой?» — «Про какой гром говоришь ты?» — «Кто говорит про гром? помилуй, Иван Иванович!»

На другой день жених приехал ранехонько; утро началось тем же, чем кончили вечер; но Иван Иванович предостерегся.

— Ну, вы занимайте гостей,— сказал он,— а я съезжу на охоту.

— На охоту? О, и я поеду с вами, Иван Иванович,— сказал Емельян Герасимович.

Пелагея Васильевна хотела было удержать его; но ни за что.

— Батюшка всегда выдумает что-нибудь назло! — сказала Полина матери и, раздосадованная, ушла в свою комнату и не выходила до обеда.

Емельяну Герасимовичу подвели лихого охотничьего коня; как богатырь хлопнул он по седлу, попробовал, выдержит ли седока. Отправились на полеванье. Покуда охотники выживали зайцев из лесу, Иван Иванович рассказывал Емельяну Герасимовичу про свои подвиги, как он на скакунах своих перегонял зайцев, и только два раза в жизни с ним случилось несчастье: один раз сломал было себе шею, а другой раз разбил было вдребезги голову. Рассказы так разгорячили Емельяна Герасимовича, что он с нетерпением выжидал зайца, чтоб свистнуть вслед за ним и вытянуть его арапником. Наконец заяц шаркнул в поле; только что Емельян Герасимович *возрил* его, как гикнет — приударил коня каблуками и помчался сломя голову. Тщетно косой заяц мерял поле косой саженью, Емельян Герасимович догнал его; вот уж остается только перепоясать его арапником, а черт подставь ногу коню. Конь через голову, Емельян Герасимович через голову — и был же таков случай — пришиб ладонью зайца и только крякнул.

— Ушибся! — раздалось со всех сторон.

Налетели охотники, прискакал Иван Иванович.— Ну, думает, убился до смерти! — Смотрит — Емельян Герасимович держит зайца за уши да бранится.

— Экая свинья!

— Ах ты, чудо какое! зайца за уши изловил! — вскричали все охотники в один голос.

— Не ушиблись ли, Емельян Герасимович? — сказал Иван Иванович, соскочив с коня.

— Длинноухой осел! — сказал, поотдувшись немного, Емельян Герасимович,— бесхвостое животное! хотел уйти от меня! Как вы думаете, уйти хотел от меня! вы видели?

— Ну, Емельян Герасимович! такого охотника, такой горячности сроду не видывал, да и не слыхивал! Броситься на всем скаку с лошади!

— Да как же иначе,— сказал Емельян Герасимович, приподнимаясь с земли; — эге! смотрите, пожалоста, нога-то у меня не ходит!

— Верно, вы помяли ее!

— Я помял! с какой стати я помну собственную свою ногу!

— Вам шутки! — сказал Иван Иванович, нахохотавшись сам вдоволь и приказывая подать дрожки.

Подали дрожки. Поехали домой. Рассказов-рассказов о чуде, которое совершил Емельян Герасимович; а между тем он должен был прилечь в постелю; послали за костоправом. Полина в отчаянии.

Два дня пролежал Емельян Герасимович в постели, браня зайца то ослом, то скотом за то, что помял ему ногу; на третий стал прохаживаться по комнате с костылем. Это был день, назначенный для бракосочетания Осенецкого и Катеньки. Свадьба игралась в доме Ивана Ивановича, потому что в доме жениха все уложено было в дорогу, и молодые, после свадебного вечера, должны были отправиться в путь.

Когда раздалась в зале музыка, Емельян Герасимович не утерпел. Он кликнул камердинера, который ходил за ним, осыпаемый его щедростями.

— Что там такое?

— Бал, сударь, гостей наехало тьма!

— Так давай, братец, одеваться!

— А ножка-то?

— Ножка ничего, пойдет куда велят.

— Правда, с костыльком можно выйти,— отвечал камердинер и немедленно же обрил, завил, причесал Емельяна Герасимовича, нарядил во фрак; и вот он, опираясь на костыль, неожиданно явился в зале. Полина вспыхнула, Пелагея Васильевна стала всем рекомендовать его. Все гости знали уже и о его богатстве и о подвиге Емельяна Герасимовича — все смотрели на него как на чудо.

В числе гостей был помещик Потанин, высокий, худощавый старик, в напудренном и завитом парике с косой, с зонтиком на глазах, в сертуке, в плисовых сапогах и также с костыльком в руке. Он считался безродным холостяком. Единственная его племянница вышла, без его позволения, за бедного человека, и он не счи-

тал ее племянницей; а потому-то некоторые добрые люди, желая поступить на ваканцию родственников, изъявляли ему родственную любовь, льстили самолюбию и потакали капризам. Но более всех успела добрая душа, некая вдова Фекла Савишна Храброва. Радушно взялась она примирить дядю с племянницей. Для этого необходимо ей было приобрести доверенность и любовь старика. Фекла Савишна и не щадила усилий. Как только старик захворает, тот-то она и явится с участием и заботами. Подает лекарство, перевязывает ногу, вяжет чулок подле его розвальней-кресел и рассказывает ему россказни; а когда старику получше, то передает его на попечение своей Ульяши. Ульяша водит его по саду; он ласкает ее как попечительную дщерь свою; а она нежит его, как папиньку. Таким образом дело понемногу устроилось так удачно, что Храброва переехала наконец в дом к нему и приняла все в полное распоряжение. Племянница несколько раз порывалась приехать к дяде; но Фекла Савишна удерживала ее от этих порывов.

— Избави бог, не показывайтесь теперь на глаза, все дело испортите! так зол на вас, что, чего доброго, лишит наследства! Дайте срок, я все улажу в вашу пользу.

И точно все уладила.

Разболится старик и возьмет его грусть, что около него ходят чужие, нет родного сердца подле.

— Знает, что я болен, а не придет! Скажи, пожалоста, как будто я не имел права сердиться, что она вышла без моей воли замуж! Кажется, можно было бы сделать эту честь дяде; да еще и какому дяде! от которого зависит все состояние!

— Как же, смотрите, пожалуй, ждет, чтоб вы поехали сами к ней с извинением, а к мужу с визитом. Ведь он, видишь, капитан, так не хочет унижать себя, приехать к отставному корнету.

— А посмотрю я, как-то они будут капитанствовать без корнетской помощи.

— И, батюшка, знают они, что как умрете, все им достанется.

— Посмотрим, как-то достанется! Нет, Фекла Савишна, твои родные заботы обо мне я не забуду!

— Что вы это, бог с вами! что вы говорите?

— Да, откажу тебе и Ульяше!

— Нет-нет-нет! сохрани господи, такого греха принять на душу!

— Как хочешь; а уж это решено!

— Вы решайте, а я перерешу.

— Ха, ха, ха! это как!

— А так; вы откажете мне, а я передам все законной наследнице.

— Ну, пусть хоть так; по крайней мере, она тебе будет обязана всем; не хотела моего, пусть получит из жалости чужое благодеяние!

— И, полноте, Эразм Львович,— сказала сквозь слезы Фекла Савишна,— я, право уж, и не считаю себя чужой ни вам, ни ей.

Так и подобным образом Фекла Савишна обработала дельце во славу благодетельной души своей. Однажды, во время приступа болезни, потеряв надежду на жизнь, старик заготовил акт, по которому Фекла Савишна покупала все движимое и недвижимое его именье. Оставалось явить акт в присутственном месте; но к неожиданному горю Феклы Савишны, Эразм Львович снова поднялся на ноги.

В это-то время случилась свадьба Осенецкого, и Эразм Львович Потанин, как важное лицо в околотке, был зван в посаженые отцы. Но так как он составляет важное лицо и в будущей судьбе Емельяна Герасимовича, то мы прилагаем здесь его биографию. Он родился на свет суровым или, если угодно, серьезным, и даже не унизил себя первым младенческим криком; с самой той минуты, когда мать приняла его на руки, до возраста отроческого, он ни разу не улыбнулся, ни разу не заплакал. Удивления его уму раздавались со всех сторон. В семь уже лет курточка заменена была фраком, и отец его, вельможа, человек высокого этикета, называл уже сына: monsieur, и вместо мадам и гувернера, нянек и мамок назначил при нем штат из двух компаньонов, одного инспектора учения, нескольких профессоров и определил к нему особенную прислугу, особенные экипажи, словом, на особенную половину сына все особенное. На половину отца и матери он должен был уже являться сам и запросто только в определенный час утра, во время завтрака; во все остальное время он был у отца и матери не иначе как по приглашению, строго соблюдая этикет одежды и все формалитеты большого света и изысканного приличия, и в таком случае его сопровождали компаньоны, инспектор учения и один из профессоров.

Когда он подходил к отцу, отец встречал его всегда вопросом:

— Monsieur Erasme[1], как ваше здоровье? — И потом, обращаясь к штату: — messieurs, садитесь завтракать с нами.

Когда он подходил к руке матери, она нежно произносила:

— Monfils[2], как вы провели время вчера?

После этого инспектор учения произносил какую-нибудь сентенцию; а компаньон-француз начинал читать вслух новый листок какой-нибудь парижской газеты, дополняя чтение своими суждениями, что и составляло пищу высокопочтенного родителя Эразма Львовича для разговора в продолжение целого дня.

При этом воспитании, основанном на всех возможных вежливостях, где ум вставлен в золотые рамки, а чувства в бордюрах, Эразм Львович, вступя в юношеский возраст, смотрел уже министром иностранных дел, и следовательно, все, что не касалось до иностранных дел, считал для себя делом посторонним. С важной, холодной, неприступной осанкой он возмужал, и, если б не страшное слово *недоросль*, никогда бы он, полный правительственного ума и знания света, постигнувший дух всех авторитетов европейских, прочитавший все речи и débats[3], изучивший все государственные науки и понявший требования времени, никогда бы он не поставил себя в тягостные отношения службы исполнительной, службы рабочей. Он мог судить о государственных делах, решать их, распоряжаться, приказывать, но делать дело — не его было дело. Это было ниже его подошвы. Вступив в службу по деспотической необходимости, он стал на ту точку, с которой люди в самом деле кажутся презрительны, стараясь чем-нибудь прикрыть от света свое невежество, недостатки и лохмотья бедности, стараясь хоть подделаться под людей, от которых люди же требуют не чувств и совести, а модной образованности, европеизма, приличной одежды, приличного экипажа, приличного помещения и даже приличного угощения, и даже всего того, чего нельзя добыть во сто лет трудолюбивой честной жизни, за сто жалованьев, а можно добыть за одну низость, за одно беззаконие, за уступку души своей какому-нибудь богачу и — все явится. Оказывая презрение всем презренным, которые продавали

[1] Господин Эразм *(фр.)*.

[2] Мой сын *(фр.)*.

[3] спор, прения, дебаты *(фр.)*; так назывались письменные отчеты о прениях в парламенте.

души свои другим, Эразм Львович любил однако же тех, которые продавали свою душу лично ему. Когда дело касалось до его особы, то это было совсем другое дело: перед ним можно было рабствовать и без унижения падать в прах и ползать; собственно, для него можно было и ограбить нищего, и содрать кожу с бессильного; лично ему можно было льстить в глаза без всякого опасения и в полной уверенности на милость. Приобретя на службе звание, которое не считалось в свете презренным, Эразм Львович вышел в отставку, тем более, что благоприобретенное наследие отцов перешло в его руки. Надо было заняться преобразованием имения по европейским системам управления и хозяйственной экономии. Иностранные физики, механики и экономы с новыми теориями и *великими* проектами, окружили Эразма Львовича, и он отправился с ними просвещать души своя. Повесил голову мир сельский: «Ну, братцы, говорят, пришли последние времена!» По целому имению ломка и перестройка. То пруд не на месте — и давай засыпать пруд с родниками, рыть на другом месте, проводить в него воду из-за тридевять земель; то деревня глупо стоит, по косогору над речкой, и вези деревню с набережной на чистое поле; то фруктовый сад гадость, ничего в нем не растет, кроме яблоков, крыжовника, рябины, малины да смородины — долой его! Барин яблошных пирогов не кушает, рябиновки, малиновки и смородиновки также не кушает — сади на место сада английский парк, усыпай дорожки! «Приехали из чужа заботы, пошла работа!» Огородная теория применена к полевой практике. На словах красно, на бумаге ясно, а на деле тьма кромешная: то начато с конца, то посажено корнями вверх. Большая часть именья была уже заложена в Опекунском совете; но об этом Эразм Львович и не помышлял; мысль, что он все совершенствует, была выше всего.

С этого времени начались преследования его сердца. Все столичное потомство амазонок облачилось в женское всеоружие; но вести против него атаку бальными тактическими построениями было невозможно: он уклонялся от каре мазурок и кадрилей и от колонн экосесов и матрадуров. Церемониальный марш польского для него не был опасен. Несколько отчаянных застрельщиц из породы *Дели* стали действовать врассыпную, метать взорами и словами; но он положил их на месте. Что было делать — пришлось ловить его как дикого зверя засадами

и сетями. Подготовят к засаде какую-нибудь свою телушку — Юленьку или овечку — Любеньку и выжидают, как волк бросится на них. Как бы казалось волку не попасть в дураки: телушка и овечка так вкусно смотрят, только что не говорят: «Съешь меня, ангел мой!»

Но волк был осторожен: съесть съел, а в западню не попал. Словом, Эразм Львович в самом деле смотрел на всех русских невест не иначе, как на добрых домашних животных, которые даже грациозно и приласкаться не умеют, не только чтоб чувствовать исступленную страсть — пламенеющую, пылающую, пожирающую, с раскаленными очами, огнедышащими устами, он хотел замирать в объятиях как Лаокоон, удавленный змеею, хотел, чтоб хищный поцелуй рвал его, как ворон Прометея. Чтоб испытать эти наслаждения, он поехал в Италию, и под пленительным небом нашел очаровательного демона, а в нем искомый идеал женщины. Сочетавшись с ним законным браком, чрез несколько лет, однако ж, прекрасный мужчина Эразм Львович возвратился в Русь без жены, хворым, дряхлым, измятым, скомканным, словом — годным только для фон-доктора. Возненавидев людей и демонов, он поселился в расстроенном своем имении и стал жить посреди огромной дворни своей один-одинехонек, как медведь в берлоге, довольствуясь лапой. Несмотря на уединение, у него сохранился в доме полный придворный этикет старого времени. По всем комнатам дремали напудренные, с косами, в полной ливрее, в башмаках и чулках, слуги в ожидании клички или прохождения по комнатам своего грозного барина. Прошло несколько лет, ливрея истерлась, шелковые чулки заменились нитяными, башмаки чем-то в роде котов; но ремонта ничему не было; барин, как будто не видя самому себе обновления, не любил ни в чем обновлений; разноцветные заплаты на заплатах французских кафтанов ничего не значили — он к ним привык как к пластырям на своем теле; но, избави бог, дыра или неопрятность!

— Лодырь, свинопас! в конюшню его!

Но всего интереснее были огромный оркестр и капелла без капельмейстера, которому он в числе прочих иностранцев отказал из экономии пяти тысяч рублей жалованья, уверенный, что музыканты его и певчие знают столько уже свое дело, что могут обходиться без учителя. Года в два, в три инструменты и голоса, без ремонта и дирижирования, стали выражать собою хаос: духо-

вые передулись, струны перетерлись, бас осип, дискант пел басом, контр-альт в нос тенором. Эразм Львович постепенно привык к этой разладице и всякий раз после обеда засыпал под музыку и пенье.

Когда приехала к нему гостить племянница, жившая у отчима, дом несколько оживился. Эразм Львович развернулся; сделал для племянницы бал, пригласил соседей. В это время явилась в дом и угодливая Храброва с дочерью. Она была из рода тех женщин, которые где угодно вмешиваются в домашние заботы, хлопочут, бегают, передают приказы, помогают все делать, величают лакеев по имени и по отечеству, льстят и угождают всем и каждому, начиная с барина до цепной собаки на дворе.

Недели в две она поставила себя на ноги в доме Эразма Львовича и проводила племянницу его как заботливая хозяйка, в хлопотах, чтоб чего-нибудь не позабыли, чтоб все хорошо было уложено; даже сама посадила ее в коляску и обложила подушками.

Возвратясь с проводов, она сказала Эразму Львовичу, что пробудет еще денек у него, чтоб он не скучал, расставшись с племянницей, а потом поедет домой.

— Рад, рад, погости, погости, Фекла Савишна! — сказал Эразм Львович.

Вот Фекла Савишна и сама рада угодить доброму человеку, погостила недельку, потом приехала навестить и еще погостила, потом еще, а наконец и переселилась в дом. А между тем племянница Эразма Львовича вышла замуж, не предуведомив о том дядю; он надулся, получив от нее письмо; Фекла Савишна пораздула искорку; Эразм Львович рассердился на племянницу; Фекла Савишна подложила разного сору; Эразм Львович пришел в страшный гнев, et caetera [1].

Фекла Савишна хоть и с тылу дура, а сметливая женщина; тотчас поняла, что Эразм Львович власть свою ставил выше всего и, следовательно, не любил баловать всех его окружающих исполнением их желаний. Фекла Савишна знала, как ставить все по-своему; хочется ей спать, она таращит глаза и говорит:

— Что́ это, петухи? а я думала час девятой, у меня и зерна макового в глазу нет.— Откашляется и заведет протяжную речь.

— Рада болтать целую ночь! — подумает Эразм Львович и позвонит в колокольчик.

[1] и так далее (*лат.*).

— Что́ это, уж спать, Эразм Львович?
— Спать! — отвечает Эразм Львович.
И обратно: если Фекле Савишне не хочется еще спать, хочется болтать; а Эразм Львович зевнет раз, другой и после третьего непременно бы позвонил.
— Уж поздно, Эразм Львович, вам соснуть уж время.
— Верно тебе хочется спать?
— Хочется.
— Пустяки, сиди, Фекла Савишна!
И Эразм Львович зевом зева́ет, а не отпускает Феклу Савишну от себя, покуда Фекла Савишна, почувствовав дремоту, не скажет:
— Скажите пожалоста, заговорилась и совсем разгулялась, макового зерна в глазу нет!
— Ты радехонька проболтать целую ночь,— скажет Эразм Львович и позвонит.
Таким образом очень хорошо применилась Фекла Савишна к нраву Эразма Львовича; если, например, Филька на грош провинился, а ей нужно выжить его со двора вон, стоит только Фекле Савишне попросить за него усерднее прощения и сказать, что Филька чудо человек, что без него в доме обойтиться нельзя.
— А вот я покажу, как без него можно обойтиться! — скажет Эразм Львович, и Фильку к черту.
И обратно: нужно виноватого оправить; стоит только сказать Фекле Савишне: «Скажите, пожалоста, каков! о, уж я бы его!»
Откуда возьмется в Эразме Львовиче великодушие прощать.
Но довольно покуда об Эразме Львовиче; возвратимся на свадьбу, в дом Ивана Ивановича.
— Как жаль, что вы не танцуете, Емельян Герасимович! — сказала Полина.
— Еще успеем натанцоваться! — сказал Емельян Герасимович,— время не уйдет.
— Почему знать! — сказала Полина, вздохнув.
— Как почему знать? Я ему не позволю шагу сделать: будь тут, и кончено!
Полина поняла таинственный смысл этих слов и покраснела.
— Но вы, может быть, не долго у нас погостите?
— Я? как, я? я вечно ваш!.. А это что за урод? — отвечал и спросил в одно время Емельян Герасимович так, что всякий почел бы его за ловкого волокиту, кото-

рый хитро замял вопросом ответ, в котором заключалось полное объяснение в любви.

— Это один чудак,— отвечала Полина, упоенная ответом Емельяна Герасимовича, и торопливо отошла от него, чтоб утаить от всех свои чувства.

— И каков еще чудак! На голове баранья шапка с курдюком! в спальных сапогах! — продолжал Емельян Герасимович вслух, не заметив, что Полина удалилась.

А Эразм Львович заметил, что Емельян Герасимович довольно неучтиво рассматривает его и, в свою очередь, уставил на него глаза, хочет сглазить его презрительным взором.

Но Емельяна Герасимовича не смутишь и не сглазишь.

— А что,— сказал он, сев подле старика,— вы также прихрамываете?

— Похрамываю; извините, не знаю, как вас звать! — отвечал сурово Эразм Львович и, встав с места, подошел к Фекле Савишне, которая тут же была с дочерью.

— Ты, матушка, не знаешь, кто этот хромоногий молодец в очках?

— Это? Жених Полины Григорьевны,— прошептала Фекла Савишна,— уж это я верно знаю... деньгами мильон в наследство получил, скупает именья. Иван Иванович сбыл уж ему деревеньку, а Пелагея Васильевна сватает дочку; дело на лад идет... Вот бы, батюшко, Эразм Львович, покупщик на ваше имение!

— Это верно?

— Как свят бог!

— Ну, я его отделал! Да на что ж это похоже: зовут в дом незнакомых и не рекомендуют их друг другу! Он черт знает за кого меня принял! мне теперь и сойтиться с ним нельзя.

— А что ж такое случилось, Эразм Львович?

В это время к Эразму Львовичу подошла Полина и просила его от имени отчима играть в бостон.

— Скоро ли, Полина Григорьевна, мы на вашей свадьбе будем? — спросил он, взяв ее за руку и идя через залу.

— Почему я знаю, Эразм Львович,— произнесла стыдливо Полина.

— Посмотрите-ко на меня... о, знаете! — сказал Эразм Львович, взглянув пристально на нее,— а скажите-ко мне, кто этот господин с костыльком... верно, ушиб ножку?..

— Это...— начала было Полина, вся вспыхнув.

— Да, вот этот самый.

Полина смутилась и не знала, что отвечать; к счастью, ее ангажировали на кадриль, и она, сказав старику: «Извините!», торопливо отошла от него. А между тем Фекла Савишна успела уже подсесть к Емельяну Герасимовичу.

— Какая хорошенькая молодая! — сказала она.

— Прехорошенькая! — отвечал он.

— Вот уж можно всякому пожелать такую жену! ангел! и с хорошим состояньем. Полине Григорьевне не достанется уж того, что ей.

— Отчего же? — спросил Емельян Герасимович.

— Как отчего? ведь она приходится падчерица Ивану Ивановичу, а именье-то все его.

— Неужели?

— А вы не знали? так, стало быть, вы очень недавно знакомы здесь в доме?

— Очень недавно,— отвечал Емельян Герасимович,— с неделю.

— Не больше?.. что ж в неделю узнаешь!.. Да, Полине Григорьевне не будет такого приданого. Правду сказать, лучшему лучшенькое... конечно, и Поленька очень хороша собою, по красоте — бесприданница, а по нраву — бог с ней!

— А что? — спросил Емельян Герасимович.

— Зленька!.. На нее сам бог не угодит, где уж людям угодить. Уваженья от нее ни старому, ни малому; а что кокетка, так уж кокетка, любит поклонников! Теперь у нее в милости вот этот, что танцует с ней. Представьте себе, молодой человек уж за двадцать лет, давно бы на службу пора, а она его с ума сводит. Да добро бы влюбилась, да вышла замуж — куда! мужа-то нам надобно герб с короной, а мошна с миллионом... нет! она неспособна любить!

— Так вот она какая! — сказал Емельян Герасимович.

— А как бы вы думали; и умно и расчетливо: приданого-то только деревнишка душ пятьдесят, земли довольно, да бесплодна. Невыгодна, так хотят продать повыгоднее; а ведь есть же люди, для которых лишняя деньга тягота душе. А счастье-то какое! всякой день являются покупщики; правда, что посмотрят, да и отступятся. Ну, да были бы покупщики, найдется и слепой

между ними. Вот, Эразму Львовичу, что сейчас сидел на моем месте...

— Герасим Львович? вот этот чудак? — спросил Емельян Герасимович.

— Да, да, да! правда, что странен немножко; да зато какой добрейший человек!.. Так вот, у него продается именье... богатейшее именье, за бесценок!.. Ах, если б вы видели, что за именье!.. Какой дом, фруктовый сад, ранжерея; перед домом озеро, река близко... одно катанье на шлюпке чего стоит, да еще как с музыкантами,— рай, да и только! рыбы сколько!

— Неужели? и рыба? Ах, да какой я охотник, если б вы знали, ездить на шлюпке; какой охотник ловить рыбу; а до музыки какой охотник!

— Посмотрите, ей-богу; а какая музыка-то у Эразма Львовича, целый оркестр, да капель; как поют!

— И поют!

— Ей-богу, как поют-то!

— Надо послушать! а далеко отсюда?

— Близенько, версты четыре; да вот в окно видна за лесом церковь, это село Эразма Львовича.

Полина, во время разговора Феклы Савишны с Емельяном Герасимовичем, беспокойно посматривала на них; наконец она пошла и шепнула что-то на ухо матери, которая немедленно же подошла к своей опасной гостье.

— А я ищу вас, Фекла Савишна; думала, что Иван Львович посадил вас за бостон; да мы свой составим.

Пелагея Васильевна взяла ее за руку и повела.

— А я разговорилась... да знаете ли об чем? О Полине Григорьевне.

— Ах, матушка, да кстати ли это?

— Ах, Пелагея Васильевна, кстати ли, не кстати ли, хвалить девушку-невесту не мешает. Вы и про мою Ульяшеньку, при случае, верно, худого слова не скажете.

— То-то я и говорю, Фекла Савишна, хороша похвала кстати; иной посторонний человек, бог знает, как примет похвалу.

— Да неужели вы думаете, Пелагея Васильевна, что я навязывалась с похвалами?.. люди сами допрашивают — не молчать же.

Пелагея Васильевна довольна была последними словами; но отклонила разговор, предлагая Фекле Савишне *сесть по маленькой.*

— Вы скучаете,— сказала Полина, подойдя к Емельяну Герасимовичу.

— Да, немножко скучаю,— отвечал он.

— Ах, если б вы знали, какая мне скука!

— Скука? от чего?

— Какие вы любопытные!.. а я слишком откровенна; скажите, как мне не скучать: сестра выходит замуж и уезжает. Вы думаете, легко разлучиться мне с ней и оставаться одной. А потом, я завистлива, я с завистью смотрю на взаимную их любовь... Редко удается девушке выйти по сердцу замуж.

— Что ж делать, вы неспособны любить, Полина...— Емельян Герасимович позабыл, как зовут ее по отечеству, и остановился.

— Я неспособна любить?

— Да.

— О, я бы вам доказала, если б могла!..

— Ну, докажите!

— Хорошо!

С этим словом Полина скрылась. Емельян Герасимович ждал ее доказательств; но, к удивлению его, Полина не показывалась. Начался вальс; Емельян Герасимович смотрел-смотрел на кружащиеся пары и у него закружилась голова, а наконец захотелось спать, и он ушел в свою комнату.

Перед рассветом уже молодые сели в дормез и отправились; вслед за ними разъехались гости. После хлопот, забот и трудов весь дом спал непробудным сном, несмотря на то, что белый день давно был на дворе. Только Емельян Герасимович встал в обыкновенный свой час и по обычаю вышел в сад, ходил около ограды и сердился, что чрез каменную стену ничего не видно и нет калитки в поле. Вдруг подле него очутилась Полина.

— И вы уже проснулись? — сказала она; и глаза ее были томны, и от косы отделено много-много волос к локонам, и густые, волнистые локоны клубятся по плечам; а плечи небрежно прикрыты дымковой косынкой; а хитрый ветерок играет нескромно с кисейным утренним халатиком.

— Ах, Полина... Полина...

Припоминая с досадой отечество, Емельян Герасимович так произнес имя, что Полина в произнесенном только имени слышала признание страстной любви, которая не находит слов.

— Дайте мне руку,— сказала она томным голосом.

— Что ж доказательства? — спросил Емельян Герасимович.

— О, боже мой, каких вы еще требуете доказательств! — И она своими руками сжала его руку.

— Как каких?

— Каких, скажите!

— Если любите, так и замуж пойдете за того, кого любите?

— Для чего этот вопрос?

— Как для чего?

— Да, я хочу знать.

— О, да какие вы любопытные!

— Ну, скажите! для меня!

— Скажите! я сказал все без церемоний, я не люблю долго разговаривать; а теперь вы скажите, я вас спрашиваю.

— Ах, сядемте, мне что-то дурно, голова кружится.

И Полина села на скамейку, Емельян Герасимович подле нее; она приклонилась к его плечу.

— Я все сказала,— продолжала тихо Полина.

— Нет, не сказали,— отвечал Емельян Герасимович,— я хочу знать, правда ли, что вы хотите, чтоб у вашего мужа был герб с короной, да мошна с мильоном?

Полина вздрогнула, как после бесчувствия; глаза ее вспыхнули, губы задрожали.

— Вы шутите надо мной! — проговорила она.

— Ей богу не шучу! — отвечал Емельян Герасимович; — хоть вы и кокетка, да что ж мне шутить, не мне жениться на вас, ведь вы бесприданница, а я голая сирота.

Полина вскочила, бросила взор презрения на Емельяна Герасимовича и с пронзительным криком упала на землю.

— Вот тебе раз! припадок! — сказал Емельян Герасимович, подняв ее и посадив к себе на колена; — точно... как бишь ее?

— Прочь! — вскричала Полина.

— Невозможно,— отвечал Емельян Герасимович,— опять упадете.

На крик Полины прибежала горничная, взглянула издали, убежала назад, и вскоре Пелагея Васильевна и вся ее девичья явились перед Емельяном Герасимовичем.

— Что такое? что такое? Полина!

— Избавьте меня от этого низкого человека! — вскричала Полина, едва переводя дыхание и вырвавшись из рук Емельяна Герасимовича.

— Что это значит, сударь? — вскричала и Пелагея Васильевна.

— Припадок! — отвечал Емельян Герасимович.

— Не верьте, маминька! это какой-то мерзавец!

— Как вы смеете делать дерзости моей дочери! — вскричала Пелагея Васильевна.

— Вон его! — вскричала и Полина.

— Извольте, сударь, вон идти, покуда я не велела...

— Что такое? что такое? — раздался голос Ивана Ивановича.

— Извольте оставить наш дом! а не то, я не посмотрю, что вы мильонщик!..

— Что такое? за что ты его гонишь, душа моя?

— За что? — сказал Емельян Герасимович; — за то, что ваша кокетка Полина с ума сошла.

— Мерзавец, вон! — вскричала Полина.

— Вон, сударь, говорю вам, вон; ей, люди! вон его! — вскричала и Пелагея Васильевна вслед за дочерью.

Иван Иванович пожал плечами.

— Э, друг! я не думал, что ты таков, молодец! да ты на все руки бьешь!.. Если так, так убирайся вон! покуда шелепами не выгнали!

— Знаешь ли что, Иван Иванович,— сказал Емельян Герасимович спокойно.

— Что? — спросил Иван Иванович.

— Что такое? — спросила Пелагея Васильевна.

Полина также внимательно устремила на него свой взор.

— А вот что: ты, Иван Иванович, дурандас, жена твоя дурында, а дочь ваша пьфу!

— Вон, говорю! Ей, люди! — крикнул Иван Иванович.

— Ну! люди! вот и люди! что ж люди? — сказал Емельян Герасимович, подбоченясь и торжественно наступая на толпу людей.

При приближении его все раздавались, и он вошел в дом и в своей комнате залег на диван.

— Батюшка, Емельян Герасимович, что это за казус такой? — спросил камердинер Ивана Ивановича, прибежав к нему.

— А вот что: Иван Иванович дурандас, жена его дурында, а дочь — пьфу! пусть на ней черт женится.

— Аа! понимаю; так вот что, дело-то ясное.

— И здесь оставаться не хочу!

— Господи, какая жалость, сударь! а как мы вашими милостями были обязаны!..

— Пантелей, приведи лошадей! да скорей, Пантелей!

— Каких же, сударь, лошадей? разве прикажете нанять в селе крестьянскую подводу до большой дороги, а там возьмете почтовых.

— Хоть подводу, хоть почтовых, хоть ямских, хоть долгих — все равно, лишь бы скорее наплевать на ваш дом! я поеду к Герасиму Львовичу.

Через несколько минут камердинер возвратился с извещением, что подвода у крыльца. Емельян Герасимович надел свой дорожный длинный сертук, набекрень шляпу; камердинер взвалил на плеча чемоданчик, уложил его в повозку, усадил Емельяна Герасимовича, пожелал ему благополучного пути, и — Емельян Герасимович отправился на паре кобылок, между тем как Пелагея Васильевна и Иван Иванович считались: Иван Иванович имел неосторожность поздно объявить ей, что он пошутил, рекомендовав Емельяна Герасимовича за мильонщика.

— Кто ж он такой? — спросила Пелагея Васильевна.

— А черт его знает! — отвечал Иван Иванович.

С этого и началось, да до того дошло, что Иван Иванович снова в коляску, да опять вон из дому.

— Куда ж, барин, ехать? — спросил крестьянин Емельяна Герасимовича, выехав за ворота.

— А видишь за лесом село? ступай туда.

Глава пятая

О том, как Емельян Герасимович превратился в чародея, открыл все шашни Феклы Савишны и дочери ее Ульяши и выжил их из дому

Дорогой Емельян Герасимович хватился, что у него на глазах нет очков.

— Ну, прах их возьми! стеклянные глаза! — сказал он,— простыми лучше видно.

Через час подвода притащилась в село.

— В господской дом прикажете, барин?

— Разумеется.

— Дома барин? — спросил Емельян Герасимович у крестьянина, подъехав к крыльцу и выскочив из телеги.

— Дома,— отвечал крестьянин.

Емельян Герасимович вбежал в переднюю и остановился от удивления, смотря на толпу слуг в замасленных синих французских кафтанах, в красных штанах, в башмаках с пряжками, головы взбиты и напудрены.

— Дома?

— Дома-с, да нездоровы-с; как прикажете доложить? мы доложим Фекле Савишне.

А Фекла Савишна легка на помине.

— Олухи! сколько раз говорить мне!.. Ах! — крикнула она, выставив голову в переднюю и заметив Емельяна Герасимовича.— Ах, Емельян Герасимович! покорнейше прошу, садитесь, я сейчас доложу Эразму Львовичу.

Фекла Савишна выбежала; а Емельян Герасимович присел в гостиной и посматривал на обстановку и убранство комнаты, во вкусе эллинских хитростей. На потолке заседал весь олимп; сонм богов, неизвестно по какому случаю, имел тут собрание, вероятно, по случаю нанесенной Венерой обиды Вулкану, ибо она, как подсудимая, находилась посередине плафона и, без сомнения, за наказание держала нежной своей рукой огромную хрустальную люстру — того и гляди что выронит — и вдребезги! По широким карнизам Амуры, придерживая также бессильными руками массивные гипсовые фестоны, стояли в последней позитуре, как балетные гении на сцене перед публикой, *учинив* улыбающееся лицо, а мочи нет как замучились от свободных движений, легкости и непринужденности. Голубые, шелковые обои полиняли и почернели от времени, как хромокислое серебро, и на них отпечатались стоящие на тумбах позолоченные алебастровые грации, с канделябрами в руках. Канапе и кресла были сделаны в виде раковин, несомых дельфинами; по всем простенкам Бахусы, которых руки, обратясь в ветви винограда, отягченные кистями, поддерживали зеркала, подернутые ржавчиной. Мебель была покрыта цветным трипом, окны и двери драпированы прозрачными индейскими тканями, усеянными фантастическими птицами.

— Покорно прошу! — раздался наконец голос Феклы Савишны.

Емельян Герасимович вошел вслед за ней в кабинет Эразма Львовича.

Эразм Львович сидел в обширных эпикурейских креслах, в сертуке из белого пике, на голове вместо пудреного парика белый колпак. С одной стороны на столике лежали счетные книги, с другой, на другом столике, огромная чашка с чаем, блюдечко с вареньем, баночка с мазью, стклянка с микстурой, пузырек с каплями и коробочки с пилюлями. Вокруг старинные шкапы библиотеки. За стеклами рисовались плотные ряды книг в богатых переплетах, издания многотомные, различающиеся по вычурам позолоты, по цвету переплетов и по надписям. Какая роскошь для истинного любителя чтения и просвещения! Какой ученый аристократ собрал все плоды человеческого ума, питается, наслаждается ими и доставляет другим и пищу и наслаждение?

— Очень рад с вами покороче познакомиться!.. покорно прошу!.. Ступай, Фекла Савишна!

— А я к вам, Эразм Львович,— сказал Емельян Герасимович, садясь на стул подле него.

— Очень рад, очень рад! Фекла Савишна говорила мне, что вам хочется посмотреть мое именье...

— Да, очень хочется: она говорила мне, что у вас просто рай.

— Ну, я до такой степени не похвалюсь; а порядочное. А скажите пожалоста, с Иваном Ивановичем вы не сошлись?

— Никак!

— Фекла Савишна! — крикнул Эразм Львович, позвонив в колокольчик,— достань, моя милая, сверток планов... Постой... ключи от шкапа... кажется, здесь...

Эразм Львович достал из столика ключи и долго искал в связке тот, который ему нужен. Фекла Савишна стояла подле него, протянув руку; а Емельян Герасимович между тем поглядывал на шкап с книгами, подле которого сидел, и читал по складам оттиснутые огромными литерами заглавия:

«Журнал пути от незнания к невежеству, 5 томов»;

«Куда ушло время и где скрывается? ученые исследования, 10 томов»;

«Опыт о добывании ума из глупости, 2 тома»;

«Отчет строительной комиссии о постройке воздушных замков, 5 томов»;

«Следствия о чинимых насилиях природе, и последствия, 10 томов»;

«Допотопная история, 20 томов».

Что за история такая! вскричал бы невольно и психолог, и филолог, и археолог, и, наконец, космолог, вскочил бы с места, разбил бы стекло от нетерпения, что Фекла Савишна медленно отворяет шкап, в котором заключаются подобные библиографические редкости.

Но вот шкап отворился — глядь — что за история?

Емельян Герасимович вскочил от удивления с места, смотрит — точно, дивная история! Вместо книг на полках связки манускриптов, клинообразного вавилонского письма: журнал старосты Дорофея о изгонении на работы крестьян, доношения сельской канцелярии и прочие бумаги; а между прочим, и свертки землемерских планов поместья.

— Вот, извольте посмотреть! — сказал Эразм Львович Емельяну Герасимовичу, который рассматривал дверцы шкапа, на которых под стеклом наклеены были заглавия многих книг.— Извольте посмотреть! — повторил Эразм Львович, развертывая план; — триста душ, две тысячи десятин земли, из них шестьсот десятин пахотной, остальная под лесом и выгонами... Дом с садом.

— Дом с садом? — повторил Емельян Герасимович,— а озеро?

— Вот оно.

— Где?

— Вот оно.

— Да что ж это такое? — спросил Емельян Герасимович, смотря на план.

— Как что?

— Что ж мне в этом?

— Мало? я, пожалуй, и другое имение продам: 200 душ, именно вот это, где теперь живу, и с этим домом... оставлю за собой третье — маленькое. Это именье дороже во всех отношениях: разные заведения, дом, как видите, построен для жизни широкой, домашний театр и целый гардероб костюмов... Понравится, я уступлю дешево.

— Как дешево? избави бог! дешево да гнило! — сказал Емельян Герасимович.

— Не то чтоб дешево, цена настоящая, умеренная — двести пятьдесят тысяч рублей.

— Двести пятьдесят тысяч рублей? а что ж это составит? — спросил Емельян Герасимович.

— Как что составит? то есть по чем душа?..

— Подводчик спрашивает, куда прикажете деть поклажу? — спросил вошедший слуга.

— Чью поклажу?

— А вот ихнюю-с... чемодан.

— Вноси, братец, сюда! — сказал Эразм Львович; — прошу со мною без церемоний; вот вам и комната близ моего кабинета, располагайтесь как дома. Эй, Егор, приготовить, убрать комнату; да внесите вещи... Так вы не сошлись с Иваном Ивановичем?

— Никак! кто с ним сойдется: он дурандас, жена его дурында, а дочь — пьфу!

— Хэ, хэ, хэ! да вы скоро их раскусили... Вот в этаком-то соседстве пожить! поневоле прослывешь медведем. Не удивляюсь, что и меня вы почли принадлежащим к этому же стаду? а! признайтесь!

— Признаюсь, вы показались мне таким чудаком,— сказал Емельян Герасимович,— что я не знал, что делать.

— Ну, откровенность за откровенность: когда сказали и мне, что вы женитесь на Полине Григорьевне, так я счел вас недальнего ума.

— Нет, слава богу, у меня дальний ум; несмотря на то, что она кокетка, я сказал без церемоний: нет, сударыня, на бесприданнице я не женюсь! у меня ничего нет за душой, и у вас также.

— Браво! Прекрасно отделались! Стало быть, они скрыли от вас, что за ней полтораста душ да деньгами тысяч пятьдесят.

— Неужели? так она с приданым? — сказал Емельян Герасимович; — как же меня обманула эта, как-бишь ее, вот что у вас.

— Фекла Савишна?

— Да, да, да! просто обманула!

— Хэ, хэ, хэ, очень нужно вам приданое! — сказал Эразм Львович, смеясь.

— Мне оно и на подметки не нужно; а жене очень нужно. Мне что такое, у меня ни в гербе короны, ни в мошне мильона, приехал к вам: «Здравствуйте, Герасим Львович!» — «Здравствуйте».— «А я к вам».— «Милости просим, прошу без церемоний, располагайтесь как дома».— «Вот я и располагаюсь. Мне не нужно ни деньги, ни шляпки; салопов также не нужно... и как бишь они... вееров также не нужно, и башмаков не нужно».

— Я вас не понимаю,— сказал Эразм Львович, пораженный словами Емельяна Герасимовича.

— Что ж тут непонятного, слова как слова,— продолжал Емельян Герасимович; — я теперь круглый сирота, совершенно круглый, хоть шаром покати. Пришел к вам, а вы как следует бесприютного приютили, голодного покормили, чем бог послал; жаждущего напоите хоть водой, дремлющего спать положите.

— Ого! — повторил, вспыхнув гневом Эразм Львович,— надо мной шутить вздумали! Тебя, любезный, кто прислал ко мне?

— Меня? никто не присылал,— отвечал Емельян Герасимович; — меня звала, вот эта, как-бишь ее, что у вас?

— Дура Фекла Савишна?

— Да, да, да, именно дура Фекла Савишна.

Усмешка сменила гнев на лице Эразма Львовича; но он сурово сказал:

— Любезный! не знаю, как звать тебя, у меня не балаган и не постоялый двор.

— Не постоялый двор? знаю,— сказал Емельян Герасимович,— напрасно сердитесь; кто вам сказал, что я на постоялый двор пришел? пойду ли я к мошенникам, которые за хлеб и соль деньги берут. Да еще добро бы у меня деньги; я бы эти мешки начинил по горло деньгами и затянул веревкой. А где ж у меня деньги? все роздал: одному дам, а другой: батюшка, сударь пожалуйте и мне, и мне, и мне, и всем сколько есть.

— Ты, верно, брат, комедиант? — спросил Эразм Львович развеселясь.

— Комедиант не комедиант, а комедию ломал,— отвечал Емельян Герасимович.

— Хэ, хэ, хэ! а в каких ролях? на каком театре? — продолжал Эразм Львович, желая позабавиться насчет Емельяна Герасимовича.

— Да мало ли; я и перезабыл. На театре войны роль Бонапарте, да, пожалуй, хоть роль Алаферна, которому голову срубили.

— Хэ, хэ, хэ! да ты забавник! скажите пожалоста, он играл роли на театре войны! так ты хочешь у меня жить?

— Отчего же не жить, очень рад; только служить надоело.

— Ну, нет, любезный, бездельников я не люблю; вот, видишь, у меня есть театр, а труппы нет; хочешь заменить собою труппу?

— Отчего же, пожалуй, отчего ж не заменить; это пустяки.

— Посмотрим; ты будешь разыгрывать каждый день разные роли, чтоб ни мне, ни тебе не надоело одно и то же. У меня, любезный, есть полный театральный гардероб, слежался без употребления; так ты проветришь его на плечах, а потом отправишься промышлять дальше, если мне надоешь или тебе это наскучит.

— И это дело; нет ложки, хлебай горстью, говорит Пафнутьич.

— Так не для чего терять время: на первый раз ты будешь у меня халдейским звездочетом, будешь предсказывать судьбу.

Эразм Львович позвонил, вошел камердинер.

— Скажи Филиппу, чтоб достал из театрального гардероба костюм астролога: хламиду, сандалии, зодиак, остроконечную шапку, жезл и весь прибор; он знает. Да не забыть парика и бороды. Потом пусть оденет этого господина вот в этой, приготовленной для него комнате. Да смотри, чтоб Фекла Савишна и Ульяша ничего не знали, слышишь?

— Слушаю-с,— отвечал по обычаю камердинер.

Эразм Львович в ожидании хлопал по золотой табакерке и, улыбаясь, смотрел исподлобья на Емельяна Герасимовича; а Емельян Герасимович смотрел на стены и на потолок комнаты, которая постепенно из богатого кабинета барича XVIII столетия обратилась в больничную камеру барина XIX столетия. Тут некогда между барельефными хитросплетениями летали посреди цветов воинственные амуры, преследуя и поражая губительными стрелами нимф и граций; тут были шифоньерки в виде греческих храмов с бронзовыми колоннами коринфского ордена; тут были столы яшмовые и столики штучные, резные на сфинксах, на раззолоченных ветвях, уставленные разными игрушками, фарфоровыми куклами, антиками и раковинами. Тут некогда перед трюмо надевали парики и пудрились, чтоб скрыть годы, уравнять возрасты, юноше придать старости, а старику молодости. Здесь французский шелковый шитый кафтан натягивался на русские плечи, а немецкие *с позволения сказать* — на ноги, и русский барин радовался, что все на нем важно, и что он походит на французского поб-

ля[1]. Настала во Франции реставрация; расплодившиеся аббаты *задали тон,* аристократический кафтан уступил место черному фраку, почтенная важность пудреных париков уступила место любезности верхолетов, шаркунов, примазанных, раздушенных людей comme il faut,[2] сладкоглаголателей, слагателей хитрых слов, известных под именем бон-мо[3]. Кабинет преисполнился новым духом и запахом. Важная жизнь перешла в разгульную, и вскоре хозяин кабинета заохал, прикомандировал к себе доктора, и вот, вместо eaudes Alpes[4] явилась на столике какая-нибудь aqua saturnica, вместо huile antique—oleum vitriolum,[5] вместо душистой подушечки за пазухой — припарка из ароматических трав; и вот у барина вместо рук и ног — плетки, а вместо кабинета — больничная камера. Амуры и нимфы закоптились, по барельефным фестонам пауки развесили фестоны паутины, у фарфорового китайского «я иду с мечом судия» отбил кто-то меч; французский пастушок стоял на одной ноге; у мраморной Венеры отлетела бабочка, и она стояла, как будто что-то показывая с усмешкой и произнося по-русски: «Видел?»

— Ну, любезный, отправляйся наряжаться,— сказал Эразм Львович, когда седой Филипп принес костюм; — посмотрим, узнает ли Фекла Савишна своего мильонщика.

— Эразм Львович, да не лучше ли после обеда,— сказал Емельян Герасимович,— я еще не ел ничего сегодня.

— Нет, любезный, натощак лучше; я похохочу для аппетита, а потом и тебя накормят.

— Ну, пойдем! — сказал Емельян Герасимович, выходя вслед за Филиппом в соседнюю комнату.

— Вот, господин, тут весь чародейской костюм,— сказал Филипп.

— Э, да это славно! халат и туфли! Как тебя, старика, зовут?

— Филиппом.

— Ну, брат Филипп, протягивай по одежке ножки!

— Не мне протягивать, а тебе.

---

[1] буквально: «благородный» *(фр.),* в переносном смысле «дворянин».
[2] приличный, порядочный человек *(фр.).*
[3] острота *(фр.).*
[4] названия различных сортов духов.
[5] лекарства с неприятным запахом.

— Ну, давай,— сказал Емельян Герасимович, сбросив с себя свой собственный костюм и наряжаясь в красные чулки, сандалии, широкую испещренную хламиду, и так далее.

— А что, брат, ты будешь ломать комедию? — спросил Филипп.

— Нет, ведь это не Алаферн; в Алаферне я бы отломал бока всей вашей дворне, а здесь, может быть, не кстати.

— Э, было бы кому и здесь отломать бока, есть и у нас тут собака.

— Это что ж такое? — спросил Емельян Герасимович.

— Это такая вот перевязь чародейская, тут все звери писаные, через плечо надевается.

— Через плечо? а это еще что?

— Колпак чародейской; экая штука! сахарной головой; да прежде надо парик да бороду надеть.

— Это зачем?

— А как же, ведь без парика-то узнают. Бывало, я помню, как свои были актеры, Федька Сивуха,— сам барин прозвал его сивухой,— оденется в этот костюм, выйдет из-за кулис и начнет гадать; вот этим жезлом поведет по воздуху; как поведет, мы и потянем из-за кулис змей, сов, филинов и всякую намалеванную гадину — так все и ахнут! жаль, что не была тогда Фекла Савишна, вот бы пугнул ее!

— Дура Савишна? — спросил Емельян Герасимович.

— Да, дура! себе на уме! — отвечал Филипп, подавая волшебный жезл чародею; — нет, она не дура, а старая ведьма!

— Так я ж ее пугну! — сказал Емельян Герасимович.

— Ой ли! вот бы обязал! чтоб ее в короб согнуло, и с дочкой-то Ульяшкой. Такой скверный человек, что боже упаси! житья нет! осетила барина! ей-ей и думать иначе не хочет, что кроме ее никто ему ноги спиртом не натер; до нее я десять лет тер, хорош был, а тут вдруг не гожусь, да еще из камердинеров долой, вишь, устарел, молодой понадобился... черт знает кому!.. Дочка-то также, видишь, нужной человек в доме... что ты будешь делать! нарохтится[1] в барыни! да и будет, ей-ей будет! Посмотри-ко ты на нее хорошенько.

---

[1] замышляет.

— А что?
— Ну, посмотри, родную племянницу оттерли от барина, у тебя, дескать, будет поближе родня, кому наследство отказать. Да барин-то в дураках будет, Егорушка поумнее его; да бог с ними! не мое дело говорить; а уж сказал бы барину всю подноготную! всю бы начисто сказал подноготную, ей-богу! Чу, звенит, верно, за тобой; надевай, брат, скорей шапку.
Слушая Филиппа, Емельян Герасимович не заметил, как преобразился в халдейского астролога.
— Скоро ли? — спросил вошедший камердинер.
— Сейчас, Егор Иванович,— отвечал Филипп.
— Долог у тебя час! барин ждет.
— Если барин ждет, так и подождет! — сказал Емельян Герасимович, передразнивая грубый голос камердинера.
— Ну, шут гороховой! отшутишь, взашей со двора сгоню!
— А ты видел это? — сказал Емельян Герасимович, взяв в руки жезл,— я тебе бока отломаю, только выйди на сцену.
— Мы с тобой после разделаемся! а теперь по звонку выходи!
Покуда Емельян Герасимович облачался, Эразм Львович велел позвать к себе Феклу Савишну.
— Что, батюшко Эразм Львович?
— Кого ты ко мне, матушка, привела покупать именье?
— Как кого? — спросила Фекла Савишна с испугом.
— Да, кого? говори же, Фекла Савишна!
— Кого же мне привести, Эразм Львович... Бог его знает; говорил, что ищет именье купить, а я и рекомендовала ваше.
— Говори правду, Фекла Савишна!
— Эразм Львович, да что ж такое случилось?
— Где он?
Фекла Савишна осмотрелась боязливо кругом.
— Почему ж я знаю, Эразм Львович.
— Кто ж знает?.. ты должна знать, Фекла Савишна, ты привела ко мне оборотня.
— Бог с вами, Эразм Львович!
— Да, да, Фекла Савишна; я посадил его, думал, что говорю с господином, с мильонщиком — по твоей рекомендации,— смотрю, а передо мною сидит шут и строит гримасы.

— Господи помилуй! — проговорила Фекла Савишна, перекрестясь.

— Да, да,— сказал Эразм Львович, позвонив в колокольчик,— а потом смотрю, передо мной стоит халдейский астролог... ах! вот он опять!

Фекла Савишна оглянулась, вскрикнула благим матом, побледнела, онемела от ужаса.

В дверях стоял Емельян Герасимович — халдейский астролог, с огромным жезлом в руке, с острия шапки до пят весь исписанный рыбами, раками и всеми знаками зодиака.

В это время вошла и Ульяша, что-то вроде барышни, девушка лет двадцати, с вздернутым носиком, с головкой на сторону, серые глазки, как видно, не раз уж плутовали. Ей, верно, уже известно было, что будет разыгрываться над ее матерью комедия. Она села и, смотря на халдейского астролога и на испуганную Феклу Савишну, захохотала было, но Эразм Львович, сам едва воздерживаясь от смеха, взглянул на нее сурово и этим дал знать, что она может подождать смеяться.

— Я скажу вам всю подноготную,— произнес вдруг чародей диким голосом.

— Читай по звездам! начинай с нее,— сказал Эразм Львович, показывая на Феклу Савишну, которую смех Ульяши поуспокоил и уверил, что бояться нéчего, что, верно, это какая-нибудь комедия.

— С нее и начну,— сказал чародей, махая жезлом,— и вот что скажу тебе, Герасим Львович: ты назвал ее давича дурой, а она не дура, а себе на уме; а у нее есть дочка...

— Скажите пожалоста, узнал! какой колдун! — вскричала Ульяша.

— Как тебя не узнать, Ульянку! — сказал чародей, оборотясь к ней; — позволь-ко рассмотреть тебя...

— Что ты на меня уставился! — вскричала Ульяша.

— Ничего, смотрю, кому барин хочет наследство отказать...

Ульяна вспыхнула, у Эразма Львовича вытянулось немного лицо.

— Барин-то будет в дураках,— продолжал халдейский астролог; — Егорушка-то поумнее его!..

— Что такое говорит он, Фекла Савишна? — спросил Эразм Львович, кинув подозрительный взор на мать и дочь, которые поблéднели, и грозный взор на притворенную дверь, из-за которой выглядывал камердинер,

а из-за его головы все Ваньки, Петрушки, Сидорки и вся прочая любопытная дворня, всегда интересующаяся знать, что делается у господ за запертыми дверями.

— Бог его знает, что он говорит, и не расслушаешь,— отвечала, скрепя дух, Фекла Савишна.

— Поди ты прочь от меня! — вскричала Ульяша на астролога, который преспокойно продолжал ее осматривать.

— Тс! что ты кричишь! забылась! — сказал сурово Эразм Львович; — продолжай, господин астролог, читать по звездам; ну, что еще?

— Именно забылась, нарохтится в барыни! — сказал чародей.

— Этого сносить нельзя! — сказала Ульяша, уходя из комнаты и хлопнув дверью.

— Ага! — произнес значительно Эразм Львович,— это уж слишком что-то по-барски.— И он вынул из стола бумагу, вероятно, уже знакомую Фекле Савишне.

— Эразм Львович! — вскричала она, схватив его за руки,— помилуй! за что ты прогневался на Ульяшу, ведь она сдуру это!..

— Ну, дура баба, становись на колени, да проси прощенья, что оттерла родную племянницу,— сказал чародей.

— Ах ты негодяй! мошенник! — вскричала, не вытерпев обиды, Фекла Савишна.— Батюшка, Эразм Львович, позволь прогнать этого фокусника, он бог знает что взведет на нас.

— Ступай прочь! — проговорил грозно Эразм Львович и, оттолкнув Феклу Савишну, он разорвал бумагу и бросил на пол.

— Умираю! — вскричала Фекла Савишна, всплеснув руками и бросаясь поднимать клочки изорванного гербового листа;— родной отец, Эразм Львович!.. Ульяша, Ульяша!

— Это что значит? да ты почему, сударыня, знаешь то, что тут написано? а? — проговорил Эразм Львович, задыхаясь от гнева.

— Не знаю, ей-ей, не знаю ничего! Ульяша! проси, становись на колени!

— Эразм Львович! — проговорила Ульяша, припав к руке Эразма Львовича.

— Прочь, девчонка! Эй, Филипп!

— Эразм Львович,— вскричала Фекла Савишна, переменив тон,— уж если ты так поступаешь с нами — лю-

дей сзывать... страмить нас... сзывай! я выведу на чистую воду виноватого!

— Этого я не ожидал! — сказал Эразм Львович; — нет, милая, глупо придумала! Ступай, ищи виноватого в передней, дочка твоя укажет тебе,— вон!

— Не пойду вон!.. старый развратник! не пойду! — кричала Фекла Савишна.

— Если говорят: вон, так вон! — сказал чародей и с этими словами, обхватив Феклу Савишну, вытолкнул из двери.

— Принимай, ребята! тащи!

— Ах, собака, кусается! — раздалось в зале.

— Эразм Львович! — завопила снова Ульяша.

— Вон!

— Если говорят: вон, так вон! — сказал чародей, схватив Ульяшу и вытаскивая за двери.

— Принимай, ребята! тащи вон!

Ульяша стащила с головы чародея остроконечную шапку, вцепилась в волоса, и парик остался в ее руках.

— Кошка! прысь, проклятая! пьфу! дрянь!

По всему двору раздавался голос Феклы Савишны. Она села посреди двора на землю и кричала: «Не пойду! просьбу в суд подам на старого пса!..»

Вся дворня стояла кругом и хохотала.

— Какова бабариха! — сказал чародей Емельян Герасимович, возвратясь в кабинет. Эразм Львович, бледный, весь дрожал от взволновавшего его гнева.

— Какова бабариха! — продолжал чародей,— ей говорят: вон! а она выйти сама не умеет!

— Послушай, любезный, ты почему знаешь все здешние домашние дела?

— Как почему? да потому именно, что этого нельзя не знать, как Ульянку, сама скажется,— отвечал Емельян Герасимович.

— Не узна́ешь, откуда в дураках иногда ум берется; да нет, нельзя! говорить тебе никто не станет,— верно, где-нибудь слышал, признавайся!

— Как никто не говорит? — сказал Емельян Герасимович; — все говорят.

— Кто ж именно?

— Именно никто,— отвечал Емельян Герасимович; вот так бывало и Наталья Дмитриевна: «Кто говорит?» — «Все говорят»; так нет, подай ей, кто именно? а подай ей этого *кто именно,* так она и отправит его на конюшню.

— Ты преумный дурак! — сказал Эразм Львович, невольно рассмеявшись; — в самом деле глупо добиваться, кто именно, когда все именно.

Крик Феклы Савишны еще раздавался по временам.

Эразм Львович позвонил; вошел камердинер, Егор Иванович.

— Ты что-то, брат, не в себе? — сказал Эразм Львович, смотря на него пристально.

— Никак нет-с! — отвечал Егор Иванович, стараясь не дрожать от страху.

— Ну, полно; чай жаль, что Фекла Савишна и Ульяна Петровна сходят со двора?

— А мне что до них-с, мне все равно.

— Как все равно, не может быть: ты служил им, привык к ним, и они к тебе привыкли; пойди, скажи Фекле Савишне и Ульяне Петровне, что я не хочу лишить их верного слуги. Отправляйся с ними; завтра же Фекла Савишна получит крепость на тебя.

— Эразм Львович! помилуйте! — вскричал камердинер, упав в дверях на колена и ползя к стопам барина.

— Я, братец, и делаю тебе милость,— сказал Эразм Львович,— отдаю тебя госпоже, которой ты предан.

— Нет уж, Эразм Львович, к этим ведьмам не пойду в услуженье! умру, а не пойду! не погубите души! ей-ей оне ведьмы, опоили меня зельем! я ни душой, ни телом не виноват!

— Пустяки, брат, не бойся, оне не ведьмы и не опоили тебя, а просто подносили за верную службу. Ступай, ступай! служи им верой и правдой! ступай же! — прибавил Эразм Львович таким голосом, после которого не́чего было ожидать милости. Милость была возвращена Филиппу, который терпеливо перенес все свое унижение перед выскочкой Егорушкой.

У Емельяна Герасимовича в продолжение целого дня, как говорится, куска в горле не было.

— А что, обедают у вас? — спросил он у Эразма Львовича, по окончании сцен с Феклой Савишной и Егором.

— Я сыт, любезный,— проговорил сердито Эразм Львович,— можешь отправляться.

— Я еще не обедал,— сказал Емельян Герасимович.

— Ступай на кухню или в лакейскую; там тебя накормят.

— Покорно благодарю! Наталья Дмитриевна с малолетства запретила мне ходить по лакейским да по кухням.

— А была такая Наталья Дмитриевна, которая

— Что за Наталья Дмитриевна такая?

всегда говорила: «Как тебе не стыдно, как тебе не совестно ходить в лакейскую! прилично ли тебе водить компанию с людьми! чему ты там научишься? разным грубостям и непристойностям». Вот по этому-то случаю, чтоб не научиться разным грубостям и непристойностям, я и не хочу ни в кухню, ни в лакейскую; а иначе мне все бы равно, где ни обедать.

— Дельно,— сказал Эразм Львович,— шут почетное лицо в доме и не должен мешаться с слугами. Умна была твоя барыня Наталья Дмитриевна.

— Не барыня моя, а моя maman,— сказал Емельян Герасимович,— не матушка, а maman, понимаете? вместо матери, потому что отца у меня совсем не было, понимаете?

— Трудно понять,— сказал Эразм Львович, улыбнувшись невольно.

— Я сам не понимаю, почему Платон Адреевич говорил, что свинья твой отец, а не я.

Это показалось смешно Эразму Львовичу; но он не расположен был смеяться.

— Ну, ступай в гардеробную, там твоя комната,— сказал он Емельяну Герасимовичу и, крикнув Филиппа, приказал подать ему обедать.

Когда вышел Емельян Герасимович, Эразм Львович задумался; он припомнил богатую здоровьем и радостями свою молодость и в первый раз содрогнулся, почувствовав одиночество, которое вынудило его привязаться даже к глупой Фекле Савишне и преглупейшей ее дочери и находить удовольствие в бессмысленных их россказнях и нелепых суждениях. В первый раз проявился в нем упрек самому себе, и старость заговорила в упрек молодости, что не насадила для нее ни в чьем сердце любви и дружбы, не заготовила ни одной заботливой души, не прикрыла корня ветвями, не оградила иссякающую жизнь новой, родной жизнью. Бедный глупец! вместо почтенного возраста, украшаемого мудростью, ты впал снова в детский возраст, старый, седой, лысый ребенок! тебе опять нужны нянька да сказочницы, болтовня и игрушки!

В этих грустных думах Эразм Львович забыл о перевязке ноги и заснул в креслах; никто не смел войти к нему без зову колокольчиков. Филипп угостил Емельяна Герасимовича как благодетеля, рассказывал ему целый

вечер про Феклу Савишну, как она бывало ходила по домам, переносила сплетни, да побиралась старыми платьями и лоскутьями, как подделалась к старой барыне гаданьем про Эразма Львовича, как при его племяннице втерлась погостить, а после нее и совсем поселилась в доме,— как сначала была почтительна ко всей дворне, всех величала по имени и по отчеству, даже кота Ваську не просто звала Васькой, а Васенькой.

— А как присуседилась к барину, как увидела, что без нее ему и больной ноги некому натереть спиртом — так так выпра́вилась на барскую стать, что ай-люли! Как пошла трубить барину в уши: тот вор, тот мошенник, тот пьяница, весь дом разнесут по бревну,— что ж, как вы думаете? словно сглазила: откуда взялись и воры и пьяницы. Кого в солдаты, кого в свинопасы. Барышня, бывало, экономна — все впрок, покуда сгниет, лучше собакам, чем людям; а как Фекла Савишна забрала ключи да экономию — дожили до пустых щей! Бывало мука́ отпускалась четвертями, в девять мер, мера хозяйская,— купила меру воровскую, выдает четверть в восемь мер. Бывало на всю дворню в неделю раз бьют скотину...

— Послушай, старина,— перервал Емельян Герасимович,— говорят, что дворня-то у господ ничего не делает, а только объедает их!

— Кто тебе сказал ничего не делает? как ничего не делает? видишь, наслушался голышей! пошла жизнь иная и иные речи повели! Когда господа-то господами жили, так у каждого была дворня-то свой город; все тут есть, чего ни спроси: закромы полны хлеба, кладовые запасов, погреба — вина, пива и меду, конюшни — лошадок, а в дворне-то жили свои ключники, повара, пека́ря, швецы, сапожники, столяры, маляры, музыканты — все народ нужный да дельный; городу-то бывало не кланялись, в лавочку не бегали покупать на вымозженный грош лучку, да на краденый мучки. Хозяйство было свое, а не на стороне, не в чужих руках, не продажное. Бывало, раз в год посеешь в поле, да раз пожнешь, ан на целый год и сыт; а теперь, брат, сеют-то на проезжей дороге: один посеял, другой потоптал. Господа-то не у дела в своей отчине живут, а у безделья в городе. Кафтан и сапоги сшей немец, накорми и напои француз,— что ж своим-то делать? вестимо, что свой на чужой лад не угодит; а лад-то, или, по-французскому, мода, стала у всех чужая. Что ж господской дворне-то делать? Пришло за-

пивать горе; а как за глазами какой-нибудь управитель, Фекла Савишна, посадит на мякину да на воду,— тогда-то что делать? да еще как ребятишки кричат? а? того стянул кусочик, того ломоточик — глядь и вор. Раз спрятался со страху от палки, вдругоредь за угол от дубины, а в третий, глядь, и в лес ушел. Вот, брат, как дела-то делаются на свете! Уж я тебе, брат, скажу, на облупленном яичке цыпленка не высидишь... Э, да ты спишь?.. вот думал парня учить, а его еще надо лечить.

Емельян Герасимович проспал вплоть до полудня. Филипп разбудил его.

— Барин скоро встанет,— сказал он ему,— вставай, одевайся, брат, одевайся скорей! Да какое ж ты платье наденешь, опять то же или свое?

— Нет, спасибо, этот балахон мне надоел, довольно его проветривать на плечах,— отвечал Емельян Герасимович; — теперь проветрить надо вот этот военный шишак и меч.

— Чу, барин встал! Я пришлю к тебе Ваську,— сказал Филипп, и побежал на звон колокольчика.

В ожидании Васьки Емельян Герасимович зевал. Пришел Васька.

— Ты Васька?

— Васька.

— Давай, брат, одеваться.

— Во что ж?

— Во что! а вот в это военное платье, что с шлемом и с мечом.

Васька достал рыцарский костюм и торопился наряжать зевающего Емельяна Герасимовича, в надежде посмотреть сквозь двери, как он будет ломать опять комедию.

Глава шестая

О том, как Емельян Герасимович превратился в Захария Эразмовича

Представьте себе следующую живую картину, если только она возможна в наш век: представьте себе почтенного старца, который обхватил обеими руками голову рыцаря крестовых походов, припавшего перед ним на подушку, лежащую на полу, обхватил голову рыцаря и собирается с духом что-то сказать. Может быть, эта живая картина представляет великого магистра, возлагающего

орден золотого руна на посвящаемого в рыцари? но на старце, вместо шитой пурпуровой мантии, белый халат-*пикэ,* вместо сапогов с золотыми шпорами — туфли, на голове напудренный парик с пучком; притом же действие происходит не в зале ордена, а в обыкновенном покое вроде спальни; старец погружен в вольтеровские кресла, и нет ни одного свидетеля, нет ни командора, ни рыцаря. Может быть, эта живая картина представляет, как отец в средние времена благословлял сына своего на погибель туркам, увещал его служить без страха и порока, внушал вражду ко всему, что носит чалму, брал с него обет истреблять без пощады луну и всех, кому обещаны на том свете огненные объятия гурий? и то нет. Старец, после долгого молчания, вздохнул глубоко, отер слезы и сказал рыцарю:

— Ну, брат Емельян, я виноват перед тобою! поди, друг мой, оденься прилично!

— Что ж такое, что вы виноваты; виноватого бог прощает,— сказал рыцарь.

— Я вижу, у тебя добрая душа; да поди, поди, переоденься скорей! я не могу смотреть на тебя в этом наряде!

— Какой же костюм еще проветрить на плечах, Эразм Львович? — спросил рыцарь.

— Полно, брат, полно, не упрекай меня, что, не знавши человека, не спросив даже, кто он, сделал из него шута; да не я над тобой, а ты подшутил надо мною, и прав; умно! нельзя лучше наказать!.. Забудь обиду!.. ступай, оденься прилично.

— В партикулярное платье? — сказал рыцарь и, подняв шлем, который валялся в ногах, надел на голову и вышел; а старец задумался, взял письмо, лежавшее на столе, пробежал его, уронил на него несколько слез, позвонил и сказал вошедшему Филиппу:

— Накрой здесь на два прибора; да когда оденется Емельян Герасимович, проси его сюда. Ты сам одень его, да прошу обходиться с ним почтительно, понимаешь? Да... позови ко мне человека, который приехал с письмом.

Вскоре знакомый нам человек вошел и поклонился Эразму Львовичу.

— Послушай, любезный Пафнутий, тебе сама Наталья Дмитриевна поручила мне доставить письмо?

— Где, батюшко, сама? я уж не застал ее в живых!

Пафнутьич прослезился и продолжал:

— Приехали, ан уж в доме властвует сестрица Прасковья Дмитриевна. Емельяна Герасимовича на глаза не пустила... а меня в кандалы, да в деревню отправила... Заболел я, сударь, с горя, не о себе, а об Емельяне Герасимовиче; ведь Наталья Дмитриевна на мои руки его поручила, беречь велела как око свое. Он же такой добрый, доверчивый, только ленивой не поедет на нем верхом. Приехал я в деревню: не прошло недели, получаю письмо от Василисы Кондратьевны, что была экономкой при Наталье Дмитриевне; пишет, что прилагаемое письмо покойница барыня поручила ей отдать мне для непременного доставления по надписи; а, если не найду вас, батюшко, в живых — то сжечь. Что делать? где искать? как искать? Адреса на письме не написано; а я человек невольной; да надо же было исполнить последнюю волю покойной барыни. Как быть? упросил людей в деревне, чтоб не говорили никому, что я отлучусь на неделю с места. Нанял лошадей, да в Москву. Туда, сюда, расспрашивать. Молебен отслужил, как узнал, что вы, батюшко, невдалеке от Москвы проживать изволите. Я сюда... вхожу... Господи! ей-ей, не узнать бы ни ввек Емельяна Герасимовича, если б он сам не бросился ко мне на шею и не крикнул — Пафнутьич! Признаюсь вам, батюшко, и я попрослезился, как взглянул на него... что за наряд! чего доброго... по доброте его души, пожалуй, и в шуты записать его можно. Батюшко, Герасим Львович! (Пафнутьич упал в ноги) — ведь он воспитанник Натальи Дмитриевны... любила она его как родного сына... ему не приходится быть комедиантом...

— Полно, Пафнутий, откуда ты это взял...

— Да люди ваши сказали, что...

— Полно, полно... Это только шалость его, чтоб позабавить меня... А в доказательство, послушай, Пафнутьич, по старому знакомству, покойница Наталья Дмитриевна поручает его на мои руки. Я свято исполню ее волю и сделаю для него больше, чем она могла бы ожидать... Я его усыновлю... я не имею ни детей, ни близкой родни... он будет моим наследником.

— Батюшко, Герасим Львович! — вскричал Пафнутий, снова бросаясь в ноги и целуя руки у старика,— позвольте же мне взглянуть еще раз на него; да уж я пойду доживать век в горе!

— Нет, тебя я выкуплю; ты, Пафнутьич, будешь жить при Емельяне Герасимовиче.

— Господи, другой радости мне не нужно!

— Скажи мне, с какого года он воспитывался у Натальи Дмитриевны?

— Сколько знаю, лет с трех; меня в дому не было, я управлял в именьи Платона Андреевича, а застал Емельяна Герасимовича, так сказать, уже годков пятнадцати. Платон Андреевич — не простит ему бог! — терпеть не мог Емельяна Герасимовича; при Наталье Дмитриевне — ничего, только учит его стихи говорить; а как нет ее дома, так и пойдет забавляться им, да учить говорить какие-то бон-мо. Что ж за премудрость с толку сбить младенца,— подчас и взрослого можно в дурака окрестить, умному отрастить уши выше головы. Да честное ли это дело? Так-то и Платон Андреевич бог знает что делал с Емельяном Герасимовичем; а он по доброте души повинуется, все делает, что прикажут. Жалко смотреть бывало. Так бы он и пропал, если б двоюродный братец Натальи Дмитриевны, Артамон Матвеевич, не определил его в свой полк.

— Артамон Матвеевич? неужели? знаю; так он на службе был?

— Как же, батюшко; Наталья Дмитриевна, отпуская его в полк, знала, что я люблю его и приставила меня к нему в дядьки. Все пошло хорошо; да на беду, в Москве, влюбись в него дочка Артамона Матвеевича, Варвара Артамоновна, и он полюбил ее. Уж бог знает, каким образом догадался Артамон Матвеевич, только так озлобился, что сначала морил-морил под арестом Емельяна Герасимовича, а потом послал его за чем-то одного в Москву, занятую французами — верно за тем, чтоб извести...

— Ах он нехристь! да если б я знал! — вскричал Эразм Львович.

— Спас же бог! Проходит день, другой, неделя — полк в походе; а Емельяна Герасимовича нет. Спрашиваю Артамона Матвеевича, куда изволил послать барина. «А кто его посылал, говорит, сам отправился побывать у Натальи Дмитриевны, да и пропал». Что делать мне; поехал я в деревню к Наталье Дмитриевне, и там нет; а она чуть не умерла с отчаянья и послала меня искать его живого или мертвого. Где ж искать? Пошел я...

— Здравствуй еще раз, Пафнутьич! — вскричал Емельян Герасимович, вбежав в комнату франтом, в венгерке.

— Ах, ангел ты мой! — повторял Пафнутьич, целуя руки Емельяна Герасимовича,— я уж и не думал увидеть тебя.

— На огне не тонет, на воде не горит! — сказал Емельян Герасимович, обнимая Пафнутьича.

— Обними же и меня еще раз,— сказал Эразм Львович, протягивая руку к нему,— называй меня не иначе, как отцом: я тебя усыновляю.

— Отцом? неужели? это мне по сердцу! — сказал Емельян Герасимович, обнимая старика; — Платон Андреевич не позволял мне называть себя ни отцом, ни батюшкой, ни папинькой, ни тятинькой, ни родителем: ты, говорит, поросенок... У всех отцы, а у меня только нет...

— Сам он животное! осел! — вскричал сердито Эразм Львович, обнимая снова Емельяна Герасимовича; а Пафнутьич, радуясь за барина своего, целовал у старика руку.

— Скажи пожалоста, где ты служил?

— Сперва в милиции, а потом в артиллерийской бригаде.

— Чем?

— Офицером.

— Что ж тебя понудило выйдти в отставку?

— Да вот он приехал и сказал, что Наталья Дмитриевна требует, чтоб он привез меня живого или мертвого к ней. Нечего делать, я и поехал.

— Ведь в отставку-то вы еще, сударь, не подавали, надо писать прошение,— сказал Пафнутьич.

— Что за прошение,— сказал Эразм Львович,— никакого прошения не нужно! Притвори-ко двери... Я его усыновляю вместо родного моего сына... Ведь я был женат в Италии, Пафнутьич; сын Захарий умер, жена... также умерла, по крайней мере для меня; но, к счастью, бумаги сохранились... С этой минуты ты, любезный друг, вместо Емилия будешь называться Захарием, слышишь? Что ты, Пафнутьич, качаешь головою?

— Да как же, батюшко Эразм Львович, не грех ли будет называться Емельяну Герасимовичу чужим именем.

— Причуды!.. только этим одним средством я успокою совесть, понимаешь? — прибавил Эразм Львович тихо Пафнутьичу.— И все это умрет между нами. Обними же меня, Емилий; с этой поры в тебе ожил мой Захарий! мой сын, мой родной сын!

— Слава богу, что ожил! — сказал Емельян Герасимович, обнимая Эразма Львовича.

— Помни же! — сказал, прослезясь, Эразм Львович,— помни, ты с этой минуты Захарий, а не Емельян, слышишь? называй меня отцом.

— Слышу, папа; только престранное имя, Сахар, Захар!

— Ты привык все шутить!.. Я не люблю шуток!

— Батюшко, Эразм Львович,— сказал Пафнутьич тихо,— грех грехом не выкупают, батюшко; нельзя ли просто усыновить, не меняя имени Емельяна Герасимовича... уж как-то привыклось к нему, уж так, что, вот, ей-богу, и не знаю как сказать...

— Ты глуп, Пафнутий! Здесь нет греха; если б я чрез это полное усыновление лишал кого-нибудь, чего-нибудь — так! но у меня нет кровной родни.

— Ваша воля, сударь,— произнес Пафнутьич, вздыхая.

— Так помните же, Емельян Герасимович умер, не существует; а жив Захарий Эразмович, мой родной сын, возвратившийся из Италии... О чем ты опять прослезился?

— Да как же, сударь, не прослезиться: вы изволите говорить, что Емельян Герасимович умер...

— И, конечно, умер,— сказал Емельян Герасимович, которого и мы с этой поры будем называть Захаром Эразмовичем,— умер как нельзя лучше; ты не знаешь этого, потому что тебя не было со мной. Емельян Герасимович на том свете.

— А вы-то что? — спросил Пафнутьич сердито.

Эразм Львович, приняв слова Захария Эразмовича за шутку над малодушием Пафнутьича, невольно захохотал.

— А вы-то что? — повторил Пафнутьич.

— Я-то что? — спросил Захарий Эразмович.— Как что?

— Да, извольте-ко сказать.

— Ну, полно шутить! он мой сын Захарий, и кончено!

— И кончено! — прибавил Захарий Эразмович.

— Бог с вами, Емельян Герасимович, у вас все чудное такое в голове! — проговорил Пафнутьич.

— Не Емельян Герасимович, а Захарий Эразмович! — сказал Эразм Львович.

— Захар Герасимович... так Захар Герасимович, уж, право, и не знаешь, как и говорить-то.

— Ну, я устал,— сказал Эразм Львович; — повторяю: все, что было, то было между нами. Теперь ты слуга не какого-нибудь сироты, без имени, а моего сына и наследника.

— Ах, этому-то я рад, сударь! — сказал Пафнутьич, улыбнувшись сквозь слезы и поцеловав руку Эразма Львовича и своего барина.

— Ей-богу, уж как я рад-то счастью Емельяна...

— Тс!

— Виноват! Емельяна...

— Захарий!

— Виноват! Захара Герасимовича; рад счастью Емельяна... ох! Захара Герасимовича; да ведь как-то с непривычки, бог ее знает...

— Ну, ну, ну, ступай, вели накрывать на стол на два прибора, вот тут, подле меня.

— Слушаю, сударь.

— Знаете что, папà,— сказал Захарий Эразмович по выходе Пафнутьича.

— Что, друг мой?

— Переменить бы кстати имя и Пафнутьичу.

— Опять шутки! тебя, я вижу, приучили паясить! Я этого терпеть не могу.

— Ну, можно и без этого обойтись.

— Вот это гораздо лучше.

— Так я пойду.

— Куда?

— В сад.

— Прогуляться?

— Прогуляться.

— Ну, прогуляйся, покуда на стол накроют.

Пробираясь в сад, Захарий Эразмович увидел на крыльце своего дядьку, который сидел на лавке, отирая слезы, что-то бормотал про себя.

— О чем ты плачешь, Пафнутьич? — спросил он его.

— Как же, сударь, не плакать-то, ведь мне надо ехать, опять оставлять вас...

— Зачем оставлять? поедем вместе, когда тебе здесь не нравится.

— Что вы это, барин! Бог вам послал благодетеля... родного отца, а вы от него!

— Как же быть-то; если надо ехать, так нечего делать.

— Бог с вами! Кому надо ехать? мне надо ехать.

— Ну, так и мне надо ехать!

— Куда, сударь?

— Как куда? туда куда... ну, куда и ты.

— Бог с вами! В двор Прасковьи Дмитриевны? да она вас велит проводить со двора. Да и мне беда будет, что вас привез. Нет уж, сударь, мне горче вас, а пришло терпеть, покуда Герасим Львович исполнит обещание, купит меня; тогда уж я вечно ваш.

— А мне что ж делать до того времени, покуда ты будешь вечно мой? — спросил Захарий Эразмович.

— Добрый мой барин,— сказал Пафнутьич, целуя руку Захария Эразмовича.— Бог вам послал счастье, теперь вы не сирота, Герасим Львович принял вас за родного сына, теперь, батюшко Емельян... ох! как-бишь?.. как зовут-то вас теперь?

— Как зовут? как-бишь?.. ну, прекрасно! и я позабыл!

— Ох, как-бишь?

— Постой, я спрошу Герасима Львовича.

— Нет, нет, нет, уж после, сударь, Емельян Герасимович.

— Опять Емельян Герасимович?

— Э, да все равно; не о том дело: я говорю, что Герасим Львович признает вас родным сыном, передает вам наследие; так вы потешьте его на старости лет, исполняйте его волю, заслуживайте его любовь, уважайте его как родного отца; да при случае напомните и обо мне, дескать: вы обещали моего Пафнутьича не оставить своими милостями...

— Ну, хорошо, Пафнутьич,— сказал Захарий Эразмович,— как ты говоришь, так тому и быть.

— Захар Герасимович, барин, батюшка ваш, приказал просить кушать! на стол подано-с. Они думали, что вы в саду-с! — прогремел официант с салфеткой в руках.

— Постой...

— Ступайте, ступайте, батюшко Захар Герасимович, Герасим Львович ждет вас,— сказал Пафнутьич.

Глава седьмая

О том, как Артамон Матвеевич ошибся, приняв Захария Эразмовича за Емельяна Герасимовича

Емельян Герасимович... ох! Захарий Эразмович сел кушать, и так кушал, что возбудил необычайный аппетит в Эразме Львовиче. Старик забыл строгую диэту, пред-

писанную ему, и на радости, что он уже не одинок и есть существо, которое может назвать своим, выпил огромный бокал шампанского за здоровье сына Захария, другой за память Натальи Дмитриевны, развеселился, кликнул музыку и испытал в первый раз истинное, полное наслаждение.

Кто не испытал одиночества, не оборачивался на все четыре стороны с тяжкой думой: где ж мои? и не видывал той пустыни, где на голос сердца никто не отзовется,— тот не понимает ни прямой потребности жизни, ни истинного недостатка.

Радость Эразма Львовича была нарушена сильным приступом подагры. Захарий Эразмович день и ночь сидел подле старика; никому не позволял ворочать его с боку на бок, сам пеленал больную ногу. Эразм Львович утешался его заботами и в первый раз стал и сам заботиться о чужом спокойствии.

— Ты, друг мой, уж третьи сутки не спишь, ты истомишься, приляг здесь на диван, усни,— сказал он наконец Захарию Эразмовичу.

— Да зачем же мне спать, папа? чего я не видел во сне? — спросил Захарий Эразмович.

— Как зачем спать? я тебе говорю, Захарий, что без сна можно истомиться, заболеть. Другое дело, я болен, не могу спать.

— Если вы не можете, так и я не могу, папа,— отвечал Захарий Эразмович; и напрасно Эразм Львович уговаривал его лечь. Наконец Эразм Львович притворился, что уснул; но и это не помогло.

— Что ж ты не ложишься? вот я заснул и опять засну.

— Вы, папа, спали? да кто ж так спит?

— Да как же спят?

— Как как? да вот как: надо раскинуться на постеле, разметать руки и ноги, захрапеть, и уж тут хоть труби в уши — ничего! Спи, малютка, почивай, глаз своих не открывай!

— Ох, не смеши меня, как ты привык шутить!.. Всякий, друг мой, спит по-своему.

— Ну, а по-вашему уж лучше и не спать.

— Какой ты чудак! — сказал Эразм Львович и, почувствовав боль в ноге, невольно стиснул глаза и замолчал.

В это время звезда нашего героя с ясного, чистого неба смотрела на него, утешалась, что устроила судьбу

его; но, получив тьму неудовольствий от созвездия за особенные об нем попечения, придумывала, как бы упрочить счастье Емелюшки. «Над ним нужен постоянный надзор,— размышляла она,— глаз дядьки Пафнутьича недостаточно, хоть уж кормильца лучше Пафнутьича нигде не найдешь. Надо его женить, во что бы то ни стало женить. Жены вообще любят заботиться о судьбе мужей своих; притом же: за слепого мужа жена видит, за немого — говорит, за глухого — слышит, за глупого — судит и рядит, за ленивого — дело делает, а за умного делает глупости. Следовательно, жена во всяком случае есть необходимая вещь для житейского равновесия. Для моего Емелюшки нужно доброе любящее существо, с простым смыслом. Вот прекрасное существо была Каллироя, Коленька; как хорошо она влюбилась в него! как бы хорошо я их судьбу устроила. Никому бы и в голову не пришло, что Емелюшка не французский генерал; да и того не удалось! Это ужасно! Надо же было тут вмешаться Змею Горынычу!.. Верно, судьба моему Емелюшке жениться на Вареньке!.. Помирюсь с ее звездочкой».

И вот, звезда Емелюшки отправила ясный луч к подруге, которая светилась в соседнем созвездии.

— Послушайте, моя милая, помиримтесь!

— Нет-с!

— Помиримтесь!

— Нет-с! вы меня совсем отуманили! сами предложили соединить вашего Емелюшку с моей Варенькой, а потом и на *попятный двор!* Я заставила ее влюбиться без памяти в вашего Емелюшку; а у вашего Емелюшки и думки об ней не было.

— Кто это вам сказал?

— Не кто сказал, а я вам говорю! не он ли обжег поцелуями ручку, да еще не одну, а обе, свел с ума девушку, да и тягу от нее?

— Свел с ума! как это вам не стыдно говорить!

— Да-с! вы думаете, что горячий поцелуй ручки ничего не значит для неопытной девушки?

— Признаюсь!

— А я вам говорю, что это хуже антонова огня: в один миг проникает до сердца.

— Так я вам говорю, что мой Емелюшка, кроме Вареньки, до сих пор никого не любил.

— Хм!

— Нет, не хм! а правда. А я не виновата, что судьба развела их на время, да это и к лучшему: они тогда еще были очень молоды.

— Хм!

— Нет, не хм! а правда. Помиримтесь, соединимте их. Посмотрите, их сама судьба как нарочно сблизила. Артамон Матвеевич вышел в отставку, старый знакомец, сосед по именью Эразму Львовичу; а Емелюшка теперь наследник Эразма Львовича. Ну, не к лучшему ли все это?

— Подумаю.

— Нечего думать; он любит Вареньку, она его любит, отцы старые друзья, рады будут соединить детей. Ну?

— Ну, хорошо. Кажется, препятствий быть не может.

— Ни малейших. Я за Емелюшку ручаюсь; поручитесь за Вареньку.

— Ручаюсь; она никому не отдаст руки, кроме Емелюшки!

— Отцов согласим; в отношении же всех посторонних обстоятельств я буду настороже.

— И я.

— Ну, это верно!

— Верно!

— Прощайте, моя алмазная!

— Прощайте, свет мой!

На другой день прибыл от Артамона Матвеевича гонец с поклоном и с извещеньем, что он вышел в отставку, прибыл благополучно в свое поместье и желает посетить Эразма Львовича.

— Артамон Матвеевич! рад, рад, проси его! Жду его! Один он приехал?

— С дочкой Варварой Артамоновной.

— С дочкой? Когда ж он хотел приехать ко мне?

— Чай, скоро будет, меня послали вперед.

— И прекрасно! скачи навстречу и скажи, что жду дорогого гостя.

В это время Захария Эразмовича не было дома; он провожал Пафнутьича, который отправлялся в деревню, куда сослан был Прасковьей Дмитриевной. С ним отправлялось письмо, в котором Эразм Львович просил Прасковью Дмитриевну уступить ему Пафнутьича с семьей, понеже, дескать, этот старик имеет сведение в садоводстве, а ему нужен садовник.

— Знаешь, Захарий, друг мой, кто едет ко мне в гости? — сказал Эразм Львович, когда Захарий Эразмович возвратился с проводов дядьки.

— Не знаю, папа,— отвечал он.

— Твой старый начальник.

— Какой старый? у меня старых начальников не было.

— Э, чудак! какой ты шут! что ж, твой Артамон Матвеевич молодой человек?

— Артамон Матвеевич! неужели? Вот беда! Он меня посадит под арест, что я не явился в полк; скажет, что я беглый.

— Ха, ха, ха, ха! — прохохотал Эразм Львович; — нет, уж здесь наша воля; здесь мы сами его арестуем!

— Да знаете ли, папа, как он на меня тогда рассердился за Вареньку? страх! чтоб я, говорит, за паршивого щенка отдал дочь свою!

— Ах он собака, гордец! Посмотрим! Послушай, Захарий, ты не шутя любишь Вареньку?

— Какая же шутка, папа; Наталья Дмитриевна обещала во что бы то ни стало женить меня на ней.

— Что ж помешало?

— Как что? я вам говорю, что́ он сказал.

— Ну, так я женю тебя на Варе!

— Поздно! она, я думаю, сгорела в Москве!

— Кто это тебе сказал?

— Нет, уж я знаю, что это не ложь.

— Аа! понимаю! Это для того сказали тебе, чтоб ты забыл, что она и на свете существует. Не бойся, живехонька.

— Неужели? Вот странное дело! Стало быть, и Наталья Дмитриевна жива?

— Нет, друг мой, твоя maman уже не существует; а Варенька будет твоей.

— Хм! Артамон Матвеевич сказал: чтоб я за какого-нибудь Емельку отдал дочь свою!

— Емельку? дурак он! посмотрим! Теперь ты, душа моя, не какой-нибудь Емелька, а Захарий Эразмович! Посмотрим, как-то он откажет отдать Вареньку за моего сына и наследника!.. Только, избави тебя бог, ты не проговорись ему, будь с ним как незнакомый, как будто с роду и не видывал его.

— А если он вдруг скажет: а! Емельян!

— Скажи ему: извините, я не Емельян, а Захарий Эразмович; а уж мое дело будет рекомендовать тебя.

А лучше всего ни слова не говори покуда; я буду за тебя говорить и отвечать.

— А если Варенька узнает меня, и ей не говорить?

— Ну, как же можно ей говорить! ты скажешь ей, а она отцу, а он еще кому-нибудь, и все пропало. Уж сказано тебе: ты и забудь, что был Емельяном, которого могли называть щенком; теперь ты мой сын, Захарий; понимаешь? мой, душа моя! поди сюда, поцелуй меня!

— Чу, кто-то приехал, папа,— сказал Захарий Эразмович, поцеловав Эразма Львовича; — верно, Артамон Матвеевич; у меня что-то душа не на месте.

— Ого! хорошо, верно, он внушил в тебя страх к себе — а? Экой строгой командир! Да страху-то твоему я не верю; ты в меня, неробкого десятка.

Вошел Филипп и доложил о приезде полковника Артамона Матвеевича.

— Проси! — сказал Эразм Львович.

— Какой тут страх, папа,— сказал Захарий Эразмович; — не страх, а вот это, как это называют, что вот так и вытягивает во фрунт перед командиром?

— Ты смотри вправду не вытянись перед ним по привычке; теперь у тебя один начальник: я!.. Ах, Артамон Матвеевич!

— Эразм Львович! Господи! да вы ли это?

Старики обнялись.

— Да вы ли это? — продолжал Артамон Матвеевич,— молодец, красавец, светский человек! бывало, зависть берет, все так за ним и ходит...

— Что ж делать, Артамон Матвеевич, двадцать пять лет не шутка!

— Да, двадцать пять лет! ай-ай, ай-ай, сколько воды утекло!

В это время Артамон Матвеевич взглянул на Захария Эразмовича, остановил на нем взор, откашлянулся, вынул платок... Захарий Эразмович смотрит прямо ему в глаза, как сова, и — ни слова.

— Ну, как, что, с семейством здесь или один, Артамон Матвеевич?

— Слава богу... один... с семейством... только дочь Варенька...— отвечал Артамон Матвеевич, продолжая искоса всматриваться в Захария Эразмовича.

— Еще не замужем?

— Нет, нет, куда еще, молода... я в походе был...

— И прекрасно; а у нас здесь женихи есть,— сказал Эразм Львович; — я еще и не рекомендовал вам моего сына Захария...

— Сына? — перервал Артамон Матвеевич с удивлением, встав с места и приближаясь к Захарию Эразмовичу.

— Прошу любить и жаловать, это мой сын,— продолжал Эразм Львович.

— Сын? неужели?.. Господи боже мой! что за чудо! точно! — перервал Артамон Матвеевич,— Емельян, именно Емельян!

— Обознались, почтеннейший Артамон Матвеевич,— сказал Эразм Львович,— где ж вам видать его?

— Как! помилуйте! его не видывал! воспитанника моей сестры, Натальи Дмитриевны, который был у меня в полку?

Захарий Эразмович дулся, пыхтел, уставив глаза на Артамона Матвеевича, и чуть-чуть не изменил себе. Кивнув головой в подтверждение слов своего бывшего командира, он уже готов был вскрикнуть: «Именно, именно так, папа! Артамон Матвеевич правду говорит!»,— но Эразм Львович предупредил его.

— Что вы это говорите, Артамон Матвеевич! Захарий, поди сюда! За какого воспитанника принимаете вы моего сына? Всмотритесь в него.

— Смотрю, смотрю! он! ну вот он, да и только!

— Да кто он?

— Да он, Емельян!

— Вот забавное сходство! — сказал Эразм Львович.

— И очень забавное! — сказал Артамон Матвеевич.— Черт знает, как две капли воды!.. Ей-богу! сестра Наталья Дмитриевна взяла какого-то сироту на воспитанье. Своих детей нет, так хоть чужого нянчить. И вынянчила дубину, не знает, куда деваться с ним. А на тот раз я пришел в Москву с полком. Платон Андреевич и говорит мне: «Нельзя ли, братец, определить вот этого болвана на службу». Почему не так; взял да и определил его, да еще записал прямо офицером. Что ж бы вы думали? Привез я дочь свою Варю к сестре Наталье, а этот и подластился к ней. Долго ли девку с ума свести, особенно при помощи любезной тетушки...

— Захарий! — сказал Эразм Львович, перервав слова Артамона Матвеевича,— ты, я вижу, обижаешься, душа моя, что мой добрый приятель, Артамон Матвеевич, обознавшись, принял тебя бог знает за кого.

— Конечно, Артамону Матвеевичу нельзя было не обознаться, потому что я не Емельян Герасимович,— сказал Захарий Эразмович.

— Ну, извините старика; вот, по голосу я вижу, что вы совсем другой человек: Емельян говорил ясно, а вы немножко шепелявите. Помиримтесь, помилуйте меня. Ей-богу, мне очень приятно, что у моего почтеннейшего друга такой достойный сын. Знаете, сходство ужасно обманывает. Я же зол на этого мерзавца Емельяна. Представьте себе, Эразм Львович, вздумал просить у меня Варину руку. Согласитесь, приятно ли мне за какого-нибудь свиного сына, голыша, выдавать дочь?

— А если он не свиной сын? — сказал Захарий Эразмович.

— Ну, собачий, все равно,— отвечал Артамон Матвеевич.

— А если...

— Захарий! молчи! ты, я вижу, готов заступаться за всех,— сказал Эразм Львович, бросив на него строгий взгляд.

— Не сердитесь, Эразм Львович, молодежь немножко безрассудна; да не о том дело: я что-то хотел сказать, да и позабыл.

— Вели-ко, душа моя, Захарий, подать нам закусить чего-нибудь; да распорядись об обеде, а мы между тем побеседуем,— сказал Эразм Львович.

Захарий Эразмович вышел распоряжаться, а старики вспомнили прежние времена, помолодели, особенно Артамон Матвеевич, рассказывая подвиги свои с дружиной ратников. Когда пыл рассказа поутих и история Артамона Матвеевича кончилась отставкой и потребностью опочить от трудов, Эразм Львович склонил хитро речь на упроченное счастье детей и на высокое наслаждение быть дедом прекрасных внуков. Артамон Матвеевич прослезился:

— Что, братец, Эразм Львович,— сказал он,— я боюсь, что скверправец Емелька сглазил мою Варю. Бывало, какая веселая девка, полненькая, румяная, а теперь, бог ее знает, как будто все о чем-то думает, исхудала. Бывало в голове все женихи, от окна не отгонишь, все высматривает, не пройдет ли какой-нибудь суженой; а теперь из темного угла не выгонишь.

— Э, любезнейший Артамон Матвеевич, это-то и есть признак, что пора замуж, и ждать нечего.

— По мне хоть сейчас; слава богу, приданое будет и замужем с голоду не умрет.

— Артамон Матвеевич, ведь, чаю, не нищий же какой-нибудь женится на твоей Варе. Вот, например, хоть бы и мой сын вздумал посвататься: он не нуждается в женином приданом: у самого будет до 1000 душ.

— Что ж, за чем дело стало? — сказал Артамон Матвеевич.

— А вот, постой, приедем смотреть невесту; надеемся, что понравимся, отказу не будет.

— Ей-богу! приедешь, Эразм Львович? приезжай! ей-богу, приезжай!

— Приеду.

— Ну, когда?

— Дело не буду откладывать, а дня назначать не могу: я совершенно завишу от своей ноги.

— Э, нога! а кто лечит?

— Теперь никто, сам; целые пять лет медицина делала над ней свои опыты лечения подагры; а я между тем уверился, что то, что́ здорово людям при Иппократе, теперь никуда не годится, теперь совсем другое нужно.

— Что, не заговоры ли? Ну, Эразм Львович, уж этому я и удивляюсь! бывало ничему не верил, а теперь вздумал лечиться заговорами! Кто ж это тебе заговаривал ногу? чай какие-нибудь знахари?

Эразм Львович невольно усмехнулся.

— Нет,— продолжал Артамон Матвеевич,— я не поверю себя этим мошенникам. Я подговорил к себе в деревню доктора; знаю, что, как случится заболеть, так есть под руками помошь. Советую и тебе, Эразм Львович, полечиться у него. Чудный человек! латынской кухни сам терпеть не может, говорит, что простой кухней также можно лечить; здоровье, говорит, зависит от выбора соответственной желудку пищи. У меня уж так и готовят по его назначению.

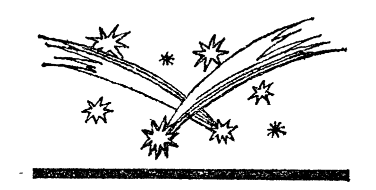
— Готово обедать,— сказал Захарий Эразмович, входя в комнату.

— Пойдем-ко, пойдем, сосед, обедать, у меня легкой, диэтной стол,— сказал Эразм Львович; — помоги мне, душа моя, Захарий, привстать.

Захарий Эразмович повел отца к столу под руки.

— Удивительное сходство с первого взгляда! — думал Артамон Матвеевич, смотря на Захария Эразмовича.— Вот что скажет Варя, когда увидит его.

Конец третьей части



ЧАСТЬ IV

Глава первая

О том, как и Варенька думала, что это он, ан вышел не он

После славного сытного корма и пьяного питья, Артамон Матвеевич распростился с Эразмом Львовичем. Эразм Львович на днях обещал приехать к нему.

— С сыном,— сказал Артамон Матвеевич, обнимая Захария Эразмовича.— Захарий Эразмович, поторопи, любезный друг, отца. У меня, брат, есть дочка, красавица, так оно, знаешь ты, и не худо; приволокнешься.

— Покорно благодарю-с! — отвечал Захарий Эразмович.

— Да, да, приволокнись,— прибавил Артамон Матвеевич, у которого язык прилипал уже к гортани.

— Нет, покорно благодарю! — сказал Захарий Эразмович по отъезде бывшего своего начальника.

— Что такое? — спросил Эразм Львович.

— Опять приволокнись; а как я приволокнулся по его же приказанию, так такую поднял кутерьму.

— Теперь не бойся. Дело решено, Варя наша. Разумеется, покуда ты был не более как сирота, приемыш, он не отдал бы за тебя дочери. Ну, а теперь, за моего сына — дело другое.

— Разумеется, другое,— отвечал Захарий Эразмович,— да я знаю, что он опять привяжется ко мне.

— Женю тебя, душа моя; если даст бог, дождусь внука... тогда легко будет и умирать.

— Конечно,— сказал Захарий Эразмович,— все-таки будет веселее, когда Вареньку мы прикомандируем сюда: я ни шагу от вас, а она ни шагу от меня.

— Именно, душа моя, жена не должна рыскать от мужа.

— Бывало Платон Андреевич: «Куда ж ты, Наташенька?» А Наталья Дмитриевна молчит. «Тебе я гово-

рю!» — «А я терпеть не могу запросов».— «Минуты со мной не посидит! Никакой нет привязанности к мужу!» — «Да-с, я не люблю быть привязанной! я не собака!»— «Да-с, другой бы муж, сударыня, и держал вас на привязи, чтоб не рыскали!» — «Ох, мне дурно! мне житья нет дома! грубость, брань! это ужас! подавайте карету!..» — и поедет. А Платон Андреевич ко мне, возьмет за ухо, да и говорит: «Ну, мордашка, читай стихи!» Я и читаю: «Коза, коза, моя краса! серые глаза, льняная коса!..»

Эразм Львович рад был слушать рассказы Захария Эразмовича о житье-бытье Платона Андреевича и Натальи Дмитриевны; но не мог воздержаться от смеху и прерывал их словами:

— Ох, не смеши меня, мочи нет больно!

Между тем Артамон Матвеевич возвратился домой.

— Ну, Варя,— сказал он, целуя дочь,— у нас будет на днях гость.

— Какой гость, папинька? — спросила Варенька.

— А такой гость, который будет тебе по сердцу.

— Я не знаю, папинька, какой гость.

— А такой гость, какого лучше тебе и не надо, понимаешь?

— Право, не понимаю, папинька.

— Ну, дурочка, если не понимаешь, так ложись да спи, верно, увидишь его во сне.

Варенька пожелала отцу покойной ночи и отправилась в свою комнату, где мамушка ее, вооружив нос накладными очками, сидела подле столика и вязала чулки.

В старину, изволите ли видеть, когда еще были свои родовые, наследные нравы и обычаи, и когда принимать чужих никто еще и не думал, водились на Руси мамушки, седенькие старушки из барских барынь. На их руках росли боярышни. Они берегли девушек пуще своего глаза от обмороченья, от узороченья, от обаянья, от черного глаза и от всякой порчи. Стерегли чувства, как птенчиков, ухаживали за красотой, как за румяным цветком. По праздникам — с ними в храм божий; в будни надзирали за их рукодельем. В долгий зимний вечер скажут сказочку, уложат в пуховую перинку, под соболье одеяло, перекрестят: «Спи, голубушка моя, с богом!» — и ночью раза три встанут: «Спит ли, моя голубушка?» Бывало — было же такое время невежества! — девушка выйдет из-под их надзору замуж и ровнехонько ничего не знает: ни сорочьего щебетанья, ни павлиных

перьев, ни лисьих уловок, ни надувной полноты, ни накладной красоты. Чиста, моя голубушка, и тиха, как лебедь белая, пятнышка черного нет ни на душе, ни на пере. Теперь мадам не чета мамушкам; зато девушка ровнехонько все знает, все разумеет, и то и сё и все прочее, кроме только чего-нибудь иного. Бывало, девушка выйдет замуж: что за жена! что за мать! Бывало, муж мужем, а теперь муж не муж. Дай вам бог царство небесное, мамушки, и душе вечный покой!

— Что, сударыня моя, Варвара Артамоновна, о чем призадумалась, словечка не промолвишь? — сказала мамушка Вареньке.

— Так, ничего,— отвечала Варенька.

— И, уж так, ничего! не посердился ли за что батюшка?

— И не думал.

— Хм! и не придумаю, о чем ты сгрустнулась.

— И не думаю грустить.

— Ой, неправда!

— Неправда! о чем мне грустить: папинька сказал, что какой-то гость к нам будет.

— Ой ли? что ж, сударыня, милости просим: каков гость?

— Папинька так странно сказал: тебе, говорит, он будет по сердцу. Что ж это такое?

— А! вот видишь ли! приготовляйся же, сударыня, встречать гостя.

— Это для чего?

— Уж я знаю, для чего.

— Скажи, мамушка!

— Знаю: гость-от будет какой-нибудь жених.

— Пьфу!

— Послушай, сударыня, выкинь ты из головы дурь свою! Уж не даром ты на всех женихов поплевываешь!

— Я не хочу замуж идти!

— Ой ли? и за него не пойдешь?

— За кого?

— Да вот за того, что тетенька-то Наталья Дмитриевна тебе упрочила.

— Перестань мне напоминать, мамушка!

— Ну, ну, спи, сударыня, с богом!

Но Варенька не могла заснуть: по словам отца она боялась увидеть гостя во сне. Только что начнет забываться, вдруг ей померещится какой-нибудь чучело-военный, усы закорючкой, сабля стучит о деревянную ногу;

вздрогнет Варенька, проснется с ужасом. Снова заснет, глядь, перед нею чучело-статской, перо за ухом, чернилица вместо часовой цепочки; или чучело — так, ни то, ни сё, дутик, фертик, накрахмаленной, лощеной франт, хохол улиткой. Только перед утром исчезли грезы, и в сладком, крепком сне явился кто-то и сказал: «Здравствуйте, Варвара Артамоновна! как вы поживаете, все ли в добром здоровье?»

Варенька ахнула, очнулась, окинула вокруг себя взорами: утро румяно, а она еще румянее.

Три дня прошли в ожидании гостя; и вот, перед обедом, на четвертый день, загрохотала коляска по двору, и подле крыльца раздалось невыразимое кучерское: «Прррр!» По всему дому беготня, во всех концах повещается о приезде гостей. У Вареньки опало сердце от страху. Артамон Матвеевич идет встречать.

— Эразм Львович! милости просим!.. Как бишь?..

— Здравствуйте, батюшко Артамон Матвеевич! Насилу добрался!

В то время как Захарий Эразмович заботливо помогал отцу всходить на ступеньки лестницы, где принял его в объятья Артамон Матвеевич, любопытная Варенька, взглянув в окно, ахнула, всплеснула руками и бросилась на шею мамушке своей.

— Что с тобой, золото мое? — спросила, испугавшись, мамушка.

— Мамушка, душечка, ведь это приехал Емельян Герасимович! — проговорила Варенька, обнимая свою мамушку.

— Ох, что ты, да ты задушишь!.. да тебе мерещится, Варвара Артамоновна.

— Ей-богу нет! это он! он, мамушка душечка!

— Приемыш; а ведь это отецкой сын, сударыня. Артамон Матвеевич говорил мне, что будет жених смотреть тебя: отцы-то уж согласились; вот и приехал.

— Ах, что это ты говоришь, мамушка!

— Какому же тут быть твоему любезному.

— Так это не он, мамушка? — проговорила сквозь слезы Варенька.

Опрометью прибежала снизу горничная Вареньки и сказала, что папинька зовет ее к себе.

— Одевайтесь, барышня!

Варенька не знала, верить ли своим глазам или словам мамушки. Она была в нерешительности, в сомнении и хотела идти, и боялась идти; страшно было и встретить

Емельяна Герасимовича, страшно было и убедиться, что это не он.

Мамушка, однако же, умела наговорить на ее душу столько твердости, чтоб идти на волю божью: что будет, то будет. С трепетным сердцем сошла она вниз, идет, потупив очи, чрез гостиную; вдруг кто-то навстречу ей опрометью — чуть-чуть не сбил ее с ног и ахнул. Ахнула и Варенька.

И вот, Захарий Эразмович, бежавший сказать Филиппу, чтоб достал из коляски спирт Эразму Львовичу, стоит перед Варенькой как лист перед травой.

Смущенная Варенька присела и не знает, идти ли ей далее или также не двигаться с места.

— Варвара Артамоновна! здравствуйте, как вы поживаете, все ли в добром здоровье? — проговорил, после долгого недоумения что делать, Захарий Эразмович, и подошел к руке.

— Я никак не ожидала вас,— произнесла дрожащим голосом Варенька.

— Как не ожидали? а папинька не сказал вам?

— Нет-с... извините, папинька ждет меня.

Захарий Эразмович долго смотрел вслед за Варенькой; но, вспомнив о спирте, побежал на крыльцо; а Варенька робким шагом вошла в кабинет отца.

— А! Варя! — сказал Артамон Матвеевич; — Эразм Львович, рекомендую мою дочь.

— Какая милая девица! Пожалуйте, сударыня, вашу ручку,— сказал Эразм Львович, сидя в глубоких креслах.

— А где ж сынок? — спросил Артамон Матвеевич.

— Сейчас придет. Очень рад, Варвара Артамоновна, что имею удовольствие вас видеть. Завидую Артамону Матвеевичу, что у меня нет такой дочери!

— Не завидуй; с тобой, Эразм Львович, я и дочерью готов поделиться.

— На это, любезный друг, нужно согласие Варвары Артамоновны; захочет ли она еще принять меня вторым отцом.

— Захочет, захочет; она от отцовской воли ни на шаг. Правда, Варя?

Варенька потупила очи, хотела что-то сказать, но в это время вошел Захарий Эразмович с Филиппом.

— Вот и он,— сказал Эразм Львович,— рекомендую вам моего молодца.

Артамон Матвеевич взглянул на Вареньку, но так как первое впечатление неожиданной встречи в гостиной прошло уже, то Варенька присела, немного покраснев, а Захарий Эразмович поклонился и только.

— Хм! — подумал Артамон Матвеевич,— с чего ж это пришло мне в голову находить в нем сходство с Емельяном? Уж верно, Варя также приняла бы его за Емельяна.

— Ну, я попрошу на минутку оставить меня, нога-то очень разболелась,— сказал Эразм Львович.

— Пойдемте, пойдемте,— сказал Артамон Матвеевич, взяв за руку Захария Эразмовича.— Варя, вот тебе на руки гость, проведи его по саду, займи; прошу, без церемоний; а я покуда останусь здесь. Ей! позовите ко мне Ивана Егоровича... Эразм Львович, ты, братец, как хочешь, а покажи свою ногу моему доктору; это ни на что не похоже так мучиться!

— Ох, полно, Артамон Матвеевич, какой тут доктор!

— Как какой: настоящий привилегированный, рекомендованный; неужели ты думаешь, что я поручу сохранение своего здоровья кому-нибудь?

Покуда Артамон Матвеевич расхваливал Ивана Егоровича, Иван Егорович явился налицо.

— Вот, Эразм Львович, рекомендую тебе Ивана Егоровича.

Эразм Львович сначала сердито посмотрел на вошедшего медика, довольно неловкого, но в очках и с самонадеянной наружностью; однакож, так как у всех больных есть страстишка, если не лечиться, так, по крайней мере, рассказывать про свои болезни каждому, кто готов слушать; то Эразм Львович никак не мог себе отказать в удовольствии поговорить с Иваном Егоровичем о вновь открывшемся симптоме своей болезни.

Иван Егорович был из числа тех людей, которые любят теорию одного познания, а практику другого. Ни в одной практике нельзя так утаить невежества, как в медицинской, которой все действия совершаются во внутренностях человеческих. Тут заслуги природы можно приписать себе, а свои злодеяния свалить на природу. Иван Егорович беззаботно следовал системе гонять болезнь из угла в угол, покуда она, как мышка, уйдет в щелку или, как кошка, в окошко.

Покуда Эразм Львович волею или неволею совещался насчет своей болезни с доктором, доктор понял болезнь и доказывал, что у него не подагра, а просто рев-

матизм; а Артамон Матвеевич подтверждал слова своего домашнего доктора, громогласно возглашая: «Да, да, именно так! в этом и сомневаться нечего». Захарий Эразмович с Варенькой ходили по саду.

— Как приятно вместе прогуливаться,— начал Захарий Эразмович.

— Да-с,— отвечала Варенька.

— Так вам, Варвара Артамоновна, папинька ничего не говорил обо мне?

— Ничего не говорил... Он только сказал, что вы будете к нам,— отвечала Варенька.

— А вот, видите ли, стало быть, он сказал, что я приеду жениться на вас?

Варенька смутилась, покраснела.

— Да, скажите же, Варвара Артамоновна, я хочу знать наверное, любите ли вы меня?

Варенька не знала, что делать, что говорить; так страшны показались ей эти слова.

— Да, скажите же, Варвара Артамоновна, без церемоний; ведь папинька сам сказал, чтоб вы говорили со мной без церемоний... Ведь он сказал папиньке, что рад, лишь бы вы были рады.

У Вареньки трепетали все жилки, она молчала; как испуганный страус прячет голову под крыло, так ей хотелось спрятать куда-нибудь свою голову.

— Уж я в последний раз говорю: если любите, так дайте ручку, а если нет, так бог с вами! Я уеду от вас и никогда не приеду. Хотите, чтоб я уехал?

Варенька отделила одну ручку от платочка, который держала обеими.

— Ну, теперь вы моя! — вскричал Захарий Эразмович,— сядемте на скамеечку да посидимте... Знаете ли, какое счастье! какая ручка! чудо! Я теперь вас просто буду называть Варенькой... Чего ж вы боитесь? Варенька, а Варенька! Э! какие вы! что ж вы спрятались? да бросьте платок! не хотите?

— Да зачем вам это? — проговорила Варенька.

— Как зачем? что мне за охота смотреть на ваш платок.

— Пойдемте ходить!

— Зачем ходить?

— Так.

— Вот прекрасно; будто нельзя, не ходивши, сидеть?

— Я думаю, что уж накрыли на стол; нам пора идти.

— Ну, пойдемте; я скажу, что вы мне отдали свою руку.

— Ах, пожалоста, не говорите! — вскричала Варенька.

— А если спросят?

— Ах нет, не говорите!

— А если не говорить, так как же ваш папинька и мой папа узнают, что вы отдали мне руку и сердце? Ведь вы отдали мне и сердце?

Варенька закрыла снова лицо платком и не знала, что говорить.

— Что ж, Варенька, вы не говорите?

— После, после! — произнесла тихо Варенька.

— Ну, после, так после; пожалуй, хоть тогда, когда женимся; это все равно.

— Нас, верно, ждут,— сказала Варенька.

— Пойдемте; если спросят, так уж как хотите, а я скажу, что руку вы отдали мне, а сердце осталось с вами.

— Ах, ради бога, не говорите!

— Какие вы странные! Ну, чего тут бояться?

— После, а не теперь.

— После! да я после и скажу.

— Только не здесь.

— Да кому ж мне здесь говорить?

— Не то, что здесь; не у нас, а дома, завтра.

— Завтра! а если завтра будет поздно?

— Пожалоста!

— Как хотите, Варенька; а до завтра ничего не должно откладывать.

Захарий Эразмович как будто предвидел, что *завтра* ужасно как затягивает дело.

— Я сейчас приду,— сказала Варенька, входя в залу; — не угодно ли вам в кабинет.

Захарий Эразмович вошел в кабинет, где Эразм Львович поохивал от боли; а Артамон Матвеевич уговаривал его лечиться у Ивана Егоровича.

— Где ты был, Захарий? — спросил Эразм Львович.

— Гулял в саду с Варварой Артамоновной,— отвечал Захарий Эразмович.

— Ого! У тебя премиленькая дочь, Артамон Матвеевич.

— А вот спросим, как им понравилась,— сказал Артамон Матвеевич.

— Говори-ко, Захарий, правду.

— Мне Варвара Артамоновна очень нравится.

— Ну, а ты понравился ли ей?

— Я? не совсем еще.

— Отчего же ты так думаешь?

— Да так.

— Э, да возможно ли, чтоб девушка с первого разу сказалась! Это уж мое дело узнать ее мысли. Да что ж это не подают на стол?

С этими словами Артамон Матвеевич вышел, велел подавать кушанье, а между тем позвал к себе Вареньку и, посмотрев на нее испытующим взором, спросил:

— Ну?

— Ничего, папинька,— отвечала Варенька, потупив взор и покраснев.

— А что, сударыня, отгадал я, что гость будет тебе по сердцу? а?

Варенька молчала.

— Да говори ж, моя милая!

— Вы знаете, папинька...— произнесла Варенька.

— Что я знаю?

— Что Емельян Герасимович...

— Э, сударыня! у тебя в голове по сю пору Емелька! я тебе дам Емельяна Герасимовича!

Варенька затрепетала, дыхание ее стеснилось, слезки копились-копились в очах, и она вдруг зарыдала.

— Если ты не выбьешь его из своей головы... Смотри! тс! не плакать!

Прикрикнув на дочь, Артамон Матвеевич возвратился в кабинет и вместе с Захарием Эразмовичем повел к столу старого друга своего Эразма Львовича, который едва мог ступить на ногу.

В продолжение обеда и хозяин и его доктор развлекали старика рассказами о чудесных исцелениях; Захарий Эразмович не сводил глаз с Вареньки; а Варенька сидела грустна и печальна и не смела взглянуть на Захария Эразмовича. Отец посматривал исподлобья на это равнодушие и сердился.

После обеда Иван Егорович предупредил Захария Эразмовича в помощи Эразму Львовичу добраться до кабинета.

— Варенька, а Варенька! — сказал Захарий Эразмович, оставшись с ней наедине в гостиной,— что это значит, что вы за столом не кушали, не говорили, не глядели, а все думали?

— Ах, оставьте меня! — проговорила Варенька сквозь слезы.

— Как оставьте! — спросил с удивлением Захарий Эразмович.

— Так; я не могу вам принадлежать.

— Не можете? ну, бог с вами! — сказал Захарий Эразмович.

— Послушайте! — сказала Варенька, залившись слезами.

— Если вы не хотите, так о чем же плакать.

— Ах, не сердитесь; это не моя воля.

— Чья же воля?

— Ах, не сердитесь на меня! — произнесла Варенька, взяв за руку Захария Эразмовича,— сердце мое вам принадлежит.

— Мне? Так мне больше ничего и не надо!

— Но рука моя не может вам принадлежать! Папинька запрещает мне вас любить!

И с этими словами Варенька выбежала вон из комнаты в двери, ведущие в сад.

Захарий Эразмович остолбенел. Какая-то сила повлекла его в сад вслед за Варенькой; он выбегал все дорожки, обшарил все кусты, ищет Вареньку; а между тем Эразм Львович собрался домой, и толпа лакеев ищет по всему дому Захария Эразмовича. Эразм Львович сидел уже в коляске, когда он наконец явился.

— Куда это ты запрятался с своей возлюбленной, что целый час тебя искали? — спросил Эразм Львович, когда кони двинулись с места.

— Я и не думал прятаться, папа,— отвечал Захарий Эразмович,— она спряталась, а я искал ее.

— Так вы играли в гулючки?

— Какая игра! Артамон Матвеевич запретил ей отдавать мне руку!

— Как запретил?

— А уж я не знаю, как запрещают.

— Пустяки, ложь!

— Что Варенька скажет, то не ложь; она плакала-плакала и сказала мне, что сердце ее принадлежит мне, а рука — мечта!

— Не может быть! хитрит! верно, ты ей не по душе, любезный друг.

— Я ей не по душе? А что ж это значит, что она залилась слезами, сказала печальным голосом: прощайте! и ушла.

— Так Артамон Матвеевич хитрит. Вот пусть только приедет, завтра же хотел приехать с доктором, я его допрошу! нет! я шутить не позволю над собой!..

На другой день действительно Артамон Матвеевич приехал с своим домашним доктором. Эразм Львович напал на него добрым порядком.

— Кто, я не согласен отдать дочери за твоего сына? — вскричал Артамон Матвеевич,— я хитрю? помилуй, Эразм Львович; или ты меня не знаешь? Да с чего ты это взял.

— Да так, мне показалось.

— Показалось! странный ты человек! Молодые люди не успели еще ознакомиться, а уж ты уверен, что они друг друга любят, что дочь моя рада выйти замуж за твоего сына, да я противлюсь этому! а по мне бог с ними, хоть сейчас к венцу.

Эразму Львовичу нечего было отвечать на это; в самом деле он поторопился упрекнуть Артамона Матвеевича и этим мог обнаружить метаморфозу Емельяна Герасимовича в Захария Эразмовича.

— Ну, перестань сердиться; ты знаешь, что больные привязчивы.

— Да с чего ты взял, что я говорю одно, а делаю другое? Стал бы я церемониться! просто бы сказал: извини, брат, Эразм Львович, сын твой мне не по нутру.

— Ну, ну, ну, оставим это!

— То-то же!.. Да! Иван Егорович привез тебе мазь от ноги; так уж ты, пожалоста, не кобянься, а полечись, как долг велит.

— Разве для тебя,— сказал Эразм Львович.— Только, если я таким же образом навязываю тебе на шею сына, как ты мне навязываешь доктора, то признаюсь!

— Опять! Ей-богу рассержусь и уеду!

— Ты что-то вправду сердит, Артамон Матвеевич, шутки не понимаешь.

Артамон Матвеевич в самом деле был не в духе; он подозревал, не схитрила ли как-нибудь Варенька, чтоб отклонить от себя Захария Эразмовича. В этих мыслях он ехал домой и был мрачен, отвечал на слова своего спутника, доктора, отрывисто.

— Какой замечательный человек сын Эразма Львовича,— сказал Иван Егорович.

— А что? — спросил Артамон Матвеевич.

— Я никак не ожидал, что он уже путешествовал.

— А что?

— Я полагал, что он здесь и вырос и воспитывался, и говорю ему: «Вы, я думаю, не весело провели вашу молодость в деревне, при больном родителе, и редко куда-нибудь выезжали?» — «Как редко? — сказал он с удивлением,— мне надоело ездить: я целый свет изъездил».— «Были в иностранных землях?» — спросил я его.— «Везде был, где хотите»,— отвечал он.

— Что ж тут удивительного, ведь он родился и вырос в Италии,— сказал Артамон Матвеевич.

— Неужели? как любопытно было распространить с ним разговор; но вы меня позвали к Эразму Львовичу в кабинет, и мне не удалось.

— Успеешь еще сто раз, Иван Егорович: между нами сказать, он будет мне свой.

— Ах, как это приятно!

— Только покуда не проговорись. Ручаться ни за что нельзя; может быть, не понравится дочери.

— О, верно, понравится,— сказал Иван Егорович с улыбкой, которая значила: мы кое-что заметили.

— Так ты думаешь?

— Уверен.

— Ты, брат, верно по медицине все знаешь?

— А как же, любовь есть также род болезни и проявляется в известных симптомах.

— Хитрые вы люди!

Иван Егорович распространился было о наружных признаках сердечной горячки; но Артамону Матвеевичу не хотелось рассеивать разговором душу свою. Приехав домой, он призвал к себе Вареньку и приласкал ее.

— Ты обещаешь мне быть послушной, Варя, а?

— Во всем воля ваша, папинька,— отвечала она, печально склонив головку.

— То-то же, так выкинь причуды из головы; я знаю, что покойница тетка Наталья Дмитриевна сбила тебя с пути: хм! знаю! ей хотелось женить на тебе своего приемыша Емельку! Трудно ли такой бабе свести с ума неопытную девушку! Да я уверен, Варя, что отец дороже тетки, и ты скорее исполнишь мою волю, нежели ее,— правда? отвечай же.

— Правда, папинька.

— Ну, так вот видишь ты: как тебе нравится сын Эразма Львовича Потанина?

— Какой, папинька?

— Вот что был у нас.

— Когда, папинька?

— Что ты, сумасшедшая что ли? Тебе надо напоминать, кто вчера был.

— Вчера был...— Варенька хотела сказать Емельян Герасимович, но не смела.

— Вчера был Захарий Эразмович, прекрасный молодой человек, образованный, путешествовал вокруг света, наследник до тысячи душ. Жених хоть куда и не нашему брату. Да, заметила ты, что есть маленькое сходство с Емельяном?

Варенька покраснела, смутилась, думала, что отец над ней шутит, и не знала, что отвечать.

— Тебя я спрашиваю?

— Не знаю, папинька.

— Не похож? Ну, так мне померещилось. Как же тебе нравится Захарий Эразмович? а?.. Что с тобой?

— Голова кружится,— проговорила Варенька,— что-то дурно, я пойду лягу...

— Ну, ступай, ступай! Беда с этими девками!

Варенька с трудом дошла до своей комнаты, бросилась в постель и закрыла лицо руками.

Долго не могла допытаться мамушка, что с ней сделалось.

— Ах, мамушка, не спрашивай! Ах, если б ты знала, что я сделала!

— Да что такое, голубчик мой? что такое? да скажи же мне! что за несчастье! что за беда такая случилась?

— Ах, мамушка! ведь это был сын Эразма Львовича, того больного старика, с которым приезжал.

— Ну, что ж за беда такая?

— Ах, мамушка! с незнакомым человеком я обошлась как с знакомым! что он обо мне подумает!

— Да что ж ему подумать, дитятко мое?

— Ах, он подумает, что я влюблена в него!

— Ах, мать моя, да с чего ж это он показался тебе за Емельяна Герасимовича?

— Сам папинька говорит, что он похож на него. Да такой смелый, ни с того, ни с сего начал допрашивать, люблю ли я его, пойду ли за него замуж.

— Ну, что ж ты ему сказала?

— Я сгорела со стыда, боялась смотреть на него. Я думала, что это Емельян Герасимович, а это какой-то черт иванович! Теперь он воображает, что я без памяти от него, радехонька выйти за него замуж!.. а я скорей утоплюсь, чем пойду за него замуж!

— Оохо, хо! — произнесла, задумавшись, мамушка; и в этом русском оохо-хо! было все ее горе, сполна.

— Где были твои глаза, сударыня моя! — сказала она наконец; — помолись-ко богу, да ложись спать; утро вечера мудренее.

— Пусть что хочет делает со мной папинька, а я не покажусь на глаза этому оборотню! — сказала Варенька в заключение разговора.

— Оохо, хо! — повторила мамушка, уложив свое дитятко и перекрестив его.

Между тем Эразм Львович почувствовал необыкновенное облегчение в ноге от присланного пластыря Иваном Егоровичем; но вместе с тем он почувствовал маленькую одышку; новый симптом болезни стал его беспокоить.

— Поезжай-ко, душа моя,— сказал он Захарию Эразмовичу,— к своей невесте с визитом, успокой ее насчет согласия ее отца. А на днях мы решим дело сговором, да и свадьбой нѐчего медлить. Отделаю тебе дом и — с богом.

— Конечно, медлить нечего, папа; я сейчас же поеду и скажу все Вареньке, скажу, что дело стало только за ней.

— Долго однако ж там не оставайся, да попроси доктора приехать ко мне, если можно вместе с тобой.

Захарий Эразмович нарядился во фрак, в рейтузы с пуговицами; к счастью, в боковом кармане отыскал он очки свои.

— Ну, батюшко сударь, теперь уж настоящий господчик! — сказал Филипп, наряжавший своего молодого барина.

Чрез два часа кузов на прямых рессорах остановился перед крыльцом дома Артамона Матвеевича, и Захарий Эразмович выскочил из него, как ловкий денди, или порусски *шематон.* Слуги засуетились, все двери перед ним настежь, и он влетел в залу, где встретил его Артамон Матвеевич; не узнал и хотел спросить, с кем имею честь говорить?

— Папа кланяться приказал, и я также честь имею... явиться, Артамон Матвеевич,— сказал Захарий Эразмович, колеблясь по-модному, как сельный цвет на стебельке.

— Ах, батюшки мои, да я вас не узнал!.. И в очках! вот, уж видно, что за границей были. Милости просим, очень, очень рад! Ну, что здоровье батюшки?

— Ничего, слава богу; просил с собою привезти лекаря.

— Да что ж он чувствует себя хуже?

— Э, нет, не хуже; он ничего не чувствует и потому очень беспокоится; нога, говорит, не болит.

— Хм! экой чудак! беспокоится, что нога перестала болеть!

— Очень беспокоится.

— Так, верно, привык к боли, что грустно с ней расставаться! Экой чудак! Я говорил, что никто не поможет ему, кроме Ивана Егоровича. Пойдемте в сад; там Варя свои цветы поливает. Уж я уверен, что и она не узнает вас. Вот она. Варя!

Из-за кустов синели отозвалась Варенька. Она еще была в белом утреннем капоте, волосы под гребенку, потому и смутилась, увидя перед собою незнакомого мужчину.

— Что, папинька? — повторила она, опустив по обычаю глаза в землю, присела, взглянула, и живой румянец исчез с лица ее.

— Что, Варя, узнала ты их? — спросил Артамон Матвеевич.

— Заседатель приехал,— сказал прибежавший слуга.

— А! извините, я сейчас, только переговорю с ним. А ты куда, Варя?

— Папинька, я оденусь,— отвечала тихо Варенька.

— Пустяки! они не взыщут; что за наряды; как застали, по-домашнему.

И Артамон Матвеевич оставил трепещущую, смущенную Вареньку с Захарием Эразмовичем, который, как учтивый кавалер, немедленно же обратился к ней с речью.

— И вы не узнали меня, Варвара Артамоновна?

Варенька не знала, что отвечать.

— А я приехал успокоить вас, чтоб вы не беспокоились. Папинька ваш согласен женить вас хоть сейчас же на мне. И мой папа сказал, что медлить нéчего, и я сказал также, что медлить нѐчего; в любви мы уже объяснились, жить друг без друга не можем: вы моя, я твой, чего же еще больше. В беленьком платьице вы еще лучше, чем прошлый раз...

— Ах, оставьте! — вскричала Варенька, вырывая руку, которую хотел взять Захарий Эразмович.

— Вот прекрасно! теперь эта рука моя!

— Извините! не ваша! — произнесла сурово Варень-

ка; вырвалась, как голубка из когтей ястреба, и скрылась.

— Варенька! — вскричал Захарий Эразмович, бросясь вслед за ней; но и след простыл. Пройдя залу насквозь, он вышел на крыльцо. Кучер, ожидавший выхода барина, двинул лошадей к подъезду, лакей отворил дверцы, и Захарий Эразмович, задумавшись, сел в коляску, уехал, так что никто того и не заметил.

— Где ж это они? — спрашивал сам себя Артамон Матвеевич, возвратясь в сад.— Где барышня?

— Не знаю, сударь,— отвечал садовник.

— Куда ж это они делись?

И Артамон Матвеевич обошел сад, возвратился в дом, обошел комнаты, заглянул во все углы.

— Где барышня?

— В своей комнате-с,— отвечала, попавшаяся навстречу горничная Вареньки.

— Эгэ! повела в свою комнату! скоро ознакомилась!

И Артамон Матвеевич поднялся по лестнице в антресоль, подошел к дверям спальни Вареньки. Тихо, дверь заперта.

— Варя! — крикнул он.

— Что угодно, папинька? — отозвалась Варенька встревоженным голосом.

— Да отвори же, моя милая!

— Сейчас, папинька.

— Это уж немножко скоро... а где ж?..

— Кто, папинька?

Артамон Матвеевич вспыхнул, посмотрел косо на взволнованную Вареньку, которая стояла перед ним, потупив глаза в землю, бледна, и едва переводила дыхание.

— Это уж немножко... где, спрашиваю тебя, гость наш? а?

— Я не знаю, папинька.

— Чтооо? не знаешь?

Варенька струсила грозного голоса отца, закрыла лицо, зарыдала и почти без чувств припала на колени перед отцом.

— Это уж... черт знает что!.. Где он? да ну же! где этот молодец?

— Не знаю, папинька... он в саду остался... я ушла, мне стыдно стало... он такой дерзкой... схватил меня за руку, хотел, чтоб я его поцеловала... мне стало стыдно, я ушла от него...

— Ах он невежа! Так он в саду? Постой! я сам с ним переговорю!.. Вишь приехал из чужих краев, да думает, что и здесь потаскушки живут... Ей! где гость?

— Они уехали-с,— отвечал лакей.

— Как уехали?

— Уехали.

— Ах, невежа! нет, брат, у нас трактирного французского обычая не водится! без поклона и без спасибо хозяину вон не выходят! Покорно благодарю Эразма Львовича за такого зятька!

Артамон Матвеевич разгневался не в шутку на Захара Эразмовича, а Захар Эразмович, как вы сами видели, ни телом, ни душой не был виноват в том, что судьбе было угодно творить, мешаться в его дела и мешать успехам. Он также имел право быть недовольным и на Артамона Матвеевича и на Вареньку; но он не привык роптать и даже не плевал с досады.

— Ну что, Захарий? — спросил его Эразм Львович, когда он возвратился домой.

— Ничего, папа,— отвечал он.

— Как ничего?

— Да так, ничего; а чему ж тут и быть.

— Я тебя не понимаю.

— И я не понимаю: сперва ушел от меня Артамон Матвеевич, потом ушла Варенька, я остался один, вижу, что мне нечего делать одному, я и уехал.

— Все-таки я тебя не понимаю; расскажи мне подробно, как ты приехал, как тебя встретили, что говорил?

— Приехал я как приезжают; встречать меня не встречали...

— Холодно приняли?

— Артамон Матвеевич сказал: пойдемте к дочери; потом сказал: извините, и ушел. Варенька также сказала: извините, и ушла. С кем же мне было говорить?

— Это уж слишком! — сказал Эразм Львович дрожащим от досады голосом.— Ну, а доктор? да, впрочем, понимаю, тебе уж было не до доктора. Ты, душа моя, об своей Варе не горюй; в околотке мы найдем сотни таких невест... жаль только мне доктора; знающий свое дело человек... Досадно, что он у такого осла!.. О, да я разочтусь с этим старым дураком!..

Более ничего не сказал Эразм Львович; он не любил истощаться на слова, когда самолюбие его было затронуто. За обиду у него не было другой платы, кроме обиды. Это было у него должное воздаяние. Таков был

век, такова была гордость человеческая, *не тронь меня*. В шутку ли, с намерением или без намерения затрагивалось самолюбие — все равно: оно кусалось, как дикий зверь, жалило, как змея. Но чем отплатить Артамону Матвеевичу?

Глава вторая

Емельян Герасимович,
он же и Захарий Эразмович,—
оборотень

Когда мелкопоместной помещице Фекле Савишне в доме Эразма Львовича места не стало, она возвратилась в свое поместье, на краю деревни Тутовой, где наследственного и родового ее имения был господский ее двор, с избой, заключающей по последней ревизии три души: одну вымершую, другую престарелую, третью малолетнюю, да сверх того две женских души: старую бабу, да недоростка девочку. Престарелая душа носила название старосты, который обязан был выгонять сам себя на барщину, за неимением достаточного количества земли *сам родить* потребное количество хлеба, за неимением в имении леса, достать *где хочет* для отопления господского дома дров, за неимением пастуха пасти господскую скотину — тощую корову и сивую клячу, и за неимением кучера ездить с барыней по гостям.

Возвратившись в наследственное и родовое именье, Фекла Савишна занялась устройством его. Накинулась на старосту, что в господском ее доме провалилась крыша, потолки протекли, стены сквозят. Фекла Савишна представлений его не приняла в *резон* и сказала, что она ничего знать не хочет, что *нет* не отговорка, что хороший староста достал бы и бревен и тесу, что кругом лесу не обберешься.

— Да чужой, матушка сударыня, без денег щепки не дадут.

— А на свою избу лес нашелся? на себя и воровать не грех? мошенник!

— Нет, матушка сударыня, воровать бог помиловал!

— Купил небось?

— Купил не купил, да и не даром достался: заработал у здешнего барина, нанимался кирпичи жечь.

— Так ты это занят был чужой работой? да как ты смел? да кто тебе позволил? мои крестьяне будут на

чужих господ работать? а я с голоду и холоду умирай! Э, так таков-то у тебя за домом присмотр был? Чтоб завтра же была крыша починена — слышишь? а не то подам в город жалобу! я дам тебе от господской работы уходить на сторону!

Устроив дома, Фекла Савишна велела старосте заложить лошадь в повозку, и поехала к окрестным соседям изъявлять свое почтение, погостить, погадать, порассказать разных разностей, пожаловаться на судьбу и людей, всех собой разжалобить и в заключение попросить горсточку крупки, с пригоршни мучки, да мерочку овсяца...

Да... забыл сказать! Чрез несколько дней после того, как Эразм Львович выжил от себя Феклу Савишну, явился к ней Егорушка, общипанный, оборванный, пьянпьянехонек.

— Извольте меня, сударыня, поить, кормить, обувать и одевать; я теперь ваш крепостной слуга,— сказал он, ввалясь в двери.

Ульяша ахнула, а Фекла Савишна вскрикнула:

— Егорушка! что ты это!

— Ничего! — отвечал он,— я теперь ваш; барин пожаловал меня вам, так и извольте что хотите делать, сударыня... Ульяна Ивановна.

— Что мне? пожаловал? — вскричала Фекла Савишна,— за мои услуги, за прожитье в доме вздумал навязать мне пьяницу на шею?

— Ульяна Ивановна,— продолжал Егорушка,— ведь вы теперь моя барышня, сударыня, пожалуйте ручку.

— Пошел прочь! — вскричала Ульяша.

— Как пошел прочь? Теперь и прочь пошел, Ульяна Ивановна.

— Поди вон! Как ты смеешь грубиянить? — вскричала и Фекла Савишна.

— Никак нет, сударыня, я не грубияню: я мое почтение изъявить должен... Барин меня пожаловал вам, выходит, вы моя барыня... Барин одежи не пожаловал, говорит, проси у своей барыни, пусть сама одевает и обувает... Вот изволите видеть... надеть нѐчего.

И Егорушка приподнял полу истертого сертука.

— Вон, мерзавец! — вскричала опять Фекла Савишна.

— Как угодно, сударыня... Барин пожаловал меня вам... теперь вы моя барыня... Я обязан по правде все сказать...

— Ей! Федот! Маланья!.. пошли Федота, выгнать этого пьяницу! — крикнула Фекла Савишна.

— Федот да не тот, и зовут да нейдет! — проговорил, моргая глазами, Егорушка.

— Вон ступай, говорят тебе!

— Как угодно, сударыня... Барин пожаловал меня вам... вы теперь моя барыня, Ульяна Ивановна барышня... я обязан слушать и повиноваться... я не пойду, куда глаза глядят, а пойду, куда прикажете... хоть в огонь, хоть в воду...

— Вот я тебя в конюшню отправлю, голубчик, постой!

— Хоть на конюшню; а приказываете стоять — стою! сесть при вас не смею... уж я теперь не камердинер господской... чайком и водочкой не попотчуете... что ж делать, барин разжаловал меня, пожаловал вам, теперь вы моя барыня... я обязан моим почтением...

Фекла Савишна сама побежала за Федотом и велела вывести Егорушку, прогнать со двора. Но он со двора не шел, говорил, что со двора не сойдет, что барин пожаловал его Фекле Савишне, и что угодно Фекле Савишне, то́ пусть с ним и делает.

Фекла Савишна в отчаянии, что Эразм Львович на смех навязал ей пьяницу на шею, поехала жаловаться на него попадье, с которой во время житья в доме Эразма Львовича вела дружбу и гощенье.

— Ах, матушка, Фекла Савишна, ну, в тягость человек, так продайте его.

— Ах, в самом деле! и в голову этого не приходило! продам, продам в рекруты!.. Ну, что у вас нового, матушка? что старой-то пес еще не околел?

— Куда! да ведь, кажется, при вас, Фекла Савишна, признал он сына-то своего?

— Какого сына?

— А вот что барин-то молодой приехал; да при вас, при вас; у меня и из головы вон.

— Какой молодой барин?

— Да вы же сказали, что именье приехал покупать; ан это вышла только шутка, он притворился: узнает ли его отец.

— Как притворился?

— Ах, да так; нарочно не сказался своим именем. Ведь вам известно, что Эразм Львович женат был в чужих краях и был у него сын? Ну, вот он-то и есть этот молодой барин.

— Что ты, матушка! неужели так?.. Сын? Да ведь это просто оборотень!

— С нами крестная сила! что вы это, Фекла Савишна!

— Даа, сын Эразма Львовича в малолетстве в чужих краях и умер; сам он мне говорил.

— А, может быть, другой, а не Захарий Герасимович: мало ли у господ детей пораскидано по свету.

— Захар, Захар! да-да-да; он-то и был единственный сын этой собаки, да и того черт взял.

— Что вы это говорите, Фекла Савишна?

— Да уж говорю, что так; вот тебе крест, именно Захар. Уж я тебе говорю, что так, матушка! Ох, да ты верно всего не знаешь: Эразмом Львовичем овладела нечистая сила! Оборотень, матушка, оборотень!

— Ах ты господи! — проговорила, перекрестясь, попадья.

— Оборотень! слыхала ты про хромоногого беса, что ходит по домам? Вот это-то он. Я тебе расскажу. Как были мы на балу у Ивана Ивановича, ко мне и подсел какой-то, все величают его Емельяном Герасимовичем, мильонщиком; мне и не в догад, что он припадает на ногу... Завел со мною разговор, видишь, *души скупает*... Верно, догадался он, что Эразм-то Львович в год одного креста на себя не положит, и начал допрашивать, что, дескать, это за старик такой, где живет? я и выскажи все, да еще и рада, что нашелся покупщик именью... Вот-те и покупщик! Смотрю, на другой или на третий день, не помню, и приехал. Эразм Львович также рад покупщику, принял его как нельзя лучше; подай, говорит, Фекла Савишна, планы деревенские; я и вынула из шкапа, подала да и вышла вон. Не прошло часа, бегут мне сказать, что Эразм Львович зовет. Я к нему — думаю себе: верно, дело идет на лад! Вхожу, глядь — он сидит один, весь не свой: «Кого ты мне, Фекла Савишна, привела покупать именье?» — «Как кого, Эразм Львович?» — «Ты, говорит, привела ко мне оборотня»; а сам дрожит да смотрит кругом; оглянулась и я да так и обмерла: никого не было; вдруг, откуда ни возьмись, стоит перед нами страшилище, просто черт, матушка...

— С нами крестная сила! — проговорила, перекрестясь, попадья.

— Просто черт, сударыня моя! да еще какой! какого никто с роду не видывал!

— Что ж, чай все так и обмерли?

— Какое! состроил такую рожу, что Эразм Львович, Ульяша и я так и покатились со смеху. А ведь ты знаешь, Эразм Львович и не улыбнется никогда. Да добро бы только мы, а то в целом доме поднялся хохот, вся дворня заливается, а чему смеются, сами не знают. Все животы надорвали. Вдруг махнул жезлом, сказал какое-то слово — словно кто горло всем заткнул. Смотрю я, а Эразм Львович как туча сидит, бледный, губы трясутся, а очи так и ходют, так и ходют, как маятник.

— Страсти какие! Да что ж это никто не говорил мне про это? — спросила попадья.

— Э, матушка, все в дому чертово племя, сама ты знаешь: тот вор, тот пьяница. Ты послушай, что́ бес нашептал про меня Эразму Львовичу. Верно, знала нечистая сила, что я не поддамся ей да еще и Эразма-то Львовича охраню от нее, и давай меня выживать из дому. Эразм Львович, ни с того ни с сего, как крикнет на меня и на Ульяшу: вон! я так и обмерла, креста не успела положить на себя. Помню только, что меня замертво вынесли, да мошенник, демонский холоп Филипп наругался надо мною...

— В какой он чести опять при барине!

— Да между нами будь сказано, уж я наверно знаю, что он водится с нечистой силой, это его наваждение.

— Сын-то откуда же взялся?

— Я тебе говорю, что оборотень — проклятой человек, который принимает на себя все образы; все тот же, что назвался Емельяном Герасимовичем, мильонщиком.

— Ах, Фекла Савишна, верно так: по сю пору ни разу в храме божьем не был.

— И не будет, матушка.

— Теперь так-таки все и величают его Захарием Герасимовичем. Да что ж это Эразм-то Львович: ведь он знает, что сын его еще в младенчестве умер.

— Что ж тут удивительного: черту душу отдал — рехнулся ума.

— И то ста́ться может; да еще вот что: сватает за дочь полковника... дай боже память... по имени Артамон Матвеевич.

— Что ты говоришь! да уж не полковник ли милиционный, Артамон Матвеевич...

— Ну да, да!

— Ах, мать моя! сватает?

— Сватает!

— Ах, грех какой! да ведь я знавала покойницу-то, добрая такая, да, кажись, и дочь-то видала... ай-ай-ай! Нет, уж до этого-то не допущу!

— Доброе бы дело сделала, Фекла Савишна.

— Не допущу! не дам пасть в дьявольские сети дочке Артамона Матвеевича! лишь бы найти канал свидеться с ней.

Фекла Савишна, не найдя готового канала к знакомству в доме Артамона Матвеевича, сама прорыла канал, приехала под вечерок в полковничье село, прямо на барский двор и остановилась у дворовой избы.

— Чье это село, голубушка? — спросила она у женщины, вязавшей чулки на крыльце.

— Полковничье, сударыня, Артамона Матвеевича Ранецкого.

— И слыхом не слыхала; куда ж это я заехала? Что, голубушка, нет ли у вас хоть чайничка, если самоварчика нет; смерть чайку хочется напиться.

— Чаю-то мы не пьем, сударыня.

— Хоть в барском доме горяченькой водицы нельзя ли достать, чайничек-то у меня есть.

— Отчего же, сударыня, можно и самовар взять.

— Так позволь уж зайти к тебе.

— Покорно просим, вот налево-то дверь.

Фекла Савишна вошла в горницу.

— Муж-то твой в какой должности?

— Прикащиком, сударыня, да дома нет, барин послал в город.

— Твой сынок?

— Мой, сударыня.

— Какой славной мальчик! надо ему гостинчику дать, со мной есть прянички. Нако, на!

И Фекла Савишна из своего сборного мешка со всякой всячиной вынула пряничные орешки в бумажке и дала горсточку мальчику.

Матери всегда по сердцу, когда ласкают ее детей. Между тем как прикащица, угождая доброй барыне, Фекле Савишне, побежала за самоваром, Фекла Савишна уселась перед столом и начала раскладывать карты, без которых она ни шагу не делала. Это была приманка повсюду, куда ни приезжала Фекла Савишна.

— Что это, сударыня, не гадать ли изволите? — спросила прикащица, поставив самовар.

— Гадаю, голубушка, буду ли сегодня на месте...

Вот, на половине пути, в доме... а хозяина нет дома... о, да он у тебя горяченек.

— Есть немного; да почему ж это вы узнали, сударыня?

— Карты говорят, моя милая... а ты в чем-то подозренье имеешь на него.

— Ах ты господи, все-то карты знают! — сказала прикащица, вздохнув и подставив руку под голову.

— А другого у тебя горя и нет.

— Так, так!

— Выходит какая-то змея подколодная...

— Так, так, сударыня! уж я недаром догадывалась!

У бедной прикащицы и в голове не было подозрений: поссорилась она с Груней, одной из горничных девушек; а муж не ссорился с ней и был по-прежнему ласков. Жене было досадно, зачем и муж не сердится и говорит с Груней, как с человеком. Вот и все. А как погадала Фекла Савишна, порассказала, что́ карты говорят, прикащица и поняла, в чем дело. И с этой поры начала распевать песню про подколодную змею, разлучницу. Пилит мужа, не знайся с Груней, да и только. «Да помилуй, что тебе в голову бредет? и говорить-то я с ней перестал!» — «Знаю, знаю, при мне ни слова, а без меня шу-шу-шу!» — От дела отбилась прикащица, все высматривает, да стережет, не застанет ли где мужа наедине с Груней... Но воротимся к своей сказке.

— А что, голубушка, правду ли карты говорят: барин-то ваш вдовец?

— Вдовец, сударыня.

— И дочка у него есть невеста.

— Есть, сударыня.

— Ах, батюшки! да ее сватают? вот и жених, пиковой валет... ох, что-то тут недоброе, поскорей смешать!

Таких чудес нельзя было не разнести по всему дому. Покуда Фекла Савишна распивала чай, сквозь все щелки стали заглядывать дворовые девушки, а одна вошла в горницу вместе с прикащицей.

— Нельзя ли, сударыня, погадать что-нибудь, вот горничной девушке нашей барышни.

— Сделайте одолжение, сударыня, погадайте.

— Изволь, милая, такой хорошенькой нельзя отказать. Ты как кладешь себя, бубновой дамой? да, верно, бубновой; ну, что скажет бубновая дама... а! вот рядышком червонная... это, верно, твоя барышня... Какое счастье тебе во всем! Эээ! посмотри-ко на меня!..

Девушка вспыхнула, взглянув на Феклу Савишну, которая уставила на нее глаза.

— Знаю, знаю твои мысли!.. что-то не совсем еще клеится, а скоро сбудется... Есть и тут пиковая дама, разбивает думки...

— Я тебе говорила! — не утерпела сказать прикащица.

— Ох, червонной-то даме что-то приходит худо! Жених-то ой-ой-ой!

— Что ж такое, сударыня?

— Нельзя сказать; всякой о себе гадает. Вот если б я барышне твоей погадала — дело другое.

— А что, не позвать ли барышню? — спросила девушка тихонько у прикащицы.

— Что ж, позови.

Светская девушка-невеста не то что семейная девушка-невеста. Светские девушки и женихи — существа приведенные *образованием* к одному знаменателю: сами по себе ничего не значут; но значут по своему значению в свете. Невесте древнего Вавилона и всех новейших Вавилонов нечего гадать о своей судьбе, ей известно, что в замужестве ей предстоит не просто, как говорят по-русски, делать честь дому, но faire les honneurs de la maison[1]. Семейная девушка совсем другое дело. Для нее брак есть таинство, с именем жены в ее понятиях соединена волею или неволею любовь к мужу, с именем матери обязанность кормилицы и няни своих детей, с именем хозяйки дома все заботы о доме. Как тут не погадать, когда вся будущность загадка, когда сердце должно вдруг отстать от всех своих детских привычек.

Любопытство подстрекнуло и Вареньку; как не погадать и ей, когда и ее сердце ноет. Хоть чем-нибудь надо утешить его. Людская подле, на дворе смерклось; и вот Варенька, сопровождаемая своей Настей, вошла боязливо в горницу, где Фекла Савишна в чепце и нанковом капоте сидела перед столом и тасовала колоду. Круглое, сальное лицо ее опало от времени в скулах и подбородку, ресницы над бесцветными глазами также отекли, тучный нос, как откупщик табачной плантации, выменивая это пьяное зелье по всей области лица на кровное достояние, разжирел, сидя на одном месте, и как бы упился пóтом и кровью широких ланит Феклы Савишны.

---

[1] делать честь дому *(фр.)*. Повторяя по-французски эту фразу, автор иронизирует над стремлением галломанов видеть особый смысл во французских словах, однозначных русским.

Варенька испугалась, взглянув на нее; но ласкательный голос Феклы Савишны и предусмотрительность успокоили ее.

— Ах, прошу извинения!.. Это, верно, здешняя барышня? — сказала Фекла Савишна, встав с места и почтительно кланяясь.

— Так точно-с,— отвечала ей прикащица.

— Ах, простите великодушно, сударыня, что заехала без позволения,— продолжала Фекла Савишна, подбегая к Вареньке,— сбилась с дороги, стало смеркаться, места незнакомые, а ехать далеко, устала; у мужика остановиться — ни самоварчика, ни чайничка; а, признаюсь, захотелось чайку напиться. Не взыщите, сударыня, что попользовалась вашим самоварчиком.

— Помилуйте, от чего же,— отвечала Варенька.

— Не прикажите ли, сударыня, сесть... покорно прошу!.. кажется, Вера!..

— Варвара Артамоновна,— отвечала тихо Настя.

— Варвара Артамоновна! не взыщите... Какие прекрасные у вас здесь места! бесподобные! Вы здесь и родились?

— Нет, я в Москве родилась,— отвечала Варенька.

— В Москве? вот просто ведь никак не угадаешь, а разложи я карты на червонную даму, тотчас бы угадала, здесь вы родились или нет.

— Я и хочу вас попросить погадать мне.

— Извольте, сударыня, от чего ж не погадать; да я вперед знаю, что такой хорошенькой барышне предстоит всякое благополучие и сердечное удовольствие... Извольте... на червонную даму... шу, шу, шу!

Пошушукав во время тасованья на колоду карт, Фекла Савишна вынула червонную даму и разложила около нее карты крестом.

— Что сбудется, то скажется... При всех не могу... Выйдите, голубушки, на минуту!.. Вот, видите ли, Варвара... кажется Артамоновна по батюшке?

— Так точно.

— Извините, по картам выходит, что у вас есть жених... Мое дело говорить, что выходит, а правда ли, неправда ли, не мое дело... Что-то странно выходит... Как будто и нравится вам, как будто и нет — двояко! Да что-то уж не сам ли он двояк?.. Двояк!.. с нами крестная сила!.. право, извините, а сказать как не умею... тут что-то непонятное.

— Что ж такое, скажите, пожалоста,— проговорила Варенька.

— Ох, поостерегитесь, Варвара Артамоновна... он не тот, за кого его принимают.

Варенька побледнела.

— На нем чужое лицо!.. Позвольте разложить снова; что-то мутит! ведь не оборотень же сватается на вас... а бывает: я вам расскажу случай. Слыхала я, что живут оборотни, люди проклятые в утробе матери, да не верила; а пришлось своими глазами увидеть. Гостила я, вот в недавнем времени, у одного помещика, извините, фамилию не стану говорить. Дряхлой, больной, ни роду ни племени, кроме племянницы. Скучно молодой девушке ходить за капризным стариком да просиживать ночи над ним, она и пригласила меня пожить, да походить за своим дядей, покуда съездит погостить к одной своей знакомой. Поехала, да и вышла замуж без спросу. Очень огорчился старик. Хоть и тягота ходить за больными; да жаль мне стало его одиночества, согласилась остаться при нем. А надо вам сказать, что в молодости он был в немечине, да и женился на тальянке; а ведь там не то что у нас: пожила-пожила, не понравилось и пошла за другого. Тоже было и с его женой. Жена со двора сошла, сынок умер, что делать Герасиму Львовичу...

С намерением или без намерения проговорилась Фекла Савишна, но имя Эразма Львовича смутило Вареньку.

— Воротился на родину, вывез с собою какую-то немецкую болезнь, подагру, да и слег с тех пор в постель. Вот, прошу помнить, что сынок-то его еще младенцем в немечине умер,— вдруг откуда ни возьмись, приезжает в дом какой-то молодец под видом одного известного молодого барина Емельяна Герасимовича.. фамилию-то, извините, позабыла... Что с вами, сударыня?

— Голова что-то закружилась,— едва проговорила Варенька, закрыв лицо рукою.

— Воды, воды — выкушайте; это так бывает иногда... Ей, голубушка, дай водицы, барышне немного сделалось дурно.

— Барышня, пойдемте поскорей домой,— сказала испугавшаяся Настя.

Варенька подала ей руку и вышла. Фекле Савишне досадно было, что не успела ей рассказать всю подноготную. Но для Вареньки и того было довольно.

— О, боже мой, что я наделала! — повторила она, заливаясь слезами,—я чувствовала, что это был Емельян Герасимович! Кому же и быть иному, его голос, его лицо! а папинька переуверил меня!

Варенька стала припоминать все слова Захария Эразмовича и убедилась, что он Емельян Герасимович.

— Мамушка, скажи мне, бывают оборотни?

— Бывают, бывают, ох как еще бывают,— отвечала мамушка.

Варенька задумалась.

— Иной злой человек таким, сударыня, прикинется добрым, такую наденет на себя личину...

— Я не то тебя спрашиваю.

— Что ж такое, Варвара Артамоновна?

— Я спрашиваю, можно ли сделать, чтоб я, например, вдруг оборотилась в тебя, а ты в меня?

— Как это? я не понимаю!

— Ну так, чтоб папинька думал, что ты его дочь, а я твоя мамушка.

— Господь с тобой! с ума что ли сойдет Артамон Матвеевич принимать меня за тебя.

— Э, ты меня не понимаешь! — сказала Варенька сердито.

— Да кто ж тебя поймет, такую нелепицу говоришь,— отвечала мамушка, также с сердцем.

И стала Варенька горевать да задумываться: верно, я с ума сошла! не поверила глазам своим! не узнала Емельяна Герасимовича!

Глава третья

Емельян... ох!
Захарий Эразмович помещик,
и приехала к нему в гости
сестрица с мужем и с детьми
и обработала статью

На другой день после напрасной поездки Захария Эразмовича к своей невесте приехал к Эразму Львовичу Иван Егорович. Эразм Львович рассыпался перед ним, и такой дал ему прием *услажденного меркурия*, что у Ивана Егоровича слюнки потекли.

— Сколько вам платит в год Артамон Матвеевич?

— Немного, очень немного, стыдно сказать; да обстоятельства заставили...

— Тысячи две?

— Помилуйте! только что не десятую долю этого.

— Не удивляюсь, он скряга, необразован, не умеет понимать людей. Я бы, нуждаясь в таком медике, как вы, по малой мере платил бы вам две тысячи... Помилуйте, здоровье нам дороже всего.

У Ивана Егоровича открылась сильная саливация[1], только что зубы не зашатались.

— Что ж делать-с,— сказал он, откашлянувшись,— очень сожалею, что лишен счастливого случая быть вам вполне полезным... я уверен, что теперь давно уже вы были бы избавлены от вашей болезни... Пластырь, который я прописал вам, прекрасная вещь...

— Да, да, я большое почувствовал облегчение. Жаль и мне, очень жаль! кроме двух тысяч, разумеется, все принадлежности *экипаж и тому подобное.*

— Если бы еще Артамон Матвеевич не был вам знаком, мне бы легко было оставить его...

— Ну, знакомство наше не слишком короткое. С моей стороны никаких *авансов* нет. Мало ли что бы он вздумал, да не все сбудется. Во-первых, необразованный человек, совершенно мужик...

— О, конечно, сойтиться с его понятиями и привычками трудно, особенно вам...

— Да, я думаю, и вам не легко.

— Если правду сказать, представьте себе: намедни вдруг призывает меня и просит, чтоб я дал какого-нибудь лекарства его серой верховой кобыле...

— О, да уж будьте уверены, что он всех медиков считает коновалами.

— Это обидно, признаюсь; я не думаю долго оставаться у него. Ни домашней своей аптеки, ничего! На днях, как-то заболела одна дворовая женщина сложной болезнью, я прописал рецепт и прошу его послать за лекарством в город... «В город? за лекарством? за сто верст посылать для этой твари?» — Каково было мне это слушать? а потом еще стал уверять, что она больна с перепою, и самое лучшее для нее лекарство розги.

— Что ж вы сказали ему?

— Да что ж говорить?

---

[1] слюноотделение (от *лат.* saliva — слюна).

— Экие какие! вы бы сказали, что если он намерен лечить всех палками и розгами, так у него есть свои доктора на конюшне.

— Ха, ха, ха, ха! не догадался,— сказал Иван Егорович, прохохотав учтивым образом.

— Я вижу, что вам тяжело жить у него,— продолжал Эразм Львович,— знаете ли... ох, что это такое, вот уж второй день, как меня вдруг замутит-замутит и как будто все жжет голову.

— Позвольте пульс. Это от желудка. Я пропишу вам пилюльки или порошки, как угодно.

— Так и горит. Я вас не пущу, вы у меня останьтесь на несколько времени; ведь у вас дома больных нет.

— Может быть, Артамон Матвеевич будет в претензии.

— За что ж тут претендовать, вы взялись меня лечить, нельзя же оставлять больного; да, впрочем, если выйдут неудовольствия из этих пустяков, так вы можете сказать, что вы не нанимались быть на привязи.

— Конечно, если Артамон Матвеевич скажет мне хоть слово неприятное, я тотчас же оставлю его!

— И можете прямо ко мне переезжать.

— Покорнейше вас благодарю; в таком случае я готов остаться.

Оставшись, Иван Егорович тотчас же настрочил несколько протяжных рецептов. Послали в город; в тот же день явились пластыри, мази и пилюли. На другой же день ноге гораздо лучше, а голове гораздо хуже. Иван Егорович усилил приемы разбивающих, мягчительных, прохлаждающих; а они, злодеи, не разбивают, не мягчат и не прохлаждают; точно как будто и не их дело: ни одно не смеет действовать против застарелой болезни, которая рассердилась, что ее выжили с места.

На третий день Эразм Львович лежал уже без памяти, а на четвертый явился гонец от Артамона Матвеевича просить Ивана Егоровича пожаловать скорее домой.

— Извините,— сказал Иван Егорович, торопясь ехать и взяв за руку Захария Эразмовича.

— Куда ж вы?

— Артамон Матвеевич прислал; в доме есть опасно больные, мне нужно торопиться. Катаплазмы продолжайте, я надеюсь, что это скоро пройдет.

Иван Егорович приехал домой. Артамон Матвеевич встретил его довольно сердито.

— Эдак, батюшка, не водится. Уехали на час, да прожили трое суток. Я вас нанял для своего дома, а не для целого уезда.

— Артамон Матвеевич,— сказал Иван Егорович кротким голосом,— вы сами предложили мне взять на свои руки Эразма Львовича. Приехав к нему, я застал его в отчаянном положении.

— Неужели?

— Да-с, действие лекарств было прекрасное; но невозможно: говоришь, что при лекарствах нельзя употреблять ни кислого, ни соленого — куда! и слушать не хочет.

— Чудак, не́чего говорить. Не слушает, так не́чего было там и оставаться так долго,— сказал Артамон Матвеевич, и этим заключил свой разговор с доктором.

— Так очень болен? — спросил он на другой уже день Ивана Егоровича.

— Безнадежно.

— Как безнадежно.

— Да, я так думаю.

— Ах, боже мой! я поеду к нему!.. Эй!

И Артамон Матвеевич приказал слуге заложить лошадей.

— Едемте.

— Нет, уж извините меня, Артамон Матвеевич; подумают еще, что я его лечил; а я только прописал ему легонькую мазь, да и ту он не употреблял.

Артамон Матвеевич поехал один и приехал очень кстати: не доставало свидетеля при совершении духовной.

Подле постели больного стоял наследник его Захарий Эразмович.

— Спасибо, брат! — произнес едва внятно Эразм Львович, покачав головой и протянув руку к Артамону Матвеевичу.— Бог с тобой!

— Эразм Львович, в чем же ты меня упрекаешь? — спросил Артамон Матвеевич прослезясь.

Эразм Львович показал только рукой на Захария Эразмовича.

— Кто, я виноват? да я радехонек был, он сам... ну, да я забываю все! Варя будет его! веришь?

Эразм Львович кивнул головой и — умер спокойно.

Остался наш Захарий Эразмович сиротой. Без руководителя ему беда, тоска, он не знает, что с собой делать. Но звезда озаботилась об нем. На другой день

после похорон прибыл к нему его верный дядька Пафнутьич. Поцеловав тысячу раз руку своего барина, Пафнутьич осмотрел его с головы до ног и сказал:

— Батюшка, барин, ведь вы теперь помещик!

— Возьми-ко, Пафнутьич, к себе ключи, да распоряжайся как дома,— сказал Захарий Эразмович.

После осмотра дома и всего наследственного богатства, Пафнутьич советовал барину пройтись по деревне, да посмотреть, как мужички живут. Только что показался новый помещик, сопровождаемый своим дядькой, на улице весь мир собрался вокруг него.

— Здравствуйте, господа мужички,— сказал Захарий Эразмович,— каково вам жить?

— Да ничёво, батюшко, родной наш отец, кормилец.

— Ничего? Если ничего, так ничего.

— Пожаловаться нельзя, слава богу.

— Ну, посмотрим.

И Захарий Эразмович, пройдя двор по месиву соломы и грязи, хотел было войти в избу; но дым валил в двери, как из трубы. Под густым, волнующимся облаком, между тремя станами, курица учила цыплят, как рыться в сору и в грязи; поросята хрюкали и чавкали в корыте, воткнув рыло в месиво, составленное из помой и мякины; отнятый от коровы теленок совался носом во все углы и мычал. На лавке сидела замазанная девочка с лепешкой и деревянной ложкой в руках, хлебала молоко; ей *держали* компанию котята; усевшись вокруг чаши, они преспокойно лакали и облизывались, между тем как кошка, наевшись досыта, поставила ногу костылем и умывалась. В печи трещал хворост; подле него баба месила хлебы и ворчала на ревущего благим матом грудного ребенка, скомканного в тулуп.

Казалось бы, все это было в порядке вещей; но Захарий Эразмович не понял, что это такое.

— А что, братцы,— спросил он,— вы со скотиной живете, или скотина с вами?

— Барин изволит говорить, что не приходится людям жить со скотами,— прибавил Пафнутьич, в объяснение слов своего господина.

— Что ж делать, батюшко, как бог привел, так и живем. И скотине нужно тепло; а как нет тепла, так и за пазухой греешь.

— Пошлет бог доброго господина и нам хорошо,— прибавил другой мужик.

— А будто не все господа добры? — спросил Захарий Эразмович.

— Все, все, вестимо что все, по нас все добры; а судит сам господь.

— Умные мужички,— сказал Пафнутьич,— правда, все от бога; так помолитесь господу богу, чтоб было нам всем хорошо. Очистим душу от всякой скверны, и вокруг нас все будет чисто, всему найдется свое место: свиньям в хлеве, курам в курятнике, навозу в навозной яме.

— Вестимо, вестимо! Будет милость господня и ваша, поставим красные избы и скотный двор сам по себе, как встарь было.

— Барин вам даст леску, берите сколько нужно, да и берегите лесок, барину не своим глазом беречь, лучше беречь сообща. А от работ-то не лынять.

— К чему ж, сударь: как знаешь, что мы все про барина, а барин про нас, а бог над нами, так все пойдет споро и ладно.

В самом деле, все пошло споро и ладно; Пафнутьич с барином своим всякий день хлопочут не об улучшении именья, чтоб давало больше дохода, а об улучшении довольствия крестьян; не об удобрении земли навозом, но об удобрении быта мужичков; не об усовершенствовании недвижимого, а об усовершенствовании всего движущегося на ногах. Улучшения эти были извлекаемы не из мертвой, вывезенной из-за тридевять земель, теории, а из живого источника совета и дела; потому что не то хорошо, что красиво, а то хорошо, что по сердцу; «Шей кафтан, мерку снимай»,— говорил Пафнутьич; а простой, сметливый, природный ум, по большей части, яснее благоприобретенного; под его руководством дела идут хоть не так складно, да ладно.

— Ну, батюшко барин,— сказал однажды Пафнутьич, одевая Захария Эразмовича,— теперь бы вам жениться! Куда бы хорошо было взять за себя добрую барыньку!

— А Варенька-то, худа небось? — спросил Захарий Эразмович.

— Какая Варенька?

— А Варвара-то Артамоновна.

Пафнутьич и не знал, что его барин почти сосватан; да еще и на Варваре Артамоновне.

— Батюшко барин, да неужели ни Артамон Матвеевич, ни Варвара Артамоновна не узнали вас?

— Не узнали; как же им узнать меня, когда я совсем переменился.

— Так они по мне узнают вас.

— Чего доброго; говорил я Эразму Львовичу, чтоб и тебе переменить имя.

— Нет, покорно благодарю, с чем родился, с тем и умру! лучше я на глаза не буду показываться; или просто будем говорить, что мы друг друга в глаза не знаем.

— Так поедем к Вареньке, да и кончим дело; женимся, да и назад воротимся.

— У вас все скоро: тяп да ляп и корабль.

— Как же иначе; сам Артамон Матвеевич говорил, чтоб я скорее приезжал к нему.

— А вы по сию пору не собрались съездить! Правду сказать, славная будет барынька Варвара Артамоновна — овечка!

— Так поедем.

— Съездите-ко, сударь, один; а то я боюсь с непривычки величать вас Захарием Герасимовичем: того и гляди, что проговорюсь, да назову Емельяном Герасимовичем.

— Что ж тут думать, я поеду, а ты оставайся дома.

— А я поеду покуда в поле; мне же и нужно. Вам-то ехать теперь еще раненько. Я накажу Филиппу, что нужно вам приготовить.

Пафнутьич отправился в поле, а Захарий Эразмович отправился на озеро смотреть, как ловят в тоню рыбу. Только что началась работа, вдруг прибежал из дому человек.

— Степанида Ивановна, сударь, приехала.

— Что за Степанида Ивановна?

— Барыня, племянница, сударь, покойного барина, сестрица ваша, приехала с мужем и с детками.

— Неужели? сестрица? едем? — вскричал Захарий Эразмович.

Надо сказать, что Фекла Савишна не забыла сообщить племяннице Эразма Львовича обо всех событиях в доме ее дяди и советовала ей приехать как можно скорее. Степанида Ивановна выходила замуж, как единственная наследница дяди; она хотела осчастливить своею рукою голого капитана Федора Петровича, но ошиблась в расчете. За полком она не хотела следовать и принудила мужа выйти в отставку, определиться в штатскую, в ожидании смерти ее дяди. Получив известие от Феклы Савишны, что Эразм Львович сошел с ума и признает какого-то оборотня за своего родного

сына, Степанида Ивановна пришла в ужас, велела мужу собираться скорее в дорогу, нанимать лошадей.

— Помилуй, душа моя, через два дни будут выбирать меня в заседатели, а меня вдруг нет на лицо; подождем, покуда я получу место.

— Подите вы с своим местом. До места мне теперь! Дядя откажет черт знает кому именье, а я здесь жди места! сейчас же отправляйтесь, Федор Петрович! Ну, что ж вы сидите тюленем!

— Да дай, душа моя, докурить трубочку!

— Трубочку! да что ж вы, шутите что ли со мной? я теряю наследство, а вы преспокойно курите трубочку!.. Да, впрочем, мне до вас дела нет, я найму лошадей, уеду с детьми; вы курите себе!.. Дунька, кликни Марфу!

— Она, сударыня! хлебы в печь сажает.

— Если я... тебе говорю... кликни, так ты не смей, не смей говорить... что хлебы в печь сажает, что хлебы в печь сажает!.. вот тебе и печь!

Дунька с встрепанными волосами побежала на кухню.

— Да ты, душа моя, совсем взбеленилась,— сказал Федор Петрович, затянувшись дымом и ставя трубку в угол.

— Да-с, я взбеленилась, я еду, а вы сидите здесь, да курите трубочку! — отвечала Степанида Ивановна, собирая отвсюду платье, вещи и укладывая все в сундук.— Марфа! ступай, приведи мне извощиков!

— Да как же, сударыня, хлебы-то бросить; я пойду, а тут печка остынет; вот посажу, да и пойду.

— Сейчас ступай!

— Ведь я сам иду, душа моя, к чему ж посылать Марфу?

— У вас, сударь, маланьины сборы! Ступай, Марфа!

— Да ведь я иду.

— Вы десять лет будете сертук на себя натягивать, да потом на дорогу трубочку закурите; покорно вас благодарю!

Но Федор Петрович доказал своей супруге, что и он может быть поспешным; сбросив халат, он кое-как обвил шею галстуком, надел наскоро сертук и, не дотянув его до плеч, схватил картуз и бросился вон; Марфа пошла на кухню и, смазывая хлебы на лопате, ворчала, что за какими-то пустяками барыне вздумалось отрывать ее от дела; а Степанида Ивановна, продолжая торопливо укладываться, тузила то Дуньку за непово-

ротливость, то детей за то, что толкутся около нее, трогают вещи и мешают.

Торопливость Степаниды Ивановны не помогла однако же ей застать Эразма Львовича в живых. После продолжительного пути на долгих, две повозки прибыли, наконец, к цели, остановились у железного подъезда.

— Господи, что за беспорядок в доме, никто не выйдет встретить! — сказала Степанида Ивановна, выглядывая из повозки: — Федор Петрович, что ж ты там засел?

Федор Петрович, как необходимое дополнение пожитков Степаниды Ивановны, которыми набита была верхом вторая повозка, лежал огромным мешком и с трудом выбрался на свет, чтоб высадить жену и детей, которые с двумя служанками составляли начинку передовой повозки.

— Это удивительно! ни одной души! — сказала Степанида Ивановна, входя в переднюю в сопровождении мужа и детей.

Она уже пробралась в залу, когда прибежавший с кухни человек крикнул: «Кого вам угодно?»

— Ты, любезный, верно, не узнал меня? — сказала Степанида Ивановна.

— Не могу знать-с,— отвечал человек,— я недавно во дворе-с.

— Где дядюшка?

— Барин-с?

— Да, барин, мой дядюшка.

— Поехали на озеро-с.

— Зачем?

— Верно, купаться-с, да рыбу изволят ловить.

— Стало быть он здоров?

— Слава богу-с, в добром здоровье.

— Кто здесь при дядюшке?

— Никого-с.

— Как, мне сказали, у него кто-то живет?

— Никак нет-с, никто не приезжал. Они одни-одинехоньки живут с тех пор, как батюшка их Эразм Львович помер.

— Умер! дядюшка умер! — вскричала Степанида Ивановна и почти без памяти бросилась в кресло.

В это время вошел старый Филипп и едва узнал в плотной барыне бывшую тощую барышню, племянницу Эразма Львовича.

— Сударыня, Степанида Ивановна!

— Ах, Филипп, это ты? — произнесла она горестно; — дядюшка умер?

— Умер, сударыня, дай бог царство небесное! Позвольте, я дам знать братцу вашему о вашем приезде.

— Братцу? какому это братцу? откуда бог дал мне такого братца? — спросила Степанида Ивановна, когда возвратился Филипп.

— Как же, сударыня, Захарий Эразмович приехал из чужих краев. Что за добрая душа! весельчак такой: притворился проезжим комедиантом, да и подшутил над своим батюшкой. А как отдал письмо от своей матушки, так уж Эразм Львович и признал его.

Филипп продолжал рассказывать, как старый барин возрадовался сыну; как прогнал от себя Феклу Савишну, которая с дочкой своей совсем было его скрутила; как восстановила его против Степаниды Ивановны.

— Да, сударыня, дядюшка посердился бы на вас, что без его позволения вышли замуж, да еще и строчки ему не написали, посердился бы, да...

— Как? я не писала к нему?

— А как же, сударыня; при мне часто Эразм Львович говаривал: «Хороша племянница! знать не хочет дядю»; а Фекла Савишна: «Да, да, хоть бы слово в год написала!»

— Ах она сквернавка! я не писала? я не просила позволения выйти замуж? Так дядюшка не получал моих писем, которые я писала почти каждую неделю?

— Из городу какие-то письма часто привозили и отдавали Фекле Савишне; стало быть, она таила их от барина.

— Ах она мерзкая! ах она каналья! что она сделала со мной! перессорила меня с дядюшкой и с братцем: писала, что дядюшка с ума сошел и усыновил черт знает кого.

— Как же это можно, сударыня; Захарий Эразмович родной сын... Ах, да вот и барин.

— Братец! — вскричала Степанида Ивановна, вскочив с места и бросаясь навстречу Захарию Эразмовичу.

Еще не успел Захарий Эразмович произнести слова, а сестрица успела уже обнять его, отрекомендовать мужа, заставить детей своих поцеловать у дядюшки ручку, и в заключение сказать целую речь в извинение, что без предуведомления приехала к нему в гости.

— Рад, очень рад, сестрица, что приехали ко мне в гости! — сказал Захарий Эразмович; — мне одному такая скука была, что мочи нет.

— Я как отгадала и торопилась, ей-богу, торопилась; знала, что братец не чужой человек, не выгонит из дому.

— Рад, ей-богу рад! гостите себе у меня, дом большой, всем будет место.

— Так вели, Филипп, вносить вещи. Где же, братец, назначите нам комнаты?

— Да где хотите; вот, комнат много, располагайтесь.

— Так уж извините, братец, я расположусь,— сказала Степанида Ивановна и пошла сама распоряжаться и отмежевывать для себя комнаты, и назначать, где что ставить. Дети пустились вслед за ней рекогносировать дом; а Федор Петрович поставил обязанностью обратиться к Захарию Эразмовичу с похвалами дома и места, на котором он стоит.

— Чудный у вас дом-с, Захарий Герасимович! прекрасный-с! генеральская квартира-с! что за плац перед домом!

— Не правда ли, славный дом? — спросил Захарий Эразмович.

— Славной, славной-с! Я вас не обеспокою трубочкой? может быть, вы не любите табаку?

— Я не люблю? вот прекрасно!

— Так уж позвольте наложить; я так привык курить-с, что, бывало, еду на ученье или на смотр, а денщик с трубкой будь тут. Бывало, идешь церемониальным маршем, на повороте: Ванька! трубку! уж он меня и караулит; затянешься и марш, как будто ни в чем не бывало.

— Славно! а вы были у меня на конюшне?

— Никак нет-с.

— Так пойдемте.

— У вас и охота, верно, есть?

— Есть, все есть.

— Вот бы славно за зайцами!

Между тем, как Захарий Эразмович водил Федора Петровича по конюшням и сараям, Степанида Ивановна распорядилась во всем, выведала все, что̀ и ка̀к в доме, и покачивала уже головою, что у братца всем распоряжает какой-то Пафнутьич, что у него не только ключи от всего, но даже и деньги на руках.

— Ну, хорошо хозяйство, где слуга забрал барина в руки и всем управляет!

Большая половина человечества по сие время разделяется на два сорта несносных людей; у одних страсть

хозяйничать даже в гостях; у других страсть гостить даже у себя дома. Для одних: *все не так, где не сам;* для других: *все так, не тронь только нас.* Степанида Ивановна принадлежала к первому сорту, любила все прибрать к ногтю.

До приезда ее Пафнутьич распоряжался и кухнею; зная вкус своего барина, он угождал ему. В день приезда Степаниды Ивановны, Захарий Эразмович собирался обедать у Артамона Матвеевича, и потому Пафнутьич ничего не велел дома готовить.

— Братец, вы не дома обедаете? — спросила Степанида Ивановна, когда Захарий Эразмович возвратился с осмотра конюшен.

— Как не дома?

— У вас ничего не готовят на кухне.

— Как ничего?

— Пафнутьич, говорят, не приказал готовить.

— Экой какой! Ну, сказать повару, чтоб готовил.

— Ах, братец, неужели вы кушаете то, что вам подадут? что вздумает повар, то и готовит?

— А как же? это его дело!

— Ну, можно ли положиться на холопской вкус! ай-ай, какой у вас беспорядок! некому ни приказать, ни указать, ни присмотреть, чтоб было все чисто, опрятно, да не украдено! Впрочем и не удивительно: где ж вам самим, мужское ли это дело?

— Для того-то я и хочу жениться, что это все не мое дело,— сказал Захарий Эразмович.

— Жениться? неужели? ээх, молоды еще, братец, можно подождать, скоро надоест женатая жизнь: хлопоты, заботы о детях, о том, о сем; к тому же, какова попадет жена: иная не в дом, а из дому будет норовить. Да покуда что будет, поручите хоть мне присмотреть за вашим хозяйством; я с удовольствием займусь; не сложа же руки жить в доме. У дядюшки я всем распоряжалась, все у меня было на руках.

Захарий Эразмович не прочь от такого предложения; он еще рад был, что нашлась для дома хозяйка, а для него товарищ. Но что-то скажет Пафнутьич, как воротится с поля?

Для Степаниды Ивановны отперли парадную половину дома. Петенька, Ванечка и Дунечка, как мародеры, кинулись по комнатам, в гостиной ощупали все резные фестоны вокруг зеркальных столиков; пустили в ход маятник столовых часов, повалялись по цветному

махровому бархату мебели; покатались по гладкому паркету как по льду, и потом пустились далее.

— Ваня, Ваня! смотри что тут! — вскричал Петенька, вбежав первый в угловую круглую комнату, которая была музеем причуд матери Эразма Львовича. Тут на фарфоровых столах стояли фарфоровые вазы с фарфоровыми цветами; на фарфоровых цветах сидели фарфоровые бабочки, жучки, птички колибри, птички мушки, как живые.

Тут был весь Олимп фарфоровый; все боги, все музы, все грации и множество купидонов, как явное доказательство, что у Венеры был не один сын, а несколько.

На крик Петеньки Ваня и Дунечка кинулись со всех ног.

— Ай, ай, ай! — вскричала Дунечка,— сколько кукол!

— Ваня! бабочка!

— Постой, я поймаю!

— Как бы не так! это моя!

— Ах, птичка!

— Где, где? дай, я поймаю!

— Где птичка, где? — крикнула и Дунечка, которая между тем собирала со стола и расставляла на кресла богинь и граций.

— Да, как бы не так! дам я тебе птичку!

И Ванечка торопливо ухватил птичку, оторвал ее вместе с розой и, соскочив со стула, бросился бежать. Дунечка было за ним, но верно знала, что у брата так ничего не возьмешь, а надо употребить хитрость.

— Возьми себе дрянную птичку; у меня есть солдатик! — И она, схватив Минерву со стола, запрыгала по комнате, поддразнивая Ванечку.

У Ванечки разгорелись глаза на солдатика.

— Ну, давай меняться! — сказал он.

— Как бы не так!

— Ну, так я отниму!

— Смей-ко! я скажу маминьке.

Между тем как Ваня пустился догонять сестру, грации не устояли на ногах и грохнулись с кресел на землю; а Петенька преспокойно продолжал обрывать с букетов всех бабочек и птичек.

В это-то время возвратился Пафнутьич с поля. Воображая, что барин его у Артамона Матвеевича, он пробирался коридором в свою комнату; вдруг слышит, в запертых парадных комнатах возня, стук, визготня. Пафнутьич прекрестился, приложил ухо к двери и на

него нашел ужас: крысы не крысы, люди не люди, а кто-то возится, топает ногами, то пищит, то бормочет, мечется во все углы... Вот, что-то разлетелось вдребезги и ясно раздалось: «Эх, что взял!» — да таким тоненьким голоском, что у Пафнутьича волосы стали дыбом.

— Ваня, Ваня! — раздалось снова.

Пафнутьич бросился в залу, чтоб кликнуть кого-нибудь из передней.

— Вот тебе и солдатик! эх, что взял?

— Ну что ж, а я твоих всех барынь перебью!

— Как бы не так, попробуй-ко!

— Перебью!

— Господи, да тут какие-то ребятишки забрались! — вскричал Пафнутьич, заметив отворенную дверь в парадную гостиную, откуда слышны были детские голоса. И он побежал туда.

В круглой комнате происходили ужасные вещи: Ванечка швырял со стола на пол Юнон, Диан, Психей, пастушек и маркиз в робронах; Дунечка бранит его скверным Ванькой, а Петенька, обломав с цветов всех птичек и бабочек, раскладывает их на диване.

Можете себе представить положение Пафнутьича, который все господское берег пуще своего глазу, прослужил век свой верой и правдой, не одними руками и ногами, но и сердцем, дослужился из *простого* Пафнутья до почетного Пафнутьевича. Сердце его облилось кровью, язык онемел, душа слезно простонала, и он, не вымолвив слова, схватил за шиворот Ванечку и Дунечку в одну руку, Петеньку в другую, и повлек их чрез все комнаты вон.

Крик, визг раздался по всему дому.

— Что такое? что такое? — вскричала Степанида Ивановна из комнат по другую сторону залы, которые она избрала для своей спальни и детской.— Что такое? — повторяла она, выбегая в залу. Но Пафнутьич протащил уже Петеньку, Ванечку и Дунечку, как три кулька с разным хламом, в переднюю, намерен был тащить далее, на двор и выбросить на навозную кучу. Вдруг, со двора, навстречу ему Захарий Эразмович с Федором Петровичем, а сзади налетела львицей Степанида Ивановна, рвет детей из рук его.

— Ах разбойник, ах каналья, ах душегубец! — кричала она, задыхаясь от сердца.— Братец! посмотрите, что делается в вашем доме! Господи боже мой, куда мы приехали!.. Ах мошенник! холоп! смел бить моих детей!

Нет! я этого сносить не могу, братец! я не могу этого сносить, как хотите!

В дополнение крику Степаниды Ивановны Петенька, Ванечка и Дунечка, прижавшись к матери, кричали на весь дом. Пораженный Пафнутьич дрожал как лист и молчал. Федор Петрович беспокойно затягивался и покрывал всю картину облаками дыма.

— Что такое, Пафнутьич, зачем ты их бьешь? — спросил Захарий Эразмович.

— Пафнутьич? так это-то Пафнутьич? — вскричала Степанида Ивановна, как будто снова прорвало ее,— так ты-то Пафнутьич, любезный? Знаю! Теперь вы видите, братец, сами, какую этот вор забрал себе власть у вас в доме! ему не понравилось, что мы без его позволения к вам приехали, так он и гонит нас вон! Он не уважает, что я сестра вам, а дети мои, ваши племянники!

Пафнутьич покачал головою, закрыл лицо руками и молчал.

— Не прячь, любезный, рожи своей, не спрячешься; я плутовства твои выведу на чистую воду. Знаю, тебе не по сердцу такие гости, да братец не променяет свою сестру на мошенника холопа!

Пафнутьич ни слова, зарыдал и вышел вон.

— Вот он, извольте смотреть, братец,— продолжала Степанида Ивановна,— он и слышать не хочет, и в ус не дует, и горя мало! Что ж, братец, это так и пройдет? холоп и прав, что прибил моих детей? тем и кончилось?

— А что ж с ним делать? — сказал Захарий Эразмович.

— Грубиян какой! — сказал Федор Петрович, пыхнув дымом.

— Так вы и не накажете его? — сказала Степанида Ивановна, дрожа от гнева.

— Я не умею наказывать,— сказал Захарий Эразмович.

— Позвольте мне, я вздую ему спину! — сказал Федор Петрович,— велю принести палок!

И он вышел на крыльцо, где Пафнутьич сидел на скамье и заливался горькими слезами; Филипп и прочие лакеи стояли около него и что-то перешептывались.

— Эй! — крикнул Федор Петрович к людям,— палок!

Все стояли, не двигаясь с места.

— Ступай, кто-нибудь, да нарежь палок! я тебя, голубчик, вздую! грубиян! Ну! что ж вы?

— Ничего-с,— отвечал Филипп.

— Палок, приказал я!

— Не знаем-с; его здесь нет, верно в кабак ушел.

— Кто ушел в кабак?

— Да ваш денщик-с.

— Какой денщик?

— Да вот которого палками изволите бить, верно за пьянство; по сию пору не приходил-с, экой право! барину с дороги нужно помыться, почиститься, да одеться; а он черт знает где! Уж подлинно, ваше благородие, стоит его палками.

— Скотина! — сказал Федор Петрович и, закусив трубку, пошел обратно в комнаты, где Степанида Ивановна, видя, что просто жалобы не действуют на Захария Эразмовича, залилась было слезами; но снова раздался детский крик.

— Господи! Братец, он опять бьет их! — вскричала она и бросилась бегом в парадные комнаты; Захарий Эразмович за ней.

Там Ванечка и Дунечка напали на Петеньку, который и руками, и ногами, и зубами защищал свою коллекцию бабочек и птичек.

— Ах вы мерзкие! ах вы скверные! ах вы разбойники! — вскричала Степанида Ивановна и, оттрепав и Петеньку, и Ванечку, и Дунечку за волосы, погнала их вон из парадных покоев.

— Ах вы негодяи! — повторил и Федор Петрович,— ах они баловни, что они наделали? Сделайте одолжение, Захарий Эразмович, накажите их как угодно, я не постою за них, ей-ей не постою! разве Степанида Ивановна... что делать, балует их, ей-богу, балует, ну, что толку, выдерет за волосенки; я бы драл их каждой день, ей-богу!

— А за что? — спросил Захарий Эразмович, рассматривая бабочек, птичек и статуйки.

— Как за что? за то же,— сказал Федор Петрович

— Батюшко, братец,— сказала Степанида Ивановна, возвратясь и отирая глаза платком.

— Странная вещь! — сказал Захарий Эразмович.

— Что будешь делать, братец, с детьми: им все игрушки. Вы сердитесь.

— Да какие игрушки-то: упала и разбилась вдребезги; и в руки нельзя взять,— сказал Захарий Эразмович.

— Вы сердитесь, братец.

— Да как же не сердиться: годятся ли детям такие игрушки?

— Не сердитесь, братец; ведь это фарфор; все будет цело; стоит только в молоке сварить.

— Кто ж это знал; я бы давно велел их сварить в молоке.

— Вы все сердитесь, братец.

— Ну, ну, не буду; дрянь такая, стоит того, чтоб сердиться.

— Оно, конечно, не стоит; да все жалко вещи.

— Где племянники? я им отдам все эти игрушки, пусть их бьют,— сказал Захарий Эразмович.

— Ах, боже мой, зачем же детям давать бить?

— Да что в них?

— Если вам не нравится, так лучше отдайте мне, братец.

— Возьмите, пожалуй.

— Покорно вас благодарю, братец; так уж скажите Пафнутьичу, что вы подарили мне эти вещи; а то он, пожалуй, и меня вытолкает отсюда.

— Нет, не вытолкает, я ему скажу.

— Да, я и позабыла, братец: у вас ключи от чулана и кладовой?

— У Пафнутьича,— отвечал Захарий Эразмович, начиная зевать.

— Как же, братец, вы поручили мне хозяйство; а я обращайся за всем к холопу?

— Да ведь он лучше меня это знает, сестрица; я не знаю, где и чуланы-то и что в них есть.

— Прекрасно! — начала было Степанида Ивановна голосом обиженного самолюбия; но, приняв зевоту Захария Эразмовича за нежелание продолжать разговор о ключах, она склонила речь в сторону. Но братец ее продолжал зевать. Он имел обычай, как и все люди, зевать и засыпать от скуки, когда что-нибудь переставало его занимать, игрушки приигрались, люди присмотрелись, речи прислушались. Только Пафнутьич умел занимать его, как заботливая нянька дитя. То вызовет его осмотреть дом, не нужно ли что починить, и Захарий Эразмович внимательно займется осмотром дома, заглянет во все щелки и трещинки; то поведет на ток, и батюшко молодой барин сам изволит наблюдать, как молотют, сам пересматривает битые снопы, не осталось ли колоса с зерном; то призовет старосту и начнет толковать ему волю господскую; и Захарий Эразмович слушает и подтверждает слова Пафнутьича. День проходит невидимо, попросту, без затей. Приехала сестрица;

Захарий Эразмович обрадовался сестрице и мужу ее, но вместе с этим как будто исчезло золотое *попросту без затей.* Сестрица так ласкова и сладостна, что мочи нет, поминутно велит племянникам целовать ручки у дядюшки, благодарить его за любовь к ним и за все милости. Федор Петрович рад всюду следовать за Захарием Эразмовичем с трубкой во рту и с кисетом в руках; но Федор Петрович сам ничего не выдумает.

— Ну, что ж теперь делать? — спросит его Захарий Эразмович.

— Что угодно, я на все готов; вот только позвольте набить трубочку, и пойдемте куда угодно.

Захарий Эразмович задумается и начнет зевать, а Федор Петрович покуривает себе трубочку в ожидании, куда угодно будет идти братцу.

Событие первого дня так поразило Пафнутьича, что бедный старик слег. С первого взгляда на Степаниду Ивановну он понял, что от такой сестрицы ничем не отвязаться уже его доброму барину, которого он про себя все еще называл Емельяном Герасимовичем; что Степанида Ивановна никогда ему не простит своей обиды; что Степанида Ивановна никогда не поверит, чтоб холоп был верен барину; а, наконец, хуже всего, что Степанида Ивановна такая гостья, которая выживет из дому и домового. Все чувствовал Пафнутьич; горька ему была и собственная обида: его назвали вором! Но он не мог простить себе неосторожного поступка. Хотел идти просить прощенья и у барина и у Степаниды Ивановны, да не мог; голова как раскаленная, ноги не служат. Утомленный гостями своими, Захарий Эразмович задремал спозаранку, не хватился Пафнутьича. День прошел.

На другой день раным-ранешенько поднялась Степанида Ивановна. Ее беспокоили уже заботы хозяйственные. Надо было призвать повара, распорядиться об обеде. Но ключи от чуланов и кладовой беспокоили ее еще больше.

— Позвать ко мне Пафнутьича,— сказала она своей служанке.

Служанка отправилась с людскую и возвратилась с докладом, что Пафнутьич еще не вставал.

— Ах мерзавец! не вставал! — вскричала Степанида Ивановна; — чтоб сей-час явился! слышишь?

— Слушаю-с.

Служанка опять побежала в людскую и возвратилась с докладом, что Пафнутьич не может идти, что он болен.

— Дерзость какая! это невыносимо! это ужас, что здесь в доме делается! Слуга управляет всем, творит что хочет! вчера прибил моих детей, сегодня меня прибьет! Господи, Иисусе Христе, да что это такое?

Много подобных вещей наговорила Степанида Ивановна, покуда встал от сна Захарий Эразмович.

— Извините, братец, что я до сих пор не могла распорядиться столом. Я послала за вашим Пафнутьичем, чтоб он выдал припасы повару; но ему верно не понравилось, что вам угодно было поручить мне хозяйство. Вместо того, чтоб придти ко мне, он приказал сказать, что еще не вставал с постели; я принуждена была послать вторично за ним, от вашего имени, но и это не помогло: он велел мне сказать, что нездоров и придти не может. После этого, братец, я не знаю, что делать! Вчера вы оставили без наказания дерзость его против ваших племянников и вот вам последствия: он меня знать не хочет; он мне на каждом шагу будет делать дерзости! Что ж удивительного: он пользуется безграничной доверенностью вашей, и я ему как бельмо на глазу. Он не может меня просто выгнать из дому, так хочет выжить разными неприятностями... Да я не знаю, успеет ли в том; не думаю, чтоб вы променяли сестру на холопа...

— Эй! позвать ко мне Пафнутьича! — крикнул Захарий Эразмович.

— Он, сударь, болен.

— Пафнутьич болен?

— Что ж удивительного, братец, что он теперь и вам скажется больным. Он свое дело сделал, показал, что меня знать не хочет. Нельзя же вдруг выздороветь; надо хоть до обеда притворяться. Будьте уверены, что к обеду он выздоровеет.

— Он, сударыня, совсем без памяти лежит, извольте посмотреть,— сказал слуга.

— Скажи пожалоста! я пойду навещать его!.. Все вы, голубчики, одного хамова племени, один за другого стойте; так где ж от вас правды ждать.

— Как угодно; извольте посмотреть,— сказал слуга.

— Пойдем! — сказал Захарий Эразмович.

Пафнутьич лежал в жару и бредил, когда вошел к нему его барин.

— Пафнутьич, а Пафнутьич! что с тобой, Пафнутьич?

— Матушка, сударыня, извините,— проговорил Пафнутьич, уставив глаза на Захария Эразмовича,— простите, матушка Наталья Дмитриевна!.. Бог ее знает, ведь она черт какой-то, а не сестрица, прости господи... Мальчишки перебили вдребезги Емельяна Герасимовича... а я что ж... ну, я и того; нельзя же, матушка, жаль, ей-ей, жаль барина, такой добрый... простите, сударыня!..

И Пафнутьич приподнялся, тянется к Захарию Эразмовичу.

— Сделайте божескую милость, простите! Ведь она меня считает...

И Пафнутьич, не кончив речи, горько зарыдал.

— Пафнутьич, что это ты, Пафнутьич, о чем же ты плачешь? Ну, ляг, ляг, Пафнутьич! — повторял Захарий Эразмович, прослезясь сам и садясь на постелю подле своего бедного дядьки.

— Матушка! вором считает! — проговорил Пафнутьич и еще горчее зарыдал; потом протянул руку под подушку и достал связку ключей,— вот извольте взять назад к себе Емельяна Герасимовича, а уж я не слуга, мне позволено на покой.

Пафнутьич вложил ключи в руку Захария Эразмовича и, охая, свалился на подушку.

— Пафнутьич болен, надо послать за доктором,— сказал Захарий Эразмович.

— Ох, нет, батюшко барин, нам ли уж у докторов лечиться: пройдет и так,— сказала старуха, жена Пафнутьича.

— Так пройдет! да хорошо ли будет, если так пройдет: на то доктора, чтоб так не проходило.

— Нет, уж избавьте!

— Ну, будь по-твоему.

— Пафнутьич больнехонек! — сказал Захарий Эразмович, возвратясь из людской.

— Хм! а вы и верите? — сказала усмехаясь Степанида Ивановна.

— Как же не верить: он бредит, плачет, говорит такую чепуху, что ужас слушать; говорит, что не кукол разбили, а меня.

— Хорош бред! Я вижу, как он бредит!.. Да пусть его что хочет бредит... я знаю, что вы, братец, его бреду не поверите... Но если он болен, так кому же вы поручаете ключи ?

— Да вот все ключи, и от шкапов и от комодов.

— Если вы поручаете, братец, мне, так позвольте мне пересмотреть все и принять при вас на руки. Может быть, в комодах деньги или какие-нибудь драгоценные вещи.

— Ну, пойдемте смотреть,— сказал Захарий Эразмович и повел Степаниду Ивановну в свой кабинет. Когда дело дошло до шифоньерки, где в ящиках было множество золотых табакерок, часов, драгоценных перстней и, между прочим, бриллиантовых и жемчужных женских украшений, Степанида Ивановна затряслась над ними, глаза ее разбежались, дыхание занялось.

— Вот,— сказала она дрожащим голосом, вынимая из футляра дрожащими руками жемчужные нитки,— как вырастет племянница, дядюшка и подарит ей в приданое.

— Можно; пусть только скорей растет,— сказал Захарий Эразмович.

— А между тем, братец, я надеюсь, и мне позволите иногда пользоваться: куда-нибудь на бал съездить или у себя вздумаете дать бал.

— Отчего же не дать, пожалуй.

— Вот у дядюшки Эразма Львовича сколько было вещей, хоть бы одно колечко оставил мне в наследство,— проговорила слезным голосом Степанида Ивановна; — хоть бы на память, что я его любила, ходила за ним!.. Меня оклеветала в глазах его одна тварь, Фекла Савишна, лишила меня его любви!

И Степанида Ивановна смочила весь платок слезами.

— Неужели, братец, дядюшка при смерти ни слова обо мне?

— Ни слова.

— И в завещании ни слова?

— А бог его знает, я не помню.

— Так почему ж знать... может быть, он не забыл меня с детьми... Я братец, прошу вас показать мне завещание; я желаю знать последнюю волю его; я не десятая вода на киселе.

— Да не знаю, где и завещание-то.

— Нет уж, я вас покорно прошу, нельзя же, чтоб он совсем-таки забыл меня; притом же я у него под опекой была — не нищая: после матушки осталось много драгоценных вещей, бриллиантов и жемчугу. Где ж было храниться всему этому, как не у дядюшки.

— Пафнутьич все это должен знать; вот выздоровеет, спросим его.

— Что за всезнай такой Пафнутьич у вас: он только и знает все, от него только и зависит все! нет, братец, я, кроме дядюшкина завещания, да вас, никого знать не хочу!

— Ну, чего не знаю, того не знаю,— сказал Захарий Эразмович; — да что ж мне делиться что ли с вами, сестрица: что есть, то вместе, чего нет — пополам.

— Ну, уж как угодно, братец, а я бриллианты и жемчуги буду считать своими. Дядюшка отказал вам, как сыну, все именье; а уж с какой стати достанутся вам женские украшенья; вам не носить их.

— Разумеется.

— Я это возьму, все перечищу; а потом уж, со временем, вы мне покажете завещание; потому что, может быть, дядюшка оставил и капитал какой-нибудь.

— А вот в этом ящике.

— Вот видите ли; а позвольте узнать, сколько?

— Ну, уж денег я и считать не умею; это дело Пафнутьича.

— Ах, господи! Пафнутьичу поверять и деньги, да еще без счету! да добро бы только свои, а то и мои туда же!

— Так что ж такое?

— Вот прекрасно! я буду жертвовать своим достояньем холопу! Нет, братец, я хочу знать свое!

— Что ж вы, сестрица, делиться хотите со мной? Не все ли равно: что мое, то ваше, что ваше, то мое; вот, например, ваши племянники мои.

— Нет, не все равно: дело другое, если б вы при жизни передали вашим племянникам именье, а сами были бы их опекуном. О, тогда истинно было бы, что наше, то ваше, что ваше, то наше. Мы бы вас лелеяли, как благодетеля, угождали бы вам, ласкам и меры бы не было.

— Что ж, и прекрасно.

— Вы не шутите.

— Ей-богу нет!

Степанида Ивановна вскочила, обняла Захария Эразмовича, засыпала поцелуями. Сроду никто так сладко не целовал его, так крепко не обнимал его.

— Братец, душенька, миленькой, хорошенькой!

И Степанида Ивановна снова впилась в него. Он совсем обомлел от незнакомых ему еще ласк.

— Постой же, душенька,— сказала наконец Степанида Ивановна,— мне надо распорядиться столом.

— Зачем надо? не надо! — сказал Захарий Эразмович, удерживая ее.

— Как же можно; мы без обеда останемся; повар ждет меня.

— Что ж за беда.

— Нельзя братец, душенька.

— Ах, как это скучно!

— Что ж делать. Так я возьму все эти вещи, перечищу, уложу хорошенько, да подальше; хорошо ли это, что у вас вся дворня знает, где что лежит. Да на расход денег надо взять, братец,— счетом. А завтра я сама отыщу опись и переверю все: это удивительно, как вас по сию пору совсем не обокрали!

Степанида Ивановна взяла все, что ей было по душе, взяла денег на расход и отправилась на свою половину.

— Федор Петрович,— сказала она мужу, припрятав вещи и деньги в сундук,— ты ухаживай за братцем, не оставляй его ни на шаг; а не то, того и гляди, что его собьют с толку: я уговорила его поделиться наследством с нами; так пусть он совершит акт, надо держать ухо востро. Уговори-ко его ехать сегодня на охоту.

Федор Петрович исполнил в точности приказание супруги своей. Захария Эразмовича не трудно было уговорить; и, следовательно, все шло по желанию Степаниды Ивановны. На просторе она занялась осмотром всего, что было под ключами. Отыскала в бумагах и завещание и опись всему движимому и недвижимому. С жадностью прочитала она завещание, надеясь найти в нем и свое имя и свою долю; но ошиблась.

— Ну,— сказала она, покачав головой,— счастье мое, что я выговорила кое-что у братца! У другого бы пооблизалась, да с тем и осталась.

Собрав всех дворовых людей, Степанида Ивановна объявила, что братец вверяет ей все хозяйство в доме, что они теперь не в управлении какого-нибудь холопа; что если что кому нужно, чтобы шли прямо к ней, что она все выпросит для них у братца: прибавку жалованья, прибавку провизии.

— К чему, сударыня,— сказал Филипп,— покорно благодарим! уж как до сих пор было, лучше и желать не надо: всего вдоволь, и милости господской и всякого жалованья.

Степанида Ивановна вспыхнула; Филипп затронул ее самолюбие.

— Ты за других не говори; тебе, любезный, верно с руки было воровское управленье; так не удивляюсь, что для тебя и желать лучше не надо.

— Нам всем хорошо было, сударыня,— отозвалась вся дворня в один голос.

— Конечно... в одной шайке всем хорошо,— сказала Степанида Ивановна; — очень рада, тем меньше мне забот об вас.

— Господи, как это все распущено! — продолжала она, оставшись одна.— В самом деле, им лучше и желать не́чего: что хотят, то и делают, берут что вздумают без меры, без счету; барствуют, да и кончено. Нет, голубчики, я вам крылья-то пообрежу! Постойте!

В самом деле, как не обидеться самолюбию Степаниды Ивановны: в целой дворне не нашлось такого благоразумного человека, который бы польстился на ее журавлей и пренебрег синицу; который бы хоть чем-нибудь похулил старый порядок, в котором она видела ужасный беспорядок. Но не все же и добрые люди довольны довольствием людей, которое не от них проистекает; как же было Степаниде Ивановне не возмутиться против всей дворни, которая отказалась от предлагаемых ею улучшений и явно поставила ее в грязь перед Пафнутьичем. Бывают люди, которые не навязывают никому своих милостей: хочешь бери, а нет, так честь приложена, а от убытку бог избавил. Но есть и такие милостивцы,— откажись только от их милостей — попадешь в немилость. Такова была и Степанида Ивановна; если она обещала горсточку муки, то надо было ее благодарить за съеденный хлеб и уверять, что сыт только ее милостями.

Скоро все в доме почувствовало присутствие Степаниды Ивановны. Куда вдруг девались живость, угодливость, готовность; все как будто заболели: ходят как мешки, смотрят дико, отвечают грубо.

— Ну, братец, дворня у вас! признаюсь! вот что значит не иметь в доме хозяйки.

— Я и хочу, сестрица, жениться.

— Жениться? — проговорила Степанида Ивановна, закусив губы.

— Да, я хочу, чтоб у меня была такая же жена, как вы. Вы славная жена!

— Ах, братец, какие вы добрые! — сказала Степанида Ивановна нежным голосом, обнимая Захария Эраз-

мовича,— если б вы знали, как и я вас люблю!.. Будет ли вас так любить жена ваша. Ах, братец, братец, бог знает еще какая попадет: злая, капризная, холодная, мотовка... Не дождетесь от нее ни ласк, ни любви. Подай ей того, подай другого — откажешь, не оберешься крику и слез; исполнишь — как в омут: ничем не насытишь, все мало, будет себе бурчать, да ворчать. О, господи, если б я была мужчиной, я бы никогда не женилась! имевши ваше состояние, охота навязывать на шею обузу! Ну, скажите, чего вам не достает? хозяйки в доме? Я буду у вас хозяйкой, поставлю ваш дом на такую ногу, что хоть балы давайте. Детей, ах, братец, если б вы знали, сколько горя с ними, сколько забот! сердце *кажную* минуту надрывается!.. Да и к чему вам дети? возьмите моих, будьте их родным отцом; вы же обещали укрепить за ними именье. Свои-то, бог весть еще, будут ли вам благодарны; а мои век будут считать вас благодетелем, вырастут на ваших же глазах, под вашей же опекой, в уваженьи и любви к вам. Об себе я уж и не говорю: кто ж мне будет дороже вас, кого мне так любить, как не вас, душенька?..

И снова Степанида Ивановна осыпала поцелуями Захария Эразмовича, и снова казалось ему, что лучше ласк Степаниды Ивановны ничего в свете нет лучше.

— А ведь я совсем было женился на Вареньке,— сказал он.

— Какой Вареньке? — спросила вздрогнув Степанида Ивановна.

— Дочери полковника Артамона Матвеевича; он и сегодня поутру присылал узнать об моем здоровье и сказать, что он и Варвара Артамоновна ждут меня к себе к обеду.

— Владыко, царь небесный! да это нелюди: у человека не успел отец умереть, а ему навязываются на шею с невестами! Побойтесь господа бога, братец, вам до шести недель шагу из дому нельзя сделать; а до году не только жениться, да и думать-то об невесте грех.

— А я слово дал, что приеду.

— О господи! да вы такой добрый, что вас только что слепой не заведет! Избави бог жениться: жена скрутит вас так, что жизни не будете рады! А я уеду от вас! Бог с вами!

— Это для чего?

— Уеду! — повторила Степанида Ивановна горестно, сняла руку с плеча Захария Эразмовича, закрыла лицо платком и, казалось, готова была облиться слезами.

— Ну, так я лучше не женюсь,— сказал Захарий Эразмович.

— Не женитесь? Ей-богу?

— Не женюсь, ей-богу!

— Душенька, братец!.. теперь я спокойна, век вековать буду с вами!.. О добрый мой, милый братец!.. Да кто ж такой Артамон Матвеевич?

— Полковник военный.

— А как-бишь вы назвали жену-то его?

— Артамон Матвеевич не женат.

— Да откуда ж у него дочь?

— А право, я не знаю.

— Ах, братец, братец! Как вы неосторожны! Да этот полковник такую навязал бы вам полковницкую дочь, что стыдно было бы в люди показаться. Нет, братец, не ездите к ним! Чего доброго, у вас уж не было ли сватовства?

— А как же; она сама сказала, что любит меня и готова бы была за меня замуж идти, да отец, говорит, не позволяет.

— Ах, какое плутовство! — вскричала Степанида Ивановна,— они вас просто заводят: им не вы, а именье ваше дорого!.. Так уж дело доходило до объяснений?

— Доходило.

— Ах, владыко мой! да вы не давали ли слова жениться?

— Дал.

— Скажите пожалоста! Ах, боже мой! Вам теперь одно спасенье: укрепить скорее именье за племянниками; увидите, как только узнают об этом, сами отвяжутся; а не то с ножом к горлу пристанут; я знаю этих военных: приставит ко лбу пистолет, да и скажет: женись, а не то убью; ты соблазнил мою дочь!

— Хм! да уж он говорил мне, что я соблазнил его Вареньку,— сказал Захарий Эразмович.

— Видите ли, братец, видите ли! Я отгадала. Ах, не советую вам медлить; если любите, послушайтесь меня, поедемте вместе в город и там кончим дело.

Захарий Эразмович, не думавши, согласился на предложение Степаниды Ивановны. Нужно только согласие,

а дело сделать не долго. На другой же день Захарий Эразмович с Степанидой Ивановной, Федором Петровичем и своими племянниками очутился в гостинице губернского города. На третий день Федор Петрович, как поверенный в делах, препровожден был в судебные места, Захарий Эразмович остался дома с племянниками, а Степанида Ивановна отправилась в ряды и по модным магазинам закупать и заказывать *весь туалет* знатной дамы. Не прошло и суток, куда девалось все ситцевое, перкалевое, коленкоровое, все шитое дома, сто раз мытое, тысячу раз глаженое! Откуда взялись шелки и бархаты, кисеи, батисты, и блонды, и кружева, и все, до чего женская душа такая охотница!

Начались примеривания. Захарий Эразмович присутствует при туалете.

— Нравится вам, братец, эта шляпка?

— Нравится.

— А эта?

— И эта нравится.

— Ну, вот, видите ли, я все по вашему вкусу купила. А это платье нравится?

— Нравится.

— Как я рада, что мы сошлись вкусами! А что лучше, платок или шаль?

— Нет, это мне не нравится.

— Что не нравится?

— Мне так, просто, без шали и платка лучше нравится.

— О, какой вы плут! Ну, я буду надевать только при гостях или куда-нибудь выехать.

Надо правду сказать, что весь туалет очень поднял запущенную красоту Степаниды Ивановны, тем более что она была не *плоская* женщина.

Не прошло недели в хлопотах Федора Петровича по судебным местам и Степаниды Ивановны по лавкам и магазинам, в одно прекрасное утро принесли наконец Захарию Эразмовичу подписать акт, а Степаниде Ивановне примерять последнее бальное платье. Захарий Эразмович подмахнул по обычаю, как учили его в бригаде подписывать свою фамилию, а Степанида Ивановна, разряженная в пух, обняла его, велела племянникам поцеловать его руки, еще раз обняла, хотела повторить еще раз свою благодарность за его милости; но принуждена была вскрикнуть: «Ах, братец, вы изомнете платье!»

Глава четвертая

О том, как гостья выжила хозяина из дому

Дело сделано, решено! Владетели всего имения малолетние Петенька и Ванечка, управляет именьем их мать обще с дядей. Вот возвратились в поместье, вот благодетеля Захария Эразмовича только что на руках не носит Степанида Ивановна, однако ж не так крепко обнимает его, чтоб не измять новый шелковый свой капот. Степанида Ивановна целый день занята распоряжением, то то переставь, то то убери. Захарий Эразмович, как участник в правлении, ходит следом за ней; ждет, когда она сядет отдохнуть, посадит его по обычаю подле себя и начнет называть душенькой братцем, обоймет и расцелует за благодеяние; но Степаниде Ивановне некогда, ей наскучило, что он как хвост за ней. Она хоть и сядет, да говорит, что устала, мочи нет, или начнет говорить, что то́ надо сделать, другое завести; тот лентяй, другой грубиян, всю дворню необходимо переменить. А когда Захарий Эразмович хочет по обычаю приложить головку на грудку, так: «Ах! что это вы! изомнете косынку!.. Что вы все сидите дома, не ездите с Федором Петровичем на охоту?»

— Не хочу; мне с вами, сестрица, приятнее.

— Ах, боже мой, да нельзя же нам целый день быть вместе!

— Отчего?

— От того, что я не жена ваша.

— Да не сами ли вы говорили, что мне не нужно жениться, что мы всегда будем вместе?

— Что ж из этого? вот мы и живем вместе, в одном доме.

— Нет, вы хотели всегда меня целовать.

— Покорно благодарю! для этих нежностей вы уж женитесь.

— На ком?

— Да вот хоть на дочери этого полковника, что вы говорили, право!

— Не хочу!

— Впрочем, как вам угодно, братец.

— Да, как угодно мне, так и угодно!

После подобных разговоров Захарий Эразмович, нахмурившись, уходил на озеро рыбу ловить. Но когда возвращался, Степанида Ивановна как будто из сожа-

ления скажет: «Вы сердитесь, братец? Ну, не сердитесь!» и поцелует его в лоб. Захарий Эразмович и забудет сердце, снова начнет ходить вслед за Степанидой Ивановной по хозяйству и управлению.

Все шло ладно, покуда не поднялся на ноги Пафнутьич. Когда ему сказали, что̀ сбылось во время его болезни, старика снова бросило в жар и бред, и он пролежал лишнюю неделю. Наконец встал через силу, притащился к барину, поцеловал руку ни слова не говоря и зарыдал.

— Что ты, Пафнутьич, плачешь? — спросил его Захарий Эразмович.

— Об вас, сударь! — проговорил старик,— что̀ вы сделали!

— А что?

— Как что́? баба вас надула! что вы сделали-то! О, господи! я что взглянул, то увидел, что добра не будет!

— Какого добра?

— А вот такого, что у вас выманили именье, что вас обманули, обобрали! что меня уж гонют из людской, да и вас вытурят из дому! Сестра! ай да сестра! Навезла своих поросят, а вы им бух именье!..

— Что ты, любезный, говоришь? — раздался вдруг голос Степаниды Ивановны, которая подслушивала в дверях слова Пафнутьича.

Он спокойно обернулся к ней и сказал:

— Я своему барину говорю, сударыня, а не вам; говорю, что знаю.

— Вон! мошенник!

— Когда мой барин скажет мне вон, так я пойду.

— Братец, изволь ему приказать выйти вон, покуда я...— Степанида Ивановна воздержалась, не досказала чего-то.

— Пафнутьича вон? — спросил Захарий Эразмович.

— Да-с!

— Нет-с, Пафнутьич вон не пойдет, покуда я вон не пойду.

— Я вас не удерживаю; ваша воля жить или не жить в доме моих детей! а этот мерзавец здесь не будет! Ей! люди! Федор Петрович!

— Что такое? что такое? — вскричал, прибежав Федор Петрович.

— Хоть бы на грош было в вас совести! обобрали барина, да так с ним поступают! — сказал Пафнутьич.

— Федор Петрович, гони этого бездельника! он бог знает что говорит! он хочет поссорить меня с братцем!..

— Полно, душа моя, что ты это сердишься,— сказал Федор Петрович,— стоит так сердиться: я его взашей да и кончено. Пошел!

— Кто пошел? мой Пафнутьич? — сказал Захарий Эразмович; — нет, прежде все отсюда к черту пойдут!

— Перестань, душа моя,— сказал Федор Петрович, оробев и обращаясь к жене своей.

— Нет, я этого не могу перенести! Этот старой вор про нас бог знает что говорит братцу!.. Будто мы обманули его, обобрали, тогда как он сам предложил отказать именье своим племянникам, а на то имел важную причину, потому что без этого ему предстояла беда! Я одна только это знаю.

— Ну,— подумал Пафнутьич,— проболтался, верно, мой барин, что он не настоящий наследник!.. Матушка сударыня,— продолжал он, подходя к Степаниде Ивановне и кланяясь в землю,— оставьте уж сердиться; я виноват; я так и не в себе был, да сказал вам неприятное.

— Знаю, что ты не в себе, не туда залетел! — сказала Степанида Ивановна,— да я, любезный, каркать воронам здесь не позволю!

И она вышла вон; Федор Петрович вслед за ней.

— Хорошо, что ты попросил у ней прощенье, Пафнутьич,— сказал Захарий Эразмович,— а то бы черт знает что вышло.

— Ну, батюшко барин, хоть уходить нам отсюда! — сказал Пафнутьич.

— Да хоть сейчас! — сказал Захарий Эразмович,— раздевай меня!..

— Куда и идти-то! не по̀ миру же идти!.. Покойной ночи, сударь! — сказал Пафнутьич, раздев барина и уложив в постелю.

По обыкновению, только что проснется Захарий Эразмович, племянники и племянница прибегают пожелать ему доброго утра, поцеловать у дядюшки ручку; на столе перед ним является поднос с чаем и крендели, до которых он был охотник. Оденется он, входит Степанида Ивановна, поцелует его, спросит, спокойно ли ночь провел, не изготовить ли ему какое-нибудь любимое блюдо к обеду: *пермени* или *рагу*. Захарий Эразмович попривык к этому порядку. Но вот проснулся он, по

обыкновению крикнул: «Эй!» Но Филипп, его камердинер, нейдет.

— Филипп!

— Филиппа нет-с,— отвечал вошедший другой слуга.

— А где ж он?

— Не могу знать-с.

— Чаю!

— Барыня чай откушали-с; а самовар еще не вскипел.

— Чтоб сейчас вскипел, слышишь?

— Слушаю-с.

— Да кликни Филиппа.

Слуга ни слова не отвечал, вышел. С час пролежал Захарий Эразмович в ожидании чаю, наконец, снова начал кричать: «Эй! Филипп!»

После долгого тщетного призывания Филиппа, слуга вошел с маленьким подносом, на котором стоял стакан жидкого чаю.

— А кренделей?

— Я спрошу-с.

Слуга вышел и скоро возвратился с докладом, что кренделей нет, что кренделя все вышли.

— Как кренделей нет! — крикнул Захарий Эразмович,— а это что за чай? пьфу!.. Филипп где?

— Барыня послала его куда-то-с.

— Подай халат!.. пьфу! это чай!.. Где барыня?

— У себя в комнате-с.

Захарий Эразмович, надев халат, отправился в спальню Степаниды Ивановны.

— Что это такое, сестрица, за гадость чай! помои! кренделей нет! Филипп черт знает где!

— Что это такое, братец, за дерзость: пришли в мою спальню в халате!

— Да я вас не о том спрашиваю, в чем я пришел, а о чае.

— А я вас прошу не кричать на меня, как на служанку и не ходить сюда в непристойной одежде! в халате!

— Да я и без халата-то к вам не пойду! Да теперь не о том дело: я хочу чаю.

— Не десять раз чай делать: я не имею права пропивать на чаю детское именье; да и вы также. Не угодно ли вам вперед приходить пить чай вместе с нами.

— Нет, не угодно!

— Как хотите.

— Да и жить-то не хочу вместе с вами!

— Ваша добрая воля; я выгонять вас не могу; я очень ценю ваше благодеяние в отношении моих детей; но переносить дерзостей от ваших слуг не намерена; не допущу и того, чтоб какой-нибудь дармоед, наушник Пафнутьич, жил в доме и осмеливался думать, что и он что-нибудь да значит здесь!

— Пафнутьич не будет здесь жить, и я не буду!

— Что ж делать, братец, если вы так влюблены в своего Пафнутьича, что предпочитаете его сестре, то, разумеется, нам нельзя вместе ужиться. Но мне желательно знать, чем вы будете жить?

— Я знаю чем!

— Впрочем, разумеется, вы имеете право на часть доходов, необходимых для прожитья; кажется, седьмая часть... я вам буду доставлять, куда назначите... Но, признаюсь вам, если б вы собственно меня назначили своей наследницей, я бы отказалась от вашего дара; а тем, что принадлежит уже детям моим, к несчастью, я не могу располагать, хотя я и мать моих детей... По вашему распоряжению, я управляю вместе с вами их именьем и, несмотря на то, не могу уже позволить вам произвольно здесь распоряжаться.

— Что? вы не позволите мне и плюнуть на вас на всех?

— Нет-с, плевать я не позволю! Прошу меня оставить!

— Ну, так черт с вами! — сказал Захарий Эразмович в сердцах, выходя из комнаты.

— Не со мной, а с вами черт Пафнутьич! — крикнула Степанида Ивановна вслед Захарию Эразмовичу.

Он недолго думал, нарядился в свою любимую венгерку, взял фуражку и пошел.

— Пафнутьич! — крикнул он среди двора.— Эй! Пафнутьича кликнуть!.. Пойдем, Пафнутьич!

— Куда, сударь?

— Куда? ну туда куда! бери шапку!

Пафнутьич побежал за шапкой и едва догнал своего барина, который скорыми шагами шел по дороге.

— Батюшко барин, куда вы?

— Ты видишь куда; иду куда глаза глядят.

Больше ничего не мог добиться слабый еще и истомленный болезнью Пафнутьич от Захария Эразмовича, который шел себе скорым шагом куда глаза глядят.

Глава пятая

О том, как Захарий Эразмович шел куда глаза глядят, а дело шло к развязке

Вот, едет по дороге коляска, а в коляске сидит русский барин; и видит этот барин, что по дороге идет скоро, не оглядываясь, какой-то человек, а за ним следом, запыхавшись, почти без сил, тащится другой и кричит: «Батюшко барин, барин батюшко! постойте! Куда вы идете? О, господи, куда он идет!»

Кому не любопытна такая встреча. По пословице: голенький ох! а за голеньким бог.

— Стой! — вскричал барин,— воротись назад, догони вон этого человека.— Кучер поворотил назад, догнал Захария Эразмовича.

— Милостивый государь! а милостивый государь!

— Что? — произнес Захарий Эразмович.

— За вами бежит человек.

— А! это Пафнутьич,— сказал Захарий Эразмович, остановясь и оглянувшись назад.

— Батюшко барин, постойте! — повторял Пафнутьич и, добравшись наконец, сел на землю и перевел дух.

— Ну, куда мы идем, бог с вами!

— Куда, куда? говорю тебе, куда глаза глядят.

— Да куда ж, сударь, без денег, с голоду, что ли, умирать на дороге, милостинку, что ли, просить?

— Да, позвольте узнать, милостивый государь, что с вами случилось? — спросил барин; — не могу ли я чем-нибудь быть полезным?

— Что случилось! Баба выжила из дому?

— Да как же это?

— Ох, сударь, да этого и рассказать не расскажешь!

— Да куда ж вам идти, вправду; садитесь со мной, поедемте ко мне. Расскажите, пожалуйста; может быть, чем-нибудь могу быть вам полезным.

— Пожалуй, поедемте,— сказал Захарий Эразмович,— я мочи нет, как устал.

— Господи, не без добрых людей на свете! — проговорил Пафнутьич, перекрестясь.

— Садись и ты, старик, в коляску.

Сел в коляску против их Пафнутьич; сели и поехали. А куда, к кому поехали, бог их знает.

Когда настало время обеда, Степанида Ивановна велела подавать кушать и села за стол. Петенька, Ва-

нечка и Дунечка хотели было бежать взапуски, кто первый прибежит к дяденьке сказать, что на стол подано, но Степанида Ивановна остановила их порыв, прикрикнув: «Куда! садитесь!»

— К дяденьке сказать, что обед готов.

— И без вас доложут.

— Захария Эразмовича нет дома-с,— сказал слуга; — они куда-то изволили уйти и еще не возвращались.

— Так как же, душа моя, надо бы его подождать,— сказал Федор Петрович.

— Не ваше дело дожидаться,— отвечала Степанида Ивановна.

— Стало быть, он сказал тебе, что не будет дома обедать?

— Стало быть! — отвечала Степанида Ивановна сердито.

— Стало быть, он поехал? — спросил Федор Петрович у слуги.

— Никак нет-с, изволили пойти пешком.

— Так как же, душа моя, ведь он, стало быть, скоро воротится.

Степанида Ивановна как будто не слышала слов своего мужа.

После обеда Федор Петрович, по обычаю, лег соснуть. И Степанида Ивановна любила отдохнуть после обеда; но ей не спалось. Долгое отсутствие Захария Эразмовича начинало ее беспокоить. Когда смерклось, она сама вышла спросить, возвратился ли братец.

— Никак нет-с,— отвечали ей.

— Куда же он пошел? один?

— Никак нет-с, с Пафнутьем Игнатьевичем.

— Что за Пафнутий Игнатьевич? что за особа такая, величать по имени и отечеству? Чтоб у меня этих почестей не было, слышишь?

Настала ночь; Захарий Эразмович не возвращается. Степанида Ивановна несколько раз высылала Федора Петровича спросить: возвратился ли братец? Но вся дворня принимает в нем более участия. Долго перешептывались беспокойно и в передней и в людской, наконец, с общего согласия разбежались искать его во все стороны. Степанида Ивановна вышла в переднюю, чтоб снова спросить о братце; а в передней ни души. Это ей труднее было перенести, нежели неизвестность, куда девался братец.

— Где люди? — крикнула она.

Дунька побежала за людьми в людскую; но и там никого нет.

— Побежали, сударыня, искать барина.

— Без приказания! без позволения! Это ужас, ужас! — кричала Степанида Ивановна, расходясь, и прогнала Федора Петровича искать людей.

Поиски Захария Эразмовича были тщетными. Во дворе и в деревне скорбь по нем; а Степаниду Ивановну недолго беспокоила эта пропажа. Она занялась вполне управлением детского имения и постановкой дома на приличную ногу. Все закрехтело. И что за великая барыня стала Степанида Ивановна! что за знатность, что за спесь! Маленьким людям приступу нет; не только вся дворня, но и муж ходит по струнке. Когда стала она приводить в порядок гостиную и расставлять снова прибранный к рукам фарфор, тогда настал и страшный суд для Петеньки, Ванечки и Дунечки за разбитые вещи, за раздробленные члены Минервы, Венеры, амуров, маркиз и пастушек.

— Это кто разбил? а?.. а! не ты, это не ты разбил?.. и не ты?.. и не ты?..

Расходясь от сожаления к увечным статуйкам, Степанида Ивановна чуть-чуть не изувечила детей.

Прошло довольно времени; Степанида Ивановна успела составить почетный круг знакомства и, наконец, решилась дать в день своих именин обеденный стол и пышный бал. Но так как его необходимо было, по ее мнению, прикрасить хотя двумя или тремя превосходительствами, то Степанида Ивановна озаботилась разведать, где живут необходимые для ее бала чины, каких они свойств, каких качеств, с какими наклонностями и прочее. Потом отправилась к ним заводить знакомство. Во-первых, поехала к его превосходительству Кириле Яковлевичу, древнему старцу, который ровно полвека изучал теорию садоводства, от воздушных вавилонских садов, висячих *араи* персидских, римских horti pensiles[1], до симметрических французских, огородных немецких и парков английских. Сначала уничтожил он запущенный глухой прародительский сад и сделал из него французский модный jardin[2], с правильными аллеями бесплодных стриженых и бритых деревьев, с павильонами,

[1] Перечисление различных видов устройства садов на крутых склонах.

[2] сад *(фр.)*.

с беседками. Но мода на jardin прошла, заговорили о парках,— франтовскую симметрию побоку,— надо создавать парк, природу *аплике:* копать пруды, воздвигать горы, строить развалины, громоздить скалы, делать водопады, подземные *пагоды* индейские, надземные храмы греческие с болванами Венеры и Цереры, проводить дороги и воды, садить взрослые деревья, и на все это деньги и деньги, время и труд. Положив таким образом в землю весь свой капитал, доходы настоящие и будущие, он наставил, как будто в память ему, в разных местах парка, надгробия: обелиски, пирамиды и слезные урны: и деньги плакались и люди плакались.

Степанида Ивановна, приехав к нему, велела доложить, что имеет крайнюю нужду.

— Чем могу вам, сударыня, служить? Покорно прошу садиться.

— Извините, ваше превосходительство, что побеспокоила вас; я к вам за советом; я столько слышала о вашем познании в садоводстве; у вас, говорят, чудеса. Не утерпела: я такая охотница до садов, приехала посмотреть; хочу сама разводить; да что ж, ведь я женщина, опытности не имею.

— Покорно просим, очень рад. Надо правду сказать, у меня образец садам, приобрел маленькую известность, положил много денег. Ну, в сорок лет можно понабраться опытности. Зато хорош; хотя, надо правду сказать, здесь нет совсем знатоков... покорно просим, сами увидите.

Кирило Яковлевич повел Степаниду Ивановну в свой парк и начал толковать ей на каждом шагу, что́ искони было на этом месте, что́ было пото́м, и что́ наконец он решился сделать.

— Вот, изволите видеть,— говорил он, показывая на луг перед домом с увядшей липой посредине,— это называется *плежур-граунт;* тут был прежде цветник; а где теперь стоит дерево, тут стояли три грации...

— Зачем же это, ваше превосходительство, цветник-то вы уничтожили? ведь оно очень хорошо цветы перед домом: всегда приятный запах.

— Хм! вы, сударыня, охотницы до цветов; ну, оставьте у себя перед окнами маленькой цветничок, а уж плежур-граунт необходим; надо, чтоб перед домом место было открыто; а ничто лучше не открывает его, как плежур-граунт... Ну-с, отсюда начинается зигзаг.

— Господи, какими *вавилонами* идет дорога!

— То-то и есть; а вам, чай, нравится прямая аллея? никуда не годится! у меня здесь и была прямая аллея, и надо правду сказать, чудная аллея, в виде галереи с колоннадой; и вела она к *храму стыдливости,* на месте которого теперь, между двумя скалами, водопад и над ним *чертов мост...*

— Чертов мост? ах, позвольте посмотреть! мне муж чудеса рассказывал про него.

— Неужели? стало быть, мы сослуживцы с вашим мужем? Как бы я желал с ним познакомиться.

— Так позвольте воспользоваться случаем и просить вас сделать мне честь, пожаловать ко мне на бал, двадцатого числа. Я вам представлю мужа; он бы предупредил сам ваше превосходительство, но ступить на ногу не может.

— О-хо-хо, хорошо что еще нóги вынес. Служба с Суворовым *не то, что теперь.* Очень рад буду, непременно буду. Кстати, любопытно видеть расположение вашего сада и кáк вы хотите все устроить. Совет мой будет не лишний.

Степанида Ивановна должна была выходить весь парк, выслушать всю историю преобразований сада, удивляться, ахать и уверять, что она непременно построит у себя в саду и эрмитаж, и готическую башню, и необитаемый остров посреди озера, и заведет лебедей, и прочее, и прочее.

Взяв честное слово с Кирилы Яковлевича, что он не преминет быть у нее на балу, Степанида Ивановна отправилась, утомленная, домой, а на другой день, собравшись с новыми силами, пустилась в путь к другому их превосходительству, который славился в уезде великим познанием агрономии.

В сельской жизни не то, что в городской. В русской сельской жизни то только и бал, когда приглашается весь уезд. Жить открыто в городе — необходимо быть знакомым со всею знатью города; жить открыто в поместье — знаться со всею знатью уезда. В городе можно угостить занятый желудок полчашкой чаю и *английской соломкой;* но в уезде приезжают на бал с отверстым желудком, который после переезда нескольких десятков и иногда сотни верст требует пополнения понесенного убытка во время дороги. В городе приезжают гости налегке, потолкаться без толку, прошушукать несколько слов, пройти по зале павой или гоголем, позевать про себя и потом, не сказав ни здравствуй, ни прощай,

уехать домой зевать вдоволь от запустения в душе и в желудке. Но в уезде гости приезжают воистину погостить: потешиться вволю, покушать в мочь, переговорить о житье-бытье, наконец, в полном довольствии раскланяться, распроститься и ехать домой с запасом какой-то сытости душевной и телесной.

Наблюдая все эти условия и требования сельского угощения, Степанида Ивановна за несколько дней призвала к себе повара.

— Послушай, к моему рожденью надо изготовить французский стол.

— Слушаю, сударыня.

— Да ты умеешь ли готовить французский стол?

— Как же, сударыня, пять лет был в науке; покойный барин не изволил кушать простого стола.

— Ну, что ж ты изготовишь?

— Что прикажете, все изготовлю.

— Ну, да что именно, я хочу знать?

— Можно суп *а ля тортю-с* из телячьей головки.

— Терпеть не могу! какой-нибудь другой суп.

— Так суп *потафэ-с*.

Степаниде Ивановне никак не хотелось унизить себя перед поваром незнанием французских блюд, и потому она сказала: «Ну, потафэ, хорошо, далее что?»

— Пирожное *птипате-с*.

— Ну?

— На холодное пойдет телятина под *бешемилью*.

— Телятина?.. Ну?

— Вместо соуса судак по-голландски.

— Как вместо соуса? Это пустяки, без соуса нельзя.

— Коли не прикажете судака, так можно пустить филеи из рябчиков, на *хрустатиках,* с сладким мясом и с труфелями; а уж если его не угодно, так...

— Нет, с труфелями, непременно с труфелями.

— На место *легюма* молодой картофель *а ля метрдотель*.

— Ну уж этот картофель! немецкое кушанье!

— Так вместо спаржи сладкие коренья с *сабаеном*. Жаркое — индейки и каплуны, а пирожное следует *пломбир* с марципанами.

— Помилуй, батюшка! с марципанами! всякая кухарка умеет делать марципаны. Лучше *бламанже,* да и это что-то обыкновенно.

— Пожалуй, если угодно, можно изготовить *патиша*.

— Вот это дело другое. Холодное мне не нравится: просто телятина.

— Как просто, сударыня? под бешемилью.

— Да под чем бы ни было, все телятина.

— Так можно пустить котлеты под *финзертом.*

— Скажи-ко, сначала!

— Суп *потафэ*-с, пирожки *птипатэ*-с, на холодное пойдет *фрикандо*-с, соус *филэ*-с из рябчиков на *хрустатиках,* вместо спаржи коренья-с, жаркое уж известно-с, а уж пирожное позвольте сделать кондитерскую *кисею батистом;* уж деликатнее ничего не может быть-с.

— Хорошо; какую ж провизию на все это надо?

Когда повар принялся высчитывать провизию, Степанида Ивановна начала торговаться: «Помилуй, батюшко, куда это тебе, столько того, сего, другого и прочего». Но повара в подобное время *обеденных столов* крепко стоят на своем. Как ни сердилась Степанида Ивановна на повара, он все свалил на французскую кухню.

Целая неделя прошла в хлопотах приготовлений к великолепию. Настал торжественный день рождения Степаниды Ивановны, все готово к приему гостей, все разряжено, все прилажено; люди в ливреях, стол накрыт спозаранку, в буфете стоит посуда дюжинами, бутылки рядами, стекло на подносах, в девичей приборы чайные; но все съедобное: белый хлеб, сухари, закуска, десерт на столах в спальне, под салфетками от мух, под замком от людей.

Начался съезд. Степанида Ивановна не успеет высказать своего удовольствия, отрекомендовать мужа и детей одним, едут другие; не успеет усадить других, едет еще ватага. Наконец, гости съехались, в ожидании их превосходительств заняты рассыпавшейся хозяйкой. Но вот и их превосходительства. Вот разносят закуску, идут за стол, садятся. По старому обычаю хозяйка сама разливает вышереченный суп pôt à feu. Федор Петрович сам ходит вокруг стола и разливает вина; и фрикандо, и рябчики на хрустатиках уже в распоряжении желудка. Вдруг динь, динь, динь, кто-то едет, подъезжает к крыльцу.

— Господи, кого это бог несет! — думает Степанида Ивановна,— вот, кстати, под конец обеда!

— Какие-то приказные из суда-с,— доложил человек.

— Скажи, что я обедаю!

Человек пошел и скоро возвратился.

— Они, сударыня, говорят, что не к вам приехали,

а к самому помещику Захарию Эразмовичу Потанину; я докладывал, что, дескать, здесь сама барыня, а помещика нет; так они говорят: врешь ты; а я сказал: как угодно, а барыне доложу.

— Скажи же им, что здесь помещики малолетные Угореловы, а не Потанин.

— Слушаю-с.

— Это удивительный народ! Я уверен: они пронюхали, что здесь пахнет вкусно, и приехали как будто по делу, чтоб и их пригласили за стол.

— Этого они не дождутся,— отвечала Степанида Ивановна.

— Это значит: милости просим мимо двора щей хлебать,— прибавил один из гостей.

Все захохотали, а между тем лакей возвратился.

— Они, сударыня, говорят,— сказал он,— что им непременно нужно видеть самого помещика по какому-то важному делу.

— Ха, ха, ха! вот, видите ли, они за делом приехали!

— Ты сказал им, кто здесь помещики? — спросила с сердцем Степанида Ивановна.

— А как же, сударыня, я сказал, что здесь вы помещики, а не Захарий Эразмович; а они в глаза мне засмеялись, да говорят: это шутки, любезный!

— Они, верно, уж позавтракали,— заметил один из гостей.

Старая острота взяла свое, все снова захохотали.

— Поди же скажи, что здесь нет прежнего помещика Захария Эразмовича, и чтоб они отправились куда хотят искать его.

— Слушаю-с!

— Какая дерзость!

— Что ж удивительного: приехал в гости и не солоно хлебать.

— Ха, ха, ха, ха!

— Велите им дать хоть закусить.

— Да ведь они уж позавтракали.

— Ха, ха, ха, ха!

— Ну?

— Сказал, сударыня.

— Что ж они, отправились?

— Никак нет-с.

— Что ж им еще нужно?

— Да бог их знает, они все на своем стоят, что здесь помещик Захар Эразмович.

— Федор Петрович, выйди сам! — сказала Степанида Ивановна.

— Я их турну! — сказал Федор Петрович, вставая из-за стола и выходя в переднюю.— Позвольте спросить, что вам угодно?

— Вы господин Потанин, помещик этого именья?

— Нет-с, я капитан Угорелов.

— Так нам нужно г. Потанина; позвольте узнать, где он?

— Неизвестно где.

— Странно!

— Так, стало быть, кончено; прощайте, господа.

— Нет, не кончено; мы должны наложить секвестр на именье до возвращения законного помещика и описать все движимое и недвижимое.

— Это что значит?

— Мы имеем на то предписание.

Федор Петрович побледнел, вызвал Степаниду Ивановну.

— Приехали описывать имение, душа моя,— сказал он ей.

— Позвольте узнать, что за притязания такие? — вскричала она, выбежав в переднюю; — что вам угодно? Здесь владельцы мои дети; брат мой передал им именье.

— Но в документах такая ошибка, которая не может остаться без исследования.

— Какая ошибка? позвольте узнать, что за ошибка? откуда ошибка? где вы взяли ошибку? Понимаю я эту ошибку! да здесь взятки гладки! не думайте, чтоб я это так оставила! У меня здесь довольно свидетелей.

— Тем лучше для нас.

— Ваше превосходительство, Кирило Яковлевич, Иван Сергеевич! сделайте одолжение, пожалуйте сюда.

Все гости повскакали из-за стола; Кирило Яковлевич первый явился с вопросом: «Что такое? что такое?»

— Извольте посмотреть, с какими делами приехали?

— Помилуйте, господа, это стыдно! вы нарушаете общее спокойствие!

— Извините, мы и не думали; нам нужен помещик именья г. Потанин, мы должны спросить о действительности актов, которые он совершил в пользу малолетних своих племянников.

— Да к чему это?

— В актах очень важная ошибка, и поэтому они недействительны.

— Что за ошибка? какая ошибка? — снова крикнула Степанида Ивановна; — позвольте, я принесу свои, я на ваши не положусь! — И она отправилась за документами.

— Извольте читать, ваше превосходительство: вместо я нижеподписавшийся Захарий Эразмов, сын Потанин подписано: Емельян Герасимов, сын Потанин.

— Да, да, да! это сомнительно.

— Извольте, извольте читать,— сказала и Степанида Ивановна, подавая гербовый лист Кириле Яковлевичу.

Кирило Яковлевич прочел начало и подпись и сказал:

— И здесь то же самое.

— Вот, видите ли, то же самое; какую же ошибку вы сочинили? Хм! я понимаю, в чем состоит дело.

— Действительно, Степанида Ивановна, тут ошибка важная,— сказал Кирило Яковлевич.

— Описка какая-нибудь? где?

— А вот, в подписи.

— Ну, что такое?

— А вот, каракулями написано: Емельян Герасимов, сын Потанин.

— Что ж за беда, что каракулями? Братец воспитывался в Италии, худо по-русски пишет, вот и все; а рука его.

— Как рука его; ведь братца вашего зовут Захарий Эразмович?

— Ну, зовут.

— Да как зовут? Захарий Эразмович?

— Ну, Захарий Эразмович.

— А здесь подписано: Емельян Герасимович.

— Ах, боже мой! — проговорила, побледнев, Степанида Ивановна,— что это он, с ума сошел!.. Ну, ошибка; да не все ли равно: ведь подписывался он, фамилия его.

— Как все равно, Степанида Ивановна! Захарий и Емельян — все равно? Может быть, они родные братья; да ведь один за другого подписываться не могут.

— Какой брат Емельян подписывал, господа; что вы это говорите! он сам подписывал, да верно написал свое имя по-итальянски.

— Нет-с, тут по-русски написано,— сказал чиновник.

— Не может быть, чтоб по-русски!.. Ах, боже мой, да ведь у него в самом деле два имени: я теперь припомнила, именно! мне еще об этом писала Фекла Савишна!..

— Все это должно быть объяснено-с; а объяснить это может только он сам.

— Где ж мне искать его! он вдруг исчез, и ни слуху ни духу об нем, может быть, и умер.

— В таком случае мы должны приступить к описанию именья.

— Нет, нет, я не позволю! я пошлю искать его! Эй! где Филипп?..

— На скотном дворе в колодке, сударыня.

— Ах, да, за грубость; снять колодки; привести его. Постой! жена Пафнутьича тут еще?

— Не могу знать-с; ей давно сказано, чтоб выбиралась; да, кажется, что живет еще на деревне.

— Скажи пожалоста! а кто ей позволил? Куда ж вы, Кирило Яковлевич?

— Да вот покуда пройдусь по саду, посмотрю местоположение и что́ можно из него сделать.

— Не уезжайте, пожалоста; я женщина: меня, пожалуй, оберут до нитки, ограбят!

Но как ни упрашивала гостей Степанида Ивановна, гости, из опасения, чтоб не попасть в свидетели, не дожидаясь кондитерской *кисеи батистом* и бала, понемногу убирались. Кирило Яковлевич так же из сада прошел осмотреть конюшню, велел запрягать, сел и поехал. По дороге заехал он к старому знакомцу своему Артамону Матвеевичу, которому в течение года не отдал еще визита. Артамон Матвеевич обрадовался ему, представил свою Вареньку.

— Как выросла! и узнать нельзя; да давно ли, кажется? лет с восемь не больше не видались.

— Восемь лет, шутка! — сказал Артамон Матвеевич,— в эти восемь лет много воды утекло, муки перемололось: французы погостили в Москве, а мы в Париже.

— Да, да!

— Прямо от себя, Кирило Яковлевич?

— Не совсем. Какой казус: зовет меня соседка твоя Угорелова к себе на обед; вот я и поехал, с тем чтоб после обеда к тебе. Сели за стол, вдруг приезжают приказные, требуют видеть помещика Захария Эразмовича Потанина. Им говорят, что его нет; что он именье свое передал племянникам...

— Да, странный человек! передал все именье и скрылся. Тут я, однако ж, подозреваю... тут что-нибудь да есть...

Варенька встала и вышла из гостиной.

— Куда же, куда, Варвара Артамоновна?

— Оставь; между нами сказать, это и до нее касается. Потанин был почти сговорен с ней...

— Неужели?

— Да. Бежал от именья и невесты, согласись, невозможно; я подозреваю... что-нибудь да не так. Варя просто убита; не знаю, чем утешить ее.

— Хм! именно что-нибудь да не так. Он или с ума сошел, или его насильно заставили отказать именье племянникам. Приказные приехали на следствие потому, что документы совершены на его имя, а в подписи значится вместо Захария Эразмовича Емельян Герасимович.

— Что ты говоришь?

— Сам видел.

— Да это просто чудеса! Емельян?

— Емельян.

— Ну, уж теперь меня никто не уверит, чтоб это не был Емельян,— сказал Артамон Матвеевич, встав с места и заходив по комнате.

— Так, стало быть, это не он?

— Как не он?

— Не сын Потанина?

— А бог его знает, право, я не понимаю; это просто чудеса!

— Я сам думаю, что тут что-нибудь да не так,— сказал Кирило Яковлевич.

Явились слуги с салфеткой, с чайным прибором и самоваром; вошла Варенька, стала разливать чай, и разговор о метаморфозе Емельяна Герасимовича прервался.

После чаю Кирило Яковлевич поторопился домой, чтоб не запоздать.

— Варя,— сказал Артамон Матвеевич по отъезде его,— ведь тебе известно было, что сын Эразма Львовича есть именно тот Емельян, который воспитывался у покойной сестры Натальи Дмитриевны?

Варенька смутилась.

— Для чего ж ты мне не сознавалась? а?

— Я вам говорила, папинька.

— Когда? когда, ну когда говорила?.. Ах вы девки!.. Пошла!

Глава шестая

Разные приключения,
составляющие заключение

Если читателям столько же нужно знать, как и Степаниде Ивановне, где обретается Емельян или Захарий Эразмович, то мы его отыщем: будем только следить за Федором Петровичем, которому поручено выкрасть его из-под надзора Пафнутьича и во что бы то ни стало привезти домой.

Вот Федор Петрович в коляске четверкой едет прямо на одну из московских дач, останавливается в крестьянской избе и, как важная особа, путешествующая инкогнито, велит двум слугам и кучеру никому не говорить, что приехал отставной капитан Федор Петрович Угорелов.

— Вы,— говорит,— не говорите здесь никому, кто я такой, слышите?

— Слышим-с; а если кто спросит, так как же говорить прикажете?

— Ну, говорите, что приехал или едет проездом какой-нибудь богатый помещик.

Когда стало смеркаться, Федор Петрович накинул на себя плащ и отправился вдоль по улице.

— А что, любезный, здесь живет Иван Александрович Каширской?

— Здесь-с.

— Скажи, пожалуйста, у него в доме живет помещик Захарий Эразмович Потанин?

— Простак-то, у которого именье отняли?

— Да, да,— сказал, смутясь немного, Федор Петрович.

— Самого-то его здесь нет, а здесь слуга его, Пафнутьич. Сам-то он по большей части гостит в Свирлове у Степана Лукича Субъектова. Такой чудак. Здесь только барин с барыней,— шутить не любят; а как приедут барышни, дочь Степана Лукича, Любовь Степановна, да племянницы его, увезут с собой, да уж и гуляют над ним. Начнут комедии строить, нарядятся са́ми и его нарядят; запрягут в тележку, да и ездят на нем. А он и ничего; такой добряк. А вам, сударь, зачем его нужно?

— Да так, нужно видеть... письмо к нему.

— Можно отдать слуге его Пафнутьичу. Я сейчас, сударь, его позову.

— Нет, нет, не нужно, мне надо его самого видеть.

— Так извольте ехать в Свирлово.

Федор Петрович отправился в Свирлово, остановился в деревне, повторил приказ, расспросил, где живет Субъектов, выкурил сто трубок в ожидании вечера, и снова накинул на себя плащ, и отправился таинственным лицом бродить по роще около дома в ожидании случая встретить Захария Эразмовича одного. На балконе заметил он девушку, которая показалась ему очень хороша. Девушка тоже обратила внимание на таинственное лицо, которое прохаживается взад и вперед около дома и посматривает на нее. Федор Петрович припомнил свою холостую жизнь, прошел раз, другой, третий, пятый, десятый — как ни взглянет, черные глаза устремлены на него.

— Ах, канальство! — думает он; остановится за деревом и смотрит сквозь ветви на девушку, которая, усилив зрение лорнетом, выжидает его появления из-за угла сада и, кажется, ужасно как любопытствует узнать, кто это такой.

Только что Федор Петрович из-за угла, она опускает лорнет; он за угол — лорнет поднят.

— Постой, что из этого будет? — думает Федор Петрович и стоит за углом, смотрит сквозь дерево. Вот она вскочила, исчезла. Федор Петрович ждет, не выйдет ли опять. Вдруг за решеткой сада, почти подле него, раздалось очаровательное курныканье. У Федора Петровича вздрогнуло сердце от ужаса: *О ты, с которым нет сравненья,* идет по дорожке, щиплет губками розу и посматривает в ту сторону, где стоит таинственное лицо.

— Спрошу ее,— думает Федор Петрович,— не здесь ли живет Захарий Эразмович?.. нет, неловко: в первый раз видишь барышню и вдруг через забор начать с ней разговор...

В этих мыслях Федор Петрович отретировался от решетки сада на благородную дистанцию и стал прохаживаться, посматривая издали на деву любви.

Между тем совершенно смерклось, зрение стало неспособно к созерцанию, и Федор Петрович, пройдя еще раза три около сада и балкона, возвратился домой, с напечатленным на сердце образом *чудо что такое!* У него вышли из головы и Захарий Эразмович и Степанида Ивановна, и все время, проведенное в супружестве. С трубкой в зубах он залег мечтать; перед ним носились то балкон с девой, то сад с девой, то весь дом, то одна

дева на воздухе, в виде спущенного шара. Мечта перешла в усыпление, и Федор Петрович изо всех сил тянет в себя дым из трубки, надувается, чтоб и самому полететь шаром за девой; но никак не летит: что за причина? думает он, оглядываясь назад, а Степанида Ивановна держит его сзади за полу.

— Позвольте-с! — говорит он ей.

— Куда-с? — спрашивает она его.

— Как куда-с? вы видите, что дева выступила в поход, и мне должно следовать за ней по приказанию вышнего начальства... позвольте-с!

— Нет, не позволю-с!

— Что ж вам угодно, чтоб меня посадили под арест, отдали под суд, выключили из службы?

— Ну, что ж, дураком меньше в службе!

— Как-с? я дурак?

— Да-с, дурак.

— А вы зачем влюбились в дурака, зачем выходили замуж?

Таким образом, в продолжение всей ночи Федор Петрович ссорился с супругой своей, и дело доходило уже до драки; проснулся в совершенном изнеможении, крикнул: трубку! выкурил в довольствии, что все это было во сне, снова заснул и проспал далеко за полдень.

Между тем кучер Кузьма смазывал колесы у стоящей на улице подле избы коляски; а лакеи Яшка и Гришка сидели на завалинке и рассуждали, что за причина такая, что Федор Петрович приехал *сюда* и не велел сказывать своего имени.

— Скажите, пожалоста, кто это такой приехал? — спросила горничная девушка, как будто выскочившая из-под земли.

— Кто приехал? а на что тебе, сударыня? — спросил Яшка.

— Так, хочется знать.

— Какая бравая сударка! — сказал Гришка.

— Ох ты, сударик! Да скажи же скорее, мне некогда.

— Сказать? уж разве для тебя. Вот видишь: слуги мы княжеские, а приехали с князем князевичем, Иваном Царевичем, из-за тридевяти земель в тридесятое царство. Здесь, говорят, у вас водится в саду жар-птица.

— Ох ты! да скажи пожалоста!

— Говорят тебе: мы слуги княжеские, приехали из-за тридевяти земель в тридесятое царство.

— А как фамилия князя?

— Догадывайся сама.

Более ничего не добилась горничная девушка от Яшки и Гришки и побежала с собранными сведениями к даче, занимаемой г. Субъектовым.

Ввечеру Федор Петрович надел венгерку, сверх венгерки накинул плащ, едва на плеча, подобрал полы так, чтоб вся грудь, изшитая снурками, была видна, фуражку набекрень, и пошел козырем не искать уже случая встретить Захария Эразмовича, но просто записным волокитой под окнами, под балконами, под заборами. И балкон и сад снова полны очарования. Федор Петрович убедился, что прекрасная дева влюблена в него без памяти, не сводит глаз, вздыхает и напевает: *скажи, кто ты, пленитель безымянный?*

— Подойти или нет? — думает Федор Петрович,— спросить или нет, не здесь ли Захарий Эразмович? — нет, неловко спрашивать: она подумает, что я не для нее хожу. Что ж бы у нее спросить?.. или начать просто разговор, без церемоний, по-военному?.. раз, два, три! ну!

Федор Петрович подошел к решетке, снял фуражку.

— Позвольте мне просить вас подарить мне этот розанчик.

— Зачем он вам?

— Так-с; мне его жаль... вы его изщипали... я его буду беречь.

— Извольте! — сказала дева.

— Любовь Степановна! а Любовь Степановна!

Любовь Степановна вздрогнула, отскочила от решетки сада; Федор Петрович также с испугом бросился в сторону. Он узнал Захария Эразмовича по голосу.

— Любовь Степановна, что вы тут делаете? послушайте-ко,— раздался снова голос Захария Эразмовича.

— Ах, подите вы прочь!

— Как подите прочь! «Люблю тебя, дышу тобой, жених, жених», а теперь подите прочь.

— Ступайте прочь; я теперь не расположена шутить с вами!

— Я вижу, что вы, Любенька, сердитесь на меня, да что ж делать? Я не то, что не хочу на вас жениться, я, пожалуй бы, и женился, ей-богу! я знаю, что вы без памяти в меня влюблены, да не могу... Экая какая! ушла!

И Захарий Эразмович отправился вслед за Любовью Степановной в дом.

— Любовь Степановна!

— Пошел прочь, дурак! — вскричала она на него.

— Что с тобой, Любенька? — спросила ее мать.

Но Любенька, не отвечая матери, ушла в другие комнаты.

— Что ты сделал ей, Захарий Эразмович?

— Что сделал? а вот что сделал: Любенька влюбилась в меня.

— Неужели? скажи пожалоста!

— Да это еще ничего: все просила меня, чтоб я стал перед ней на колени и объяснился в любви. Помилуйте, Любенька, говорил я ей, как можно мне становиться перед вами на колени, ведь у меня ничего нет за душой, кроме Пафнутьича; я все именье племянникам отдал, да и у вас ничего нет, кроме папиньки и маминьки; так что ж нам делать. «Нет, говорит, становитесь на колени, или я умру!» — «Ну, я подумаю»,— сказал я. Подумал да и сказал, что, право, не могу; она и рассердилась.

Марья Ивановна расхохоталась над рассказом Захария Эразмовича.

— Ну, как хочешь, Захарий Эразмович,— сказала она,— ты свел с ума Любеньку, поправляй дело как знаешь.

— Что тут такое? — спросил Степан Лукич, входя из другой комнаты; — о чем дело идет?

— Да вот, Захарий Эразмович свел с ума Любеньку; а теперь, как дело идет к развязке, так он и на попятный двор.

— Неужели? ай, ай, ай! Это, брат, стыдно!

— Что ж, я, пожалуй, и женюсь на ней, а после что? — сказал Захарий Эразмович.

— Вот видишь, она требовала, чтоб он стал перед ней на колени и объяснился в любви, а он не хочет.

— Что ж, пожалуй,— сказал Захарий Эразмович,— я стану на колени, хоть сейчас! а потом что?

— Любенька! а Любенька! — крикнул Степан Лукич.

Любенька сидела на балконе и снова созерцала таинственного незнакомца-князя. Она как будто не слышала голоса отца.

Покуда он повторит свой зов, мы покороче познакомимся с ним и с Любенькой.

Степан Лукич до женитьбы был человек с изрядным достояньицем; но только что женился, все это достояньице пошло на вон-тараты [1]. Супруга его была парадная

[1] разошлись по пустякам.

дама; она ни на что более не годилась, кроме как на приемы и на выезды. На балах, на вечерах, на партиде-плезирах[1] она была бодра, здорова, счастлива; но в промежутках сна, приемов и выездов она была существо убитое всеми горестями жизни, всеми болезнями, какие только могут существовать в женской душе и дамском теле. Тут ее на каждом шагу огорчал муж, то представлениями, что нам нельзя гоняться за мильонщиками, то убеждениями не давать бала, потому что нет денег; то уверениями, что он готов сделать для нее все, да не может; то разными счетами; то платежом долга именно в тот день, когда есть случай купить *очень дешево* прекрасные нитки жемчугу и фермуар[2], или когда ее душа жаждет обновления всего туалета.

Беда была Степану Лукичу проиграть в вист какую-нибудь беленькую бумажку, или *разориться* на какую-нибудь причуду, на какую-нибудь редкость для своего кабинета. «У вас нет денег на необходимости для жены, а на проигрыш и на всякую ненужную дрянь у вас есть деньги!» Получив нагонку, Степан Лукич за свою расточительность платил штраф вдесятеро. Нет денег, занимал и платил; иначе, огорченная до глубины сердца, Марья Ивановна заболела бы и весь годовой доход вышел бы на медицинские пособия.

И можно ли было жалеть что-нибудь для Марьи Ивановны, когда она, за грехопадение прародительницы, в болезнях родила двух чад: сына Васеньку и дщерь Любеньку, заботливо одевала в парчу кормилиц, заботливо нанимала за тысячи, *с экипажем для выездов,* гувернеров и гувернанток, которые накрахмалили, выгладили и вылощили ее детей, чтоб они блистали в свете. Васенька *пошел по военной,* в гусары; славная была голова для кивера, душа разгульная, направо-налево; что есть, то побоку. Любенька пошла по романической части. Мадемуазель Клошэ, которая сделала несколько походов *с великой армией* в должности полковой маркитанши, открыла Любеньке наполеоновскую систему побед, объяснила ей, что с мужчинами надо обходиться как с неприятелями, с тою только разницею, что в военном деле должно сперва разбить, а потом пленить, а в романическом, сперва пленить, а потом разбить. Любенька совершенно воспользовалась ее уроками; ни дать ни взять как маленькой капрал в юбке, она окружала себя

[1] увеселение *(фр.)*.
[2] застежка *(фр.)*.

плененными народами; по крайней мере, двадесять язык исполняли ее капризы. Первая толпа была толпа искателей сердца; это стадо соловьев, которые любят всех роз без исключения и воспевают их своими и чужими песнями, вилось около Любеньки года два-три, когда цветущая молодость заменяет часто красоту, когда даже воображение девушки еще невинно, и когда даже в мечтах своих она скромна и стыдлива. Хотя при помощи мадемуазель Клошэ понятия Любеньки рано развились из девических в женские, в 16 лет роза была бледна как лилия; но этот цвет был в моде, и соловьи восхищались им. Когда кончился период искателей сердца, настал период искателей руки и сердца. Любенька привыкла играть сердцем как в мячик с первыми; вторые не хотели играть с ней в мячик, не напевали про чувства свои, а только говорили; не ангажировали ее за неделю и не плясали по целым вечерам — народ скучный! и Любенька считала дерзостью, что такие ослы смеют за ней волочиться. Первые отстали волею, вторые неволею. Ужасная пустота! Настал третий период — искателей руки и приданого. Ужасный период! Представьте себе девушку высокого мнения о своей красоте, о своих достоинствах и даже о прахе ног своих, и вдруг какой-нибудь сморчок осматривает ее от косы до башмака и думает: «Девка дрянь; ну, да если Степан Лукич даст за нее душ двести, так можно жениться». Каково? а у Степана Лукича все заложено и перезаложено, и скоро с молотка продадут; у Степана Лукича только и надежд: вот посватается за Любеньку жених — золотые копи, а мы у него и займем, и долги заплатим, и богатое приданое Любеньке *сделаем.*

В этот-то горестный период жизни Степана Лукича, его знакомый, Иван Александрович Каширский, возвращаясь из деревни в Москву, встретил Захария Эразмовича на дороге и привез с собою. Иван Александрович, человек добродушный, жена его — добрее нельзя быть, приютили нашего героя с его верным дядькой Пафнутьичем: живи себе, как дома. И живет Захарий Эразмович как родной у них, делать ничего не делает, но все-таки живой человек, и подчас Ивану Александровичу и жене его весело послушать его рассказы; а поступок Степаниды Ивановны разобидел их до глубины сердца; Иван Александрович собирался даже сам съездить к этой женщине и усовестить ее; но сборы затянулись; а между тем Захарием Эразмовичем овладела Любенька. За

неимением предмета любви ей нужен был хоть предмет забавы, и Захарий Эразмович часто по целым неделям гостил у Степана Лукича. Здесь потешались его добротой и простотой, и в числе прочих забав Любенька побилась об заклад с кузинами своими, что сведет его с ума от любви к ней.

Как водится, она притворилась влюбленной и так увлеклась своей ролью, такие *делала глазки* Захарию Эразмовичу, так заботливо стала искать случая быть с ним наедине, так вздыхала, повиснув на его руке и приклоня голову к плечу его во время прогулки по саду, что Захарий Эразмович заметил наконец ее страдания и сказал с чувством сожаления:

— Любовь Степановна, у вас верно головка болит?

— Ах, подите вы, какая головка!

— Право; посмотрите, как у вас посоловели глазки; мне вас жаль.

— Вам жаль меня? стало быть, вы меня любите?

— Конечно, люблю.

— Добрый мой! поцелуйте меня... ах как я ослабела, сядемте... Баюкайте меня, пойте: баю-баюшки-баю, баю дитеньку мою; я засну у вас на руках.

Захарий Эразмович исполнил веления Любови Степановны, и это ей нравилось; он становился ей как будто необходимым. Однажды Степан Лукич увез Захария Эразмовича в город, для компании; Любенька, в ожидании возвращения его, сидела на балконе одна-одинехонька. Вдруг видит, какой-то таинственный незнакомец прошелся раз мимо, прошел другой, взглянул на нее, прошел опять. Для кого же таинственному незнакомцу ходить тысячу раз около дома, как не для нее. Любовь таинственная — любовь романическая, изящная. Вблизи, днем, ни в кого так не влюбишься, как издали, в сумерки или, говоря романически, при слабом свете вечереющего дня. Мена взглядов идет удачно и с балкона, и чрез решетку сада; но несносный Захарий Эразмович так и ходит хвостом! Не далее как за два дня с Захария Эразмовича взято слово, что он неизменный хвост или кавальере-сервенте[1] в ее прогулках по саду и по роще, и должен носить за своей дамой платок или шаль на случай ветра; вдруг на него же досада и неудовольствие за постоянное следование по стопам.

— Да за что вы сердитесь на меня, Любенька? — спросил он наконец.

[1] верный рыцарь *(ит.)*.

— Ах, оставьте, скучно!

— Право, мне жаль вас; что бы сделать, чтоб вы не скучали?

— Становитесь на колени, объясняйтесь мне в любви!

По чистым, сказочным понятиям Захария Эразмовича объясниться в любви значило то же, что просить руки; на это он никак не мог бы решиться без позволения родителей; притом же он нисколько не располагал жениться на Любови Степановне: она такая тяжелая, оттянула ему все руки во время прогулок; такая нежная, любит, чтоб ее нянчили, как ребенка.

— Ну! слышите? — вскричала Любовь Степановна, которой самолюбие затронулось и тем, что Захарий Эразмович задумался исполнить ее приказание.

— Постойте,— сказал он,— я подумаю.

— Подите же прочь от меня!

Захарий Эразмович оставил Любеньку одну, думал-думал и наконец решился просить извинения, что жениться на ней не может.

Мы видели, что он не только помешал Любови Степановне передать розу таинственному незнакомцу, но при нем наговорил ей таких вещей, после которых — все пропало!

В отчаянии сидела Любенька на балконе, уверенная, что прекрасный незнакомец, так же в отчаянии после всего слышанного, *удалился уж в пустыню от прекрасных здешних мест*.

Но вдруг появляется он снова из-за рощи, опять приближается к дому, а отец кричит: «Любенька!» Любенька как будто не слышит; но Степан Лукич снова зовет.

— Что вам угодно?

— А вот видишь, Захарий Эразмович сознался нам, что вы взаимно друг друга любите, и он намерен...

— Ах, полноте, папинька! — вскричала с сердцем Любенька и хотела уйти; но приезд Ивана Александровича Каширского с женой остановил ее.

— А мы приехали к вам с приятной вестью, которая касается до общего нашего благоприятеля, именно до Захария Эразмовича,— сказал Иван Александрович.

— С какой? с какой? — произнесли в один голос Степан Лукич и его супруга.

— А вот с какой: во-первых, он мне должен дать слово, что не будет противиться моим распоряжениям. Даешь слово, Захарий Эразмович?

— Слово? пожалуй... ах, и Пафнутьич здесь! — сказал Захарий Эразмович, увидев Пафнутьича, который высунул голову в двери и нетерпеливо прислушивался.

— Здесь, сударь, батюшко барин, уж не извольте противиться благодетелю вашему...

— Постой, Пафнутьич, не мешай. Так говори же, Захарий Эразмович, положишься во всем на меня?

— Да как же, сударь, Иван Александрович, не положиться на вас барину моему...

— Да постой, братец, пусть он сам скажет.

— Да как же мне не полагаться на вас, Иван Александрович,— сказал и Захарий Эразмович.

— Ну, руку! Поздравляю с возвращением имения!

— Как? каким образом? — вскричали Степан Лукич и Марья Ивановна.

— Слава тебе господи! — проговорил Пафнутьич, перекрестясь и целуя руку у своего барина.

Иван Александрович, по сообщенным сведениям Пафнутьичу, рассказал, в чем дело, и что Захарию Эразмовичу не следует уже ни возобновлять актов на имение в пользу своих племянников, ни самому ходить снова по миру. Что Степаниде Ивановне дать средства на умеренную жизнь и на воспитание детей — не более и, во всяком случае, попросить ее переселиться из именья Захария Эразмовича, куда соблаговолит. Так ли?

— Так! — сказал Захарий Эразмович.

— Ну, так медлить нечего; сегодня едем ко мне, а завтра в твое именье, Захарий Эразмович.

— Счастье, счастье! — сказал Степан Лукич,— поздравляем! Поцелуй меня, любезнейший Захарий Эразмович; да на днях же приеду к тебе в гости с своей семьей. Задашь нам пир?

— На весь мир! — отвечал Захарий Эразмович.

— Э, нет, то само по себе; а для друзей особенно. Мы иначе и не считали тебя как своим.

И вот, с поздравлениями и разными желаниями, и Степан Лукич, и Марья Ивановна проводили гостя своего.

— Нам печаль, а Любаше вдвое,— прибавил Степан Лукич,— жаль расставаться с своим кавалером-сервентом! а? правда? покраснела? Не забывай же, Захарий Эразмович, свою даму, навещай ее.

— Любовь Степановна на меня сердится,— сказал Захарий Эразмович,— и прощаться не хочет.

— Я на вас сердита? вот забавно! Я с вами шутила,— сказала Любовь Степановна.

— Ну, я надеюсь, что не в последний раз видимся: успеете еще примириться,— сказал Степан Лукич.

Захарий Эразмович уехал.

— А, как ты думаешь, Маша, Захарий Эразмович помещик почти тысячи душ! Захарий Эразмович!

— Счастье дуракам! — сказала Марья Ивановна,— что он с ними будет делать?

— Э, душа моя, стоит только ему жениться; а жена будет знать, что с ними делать: понемножку все сойдут с рук.

— Так у тебя все женщины мотовки? — сказала Марья Ивановна с улыбкой пренебрежения к словам мужа.

Слово за слово, поссорились, посчитались; Степан Лукич попросил извиненья, и разговор начался о худом состоянии дел, о необходимости пристроить повыгоднее Любеньку. А Любенька между тем сидела на балконе, ходила по саду; но тщетно: таинственный незнакомец не являлся. Любенька, проклиная Захария Эразмовича, не спала ночь, протосковала день, ввечеру снова сторожить на балконе. Чуть кто покажется по дорожке из-за рощи, она вздрогнет; но вот, наконец, *он*. Любенька сбежала в сад, заходила, как часовой, взад и вперед подле решетки в поле. Опять у нее роза в руках, и губки ощипывают листики.

Вот таинственный незнакомец подошел, поклонился. Любенька кивнула головкой, улыбнулась и остановилась.

— Мое почтение-с! — сказал Федор Петрович, подойдя ближе к решетке и снова кланяясь.

— Вы верно за розой?.. Вчера так испугал меня дурачок, который живет у нас, что я совсем обезумела...

— Ах, покорнейше благодарю, какой приятный запах!.. Мне показалось, что это был Захарий Эразмович Потанин...

— А вы знаете его?

— Как же-с.

— О, да кто его не знает! он так глуп и забавен, что представить нельзя! Он у нас был вместо шута в доме; но иногда несносен, и я рада, что он наконец уехал.

— Как уехал-с? Позвольте узнать, куда?

— К себе в именье; вообразите себе, ведь он был богатый помещик; но именьем овладела сестра. Откры-

лось, что сделаны были фальшивые документы, и теперь именье возвращается ему назад.

Федор Петрович краснел и бледнел, слушая эти слова, и так растерялся, что выронил из рук розу, снял фуражку и стал раскланиваться.

— Вы уж торопитесь? — сказала Любенька с испуга, думая, что кто-нибудь идет.

— Извините-с, жена моя ожидает, мне надо ехать...

И Федор Петрович, отступив несколько шагов, еще раз снял фуражку, поклонился, и — сперва скорым шагом, потом бегом в деревню.

В одно время две раны в самолюбивую голову и в разнежившееся сердце — ужасно! Любенька не устояла на ногах, упала на траву, рвет ее вокруг себя с корнем вон. Но, как будто собравшись с духом, она вскочила, обходит скорыми шагами цветник, не по дорожке, но по цветам, топчет их, идет прямо на ряд горшков перед крыльцом, расталкивает, валит их ногою; вбегает на крыльцо, в свою комнату, и — прямо в постель; мечется, но, наконец, члены как будто охладели, и она лежит на пуховых волнах как утопленница, бледна, волосы взбились, рассыпались, глаза уставились в потолок.

Не прошло недели, Степан Лукич получил письмо от Ивана Александровича, который уведомил его обстоятельно о водворении Захария Эразмовича в родительском доме, и звал от его имени к нему в гости, на обеденный стол и бал, со всем семейством.

— Едем! — вскричал Степан Лукич; — смотри же, Любенька, прошу примириться с своим кавалером.

— Право, это ужасно, маминька, выйти за такого дурака замуж?

— Нисколько он не дурак, а только не образован и слишком добр, из него все можно сделать.

Сборы недолги, село Захария Эразмовича не за горами. Едут.

А между тем в доме нашего героя сборы к угощению гостей; обо всем заботятся Иван Александрович, жена его и Пафнутьич. Сам же Захарий Эразмович ходит по дому владетельной особой, у которой есть кому обо всем хлопотать, и примеривает новомодное платье с иголочки.

Дворня навеселе, мужички радехоньки; повару выдается провизия без меры, и он готовит и суп *потафэ*, и пирожки *птипатэ*, и *фрикандос*, и *кисею батистом*.

Но вот съезжаются гости и, представьте себе, из первых почетных гостей Артамон Матвеевич и Варенька, добрая, миленькая, простодушная Варенька. Приезжает наконец и Степан Лукич с Марьей Ивановной и с Любенькой. Степан Лукич как *свой* ласкается к Захарию Эразмовичу, Любенька вызывает его на мир. Садятся за стол, *потафэ* чудно, *птипатэ* прекрасны, вино льется через край, наконец шипит в кубки, и Иван Александрович встает с заздравным и провозглашает тост.

— Господа,— говорит он,— сегодня в шесть часов вечера свадьба. Я посаженый отец жениха, жена моя посаженая мать невесты. Здоровье Захария Эразмовича и Варвары Артамоновны!

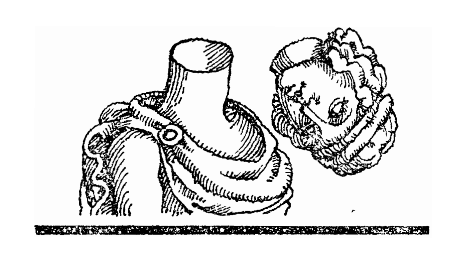
Степан Лукич потер с досады лицо, Марья Ивановна злобно усмехнулась, Любеньке сделалось было дурно, да надо было утаить свою дурноту; все прочие гости радостно воскликнули: «Ура!»

Варенька приподнялась со стула как румяная заря.

— Привстаньте же, поблагодарите всех,— сказал Пафнутьич на ухо Захарию Эразмовичу.

В шесть часов была свадьба, до самого утра бал. И — кончена история. Что еще сказать? Захарий Эразмович такой муж, что чудо; такой помещик, что диво. Варенька такая жена, что чудо; такая добрая мать, что диво. В доме просто, весело, ладно, мирно, счастливо. В Захарии Эразмовиче нельзя узнать уже теперь бывшего Емельяна Герасимовича. По летам поздно развернулись в нем способности ума; но лучше поздно, чем никогда. Сам Пафнутьич удивляется теперь его уму; и усердно молится, чтоб бог продлил здравие и благоденствие его барина, барыни, баричей и барышень.

Конец



РАЙНА, КОРОЛЕВНА БОЛГАРСКАЯ

Повесть

Глава первая

Перенесемся за тысячу верст, за тысячу лет.

Вы слыхали о *великом Преславе,* стольном городе Дунайской Болгарии, где знаменовались подвиги нашего удалого богатыря, добросанного князя Святослава? Где ж этот белый град великого царства? Какие холмы венчались его твердынями? Никто не знает, кроме султана, который в фирмане своем именует владыку шумлинского преславским.

Славный и страшный для Греческой империи двадцатый болгарский король Симеон, не возлюбив первой жены своей, женился на названой сестре одного греческого деспота, из Армян, по имени Георгия Сурсувула. По общей наклонности каждого Грека к филархии, Георгий нашел случай очаровать Симеона красотой сестры, и, таким образом, по праву зятя королевского и по обычаю времени воссел у самого подножия престола, в звании великого комиса, или, по-нашему, великого конюшего, и вместе с этим дядьки и кормильца наследников царства. Хоть краль Симеон имел уже наследника Вояна; но мачеха не родная мать; пасынок должен был уступить свое место у сердца отца кровным ее детям. Вояна воспитывали в монастыре, и по наклонности его к чтению церковных и мирских книг, по страсти к наукам, искусствам и художествам и ко всему несвойственному чести королевского детища решили посвятить его

келейной жизни и постричь в монахи. Но Воян бежал; все пришли в ужас, потому что он унес с собою какую-то заклятую черную книгу. Книга эта с незапамятных времен заперта была в одной из башен, и никто не смел до нее коснуться. По этому или по другому случаю, только в народе пронеслись слухи, что Воян продал душу бесу, и не быть добру. В самом деле вскоре королю Симеону приключилась смерть чудным образом.

Однажды Роман Лекапен, василевс Восточного Римского Царства, возвратившись с облавы на азиатской стороне Босфора, покоился от трудов во дворце Феофилии, построенном по образцу дворца халифов багдадских, где стены горели золотом, где разливались прохлады от цветущих платанов и водометов. Вдруг великий логофет донес ему, что на Таврической площади совершилось великое чудо: статуя, представляющая Беллерофона на коне, превратилась в образ болгарского короля Симеона.

Роман содрогнулся. В это время Греция опасалась Болгарии и воинственного духа Симеона. За четыре года перед тем он едва не взял Царьграда. А так как на мраморном подножии статуи была высечена таинственная надпись, заключавшая в себе, по словам толкователей, судьбу Царьграда и завоевание его *некоим* великим героем, то очень естественно, что это событие возмутило весь Царьград, как предвещание падения Греческой империи,—тем более что известие о новом восстании Симеона на Грецию было причиной падения духа не только в народе, но и в войске. Император желал лично увериться в истине события. Возложив на себя багряницу и диадему, сделанную по образцу тахта царей персидских и подобную горе Эльборджу, блистающую алмазами и лаллами, с двумя истоками перлов, падающих на плеча, Роман воссел с помощью протостратора на коня и, сопровождаемый деспотами, севастократорами, панхиперсевастами, доместиками и телохранителями, выехал на Таврическую площадь, где теснился народ в страхе и унынии около статуи Беллерофона, превратившейся в короля Симеона.

— Кто избавит меня от этого проклятого Симеона?— вскричал Роман, взглянув на статую.

— Я! — отвечал, выступая из безмолвной толпы, безобразный человек в странной одежде.

— Кто ты? — спросил Роман.

— А вот кто: видите это изображение под стопами коня? Это я.

В самом деле, неизвестный был совершенное подобие химеры в человеческом виде, изображенной под стопами Беллерофона.

— Читайте надпись,— продолжал неизвестный,— в ней сказано: «Всадник придет покорить Царьград; но до этого не допустит человек, изображенный под стопами всадника». Дайте мне меч, я снесу голову Симеона с чужих плеч.

— Ты безумный,— сказал один из вельмож Романа,— мраморной шеи не перерубишь!

— Если не снесу эту мраморную голову и она не сгорит на огне, раскладывайте костер, сожгите меня,— отвечал неизвестный.

— Исполните его желание! — сказал Роман и, поворотив коня, медленно поехал ко дворцу.

— Вот тебе острый меч,— сказал один из телохранителей царских.

— Не сдержишь слòва, сожжем! — крикнула толпа.

— Раскладывай огонь! — сказал неизвестный и, взяв меч из рук воина, вскочил сперва на мраморное подножие статуи, потом на круп коня, схватился за шишак всадника, взмахнул мечом, и голова Симеона отделилась от туловища Беллерофона.

— Видели? — вскричал неизвестный, показывая голову изумленному народу.

Соскочив с коня и с подножия, он бросил голову на пылавший костер. Ее обхватило пламенем, огонь затрещал, искры посыпались водометом.

Испуганный народ разметался во все стороны.

— Видели? — раздалось снова в толпе, обданной густым дымом.

Дым пронесло ветром.

— Где же он? — спрашивали с ужасом все друг у друга, смотря то на истлевший костер, то на обезглавленного Беллерофона, то озираясь кругом и не видя нигде чудного человека.

Это событие, исторически верное, излечило народ от панического страху при одном имени Симеона; и если бы Симеон перешагнул уже городские стены, то все спокойно были бы уверены, что Царьград непобедим. Но страннее всего было то, что Симеон умер в тот день и час, в который превратившемуся в его образ Беллерофону снесли голову.

По смерти Симеона вступил на болгарский престол сын его Петр. При нем Болгарию стали одолевать беды. Турки, Хорваты и Сербы, узнав о смерти грозного Симеона, поднялись на нее войною; тучи саранчи с еврейскими таинственными *писаньями* на крыльях носились над полями и опустошали нивы. Брат Петра, Иоанн, по тайным внушениям, стал питать зависть и строить ковы; Петр постриг его в монахи, заключив в темницу; но он бежал. В монашествующем Михаиле, третьем сыне Симеона, загорелась также жажда к власти, и он, сбросив рясу, явился в голове недовольных.

Во всех этих бедах комис Георгий, с старшим своим сыном Самуилом, так искусно умели проявить себя в глазах Петра и народа хранителями царства, что без них, судя по громкой молве, погибнуть бы Болгарии. Страшные неурожаи вынудили Петра обратиться к помощи Греции и искать дружественных отношений. Отправленный послом клеврет комиса Георгия Сурсувула, уроженец Херсонеса, Георгий калокир, из собственной филархии, вопреки выгодам друга своего, подал благой совет василевсу Роману запустить, как говорится, лапу в Болгарию посредством родства с Петром. Роман для такого благого дела не пожалел внуки своей Марии, дочери кесаря Христофора. Калокир возвратился в Преслав с патрицием Никитой, торжественно объявил об успехе своего посольства и тайно возмутил душу Петру неописанной красотою кесаревны, сообщив ему образ ее как живой, писанный на *дске* и облеченный в наряд царственный, шитый золотом и осыпанный драгоценными камнями. Очарованный Петр принял предложение василевса приехать в Царьград, тогда как комис Георгий готовил для него невест на выбор. От комиса скрыто было намерение короля, и потому он не противился поездке его в Царьград. Сочетание Петра и Марии совершено было в присутствии всего синклита в церкви «Святой Богородицы при кладязе», и Роман повелел устроить славное и пребогатое угощение. Комис был поражен как громом, узнав об этом событии. Влияние его на Петра кончилось с прибытием Марии в Преслав.

От Марии Петр имел двух сыновей: Бориса и Романа — и дочь Райну, мирским именем Бериславу. Марией держался мир Болгарии с Грецией. Сыновья ее воспитывались в Царьграде при дворце отца, и все отношения были дружественны и выгодны обоюдно. Но едва умерла Мария, влияние хитрого комиса на ум Петра возникло

с новою силою. Комис приобретал всеми средствами общую любовь; это был коварный народоласкатель; потворствуя страстям, он уловил всех вельмож и бояр, которые имели голос и вес. Все доброе шло от него, все злое от Петра; вся гроза от короля, вся милость от комиса. По образцу эллинской и римской премудрости его окружали «люди шепотники, на языке службу носящии». Старшему и любимому своему сыну Самуилу передал он власть военачальника; прочие его сыновья: Давыд, Моисей и Аарон — творили волю отца в областях.

Боясь присутствия при короле взросших уже и образованных сыновей его Бориса и Романа, комис умел устроить так, что при вступлении на престол константинопольский Никифора они остались заложниками условий возобновленного мира. Едва мир был утвержден, как он уже изыскивал средства нарушить его. По условию, Болгары обязаны были не пропускать Торков, или Угров паннонийских, через Дунай и свои земли, делать набеги на греческие области; но Угры свободно проходили на разбой. Никифор напомнил об условиях; наконец стал грозить:

— Вот, краль Петр,— сказал комис,— до чего мы дожили! Нам велят стоять на страже по границам греческим; да беречь их!

— Кто велит? — спросил горделиво Петр, которого самолюбие легко затрогивалось.

— Кир Никифор велит; что ж делать, придется выгнать весь народ на Дунай, на сторожу, чтоб не пробралась где шайка Угров да прошла в Грецию и не ограбила какую-нибудь деревню: за всякую собаку, которая перебежит через нашу землю и укусит Грека, мы обязаны отвечать киру Никифору...

— Я? Буду ему отвечать? — вскричал Петр.

— Будешь, если обязался.

— Старик Георгий, на голову твою выпал снег и, верно, кровь застыла в жилах!

— Нет, не остыла; если б моя воля, давно бы очистил я Загорье от Греков, не стал бы с ними ни родниться, ни брататься; знаю я их: дождь по капле падает, да хуже моря топит.

— В первый раз говоришь ты мне такие речи,— сказал Петр.

— Нрав твой склонен к миру и воля твоя клонилась к миру; а воле твоей королевской противиться я не мог.

— Союз с Греками служил нам в пользу.

— Да, угладили они нам путь к гибели. По воле своей ты сроднился с кесарями; по воле покойной королевы дети твои в Царьграде...

— Так что ж? — перервал сердито Петр.

— Ничего еще, они жили у родных; при Романе им было хорошо; а при правителе стратиоте Никифоре и наследникам Романовым стало плохо. Да не о том дело: стратиот Никифор теперь муж Феофании, вдовствующей василиссы, правит царством и требует от нас покорности воле своей...

— Этого никогда не будет! — вскричал Петр.

— Вижу теперь сына Симеонова: на угрозы отвечает грозою! — сказал хитрый комис и, пользуясь необдуманным гневом Петра, немедленно отправил посла греческого с отказом наотрез: «Болгария не область греческая, стережет свои границы, а чужих стеречь не будет».

— Эти варвары глупы, не знают собственных выгод, с ними дружбы не сведешь,— сказал Никифор известному уже нам калокиру, который по соглашению с комисом служил при дворе цареградском, употреблялся при сношениях с Болгарией и двоил душу как слуга императора и друг комиса.

— О, деспотос,— сказал он Никифору,— вместе с ответом Петра на твои требования пришли и ко мне вести из Болгарии: недобрые вести. Благо мое в твоих руках, и я не изменю пользам твоим.

— Говори мне эти вести,— сказал Никифор.

— Я истинно знаю,— продолжал калокир,— что король Петр заключил дружбу с Аварами паннонийскими и с Сербами, чтоб внезапно напасть на Грецию. Думаю, что это делается по чьему-нибудь внушению...

— Ты смутил душу мою,— сказал Никифор, задумавшись.— Подозрения твои справедливы, у меня есть враги... Ну, пусть перейдет Петр горы, я выйду к нему навстречу; а вместо знамен сариссофоры понесут перед моими полками на копьях Бориса и Романа! Пусть посмотрит он, как хламиды их будут развеваться в воздухе!

— О, деспотос! — сказал калокир, усмехаясь.— Этого-то и добивается дядя короля Петра и мой друг. Кому же наследовать престол, как не ему или не его сыну, когда королевский род прекратится.

— Для меня все демоны равны; а во всяком случае надо покуда оградить границы от Болгар не хартиями, а оружием. Теперь все силы мои в Азии, нанять некого,

Фаранги служат у пап да в войске императора Западного.

— А Руссы? с Руссами предстоит тебе союз славный. Дозволь мне ехать в Русь, отвезти дары к великому жупану Киовии и вызвать его воевать Булгарию.

— Сан патриция, если исполнишь это удачно и мне по̀ сердцу; земли в Херсонесе Таврическом во владение.

Калокир поцеловал полу порфиры Никифора и вскоре отправился в Русь.

А между тем в Преславе комис строил новые ковы. Старший сын его, Самуил, страстно был влюблен в королевну Райну. Он как будто угадал желание отца своего, который давно обдумывал этот союз как надежное звено для своих замыслов.

После смерти королевны Марии по его избранию приставлена была к Райне в мамы старая Тулла̀. Посредством ее думал он действовать на душу королевны и поджечь юное сердце, в котором не загоралась еще заря любви.

Когда комис назначил приступить решительнее к делу, Тулла̀, как морская черепаха, поднялась на задние лапы, вытулила из костей сухощавую голову, вытаращила глаза и, вооружась костылем, стала ухаживать за Райной, обаять ее всеми таинственными наговорами любви и распалять воображение девушки, чтоб заманить ее голубиную душу в сети и сдать с рук на руки Самуилу. Она ворожила и гадала ей про суженого, описывала Самуила с головы до ног.

— Черновлас, велеок, полнома очима, чернома зеницама, взнесенома бровма, луконос, смагл, надрумян, телом на четверти, коротоший, посмедающ усом доброрек, борз и храбр... Вот какой твой суженой, королевна.

— Какой нелепой, точно как Самуил,— отвечала со смехом Райна.

— Дитя, дитя! что выходит на долю твою, то сбудется; смотри, если не сбудется, от предреченья не уйдешь. Теперь кажется тебе, что не нравится, а как само сердце загадает, душа запросит любви, и будет тебе сниться все он да он.

— Кто он?

— Суженой, что вышел на долю твою.

— Луконосый Армянин? — произнесла Райна с презрением.

Старуха видела, что без чар не обойдешься. Велось некогда доброе поверье: «будет у тебя голубиное серд-

це, будешь любим всеми». Заветный смысл этого поверья исчез посереди невежества и обмана; потому что легче было вынуть сердце из голубя и велеть носить его за пазухой, нежели научить, что, уподобляясь нежностью и добротою души белому голубю, можно приобрести взаимную любовь. И вот умному поверью дали толк безумный, на зло истине и на гибель белым голубям.

Тулла̀ добыла голубя и голубку, вынула из них сердца, нашептала что-то над ними, высушила в печи, зашила в ладонку и велела Самуилу надеть на себя.

Доверчиво исполнил он наставления старухи; для него было все равно, чем бы ни приобрести согласие Райны отвечать на его любовь: взаимным ли сочувствием любви или соблазном и чара́ми старух.

Глава вторая

Посереди общего расстройства дел дух короля Петра также был расстроен.

По смерти королевны Марии он сложил все заботы на комиса, который издавна приучил его тяготиться ими и любить только блеск и свои преимущества. Торжественность празднований, охота, травля и ловля были главными его занятиями, а все остальное время — негой отдохновения. Ничто не доходило до слуха его иначе как через уста комиса. Однажды что-то разбудило его; он очнулся и видит перед собой старца, совершенное подобие отца своего.

— Петр, Петр,— произнесло видение,— вверился ты в комиса, погубит он и тебя, и детей твоих, и царство твое; пришел я предупредить тебя...

Петр вскрикнул от ужасу.

Видение скрылось. Наяву было это или во сне; но он не мог уже сомкнуть глаз до утра и встал мрачен и задумчив. Воспитанный в суеверии дядькой и кормильцем своим, он верил в предвещания: явление и слова отца совершенно возмутили его душу; комис вдруг стал ему страшен, и он думал, как бы удалить его от себя.

Петр никогда не любил комиса; но уважение к воспитателю своему и убеждение в его верности и преданности, привычка зависеть от его советов сделали комиса правой рукой Петра, которую страшно было отнять от плеча.

Когда комис вошел, Петр содрогнулся.

— Ты что-то не в добром духе, король,— сказал он ему.

— Да, задумался о детях... они живут при Никифоре как заложники мира, а мы нарушаем мир.

— Не бойся, король, мы их выручим из рук Никифора,— отвечал комис,— он не смеет ничего сделать королевским детям, или мы снесем весь Царьград в море!

— Послушай, Георгий...— произнес Петр нерешительно.

— Что повелишь, государь?

— Проси у меня милости... я готов для тебя все сделать... вознаградить твою верную службу.

— Государь, отец твой и ты осыпали меня своими милостями,— отвечал комис,— какой же милости остается мне желать?.. Я возвеличен уже до родства с царской кровью, ношу имя твоего дяди, хотя покойная королева, мать твоя, и не была родной мне сестрою, но если твоя воля...

— Проси, проси! — сказал Петр.

— Как к родному лежало мое сердце к тебе... и если оно чувствовало, что предстоит мне высокая почесть...

— Какая же? — спросил Петр, скрывая гнев и догадку свою.—Говори, я воздам тебе почесть...

— Дозволь мне умолчать теперь, король,— сказал комис, целуя руку Петра,— милости твои неизглаголанны, и если ты изречешь и эту милость, то старость моя не перенесет счастья...

— Догадываюсь я,— сказал Петр с притворным спокойствием,— да знаешь ли ты, Георгий, сердце моей дочери?

— О, если дозволишь сказать тебе истину: знаю,— отвечал комис, радостно целуя руку Петра,— с малолетства отличила она сына моего Самуила милостями своими.

— И я знаю сердце моей дочери и говорю за нее, что за моего раба она не пойдет замуж,— произнес горделиво Петр.

Комис побледнел.

— Скажи же свату,— продолжал Петр грозно, указывая на дверь,— чтоб он съезжал со двора!.. Когда я возвращусь, чтоб его ноги здесь не было!..

Глаза комиса запылали зверским мщением; он вышел; а взволнованный Петр, казалось, сам испугался

гнева своего и последствий и немедленно поехал в Малый Преслав, где был красный дворец королевский и зверинец.

Прошел день, другой, король Петр не возвращается. Райну, привыкшую видеть отца ежедневно, начинает беспокоить его отсутствие. Вдруг на третий день рано утром раздался соборный звон.

— Неда, Неда! — вскричала Райна к подруге своей.— Слышишь? Что это значит? Звон набатный!

— Ах, не сбор ли на войну против Греков! — отвечала Неда.

— Что ты это говоришь, Неда! братья в Цареграде.

— Так слышала я, королевна, давича побоялась я спросить при Туллé, зачем это вооружается дружина королевская и строится на дворе.

— Это недаром,— проговорила печально Райна,— а отца нет!.. Не дядя ли Иȯкица сделал опять набег?

— Королевна, Иȯкица, говорят, давно умер.

— Умер! все говорят, что умер; а комис Георгий говорит, что не умер, что его и мертвого надо бояться.

— Против шайки *тати* и *гусаров* будут ли собор собирать?

— Что ж это такое, Неда? — спросила опять Райна.

— Ой, война, война, кровавая постеля! — проговорила печально Неда.

— Ой, Неда, Неда,

Не хладный камень —
Сердце опало! —

проговорила Райна со вздохом слова одной песни.

— Чу, по всем монастырям звонят... точно как плачевный звон по покойной королевне.

— Ой, Неда, Неда,

Не из-под камня
Бьет ключ горючий! —

продолжала Райна; и на очах ее копились слезы.

— Ни отца, ни братьев со мной! и головы приклонить не к кому!.. Майя моя! были мне радости, покуда ты была жива, а умерла, горький мне плач и огненные слезы!

— Чу, бубны и трубы! Шум какой! — вскричала Неда.

— Пойдем на вышку, призови Туллу́! Да узнай, не приехал ли король!

Неда выбежала; а Райна боязливо смотрела в окно, из которого видны были сквозь деревья только скалы над монастырем и виноградники маторские.

Красота юной Райны уже славилась в народе. «Добросанна, добра и благородна королевна наша,— говорили все, кто видел ее,— красен и чуден ее образ, ясны очи, черны зеницы, румяный лик приосенен долгою владью; нет ей двойнички на белом свете!»

— Да, верно, недобрая весть пришла! — кричала Тулла́, входя в горницу королевны.

— Какая же весть? Скажи, Тулла́! О боже, пронеси мимо нас печали!.. Что ж ты молчишь, Тулла́?

— Не знаю, не знаю сама, что такое! — отвечала старуха.— Да чему ж худому быть? Ведь над нами бог.

— Отчего ж измерла душа моя!.. Пойдемте на вышку.

И Райна, схватив старуху за руку, повлекла ее за собой. Они прошли сени и переходы, вышли на стену и потом взобрались на башню летнего дворца королевского, возвышавшегося на одном из холмов посереди саду.

С вышки открылся весь Преслав. Он лежал в ущелье хребта, отделявшегося от Гема; с юга и севера его ограждали скалистые крутизны, а со стороны восточной каменная стена, за которую взор блуждал по цветущей, роскошной природе, по горам, одетым лесом, по скатам, устланным бархатными цветными коврами лугов, по мрачным ущельям, по холмам и скалам.

Вышеград, или главный королевский двор, венчал зубчатой оградой холм, над ручьем, извивающимся от «святаго кладезя» в горах, с западной стороны города. На луговой стороне были палаты митрополичьи, при соборном храме Святого Георгия; вокруг стен гостиный двор с лавками Греков и Армян. Домы жителей были разбросаны по скатам между виноградниками и по холмам посереди фруктовых садов.

Соборный храм Святого Георгия был одинакового зодчества со всеми храмами, которые мы привыкли называть храмами греческой архитектуры, но которые свойственнее называть зодчеством восточной Церкви; оно существовало в Галии еще при Меровингах. Это было четвероугольное здание с мрачными сводами на четырех столпах, с главой и кровлей, крытой медными и вызолоченными листами. Внутренние стены покрыты были священной живописью, мозаикой, позолотой и резьбой; перед алтарем иконостас. Вокруг храма крытая паперть,

украшенная также рядами изображений святых Старого и Нового Завета, ликами патриархов, пророков и великомучеников. С восточной стороны паперти была крытая площадка, выдающаяся на площадь; здесь у стен было место королевское, и отсюда повещали народу решения собора.

Весна только что водворилась посереди очаровательной природы, которая, как щедрая, богатая мать, устилала детскую колыбель шелковыми узорчатыми тканями и дышала так благотворно, убирая вязями цветов майское дерево к наступающему семейному празднику. На яблонях, черешнях и абрикосах распустились опалы; капли росы то искрились, как алмаз, то, подернувшись инеем, осыпа̀ли листья мелким перловым бисером. Тут все богатство было живое, вся роскошь одушевленная, весь блеск неискусственный; тут была не безобра́зная пустыня, куда изгнанник и отшельник от бытия райского сносили камни и металлы с кладбищ природы и посереди труда, уныния души и вечного недостатка в жизни становились живыми мертвецами.

— Неда, Неда,— вскричала Райна с смущенным чувством, когда перед ней открылся весь Преслав,— посмотри, народ стекается со всех сторон, звон по всем монастырям!.. Дружина выступает со двора на площадь!..

— Да, да,— сказала Тулла̀, всматриваясь,— это комитопул Самуил ведет ее.

— Ах, Неда, Неда, мне что-то страшно! — проговорила Райна.

— Чего же нам страшиться! — сказала Тулла́ очень спокойно.— Под защитой сына комиса Георгия нам нечего страшиться, королевна: дерзый, храбрый юнак, сам стрелец!.. Посмотри-ка, ду́шица моя, кажется, это под ним выступает гордо конь?.. Да под кем же и гордиться коню, как не под ним... Посмотри-ка, ведь это он солнцем блестит: шитая златом *гунь* сверх брони, шлем, кованный из злата, челенка серебряная, меч в руке... Что, он?

— Ах, не говори мне об нем, Тулла́! — сердито отвечала Райна.

— Не говори! я не тебе и говорю... я сама себе говорю, что краше и храбрее его нет во всем царстве... Я старуха, да любуюсь, глядя на него... а девице не диво и заглядеться.

— Тулла́!..— вскричала невольно Райна.

— Господица ты, да еще не госпожа моя, что так изволишь окликать! — произнесла старуха, озлобясь.— Не в послушницы к тебе я приставлена!

— Оставь меня! — сказала Райна, отходя от старухи.

— Не знаю, кого слушать, тебя ли, кралицу незрелую, или короля, родителя твоего; он приказал мне тебя, его и слушаю; родной матери нет, так какая есть!..

— Раба! Король, отец мой, не дал тебе материнской власти надо мною!

— Напрасно величаешь меня Болгарыней, я не Болгарыня, не подвластная! Я все-таки не ослушаюсь приказа королевского. Да, впрочем, бог его знает, где теперь король; комису поручил он власть и двор свой,— пойду к нему, скажу, что ты изволишь изгонять меня!.. Не ждать же суда королевского... дождешься его или нет!

— Горькая Армянка! — вскричала Райна, взглянув с ужасом на озлобленную старуху.

Глава третья

Кому неизвестен русский великий князь Святослав, отец того Владимира, которому Волжские Болгары Бохмичи предлагали семьдесят гурий на том свете, с тем чтоб на этом свете «свинины не ясти, вина не пити», и который отвечал им: «Руси есть веселие пити, не может без того быти!»

Святослав был последний представитель быта владетельного рода Руссов — поколения древних земных богов.

Воспитанный в обычаях и древнем веровании деда и отца, Святослав шел по стопам великих предков-воителей, жил на коне, спал на седле, не под шатром, а пóд богом, острая сабля пóд боком; «тако ж и прочии вои его бяху вси».

Ус его был злат, как у Перуна, борода бритая — для воина, которому вечно должно быть молоду, борода бы изменила. Так велось исстари и в царстве индейском, где также раджи не носили бороды и свято исполняли закон, которым воспрещено было каждому *раджану*, воину, употреблять против неприятеля бесчестное оружие, как, например, палку, заключающую в себе остроконечный клинок, зубчатые стрелы, стрелы, напитанные ядом, и стрелы огнеметные. Раджаны не нападали ни

на спящего, ни на безоружного, ни на удрученного скорбью, ни на раненого, ни на труса, ни на беглеца.

Таков был и Святослав, «тако ж и прочии вои его бяху вси». Терпеть не могли немецкого оружия, клинков, а любили полосы. Сызмала Святослав рос богатырем, сызмала не любил просто ходить, а любил ездить, хоть на палочке, да верхом скакал он по палатам и за малейшую несправедливость объявлял войну и сражался то с мамой, то с няней, то с кормильцем своим Свенальдом.

Будучи еще *в детском,* лет десяти, он подал знак к сражению, как говорит летопись, и *«суну копьем на Деревляны».* Хоть копье недалеко улетело: «лете сквозь уши коневи и ударил в ногу коневи: бе бо детск». Но князь почал, а дружина кончила дело победой. В 964 году Ольга передала державу сыну своему. Это был год его возмужания. По обычаю, бояре, старшины всех областей и народ собрались на вече. Дружина Святославова, во всеоружии, окружила посад. Старый жрец совершил богам молитву и возгласил, что следовало по обряду. Как водится, море народа, безмолвно внимавшее словам вещуна, вдруг заколебалось, загрохотало во здравие великому князю. Четыре могучих воина выступили вперед из рядов, взяли большой щит княжеский. Святослав воссел на щит, воины подняли его на плеча и понесли вокруг посада, сопровождаемые вельможами двора, при шумных кликах народа и ударов дружины мечами в кованые щиты. Совершив три раза круг, Святослава взнесли на посад, перепоясали мечом, облекли в багряницу и в весь «чин великокняжеский». Потом он извлек меч из ножен, а все боярство и дружина его сложили щиты, обнаженные мечи, обручи и все оружие на землю. Потом изрек он со всем боярством своим и дружиною верную клятву, клялся оружием и Перуном ходить по вере и закону, хранить любовь правую ко всем «иже суть под рукою его, светлого князя, необлазно и непреложно, покуда солнце сияет и весь мир стоит, и быть щитом и оградою русским людям, и, да сохраним, *аз и иже со мною и подо мною, да имеем клятву от бога, и в него же веруем, да будем золоти яко золото, и своим оружием да изсечени будем».*

По окончании обета поднесли Святославу заздравную чашу *браги*, певцы загремели здравие, он поклонился на все четыре стороны, выпил и, хваля и славя бога, сел «на столе дедни и отни».

Только что наступила весна, Святослав начал собирать рать. Полки Словен, Чуди, Кривичей, Мери, Древлян, Радимичей, Полян, Север, Хорват, Дулебов и Тиверцев, под общим именем Руси, сошлись на берегах Днепра. С ними решил Святослав положить конец хазарскому владычеству. Прежде всего покорил он Вятичей, подвластных Хазарам. Их старейшины — *тиуны* и жрецы — веданы встречали по берегам Оки и Волги победителя с хлебом и солью. Святослав принимал от них дары и клятвы в кирметах, а Хазарам, правителям и обладателям их, говорил: «Вы дóсыта пили и яли, и ныне идите уже прочь!» — и велел им идти к своему кагану, чтоб выставлял на всех градах хазарских знамя войны — *«бо хощю на вы ити».* На другое лето Святослав сдержал свое слово. По летописям восточным, в 358 году Эгиры, то есть в 968 году, пришел он по Волге на пятистах судах, покорил города Болгар, Хазеран, Итиль и Семендер, изгнал отовсюду и Хазар — правителей и их ученых — Халдеев, и с этого времени об Хазарах ни слуху ни духу.

Святослав, как *войник,* не мог пробыть без ратного дела, особенно в то время, когда благие духи, а за ними вслед священная египетская птица аист, и птицы певчие тысячегласные, и ласточки благовестные, и сковранцы прилетают из райских стран погостить в скифские земли, одушевить собою красное лето посереди пустынь, оживить человека и научить его петь песни.

Возвращаясь из походов к началу руйной осени и сотворив требу богам с людьми своими и пир на весь мир, Святослав, как легкий пард *тружаяся ловы деять,* и таким образом время его проходило на зною и на зиме, на войне и на лове, ночь и день, не ведая покоя, не блюдя живота, не щадя головы.

Рано женила Ольга прекрасного и воинственного сына своего, желая смирить в нем *дерзый нрав.* От своей княгини имел он двух сыновей, Ярополка и Олега, но когда порасцвело сердце Святослава, он полюбил хорошенькую Милянку, ключницу и ларечницу Ольги. Она была дочь боярина Малоша, из Любеча, что на Днепре, близ Чернигова. Брат ее Добрень, или Добрыня Малкович, рос вместе с Святославом и был им любим за силу и удальство. От Ольги не скрылось, что сын ее преступает заповеди, в гневе своем сослала она Миляну в село Будотино на покаянье.

Святослав не любил своей княгини, Святослав полюбил Миляну так, из дружбы к ее брату; Святослав не знал страсти, он знал еще только любовь к удальству, и его душа порывалась на бой. Испеченная на углях *конина* или *верина* посереди ратного поля нравились ему более лакомого обеда, который готовил Торчин, старейшина поваров княжеских. Ему люб был только отдых на поле побед, когда, стоя на костях неприятель*ских под черным знаменем,* по совершении тризны по убитым, прилегал он на седло и смотрел, как воины его радостно делили богатую добычу, коней и оружие неприятельское.

После рушения хазарской власти Святослав собрал снова великую рать, чтоб идти на Волгу, но послы от заволжских племен явились с покорностию, и Святослав не знал, где искать ему врагов: со всех сторон приходили к нему с дарами и предложениями дружбы и мира. С запада от германского императора, с юга от греческого василевса; с севером он был в родстве и в ладу.

Что было делать воинственной душе Святослава посереди всеобщего мира? Святослав не любил пировать и столовать, как впоследствии пировал сын его, по обычаям заморским. Его столы были не браные, яства не сахарные, питья не медвяные. Не любил он и сидеть на золотом стуле, на рытом бархате, на червчатой камке, суды рассуживать, ряды разряживать, грозно костылем махать. Не было у него ни себе, ни людям неги и роскоши, жило все по старине и обычаю. Ни сам он, ни бояре теремов высоких не строили, красных девиц не неволили. Идет князь — большой за меньшого не прячется; на суде — умный дураком не ограждается, виноватый на правого вины не складывает.

Вокруг него нет невольников, все охотники; нет жен зазорных ни в Предславине, ни в Вышгороде, ни в Белгороде, ни в Берестовом. Не метали при нем старцы и бояре жеребья на отроков и девиц, чтобы резать их в жертву богам, не осквернялась еще *кровми земля русская и холм той,* где стоял двор теремной, да не стоял еще идол. Все эти заморские обычаи выведены были сыном его из заморья.

Что было делать Святославу: в мире мир наступил; а разбоем идти на чужие земли он не хотел, по обычаю моряков северных, и охота ему надоела. Он уже думал распустить собранную рать.

В это-то время, на счастье или на беду его, прибыл в Киев посол от греческого кира Никифора, известный уже нам Георгий калокир.

Подъезжая к городу и увидя шатры великой рати по берегам Днепра и людей на Днепре, посол спросил, что это значит, кого воевать сбирается русский князь? «А идем воевать Греков, брать с них золото да менять старые полотняные паруса на паволочитые!» — отвечали ему.

Калокир, поверив, торопился предстать перед великого князя, умилостивить и уластить его дарами. Когда доложили Святославу о прибытии греческого посла, он велел, по обычаю, созвать старцев градских, бояр и *нарочитых людей*. Калокир явился посереди сонма со всем запасом даров, низко поклонился трижды князю, положил перед ним *злато* и *паволоки* и приветствовал от имени Никифора как от данника, приславшего оклады на грады русские, на Киев, Чернигов, Переяславль, Полтеск, Ростов, Любеч и на все прочие грады, где сидят великие князи, подвластные Святославу. Объявил, что царь Никифор здравия желает брату своему, великому князю русскому, и что для дружной Руси все врата Греции отперты, и, ежели приедет Русь с куплею, да покупает сколько душе угодно паволок и не запретит царь словом своим всем приходящим из Руси, и дает брашно, и якори, и ужи, и парусы сколько потребно; а гости получат месячину на полгода, и хлебы, и вины, и мясо, и рыбу, и различные овощи.

Потом поднес он Святославу драгоценный меч и просил да обнажить его на непокорных и насилующих Грецию Болгар, да покорит их королевство, и держит его во власти своей, и, храня дружбу с царем, да поделит с ним дани.

Лицо Святослава просияло, милостиво велел он идти послу в посольскую избу, ждать решения, и сказал старцам и боярам своим:

— Царь греческий шлет ко мне посла своего и дары многие. Не любы мне паволоки, золотники, и серебряники, и каменье драгое, и хламиды багряные, и вины, и овощи многоразличные, а люб мне этот меч.

— Добро и честь великая тебе, княже,— отвечали старцы и бояре,— повелишь угостить послов и гостей всяким брашном и медом — угостим; повелишь отдарить скорою, воском и челядью — отдарим. С Греками любо нам мир держать, от них нам дары, злато, серебро и паволоки.

— Болгары, данники Греков, крамолы ведут на Царьград,— продолжал Святослав,— насильникам Уграм путь кажут через горы. Царь греческий зовет нас воевать землю болгарскую и держать во власти своей.

— О, богата земля болгарская, княже,— сказал сторожевой воевода дружины великокняжеской Претич.— В годину войны с Греками был я там с отцом твоим светлым князем Игорем. Там земля садом, цветом и дубравами украшена, горами опоясана. Велики в той земле горы под облаками, так велики, что солнце катится по вершинам. Хороши и города. В Загорье железняк, там родится железо, и куют там мечи и сабли с золотой насечкой и копья и стрелы калят. А скаты гор усеяны розовым цветом, из него же чинят благовонный елей. Багр и синету красят там на диво. А свежая овощь, красная всякая ягода — вертоград земной!.. В дубнице кони верховые. В то время Греки дары вынесли нам, а Болгары даже не хотели давать, и послал меня отец твой, княже, с наемными Печенегами воевать землю. Тут-то собрали мы добычу оружьем богатым, борзыми конями, шелковыми уздечками с бахромой да с золотыми бляхами. А Печенеги — волки в стаде! Придет в дом — напьется, насытит утробу, а потом требует с хозяина платы за то, что ломал зубы свои об его хлеб.

— И поделом ходящим в нечистотах! Та же Бохмитова вражья сила! — сказал великий жрец.

— Нет, отец, они кресту поклоняются, и народ добрый, храбрый, говорят людским языком, не то что наши наймицы Варяги. Увидишь сам, господине мой, княже, там тебе бы краситься и славиться.

— Дело решенное! — сказал Святослав.— Отпустить посла с честью и дарами. Рать готова, корабли снаряжены, пусть скажет царю, что иду.

— Так богу угодно,— сказал жрец великий,— да возвеличится в тебе, княже, сила сильных и слава славных!

Калокир был отпущен по слову князя; а вскоре Святослав оставил воеводу Претича охранять Киев, прощался с матерью и с детьми, садился на свой великокняжеский корабль с шелковыми снастями, с парусами паволочитыми. У корабля великокняжеского, как у птицы, вместо очей были яхонты, вместо бровей черные соболи, вместо клюва два ножа булатные, крылья паволо-

читые, чертог муравленый, на чертоге беседа слоновый клык, подернута рытым бархатом.

Стали уже поднимать якори, как вдруг прискакали от печенежского князя Куря гонцы. На лихих конях примчались они к берегу, соскочили, сбросили епанчи и предстали перед князем в шелковых с закидными рукавами бешметах, перепоясанных кушаками, в желтых четвероугольных шапках с бобровыми околышами и с красными кистями; в сапогах с высокими каблуками; за плечами лук и колчаны; за поясом ножи. Без особых приветствий сказали они, что приехали от своего князя Куря; а узнав Куря, что белый царь поднимается на войну, и сам идет с своей ордой служить по найму у белого царя.

— Скажите своему князю, что у меня много своего войска, наемного мне не нужно,— отвечал Святослав.

— Не ладно! — сказал один, тряхнув головой и взглянув на прочих.— Даром мы вымеряли поле!

— Найми, белый царь, эй, найми! — сказал другой.— Мы лишними не будем, а чужого добра и с тебя и с нас станет. Мы за десятую долю пойдем.

— Не нужно,— отвечали им.

— Воля ваша, а мы все-таки пойдем следом за вами, крохи подбирать, а случай будет, может, и понадобимся.

— Не велит светлый князь,— отвечали им.

— Что ж не велит, ведь мы не с вами будем делиться, а с черной птицей! Уж запретите и ей летать за собой! — отвечали они сердито.

— Хоть в проводники возьмите сотню,— сказал один, мигнув своим товарищам и прибавив тихо по-своему: — Пусть возьмут сотню, в сотне будет место и целой орде.

— Не нужно,— отвечали им.

— Не нужно, так не нужно, мы не навязываемся, пожалеете после,— отвечали Печенеги, накидывая епанчи и садясь на коней.

За великокняжеским крытым кораблем выгребали из пристани насады попарно, при звуках рогов и песен.

Старая княгиня Ольга провожала сына со слезами. Ей было более осьмидесяти лет. Народ стоял толпами по берегу и по горам. «Дай вам, боже, путь-дорогу и доброе здравье!» — раздавалось повсюду.

Воины совершили молитву, поцеловали родную землю, обняли родных и милых и вступили в насады.

Как дружная стая лебедей, потянулись насады вниз по Днепру. Запасные ладьи в середине, с хлебом и солью, с живой птицей и с клетками вестовых голубей. Кони пошли берегом. Громко заливалась обычная песня:

То не ясен сокол вылетал из гнезда,
То не белый орел вон выпархивал:
Выезжал князь великий из Киева,
Светлый князь Святослав из престольного.

Глава четвертая

На площади Преславской, между королевским двором и владычным, стекался народ толпами; кнези сельские с *кметами* и *момцами* мчались к раду преславскому, желая скорее узнать причину соборного звону. Игуменство из ближайших монастырей и старейшины из своих пригородков ехали также верхами к собору, сопровождаемые служками и приспешниками.

Посереди говора, шума и побрякивания оружием раздавались взаимные вопросы и догадки о причине сбору. Но причина известна была только великому комису да одному старцу гусляру, который ходил между народом по площади и, водя смычком по гусле, напевал печально:

Ой, горе, горе, великая тужба!
Не стало орла, не стало Петра;
А Орловичи-Петровичи у грачей в полону!

Кто вслушается в слово гусляра, идет за ним: что он за песню такую напевает? Гусляр не останавливается, а толпа за ним, больше и больше.

— Что ты поешь, гусляр? — спрашивают его, а он, как глухой, продолжает песню, не обращая ни на кого внимания:

Ой, горе, горе, великая тужба!
Чем ту тужбу сбыть,
Куда схоронить!

В это время из королевского двора выехал великий комис, а за ним дружина королевская, под предводительством сына его, Самуила, во всем наряде, в золотом панцире на полукафтанье зеленом с золотыми источниками; сверх всего малиновый бархатный плащ, на

голове шлем нарядный. Серый конь его в яблоках, согнул шею крутым кольцом и кланялся, побрякивая браной уздечкой с кистями и подвесками.

Ой, филин, филин, ночная птица!

Запел гусляр, идя вслед за поездом комиса.

Комис вступил в собор; Самуил с дружиной стал у крыльца, народ тесно обступил ограды собора, а темные слухи о смерти Петра переносились уже из уст в уста.

— Слышите, король умер!

— Как умер? Где умер?

А гусляр напевал:

Ой, подскочил к нему льстивый враг,
Поразил в широкие перси тяжкий млат!
Зашумел, застонал жалобой темный лес:
«Ой, вышиб он ему душу-душеньку,
Вылетала она чрез гортань, вылетала
Из гортани, красными устами отходила!
Ой, хлынула волной его теплая кровь;
За подружкой-душкой струею течет!»
Ой, враны-гавраны поднялися с гнезд,
На белое тело сели, кричат:
«Ой, погубил орла хитрый, льстивый враг.
Не хоронит никто орла-короля,
Похороним его в утробе своей!»

— Ой, убили короля Петра! — громко пронеслось по народу.

— Кто мутит? — вскрикнул комитопул, подскакав к толпе. Дружина двинулась за ним в толпу.

— Кто мутит? подавайте его! — крикнул снова Самуил грозным голосом, но бледный и смущенный.

Народ, отступая от коней, смолк, озирается кругом, ищет гусляра; а гусляра нет нигде.

Мгновенная тишина изумления была прервана выходом владыки, комиса, бояр и старейшин на крыльцо. Общее внимание обратилось на них; но в это самое время послышался звук трубы с сторожевой башни, и на вершине ее захлопал красный стяг. Воины, бояре и народ содрогнулись от неожиданной вести, и посереди всеобщего онемения гонец от русского князя Святослава явился перед собором с красным знаком на копье.

— От русского великого и светлого князя Святослава! — сказал он, подъезжая к крыльцу.

— С какой вестию? — спросил дрожащим голосом комис.

— Русский князь велел сказать королю царства Болгарского, его боярам и всем людям его, что идет он полком на вас, стройтесь противу!

Ой, горе, горе, тужба великая,
Не стало орла, короля Петра,
Не стало людей в царстве его! —

раздалось в толпе.

— Что скажешь ты еще от своего русского князя? — спросил смущенный и бледный комис.

— Ничего,— отвечал гонец.

— Так скажи своему князю,— продолжал комис,— что за двадцать шесть лет храбрые Болгары лозою изгнали из своей земли насильников Русь и Печенегов: то же будет и теперь.

— Гой, любо! — вскричал народ.— Лозой изгоним!

Лицо комиса просветлело.

— Одарите и угостите гонца, пусть едет сытый! — сказал он.

— Государским жалованьем всего у меня много, ничем не скуден, сыт и своим хлебом, чужого не нужно, а готовьтесь угощать гостей нашего князя с дружиной! — отвечал гонец горделиво. Конь его взнесся на дыбы, перекинулся, и народ отхлынул от лихого всадника, который, гарцуя по площади, наконец скрылся за городской стеной.

— Братья! — возгласил комис к народу.— Честный собор, преосвященный владыко и все духовные строители церковные, князи и властители царства Болгарского! В плачевные ризы облечься бы нам по блаженном светлом короле Петре, погибшем от руки брата своего Иована, изгнанного из царства за смуты... да злое время злую игру сыграло; не в плачевные ризы облечемся, а в ратные. След бы нам в Византию идти да звать на престол королевича Бориса, да он в залоге и в неволе у греческого царя; греческий царь не ровного себе хочет на престоле болгарском, а слугу себе, данника безмолвного... Честный собор, король Петр заложил детей, да не заложил воли нашей!..

— Воли своей никому не дадим! — произнес один болярин.

— Не дадим, не дадим! — повторила толпа.

— Выбирайте же правителя себе и военачальника, покуда бог дела устроит,— произнес комис, поклонясь владыке и окинув смиренным взором всех.

— Избранного богом да изберем,— произнес владыко.

— Да здравствует король Георгий! — крикнули приверженцы комиса.

Владыко побледнел, его слова́ не поняли и воспользовались ими.

В войске и в народе повторилось имя комиса: но это был не громовой голос всего народа, вызванный любовью и желанием общим: это был голос подобострастия некоторых и привычка носить оковы комиса.

Посереди необдуманного возглашения раздавались и порывистые крики:

— Короля Бориса! Пойдем за ним с огнем и мечом на Греков.

— Благодарю владыку, боляр и всех людей,— произнес комис, возвыся голос,— кланяюсь за честь великую, возданную мне за службу царю и царству, но этой чести не принимаю я...

Все умолкли, притворное великодушие комиса поразило всех.

— Не принимаю,— повторил он,— теперь ущитим Болгарию от врагов, свободим нашу Загорию от Греков!

Комис знал дух народа; несколькими словами он увлек его и вызвал общее довольствие и согласие громкими восклицаниями. Никто не почувствовал, как накинул он на всех свои бразды и направил волю честного собора на путь своих желаний.

— Соединимся же миром и любовью, будем готовиться на брань с Русью и Греками. Идите, вооружайтесь, братья! Станем за себя!

Народ громогласно повторил: «Станем за себя!» — и, повинуясь властному голосу, стал расходиться; но тихо, как будто шел в неволю.

Ой, дали филину над собою волю,
Заведет вас филин в темну ночь! —

пел явившийся снова гусляр. Приостановятся, прислушаются к песне: что поет гусляр? — а на душе грустно, что-то не так.

Глава пятая

Между тем сердце Райны предчувствовало ожидавшее горе. Оскудела в ней душа, взалкала крепости и не обретала; слезы катились потоком, тушили зарю. Нет ей

утешения от любящих; гонит от нее старая Тулла́ подруг ее Неду и Вѐлику и сама утешает ее ласками холодными, словами бездушными.

Вдруг пожаловал в ее горницу нежданный гость, комис.

— О чем она плачет? Ты сказала ей? — спросил он по-армянски Туллу́.

— Нет, нет, и не думала,— отвечала Тулла́.

Райна вздрогнула, увидя комиса: в первый раз посторонний осмелился войти к ней.

— Кто дозволил тебе вход в мои горницы, комис? — спросила она, вспыхнув.

— Отец твой, королевна,— отвечал комис тихо.

— Король, отец мой! где ж он сам? — проговорила беспокойно Райна.

— О чем плакала ты, королевна? — продолжал комис, не отвечая на вопрос Райны.— Недобрый сон видела или какие-нибудь предчувствия?

— О боже мой!.. что ты на меня так смотришь? — вскричала Райна с каким-то невольным ужасом, взглянув на комиса, который устремил на нее черный глаз, возмущающий душу.

— Участие, королевна,— продолжал комис,— горе искупается слезами...

Взор Райны блуждал; она, казалось, искала выхода, чтоб бежать от этих страшных глаз и речей, не предвещающих добра.

— Я и сам плачу! — прибавил комис, отирая сухие глаза свои, и не продолжал более.

Как кровожадный во́рон смотрел он Райне в глаза и каркал про беду. Все чувства ее онемели.

— Тулла́,— произнес он шепотом, удаляясь,— успокой королевну!

Старуха призвала на помощь себе Неду и Ве́лику и повторила им приказание комиса. Обе они сами плакали, стараясь привести Райну в чувство. Когда Райна вздохнула, они торопливо отерли слезы свои.

Райна стала приходить в себя, взглянула на них; сначала в этом взоре проявилась живость, на устах улыбка; но вдруг Райна схватилась за голову и, как будто припомнив что-то, содрогнулась и побледнела.

— Неда,— произнесла она,— приходил комис... говорил что-то... я ничего не помню... голова кружится... призовите его.

— Призову,— отвечала Тулла́, бросив строгий взор на Неду и Ве́лику.

Неда и Ве́лика стояли подле Райны молча и с трудом воздерживались от слез.

— Что вы такие скучные? — спросила Райна.— Неда, и у тебя как будто заплаканы глаза!

Неда припала к плечу королевны и, целуя его, чтоб скрыть выступившие на глаза слезы, отвечала:

— Ничего, королевна.

— Неда, мне никто еще не сказал, для чего был собор в отсутствие отца моего?.. Да где же он сам?..

— Говорят, что Русь идет на нас войною,— отвечала Неда.

— Да где ж король? — спросила она опять сквозь слезы.— Верно, какое-нибудь несчастье! От меня скрывают, да говори же, Неда!

— Что ж говорить, королевна,— отвечала Неда,— я не знаю...

— Комиса нет в городе, комис куда-то уехал,— сказала Тулла́, входя в горницу.

— Уехал! не навстречу ли королю? пойдемте на вышку, отец мой должен же возвращаться, я хочу встретить его... он еще будет далеко, а я буду уже радоваться его возвращению...

Сопровождаемая мамой и своими подругами, Райна взошла в башню, села на скамью и безмолвно смотрела вдаль. Едва что-нибудь покажется на дороге, обоз или верховые, она вскрикнет: «Неда, это, кажется, король!» — и с нетерпением ждет приближения. Но все мечты ожидания разрушиваются.

— Нет, не он! — говорит она со вздохом и шлет узнать, не возвратился ли комис.

Несколько дней прошли для Райны в тоскливых и тщетных ожиданиях. Она истомилась, изнемогла; на третий день Тулла́ сказала, что идет комис.

Райна бросилась к дверям.

— Где король? — спросила она и с новым трепетом и отвращением отступила от комиса.

— Он приказал...— произнес комис медленно и остановился...— Сядем, королевна... Он приказал сказать тебе, чтоб ты порадовала его душу и исполнила волю его...

— Какую волю? Говори скорее!

— Святую волю короля и отца,— произнес комис

протяжно, как будто наслаждаясь истязанием чувств Райны.

— Какую же волю?

— Конечную его волю!

Райна вскрикнула; Тулла́ подскочила к ней и поддержала ей голову, опавшую как цветок на сломленном стебле. Глаза без слез, уста без рыданий; но каждая жилка трепетала в Райне. А комис с притворным чувством горести томил ее рассказами о смерти его.

— Несчастное событие! — говорил он.— Король, возвращаясь из зверинца, заболел и не мог продолжать путь, прислал за мной; я нашел его при последнем издыхании... В это-то время напал на нас злодей Иован... Бог спас меня как будто для того, чтоб передать тебе конечную волю отца.

Безмолвная на все бездушные утешения старухи, Райна, казалось, наконец вслушалась в них; сбросила с головы драгоценную повязку, сорвала кованый золотой пояс, сдернула с плеч саян, тканный из пурпура и золота, бросила кольца и поручни и залилась горькими слезами.

— Где комис?.. Говори мне последнюю волю отца, я ее исполню и умру,— произнесла она.

— Успокойся сперва, королевна,— отвечал комис.

— Теперь, теперь же, говори! я хочу знать!

— Мой король поручил мне заменить тебе отца,— начал комис.

— Заменить отца? так же, как она заменяет мне мать,— сказала Райна, показывая на старуху.

— Отеческими попечениями о тебе я заслужу твою дочернюю любовь.

— Не трудись же: я принадлежу теперь одному богу, он мой отец; а обитель моя у гроба матери.

— Нет, королевна,— сказал комис,— последняя воля твоего родителя изрекла союз твой с сыном моим Самуилом.

— Этого не будет! — вскричала Райна дрожащим голосом.

— Передаю тебе слова отца, его волю.

— Веди меня на могилу отца, я умолю его: «Родитель мой, отец мой! Не отдавай меня людям, отдай богу!» Он смилуется.

— Кто знает, где могила его! — сказал комис.

— Не возмути неповиновением души родительской,— сказала Тулла́,— будет она носиться над могилой и из-

нывать в жалобах на тебя, и изноет, и не свидеться тебе с отцом и матерью на том свете!

Райна зарыдала. Комис посмотрел на нее с улыбкою довольствия, потрепал старую Туллу́ по плечу и вышел.

— Ох, королевна, королевна,— начала Тулла́, когда истощились слезы Райны,— сердилась ты на меня; а не я ли правду тебе говорила: не избежать того, что сулила судьба! Видела я сама, что сердце твое не знает еще иной любви, кроме дочерней, да не навек родители. Бог указал любить после них суженого, а уж кто суженый, как не тот, кого указала воля родительская, а воля родительская идет от божьей воли.

— Я не противлюсь родительской воле,— отвечала Райна,— а исполню ли ее — бог ведает! душа моя не лежит к Самуилу. Божьей ли и родительской воле насиловать душу мою!.. Она не обвенчается с Самуилом, в храме вылетит из тела: пусть берет он за себя бездушный труп!

— Кто ж будет изневоливать тебя, королевна! А сказать правду, и меня отдали замуж не по̀ сердцу... плакала я, плакала, а после самой слюбилось.

Тулла́ торопилась утешить, уластить Райну, в которой от избытка горя измирали все чувства; именем отца требовали, чтоб она, не отлагая времени, принесла себя на жертву.

— Дайте мне время хоть выплакать слезы мои на могиле матери, помолиться за упокой души родителей! — отвечала она на все утешения и слова Туллы́. Ей дозволили выход к заутрене в храм монастырский, где погребена была королева Мария. Туда сопровождала ее Тулла́ и Неда. В плачевной одежде стояла она заутреню на коленях перед гробом матери. Здесь только обильно текли ее слезы и облегчали душу.

Никого из прихожан не было в первый день во время мольбы ее в церкви. Но на другое утро пробрался туда один блаженный — бледный, с длинными волосами, распадающимися на плечи, в черной кошулье, препоясанной веревкою, тоболец пастырский за плечами и с костылем в руках.

Уважение к этому роду людей было в старину так велико, что им никто не осмеливался затворить двери храма.

Припав на колена и сотворив молитву, старец посмотрел на Райну и отер слезу; посмотрел на ее мамку

Туллу́ и нахмурился. Потом подошел к Неде, встал за нею и начал молиться почти вслух:

— Господи, владыко, Царь небесный! Грешник молит тебя, не остави его посещением своим, да исхитить присущую агницу из челюстей волчьих!

Неда, стоявшая задумчиво и не заметившая появления блаженного, с испугом оглянулась.

— Молись, девушка, молись, не оглядывайся,— продолжал он.— Знаю я, о чем ты молишься: ты любишь королевну, и я ее люблю — бог нам в помощь!.. Господи, владыко, Царь небесный, да будут разум мой и рука моя орудиями благости твоей! Молись, девушка, молись, не оглядывайся!.. Есть в палатах царских слуги царские, печалующиеся о царе и роде его. Господи, помоги их печалованию! Есть между ними избранный, аки Петр, ключарь царствия небесного... Перемолви с ним, девушка, перемолви... Помолимся господу сил, да кто правосудства и премудрого промысла дело добре смысля мнит — будет, убо, будет восстание; правдив бог, и терпящим его мздодатец будет!..

Неда вслушивалась в слова блаженного, и он казался ей явлением свыше. Возвратясь с Райной во двор, она пересказала ей чудо и все, что слышала. Слова блаженного проливали в душу сирой Райны какое-то утешение и надежды; но она задумалась и сказала:

— Тебе это чудилось!

— Нет, не чудилось! — отвечала Неда.— Я как теперь слышу: между царскими слугами есть избранный, аки Петр, ключарь царствия небесного... Перемолви с ним. Эти слова намекают на Обреня; я еще больше уверилась, когда он встретился нам на крыльце.

— Обрень, добрый старик, любил родителя, да чем он поможет мне? — ответила Райна.

— А бог ведает,— сказала Неда.— Пока нет Туллы́, я выйду на крыльцо.

Неда выбежала в сени и увидела, что ключарь Обрень сидит под навесом крыльца на лавке, задумавшись. Боязливо вышла Неда на крыльцо и поклонилась ему.

— Здравствуй, Неда,— сказал он,— что скажешь доброго?

— Какие тучи ходят по небу,— проговорила Неда, не зная, что сказать.

— Тучи мимо идут, как и печали наши... Что королевна?.. ты, думаю, знаешь, что в палатах царских есть

верные слуги царские, которые печалуются о царе и роде его?..

Боязнь Неды исчезла.

— Обрень, Обрень,— сказала она,— наша королевна теперь сирота! Она умрет! Ее принуждают идти замуж за сына комиса!..

— Принуждают! — произнес старик гневно.

— Комис говорит, что это конечная воля короля; она не воспротивится воле отцовской и умрет!

— Злодеи! Ложь и обман! — проговорил Обрень.— Бог только слышал конечную волю короля; не убийцам, посланным от комиса, говорил он ее.

Неда содрогнулась.

— Да, Неда! Но королевна после все узнает; а теперь одно ей спасение: бежать из этого царского двора, обратившегося в вертеп разбойников и предателей! Пусть королевна молится богу и положится на верных рабов божиих и царских. Ступай, покуда чье-нибудь коварное ухо не подслушало, чей-нибудь предательский глаз не проник в нашу думу.

Обрень отошел от Неды. Неда побежала в горницу королевны.

— О, верю, верю! Они, злодеи, они убийцы отца моего! — вскричала Райна, выслушав рассказ Неды.— Боже, боже, что ж я теперь буду делать?

— Одно спасение, сказал мне Обрень: бежать, королевна, бежим от злодеев!

— Нет, я не бегу! пусть убьют меня! — произнесла Райна решительно. В каком-то исступлении чувств лицо ее разгорелось, дыхание было тяжко, но светлый взор устремила она на кивот образов и пала перед ними на колени.

— Королевна! — проговорила Неда.

— Оставь, Неда,— сказала она,— я хочу молиться.

Неда посмотрела на одушевившееся лицо Райны, и ей стало страшно.

В это время послышался стук клюки, Неда выбежала в другой покой, чтоб скрыть от старухи расстроенные свои чувства.

— Не отмолишься! — прошептала Тулла́, входя.

Райна встала.

— Опять поплакала?

— Нет, что-то веселее на душе,— отвечала Райна.

— Ну и слава богу,— проговорила старуха, посматривая с недоверчивостью,— не век плакать, что поль-

зы изнурять себя слезами, на то ли дана нам молодость?

— Да,— отвечала Райна,— я на все решилась, что будет, то будет!

— Вот видишь, бог послал и решимость: на родительскую волю всегда достанет доброй воли.

Тулла́ не знала, как нарадоваться перемене, которая произошла в Райне. Она считала это успехом своих чарующих речей и убеждений и даже влиянием голубиного сердца.

«Простенькая! — подумала она.— И не тебя бы мы переделали по-своему!»

Пользуясь добрым духом Райны, она заговорила было о свидании с женихом, но Райна резко отвечала:

— Нет! в плачевной одежде он меня не увидит.

— На такой час и принарядиться в светлые одежды не грех,— лукаво заметила Тулла́.

— Нет! — отвечала Райна.— До вечера я черница.

Глава шестая

Днепр лелеял насады Святослава; плывут они рядами, как лебеди, стая за стаей, с крутыми шеями, с распахнутыми крыльями. Гребцы в лад, под звонкие песни, вспенивают воду. На каждом насаде по сорока пеших воинов; красные щиты стеной у борта. Кони идут берегом, под знаменами своих городов, щиты за левым плечом, копья у правого, колчаны и стрелы за спиной. Тут же идет и охота великокняжеская, ловчие с сворами гончих и борзых, сокольники с челегами и соколами.

Там, где Днепр пробил каменные горы Половецкие, начинались кочевья ордынские. Мирно прошел Святослав между ними, выплыл на простор Русского моря. Мирно и Русское море лелеяло его корабли, близко уже был Дунай. Ветер попутный вздувал паруса, гребцы сложили весла, и насады, управляемые только кормчими, плавно шли в виду берегов. Сторожевая стая кораблей вступила уже в священное устье Дуная. Засмотревшись на отдаленные выси гор Болгарских и на холмы, покрытые яркою зеленью, никто не заметил, как завязалась на склоне ясного неба громовая туча невидимым узелком и вдруг накатилась клубом, разрослась в черную ночь, разразилась над кораблями Святослава, разметала их, часть прибила к берегу, посадила на мель,

другую умчала в открытое море. Между тем сторожевой отряд кораблей прошел уже гирло, стал переправлять с левого берега Дуная на правый передовую конницу; под бурею кончил он свое дело и расположился на берегу Дуная, под горою, в ожидании главных сил. Не заботясь о предосторожностях, все думали только о том, чтоб надежнее укрыться от ливня и грозы.

Огнемир, воевода сторожевого отряда, благодарил богов, что они послали середи белого дня мрак ночи, который способствовал ему без битвы переправить конницу через Дунай и стать твердой ногой на земле неприятельской.

Но Болгары были уже готовы к встрече Руси; они видели переправу сторожевого отряда и выжидали удобной минуты, чтобы напасть на него внезапно.

Во время самого развала бури накрыли они его всеми своими силами. Кто успел взяться за меч, кого не охватила целая толпа, тот защищался и пал со славой. Все прочие и даже сам воевода были перевязаны и приведены перед главаря рати болгарской, Самуила-комитопула. Само счастье, казалось, служило ему; но он, узнав, что корабли русские разбиты бурей, не воспользовался бедой их; довольный первым успехом, он возвратился в Преслав и был торжественно встречен как спаситель царства от нашествия Руссов.

— Гай! гай! поднимай на щит! — раздавалось в толпах народа, бегущего с возгласом радости за комитопулом, пленными и добычей.

— Гай, гай! — повторялось снова, и Самуила, как царя, возводимого на царство, подняли на щите и понесли к собору.

Лицо комиса рдело от радости.

Народу выкатили бочки вина и меду; народ блаженствовал и убил бы того, кто осмелился бы произнести посереди его радости: «Ой, горе, горе, великая тужба».

Празднество готовилось к другому дню; во всю ночь горели по улицам зажженные смоляные бочки.

Когда Райна узнала обо всем случившемся, душа ее обмерла, решительность и какое-то насильственное спокойствие, полное воли и замысла, вдруг исчезли; она сидела безмолвно, как будто углубясь в бездну ожидавших ее несчастий; по временам вздрагивала и бесчувственно обводила все окружающее ее потухшими взорами.

Тулла́ нахвалилась, наславилась геройством Самуила. Туллу́ стал уже клонить сон; несколько раз уже

напоминала она Райне, что пора на покой; но Райна качала головой и тихо произносила: «Не хочу!»

Тулла́ долго крепилась в сердцах, но наконец задремала.

Неда сидела подле королевны, бледная; с беспокойством смотрела она на старуху, и, когда голова Туллы́ отяжелела и повисла, Неда тихо вышла вон. Еще тише возвратилась она, подошла к забывшейся от утомления Райне и взяла ее за руку. Райна вздрогнула.

—Ах, это ты, Неда? — произнесла она.— А мне показалось...

И Неда чувствовала трепет ее.

— Королевна,— прошептала Неда,— нас ждут, все готово... пойдем!

— Что готово? — спросила Райна.

— Пойдем, королевна! — повторила шепотом Неда.

— Куда? — спросила опять Райна.

— Бежим от злодеев, кони готовы, Обрень ждет...

Райна по первому движению, казалось, готова была встать и идти за Недой, но вдруг задумалась и громко произнесла:

— Нет! пусть ведут меня в храм божий!

— Что, что такое? — спросила, вдруг очнувшись, Тулла́.

— Ничего,— отвечала Неда дрожащим голосом.

Мутные глаза старухи снова закрылись, и голова повисла на плечо.

Неда встала на колена перед Райной, схватила ее руки и только взорами, полными слез, умоляла ее идти за собой.

— Нет! — повторила Райна решительно.

Неда закрыла лицо руками и, заглушив в себе рыдания, вышла из покоя Райны, воротилась снова, снова стала умолять ее; но Райна, не отвечая ни слова, качала головою; а между тем ночь озарилась пробрезго́м светлого дня.

— Все пропало! — проговорила Неда, взглянув в окно.

Рано на другой день явился к изнуренной Райне комис, взял ее за руку и сказал бездушно-нежным, отеческим голосом, что в день торжества великой победы, когда все царство в радости, и она должна снять плачевную одежду и облечься в светлую, венчальную.

— Я готова,— отвечала Райна. Смертная бледность покрыла ее лицо, рука ее дрожала в руке комиса, но

она твердым голосом произнесла:— Я исполню волю родителя!

Ясное утро заволокло облаками, день был пасмурный, на небе копились тучи, но дождь не падал на землю. Так и юное чело Райны затмилось горем, на очах копились слезы, но ни одна слезинка не упала на грудь.

День был начат торжественным обрядом и пиром народным. К вечеру весь город осветился, собор и палаты королевские горели огнями. Между собором и палатами на площади народ уже ликовал около выставленных бочек вина.

В это время Райна облачилась в златотканые новые одежды. Подруги расплели девичью косу ее и заплели снова в две косы, прицепили к ним струи золотой канители. На грудь ее возложили луницу гривенную, вокруг шеи жемчужное ожерелье, убрали всю драгоценными серьгами, перстнями, обручами.

Райна ни слова. Неда держала уже червленицу, чтоб накинуть ее на плеча королевны, и качала головою с горестным чувством, но не смела плакать. Тулла́ стояла с покрывалом, заключающим наряд невесты, как *Морана,* готовая накинуть верву на шею девы, которую идольники обрекали по жребью зарезать богам.

Комис отпустил сына в церковь в сопровождении братьев и вельмож, а сам отправился в освещенные королевские палаты, где должна была праздноваться свадьба королевны с его сыном.

Самуил уже в храме соборном, в блестящей одежде, в багряной мантии. Нетерпеливо ждет он невесты. Облик его некрасив, но черные глаза ярки. Владыко в облачении, собор полон боляр и вельмож. У входа королевская стража.

Вот посереди общего молчания загремел клирос. Самуил встречает невесту свою. Райна под покрывалом вступает в храм в сопровождении болярынь и подруг, приостанавливается с содроганием, колеблется, чувства ей изменяют, но взор ее обращается к небу, и она идет вперед. Хор умолк, общее молчание, глаза всех обращены на жениха и невесту. Владыко идет им навстречу. Самуил хочет взять руку Райны.

— Прочь, злодей! — вскрикивает она и, откинув покрывало, вбегает на амвон...— Боже! и вы, братья! дети отца моего! — произносит она прерывающимся голосом.— Избавьте меня и царство от его убийц!.. Нет здесь кровных моих, Бориса и Романа, которые бы от-

мстили хищнику власти за пролитую кровь короля, но есть здесь верные ему, и я, дочь его, сирота, перед богом и вами вызываю на суд тень отца моего и его убийц.

— Обезумела! помогите, помогите! — вскричал громогласно побледневший как смерть Самуил, бросаясь к Райне.

— Прочь, убийца! — вскричала Райна. Хотела говорить, но голос ее был беззвучен посереди восклицаний Самуила; она заколебалась и упала на руки подбежавших женщин.

Ее понесли из храма.

— Постойте, дайте я донесу ее! — раздался чей-то голос в темноте под сводом выхода на паперть, и кто-то выхватил Райну из рук Неды и болярынь, своротил в боковую дверь и исчез.

Подруги ее и Тулла́ торопятся протесниться сквозь толпу вслед за нею, но у входа в храм раздается народный крик:

— Идут, идут!

Толпа нахлынула к паперти навстречу выходящим, оглашая своды восклицаниями своего восторга. Едва показался в дверях Самуил, кидая мутные вокруг себя взоры...

— Гей, гей! — крикнула толпа, и его схватили на руки и понесли к палатам королевским.

Комис ожидал молодых в трапезной перед престольною палатою, где была великолепная сто́лица королевская под парчовым шатром. Тут должны были восседать молодые и принимать поздравления.

Окруженный сановниками королевскими, комис восседал как преобладатель царства. На нем была пурпуровая царственная мантия, недоставало только вместо драгоценной капы венца королевского и вместо властного костыля державы; но посереди королевских оруженосцев и сановников он величался как король.

Нетерпеливо ожидая конца обряда, он был мрачен, но взор его просветлел, когда послышались крики народа.

— Идут! — сказал он, вставая.

Шум близко, в сенях встречные певцы запели славленье, идут рядами, становятся у дверей трапезной. Комис готовится принять молодых в объятия. И вот с безумным криком народ несет сына его на руках.

Самуил страшен, мечет исступленные взоры, хочет вырваться, но толпа проносит его прямо в престольную палату. Тут только раздается: «Стой, братья!» — и Самуила чинно становят перед отцом на землю, снимают шапки и здравствуют.

— Где ж владыко? где молодая? — спрашивает комис сына; а он смотрит неподвижными глазами на шатер королевский, дрожит всем телом, схватил отца за руку.

— Король! король! — раздалось по всей палате.

Комис оглянулся — на престоле сидит король Петр и подле него Райна.

Как вкопанный смотрит комис на видение, а взор уже помутился, лицо помертвело, члены онемели, но казалось, силы духа превозмогли ужас; он бросился вслед за другими вон из палаты и грянулся в трапезной, как пласт о землю.

А на улицах огни, крик, шум, песни, пляски, народ гуляет, все на́веселе. И между тем посереди говора носятся страшные слухи, что король Петр ожил и разогнал всю свадьбу. Но редко на кого действует уже страх: народ любит догулять.

— Пей, брате, допивай королевское вино!

Гей, ладо, ладо-ле!
Гей, лельо, лельо-ле!

Гудцы гудят плясовую, а плясуны припевают:

Гей, дивно игралище,
Гей, дивно певалище!

И, схватив друг друга сзади за пояса, крутят, выкидывают ногами, притоптывают, порывисто и дружно выпадают вперед, дружно отскакивают.

Гей, лельо, лельо-ле!

Вдруг перед самым рассветом пронеслись по воздуху с восточной стороны огненные змейки и послышался за стенами города иной шум и гай.

Народ онемел от страху.

На стражнице вспыхнуло пламя, но уже поздно подало оно весть о предстоящей беде.

Ударил соборный колокол, но и он опоздал.

С воплями бегут жители от стен на площадь, а за ними конники на конях и сила многая Руси.

Глава седьмая

В двенадцати часах езды от Преславля, при стоке реки Малой Камы, и поныне ви́дно еще городище *Котел* — развалины древнего болгарского города. На вершине горы, из подножия которой бьет кипучим ключом вода, есть *нырище,* вроде провала под землю. Спустившись на несколько сажень глубины, вы очутитесь под обширными сводами. В какие времена человеческая рука образовала в этом подземелье две палаты — неизвестно, но стены украшены резцом и непонятными чертами. С правой стороны от входа бьет из стены фонтан, алмазная струя его падает в бездонный провал, находящийся под ни́м. Это подземный ключ Малой Камы.

В описываемое нами время подземелье, казалось, было обителью благочестивого отшельника. В калугерской одежде сидел он на ковре у самого нырища, сквозь которое проникал дневной свет. Перед ним стоял низенький стол — треножник, на столе лежала развернутая книга, тут же листы белого как полотно пергамента, медная чернильница с напитанным чернилами шелком, перья, кисти и бруски красок. То призадумывался он и про себя шептал: «Ой, долго их нет!» То, перекрестясь, принимался тщательно писать или, накладывая листы на золото, выводить кистью узоры. В передней палате заметны были все жилые удобства, но вторая, освещенная лампадой перед образом, отличалась некоторою роскошью и более похожа была на рабочую мудреца и вместе художника-ваятеля, нежели на приют отшельника. Тут на полках множество книг, несколько восковых бюстов и все принадлежности церопластики, или воскования. Стены были увешаны оружием и разной одеждой.

— Ага! идут! — сказал отшельник, послышав звук ро́га, и, прибрав предметы своих занятий, принялся за хозяйство: разостлал на стол шерстяную полость, положил обернутый в полотенце хлеб, поставил на блюдах копченую рыбу и свежий сыр.

— Гей, брате, Радован! лестницу! — раздался голос из провала под фонтаном.

— Ой пора, пора! заждался я вас! Думал, что и возврату вам не будет! — отвечал он, опуская доску с набивными ступенями в провал и утвердив ее в углублении, на каменный уступ.

— Не бойся, королевна, держись крепко за меня!

И с этими словами сильный, статный мужчина, по наружности средних лет, с черными, пылкими очами и с черными локонами, распавшимися по плечам из-под капы на саян болярский, выбежал по лестнице из пропасти. На руках его была Райна в венчальной своей одежде.

За ним следом вышли из провала два человека в черных хитонах и скуфьях, но под хитонами видны были мечи и буздованы.

— Здесь, светлая наша королевна Райна, ты безопасна от преследований врагов твоих,— сказал неизвестный, опуская Райну на лавку, крытую мягким ковром.

С содроганием Райна окинула взором освещенную лампадой палату.

— Скажите мне, кто вы, добрые люди или злые? Где я?

— Успокойся, Райна, нечего тебе нас страшиться, мы враги только твоих врагов, мы не тати и не мирские люди, не царствует уже грех в мертвенном теле нашем, мы отшельники от мира. Брате Радован, угощай светлую королевну, гостью нашу, чем бог послал, а мы сбросим с себя чужие перья.

Неизвестный вышел в другую палату, а старец Радован поставил подле Райны, на лавке, маленький круглый столик, накрыл белой скатертью, принес соты, молока, разных плодов, хлеба и сыру и радушно просил вкусить чего-нибудь.

Добрая наружность старца, а более лик Божьей Матери, перед которым горела лампада, успокоили Райну, но она отказалась от пищи. Ей представлялось все каким-то непостижимым сном. И невольно содрогнулась она, видя себя посереди неизвестных ей людей, бог ведает где.

— Ты меня не узнаешь теперь, Райна,— произнес знакомый уже ей голос, но вместо черноволосого, смуглого болярина явился перед ней старец в калугерской одежде.— Ты не узнаешь меня, Райна, а я тот же человек, который извлек тебя из волчьих челюстей и принес сюда на своих руках. Не удивляйся, королевна, все просто под небом, и нет чудес, кроме божиих. Неволя принудила меня быть не тем, что я есть. Все в жизни неволя, и нет воли, кроме божией.

— Ты принимаешь участие во мне, благочестивый старец, но скажи же мне, кто ты? Где я?

— Ты воззвала к богу и людям, да избавят тебя и царство от злодеев и убийц. Меня послал бог в орудие избавления твоего, а кого пошлет на избавление от них царства — не знаю. Здесь, в обители моей, Всевышний положил прибежище твое, Райна, у меня, светлая моя Райна, дитя мое! И я не нарадуюсь, что мне бог помог спасти тебя, близкую сердцу моему!..

— Кто ты? — произнесла Райна, всматриваясь в черты старца, который стоял перед Райной, сложив руки и умиленно смотря на нее прослезившимися очами.

— Не всматривайся, не признать тебе меня, ты меня никогда не видала, а я тебя видел еще на руках матери твоей и любовался так же, как теперь любуюсь! Посмотри сюда, вот младенец Райна на лоне королевы Марии... Узнаешь ли ты себя?..

Старец откинул дверцы ставня, висящего на стене.

— Боже великий! Это мать моя! — вскрикнула Райна и упала перед выпуклым восковым изображением королевны, держащей на руках прекрасного младенца — дочь.

— Дитя мое, доброе дитя! — вскричал радостно старец.— Ты узнала мать свою!.. Верно, похож образ ее!.. О, отрекся я от родных и кровных, хотел умереть заживо для всех и для всего, кроме молитвы и созерцания бога в природе и в душе моей, да не мог, не сладил с сердцем, Райна! Оно возмутило дух, вопило неумолкаемо: поди посмотри на сродников, счастливы ли они, не пригодится ли для них, кроме молитв о божьей помощи, и твоя человеческая помощь. Добрая моя, прелестная Райна! Сердце вещун, а бог подал мне способ избавить тебя от общих наших злодеев!..

— Скажи же мне, кто ты, добрый старец! Голос твой внушает веру в слова твои, благодарить тебя за участие твое могу только слезами!

— Кто я? Райна, я дал обет утаить от людей и существование свое, и имя. Зачем им знать и видеть того, кто уродился лишним на свет... для которого нет заготовленного угла на земле и места в сердце... Но от тебя, Райна, не утаю, перед тобою огонь сердца пожог облачение мое!.. Сродница моя! Племенни́ца моя! Обними Вояна, брата отца твоего!

— Вояна! — произнесла Райна с невольным содроганием.

— Вижу, испугалась ты этого имени,— сказал старец с горестным чувством,— и до тебя, верно, дошла недоб-

рая молва, что Воян, сын Симеонов, извык в художестве волшебства, вызывает мертвых из гроба, обаяет живых волхованиями... Да! Может быть, люди и правы, наука без веры родила суеверие: грешен я! Обида и во мне возрастала злом!.. И я питал месть!.. Не смею обнять тебя, чистую, непорочную сродницу мою!

И крупные слезы покатились из глаз Вояна, он не поднимал рук, чтоб принять в объятия Райну, которая бросилась к нему на шею.

— Да простит тебя бог в твоих прегрешениях, а я не судья брату отца моего,— сказала она.

— Племенни́ца моя! — произнес Воян, глубоко вздохнув.— Скажу тебе трудную повесть мою; да теперь не время: прими пищу, отдохни с миром. Покуда враги наши властвуют, покуда братья твои не воссядут на престоле отца, поживи в моем убежище, здесь ничто не нарушит ни скорби сердца твоего, ни молитвы к богу.

Воян вышел, задернув занавесом дверь. Говор в передней палате утих, и Райна, оставшись одна посереди тишины подземелья, погрузилась в тяжкую думу и не сводила очей с изображения матери.

— Это я! — повторяла она, заливаясь слезами и как будто завидуя счастию младенца, который, отвечая на нежный взор матери, радостно смотрел ей в глаза и, кажется, тянулся поцеловать ее.

И в памяти Райны оживало прошедшее, со всеми светлыми днями юности,— но все оживающее, все милые сердцу образы быстро проносились и как будто вызывали ее душу лететь за ними.

Она забылась, но тихий сон ее был прерван каким-то странным звуком, какими-то страшными голосами. Райна очнулась с содроганием. А перед ней стоит Неда и в полном чувстве радости целует ее руки.

— Теперь ты будешь спокойнее, Райна,— сказал Воян,— ты здесь не одна, посереди старцев отшельников: подруга твоя, Неда, с тобою.

— О, королевна, если б ты видела, что теперь делается в Преславе! Русь обложила город и, может быть, уже взяла,— сказала Неда.

— Боже мой, умилосердись над нами! — произнесла Райна.

— Чему бог помог, то сделано, а чему быть впереди — бог поможет,— сказал Воян.— Покуда прощай, Райна, я еду в Преслав, там совершаются судьбы господни.

— Королевна, это тот блаженный, которого я видела в храме! — сказала Неда, когда вышел Воян.

— Неда, это мой дядя, Воян,— отвечала Райна.

И она рассказала удивленной Неде, как он спас ее.

— О, если б ты знала, королевна, в каком ужасе была я, когда прибежала домой: нет тебя нигде! Ах, думаю, унес волк-комитопул агницу мою королевну!.. Вдруг слышу голос его, я и спряталась в сенях. «Где ж она?» — кричал он. «Не знаю, не знаю!» — отвечала Тулла̀. Тут только услышала я, как она застонала, а бешеный Самуил бросился вон. Слава богу, думала я, по крайней мере королевна не в руках у этого злодея, и побежала к Обреню, и ожила. Он обрадовал меня вестью о твоем спасении и тотчас же отправил меня к тебе, королевна. Мне одно счастье: быть с тобой.

Райна обняла Неду.

Глава восьмая

Святослав каким-то чудом явился нежданно под стенами столицы болгарской. Военные хитрости были известны и древним героям не менее, чем новым, а быстрота движений и внезапность составляли их отличительные свойства. Святослав же обозов с собой *не возяще, ни котла, ни мяс не варя.*

Комитопул Самуил, разбив сторожевой отряд Руси, отправился торжествовать победу в Преслав. Войско болгарское хотя и осталось на Дунае, но мало уже заботилось о неприятеле, а между тем Святослав не медлил. Узнав наутро, что стража его погибла, он вспыхнул местью и приказал старейшему своему воеводе Свенальду, не ожидая севших на мель кораблей, идти в Дунай, конницу переправить на болгарский берег и пустить малыми отрядами *по неготовым дорогам,* через горы и леса, к Преславу. Сам же, посадив на сто больших кораблей по осьмидесяти человек воинов пеших и по четыре лошади, пустился на парусах вслед за ветрами, тесной стаей и в отдалении от берегов, по пути к Царьграду. Не доезжая до приморского города Варны, во время ночи пристали корабли русские к берегу, высадили войско, и прежде нежели узнали в Преславе о появлении неприятеля со стороны моря, Святослав, путеводимый греческими проводниками, пробрался тай-

но к стенам столицы царства болгарского. Он предвидел, что главные силы болгарские на Дунае, остальное войско сторожит ущелья гор на границах греческих и Преслав без защиты. Только одно мщение за нападение на сторожевой отряд и желание выручить из плену любимца своего Огнемира побудили Святослава столь неожиданно напасть на Преслав.

Калеными стрелами повестил он городу о прибытии своем. Никто не успел еще опомниться ни от упоений празднества, ни от ужасу, внушенного рассказами о событиях в храме и во дворе королевском; а Русь вступила уже в город без сопротивления и крови.

— Полагайте оружие, сносите его под знамена Святославли, и будете здравы и невредимы! — раздавался русский клич по городу.

Владыко с болярами и старейшинами городскими встретил Святослава хлебом и солью на площади и молил помиловать город. Королевская дружина сложила оружие, а за нею явились и пленные Руссы, приведенные Самуилом в столицу для торжества победы.

— А король ваш где? — спросил Святослав владыку и боляр.

— Почил волею божию король Петр,— отвечал владыко.

— А воевода ваш где?

— Не ведаем! — отвечали ему.

— И он почил? Тяжко тебе, телу, без головы! — сказал Святослав.

Сопровождаемый чином и вельможами болгарскими, он вступил на королевский двор; охранная княжеская дружина рядами шла вперед и занимала все входы.

В воротах встретил Святослава ключник королевского двора Обрень.

Святослав поднялся на крыльцо, вступил в сени, в трапезную.

— О, да я помешал пиру великому! — сказал он, смотря на горящие повсюду светильники и браные столы вокруг стен.— А этот один за всех упился! — продолжал он, показав на комиса, простертого на земле.

Боляре с ужасом обступили комиса, а Святослав, сопровождаемый своими оруженосцами, продолжал идти далее к кованым золотым дверям престольной палаты. Обрень откинул червчатый занавес.

— Это что такое? — спросил Святослав.— Мертвый или живой король сидит на престоле с своей королевой?

— Это изваяние короля Петра и его дочери,— отвечал Обрень.

— Дочери? — повторил Святослав, подходя к восковым изображениям Петра и Райны во всем великолепии облачения царского.

Долго смотрел он безмолвно на лик Райны и, казалось, выжидал, чтоб она подняла на него поникшие взоры, приосененные густыми ресницами.

— О, велик художник,— сказал он наконец,— сотворивший чудный лик, которому нет подобного в творении богов!.. Дал он красоту, да не вдохнул жизни!

— Не уподобится вовеки творение земного художника творению небесного, который облек нашу светлую королевну Райну нерукотворною, неизобразимою красотою! — сказал Обрень.

— Сердце мое и хитрый ваятель сольстили образу королевны, как греческий художник сольстил образу матери моей и старость ее претворил в юность.

— Не видал ты, князь великий, королевны Райны! — отвечал Обрень с улыбкою затронутого самолюбия.— Не ведаешь красоты женской, как я не ведал величия и красоты мужа, покуда очи мои не удостоились видеть светлого твоего лица.

— Где же королевна? — спросил Святослав.— Здесь она или в Царьграде с братьями?

— Была здесь,— отвечал, смутясь, Обрень,— но теперь не знаю.

— Если была здесь, то и должна быть здесь,— сказал Святослав,— таиться ей от меня не для чего.

И он велел Огнемиру идти к королевне, кланяться ей от русского князя и просил, чтобы дозволили ему быть гостем своим.

Огнемир возвратился и сказал, что королевны нет ни в палатах, ни в городе.

— Дочь короля Петра здесь, но утаилась от меня,— сказал Святослав болярам болгарским.— Из города выйти она не могла: вам должно быть известно ее убежище; скажите ей, что не тать и не кровавые мужи со мною, не с слабыми изведывать силы пришел я и не с женами сладости, не убогих привел исхитить ваше богатство, не голодных кормить на вашей земле, не бесприютных жить под вашим кровом. Пришел я ре-

шить вашу распрю с Греками. Скажите королевне, чтоб она возвратилась к престолу отца своего.

— Бог свидетель правоты слов наших, да замкнет навеки уста наши, если изглаголем ложь! Не ведаем, где королевна,— отвечал владыко.

Боляре повторили слова его.

— Идите же и ищите свою королевну,— произнес грозно Святослав,— или дружина моя найдет ее и приведет как продажную пленницу.

Боляре вышли с поникшими головами, а Святослав, утомленный от трудов ратных, сложил с себя бранные доспехи. Добрыня как друг его был с ним неразлучен, ему поверял Святослав все свои помыслы, но теперь он желал никого не видеть, никого не слышать, не знать ничьих дум и свои таить от всех: ему хотелось быть самому с собою.

Добрыню он отправил с отрядом навстречу коннице, идущей к Преславу от Дуная.

Мрачно ходил Святослав по палатам, смотрел в окна на Преслав, на цветущую, веселую природу, его окружающую, и как будто завидовал, что не здесь провел он юность, терял время на безумном разгуле по степям, на бойне людской и, остря меч, тупил душу свою. Проникнутый какой-то скукой, смотрел он на все украшения дворца, входил и в престольную палату, смотрел в образ Райны и уходил мрачен, как будто пробуждаясь от сна, в котором чудились ему невоплощаемые призраки.

Примчался гонец с известием, что великая сила Болгар идет к Преславу.

— Пусть идут и сложат головы у стен столицы моей! — отвечал Святослав.

Поиски королевны были напрасны. Убежденный, что она скрывается в Преславе, Святослав, казалось, готов был на последнее средство — срыть город до основания, чтоб найти ее, но гнев превозмог в нем все прочие чувства.

— Хотят обаять меня! — вдруг вскричал он и, схватив меч, исступленно бросился в престольную палату. Перед ним живая Райна: очаровала, вызвала на мщение за равнодушие свое, а не поднимает очей, не вздрогнет от ужасу, не просит о пощаде. И король Петр, устремив неподвижные глаза на исступленного князя, безмолвно смотрит. А Святослав стоит как изваянный убийца над трупом своей жертвы и, кажется, думает: это что за бездыханный враг передо мною? Ни

дух, ни существо, а воплотилась в чужой душе и живет в ней как живая!..

Окинув взорами вокруг себя, как будто боясь присутствия живого человека, Святослав вышел из престольной палаты, потребовал коня, велел Огнемиру стеречь Преслав, а сам пустился с дружиной в чистое поле искать боя; разбил комитопула Самуила, собравшего войско, прошел тучей по поморью Болгарии и по Дунаю, одождил калеными стрелами и камнями города. Душа его снова удовлетворилась бы победой и славой: но победы его были так легки, что он чувствовал от них только утомление. Приказав Свенальду сосредоточить и устроить морские силы в Доростоле, он возвратился в Преслав, чтоб отсюда начать покорение нагорной части Болгарии.

— Где ж королевна ваша? — спросил он равнодушно у боляр.— Скажите же ей, что меч мой поест, а гроза спалит царство ее отца.

В тот же день донесли Святославу, что какой-то чернец-богомолец просит дозволения поклониться великому князю от неизреченно-светлого лица.

«От матери моей»,— подумал Святослав и велел допустить к себе старца.

В черном хитоне вошел седой старец и низко поклонился князю.

— Великий князь Святослав,— сказал он, окинув очами людей княжеских,— я не с злым умыслом пришел к тебе, а с добрым поклоном, с миром и любовью. И я, и слово мое безопасны для тебя.

Святослав окинул взором добрую наружность старца и велел выйти людям своим.

— Князь Святослав,— продолжал старец,— я к тебе послом от нашей королевны Райны, дочери блаженной памяти короля Петра...

— Не от изваянного ли ее образа? — спросил Святослав с грозной улыбкой.

— Велела королевна кланяться тебе,— продолжал старец,— и спросить, что сделала тебе, русскому князю, Болгария? За что возложил ты на нее руку гнева своего, напряг лук свой и поставил ее знамением на стреляние? За что насыпал горестью и напоил желчью? Не в меру ли было ей борьбы с державой Римской за независимость свою? А ты, княже, во чье имя воюешь, за какие вины отверз уста и хочешь поглотить царство наше?

— Так говорит Райна, королевна болгарская? Умна ваша королевна,— сказал Святослав с усмешкой,— а который ей год от роду?

— Во цвете она первой юности, а оскудели очи ее в слезах, смутилось сердце, изливается душа, да не на лоно матери! Нет у ней матери, светлого отца ее извел хищный зверь, воскормленный у престола, братьев ее Никифор держит в плену и хочет за выкуп взять нашу волю и вложить узду в челюсти наши!..

— Где ж королевна? — спросил Святослав, тронутый словами старца.

— Скрывается от врагов своих в пустынной обители,— отвечал он.

— Пусть возвратится в отчую обитель, я не враг женам.

— Не от тебя, князь великий, оставила она отеческую кровлю, не от тебя и таится, но от злодеев роду своего.

— Теперь безбоязненно может она вступить в дом родительский.

— Чужд он стал ей, она дева и только под кров братий может возвратиться.

— Лукавое извергают уста твои! — сказал Святослав, вспыхнув снова гневом.

—Да хранит тебя бог на правом пути твоем, князь великий,— отвечал старец,— да изженет верою безверие твое! Воля твоя стать за правое дело или за лукавое: отдать наследие короля Петра сыну его старейшему или врагам нашим, Грекам; владей лучше сам.

— Не алчет душа моя чужого престола, а рука не отнимет,— отвечал Святослав.— Сын Петра сядет на отчем златом столе, а Болгария какую носила дань Грекам, такую и будет носить по старине, а мне дани вашей не нужно.

— Не было у нас, князь великий, такой невольной старины и постыдного обычая, не платила Болгария дани Грекам и даров не носила, а принимала дани и дары от них. Все Загорье до Железняка было наше. Греки искали родства с нами, дочь кесаря Христофора была за королем Петром, да, верно, наступило последнее наше время, изнурил нас голод, прузи посевы наши истощили, а Греки-грачи хотели исклевать наши тела, да еще не мертвы мы были. Знали они, что мы изгоним за море хищную стаю их, и призвали тебя, князь великий, воевать нашу землю. Потемнело наше золото,

изменилось серебро наше доброе, рассыпались камни святыни, достояние наше обратилось к чуждым, домы к иноплеменникам, отпала красота с ланит дев, как овны без пажити, идем мы перед лицом гонящих нас!

— Старец! — сказал умиленный Святослав.— Дай мне время на думу и на веру. Правде слов твоих воздам правдою дел. Когда сын Петра приедет в Преслав, тогда предстань перед лицо королевича с поклоном от сестры его.

— И помыслы, и дела твои благи, князь великий! — отвечал старец и, радостный, вышел от него. Смиренным чернецом пробрался он за город; в лесу, за стражницею, ожидал его спутник — калугер с заводным конем. Они пустились по дороге к городищу Котлу. К вечеру приехали они к вершине Стрый-реки, своротили в гору лесом, спустились в крутой овраг, пробрались сквозь чащу, под навес скалы и скрылись во мраке пещеры, из которой катилась и журчала по каменистому лону алмазная струя источника.

Кони, верно, знали путь под сводами подземелья, бодро шли они, углубляясь в преисподний мрак. Наконец вдали показался слабый свет, и путники выехали в настоящий котел среди гор; стенами этого котла были обрывистые скалы, осененные лесом.
и поднялись на лужайку. Тихо заржали кони. Им ото-
Путники пробрались сквозь одно из ущелий в скале звались товарищи под глухим навесом вековых дерев. Путники привязали своих к прочим и возвратились в ущелье. Здесь также струйка пробиралась между камнями из пещеры. Они вошли в пещеру, и вскоре под землей послышался глухой звук рога.

Глава девятая

Теперь мы должны обратиться к Райне. Вы помните то время, когда Воян привез ее в подземелье и снова уехал в Преслав, проведать, что там делается. Подъезжая к городу, он заплакал плачем Иеремии о Сионе. От друга своего Обреня узнал он подробности о взятии города и о смерти комиса.

— О, недаром же изваял я лик Петра, чтоб убийца смотрел на него и казнился им! — сказал Воян.

Но когда Обрень рассказал ему, что князю русскому полюбился лик королевны Райны и что он велел искать

ее повсюду, Воян содрогнулся за участь Райны. Он знал нравы и обычаи северных героев и разгульную их жизнь.

— Боже, боже,— вскричал он,— из одного корня возрастает добро и зло! Да нет, не достанется племянница моя в руки насильнику и женолюбцу. Брат Обрень, едем со мною, боюсь я, он не поверит, чтоб кто-нибудь из боляр дворовых не знал, где королевна, и будет пытать.

— Что ж, друг, кто пытает, тот и убивает: свою жизнь отдам я на муки и смерть, а ничьей чужой на поругание насильникам не выдам.

— Э, брате, за что упрекнул ты меня! — сказал Воян.— Усумнился ли я в тебе, я ли не верю, что твоей благочестивой душе лучше быть у бога, чем в теле, да, может быть, пригодится она еще добрым людям, а мне дорогà, без тебя оскудеют и мои силы!

Обрень убедился чувствами дружбы Вояна и решился ехать с ним. Но из города выезд был уже воспрещен.

— Есть выход! — сказал Обрень.— Не прочны, верно, убежища и ограды людей, что они кроме торжественных ворот заготовляют на случай собачью лазейку!

Когда настал вечер, он провел Вояна в одну из башен дворовых; они спустились по лестнице в испод башни. Один из диких камней основания был устроен на оси, при небольшом усилии Обрень повернул его и открыл подземный ход. Темно уже было, когда Воян и Обрень добрались до выхода в скалистом утесе горы вне города и выбрались на дорогу к Котлу.

Райна с чувством радостным встретила Обреня, верного друга и слугу отца своего. Старик прослезился, безмолвно целуя руку королевны, и Райна прослезилась. Уста немы, а душа высказывает свои печали. В продолжение двух недель Воян боялся выйти на белый свет и никого из братий не выпускал из подземелья. Время проходило однообразно.

— Здесь, светлая моя Райна, ты мне радостней света, покуда покажет бог надежный исход из беды, здесь изноет сердце мое, если ты углубишься в думы об этом свете. Здесь, в тихой обители, есть тихое прибежище и мыслям, питай их святой пищей, чтоб не разлетелись как птенцы от души-матери своей искать пропитания на воле и не измерли от голоду и жажды.

По совету Вояна Райна внимательно слушала Святое Писание, которое читал вслух Обрень, и душа ее спо-

коилась. Сам Воян, также слушая чтение, занимался любимым своим занятием — священной живописью.

— Райна,— сказал он однажды,— теперь горе поутихло в тебе, выслушай трудную повесть мою.

Исповедь облегчает душу от горьких воспоминаний. Райна села подле него, и он начал:

— Первая жена краля Симеона была пленница, говорят, будто Мадьярка, дочь одного вельможи угорского,— наверное не знаю, я знаю только, что она была язычница и как ни любила короля, но креститься не хотела. Когда родился сын у короля Симеона — а этот сын я,— он умолял мать мою принять святое крещение; да она стояла на своем. «Знай же, что ты не венчаешься со мною на царство и сын язычницы не будет моим наследником»,— сказал Симеон в гневе своем и сдержал слово. Вскоре мать мою вместе со мною заключили в монастырь, а король женился на мнимой сестре одного греческого выходца — Георгия Сурсувула, из Армян. Когда от нее родился сын Петр, твой отец, Райна, король на радости пожаловал Георгия в сан комиса... Возмущается душа моя при воспоминании всех зол, которые причинил этот честолюбец всему роду царскому и всей Болгарии! Уловив в сети свои душу короля, хитро ловил он и души людей, окружавших его, и сеял семя раздора между отцом твоим и его братьями.

До семи лет рос я при матери в монастыре; с молоком всасывал желчь злобы ее против Симеона, с колыбели слышал одну песню: «Расти, расти, материнские слезы на злодее вымести!» Когда наступил отроческий возраст мой, меня разлучили с матерью: король указал отдать меня в науку в другой монастырь. Тут только проникло в мою душу отчаяние матери, и из ее горьких слов понял я, кто ее злодей. Она не перенесла разлуки со мною и вскоре умерла, а я жил с иноком, моим учителем, и возлюбил науку, как мать свою. Учитель мой был художеством иконописец и ваятель. Скоро перенял я его художество и превзошел учителя. У другого изучался я музыке и пению. Тут подружился я с Обренем, племянником настоятеля. Святое Писание смирило бы душу мою, и сердце мое предоставило бы богу вымещать Симеону обиду матери и отвержения меня от наследия, но, на гибель души моей, в книгохранилище учителя моего была плевела посереди пшеницы, писания отреченные, книги мудрствований, отводящих от бога:

Чаровник, Коледник, Путник, научающих ковам еретическим, и *Двенадесять звезд,* на пагубу безумным, верующим в волхования, призывающим бесов на помощь и ищущим дни рождения своего, санов получения, урока житию и различных напастей и смертей. Из этих книг почерпнул я много таинств природы, но наука, не управляемая верою в создавшего все во благое, есть демонское орудие, нож в руках злодея, сила в мышцах насильника.

Стали меня готовить к искусу на пострижение, но не монашество лежало у меня на сердце. Я бежал и стал обаять и мутить народ недобрыми предвещаниями. Разгневанный Симеон велел поймать меня и заключить в темницу; я принужден был оставить Болгарию и удалиться в Царьград, который давно хотелось мне видеть. Можно ли было найти в целом мире лучше этого поприща для игры необузданных страстей! Вот он, царь земных городов, думал я, пробираясь сквозь толпы народа, который, казалось мне, сошелся со всех пределов мира на годичное торжество. «Что за праздник сегодня, почему открыты все ворота и храмы и народ так безумно гуляет по стогнам?» — спросил я у одного проходящего. «Э, ты, верно, новый человек здесь,— отвечал он, посмотрев на меня,— сегодня большой праздник! Пойдем, пойдем в мой приход!» И взяв за руку, он повел меня на лестницу одного великолепного здания. С трудом пробрались мы сквозь толпу входящего и выходящего народа. В обширных покоях шумно пировали гости вокруг столов. «Малец! Пищи и питья!» — вскричал он, усадив меня у стола. Нам тотчас подали вина и разных вкусных блюд. Покуда я смотрел с удивлением на все окружающее меня, товарищ мой ел и хвалил вино и брашна. «Какой же праздник сегодня?» — спросил я его наконец. «Как какой? Протасиев день».— «Так что ж такое?» — «Как что, помилуй! Приходский праздник! Ведь мы в приходе Всех Святых! Ну, с праздником! — сказал он, допивая вино и вставая с места.— Так расплатись же, господин, с хозяином, здесь уж такой обычай, все вскладку: я даю праздник, а ты деньги».

И он оставил меня расплачиваться с содержателем гостиницы.

Этому опыту достаточно было для меня, чтоб понять жизнь цареградскую, но молодость увлекла меня, я понял только, что есть условия жизни, кроме тех, к кото-

рым я привык на родине, что можно жить на счет других, что умный обман и умная подлость пользуются иногда всеми преимуществами жизни добродетельной.

Преданный страстно искусству, я не оставил его, видел все лучшие произведения искусств, скоро сам приобрел известность, но все это так слилось с развратом души, что не знаю, выкупил ли я чистоту ее сорокалетним покаянием.

Я свел знакомство с разгульной молодежью *эвномии* цареградской. Тут мог бы я видеть, как подают пример попирать законы те, которые должны исвящать их своим поведением, но в пылу разгула я часто тешился вместе с ними в промышленную игру, каким образом законным порядком правого обвинять, виновного оправдать.

Надо тебе сказать, что года за четыре до моего прибытия в Царьград дед твой Симеон, предав огню и мечу Македонию и Фракию, стал уже станом близ Влахерны. Патриарх и вельможи вышли с дарами просить о мире и пощаде города. Но он требовал, чтоб сам император явился к нему как к победителю и сам просил его о мире. Роман должен был покориться необходимости. Можешь судить, до какого унижения дошел новый Рим под великолепием одежд своих. Весь двор и дружина императорская в торжественном облачении сопровождали Романа в стан Симеонов, и народ смотрел с оград цареградских, как поклонялись перед варваром знамена греческие и как легионы, ударяя в золотые, серебряные и медные щиты, возглашали его царем. Не было уже людей, которые бы чувствовали и понимали это унижение. В Царьграде были промышленники, облаченные в сан вельмож, промышленники, облаченные в блестящее оружие, но не было ни истинных вельмож, ни воинов. Торговцам ли было думать о чести и славе общей, а не о собственной выгоде? Им ли было вымерять пальмой и взвешивать на весах ум и душу человеческую?

Когда узнали, что Симеон снова поднимается войной на Царьград, злоумышленники возмутили народ, распустив слухи, что таинственные надписи на подножии мраморного всадника, стоящего на площади Таврической, предвещают последние времена греческого царства и что придет великан и в прах разорит Царьград.

Эта статуя, привезенная из Антиохии, просто было изображение Беллерофона, поражающего химеру, по

подобию человека, в образе зверином, поборника древнего змия. Но невежественный народ верит скорее недобрым слухам. Толпы стекались на Таврическую площадь смотреть с ужасом на статую. Напрасно явились новые толкователи и уверяли всех, что хотя по словам, начертанным на подножии, и придет какой-то великан разорять греческое царство, но по другой надписи, находящейся на копыте коня, до этого не допустит лежащий под стопами коня человек в странной одежде.

Симеон в самом деле вступил уже в Загорье и разбил сторожевое войско союзников греческих, Сербов.

Народ впал в совершенное уныние.

Посереди этих смут пришел ко мне Домн Мартин, один из приятелей моих эвномитов.

«У тебя,— говорит,— есть образ болгарского короля Симеона: изваяй его в большом размере».— «Зачем?» — «Нужно, после скажу, возьми что хочешь». Мне нужны были деньги, и я изваял в колоссальном размере лик отца моего... «Смотри же,— сказал он, взяв от меня изваяние,— это тайна, никому ни слова, а то будет плохо».

Тут Воян остановился и вздохнул.

— Ты слышала, Райна,— продолжал он,— про событие, случившееся в Царьграде, перед смертью короля Симеона.

— Ах, слышала про это чудо! — отвечала Райна.

— Ну, слушай же дальше, как делаются такие чудеса. Когда до меня дошли слухи, что Беллерофон обратился в образ Симеона, я не понял, с какою целью это было сделано, но, прибежав на площадь и узнав, как неизвестный человек сотворил чудо, срубил мнимую мраморную голову и сжег ее на костре, я понял, в чем дело. Невольно содрогнулся я, вспомнив чары чернокнижия, каким образом извести врага своего, заочно отпев и истерзав на части изваянный из воску его лик.

Ввечеру Домн Мартин пришел ко мне, чтоб вместе идти в Ксенозохию.

«Знаешь теперь,— спросил он, улыбаясь,— какое употребление сделал я с головой Симеона?» — «Знаю,— отвечал я,— недурен отвод».— «Что ж делать: надо как-нибудь восстановлять спокойствие и дух народа. Панический страх обаял весь город, надо было чем-нибудь помогать. Посмотри теперь, все ожили: откуда взялась в войске храбрость, заходили молодцами, каждый готов

вызывать Симеона на рукопашный бой! Вот что значит, любезный друг, сердце человеческое!»

Безумно гуляли мы на счет сердца человеческого, когда дошла до меня весть, что Симеон умер именно в тот день и час, когда голова его, изваянная мною из воску, растаяла на костре посереди площади Таврической... О, Райна, Райна! Страшно подействовал на совесть мою этот случай. Почернело белое лицо мое, развились и побелели черные кудри мои, опали с меня листья юности моей! Я был союзником демонов, убивших отца моего!.. Совесть стала пытать душу, я бежал из Царьграда и искал уединенного приюта в темных ущельях гор моей родины. В народе носилось давнее поверье, что эта пещера челюсти смерти, и все со страхом обходили ее. Я решился войти и нашел верный приют отшельничества от света. Издавна тут жила уже братия благочестивых втайне от людей и принимала в сожительство только тех, которых и стены монашеские не могли скрыть от гонения и злобы людской. Я упрекал тень матери, что она напела мне месть родному отцу; волею или неволею я был орудием мести, и в сорок лет пустынной жизни не умолил еще бога, чтоб омыл меня от греха и убелил душу мою! Не слова, а дела выкупают душу: в молитве о себе я забыл всех ближних моих, не помыслил о том, что, может быть, совет мой нужен им во благо, а рука в защиту, что еще в силах был бы я стоять на страже у брата Петра, против сетей комиса, врага всему нашему роду. Злодейство свое сложил он на покойного брата Иована, да послал же меня бог принять истину из уст раскаявшегося грешника, исполнителя злой воли комиса.

Ввечеру, перед тем как печальный звон огласил Преславу смерть Петра, пришла мне мысль узнать, что делается там с ближними и кровными моими, и навестить Обреня. Хотелось мне и на тебя порадоваться, Райна. В царские праздники ты сама раздавала помощь бедным. Однажды я стоял на паперти храма в ряду нищих и болящих. Рука твоя, Райна, племянница моя, подала и мне милостыню... Припомнишь ли ты старца... всех ты оделила по сребренику, а ему дала два?

— О, добрый сродник мой,— отвечала Райна,— теперь понимаю я, отчего знакомы мне черты твои! Помню смирение твое, мне казалось, грешно сравнять тебя с теми, которые готовы были вместе с милостынею оторвать благотворящую руку.

Воян отер слезу и продолжал:

— Так вот, я оседлал коня, проехал Котел, вдруг слышу стон; смотрю, у самого входа в пещеру лежит человек, прислоня голову к камню; в одной руке закостенел меч, другая была отрублена, и кровь била из нее как из ключа.

«Что с тобой, брате?» — спросил я, соскочив с коня и подходя к нему. «Кто это? Человек?» — произнес он, приподняв на меня мутные свои очи. «Человек»,— отвечал я и хотел перевязать ему руку. «Постой! — вскрикнул он, судорожно отдернув отсеченную руку.— Люди обманули меня, сказали, что тут ход в преисподнюю... хотел я сам снести туда душу свою, да вышел опять на свет божий...»

И голос его иссяк, глаза закрылись снова.

«Кто ж тебе отсек руку, брате?» — спросил я. «Кто?..— отвечал он с усилием.— Отсеки руку, соблазняющую тебя... говорят... а моя рука злое орудие... Я отсек ее!.. О, обманул меня проклятый оружник комиса! Не нанимался я проливать крови короля Петра...»

— О, какая страшная встреча! — произнесла Райна, и слезы брызнули из глаз ее.

— Да, Райна,— продолжал Воян,— не скрылись не только от бога, но и от людей злодеяния комиса. Я хотел спасти жизнь убийцы, чтоб уличить злодея, но он истек кровью. Я торопился в Преслав, думал объявить народу на соборе о злодеяниях комиса, но дьявол хитрее человека, по его слову народ побил бы меня камнями, и погибли бы втуне мои печали о тебе. Я молчал и сторожил только над твоею участью, предоставив все прочее на волю божию! О, если б ты видела, как я исстрадался в ту ночь, когда Неда сказала мне, что ты отказалась от бегства и решилась отдать себя в жертву комитопулу. Я стоял в храме как исступленный, и — знаешь ли что? — если б ты подала ему руку свою... Я бы убил его!.. Но ты, как голубица, вырвалась из когтей ястреба, воззвала к народу, да тут не было народа: тут, кроме меня, были все рабы комиса... Голос твой отозвался только в моей груди!.. Бог помог мне воспользоваться общей суматохой и спасти тебя... Обними же теперь меня, племенница моя!

Райна бросилась в объятия Вояна.

— Сделай же мне еще милость,— сказала она,— я хочу посвятить себя на службу богу.

— Постой, Райна, не обрекай себя посту и молитве. Ты едва только вступила на путь жизни, а пути божии неисповедимы. У тебя еще есть братья, и не чужда судьба твоя всему царству. Кто знает, кроме бога, не соединена ли она с судьбой Болгарии: и ты не цвет польный и не просто крин благоуханный.

Райна молчала, склонив печально голову.

— Завтра я поеду в Преслав, Райна,— сказал Воян.

— О, что там делается! — проговорила она.

— Что делается? Совершаются судьбы божии,— отвечал Воян тихо.

Глава десятая

Поручив Райну заботам Обреня, Воян решился наконец ехать в Преслав. Тут он узнал, что рати, предводимые комитопулами, разбиты наголову и что все города сдаются на щит грозному, но милостивому Святославу.

Воян хотел видеть Святослава лично. Молва о его великодушии пронеслась по всей Болгарии. Никто не смел противиться грозе меча его, но и никто не жаловался на насилия и грабежи.

Полагаясь на доблесть души князя, Воян решился предстать ему от имени королевны.

Нам известен уже разговор его с ним. Воян был очарован великодушием и красотою князя. Веря обещанию, что он не лишит наследников Петра их достояния, престола, Воян возвратился в подземелье и скрыл от Райны свидание свое с русским князем. Только Обреню доверил он радостные свои надежды и поручил отправиться в Преслав и ожидать приезда Бориса из Царьграда.

По обычаю, принялся он за работу, но не за кисть, а за ваяние.

В продолжение нескольких дней сряду неутомимо и с какою-то любовию трудился он над изображением прекрасного, мужественного лица.

Когда черты обозначились уже явственно, Райна обратила невольное внимание на его работу.

— Чей это лик, Воян? — спросила она его.

— Увидишь, Райна,— отвечал он.

Внимательнее стала всматриваться Райна в изображение и часто, оставляя книгу, задумчиво любовалась на прекрасное произведение художника.

— Скажи мне, Воян, это образ живого человека или ты создал его по мысли своей?

— О, это живой человек,— отвечал Воян,— по мысли не создашь подобного.

— Воян, зачем ты это делаешь? — спросила Райна тихим голосом.

Воян так углублен был в работу, что не слыхал вопроса Райны.

— Друг он или враг твой? — спросила она опять.

— Враг, Райна, враг! — отвечал Воян отрывисто и невнимательно. Райна содрогнулась: ей пришла на мысль исповедь Вояна, цареградское событие и смерть короля Симеона.

И Райна с жалостью смотрела на образ неизвестного; Райне казалось, что Воян похищает чью-то живую душу.

Вот на плечах изображенного героя явилась багряница, под багряницей броня; кисть накинула на все черты цвет жизни, в голубых очах отразился свет, уста разрумянились.

— О боже, боже, кого он изобразил! На этом лике нет вражды и коварства, на челе величие, в очах светлая душа!

И сон Райны был тревожен: изваянный лик превратился в живого человека; она трепещет за жизнь его, хочет сказать ему, чтоб он опасался Вояна и острого его резца, но тут Воян: Райна не смеет произнести слова, старается объяснить витязю знаками, что его убьют, чтоб он шел за нею, что ей известен выход из подземелья, но витязь как будто повторяет собственные ее слова: «Нет, я не бегу, пусть убьют меня!» Вот Воян уже заносит резец — Райна вздрагивает и пробуждается.

Настал день, Воян принялся за окончательную работу. Он вглядывается пристально в образ витязя, поверяет сходство с памятью.

— Воян, для чего тебе это изображение? — спрашивает Райна боязливо.

— Погоди, погоди! — прошептал Воян вместо ответа, окинув недовольным взором работу и бросив кисть, порывисто схватил резец.

— Воян! — вскричала Райна, удерживая невольным движением его руку.

— Что с тобой, Райна? — спросил удивленный Воян.

— Не убивай его! — проговорила Райна умоляющим голосом.

— Понятна мне боязнь твоя, Райна,— сказал Воян, горько улыбнувшись.— Суеверие быстро заражает людей! Знаешь ли, чей это лик, Райна? Это лик врага нашего.

— Все равно,— произнесла Райна.

— Не бойся, племенница моя! Хоть это лик врага нашего, однако ж не для того изобразил я это величие и красоту, чтоб в безумном суеверии сокрушить свой труд. Нет, я хотел только сохранить в память себе и людям лик добросанного князя Святослава.

— Святослава! — произнесла с удивлением Райна.

— Может быть, из врага преобразится он в союзника и братья твои поставят этот лик в престольной палате.

— Сбудется ли это? — сказала Райна, смотря задумчиво на изваяние.— Так ли отражается в глазах его великодушие, как ты изобразил? В самом ли деле так чуден образ его?

— Чуден образ его,— отвечал Воян,— в женах нет тебе подобной, а в мужах ему равного.

По ланитам Райны пробежал огонь, на взор опустились густые черные ресницы. Она молчала, едва переводя дыхание, смотрела на образ Святослава. Горячи ее думки, жарки мысли Райны.

А между тем Святослав мирится в душе с Болгарией.

Приехал к нему от греческого императора калокир поздравлять с победой, утвердить любовь между Греками и Русью, положить ряд о разделе Болгарии и писать речи на хартию... Никифор назначил калокира правителем той части Болгарии, которая достанется по договору Грекам.

— Ступай к царю своему,— отвечал Святослав,— скажи ему, что чужого наследия не поделю с ним. Пусть шлет с честью в Преслав сына Петрова, Бориса, и будет он нам обоим не противник, а друг и союзник. Никифор не мог противиться требованиям Святослава. Он не имел ни сил, ни средств, ни желания ополчиться на внешнего врага: его внимание было устремлено на личного врага, которого он видел в военачальнике Цимисхии.

Победы Цимисхия в Азии над Сарацинами прославлялись народом, имя его гремело в песнях, и стало страшно Никифору, который припоминал, что подобная же слава и победы над Сарацинами открыли и ему путь

к престолу, видел охлаждение к себе народа и что-то недоброе в безмолвной покорности всех окружающих: счастье Никифора было на исходе.

В этом положении дел желание Святослава было исполнено беспрекословно: Борис с братом своим с честью был отпущен из Царьграда. Боляре и народ встретили его на крайнах царства, а дружина несла на щите к Преславу, где ожидали его русский князь и все священство.

Пораженный сходством Бориса с изображением сестры его, Райны, Святослав крепко обнял его как брата и как хозяина ввел в палаты королевские.

— Теперь я твой гость, Борис,— начал он, переступая порог престольной палаты, но слова его замерли на устах. Лик королевны Райны снова сидит на престольце. Вот он ожил и с криком: «Брат мой!» — бежит навстречу Борису и бросается в его объятия.

— Князь великий, Святослав,— кто-то говорит Святославу,— ты сдержал слово свое, и королевна сдержала свое.— Но он ничего не слышит; в первый раз в жизни он счастлив и начинает чувствовать в себе полноту жизни.

— Брат Борис,— сказал он наконец,— пусть и сестра твоя, королевна, меня не чужим называет.

— Райна, это благодетель наш! — сказал Борис, лобзая его лобзанием сердца.— Как меня, брата твоего, люби его больше всех.

Райна взглянула на Святослава и вся сгорела. Красота ее как будто сбросила вдруг печальные одежды и явилась во всем блеске очарования.

Ни одна победа не празднуется так искренно и радостно, как подвиг великодушия.

Народ со всей Болгарии стекался в Преслав на великий праздник, на благодатную погоду после бури. Взоры всех слезились от радости, и на народе, как на облаке, отражалась радуга мира, знамение завета между Русью и Болгарией.

Когда в день коронования Бориса дружина русская села за браные столы, поставленные на оболонье преславском, и грянула мечами в кованые щиты во славу короля Бориса и гостя его, великого князя русского, Святослава, одушевленный благостию мира, возгласил любимое слово своей матери: *Братья! Раскуем мечи на орала, а копья на серпы!* Не на кровавом мы поле, не на костях вражьих пируем, не тризну правим!

— Раскуем! — крикнула дружина, и все сложили с себя оружие, возгласили славу союзникам. Пир общий закипел весельем.

— Скину же и я духовное вооружение мое против радостей мира,— сказал Воян,— скину, покуда гощу у вас, и разделю с вами радости мира.

В цвете лет и мужества взор Святослава горел юношеским огнем посереди семьи королевской.

Рано хотела Ольга обуздать пылкий его нрав брачными узами, но для изневоленного сердца они казались тяжкими оковами: и сердце искало воли посереди удалых забав и мира посереди брани. Княгиня Святославова умерла, он был свободен, но душа его привыкла уже к подвигам, к кочевой военной жизни и к славе побед. Врагов Святослав любил более, нежели друзей и боевой встрече с ними радовался более, нежели победе. Победа давала мир, а он боялся мира.

В Переславе только почувствовал он мир в самом себе и, как будто боясь, чтоб он не нарушился чем-нибудь, желал иметь верный залог этого мира.

Кто, кроме судьбы, мог бы противиться горячему его желанию?

Едва Святослав задумал о чем-то, посереди торжеств и пиров, вдруг явился к нему гонец из Руси с вестию, что великие силы Печенегов грозят Киеву и что великая княгиня Ольга больна, при смерти, и молит сына принять душу матери и похоронить тело. Вслед за гонцом явились и старейшины киевские.

— Княже,— сказали они,— встужились мы по тебе! Чужой земли ищешь ты, а от своей отчуждался! Без щита твоего и матерь твою, и детей твоих пленили было Печенеги. Или не пойдешь оборонять нас, или не жаль тебе ни отчины своей, ни близких своих не жаль!

Горьки были Святославу эти вести, горек упрек, горька и разлука с Преславом. Но он не медлил, не задумался — сел на коней с дружиною своею и скоком, летом примчался к Киеву, обнял престарелую мать и детей, собрал войско, загнал Печенегов в далекие степи.

— Сын мой возлюбленный,— сказала Ольга,— теперь ты со мною, и не отпущу я тебя от одра моего до конца дней моих. Довольно уже прославился ты путями ратными и победами; теперь взыщи мира и правды, помысли о уставе земском, устрой царство твое крепкое, державное и честное. Не полагайся ни на посадников,

ни на бирючей, сотвори сам наряд в дому твоем. Раскуй мечи на орала, а копья на серпы: оружием не проложишь пути к небу. Будь людям твоим в сень от зною и в покров от хлада, утешь и упокой конечные дни мои!

— Мать моя возлюбленная,— отвечал Святослав,— вкусившему сладкое горькое не по̀ сердцу. Видел я красные земли дунайские, похвалю ли русские пустыни? Не мил мне Киев, хочу жить на Дунае. Там будет среда земли моей, где сходятся вся благая. Сына Ярополка посажу я в Киеве, Олега в Древлянах, а сам иду на Дунай!

Ольга знала причины, которые влекли Святослава на Дунай. Добрыня открыл ей тайну. От Добрыни, который до того уверен был, что после смерти Ольги сестра его Милица будет великой княгиней, не скрылись думы Святослава, нарушившие его надежды. Со вздохом глубоким сказал он Ольге: «Благоверная госпожа моя, изгубили светлого сына твоего, нашего великого князя Святослава, злые ковы и замыслы болгарские: не взяли они его силой, взяли хитростью. Размирят с Греками и будут держать вместо щита против врагов своих. Шел он воевать Болгарию, а воротился поборником ее, там покинул он всю дружину свою в ограду чужого царства».

Ольга пришла в ужас, узнав, что сын ее готов нарушить мир с Греками. Она хотела узнать, что обольстило Святослава в Болгарии.

— Смею ли тебе открыть, княгиня, госпожа моя, тайну сына твоего! — говорил ей Добрыня.— Распутная сестра королевича болгарского увилась змеей около сердца Святославова, ослепила ум его и поборола силу, мастит ланиты румянцем, облекается в лепоту риз и в златые *обложения,* хитра, как плетения влас своих, злое оружие хитростей болгарских: беда нам настанет!

Ольга поверила Добрыне, а желание Святослава ехать на Дунай убедило ее в истине всего сказанного.

— Сын мой,— отвечала она на слова Святослава,— больно сердцу моему, что ты не возлюбил родины и чуждаешься дома и кровных. Скажи мне истину, какой бисер многоценный обрел ты на Дунае? Кто посеял там для тебя благо, что торопишься пожать его? К чему приковалось там сердце твое?

— В изволениях разума дам ответ,— сказал Святослав,— но в изволениях сердца неволен. Там мирен я духом.

— Нет, сын мой, есть у тебя иное на сердце, ты не смирился, но пал духом. Кто обаял тебя взором своим? Кто умастил тебя ласками своими и усвоил?

— Вышел я из детского возраста,— отвечал Святослав,— и старость не охолодила еще меня. Сам не неволю ничьей души, и моей никто не изневолит, ни силою, ни обольщением.

— Молод еще ты укорять старость холодом, время дает опыт, а ты испытал только строи да пути ратные! Послушай опыта и совета матери: прилепись к истинному богу, он отведет тебя от наваждений дьявольских.

— Прилепился я к богу отцов моих, и воля его отвергнуть меня от себя или беречь в путях моих.

— Сын мой,— произнесла Ольга со слезами,— не сноси престола своего на Дунай! На Дунае ищут души твоей! Шел ты за Греков воевать Болгарию, враги Греков были враги твои, кто ж вражду твою превратил в дружбу, а приязнь в размирье?

— Обман и правда,— отвечал Святослав.

— Сын мой, сын! знаю я все! знаю, какими ветрами злодеи Болгары сбили корабль с пути! Знаю, каким золотом прельстили тебя! и за какую плату наняли в свои холопы! Зачем оставил ты рать свою в Болгарии?

—Не оправдаюсь я перед тобою, мать моя,— произнес, вспыхнув, Святослав,— напутствуй меня благословением, я иду к полкам своим.

— О, Святослав,— произнесла Ольга,— нрав твой упорен! Бог с тобой, твори волю свою, но дай мне умереть прежде. Не оставляй меня на смертном одре, погреби меня и иди куда хочешь!

Святослав не мог противиться последнему желанию больной матери. Но просил не говорить ему ни слова о Болгарии.

Мраком покрылось лицо его, и над взором, как над утренним солнцем, висели тучи, изнывала душа.

Прошла зима, настала весна; силы Ольги быстро таяли вместе с снегом, а душа ее с радостью готовилась к исходу, как дух весны из земных недр.

Только что проклюнулось яйцо нового птенца природы, и прозябшее семя выбежало на вешнее солнце, и воскресшая жизнь подала голос, в Киев прибыл посол из Царьграда и объявил, что василевс — опекун Никифор умер, державу принял Иоанн Цимисхий.

Первым условием возобновления мира Греции с Русью Цимисхий полагал вывод русских сил из Болгарии.

— По первому слову не умирюсь с царем вашим,— отвечал Святослав,— хочет он построить мир и положить ряд между Русью и Греками по старине, как было при отце моем, пусть шлет оклады на грады русские и хранит любовь ко мне и ко всем, кто под рукою моею.

Посол Цимисхия отправился обратно с посланными от Святослава, которые обязаны были в случае размирья с Греками явиться к Свенальду, военачальнику русских полков в Болгарии, с указом сосредоточить силы в Преславе, нанять в помощь конницу угорскую и ожидать великого князя.

Вскоре прибыл посол и от Бориса с поклоном и дарами. В Болгарии было все спокойно, но по горделивой осанке послов Цимисхия Святослав предвидел грозу, которую готовит он на Болгарию.

— Мать моя! — сказал он.— Честь зовет меня на путь!

— А любовь к матери не удержит! — сказала Ольга, издыхая.— Вижу, как душа твоя рвется к Дунаю и тоскует; я помолюсь богу, чтоб он поторопил успение мое!.. Бог с тобой!..

Ольга забылась в молитве.

— Сын мой, сын,— сказала она наконец,— преклони чело свое к устам моим! Бог с тобой, да предохранит он тебя, не омовенного крещением, от пыла души твоей. Сын мой! зачем не послушал ты слов моих и не принял божий щит в ограду путей твоих!..

Тихо произнесла Ольга эти слова и закрыла глаза, смоченные слезами.

Предтекущая христианской земли, как денница перед солнцем, как заря перед светом, почила.

И плакались по ней сын ее, внуки и все люди великим плачем.

Первую христианку Руси погребли в Ольмовой церкви во имя Святого Николая, и Святослав не творил тризны или погребального пира на гробе ее.

Первые дни печали его нарушены были известием из Болгарии, что Греки взяли Преслав.

Вскипело сердце Святослава. Посадив старшего сына, Ярополка, на великокняжение и назначив в удел сыну Олегу Древлянскую Землю, он торопился в Бол-

гарию. Перед самым отъездом явились мужи новгородские и просили себе князя.

— Кого пошлю вам? — спросил Святослав.

— Дай нам Володимера,— отвечали Новгородцы по научению Добрыни.

— Вот он вам, юный и с вуем своим Добрынею. Добрыня будет кормильцем ему.

И отправился Володимер с Добрынею в Новгород, а Святослав к Преславу болгарскому.

Глава одиннадцатая

Святослав предчувствовал, как необходимо присутствие его в Болгарии, но ему нельзя было оторваться с холодным чувством ни от гроба матери, ни от забот о детях, ни от попечений об устройстве земском. По смерти Ольги на него возлегли все тяготы. С нитью жизни ее разорвалось ожерелье обычного порядка. А между тем над Болгарией собирались тучи, никто не предчувствовал грозы, кроме тоскующего сердца Райны.

Воян знал причину уныния племянницы, часто навещал он ее, беседовал с нею о том, что занимало ее душу, и, как благотворная роса, окроплял ее сердце, из которого возрастали роскошные цветы: светлый взор, радостная улыбка и живой румянец. Райна ждала Святослава, как обреченная ему душой и сердцем, судом и рядом.

Тогда как Борис принял отчую державу с любовью народной и стал спокойно, обдуманно, без боязни крамол заботиться об устройстве земли своей, измершей от голода и войны, на престоле цареградском, как на сердце прелестницы, возлегали попеременно искатели ее. Василиса Феофания, по смерти Романа, за малолетством наследников его, Василия и Константина, избирала на престол и ложе, в правители и опекуны людей по̀ сердцу. Первый любимец ее, с которым сочеталась она браком и облекла его в пурпур, был Никифор Фока, грубый, безобразный, но могучий и смелый воин. Духовенство и народ возненавидели его, возненавидела вскоре и Феофания. Выбор ее пал на нового силача и временщика, Иоанна Цимисхия. Этот дебелый Армянин невелик был ростом, но как кованный из железа, наездник, боец и поединщик, прославившийся в боях с Сарацинами. Сблизившись с ним, Феофания обрекла Ники-

фора смерти, и тогда, как он спал, по своему боевому обычаю в крепких оградах дворца, на раскинутой на полу медвежьей шкуре, тридцать кинжалов приковали его к полу, а злодей Цимисхий хохотал над вылетавшей душою предместника своего и вскоре избран был правителем восточной империи и опекуном малолетних детей василевса Романа.

Но Феофания ошиблась в Цимисхии. Первым его делом было обвинить ее перед народом в убийстве отца, мужа и любимца Никифора, заключить в монастырь и казнить ее сообщников.

К нему-то явился комитопул Самуил с братьями и сбродом разных людей; объявил себя воеводой сил Болгарии и просил от имени всего народа защиты против насилия Руси и поставленного ими короля Бориса.

— В этом дворце вскормила Греция Бориса,— говорил Самуил,— а он, подкупив Святослава дарами и красотой сестры, заключил с ним союз против Греции.

Войнолюбивый Цимисхий радостно принял сторону комитуполов, во-первых, потому, что они были также Армяне родом, а во-вторых, величаясь титулом победителя Востока, он хотел приобрести и титло победителя Севера.

Отправив посла к Святославу с требованием вывести русские войска из Болгарии, он велел перевести победоносную свою рать из Азии в Европу и собрать новые силы в Македонии и Фракии.

Послы греческие, возвратясь из Руси с послами Святослава, нашли Цимисхия уже в Родосто, куда перевозились на кораблях азийские войска и где было назначено сборное место всем прочим.

Узнав от своих послов ответ Святослава, Цимисхий велел сказать послам его, что они отправятся вместе с ним в столицу Болгарии и там примут ответ царя греческого к русскому князю.

Назначив полководца Василия предводителем главных сил и поручив передовой отборный отряд, состоявший из наймичей, стратигу Феодору, сам Цимисхий с десятью тысячами старых сослуживцев своих двинулся быстро в горы. Его передовую стражу составлял Самуил с несколькими стами сброда сообщников своих. Зная все тайные пути гор, они провели Цимисхия мимо застав болгарских, и он неожиданно явился из-за высот перед Преславом и напал на русский отряд, занимавшийся ратным ученьем на равнине перед городом.

Русский полководец Свенальд был в это время в Доростоле, где стояли русские корабли; в Преславе была только стража королевская и восемь тысяч Руси.

Нечаянное появление неприятеля в то время, когда никто не предвидел войны, не готовился к ней и спокойно наслаждался миром, привело всех в ужас.

Не зная, кто неприятель и откуда явился, но видя бой за городом, Русские в беспорядке бросились на помощь к своим. Завязалась битва, а между тем ворота городские заперли и завалили. Окруженные со всех сторон, Руссы дрались как львы в продолжение целого дня под самыми стенами: их невозможно было впустить в город без опасения, что с ними ворвется и неприятель. Десять тысяч, пришедших с Цимисхием, должны были отступить, но к вечеру в помощь Цимисхию прибыл стратиг Федор. Наступившая ночь прекратила битву, а к утру Преслав был уже обложен всеми силами греческого войска. Начался приступ. Тщетно Цимисхий требовал сдачи города. Русь и Болгары стояли на стенах и осыпали стрелами и калеными камнями Греков, которые под прикрытием щитов приставили лестницы и лезли на стены. Стало уже смеркаться. Усилия Греков ослабели. Цимисхий потерял надежду взять Преслав, но злодей комитопул предложил употребить хитрость.

— Воспользуемся темнотой,— сказал он ему,— вели отступить от стен; а я со стороны леса поскачу с отрядом своим мимо твоих войск. Ты преследуй меня как неприятеля. В городе подумают, что пришла помощь, примут за своих, отворят мне ворота, и, когда я буду в городе, начни снова приступ. В суматохе Руссы и Болгары бросятся защищать стены, а я нападу на них с тыла!

Злодейский умысел понравился Цимисхию и удался. Войско Цимисхия отступило от стен. Войска преславские сложили щиты и прилегли на отдых с оружием в руках. Уже смеркалось. На вершинах стражниц городских зажглись костры, весь город и все окрестности озарились заревом. Вдруг за стенами послышался крик, гай и стук оружия. «Наши, наши идут!» — крикнули Руссы, видя, что полки греческие преследуют несущийся во весь опор отряд конницы.

— Отпирай ворота, покуда не налегли на них Греки!

Ворота отперли, комитопул со своим отрядом проскакал в город, вслед за ним ряды войск греческих надвинулись на стены с лестницами, оглашая воздух криками и ударами в щиты.

Дружина преславская бросилась защищать стены, но слышат крики и тревогу позади себя, видят бой на прясле ограды. Сердца дрогнули, руки опустились.

Король Борис, окруженный семьей, священством и вельможами, едва только успокоился, отразив первый приступ Греков: он уверен был, что город выдержит осаду до прибытия Свенальда из Доростола и покуда стянут войска из пограничных крепостей Болгарии.

Когда донесли, что отряд Руссов, сражаясь с Греками, приближается к городу, все терялись в догадках, Свенальд ли это или сам Святослав. Сердце Райны билось в нетерпеливом ожидании.

Вдруг раздались снова военные крики, стук оружия, гул труб и котлов. И в эту минуту общего онемения на двор королевский прискакал отряд всадников.

— Спасайтесь! — кричали они в один голос к страже двора.— Греки ворвались в город! Спасайтесь, братья!

Несколько из них соскочили с коней, бросились на крыльцо, вбежали в палаты королевские.

Борис и все окружающие его, пораженные исступленным криком вбежавших юнаков, онемели от ужаса; только дети Бориса вскрикнули и прижались к матери.

— Спасайтесь! Греки в городе! Кони готовы у крыльца! Ведите короля, несите королеву!

И с этими словами один из вбежавших, в кольчуге и шлеме с опущенным забралом, схватил Райну на руки и бросился вон.

— Моя теперь! Узнала ты меня? Узнала Самуила? — повторял он, спускаясь с крыльца.

— Коня! Брат! На твоих руках король с семьей! — крикнул злодей и вскочил с ношей своей в седло, обхватив правой рукой беспамятную Райну, взялся за узду, сдавил коня и, сопровождаемый тремя всадниками, помчался во весь опор.

Только что он исчез между зданиями, как полк македонской пехоты, преследуя Болгар, вышел на площадь. Отступая к королевскому двору, они вбежали во двор, хотели затворить ворота; но всадники Самуила бросились на них и открыли путь Грекам.

— Борис, ты мой пленник! — сказал один из них королю, которого окружили уже враги его.

— Кто ты, изменник? — вскричал Борис.

— Кто я? Комитопул Аарон, если помнишь.

— Помню, черная душа! еще в детских играх наших ты был изменником! — отвечал Борис.

С королевою, с братом Романом и детьми повели его во всем королевском облачении в стан Цимисхия.

— Здравствуй, король, с королевою и с королевичами! — сказал Цимисхий, усмехаясь.— Недолго ты гостил на родине!

— Здравствуй, хищная птица на чужом гнезде! — отвечал Борис, который знал Цимисхия еще льстивым рабом у подножия Феофании.

— Поезжай же в Константинополь, там еще целы твои игрушки,— сказал Цимисхий, бросив гневный и презрительный взор на Бориса. И немедленно велел отправить Бориса с семьей и брата его Романа в Царьград.

Преслав был занят уже Греками; но бой продолжался в одной части города с восхода зари утренней до *восхода звезд*. Несколько тысяч Руссов, стесненные в одной из улиц, дрались отчаянно. Как косари, двигались они вперед по жниву, устилая землю рядами врагов, смяли их, вытеснили на площадь, и здесь, окруженные со всех сторон, пробили они себе путь к двору королевскому, бросились в отворенные ворота, заперли их за собой, завалили и вырубили всех Греков, которые расположились уже во дворе.

Им легко было бы отстоять высокие ограды зáмка; но на беду около стен были деревянные королевские службы. Греки стали бросать огонь, подожгли, пожар разлился по всему двору, обнял палаты, и несколько тысяч храбрых, непобедимых Руссов погибли в этом адском пламени.

Глава двенадцатая

В тихой, отдаленной от Преслава подземной обители и в глубине души своей Воян радовался о наступившем благоденствии Болгарии. Племенники и Райна умоляли его жить с ними, но он не мог расстаться навсегда с уединением. Он привык к тишине подземной. В свете копится богатство вещественное, а в уединении душевное. И то и другое не для одного себя: есть какая-то потребность делиться с любимыми и добрыми людьми. Каждую неделю являлся Воян в Преслав с богатыми дарами души своей. Борис ждал всегда от него мудрого совета, а Райна утешительной беседы. Несколько уже дней прошло, как он не был в Преславе, никакой

недобрый слух не дошел до него. И через кого бы мог дойти? Разве вещун черный ворон сел бы над нырищом и прокричал: «Горе, горе!»

Спокойный, с благими надеждами, выехал Воян из пещеры, сопровождаемый одним из своих собратий. Выбравшись из ущелья гор на дорогу к Преславу, вдруг видит он, что навстречу им едет отряд конницы.

— Что за люди? — сказал товарищ Вояна.— По одежде не Болгары и не Руссы.

— Одежда, кажется, македонская.

— Куда, старцы? — крикнул начальник отряда по-гречески, подскакав к ним.

— В Преслав едем, храбрые воины,— отвечал Воян, удивленный встречею с греческими войсками.

— О, да какие у вас кони! слезайте-ка, поменяемся!

— Возьмите, пожалуй,— сказал Воян,— только чтоб после беды не было, кони с королевской конюшни.

— Неужели? Тем лучше! Если ты из Эллинов, отец калугер, так поздравляй и молись богу! Преслав наш! Э нет, старенькi! Съели зубы! — продолжал Грек, осматривая коней.

— Чей наш? — спросил Воян.

— Вот хорошо, чей! Здесь сам василевс Иоанн; король болгарский со всей семьей в плену.

— О, неисповедимы дела твои господни! — проговорил Воян, и у него невольно выступили слезы на глазах.

— Что, заплакал от радости?

— Плачу,— отвечал Воян,— и не постигаю, что вы говорите.

— Да, отец калугер, случилось же так, что в Преславе не успела заняться заря, а мы уже взяли город! Орлами перелетели через горы и стены!

— А Руссы где? — спросил Воян.

— Что нам Русь — петухи, а Болгары мокрые куры; да они же сами просили василевса, чтоб избавил их от насилия Руси.

— Когда сами просили?

— А как же, тайно прислали комитопулов на переговоры.

— Комитопулов! — вскрикнул Воян.

— Чему тут удивляться? Верь мне, что так.

— Не удивляюсь; если комитопулы взялись за дело, так иначе и быть не может! — отвечал Воян.— Прощайте же, боюсь опоздать к вечерне.

— Ну, прощай! а славные кони! Жаль, что стареньки!

Грек поскакал с отрядом; а Воян, склонив уныло голову, продолжал путь в Преслав. То пустится быстрой рысью, то думы так отяготят его, что конь чувствует их и шагом везет свою ношу.

Когда из-за утеса открылся город, стан греческий и легионы войска, которые тянулись по дороге к Дунаю, Воян приостановился, вздохнул глубоко и отер слезу.

— Душан,— сказал он спутнику,— смотри, столица это болгарского царства или могила?

— На какую беду ехать нам туда? — отвечал Душан.

— Что ты это говоришь, Душан! — произнес Воян с упреком и быстро пустил коня по дороге, извивающейся к городу, мимо греческого стана, расположенного на возвышении.

Смиренно просил он на заставах пропустить его в город, называя себя иноком метрополии преславской, из Греков.

— Ступай, ступай, да не в болгарский Преслав лежит этот путь, а в греческий город Иоаннополь, слышишь, старец? — повторяли ему тщеславные покорители столицы.

— Боже небесный! что сталось с Райной? — произнес Воян, подъезжая к королевскому двору, еще дымившемуся после пожара.

Дом ключаря Обреня был подле двора; но все дома на площади и поблизости заняты греческими войсками. Жители стеснились в отдаленных частях города. Туда поехал Воян и по расспросам отыскал Обреня. Старик сидел на завалине одной хижины.

— Все погибло, брат Воян! — сказал он, качая головою.— Сгорело гнездо наше! Злодеи комитопулы продали нас!

— Где король? — спросил Воян.

— В плену.

— Где Райна? — спросил Воян.

— Где? — повторил Обрень и закрыл лицо руками.

— Говори, брате! Умерла?

— О, верно, умерла в руках злодея Самуила!

Белые волнистые волосы на голове Вояна распустились, повисли куделью, лицо помертвело, но ярко вспыхнули глаза.

— Самуил? — повторил он, слушая рассказ Обреня о событии, которого он был свидетелем.— В палате ко-

ролевской Самуил? — повторил он еще грознее...— Пусть накажет меня бог вечными муками! Прощай, Обрень!

— Куда, брате?

— Куда! не оставить ли голубя в когтях ястребиных! Нет, найду я ущелья хищника!

— Ищи, брате, ищи! — повторил Обрень вслед Вояну, который вскочил на коня и помчался обратно к своему ныришу.

— Мавренъ! — сказал он одному из своих собратий.— Помоги горю! Коршун-комитопул похитил племенницу мою, унес в свое гнездо! Негде ему свить его, кроме трущобы шумской, там нанимал он свою шайку. Тебе известны все притоны: ступай, брате, разведай, за какими оградами, за сколькими замками темница королевны!

— Знаю, знаю! — отвечал Маврень.— Где быть, как не в куле главаря урманской вольницы.

И Маврень вооружился с ног до головы, накинул на себя вместо черной ризы суконный красный пласт и отправился в непроходимый лес, который покрывал горы на запад за Преславом.

— Дубравец! — сказал Воян другому старцу.— Ступай, брате, к Доростолу, туда пошел Цимисхий со всеми силами. Разведай, что там деется, чем решится бой Греков с Руссами. Узнай, не прибыл ли сам Святослав из Руси.

Дубравец отправился к Доростолу смиренным иноком, собирающим подаяния. Воян провел три дня, как изнеможенный дряхлый старик, лишившийся уже всех чувств жизни. Как пробужденный от сна, вздохнул он, когда возвратился Маврень.

— Так и есть, в куле у главаря! Я приехал прямо к старому своему побратиму Годомиру. «Откуда, браца?» — «Из сербского плену ушел!» На радости выпили коновку руйного вина. «Ну, как поживаете? Где главарь, где момцы гусары? Что нового?» Он и развязал кошель, высыпал все, что за душой было: главарь со всей вольницей на службе у комитопула Самуила, которого царь греческий обещал сделать королем болгарским и отдал в залог ему королевну. «А где королевна?» — «Здесь, в куле».

С меня и довольно было этих вестей. «Прощай, браца,— сказал я ему,— еду на войну, что мне здесь делать». И уехал.

— Ну, Маврень, спасибо! — сказал Воян, оживая.—

Теперь на долю нам трудная работа: надо выкрасть королевну, покуда тать не возвратился в вертеп свой.

— Выкрасть? Нет, Воян, из кулы не выкрадешь! Высоки стены, крепки замки! Там взаперти живут жены главаря; ни входа, ни выхода, ни им, ни к ним. Сторожат их обрезанцы да старые ведьмы. А вокруг стен стража день и ночь. Можно бы взять теперь кулу силой, да где силы взять.

— Где взять? — повторил Воян, задумавшись.— Едем, Маврень, найдем силу!.. Эх, из Доростола нет вестей! Да все равно, нечего медлить! в Святославе русском наша помощь, другой нет, едем к нему, хоть в Русь!

На пути встретил Воян Дубравца, посланного в Доростол.

— Что нового? Что нового?

— О, битва великая идет на Дунае, Святославу бог помогает!

— Там он? — вскричал радостно Воян и, не ожидая других вестей, помчался во весь опор, как лихой, смелый юнак, гонящийся за славой.

Между тем как быстро всходили и созревали горькие беды Болгарии от семян, насажденных коварством комиса и комитопулов, между тем как народ поливал слезами опавший цвет блага своего, а Райна, измирая в печалях и ужасе, молилась о смерти, стоя на коленях перед светом божиим, проникавшим через окно под потолком в келии ее заключения,— Святослав летел на крыльях к Дунаю и прибыл в Доростол, когда над любимцем его, Огнемиром, совершалась тризна и войско пало духом.

— У кого на душе горе и отчаяние, на лице печаль и боязнь, кому смерть страшна, вон из рядов и из стана русского! — вскричал он к воинам.

— Нет нам страху с тобою! — крикнули воины, и душа встрепетнулась у всех, взоры ожили.

— Братья и дружина,— возгласил он, устроив рать к бою.— Все воротим, кроме мертвых!

И дружина русская, ударяя радостно в щиты, двинулась за ним на горы, возвышающиеся над Доростолом, где был укрепленный стан Цимисхия, облегавший город.

Началась сеча. Десять тысяч Руссов шли на сто тысяч Греков.

— Братья и дружина! — возгласил снова Святослав к утомленным воинам,— собирайте последние силы! Не устыдим земли Русской! победим или сложим головы!

— Где твоя ляжет, там и свои сложим! — возгласили воины, прогремев мечами в щиты.

Цимисхий почувствовал присутствие Святослава; имя русского князя разнеслось по рядам греческим, и, разбитые, разметанные, сто тысяч в беспорядке отступили с поля.

Укрепленный стан достался в добычу Руссам; ночь прекратила сражение. Святослав стал под черным знаменем на костях греческих, в шатре Цимисхиевом и послал сказать Грекам: «Потяну на вас, до града вашего, и стану на костях ваших посереди града!»

Могучий борец Цимисхий, надеясь на свою личную силу более, нежели на войско, предложил Святославу вызов на поединок: «Кто из нас победит, тот и владеет обоими народами».

— Во чье имя и место царствует Цимисхий в Греции? — спросил Святослав посланного.

— Во имя и место малолетнего сына Романова Василия и брата его Константина,— отвечал он.

— Так пусть же он на кон не ставит чужого добра и наследия; а если ему, военачальнику царскому, наскучила жизнь, так избирай он иной любой путь к смерти.

Цимисхий был тот же человек, который наездничал в Азии перед полками и вызывал арабских витязей на бой; но, сорвав могучей рукой пурпур с плеч Никифора, ему незачем уже было тянуться; осмелиться на решительную борьбу с Святославом значило бы насиловать свое счастье и подвергать опасности приобретенную славу героя. Бой с Святославом нисколько не походил на азиатские игры в войну.

Цимисхий решился искусить Святослава золотом, а вместе с тем желал выведать, как велико число его дружины.

— Не сильны мы против тебя стоять, прими дары наши и скажи, сколько вас, и дадим по числу голов,— льстиво сказали Греки. *«Суть бо Греци льстивы и до сего дни»* — говорит летопись.

— Злато и паволоки отрокам моим,— сказал Святослав,— а драгоценное оружие принесли вы на голову свою, если военачальник ваш не освободит короля Бориса с семьей и не пойдет с миром в град свой!

Посланные возвратились к Цимисхию с ответом Святослава и сказали:

— Грозен и лют этот муж, презирает золото, а любит острое железо!

— Так мы пойдем, вопреки его нраву, иными путями, будем договариваться о мире, покуда придут корабли мои на Дунай,— сказал Цимисхий.

И снова послы греческие явились в стане Святослава, но, к удивлению, их не допустили к нему. Сперва сказали им, что светлый князь велел обождать; потом, что велел спросить, зачем приехали, наконец, объявили им, что если они прибыли с миром и согласием на волю великого князя, то могут заключить договоры в совете бояр его; а если хотят торговаться, то с чем приехали, с тем бы ехали и назад.

Этот ответ довершил сомнение греческих посланных; они заметили смуту и колебание в словах сановников Святославовых. Объявив, что без воли царской не могут решиться на предлагаемое, они возвратились в свой стан.

— Не знаем причины, отчего смутило прибытие наше сановников русских,— сказали они Цимисхию.— Когда мы просили и несколько раз повторяли требование лично видеть князя, они всегда уходили, долго не возвращались и потом выдумывали какое-нибудь затруднение видеть его. Он, верно, болен от раны: недаром Анема критский похвалился, что в битве встретил он самого Святослава, дал ему сильный удар в голову, сбил с коня и, если б не подоспел княжеский оружничий, убил бы его или взял в плен.

— Нет, это только уклонение Руссов от мира,— сказал Цимисхий, довольный новостью, сообщенною послами.— Тем лучше! корабли мои прибыли.

И немедленно Цимисхий велел идти кораблям своим к Доростолу и, вступив в бой, осадить город со стороны Дуная. По данному знаку к сражению развернулось царское знамя, и Цимисхий двинулся со всеми силами на нагорный укрепленный стан Руссов. Началась жаркая битва. Бодро Руссы отражали наступающие полки врагов; но голос Святослава не раздавался перед рядами, не вызывал дружину свою на победу или на гибель. Не будь боя позади ее, на Дунае, она бы отстояла поле; необходимость принудила отступить к стенам Доростола и обороняться за оградами.

Флот греческий стеснил русские корабли под самым городом, занял рукав Дуная, облегающий Доростол. Руссы были осаждены со всех сторон; уныла душа их; не слыхать живительного голоса.

— Братья мои и отроки! не умирать нам взаперти, умрем лучше в открытом поле!

Но где же Святослав?

С полком отчаянных всадников мчится он к куле главаря урманского.

Воян явился к нему в стан под Доростолом и с слезами на глазах сказал ему:

— Князь Святослав, спаси королевну, племенницу мою, покуда не пришло время конечной ее погибели!

— Воян! — сказал Святослав.— Я добуду ее из плена греческого! Борис воссядет на престол свой!

— О, если б она была с братьями своими в плену у Греков, я бы ждал спокойно твоей победы: кто против бога и тебя, Святослав.

— Где же она? — вскричал Святослав.

— Где? Пойдем выручим ее! Возьми полк дружины с собою, и, бог даст, завтра в ночь рассыплем стены ее темницы, куда заключил ее хищник комитопул.

Не задумался Святослав, не выждал утра; велел вскочить на коней всадникам полка княжеского и, как туча на ветрах, понесся вслед за Вояном и Мавреном в трущобы шумские.

Не слезая с коней, мчались они ночь и день; к вечеру Маврень сказал:

— Стой! Близко. Кони измучились, надо дать им отдых да решать, что делать. Здесь одной силой не возьмешь: стены высоки; покуда взберемся на них по высоким елям вместо лестниц да заведем бой, стража урманская не ляжет мертва, не вырезав всех жен главаря; а вместе с ними и Райне будет та же участь. Был такой пример при Симеоне.

Поразила эта новость Святослава: у него и душа и руки жаждали кровавого боя.

— Что ж будем мы делать? — вскричал он.— Или подползем гадами под сонных злодеев?

— Э, нет, князь великий,— отвечал Маврень,— мы повестим о приходе своем гулкими бубнами, звонкою песнею! Я научу певцов твоей дружины петь такую песню, что гусары встретят нас как родных. Пойте, братья, за мной:

Гой, гусаре, песню запевахме!
Иди, песня, из уст в уста ладно!
Встречай, Майя, единого сына,
А сестрица — родимого брата,
А девица — заручника-друга!

Ладно! пойте, братья!

Гой, спытаем, все ли гласы вкупе,
Нет ли в битве со врагом измолкших?
Слышно ль Майе радостный глас сына?
А сестрице — ласковый глас брата,
А девице — сердечный глас друга?

Ладно! пойте, братья!

Чу, навстречу идут домачицы,
Копят слезы на печаль, на радость,
Отзовется ль радостный глас Майе,
А веселый — милице-сестрице,
А сердечный — душице-девице?

Ладно! Ну, я еду вперед повещать, что идем; спуститесь с горы, я буду уже у оград кулы. Послышите звук рога — запевайте; по второму знаку — рысью выберетесь из леса на долину; тут ни дороги, ни тропинки нет; а доедете до речки, речкой по воде вправо; ступайте, куда извивается между крутью берегов, приведет под скалу; тут налево выбита по скале дорожка в гору, как раз к воротам кулы. Ну, с богом!

И Маврень помчался рысцой вперед; подъехав к воротам оград кулы, он затрубил с треском в медный рог, так что стражи над воротами и на боковых башнях вздрогнули и в один голос подали оклик.

— Спите вы, братья! По первому звуку голоса не подали! а главарь со всем гусарством под горой! — вскричал Маврень. — Да, ну! не слышите! откладывай ворота! — и Маврень загремел в рог снова.

Дружина Святослава с звонкой песнею вышла из леса в долину, покрытую непроходимым терном. На противоположном берегу, на обрывистой скале, видны были стены и башни кулы. По камышкам речки, как между двумя гранитными стенами, пробирались они к куле.

Между тем всполошенная стража подала знак старшине и привратнику. И когда по второму звуку рога отвалили ворота, Святослав с дружиной своей скоком взлетел по вырубленной в скале от истока речки дороге, и прежде, нежели стража кулы опомнилась, он уже был на дворе зáмка. Стража перевязана, все входы и выходы заняты Руссами.

Убитая горем, выплакавшая все слезы скорби и любви, Райна не привыкла еще засыпать под черными сводами своего заключения. Вокруг закоптелых стен широкие лавки устланы были дорогими коврами, обложены подушками, и это составляло все украшение покоя. Про-

странен, мрачен и пуст он был; слабый свет ночника в стене освещал Райну; Райна сидела, склонив голову на кисть руки, как бездыханная, а в углу спала старуха.

Дни Райны как будто кончились: нет для нее будущего, все чувства жизни погрузились в прошедшее, в страшный мир думы, населенный призраками живого и мертвого. Все тут перед ней: что сбылось, что виделось и чувствовалось, и близкие душе, и враги, и свет, и мрак, и все смута, которая не дает сердцу ни жить, ни умереть.

Вдруг послышался звук рога; Райна очнулась, затрепетала и упала на колени, обратив очи к разжелезненному окну под самым потолком.

Раздался второй звук рога, послышался шум, голоса все ближе и ближе.

— Боже небесный! вынь душу мою из тела! — вскричала Райна, с ужасом оглянувшись на дубовую дверь, обитую железом, когда раздался стук и загремел голос: «Отворите!»

Вздрогнула и старуха спросонок.

— Кто там? — крикнула она, подбежав к двери.

— Отворяй, Жика! — повторил голос.

— Староста! Зачем это он! — сказала старуха, вынимая запор. Дверь заскрыпела, кто-то откинул ее нетерпеливо.

— Райна! — раздались знакомые голоса.

Райна вскинула руки, хотела вскрикнуть, но голос измер на устах ее.

— Райна! Дýшица моя! Смотри, вот он, спаситель твой! — повторял Воян, приподнимая ее и целуя в плечо.

— Воян! не место здесь радоваться! — сказал сурово Маврень.

— Правда, правда! — отвечал Воян.— Пойдем скорее! Благодарность твоя еще впереди.

Святослав помог Райне спуститься с каменных крутых лестниц. Они сошли на широкий двор, где перевязанная стража кулы окружена была русской дружиной.

— Вы будете свободны,— сказал Святослав,— в городе вашем все цело. Скажите главарю, что мы взяли только свое!

— Спасибо за милости! Да что нам в них! — отвечал старшина стражи.— Не вы изрубили нас, оплошных, так изрубит главарь. Были в руках ваших жены его или нет, да порог переступила чужая нога, их пометает главарь со скалы.

— Спаси несчастных, князь Святослав! — сказала Райна.

— Ступайте служить мне; а жен освободим.

— С женами что хочешь делай, они не виноваты и вольны; а мы со стражи не пойдем! — отвечал старшина.

— Не пойдем! — повторили все.

— Жаль мне вас, храбрых! — сказал Святослав.— Но делать нечего: правы и честны ваши слова!

По приказу князя отперли терема. Маврень объявил женам главаря, что они свободны и чтоб скорее выходили из своего заключения.

— Я здесь не в неволе,— отвечала каждая из них,— от мужа своего не пойду, а убить убейте, воля ваша.

— Уж это такой народ! — сказал Маврень.— Ну, бог с ними, поезжайте, покуда из соседней кулы урманской не пришли на помощь.

Райну посадили на коня. Подле нее с одной стороны ехал Святослав, с другой — Воян.

Дружина выбралась со двора и понеслась вслед за князем: часть ее осталась еще, чтоб прикрывать путь от преследований.

Дорогой Райна узнала о судьбе братьев своих и Преслава.

— Куда же едем мы? — спросила она.

— Нет тебе теперь иного прибежища в Болгарии, кроме стана Святославова,— отвечал Воян.

Вот спустились уже с гор, едут по течению Зары, вдали открылась туманная даль: это берега Дуная. Стало смеркаться; на возвышении около селения загорелись огни.

— Это войско,— сказал Маврень.

— Должно быть, стража, но Русь или Греки — неизвестно.

Посланные проведать донесли, что это Греки в окопе.

Нахмурилось чело Святослава.

— Братья,— сказал он к дружине,— две первые сотни следуйте позади; вам на руки королевна болгарская; а прочие за мной, открывать путь к Доростолу!

И Святослав поскакал прямо на стражу греческую. Греки расположились около огней, ужинали беззаботно; откуда им было ждать неприятеля: Руссы в тесной осаде.

Внезапный *гай* налетевшей русской дружины всполошил их; они схватились за оружие, бросились к коням;

но поздно: Руссы смяли их, окружили со всех сторон, обезоружили.

— Отдать им коней: пусть скачут в стан свой и повестят, что следом за нами идет русский князь и дружина русская,— сказал Святослав.

Грекам отдали коней, и они, как вожатые дружины русской, мчались вперед и на плечах своих принесли ее на левое крыло стана греческого.

Святослав сдержал слово, открыл путь к Доростолу. Все левое крыло разметалось от мечей его, бежало на высоты, где была ставка царская. Суматоха распространилась по всему стану. Цимисхий содрогнулся, когда ему донесли, что сам Святослав явился с великими силами от вершин Дуная.

А между тем русский великий князь вступил во врата Доростола и встретил в них Райну.

Палаты королевские в Доростоле возвышались над самым Дунаем. За садами, на островах, стояли ряды насадов русских; а за плавнями, по гирлу, развевались на мачтах греческие флаги; далее взор терялся в равнине степи и туманах, скрывающих Карпатские горы.

«Боже, боже,— подумала Райна, смотря в окно,— населится ли когда-нибудь эта степь жизнью или заглохнет пустынею. Рассеятся ли эти туманы или скопятся в новые тучи над нами?»

— Не задумывайся, Райна,— сказал Воян,— божья защита тебе в Святославе.

— А в ком мое счастье? — произнесла печально Райна.

— В Святославе,— отвечал тихо Воян.

Пылкий румянец оживил лицо Райны.

— Не говори, чего не знаешь, Воян.

— Говорю то, что знаю, Райна.

— Нет, не знаешь,— сказала Райна,— мне кажется, горе застлало все небо моей жизни и ясные дни не мне!

— Райна, Райна! не возмущай черной думой будущего! Знаешь ли, добрая моя: ясный светлый взор человека разгоняет хмару жизни! Смотри радостнее и надежнее.

— Не могу,— отвечала Райна.

Положение Руссов в Доростоле было отчаянно. Припасы вышли; не дух иссяк в русской дружине, а телесные силы, от недостатка в пище, от беспрестанного труда и боя.

Святослав не предвидел никаких надежд к верной победе; но на его руках была судьба Болгарии и Райны.

— Заключи мир, князь, довольно уже пролитой крови на земле нашей,— говорил ему Воян.— Огради только державу Бориса от насилий твоим заступлением.

Святослав склонился на мир и отправил посла к Цимисхию сказать, что он оставит Болгарию, если Цимисхий возвратит престол болгарский королю Борису.

Цимисхий рад был предложению и желал иметь личное свидание с русским великим князем.

Тщеславные Греки думали поразить Руссов богатством, торжественностью и блеском своим, хотели строить на поле, между войск греческих и русских, для свидания монархов великолепный *феатрон;* но Святослав сказал, что он будет видеться с Цимисхием на берегу Дуная.

Святослав приехал на условленное место в ладье, в обыкновенной полевой одежде, без малейших признаков сана своего; сам греб веслом и причалил к берегу, когда приблизился к нему Цимисхий в окладе великолепия царского, сопровождаемый ликом чинов двора своего и телохранителями в блестящем большом наряде.

Цимисхий сошел с коня, Святослав сидел на скамье ладьи. Это было свидание благородного белого лебедя с напыщенным павлином. Но великолепие померкло перед величием; кичливость и гордыня преклонились перед достоинством; тщеславие поникло перед славой.

Греки дивились дебелому мужеству Святослава, стройному его стану и благообразию. Под густыми бровями взор голубых глаз был сурово спокоен; нос не походил на клюв римский; на голове хохол, признак великого рода русского, и в ухе серьга, украшенная жемчужинами и рубином, как у благорожденных предков раджей.

Мир был заключен.

— Королевна, избирай теперь по воле твоей,— сказал Святослав.— Хочешь ли остаться в Болгарии и положиться на покровительство царя греческого до возвращения брата твоего в Преслав или поручишь себя гостеприимству земли Русской, покуда исполнится миром родной край твой?

— Враги комитопулы еще живы, и коварство их не измерло еще,— сказал Воян.— Где ж верное ей прибежище в Болгарии? Волку ли Цимисхию поручить охранять агницу? Здесь один я сродник Райне, не оставлю

ее; вместе с нею прошу твоего гостеприимства, князь великий.

— Просьбу дяди повторю и я, сирота беспокровная,— сказала Райна.

— Не сирота ты, Берислава,— сказал Святослав.— В какой семье ты не будешь родною, в чьем сердце любимою?

Между тем как писцы писали на хартии совещания, дружина Святослава садилась на корабли. Когда приложились золотые печати и Святослав с Цимисхием разменялись грамотами, поднялся златотканый парус и на великокняжеском корабле.

Воян поручил Мавреню сказать собратьям, что, погостив на Руси, к ним приедет умирать.

Стая русских кораблей плыла по Дунаю ключами; громкие бубны и гулкие трубы вторили песни. Греки стояли на горе и смотрели на отъезд замиренных врагов своих.

Вот выплыли корабли Святослава в широкое море; тихо плескало оно перекатными волнами, крутило кудри, ласково осыпало ребра насадов крупным жемчугом, горделиво вздувалось.

И, утробу смиря,
Чем-то чванилося.

Сидит Святослав рядом с Райной, на чертоге мамонтовом, под навесом с золотой бахромой; говорит умильные речи.

А она, как заря,
Разрумянилася.

Не посмотрит печально на исчезающие берега родной Болгарии; склонила очи.

И от сладкого сна
Не пробудится.

Позабыла, что было, и не думает,

Не гадает она,
Что с ней, сбудется!

Пробежали корабли Святославовы по Черному морю, вступили в Днепр. Здесь на родных водах вышли Руссы на остров в самом устье, под вековым навесистым дубом, обставив его стрелами, принесли они в жертву Перуну и богам-покровителям домашних птиц, поклони-

лись в землю, облобызали ее, испили Днепра, потом, навязав на голубей алые ленты, пустили их на волю, и все молча смотрели, куда они полетят.

— Ты хочешь знать, Райна, для чего это мы делаем? — сказал Святослав.— Эти голуби вывезены из наших городов. Быстро полетят они к дому и принесут на родину радостную весть о нашем счастливом возврате.

Высоко вспорхнули освобожденные голуби; долго кружились по воздуху в какой-то нерешительности: куда лететь? Вились, вились и вдруг дружно стали опускаться на мачты.

— Не к добру! — закричали воины.— Что-то путь застлало! Не понесли доброй вести!

Невольно побледнела Райна; вздохнул Воян; Святослав посмотрел на Райну и задумался; невесело села дружина на корабли. Поплыли вверх по Днепру. Тяжелы что-то насады, дружная песня не ладится, не придает силы веслам.

Белобережье, русское место и за̀мок при переправе через Днепр, по пути из Руси в Корсунь, разорены Печенегами. Прошли мимо; подъезжают к порогам, стражи приблизились к лесистому острову близ малого порога... Вдруг зашипели стрелы по воздуху, из лощин по берегам Днепра с криком и гамом нагрянули несметные силы Печенегов, заступили берега, сыплют стрелы.

— Возьмите окуп и идите прочь,— так велит им сказать Святослав.

— Возьмем и с головами вашими! — отвечают они.

Только за Райну трепещет Святослав. Велит отступать. Великокняжеский корабль, как и прочие насады, не крытый, чертог под золоченой кровлей и златоткаными завесами не ущитит от стрел. Воины оградили его своими щитами.

Святослав на корме, Воян уговаривает Райну не страшиться.

— Не за себя боюсь я! — отвечает она.

Под тучами стрел отчаливают ладьи. Печенеги следят берегом. Но кони их утомляются; насады быстро мчатся по течению Днепра.

В Белобережье решается Святослав выйти на берег и ждать помощи из Киева.

Но едва успели занять разоренный замок Белобережья, возвышавшийся на крутизне над Днепром, и завалить ворота, Печенеги обложили его со всех сторон.

— Здесь не страшны они нам,— говорит Святослав,— недалек отсюда Киев.

Отчаянных посылает он тайно пробраться мимо Печенегов и дать знать Ярополку, чтоб торопился со всей дружиной киевской к Белобережью.

Проходят дни, а помощи нет. Припасы выходят.

— Возьмите какой хотите окуп,— велит сказать Святослав Печенегам,— возьмите все сокровища мои и идите прочь.

— Ты наше сокровище! — отвечает Куря.— Отдавайся, возьмем тебя и пойдем.

Святослав в нетерпеливом ожидании помощи грозно произносит уже имя Ярополка, сына своего.

Проходит месяц; припасы на исходе; воины едят уже конину, изнемогают, но не ропщут: Святослав терпит одну с ними участь. Только гостей своих угощает он остатками хлеба и припасов.

Воян как будто не горюет; а Райна молчит и качает головою.

Вдруг является гонец из орды, облегающей город.

— Заключим мир, белый царь,— говорит он.

— Что требуете в окуп, все дам,— отвечает Святослав.

— Окуп невелик, пустой окуп, да на том стоим теперь. Золота не надо: за золото продали мы твою добычу.

— Добычу всю отдам.

— Спасибо за всю, а ты добыл в царстве болгарском красную девицу. За ней приехала погоня, наняла нас за дорогую цену выручить ее. Так ты и отдай ее нам и ступай себе с богом.

— Гоните его! — вскричал Святослав.

— Гоните, пожалуй,— говорил Печенег, уходя,— да в чем я виноват, я не свое говорю. Ты, белый царь, увез любовницу у болгарского воеводы Самуила; а он с войском пришел выручать ее; да и нас нанял. Вольно тебе было прогонять нас, как шел в Болгарию: пригодились бы.

— Сын Ярополк! — грозно проговорил Святослав.— Чтоб ты погиб, как гибнет отец твой!

— Слышишь, Воян,— тихо сказала Райна,— Самуил и здесь меня преследует!

— Не страшны тебе здесь его преследования,— отвечал Воян.

— Если я погибну, никто ничего не потеряет; а если погибнет Святослав, погибнут братья мои и Болгария... Правда, Воян?

— О, сохрани его бог! — отвечал Воян.— Без его заступления или комитопулы, или Греки положат конец Болгарии!

— Я готова идти в окуп, другого нет спасения! — проговорила тихо Райна.

— Полно, Райна, печалиться! — сказал Воян.

Райна не отвечала ни слова.

Настала ночь осенняя, ясная ночь, серебряный лик луны, отражаясь в Днепре, дробился на волнах. Вокруг стен раскинут город юрт, повсюду разложены огни, меткие стрелки печенежские дозирают под самыми стенами; только что чья голова покажется на ограде за̀мка, тетива запоет, стрела зажужжит черным жуком, а Печенег кричит: «Бар!» — есть!

Около полуночи на кровле белой теремной башни, возвышавшейся над самым Днепром, показался кто-то облеченный тенью набежавшего облачка.

«Бар!» — крикнул Печенег. Облачко пронеслось, луна осветила башню: на вершине ее как будто легкий призрак под белым покрывалом склонился на перилы.

— Эге, Кардаш! — вскрикнул Печенег.— Да это белая голова!

— Да, белая, белая! Смотри, это девица под фатой сидит, пригорюнилась.

— Эй, смотрите, девица или дух какой-нибудь!

— Пугнем!

— Нет, постой, сказать ноину, убьем без спросу, так еще беда будет.

— Сказать так сказать!

— А как уйдет?

— Не уйдет! — сказал Печенег, стоящий дозором против башни.

— А ты что за порука?

— А мне что, я сказал так, да и только.

Собрались толпы Печенегов, смотрят на диво; идут толки, шум, рассуждают, будить ли своего ноина.

— Вот тебе раз! будить для таких пустяков! что он, не видывал, что ли, девичьей головы?

— И то дело!

Столпившиеся Печенеги встревожили стражу русскую; она подала весть. Дружина изготовилась к защите стен, ожидала приступа.

Вот уже рассвело, настал день. Печенеги продолжают дивиться на вершину башни; неподвижно сидит дева, приклонясь к перилам; ветер играет ее длинным белым покрывалом.

А между тем в зàмке хватились Райны.

— Князь Святослав,— говорит Воян в отчаянии,— вчера не понял я слов ее! Она решилась пожертвовать собою, она, верно, нашла выход из города в стан печенежский и сама предалась в руки врага своего.

— Кони! Со мною! — вскричал Святослав, и со всеми остальными всадниками своими он ринулся из ворот в стан печенежский. Как громовая стрела летит посереди врагов, все крушит и ломит, пробивает к юртам Куря, но он уже один посереди тысяч, стряхивает с себя стрелы, отбрасывает сабельные удары вместе с руками. Но вдруг остановился он, как мета стрелам, ножам и саблям, смотрит на вершину башни, забыл о врагах и пал под ударами их.

Не стало Святослава. Бросился было Свенальд с пешей дружиной на помощь ему; но в орде раздавались уже исступленные клики победы. Свенальд отступил в зàмок. Дружина высыпала на ограды, а Воян на вершине башни стоял уже на коленях перед Райной. Райна сидит на скамье, склонив голову на перила, покоится тихим сном. Ветер играет покрывалом, обвевает ее. Но сон ее вечен. Вонзившаяся стрела облита кровью ее сердца. И Воян уснул подле Райны, склонив голову на ее колена.

Свенальд дождался помощи из Киева и возвратился в Русь; Белобережье заняли Печенеги и назвали *Кизикерменом,* или Крепостью Девы.

Исполнил ли Цимисхий договор с русским князем? Нет. Возвратившись в Царьград, он торжествовал победу над Руссами. Потом призвал к себе Бориса и с высоты величия своего объявил пленнику, что он подает ему в милостыню — царство Болгарское; но на условии быть покорным велениям его.

Гордо и презрительно усмехнулся Борис.

— Мое наследие возвращает мне князь русский,— отвечал он,— и ты для меня не более как исполнитель условий, заключенных с ним.

Разгневанный Цимисхий не продолжал разговора. Надеясь еще смирить Бориса, он медлил воздать ему честь как королю Болгарии. Но, боясь новой войны с Святославом, он наконец решился смирить собственную гордыню.

Царедворцы явились к Борису с багряницей, золотым королевским венцом и прочей одеждой.

— Царь милостив,— сказали они,— испытал твое достоинство, возвращает твои королевские знамения и просит на свидание.

В это-то время возвратился в Царьград Самуил-комитопул и объявил о смерти Святослава.

Злобная радость заиграла в очах Цимисхия.

— Ведите же короля болгарского с честью на великую площадь, к храму Святой Софии,— сказал он,— там встречу я его и совершу торжество.

И совершилось неслыханное дотоле торжество. С почестями встретил Цимисхий Бориса как короля болгарского в храме Святой Софии; а патриарх по вновь установленному обряду развенчал его. Сняли с Бориса златой венец, багряницу, *червленые сапоги,* приняли державу и все знамения царства болгарского и принесли в дар богу.

Самуил-комитопул с братьями назначены правителями областей Болгарии. Прошло пять лет; Цимисхий умерщвлен; Самуил отложился от Греции. Брат его Давид умер, Моисей погиб при осаде города Серры, брата Аарона велел сам убить и — облекся в королевские одежды.

Но это была последняя вспышка самобытного существования Болгарии посереди крамол и кровопролитных войн с Грециею.

С 1019 года Болгарией правили уже наместники василевсов греческих.



ВОСПОМИНАНИЯ О БЕССАРАБИИ

Сия пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державиным воспета
И славой русскою полна.
Еще доныне тень Назона
Дунайских ищет берегов...

Пушкин.
«Баратынскому.
Из Бессарабии».

I

Когда приостановишься на пути и оглянешься назад, сколько там было света и жизни в погасающем, сумрачном отдалении, сколько потеряно там надежд, сколько погребено чувств? *Теперь* и *тогда*, *здесь* и *там*... Сколько времени и пространства между этими словами! И все это населено уже бесплотными образами, безмолвными призраками!

Когда пронеслась печальная весть о смерти Пушкина, вся прошедшая жизнь его воскресла в памяти знавших его, и первая грусть была о Пушкине-человеке. Все перенеслось мыслию в прошедшее, в котором видело и знало его, чтоб потом спросить себя: где же он? Я узнал его в Бессарабии, и очерк этой страны будет рамой, в которую я вставлю воспоминание о Пушкине.

В 1818 году я отправился из Тульчина, главной квартиры второй армии, в Бессарабию. Меня провожали в дорогу слухи о нестерпимых жарах, о степях, населенных змеями, скорпионами и тарантулами, о чуме, о вечных лихорадках... Но я был тогда еще в первой поре юношества, с головой, которая не задумывалась, с чув-

ствами не напуганными, и все страшное возбуждало только мое любопытство.

Проезд по Подольской губернии в марте месяце был еще сносен. В ней нет ничего пустынного, хотя я и не имел еще понятия о красоте ее во время лета и ее протяжных долинах, усеянных селами посреди садов, огражденных тополями. Но, проезжая по Херсонской губернии от Балты до Дубоссар, я уже считал это пространство преддверием «Гетских пустынь». По дороге нет ни одного селения; станции уединенно стоят в поле, и это — только хата без ограды, даже без сарая и конюшни, ибо почтовые лошади пасутся постоянно в табуне близ станции. Наконец, я приехал в Дубоссары — грустный городок, в котором не с большим одна церковь и не с большим одна харчевня, утоляющая голод проезжих чем бог послал. Но передо мной уже была туманная полоса, за которою зеленелись берега Бессарабии. Я уже смотрел на гряды возвышений и на далекую долину, по которой извивался Днестр к морю.

Проехав карантин и таможню, я переправился чрез древний Тирас (Днестр), задумался и очутился подле корчемки молдаванской один, как сирота. Почтарь дубоссарский, сложив мои вещи с брички на землю, поскакал назад, как от брошенного на жертву чуме, знойному солнцу и будущности. Покуда с Криулянской почты приехала за мной почтовая *каруца* (тележка), я просидел на завалинке хаты и просмотрел на физиономию молдавана, который мне повторял время от времени: «Акуш, акуш!» (сейчас, сейчас). В самом деле, вскоре я услыхал свист, дребезг и хлопанье бича; приехала каруца не больше детской колыбельки; я уселся в нее: *суружди* (ямщик), верхом на одной из запряженных веревочными шлейками в дышло кляч, закрутив долгохвостый бич, хлопнул по воздуху над двумя передними конями, которыми он правил, и экипаж мой затрещал, как пожарная трещотка.

Новая страна — новые чувства. Я углубился в горы и долы Бессарабии, как в таинственный *дульчац* (сладость). Все уже оделось зеленью, дышало маем, и я живо чувствовал разницу между правым и левым берегом Днестра. Кажется, что природные календари их рознятся целым месяцем: в Бессарабии — весна, а в Подольской губернии едва только показались ее вестники.

Я приехал в Кишинев в самое счастливейшее время его, когда все готовилось с нетерпеливым ожиданием к

приему императора Александра блаженной памяти. Государь проезжал тогда чрез Бессарабию на свидание с императором Австрийским на границах царств в городе Черновцах. Молдавские бояре стекались отовсюду в Кишинев, и этот город кипел народом. Встречи императора я не мог видеть, ибо был занят в это время у князя Меншикова, который приехал перед государем; это было уже в сумерки, но я слышал крики встречи, которые приближались неумолкающим гулом от возвышений по дороге из Дубоссар к городу, неслись городом и умолкали на время у собора, чтобы снова сопровождать императора до дома наместника, который, возвышаясь на отдельном холме над озером, превратился мгновенно в дворец освободителя Европы.

На другой день император был в митрополии у обедни и потом на завтраке у седовласого экзарха Димитрия; в тот же день — на балу, данном дворянством бессарабским в огромной зале, нарочно устроенной в доме Тодора Крупенского. В угождение изящному вкусу государя к колоннадам явился вокруг залы ряд огромных колонн порфирового цвета, обвитых вязами разноцветных огней. Спозаранку зала наполнилась уже боярами, *куконами* и *куконицами* (барынями и барышнями). Хотя наместница, Виктория Станиславовна Бахметева, успела в короткое время много внушить образованного вкуса в дам кишиневских (они знали, что такое бал; куконицы знали уже необходимость во французском магазине мод, умели уже рядиться по венским и парижским образцам, умели рисовать в кадрилях и мазурках), но к балу, где будет присутствовать император, съехалось множество бояр со всех сторон, даже из княжеств Молдавии и Валахии, которым известны были только приличия азиатские. Приезжие куконы облекались во всю роскошь Европы и Востока, и если б наместница, как заботливая хозяйка приема, не обратила заблаговременно внимания на наряды посетителей, государь застал бы на балу всех дам, окутанных в драгоценные турецкие шали, а бояр — в *кочулах*[1] и в *папушах*[2] сверх желтых и красных *мешти*. Почти перед самым входом государя шали были сняты, а папуши нескольких сот голов были свалены

[1] у молдаван *кочула,* смушковая серая шапка вроде опрокинутой огромной корчаги, не снималась ни в церкви, ни даже перед султаном, как чалма.) *(Прим. А. Ф. Вельтмана.)*

[2] *Папуши* — туфли сверх мешти или желтых, красных сафьяновых носков. *(Прим. А. Ф. Вельтмана.)*

в кучу за колоннами. Когда государь вступил в залу, все стеснилось в молчании, без шуму, почти незаметно, в круг, коего первые ряды состояли из женщин; женщин окружали стеной бородатые первостатейные бояре, а за ними — бояре второго и третьего класса. Бал был открыт генералом Милорадовичем; между тем государь говорил с наместницей и потом обошел с нею, преследуемый рядами польского, чрез все комнаты, удостоил внимания других почтеннейших дам, а потом началась французская кадриль — первая в Кишиневе, выученная в доме наместницы.

В то время Пульхерия Варфоломей была в цвете лет, во всей красе девственной, которой посвятил и Пушкин несколько восторженных стихов. Ей только одной из девиц Кишинева государь сделал честь польским и несколько вопросов. Любопытство впоследствии допытывалось от простодушной девушки, что́ с ней говорил государь. На вопрос, часто ли она посещает балы, она отвечала: «Non, circe, parce que ma tante Elise ne se porte pas bien»[1]. Неподвижность всех и царствующая тишина, и взоры, устремленные на государя, должны были его скоро утомить. Он пробыл не более часа времени и уехал.

В воспоминание посещения императором Кишинева наместница подала мысль завести публичный городской сад. Сколько я могу припомнить, государь сам избрал место вправо от митрополии. На третий день государь выехал из Кишинева, но жители долго еще хвалились, что император назвал Бессарабию «золотым краем».

II

С 1818 по 1821 год, ознаменованный греческою етерией, я познакомился с Буджаком, или бывшей татарской частью Бессарабии: тогда еще все пространство между реками Прутом и Днестром и верхним Траяновым валом была малонаселенная степь, изрезанная протяжными хребтами, которые сглаживались к морю и образовали часть пустыни, носившей некогда название «solitudo Gaetica», и те седые волны ковыля, посреди которых инде-инде видна крытая арба чабана, уединенное *кишло,* или хутор, обставленный пирамидами кизяка.

---

[1] «Нет, ваше величество, потому что моя тетка Элиза чувствует себя не совсем хорошо» *(фр.)*.

Это-то пространство воспел Мицкевич под названием «Аккерманские степи». Но часть Буджака, прилегающая к реке Пруту, гористее и населеннее; далекий же холмистый берег, от местечка Формоз до Вадулуй-Исаки, покрыт садами и представляет в миниатюре Италию без ее истории и памятников прошедшего величия. Здесь-то, над самым селением Вадулуй-Исаки, начинается тот знаменитый вал, который прозван Траяновым путем. Но тут имя Траяна императора, кажется, не может играть никакой роли. Бессарабия никогда не принадлежала римлянам, река Прут была границей Дакии; валы бессарабские не могли служить защитою ни со стороны севера, ни со стороны юга, ибо они тянутся почти по прямой линии, не разбирая местоположения и командования высот, но во всяком случае более походят на ограду севера. И если Траян построил нижний вал против варваров, населявших Бессарабию, чтоб охранить от них колонии по Дунаю и Черному морю, для чего же построил бы он верхний вал и боковые вдоль крутого берега Прута и Днестра? По всем соображениям, эти валы были не что иное, как разграничения земель. По Лактацию, из Бессарабии в 304 году готы изгнали неизвестный народ, который, по дозволению императора Галерия, населился в ее пределах, а по жизнеописателю императора Проба, народ, переселившийся в это время во Фракию, был бастарны. Известно, что орда печенегов, татар или торков населяла издавна Бессарабию. Не утвердительно, но я решаюсь заключить, что эти сто тысяч бастарнов, переселившиеся во Фракию, были босняки.

Жители Бессарабии все валы называют словом *траян*; вал, разделяющий Добружскую область или бывшую Малую Скифию от Мизии, также называется *траян*. На мизоготском наречии, по Ульфиилу, которого язык царствовал в этих местах, слово thraihan значит — сжимать, стеснять, ограждать, thraihands vigs — сжатая, огражденная дорога, стезя; слово, которое могло значить и грань, граница. Вот, кажется, откуда произошло название via Trajani. По Ульфиилу также, thragjan значит — бег, езда, сходно с греческою curro и с русским дорога, драга, тракт. Траян булгарский совершенно сходен с буджакским; но почти на всем его протяжении по берегу Черной реки (Кара-су) видны следы четвероугольных окопов со стороны Булгарии, в которых, вероятно, содержалась пограничная стража. Этот Траянов вал ознаменован в 1828 году маневром, на котором

батарея в 120 орудий, по слову русского царя, неслась в карьер в атаку по отлогому скату правого берега Кара-су. По гребню этого траяна император проехал семнадцать верст для осмотра осажденной крепости Кистенджи, некогда знаменитого Истра.

Спускаясь от Рени по дороге к Измаилу, проходящей между Дунаем и озером Кагулом, напоминающим победу Румянцева над турками, и от селения Сатунова к Дунаю, по тропинке между плавнями, на пути через Дунай персов за 508 лет до Р. X. и русских в 1828 году, есть следы подобного же вала, который, как ограда между озерами Карталом и Кагульцем, преграждал этот путь и, может быть, служил мостовым укреплением Дарию при отступлении его из Скифии.

Проехав Измаил, не разлучный с именем Суворова, я скажу несколько слов о крепости Килии, которую некоторые принимают за Киевец, построенный на Дунае мнимым Кием, путешествовавшим в Царьград и полюбившим это место. Сказание о существовании Киевца или Малого Киева на Дунае не может быть ложно, но место Старой Килии за Дунаем, посреди плавней — веря сказанию о Кие,— не могло ему понравиться, и тем более здесь не мог быть Киевец, что слово *город, городок,* в смысле древних, значит укрепленная, отдельная гора или холм. Слово *gard*, город, нераздельно с словом *гора, hori,* как и *Berg* и *Burg, Heim* и *Holm*, *холм.* В замену Килии я полагаю Ciug или Cuiq, находившийся, по дорожнику Антонову, ниже Гропени, на правом берегу Дуная. Это нынешний Гирсов. Высокая скала над Дунаем, составляющая ныне северную сторону крепости, могла быть выбрана для основания городка. Здесь, в скале, могли быть *kifwa* или пещеры готские, от названия которых, по моему мнению, получил свое название и Киев. Если мнимый Кий любил жить у перевоза, то против самого Гирсова есть и перевоз чрез Дунай на ладьях.

Дорога к Аккерману тянется по бесплодной земле, напитанной солью, над вершинами озер Сасика или Кундука, Шаганы или Муртоз, Карачу-с, Алибей-улу и Бурнасоло, населенных весной пеликанами, а летом покрытых корой соли. За песчаной степью открываются перед вами почерневшие от времени башни замка Аккерманского. Его окружают не более пятисот домов, а вправо видны известные аккерманские сады. В мое время считалось их с лишком 900. Замок Аккерманский, по пре-

данию, построен генуэзцами в XII веке, когда они обладали торговлею Черного моря. На этом месте в древности стоял город Офиуса, а во время Геродота — колония Тирас.

За лиманами виден Овидиополь, мнимое местожительство римского певца-изгнанника. Но что странно: в вершине лимана, при впадении Днестра, невдалеке от селения Паланка [1], где также небольшой четвероугольный замок, есть озерцо, которое называется, по словам Кантемира, *лакул Овидулуй*, озеро Овидия. Во время моего проезда оно почти пересохло, и мне называли его *Дувыдулуй;* сколько помнится им, говорят, будто тут очень давно уже жил какой-то пустынник, именем которого прозвали озеро. Близ этого места есть переправа через Днестр при селении Маяк, на левом берегу реки, верстах в сорока от Овидиополя. Посетив впоследствии и Мангалию на берегу Черного моря, которая также принимается за Томы, место обители Назона во время изгнания, нельзя было не сказать:

Зачем нам знать, где жил изгнанник сей
И прах его влачить с кладбища на кладбище?
Он жил, он умер, и вечное жилище
Поэта в памяти людей!

Природа Днестра со стороны Бессарабии очаровательна. Вдоль всего берега тянется цепь садов виноградных и фруктовых; селения богаты, но вообще не похожи на наши, которые, образуя улицу, суть зародыши городов. Молдавские *саты* [2] похожи более на разбросанные шатры табора; *касы* [3] стоят дверями во все стороны; это — мазанки, построенные из плетня, обмазанного глиной, и выбеленные; совершенно похожи на малороссийские хаты, но гораздо опрятнее; снаружи и внутри выбелены, часто раскрашены узорами — вохрой и умброй. Арабески, выведенные на стенах рукой самой хозяйки и его дочери, очень похожи на синайские письмена. Смазывание глиной полов, беление и крашение стен возобновляется перед каждым праздником. В каждой половине касы, разделенной надвое сенями, близ дверей *соба,*

---

[1] Слово *паланка* значит укрепленное селение. *(Прим. А. Ф. Вельтмана.)*

[2] *Сату* — деревня, село; татары называют *сату* торг; *тиргу* по-молдавски город, торговое место. *(Прим. А. Ф. Вельтмана.)*

[3] Сходно с итальянским *casa* или с готским *hus,* дом. *(Прим. А. Ф. Вельтмана.)*

печка. Устье очень низко, не более как на четверть от полу. За трубой на печи обыкновенно бывает обитель старух — слепых, неподвижных, ничего уже не чающих, и *хортов,* гончих собак, которых молдаване нежат, как детей. И они стоят того: молдаван, отправляясь в степь, берет с собой хорта, и зайцы — не попадайся навстречу!

Болгарские селения иначе строятся, хотя столь же неправильно. У них семьи не разделяются,— не разделены и дома; с каждым поколением, с увеличением семейства́, разрастается и дом, по большей части в прямую линию. Женатые правнуки, внуки и сыновья живут под одной общей кровлей своего патриарха — прадеда, который бел, как лунь, и потерял уже счет своим годам, но еще не лишился ни одного из своих чувств, еще деятельный работник и рассказывает о том, что случилось за сто лет, как о вчерашнем дне. Болгарские хаты простее и пустее молдаванских: стены голы, вместо окон — деревянные решетки, вместо лавок — низенькое возвышение из земли вроде широкого дивана, устланное белым войлоком; близ дверей — вроде столбца или ротонды печь, которая топится из сеней; устье почти на земле. Тут, под навесом трубы, висит цепь с крюком для котла, в котором варится обед. Вместо стола — кружок или медный круглый поднос на низеньких ножках.

Почтовая дорога из Аккермана в Бендеры идет степью через Каушаны, бывший «сарай» хана Буджакского, ныне ничтожное местечко. В 25 верстах от Каушан крепость Бендеры, она лежит над Днестром в равнине, окруженной нагорным берегом; это — древний Тигин. Выше крепости, верстах в трех, на Днестре селение Варницы; под Варницей, по скату берега, следы лагеря и канцелярии северного капрала — Карла XII; здесь жил он гостем у турок, отсюда турки изгнали своего гостя.

Вообще в нижней части Бессарабии или в Буджаке почти все реки: Гага, Куяльник, Сарата и проч. текут по солончакам; в колодцах вода также солона. По всем рекам и лощинам рассеяны следы бывших татарских селений; эти следы заметны по кучам золы и по густому бурьяну, так что издали, замечая темноцветное пространство посреди зелени, замечаешь, что это — селище, по-молдаванскому произношению — *селиште,* то есть место бывшего селения. Имена этих селищ сохранились в памяти жителей, например, селище Акмангыт, Мангыт, Эдиге, Энникитой и т. д. После того, как Буджакские

степи розданы правительством для заселения, вероятно, следы селищ уже стерлись, но названия урочищ долго сохраняются. Проезжая чрез эти места, поросшие глухой высокой травой, почти невозможно выносить удушливого запаха каких-то особенных диких, мрачных растений, напоминающих бывшую обитель человека. Селища — обыкновенно любимый бульвар куропаток во время вечера: целыми стадами слетаются они на курганы золы.

В обозрении Буджака кстати должно упомянуть и о четырнадцати немецких колониях, населенных по обе стороны Куяльника в 1817 году. Как ни трудно развести довольство посреди знойной степи, лишенной хорошей воды, но при данных правительством средствах к упрочению этих поселений деятельные переселенцы в два-три года обзавелись скоро домами, построенными на первый случай из земляных кирпичей, огородами, засеяли поля, пообставили загородки скирдами. В первые годы они поддерживали себя заработками у богатых *царанов*[1]. Беда вам, если вы играете на каком-нибудь инструменте и вас дослушают колонисты: возвращаясь с поля, они обсыплят вас, умолят играть и еще играть вальс и пляшут до упаду. Я никогда не забуду одного Ганса, который плясал вприсядку по-русски; он не требовал похвалы, а просил только не переставать играть «Барыню».

В 1819 году открылась в Бессарабии, в Хотинском *цынуте* (уезде) чума, завезенная из Молдавии. По данному мне поручению усилить пограничную цепь я проезжал по реке Пруту и по границе австрийской до Днестра. В эту поездку и во время рекогносцировки верхней части Бессарабии в том же году я выучил наизусть этот край, древнюю обитель бастарнов или бессов.

Верхняя часть Бессарабии, начиная от верхнего Траянова вала, представляет совершенно другую уже природу. Это — уже гористые места, покрытые лесами, садами, селениями и уединенными монастырями, женскими и мужскими, посреди романических местностей. Отрасль

---

[1] Бояр или мазилов (род шляхты), живущих на *царане*, то есть на пахотном месте посреди степи, собственном или наемном. *Царáч* значит владеющий землею пахотною, отдельною; *хутор* значит также временное жительство в степи для пахания земли, содержания стада или пчел; *кишло* — землянка, приют степных *чабанов*, или пастухов, без всякого сомнения, от татарского *кишлав*, зимовье. *(Прим. А. Ф. Вельтмана.)*

Карпатских гор тянется от вершин реки Прута в Галиции и проникает между Днестром и Прутом в Бессарабию по Хотинскому цынуту. В Ясском цынуте она сглаживается между реками, впадающими в Реут, но в вершине этой реки, ниже города Бельц, она как будто возрождается снова в отдельной горе Магура (туман), которая разветвляется вдоль всей Бессарабии, также возникая в некоторых местах отдельными горами, чтобы сохранить свою силу и крутизну до моря. В верхней части Бессарабии река Прут имеет отлогий берег, а крутой с противной стороны, в Молдавии единообразен и небогат населением; но река Днестр сохраняет везде и крутизны, и частые села, и сады, богатые виноградом, сливами, вишнями, черешнями, грушами, абрикосами, не уступая даже степным местам в богатстве *баштанов* (полей, засеянных арбузами, дынями, тыквами, турецкими огурцами и баклажанами). На Днестре аромат акаций, песни ночных соловьев, в полтора аршина стерляди, с лишком в сажень осетры, посреди плавней непереводимая дичь — дикие гуси, утки, все роды шнепов и куликов. Здесь народ деятельнее, женщины прекраснее. Но, говоря о красоте женщин простого народа,— гористые здоровые места Орхеевского цынута должны славиться ими: там цвет здоровья и роскошь форм. Орхей*веки* (древний Орхей), по словам жителей, был на другом месте, по Кантемиру — на западном берегу Орхеевского озера; но, как я слышал, этот город был ближе к Днестру, на Реуте, против Дубоссар и, следовательно, против главной переправы через Днестр. Может быть, здесь была Ольхиопия, которую приписывают местечку Сороки или Соколы.

Верстах в сорока от Орхея, на Днестре, в вершине береговых скал, есть монастырь Городище. Смотря снизу, от реки, кельи кажутся норами птиц, скалы стоят стеной. Взобравшись на гору, в объезд по каменистой крутой дороге, вы найдете там несколько домов, принадлежащих к монастырю, обитель настоятеля и сады. Настоятель поведет вас чрез сады к вершине скалы; вышина ужаснет вас, когда вы приблизитесь к обрыву и станете спускаться по узенькой, вырубленной снаружи лесенке. По положенной над обрывом доске вы перейдете в старую церковь и в искусственные пещеры, вырубленные в камне; в последнюю должно пролезать сквозь узкий проруб. Здесь хранится несколько старых оружий, и широкое отверстие наружу заделано толстыми дубо-

выми досками, в которых прорублены ружейные амбразуры. Говорят, что здесь в старину христиане скрывались от татар. Возвратившись на уступ скалы, составляющей площадку, вы помолитесь богу в новой церкви, вырубленной также в камне, посетите трапезную и калугерей в их пещерах с одним окошком и трубой, выведенной наружу скалы. Высота скалы над Днестром до ста сажень. Настоятель вас угостит вином своих садов и сотами меду, и вы, расставаясь с монастырем Городищем, скажете в душе то же, что сказал Гете, расставаясь с обителью Мельк на Дунае. Продолжая путь по Днестру и не доезжая верст трех до монастыря Сорóк, вы увидите в скалах следы подобной же обители, как и в Городище, но давно уже оставленной.

От монастыря Сорóк, проезжая в Хотин, где также есть готской архитектуры замок, почти во всем Хотинском цынуте вы встретите совсем уже другой мир и подумаете, что какая-то сила внезапно вас перенесла в Малороссию. Тут живут руснаки (так они сами себя называют), ящероглазые сарматы, родовитые бессы. Готический замок Хотина над самым Днестром, на береговом холме, обнятом лощиной, похож на замок Конвай в Бретани. Теперь он составляет уже цитадель крепости. До приобретения Хотина рýсскими этот город считался сильнейшим во всей Молдавии. Он известен победой Владислава, одержанной над султаном Османом в 1621 году. В 1674 году турки при Хотине разбиты Яном Собесским, который спас Вену от осады Магометом IV в 1683 году. По трактату Хотинскому, заключенному в 1622 году, Польша приобрела право иметь своих легатов в Константинополе. В это время была основана королем Польским в Хотине школа восточных языков, для чего и были выписаны учителя из Константинополя. В этом-то заведении Ян Собесский и его брат Марко — дети Якова Собесского, бывшего каштеляном Краковским и уполномоченным послом в Турции в 1621 году,— приготовлялись к путешествию на Восток. Постигнувшие Польшу перемены были причиной уничтожения этой школы.

Из Хотина, проезжая берегом Днестра, гористое местоположение нигде не изменяет красотам природы: везде утесы, везде звучные серебристые ручьи, пробирающиеся к реке от вершин глубоких, покрытых лесом *вале* (долина, лощина), везде селения в садах,— но уже названия селений не кончаются на *шти:* не Минчешти,

не Телешти, а Рашковцы, Рогатин и др. Селение Онуты — предел русскому Днестру. Граница с Австрией тянется влево вверх по ручью, потом через высоты по дороге лесом и снова речкой Ракитной, впадающей в реку Прут при местечке Новоселицах. Солдаты пограничного австрийского гарнизона молча расхаживают подле пикетов, с ружьями в левой руке и с тростью в правой; в пограничных селениях, на «мустерплаце», видны маленькие фронты, слышен барабан и «ейн-цвей». Австрийские пикеты построены огромными землянками, на которых стены, однако же, забраны толстыми досками в предохранение от сырости.

От местечка Новоселиц до местечка Липкан на нашей стороне отлогий берег, покрытый селениями; нагорная же сторона Молдавии одета густым лесом. От Липкан до местечка Скулян, вниз по Пруту, подъезжая к реке Чугуру, долина прутская перегорожена природной гранитной стеной с гребнем; но для протока реки она как будто раздвинулась и образовала ворота. Это место называется Костешти; лежащее подле селение так же называется; с нашей стороны в скалах есть пещеры. Извилистая река Прут ежегодно подмывает, особенно весной, нагорные берега свои, а в продолжение нескольких лет совершенно изменяет свое русло, извиваясь, как змея, в своей широкой долине. Во многих местах перешейки огромных *кутов* или пространств берега, обвиваемых ею вроде полуострова, не более нескольких сажень, так что каждое наводнение грозит прорывом, и тогда подобный кут с турецкой стороны, со всеми селениями, может отойти к России, а кут с нашей стороны будет отмежеван к Турции — без присутствия членов комиссии разграничения земель двух государств. Кажется, что в селении Маршинцах, близ местечка Новоселиц, в 1819 году подле дома помещика был огромный сад на берегу реки, в 1821 году оставалась уже половина сада, а в 1825 году дом стоял уже над обрывом; теперь на месте дома, я думаю, протекает уже река, а через несколько лет и весь берег, на котором лежит селение, поступит во владение прутских вод, хотя мутных, но необыкновенно мягких, здоровых и заключающих в себе минеральные частицы. В верхней же части Прута, но не помню где, Прут подмыл в продолжение нескольких лет гору, в 1825 году добрался до самого хребта и перед самым моим приездом отвалил вершину, раскроив пополам находящийся на ней огромный курган; под самым

курганом, на сажень от поверхности протяжного хребта, оскалился длинный ряд гробов, один подле другого; гробы были сколочены из толстых дубовых досок ящиками без расширения кверху; дерево почернело от времени. Археологическое желание порыться в древних гробах не могло быть удовлетворено, ибо ни снизу, ни сверху к ним не было приступу. Несколько верст ниже Костешти подобное же следствие есть древнего обвала высокого берега на пространстве нескольких верст; вся насыпная набережная, от самого утеса обвалившаяся, усеяна курганами, которые называются *Сута Можиле,* но это не те Сто Могил, в которых ищут кладбища Скифских царей.

От местечка Скулян, по дороге в Кишинев, почти на половине дороги к почте Резени, перед подъемом на лесистый хребет, который тянется от Магурской высоты, на оконечности выдавшегося отрога, на самом пути, стоит каменный столб; тут на вершине, в изображении герба, с четырех сторон надписи о времени смерти Потемкина и стихи, сколько мне помнится, следующие:

> На месте сем он кончил путь средь поль;
> Вот жизни славныя плачевная юдоль!

До 1825 года здесь пролегала почтовая дорога из Ясс через Скуляны в Кишинев, и скромный памятник низвергнутого смертью величия напоминает каждому проезжему суету сует и всяческую суету. Но теперь почтовая дорога для объезда хребта отведена на несколько верст ниже, а памятник остался на холме у мрачного подножия крутизны, которую стоило бы назвать «Тщеславием».

III

В исходе 1820 года и в начале 1821 года зима в Кишиневе проходила очень весело; помнится мне, что в этот год не было зимы: зимние месяцы были похожи на прекрасное сентябрьское время, не выпало ни одного клока снегу.

Наше время проходило на вечерах и балах, часто у наместника, куда собиралась вся знать кишиневская, а иногда в доме Александра Кантакузина и других. В то время в Валахии возникло уже восстание. В голове его был некто Федор Владимиреско, командовавший во время войны русских с турками отрядом пандур. Но

целью этого восстания было избавление себя от ига фанариотов, назначаемых в князья Молдавии и Валахии. Покуда Порта назначала Каллимахи господарем Валахии по смерти Александра Суццо, Владимиреско овладел уже всею Малою Валахией. Никто не предвидел, чтобы эта искра была началом етерии (товарищества во имя спасения Греции) и имела бы те последствия, которые совершились на глазах наших.

Однажды, на балу у наместника, явилось новое лицо — статный русский кавалерийский генерал, правая рука его была обшита и подвязана черным платком. Я бы не обратил особенного на него внимания, если бы он не стал танцевать мазурки. «Кто это такой?» — спросил я. «Князь Александр Ипсиланти»,— отвечали мне. Этим ответом я удовольствовался.

Через несколько дней бал у князя Кантакузина, и я опять не предвидел, что в толпе беззаботных есть два исторических лица, замышляющих новую будущность Греции. Прислонившись к столику, стоял задумчиво худощавый адъютант. Не помню, познакомили меня с ним или случайно завязался у нас разговор, но мы обменялись несколькими словами; помню только, что я удивился его худобе. Сжатое его лицо, нос несколько орлиный, голова почти лысая, не более фута в плечах, ноги — как флейты, в рейтузах с лампасами, нисколько не предвещали будущего полководца Греции Дмитрия Ипсиланти.

От разговора с ним я был отвлечен несколькими женскими голосами, которые повторяли: «Monsieur le prince, dansez donc! Dansez, Nicolas, au moins une seule figure!» [1] Но гвардеец отказывался. С трудом, однако же, уговорили его пройти один только круг. Он уступил просьбам; прекрасный собою, ловкий мужчина превзошел всех поляков в ловкости танцевать мазурку. «Кто это?» — спросил я у княгини Кантакузиной. «C'est le prince Nicolas Ipsylanti! Ah, comme il danse!» [2]

Три брата Ипсиланти приехали в отпуск; не прошло нескольких дней, как мы узнали, что все трое они тайно уехали уже в Молдавию. Вскоре намерения их объяснились. В марте 1821 года князь Александр Ипсиланти издал воззвание к грекам. Я был в то время в Тираспо-

[1] «Танцуйте же, князь! Станцуйте, Николай, хотя бы одну фигуру» *(фр.)*.
[2] «Это князь Николай Ипсилант! Ах, как он танцует!» *(фр.)*

ле. Влияние этого воззвания сильно подействовало на греков и в границах России; из Одессы шли и ехали толпы греков чрез Тирасполь, Бендеры и Кишинев в Молдавию. Везде снабжались они тайно агентами етерии средствами к пути; они тогда уже пели славную песню новых греков: «Λεῦτε, παττες τῶν' Ελληνων!»[1]. С весной границы наши огласились уже оружием боя етеристов с турками. Последовавшее передвижение войск шестого корпуса для подкрепления границ на всякий случай внушало тогда какое-то участие к грекам и желание войны с турками.

Я отправлял тогда должность обер-квартирмейстера и получил предписание прибыть в Кишинев, несмотря на разлив Днестра. Я отправился ночью, подъехал к карантину Парканскому и видел уже не реку перед собою, но море, и вдали крепость Бендеры как на острове. Лодки переправы были за наводнением. Убеждение карантинных чиновников переждать ночь не остановило меня. Стоя на почтовой карете, я пустился вплавь, доехал счастливо до места переправы; но надо было еще грозить через реку паромщикам, которые были за рекой на островку, образовавшемся из кургана. Они не решались перевозить, но угрозы подействовали: они приплыли на сплоченных двух лодках, и я переправился на островок, послал в Бендеры за лошадьми и снова вплавь доехал до нагорного берега. У молодости как будто несколько жизней в запасе.

Когда я приехал в Кишинев, это был уже не тот город, который я оставил за два или за три месяца. Народ кишел уже в нем. Вместо двенадцати тысяч жителей тут было уже до пятидесяти тысяч на пространстве четырех квадратных верст. Он походил уже более на стечение народа на местный праздник, где приезжие поселяются кое-как, целые семьи живут в одной комнате. Но не один Кишинев наполнился выходцами из Молдавии и Валахии; население всей Бессарабии по крайней мере удвоилось. Кишинев был в это время бассейном князей и вельможных бояр из Константинополя и двух княжеств; в каждом дому, имеющем две-три комнаты, жили переселенцы из великолепных палат Ясс и Букареста. Тут был проездом в Италию и господарь Молдавии Михаил Суццо; тут поселилось семейство его, в котором блистала красотой Ралу Суццо; тут была фамилия Мав-

---

[1] «Гей вы, дети всей Эллады!» *(гр.)*

рокордато, посреди которой расцветала Мария, последняя представительница на земле классической красоты женщины. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что Еллада, в виде божественной девы, появилась на земле, чтобы вскоре исчезнуть навеки. Прежде было приятно жить в Кишиневе, но прежде были будни перед настоящим временем. Вдруг стало весело даже до утомления. Новые знакомства на каждом шагу. Окна даже дрянных магазинов обратились в рамы женских головок; черные глаза этих живых портретов всегда были обращены на вас, с которой бы стороны вы ни подошли, так как на портретах была постоянная улыбка.

На каждом шагу загорался разговор о делах греческих: участие было необыкновенное. Новости разносились, как электрическая искра, по всему греческому миру Кишинева. Чалмы князей и кочулы бояр разъезжали в венских колясках из дома в дом, с письмами, полученными из-за границы. Можно было выдумать какую угодно нелепость о победах греков и пустить в ход; всему верили, все служило пищей для толков и преувеличений. Однако же, во всяком случае, мнение должно было разделиться надвое: одни радовались успехам греков, другие проклинали греков, нарушивших тучную жизнь бояр в княжествах. Молдаване вообще желали успеха туркам и порадовались от души, когда фанариотам резали головы, ибо в каждом видели будущих господарей своих.

Между тем в саду выстроилась зала клубная, в которой победа была всегда на стороне военных, а в зале Крупенского открыли театр немецкой труппы актеров, переселившейся из Ясс, которая продекламировала нам всего Коцебу, причем не были упущены, к удовольствию публики, и балеты.

Между тем в Молдавии дела шли очень плохо; у главнокомандующего греческих войск не было войска, у начальника его штаба не было текущих дел. В составляемую Ипсиланти гвардию, под именем «бессмертного полка», шли только алчущие хлеба, но не жаждущие славы; весь же боевой народ — арнауты, пандуры, гайдуки, гайдамаки и талгари — нисколько не хотел быть в числе бессмертных и носить высокую мерлушковую *кушму* (шапку), украшенную Адамовой головой. Им не нравилось управление штаба и гораздо было привольнее в шайках Йоргаки Олимпиота и Тодора Владимиреско, которого цели были совсем иные. Вместо того чтобы со-

единиться с Ипсиланти, он отвечал ему: «Ваша цель совершенно противоположна моей. Вы подняли оружие на освобождение Греции, а я — на избавление своих соотечественников от греческих князей. Ваше поле не здесь, а за Дунаем; вы боритесь с турками, а я буду бороться с злоупотреблениями». Таким образом, Ипсиланти был не в своей тарелке; его маневры против турок не удались, и он принужден был оставить поле чести, предав вечному проклятию бояр Савву Дуку, Василия Парлу, Георгия Мано, Григораша Суццо, Николая Скуфо и Василия Каравию. Остаток армии етеристов был преследован турками до переправы Скулянской через Прут. Здесь был последний бой пред вратами спасения. В это время от ожесточенных турок сбежались толпы жителей Молдавии к переправе. Истощив последние силы, сжатые турками в кучу, етеристы бросили оружие, побежали к переправе, смешались с переправляющимся народом; но турки ринулись к переправе и воздержались только готовностью нашей батареи, а между тем испуганные беглецы кинулись вплавь через реку, переплывали и тонули, подстреливаемые турками. Почти этим, исключая нескольких битв в оградах монастырей Молдавии и Валахии, кончилась етерия этих княжеств.

Не помню, но, кажется, в исходе этого года пронеслись слухи, что едет в Кишинев прославленный уже юный поэт Пушкин. Пушкин приехал в Кишинев в то время, как загорелась греческая война; не помню, но кажется, что он был во время Скулянского дела, и стихотворение «Война» внушено ему в это время общего голоса, что война с турками неизбежна:

Война!.. Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести,
Засвищет вкруг меня губительный свинец!

И наконец, в конце он с нетерпением восклицает:

Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?..

В это время исполнял должность наместника Бессарабии главный попечитель южных колоний России генерал Инзов. Вскоре узнали мы, что под его кровом живет Пушкин. Наконец Пушкин явился в обществе кишиневском.

Здесь не пропущу я следующее, касающееся до тогдашнего моего самолюбия. В Кишинев русская поэзия еще не доходила. Правда, там, за несколько лет до меня, жил Батюшков; но круг военных русских его времени переменился; с переменой лиц и память об нем опять исчезла; притом же он пел в тишине, и звуки его не раздавались на берегах Быка. После него первый юноша со склонностью плести рифмы был я; хотя эта склонность зародилась еще на двенадцатом году в молельной комнате Московского университетского благородного пансиона, и потом, воспаленная песнью В. А. Жуковского «Во стане русских воинов», породившею трагикомедию «Изгнание французов из Москвы», была самая жалкая, но я между товарищами носил имя «кишиневского поэта». Причиною этому названию были стихи на Кишиневский сад, в которых я воспел всех посещающих оный, профанически подражая воспеванию героев русских. Не стыдясь, однако, пеленок своих, я сознаюсь, что если чудные звуки В. А. Жуковского породили во мне любовь к поэзии, то приезд Пушкина в Кишинев породил чувство ревности к музе. Но все мое поприще ограничивалось письмами; по какой-то непреодолимой страсти я не мог написать всего письма в прозе: непременно, нечувствительно прокрадывались в него рифмы. Да еще я начинал писать какую-то огромную книгу в стихах и прозе (заглавия не помню; кажется, «Этеон и Лаида»), что-то вроде поэмы из крестовых походов,— только действие на Ниле. Встречая Пушкина в обществе и у товарищей, я никак не умел с ним сблизиться: для других в обществе он мог казаться ровен, но для меня он казался недоступен. Я даже удалялся от него, и сколько я могу понять теперь тайное, безотчетное для меня тогда чувство, я боялся, чтобы кто-нибудь из товарищей не сказал ему при мне: «Пушкин, вот и он пописывает у нас стишки».

Слава Пушкина в Кишиневе гремела только в кругу русских; молдавский образованный класс знал только, что поэт есть такой человек, который пишет «поэзии». Пушкин заметнее других, носящих фрак, был только потому, что принадлежал, по их мнению, к свите наместника; в обществе же женщин шитый мундир, статность, красота играли значительнее роль, нежели слава, приобретенная гусиным пером. Однако ж живым нравом и остротой ума Пушкин вскоре покорил и внимание молдавского общества; все оригинально-странное не ушло

от его колючих эпиграмм, несмотря на то, что он их бросал в разговоры как будто только по одной привычке: память молодежи их ловила на лету и носилась с ними по городу.

Отец Пульхерии, некогда стоявший с чубуком в руках на запятках *бутки* (коляски) ясского господаря Мурузи, но потом владетель больших имений в Бессарабии, председатель палаты и откупщик всего края, во время Пушкина жил открыто; ему нужен был зять русский, сильная рука которого поддержала бы предвидимую несостоятельность по откупам. Предчувствуя сбирающуюся над ним грозу, он пристроил к небольшому дому огромную залу, разрисовал ее как трактир и стал давать балы за балами, вечера за вечерами. Свернув под себя ноги на диване, как паша сидел он с чубуком в руках и встречал своих гостей приветливым: «пуфтим» (просим). Его жена, Марья Дмитриевна, была во всей форме русская говорливая гостеприимная помещица; Пульхерица была полная, круглая, свежая девушка; она любила говорить более улыбкой, но это не была улыбка кокетства, нет, это просто была улыбка здорового, беззаботного сердца. Никто не припомнит из знавших ее в продолжение нескольких лет, что она на кого-нибудь взглянула особенно; казалось, что б каждый, кто бы он ни был и каков бы ни был, для нее был не более как человек с головой, с руками и с ногами. На балах со всеми кавалерами она с одинаковым удовольствием танцовала, всех одинаково любила слушать, и Пушкину так же, как и всякому, кто умел ее рассмешить или польстить ее самолюбию, она отвечала: «Ah, quel vous êtes, monsieur Pouchkine!»[1]. Пушкин особенно ценил ее простодушную красоту и безответное сердце, не ведавшее никогда ни желаний, ни зависти.

Но Пульхерица была необъяснимый феномен в природе; стоит, чтоб сказать мои сомнения насчет ее. Многие искали ее руки, отец и мать изъявляли согласие, но, едва желающий быть нареченным приступал к исканию сердца, все вступления к объяснению чувств и желаний Пульхерица прерывала: «Ah, quel vous êtes! Qu'est-ce que vous badinez!»[2]. И все отступались от исканий; сердца ее никто не находил; может быть, его и не было, или по крайней мере оно было на правой стороне, как

[1] Ах, какой вы, мосье Пушкин! *(фр.)*
[2] Ах, какой вы! Все-то вы шутите! *(фр.)*

у анатомированного в Москве солдата. Когда по делам своим отец ее предвидел худую будущность, он принужден был влюбиться, вместо дочери, в одного из моих товарищей, но товарищ мой не прельщался несколькими стами тысяч приданого и поместьями бояр. «Мусье Горчаков,— говорил ему Варфоломей,— вы можете положиться на мою любовь и уважение к вам».— «Помилуйте, я очень ценю вашу привязанность, но мне не с вами жить».— «Поверьте мне, что она вас любит»,— говорил Варфоломей. Но товарищ мой не верил клятвам отцовским.

Смотря на Пульхерию, которой по наружности было около восемнадцати лет, я несколько раз покушался думать, что она есть совершеннейшее произведение не природы, а искусства. «Отчего,— думал я,— у Варфоломея только одна дочь, тогда как и он и жена еще довольно молоды?» Все движения, которые она делала, могли быть механическими движениями автомата. «Не автомат ли она?» И я присматривался к ее походке: в походке было что-то странное, чего и выразить нельзя. Я присматривался на глаза: прекрасный, спокойный взор двигался вместе с головою. Ее лицо и руки так были изящны, что мне казались они натянутою лайкой. Но Пульхерия говорит... Говорил и Альбертов андроид с медным лбом. Я обращал внимание на ее разговоры; она все слушала кавалера своего, улыбалась на его слова и произносила только: «Qu' est-ce que vous dites? Ah, quel vous êtes!», и иногда: «Qu'est-ce que vous badinez?» [1]. Голос ее был протяжен, в произношении что-то особенное, необъяснимое. «Неужели это — новая Галатея?» — думал я... Но последний опыт так убедил меня, что Пульхерия — не существо, а вещество, что я до сих пор верю в возможность моего предположения. Я замечал: ест ли она. Поверит ли мне кто-нибудь? Она не ела; она не садилась за большой ужин, ходила вокруг столиков, расставленных вокруг залы, за которыми располагались гости по произволу кадрилями, обращаясь то к тому, то к другому, она повторяла: «Pourquoi ne mangez-vous pas?» [2]. И если кто-нибудь отвечал, что он устал и не может есть, она говорила: «Ah, quel vous êtes!» — и отходила.

---

[1] Что вы говорите? Ах, какой вы!.. Все-то вы шутите? *(фр.)*

[2] Почему вы не кушаете? *(фр.)*

«Пульхерия не существо,— думал я,— но каким же образом ее отец, сам ли гений механического искусства или приобретший за деньги механическую дочь, хлопочет, чтоб выдать ее замуж?» И тут находил я оправдание своего предположения: ему нужно утвердить за дочерью бóльшую часть богатства, чтоб избежать от бедствий несостоятельности, которую он предвидел уже по худому ходу откупов; зятю же своему он запер бы уста золотом; притом же кто бы решился рассказывать, что он женился на произведении механизма?

Странно, однако, что никто не женился на Пульхерии. Спустя восемь лет я приезжал в Кишинев и видел вечную невесту в саду кишиневском: она была почти та же, механизм не испортился, только лицо немного поистерлось.

Пушкин часто бывал у Варфоломея. Добрая, таинственная девушка ему нравилась — нравилось и гостеприимство хозяев. Пушкин посвятил несколько стихов Пульхерице, которые я, однако же, не припомню.

Происходя из арапской фамилии, в нраве Пушкина отзывалось восточное происхождение В нем проявлялся навык отцов его к независимости, в его приемах — воинственность и бесстрашие, в отношениях — справедливость, в чувствах — страсть благоразумная, без восторгов, и чувство мести всему, чтó отступало от природы и справедливости. Эпиграмма была его кинжалом. Он не щадил ни врагов правоты, ни врагов собственных, поражал их прямо в сердце, не щадил и всегда готов был отвечать за удары свои.

Я уже сказал, что Пушкин, по приезде, жил в доме наместника. Кажется, в 1822 году было сильное землетрясение в Кишиневе; стены дома треснули, раздались в нескольких местах; генерал Инзов принужден был выехать из дома, но Пушкин остался в нижнем этаже. Тогда в Пушкине было еще несколько странностей, быть может, неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти длиннее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постели и стрелял из пистолета в стену. Но уединение посреди развалин наскучило ему, и он переехал жить к Алексееву. Утро посвящал он вдохновенной прогулке за город, с карандашом и листом бумаги: по возвращении лист весь был исписан стихами, но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин; из них-то составлялись роскошные нити событий

в поэмах: «Кавказский пленник», «Разбойники», начало «Онегина» и мелкие произведения, напечатанные и ненапечатанные. Во время этих-то прогулок он писал «К Овидию» и сказал:

Но если обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенной,—
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье...

Здесь, лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я в те дни, как на брега Дуная
Великодушный грек свободу вызывал,
И ни единый друг мне в мире не внимал,—
Но не унизил в век изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.

Вероятно, никто не имеет такого полного сборника всех сочинений Пушкина, как Алексеев. Разумеется, многие не могут быть изданы по отношениям.

Чаще всего я видал Пушкина у Липранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни. К нему собиралась вся военная молодежь, в кругу которой жил более Пушкин. Живая, веселая беседа, écarté [1] и иногда pour varier [2], «направо и налево», чтоб сквитать выигрыш. Иногда забавы были ученого рода. В Кишинев приехал известный физик Стойкович. Узнав, что он будет обедать в одном доме, куда были приглашены Липранди и Р<аевский>, они сговорились поставить в тупик физика. Перед обедом из первой попавшейся «Физики» заучили они все значительные термины, набрались глубоких сведений и явились невинными за стол. Исподволь склонили они разговор о предметах, касающихся физики, заспорили между собою, вовлекли в спор Стойковича и вдруг нахлынули на него с вопросами и смутили физика, не ожидавшего таких познаний в военных.

Читателям «Евгения Онегина» известна фамилия *Ларин*. Ларин — родня Илье Ларину, походному пьяному шуту, который потешал нас в Кишиневе. Отставной унтер-цейгвахтер Илья Ларин, подобно Кохрену, был enjambeur [3] и исходил всю Россию кругом не по страсти путешествовать, но по страсти к разнообразию для сни-

---

[1] карточный термин *(фр.)*.
[2] для разнообразия *(фр.)*.
[3] Здесь: ходок, бродяга *(фр.)*.

скания пищи и особенно пития между военной молодежью. Не имея ровно ничего, он не хотел быть нищим, но хотел быть везде гостем. Прибыв пешком в какой-нибудь город, он узнавал имена офицеров и, внезапно входя в двери с дубиной в руках, протягивал первому руку и говорил громогласно: «Здравствуй, малявка! Ну, братец, как ты поживаешь? А, суконка, узнал ли ты Ларина, всесветного барина?» Подобное явление, разумеется, производило хохот, а Ларин между тем без церемоний садился, пил и ел все, что только стояло на столе, и, вмешиваясь в разговор, всех смешил самым серьезным образом. Покуда странность его была новостью, он жил в обществе офицеров, переходя гостить от одного к другому; но когда начинали уже ездить на нем верхом и не обращали внимания на его хозяйские требования, он вдруг исчезал из города и шел далее незваным гостем. Ларин явился в Кишинев во время Пушкина как будто для того, чтоб избавить его от затруднения выдумывать фамилию для одного из лиц «Евгения Онегина».

Чья голова невидимо теплится перед истиной, тот редко проходит чрез толпу мирно; раздраженный неуважением людей к своему божеству, как человек, он так же забывается, грозно осуждает чужие поступки и, как древний диар, заступается за правоту своего приговора: на *поле* дело решается *божьим судом*... Верстах в двух от Кишинева, на запад, есть урочище посреди холмов, называемое Малиной,— только не от русского слова *малина:* здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаем «полю». Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору по извивающейся между виноградными кустами тропинке. На лугу под сенью яблонь и шелковиц, близ дубовой рощицы, стряпчие вымеряют поле, осматривают, не заколдовано ли оружие, изготовляют их, а между тем подсудимые сбрасывают с себя платье и становятся на место. Здесь два раза «полевал» и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издали одного «поля», и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах.

Пушкин так был пылок и раздражителен от каждого неприятного слова, так дорожил чистотой мнения о себе, что однажды в обществе одна дама, не поняв его шутки, сказала ему дерзость. «Вы должны отвечать за дерзость жены своей»,— сказал он ее мужу. Но бояр равнодушно объяснил, что он не отвечает за поступки жены своей. «Так я вас заставлю знать честь и отвечать за нее»,— вскричал Пушкин, и неприятность, сделанная Пушкину женою, отозвалась на муже. Этим все и заключилось: только с тех пор долго бояре дичились Пушкина; но время скоро излечило рожу на лице Тодора Балша, и он теперь заседает в диване князя Молдавии.

Я полагаю, что поэма «Разбойники» внушена Пушкину взглядом на талгаря Урсула (*талгарь* — разбойник, *урсул* — медведь). Это был начальник шайки, составившейся из разного сброда войнолюбивых людей, служивших етерии молдавской и перебравшихся в Бессарабию от преследования турок после Скулянского дела. В Молдавии и вообще в Турции разбойники разъезжают отрядами по деревням, берут дань, пируют в корчмах, и их никто не трогает. Урсул с несколькими из отважных ограбил на дороге от Бендер к Кишиневу купца. Вздумали пировать в корчме при въезде в город. В то время еще никто не удивлялся, видя несколько вооруженных с ног до головы арнаутов; но ограбленный Урсулом прибежал в Кишинев и, заметив разбойников в корчме, закричал: «Талгарь, талгарь!» Народ сбежался; письменная почта была подле; почтмейстер Алексеев, отставной храбрый полковник гусарский, собрал команду почтальонов и бросился с ними к корчме, дав знать между тем жандармскому командиру. Урсул с товарищами, видя себя окруженным, вскочив на коней, понеслись во весь опор чрез город. Только крики: «Талгарь, талгарь!» — успевали их преследовать по улицам. Народ заграждал им путь, но выстрелами прокладывали они себе дорогу вперед, однако же выбрали плохой путь — через Булгарию (улицу Булгарскую). Булгары осыпали их и принудили своротить в сторону к огородам. Огороды лежали на равнине по берегу Быка. Принадлежа разным владельцам, все пространство было в загородях. Лихие кони разбойников перелетали через плетни, но загородок было много, а толпы булгар преследовали их бегом и догоняли; постепенно утомленные кони падали с отважными седоками, и булгары, как пчелы, осыпали

их и перевязывали. На окованного Урсула съезжался смотреть весь город. Это был образец зверства и ожесточения, когда его наказали, он не давался лечить себя, лежал осыпанный червями, но не охал. Я уверен, что Урсул подал Пушкину мысль написать картину «Разбойников», в которой он подражал рассказу Байрона в «Шильонском узнике» только привычным своим размером.

Точно так же и кочующие цыгане по Бессарабии подали мысль написать Пушкину картину «Цыган», хотя это несчастное племя Ром [1], истинные потомки плебеев римских, изгнанные илоты, там не столь милы, как в поэме Пушкина.

Говоря о цыганах бессарабских и молдавских, должно упомянуть, что они издавна составляют собственность рабов боярских, между тем как молдаване — народ вольный, зависящий только от земли. В Бессарабии есть несколько деревень, землянок цыганских; по большей части они живут на краях селений в землянках, платят владетелю червонец с семьи и отправляются табором кочевать по Бессарабии на заработки. Они — или ковачи, или певцы-музыканты; скрипица и кобза — два инструмента их. Лошадиной меной там они не занимаются. Почти каждая деревня Бессарабии нанимает постоянно двух или несколько цыган-музыкантов для *джоков* (хороводной пляски) по воскресеньям и во время свадеб. Почти каждый бояр также содержит у себя несколько человек музыкантов. В дополнение вся почти дворня каждого бояра состоит из одних цыган, повара и служанки из цыган. Служанки в лучших домах ходят босиком, повара — чернее вымазанных смолою чумаков, и если вы сильно будете брезгливы, то не смотрите, как готовится обед в кухне, которая похожа на отделение ада: это — страшно! Их кормят одной *мамалыгой* или мукой кукурузною, сваренной в котле густо, как саламата. Ком мамалыги вываливают на грязный стол, разрезывают на части и раздают; кто опоздал взять свою часть, тот имеет право голодать до вечера. По праздникам прибавляют к обеду их гнилой *бринзы* (творог овечий). Зато не нужно мыть тарелок во время обедов бо-

---

[1] Так называют себя цыгане. Если вы спросите у цыгана: кто он, цыган будет отвечать: «Романе гове» (сын Рима, римлянин). Цыгане суть действительно племя первобытных римлян. (*Прим. А. Ф. Вельтмана*).

ярских: эти несчастные оближут их чисто-начисто. Я не говорю, чтоб это было так везде, но так по большей части; по одному, по нескольким примерам я бы даже не упомянул об этом, но это — просто обычай в Бессарабии, в Молдавии и Валахии, во всяком доме, где огромная дворня цыган составляют прислугу. Страсть к наружному великолепию и вместе отвратительная неопрятность de la maison culinaire [1] невозможно достаточно сблизить в воображении.

Войдите в великолепный дом, который не стыдно было бы перенести на площадь какой угодно из европейских столиц. Вы пройдете переднюю, полную арнаутов, перед вами приподнимут полость сукна, составляющую занавеску дверей; пройдете часто огромную залу, в которой можно сделать развод; перед вами вправо или влево поднимут опять какую-нибудь красную суконную занавесь, и вы вступите в диванную; тут застанете вы или хозяйку, разряженную по моде европейской, но сверх платья в какой-нибудь кацавейке, *фермеле* — без рукавов, шитой золотом, или застанете хозяина, про которого невольно скажете:

Он важен, важен, очень важен:
Усы в три дюйма, и седа
Его в два локтя борода,
Янтарь в аршин, чубук в пять сажен.
Он важен, важен, очень важен.

Вас сажают на диван; арнаут в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, в кованной из серебра позолоченной броне, в чалме из богатой турецкой шали, перепоясанный также турецкою шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен кисейный, шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный мундштук,— подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время босая, неопрятная цыганочка, с всклоченными волосами, подает на подносе дульчец и воду в стакане. А потом опять пышный арнаут или нищая цыганка подносят *каву* в крошечной фарфоровой чашечке без ручки, подле которой на подносе стоит чашечка серебряная, в которую вставляется чашечка с кофе и подается вам. Турецкий кофе, смолотый и стертый в пыль, сваренный крепко, подается без отстоя.

---

[1] Кухни *(фр.)*.

Между девами-цыганками, живущими в доме, можно найти Земферску, или Земфиру, которую воспел Пушкин и которая, в свою очередь, поет молдавскую песню:

Арды ма, фрыджи ма,
На карбуне пуне ма!
(Жги меня, жарь меня, на уголья клади меня.)

Но посреди таборов нет Земфиры.

Я сказал уже, что я боялся не только говорить, но даже быть вместе с Пушкиным; но странный случай свел нас. Заспорив однажды с кем-то, что фамилия Таушев, произносящаяся *у* с краткой, должна и писаться правильно с краткой, ибо письмо не должно изменять произношению, я доказывал, что должно ввести в употребление *у* с краткой, и привел наобум следующие четыре стиха:

Жуковский, Батюшков и Пушкин —
Парнаса русского певцы,
Пафнутьев, Таушев и Слепушкин —
Шестого корпуса писцы.

— Над *у* не должно быть краткой, *и* — лишнее в стихе; должно сказать:

Пафнутьев, Таушев, Слепушкин,—

кричали все. Я из себя выходил, доказывая, что если в произношении *у* — краткое, то *и* должно быть. В это время вошел Пушкин; ему объяснили спор; он был против меня, и тщетно я уверял, что *у* в фамилии Таушев — то же, что краткое *и*, и что, следовательно, в стихе:

Пафнутьев, Таушев и Слепушкин,

и необходимо. Ничто не помогло: Пушкин не хотел знать *у* с краткой.

Вскоре Пушкин, узнав, что я тоже пописываю стишки и сочиняю молдавскую сказку в стихах, под заглавием «Янко-чабан» (пастух Янко), навестил меня и просил, чтоб я прочитал ему что-нибудь из «Янка». Три песни этой нелепой поэмы-буффы были уже написаны; зардевшись от головы до пяток, я не мог отказать поэту и стал читать. Пушкин хохотал от души над некоторыми местами описаний моего «Янка», великана и дурня, который, обрадовавшись, так рос, что вскоре не стало места в хате отцу и матери и младенец, проломив ручонкой стену, вылупился из хаты, как из яйца.

Через несколько дней я отправился из Кишинева и не видел уже Пушкина до 1831 года. Он посетил *странника* уже в Москве. «Я непременно буду писать о «Страннике»,— сказал он мне. В последующие свидания он всегда напоминал мне об этом намерении. Обстоятельства заставили его забыть об этом; но я дорого ценю это намерение.

«Пора нам перестать говорить друг другу *вы*»,— сказал он мне, когда я просил его в собрании показать жену свою. И я в первый раз сказал ему: «Пушкин, ты — поэт, а жена твоя — воплощенная поэзия». Это не была фраза обдуманная: этими словами невольно только высказалось сознание умственной и земной красоты.

Теперь где тот, который так таинственно, так скрытно даже для меня пособил развертываться силам остепенившегося *странника*?..



КОСТЕШТСКИЕ СКАЛЫ

Рассказ

В тысяча восемьсот таком-то году один юный *офицер-ди-императ*[1] сидел в белой, раскрашенной вавилонами снаружи и внутри *касе*[2] селения Каменки; сидел в сонливом, а может быть, и грустном положении, склонив голову на перекрещенные руки на столе.

— *Боер дорми?* Боярин спит? — спросила хорошенькая, миленькая Ленкуца, дочь хозяйская, входя в комнату с букетом цветов в руках.

Юный офицер, которого мы назовем хоть Световым, молчал.

— *Яка, флоаре*! Посмотри-ка, вот цветы! — сказала Ленкуца нежно.

— Эй, кто тут есть! Скоро ли лошади? — вскричал юный *офицер-ди-императ*, подняв голову.

Взор его был мрачен.

— Я давно сказал Афанасьеву, чтоб запрягал,— отвечал, притворив двери, денщик.

Офицер опять склонил голову на руки.

— Ты сердишься? — сказала Ленкуца печальным голосом.

— А тебе что за дело? — сказал Светов, приподняв голову.

---

[1] Так называли молдаване офицеров свиты его императорского величества по квартирмейстерской части, производящих съемку земель Бессарабии. *(Прим. А. Ф. Вельтмана.)*

[2] доме, хате *(молд.)*.

Взоры его блеснули, как у победителя.

— Как что за дело? — отвечала Ленкуца.

— Так ты любишь меня, Ленкуца?

— Нет.

— Как нет?

— Я и хотела бы, да не могу тебя любить...

— Отчего, Ленкуца? Скажи, драгуца моя.

— Оттого, что ты любишь другую.

— Это кто тебе сказал?

— Я сама знаю. Ты только в будни говоришь, что любишь меня, а сам всякой праздник уезжаешь бог знает куда.

— Что ж такое?

— Как что? Кто любит, тот праздники проводит с теми, кого любит... Вот и сегодня едешь...

— Я езжу к товарищам.

— И, полно! Что ты нашел у товарищей?

— Уверяю тебя, Ленкуца.

— Если ты любишь меня, так не поедешь.

— Мне до́лжно ехать.

— Так поезжай! — сказала Ленкуца, вырвав свою руку из рук Светова и быстро выходя из комнаты.

Казалось бы, что одно только образование может дать природной красоте очаровательную приятность, голосу сладость, взорам томность, движениям непринужденность, стану статность, а сердцу нежную любовь; но это все было в Ленкуце, дочери *мазила,* или молдаванского однодворца. Ленкуца скромно удалялась от юношеских преследований Светова; он был в отчаянии. В первый еще раз она высказала ему неожиданно свою любовь, но он не мог исполнить ее требований остаться дома. Для свода съемок он должен был съехаться с товарищами, и эти съезды обыкновенно бывали по праздничным дням.

Колокольчик зазвенел, четверка быстрых коней, запряженная в маленькую каруцу, украшенную резьбой, подъехала к хате.

— Ах, какая скука! — вскричал Светов.

— Готово, ваше благородие,— сказал вошедший пионер.— Кому прикажете с собой ехать? Молдавану или мне?

— Ты поедешь.

Светов накинул на себя плащ и хотел уже садиться в каруцу, как вдруг с горы несется во весь опор четверка и прямо поворотила на двенадцатисаженную веху,

которая возвышалась над палацом Светова и на вершине которой был воткнут соломенный «ивашка-белая-рубашка». Правил конями кто-то в широких шароварах, в белой куртке и в белой фуражке, правил стоя, как Аполлон конями солнца, и свистел, как Соловей-разбойник.

— Это наши, ваше благородие,— сказал Афанасьев, лейб-возница Светова, радостно смотря на полет коней.

— Кто ж это так отчаянно правит?

Не успел Светов произнести этих слов, кони как вкопанные, в пене и в паре, остановились подле хаты. Лихой кучер бросил к черту вожжи, соскочил с каруцы.

— Лезвик! — вскричал Светов.

— Каков у нас кучер? — крикнули сидевшие в каруце, которых под пылью нельзя было узнать в лицо.

— Лугин и Фантанов! Вы под пылью, как мертвецы в саванах. Ай, Лезвик, чудо! Я думал, что вас под гору несут лошади... прямо с крутизны к черту.

— Как бы не так! — сказал Лезвик.— Уж мы и править не умеем!

— Не с большим в три четверти часа двадцать верст.

— Как бы не двадцать!

— Ну, теперь пошел Лезвик спорить.

— Да разумеется: двадцать одна и триста сажен. Да и где ж три четверти часа?.. Мы выехали половина десятого...

— После поспорим, Лезвик; а теперь позавтракать да и в Костешти. А у тебя уж, Светов, и лошади готовы? Прикажи и нам дать свежих лошадей.

— Да мы трое усядемся на твоей каруце, а Лезвик опять будет править. Вместе веселее.

— Так уж лучше знаете ли что? Я велю запречь воловью каруцу: засядем в нее и будем играть дорогой в бостон.

— Браво! Славная выдумка! Приказывай!

— Эй, Афанасьев, ступай распорядись, чтоб сейчас же была воловья каруца, запряженная двенадцатью рысистыми волами. Каруцу обтянуть и покрыть сверху коврами, накласть в нее подушек и разостлать на них мой большой ковер.

Не успел денщик Светова поджарить куриных котлет, как послышался скрып каруцы, крики и хлопанье бичами.

— Как прикажете, ваше благородие, я не умею править волами,— сказал вошедший Афанасьев.

— А ты не знаешь службы? Что прикажут, то и должен уметь.

— Уж, конечно, ваше благородие, наше подчиненное дело.

— То-то же! Поставишь в каруцу складной стол и четыре складных стула... Да в погонщики волов двух верховых.

Покуда завтрак кончился, все уже готово.

Около каруцы собралась вся громада[1] села; все заботливо, как будто делали важное дело, помогали Афанасьеву укладывать и устанавливать в воловьей каруце, которая стояла, как дом на колесах: в ширину сажень, в длину две; колеса в два аршина в диаметре, а ничем не смазанные буковые оси в палец толщины. Вообще молдавские воловьи каруцы бывают без обшивки; бока их составляют параболу, рогами вверх и на подставках.

— Это что за кавалерия, вооруженная бичами?

— Я приказал двух погонщиков, а их наехал целый взвод,— отвечал Афанасьев.

— *Ной мержем ку боерь!* Мы поедем с бояриным! — сказали вершники молдаване, которых набралось человек десять.

— Только двух нужно! — сказал Светов.

— *Лас, боерь... лас!* Оставь их, боярин, оставь! — сказал ватаман, кланяясь.

— Пусть их едут. Хайд! Мимо Ста-Могил!

— Садимся!

Товарищи засели в каруцу, покрытую сверху и завешанную по сторонам коврами. Афанасьев хлопнул хворостиной по волам; вершники крикнули *«хайд!»* и хлопнули залп бичами.

— *Буна друм, боерь!* Доброго пути боярину! — крикнула вся громада, сняв кушмы и провожая каруцу, которая со скрыпом потянулась из селения.

— *Хэ! маре драку ностра боерь, тота какаса ла рота пус!* Хэ, большой черт наш боярин, целый дом поставил на колеса!

По неровной дороге, берегом реки Каменки и в гору, волам дозволялось идти обычным своим шагом. Светов, Лугин, Фантанов и Лезвик играли спокойно в бостон; но едва волы выбрались на отлогий скат к реке Пруту, верховые и молдаване гикнули, хлопнули бичами по ребрам волов, и — волы поскакали, складной стол прыгнул

---

[1] мир сельский. *(Прим. А. Ф. Вельтмана.)*

с ножек, карты полетели, один из бостонистов опрокинулся на подушки, крича «восемь в сюрах».

— Проклятые! Расстроили игру!

— Какая же игра, господа, на почтовых волах! Пошел!

— Хайд! — повторили в десять голосов лихие *калараши* [1], свистнув и хлопнув по ребрам волов арапниками.

Выпучив глаза и подняв хвосты, волы скакали; каруца, не уступавшая величиной вагону железной дороги, мчалась быстрее паровоза; верховые молдаване как сумасшедшие скакали по сторонам с криками и хлопаньем. Лезвик, не утерпев, выскочил на передок, выхватил из рук Афанасьева хворостину, гикнул — одно мгновение каруца была уже на береговой дороге, повернула к Костешти и вскоре очутилась на пространстве Ста-Могил.

— Тут, верно, было какое-нибудь сражение? — спросил любознательный Лугин.

— Это просто обросший от времени обвал крутого берега.

— Не может быть! — сказал Лезвик.

— Отчего не может быть!

— Да так, быть не может.

— Доказательство ясно!

— Разумеется, что не может быть! — повторил утвердительно Лезвик.

Лезвик заспорил бы всех, но, к счастью, крик, хлопанье бичей, грохот и дребезг каруцы мешали спору.

С горы и по ровной дороге волы дружно несли ярмо, но едва подъехали к скалам Костештским, в гору, не тут-то было: ни волы, ни крик, ни арапники, ничто не везет. Нечего делать: послали Афанасьева в Костешти пригнать пары три свежих волов, а между тем Лугин, Фантанов, Лезвик и Светов вышли на отдельную высоту полюбоваться игрой природы.

Так называемые «скалы Костештские» выдаются из крутого берега реки Прута и берега реки Чугура и перелегают зубчатой стеной через реку Прут, которая течет сквозь брешь, пробитую, вероятно, волнами всемирного потопа.

Лезвик уже стал спорить, что это искусственные, а не природные скалы, но пригнанные три свежих пары волов втащили на гору прежних двенадцать и каруцу. Пора

---

[1] вооруженные всадники (*молд.*).

было ехать, чтобы не опоздать в Костешти к обеду товарища Рацкого. Девять пар волов прибыли наконец к деревне Костешти. Тут им придали рыси, и они скоком приволокли каруцу к хате Рацкого. Все что было у него товарищей высыпало дивиться торжественному приезду патриархальной колесницы.

— Посмотрите, господа,— сказал Лезвик, едва только успели надорваться груди от смеху:—вот говорят, что это природные скалы!

— Ха, ха, ха! — раздалось снова.

— Похожи на природные!

— Какие же природные, господа? — сказал один *офицер-ди-императ*.— Это искусственные.

— Это просто была плотина, которую прорвала вода,— сказал Лезвик.— Пойдемте, посмотрите сами.

— Пойдемте, пойдемте сами! — вскричали все.

— Пойдемте.

До скал было не более двухсот шагов от квартиры Рацкого. Берегом реки подошли к гранитным воротам, сквозь которые катился сжатый Прут и где впадал Чугур. По камням пробрались на другую сторону, где был пикет казачий.

— Что, Лезвик? Искусственные скалы? Плотина?

— Разумеется. Спросите хоть у казака. Эй, казак, что это, плотина или природные скалы?

— Чертова плотина, ваше благородие,— отвечал лихой казак.

— Все-таки моя правда,— сказал Лезвик.

— Согласны, если черт строил ее.

— По мне все равно, кто строил. Только я говорю, что искусственная, а не природная!

— Действительно, ваше благородие, черт строил, только не русский, а молдаванский, по имени *Драку*.

— Ты не был ли при этом?

— Нет, ваше благородие: это было в давние времена, при моем деде. Он вот как раз стоял на этом месте на часах и видел, как все происходило.

— А как же все это происходило?

— Долга сказка, ваше благородие, да притом же и не даровая.

— Вот тебе задаток,— сказал Светов, подавая казаку золотую монету.

— Извольте слушать,— сказал казак.

«Вот, по сю сторону Чугура было царство Болгарское, а по ту сторону жили хохлы-руснаки. У хохлатско-

го царя была дочь Лунка-царевна, а у болгарского хана «бритая голова, плешь засаленная» был сын Тартаул-царевич, великий богатырь и наездник. Когда пришло время выдавать прекрасную Лунку-царевну замуж, хохлатский царь послал гонцов во все царства с портретами своей дочери и просил царей и царевичей к себе на пир великий и ратоборство, кому честь, и слава, и рука царевны. Вот съехались со всех стран цари, и царевичи, и богатыри великие. Сам царь встречает, есаулы гостей под руки принимают. Началось полеванье. Всех победил угорский королевич.

— Ну,— говорит,— богатыри и витязи, с кем еще копья померять, силы изведать? Или нет больше ни храброго, ни удалого?

— Есть еще один! — крикнул богатырским голосом витязь «светлая броня, ничьим копьем не оцарапана».— Не нужно,— говорит,— ворот отворять, моему коню высокий тын не помеха.

Глядь, уж стоит посреди поля. Разъехались добрые молодцы, тупым концом позабавились. Не успели глазом моргнуть, а угорский королевич лежит на земле. Повели витязя в палаты под руки, встречают его с кубками заздравными, подносит царевна венец ему, просит снять шлем богатырский. Снял витязь шлем, а под шлемом шлык: так все и ахнули.

— Нет,— говорит царь хохлатский,— не пойдет моя дочь замуж за бритую голову!

— Царь-государь,— сказал витязь,— не в хохле дело, а дело в том, полюбит ли меня прекрасная дщерь твоя; если любит, то я, изволь, отращу хохол до пяты.

Царевна сладко очи потупила. А царь сказал:

— Ну, будь по-твоему, будь ты мне зять нареченный; проси у твоего родителя благословенья.

Поехал Тартаул к своему родителю просить благословенья жениться на единородной дщери царя хохлатского.

— Как? — говорит хан «бритая голова, плешь засаленная».— Чтоб ты женился на хохлачке, на бараньей голове?

Молил, молил Тартаул отца своего — ничто не берет.

— Ну,— говорит Тартаул,— если не позволяешь, так уж быть беде!

Струсил хан: любил он сына.

— Хорошо,— сказал,— согласен. Только пусть дает в приданое за дочерью море.

Поехал Тартаул к возлюбленной невесте и говорит царю: так и так.

— Помилуй, твой отец с ума сошел! У меня и моря нет в целом царстве. Земли сколько хочешь!

— Хитер у меня отец! — сказал Тартаул.— Что делать? Есть, говорят, чародей Чугур; поеду, посоветуюсь с ним: у него есть на все отводы.

Приехал к Чугуру: жил он отшельником в горе; посреди леса сидел сиднем на пне и не двигался с места. Приехал, рассказал свое горе: вот так и так, что делать?

— *Драку шти!* Черт знает! — сказал Чугур.

— Коли черт знает, так попроси его, сделай милость, научить, что делать.

— Что дашь?

— Что хочешь.

— Видишь: в вашем владенье, у Гнилого Моря, есть сто могил моих предков; перевези их все сюда, со всем, что в них есть.

— Изволь! Хоть тысячу!

Обрадовался Тартаул и тотчас же отправил подводы на Гнилое Море.

Вот их и перевезли на то место, где теперь *Сута-Моджиле.*

— Ну,— сказал Чугур,— спасибо! Я тебе услужу! Ступай к отцу и скажи: что царь хохлатский дает море в приданое дочери. Вези его на свадьбу.

Поехал Тартаул к отцу, говорит ему: так и так, будет море в приданое.

— Да откуда он взял море? — спросил хан.

— Не могу знать. Верно, было какое-нибудь.

— Быть не может. Поедем! А если моря нет, так нет тебе и согласия моего.

Поехали, подъезжают. Царь и царица их под ручки принимают, за браные столы сажают.

— Ну,— говорит хан болгарский,— дочь твоя хоть куда царевна, а где же ее приданое? Где же море?

— Где ж нам взять моря, любезнейший наш брат, хан болгарский...

Только что он сказал это, вдруг слышит шум, точно морские волны хлещут о берег. Глядь в окно: не река Прут течет, а бушует пространное море перед палатами.

— Ба, ба, ба! Да как же это сказали мне, что в твоем царстве и моря нет? Да какое же это море? — сказал хан болгарский.

Царь хохлатский от удивленья не знает, что и говорить.

— У нас море Черное, а это море Проточное,— отвечает за него Тартаул-царевич.

— Если так, то сдержу мое слово. Сыграем свадьбу.

Вот начали играть свадьбу. Сыграли. Сели за браные столы. Вдруг прискакали гонцы из царства Ордынского к хану и говорят:

— Помилуй нас, хан великий, многомилостивый! Зачем позволил ты строить чертову плотину на Пруте? Все наше царство пересохло. Черное море иссякло, ни капли воды нет.

— Как? — крикнул ордынский хан.

А тут же и к царю прибежали люди земские:

— Батюшка-царь, смилуйся! Зачем ты позволил царю ордынскому чертову плотину на реке Пруте строить? Вода разлилась по всему царству, вздулась словно море, все топит, подступает под твои царские палаты.

— Как? — крикнул и царь хохлатский.

А потом оба в один голос:

— Так такие-то вещи ты, царь хохлатский, со мной делаешь! Вздумал пересушить все мое царство? Плотины строить. Эй! Ломать плотину!

— Так такие-то вещи ты, хан болгарский, со мной делаешь! Плотины строить? Вздумал затопить все мое царство? Эй! Ломать плотину!

— Едем, сын!

— Пошла, дочь, в свою светелку!

— Помилосердуйте, любезнейшие родители! Плотину не вы строили, ни царь хохлатский, ни хан болгарский, а плотина сама построилась на мое счастье.

— Как?

— Да так. Позвольте, я пойду с народом снесу ее.

Вот и принялись ломать плотину. Ничто не берет, ни лом, ни топор. Как быть? Поскакал Тартаул-царевич к Чугуру. Нет его на пне; искать, искать — а он поселился в пещере, вот что со стороны дороги, и сидит там молча.

— Благодетель ты мой! — говорит Тартаул-царевич,— помоги! Вот так и так: плотина твоя затопила царство хохлатское, пересушила все земли болгарские... Помоги, сделай спуск!

— Нелегко, тут от руки ничего не сделаешь; надо прогрызть зубами.

— Помилуй, какой зуб возьмет?

— Надо попросить зубатого.

— Попроси кого знаешь!

— Что дашь? Да постой, не нужно. Обещай сослужить мне службу: холодно мне стало на белом свете; перенеси ты мои косточки туда, где сто могил моих предков, и приодень землицей.

— Изволь, дедушка Чугур, целой горой завалю твои косточки.

— Ну, добре, ступай: будет по-твоему.

Как настала ночь, дедушка мой стоял здесь на карауле; служил он в чередном казачьем полку на границе. Стоит себе, как я, пика в сошках, а голая сабля на руке — вдруг видит, кто-то идет. «Кто тут? Убью!» — «Здешний, — откликается, — *мошуль*[1] зубатый». Как взглянул на него дедушка мой, так и остолбенел: черные зубы из пасти, точно тын железный. Как начал он, ни слова не говоря, грызть каменную плотину, так и хрустят камни; погрызет-погрызет, да оселком зубы поточит. К утру прогрыз вот, как видите, целые ворота, да не остерегся: вода как хлынет вдруг, сбила его с ног и понесла; только его и было.

Вот царь с ханом видят, что дело пришло на лад; помирились и принялись снова пировать.

Как оженился царевич, сдержал слово Чугуру, перенес его, посадил посреди Ста-Могил, прикрыл землицей. Вот самый большой курган — это его, сто первый.

— Видишь, хан болгарский,— сказал царь хохлатский,— чего нет, того и не проси.

Царь и хан наделили молодых свежими землями, собрали всех молодцов и всех красных девиц и отдали им в приданое. Вот и пошли пиры и «младованье». Я там был, мед пил, по усам текло, а в рот не попало!»

— Спасибо, казак! Вот тебе на придачу.

— Покорнейше благодарю, ваше благородие! Если угодно, мы и еще кой-что порасскажем, например про Надежду-царевну «магнитные глазки».

— В другой, брат, раз!

— Я говорил, что это плотина...

— Ты прав, ты прав, Лезвик. Теперь мы знаем, что и Сто-Могил не обвал.

— Смейтесь!

— Пора обедать, господа,— сказал Рацкий, и все отправились к нему на квартиру. Стол уже был готов. По-

[1] дедушка. *(Прим. А Ф. Вельтмана.)*

сле обеда привели верховых лошадей, все вооружились хлыстиками, засели на коней и — на луг. Начались *бары,* или игра в войну [1]. Потом, во время чая, по обычаю, началось очередное чтение: повестей, стихов, статьи ученой, военной. Каждое произведение поступало в рукописный сборник, которого части, по прошествии известного времени, разыгрывались по жребию — кому достанется в память товарищества и молодости лет, проведенных не без пользы.

День прошел. Пора по домам.

— Господа, в следующее воскресенье ко мне. Кстати, я и именинник,— сказал Светов, прощаясь с товарищами.

— Что, и назад в колеснице воловьей?

— Нет, покорно благодарю? Еду на легких.

Четверка лихих коней, управляемых Афанасьевым, стояла уже у подъезда. Светов вскочил в каруцу и при свете ночного светила помчался в Каменку, где бедная Ленкуца таяла от ревнивой любви.

В продолжение всей недели она не показывалась на глаза «юному». Чем свет уедет в поле, воротится поздно или уйдет в касу своей тетки и ткет ей ковры.

Воскресенье приближалось. Светов распорядился к приему гостей. Подле дома не было саду: лес близок, нипочем; в один день весь двор обратился в сад, усыпанный свежей, душистой травой и цветами. За десять рублей *чиновник-ди-исправничия* привез десять возов разных плодов: воз арбузов, воз дынь, яблок, груш, персиков, абрикосов, слив, волошских орехов, вишен, винограду, а усердная команда развесила все на деревья. Для гостей на кухне шпарят и потрошат баранов, уток, гусей и цыплят; на погребе заготовлено янтарное «Одубешти», полынковое и мускатное; для джока выписаны цыгане музыканты; для громады взято в корчме несколько ведер *ракю.* Чучела на вехе одета в новую красную рубашку.

Настало воскресенье. «Юный» проснулся грустен, сходил в церковь. Его поздравили с именинами денщик, вся команда, вся громада. *Парентий* [2] принес огромную просфору, а Ленкуца не идет поздравить его.

К полудню товарищи съехались, расположились на коврах, постланных на мягкой траве посреди армидина

[1] Игра колонновожатых в Осташкове. Название, без сомнения, происходит от «bacrja» — «сражаться». *(Прим. А. Ф. Вельтмана.)*

[2] священник *(молд.).*

сада, курят трубки, беседуют в ожидании завтрака. Светов прилег на голой траве. Вдруг прошла Ленкуца в хату, взглянув мельком на Светова.

— Ба! *Формошика, формошика!*[1] — крикнули все в один голос, увидев ее.— Не твоя ли хозяйка, Светов?

— Да,— отвечал он.

— Что ж ты покраснел?

— И не думал.

— Браво, браво, браво! — закричали все.— Понимаем! Как умильно, нежно она взглянула на тебя!

— Мечта! Это, господа, суровая красавица, не слишком нежничает с нашим братом...

— *Фата формоза!*[2] — вскричали все снова, увидев Ленкуцу, которая вынесла из хаты прекрасный махровый ковер. Не обращая ни на кого внимания, она подошла к Светову и разостлала свое приданое. Но Светов не хотел обратить внимания на ее услугу. Ему стыдно было товарищей.

— Добрая хозяйка! Как она заботится о своем постояльце! А подарила ли ты ему что-нибудь в день именин?

— Нет еще! — сказала она.— Он, верно, сердит за это на меня.

И вдруг Ленкуца бросилась к Светову, обняла его, пламенно поцеловала. Он вспыхнул, она скрылась.

— Браво, браво! — повторили все, захлопав в ладоши.

Поздравления посыпались на бедного Светова.

Он надулся.

Этот случай помешал общему веселому расположению. Все как будто подозревали, что Светову веселее дома без гостей. И Светов что-то был невесел: он как будто сторожил, не придет ли Ленкуца, чтоб и ее поцеловать так же пламенно, но без свидетелей!

После обеда оживились. Вдруг колокольчик.

— Кто это?

Афанасьев прибежал запыхавшись.

— Полковник едет, ваше благородие!

— Вот тебе раз!

Вскоре коляска остановилась подле хаты.

— С генералом, ваше благородие!

— Действительно, полковник, убей меня бог, прекрасное местоположение! Здравствуйте, господа! Каким это образом вы все здесь?

---

[1] красавица (*молд.*).

[2] Прелестная девушка! (*молд.*).

— У именинника, ваше превосходительство.

— И прекрасно!

— Вот и все планшеты здесь, ваше превосходительство,— сказал полковник.

— И прекрасно! Так я осмотрю работы и прямо отсюда в Хотин. Прикажите мне переменить лошадей. Г. Светов, вы сдадите свою съемку и поедете со мной.

Светов побледнел. Так поразили его эти слова.

— Мы выберем вместе места для смотров; вы снимете их и потом явитесь ко мне.

— Укладывайся! — сказал Светов денщику почти со слезами на глазах.

— Что, брат, горе! — говорили товарищи шепотом, подходя к нему по очереди.

— Что такое? — отвечал им Светов.

Вскоре свежие лошади были запряжены в коляску. Светов простился с товарищами, посмотрел кругом, нет ли где Ленкуцы? — Нет!

Только и видел он ее.



ИЛЬЯ ЛАРИН

Рассказ

Несколько дней тому назад я выезжал из дому *в город* и задумался.

— Куда прикажете ехать? — спросил кучер.

— Направо, налево,— отвечал я ему несколько раз без внимания, и мы кружили по улицам московским.

О чем же я думал, почтеннейший редактор Московского Листка? Догадываетесь ли вы?.. О сказке для вашего журнала. Странный случай: я искал сюжета в голове, а нашел его на улице; он сам остановил меня. На повороте с Кузнецкого моста к Голицынской галерее кто-то крикнул с тротуара:

— Стой, стой! Постой, брат, погоди! Остановись на минутку!

— Стой! — крикнул я кучеру,— верно что-нибудь сломалось.

— Погоди! — повторяла, подходя к моим саням, какая-то сандального цвета фигура с отвислыми брылями, в фуражке, в староформенном длинном сертуке, с дубиной в руках.

— Что тебе, любезный?

— Постой!.. Дай, брат, гривенничек; сделай одолжение, дай!

— Извини, со мной мелких нет.

— Полно! Сделай одолжение, дай гривенничек, или нет, постой, дай лучше пятиалтынничек; пожалоста, брат, дай!

— Говорю тебе, что нет со мной серебра; извини. Пошел! — крикнул я кучеру.

— Постой, не торопись, доедешь! Дай, брат, ей-ей, пригожусь!.. Малявка, суконка! Сделай милость, дай!

Эти последние слова и позиция, в которую стал этот лазорони-буфф, подействовали на меня больше, нежели просьба.

— Кто ты такой? — спросил я, всматриваясь в сандальное, вздутое, что-то знакомое лицо.

— Ах ты, малявка, барин какой! допрашиваешь, кто я. Я сам Илья Ларин, всесветный барин!

— Ларин! Илья Ларин! Ба-ба-ба! Откуда тебя сюда занесло?

— Ах, суконка! Да ты кто такой!

— Кишинев помнишь?

— Кишинев? Ах собака! Помню, братец!

— А меня забыл?

— Тебя? Скажи пожалоста! В самом деле! Саша! Ах, малявка, поцелуй меня!

— Нет, уж извини!

— Так давай, брат, что у тебя есть в кармане... Подвело живот... ей-ей!.. Помнишь Пушкина? Вот добрая душа: где, брат, он?

— Пушкина давно нет на свете.

— Неужели? Ах, голубушка моя! А Владимир Петрович?

— Жив и здоров.

— Ах, суконка! А Иван Петрович?

— Жив и здоров; однако ж здесь не место беседовать с тобою; садись со мной в сани.

— Дай что-нибудь, я зайду выпью; ей-ей, мочи нет, живот подвело.

— Говорю тебе, что со мной нет серебра.

— Ах, малявка! Давай хоть сторублевую ассигнацию; я тебе ее разменяю.

Нечего было делать; встретить Ларина и не обрадоваться нельзя было.

— На; да не засядь в кабаке, не пропей всей.

— Ах, собака! Чужие деньги пропивать! Что ты это! Ты знаешь, что я Илья Ларин, всесветный барин; выпью за твое здоровье на пятиалтынник и поедем.

Чтоб не терять время в ожидании возвращения из распивочной отставного унтер-цейгвартера вечно навеселе, расскажем первое знакомство с ним.

Некогда в Бессарабии, в благополучном городе Кишиневе, в один прекрасный вечер Пушкин, Г<орчаков> и я на широком дворе квартиры Л<ипранди>, помнится, играли в свайку и распивали чай.

— Здравствуйте, господа! — раздался подле нас осиплый, но громкий голос.

Это был Ларин в его обычной одежде, с железной дубиной, с полпуда весу, в руках.

— Что тебе? — спросил серьезно Л<ипранди>.

— Ах, собака! Известно что: чем гостей встречают?

— А знаешь, чем провожают?

— На! провожай! — крикнул он, приподняв железную свою дубину и засадив ее в землю до половины.

Мы все захохотали на эту выходку; этого только и нужно было ему.

— Эй! Как зовут твоего, братец, деньщика? Ты! Подай Илье Ларину, всесветному барину, стакан чаю с ромом!

С этой минуты Ларин прикомандировался к нам и забавлял нас своими выходками. История его коротка.

Он служил унтер-цейгвартером. Мать воспоила его без всякого сомнения, не молоком, а вином; и потому винные пары были всегда главными его двигателями и главной целью жизни. Он не пил ни воды, ни квасу, ни *самого лучшего рейнского вина;* но пил чистое, простое вино. Так как это внутреннее побуждение ограничивалось ежедневным удовлетворением жажды и потребностью выпить известную меру, *чтоб не сводило живот,* то природные человеческие свойства, доброта и честность, не нарушались в нем искательством какого-нибудь другого прочного земного блага. По доказанному же правилу: что у трезвого в голове, то у пьяного на языке, Ларин, переступив границы обыкновенного пьянства, был воплощенная прямота и правота. Это было причиной, что, несмотря на общую любовь начальников и сослуживцев за его вечное навеселе и постоянное состояние духа вне суеты сует и всяческой суеты, он никуда не годился для службы, в которой нельзя было обойтись без проектов, построек и починок, без подрядчиков, без поставок разных материалов и без подробных отчетов сумм. Его и уволили довременно от службы за то, что он однажды в отсутствии начальника *провинился,* не приняв от подрядчика крупного хворосту вместо мелкого лесу, и не позволил ему замазывать трещины стены

одного казенного здания, вместо обязанности поставить новую стену.

Получив нагоняй, он отозвался было долгом присяги; но начальник крикнул:

— А, так таков-то ты? вон!

Когда снабдили его отставкой, он выпил с горя двойную порцию, стал грубить и пугать доносом.

— За что ж, братцы, меня отставили? а? — спросил он сквозь слезы у сослуживцев.

— А зачем тебе было мешаться не в свои дела?

— Как! — вскричал он,— чтоб я дозволил мошенничать плуту, подрядчику? Никогда!

— Да, подрядчику! Да еще вздумал донос делать! Ты знаешь, что кто вздумает доносить, тому головы не сносить. Вот оно так и вышло.

Ларин выпил еще порцию, залег спать на своей койке в казармах, и прекрасно бы соснул; но пришедший цейгвартер крикнул:

— Эта пьяница еще здесь? Вон его!

Ларина растолкали.

— Ступай вон!

— Кто? Я вон? Нет погоди! Никто не смеет выгонять меня отсюда! Ни шагу! Умру здесь!

Цейгвартер донес начальнику, что пьяный Ларин буянит и нейдет из казарм.

— Посадим его в каземату, покуда проспится.

Приказание было исполнено. Напрасно кричал и боролся Ларин; его посадили в каземату.

— Донесу, донесу на вас, разбойники! — твердил он, покуда умаялся.

Прошел день, прошла ночь, настало утро.

— Батюшки мои, помогите,— начал вопить бедный Ларин.— Умру! ой, умру, умру! голубушка ты моя, сходи, принеси мне на гривенничек.

Приставленный рядовой сжалился над ним, понял, чего ему нужно, и принес.

Ларин отвел душу и уснул.

— А что, проспался пьяница? — спросил пришедший цейгвартер.

— Спит еще,— отвечал рядовой.

— Растолкать его!.. Ну! поднимайся! Можешь отправляться на все четыре стороны. Пошел! да чтоб нога твоя здесь не была!

— А ты что за человек? — спросил Ларин, подбоченясь,— а? собака.

— А вот я покажу тебе, кто я. Эй! ребята, приподнимите-ка его, да взашей.

— Налево круг-ом! — скомандовал Ларин, отставив повелительно ногу и указывая цейгвартеру на дверь.

— Тащите его вон! — вскричал цейгвартер.

— Ни с места, ребята! — крикнул Ларин.

— Тащите!

Несколько человек рядовых двинулись на Ларина. Он занес кулак, прикомандовал сам себе: «Кладс! пли!» сшиб двух с ног, прочие так же отлетели в сторону.

— Правой-левой, правой-левой, раз-два, раз-два! — повторял он, маршируя прямо на цейгвартера и держа кулак наготове.

Цейгвартер бросился от него в двери. Ларин маршировал за ним, повторяя:

— Правой-левой, раз-два!

— Постой, пьяница! — кричал цейгвартер, уходя от него,— я доложу начальнику.

— Доложи, что ты трус, дрянь; а я иду в Петербург жаловаться. Правой-левой, раз-два!

Продолжая маршировать, Ларин вышел из крепости.

Таким образом, в стареньком унтер-цейгвартерском сертучишке и в фуражке набекрень, Ларин оставил и службу и родную семью казармных товарищей и отправился в поход с одним указом об отставке в кармане.

Горькая, казалось бы, участь? Но ему ничего не нужно было на свете, кроме *испить* да *закусить*. Удовлетворенный, он шел, не справляясь, куда ведет дорога. Когда же пробуждалась в нем потребность в обычном подкреплении сил, тогда он, проходя город или деревню, спрашивал у встречных солдат: «А где стоит командир?», шел прямо к нему на квартиру, приказывал вестовому или денщику доложить, что прибыл Илья Ларин, и являлся незваным гостем, возглашая: «Здравствуй, господин командир!» Его позиция и темп, который он делал вдруг правой рукой и правой ногой, произнося эти слова, обаяли всех военных, и он прикомандировывался к обществу офицеров пожить между ними, выпить и закусить (обедов он не любил), поругать собакой, поласкать малявкой и суконкой и, соскучившись единообразием, вдруг пропасть, снова явиться через год или через два, и снова исчезнуть до неожиданной встречи, когда-нибудь на обширной Руси.

Однажды в Кишиневе, у г. О<рлова>, в числе штабных ежедневных гостей обедали званые: А. С. Пушкин, Л<ипранди>, Г<орчаков> и я; после обеда сидели все у камина. Разговор был о литературе и литераторах. Пушкин сердился на современных молодых поэтов и говорил, что бо́льшая часть из них пишут стихи потому только, что руки чешутся.

— А у тебя, Пушкин, что чешется? — спросил О<рлов>.

Пушкин не успел дать ответа, потому что в это самое время показалась в дверях пресмешная красная рожа, в длинном сертуке, с палкой в руках, и крикнула:

— Здравствуй, О<рлов>! Настоящий орел! Руку!

О<рлов> окинул взором нежданного гостя и столь же неожиданно скомандовал, остановясь перед ним:

— Во фронт! Руки по швам! Налево круг-ом! Скорым шагом марш-марш!

По слову нежданный гость исполнил команду и вышел, маршируя.

Это был Ларин, с которым мы познакомились впоследствии у Л<ипранди>.

Встретив чрез много лет ту же самую фигуру, которая сроднилась с воспоминаниями цветущей, еще безбородой молодости, я невольно обрадовался Ларину и повез его к себе.

— Ах, Сашенька ты мой, малявочка! скажи, пожалоста! — сказал он, входя в переднюю,— да неужели это твой прежний деньщик Федор?

— Нет, это не деньщик и не Федор, а Яков.

— Ах, Яша! собака! поцелуй меня! Славный у тебя барин, смотри, служи ему верой и правдой... Ах, суконка! какая куча книг у тебя! Скажи, братец, когда ты это все успеваешь читать? Ну, а это что за кипы?

— И это книги, мои сочинения.

— Ах, собака! Скажи пожалоста! Когда это ты успел написать?

— Чем же тебя подчивать? простой?

— Простой, простой, я не люблю настой! Да нет, погожу еще... Скажи пожалоста, где теперь наш Иван Петрович?

— Скоро сюда будет.

— Ой-ли! Ах, суконка! А арнаут Георгий по сю пору у него?

— Арнаут Георгий далеко. Знаешь ли ты, что он убил хорошенькую Зоицу.

— Малявочку-то? Что ты говоришь? Ах собака! Скажи пожалоста! Да за что?

Ларин своим вопросом об арнауте Георгии напомнил мне страшное происшествие.

В 18.. году, перед самым отъездом Л<ипранди> в турецкую кампанию, рано утром денщик вбежал в комнату и разбудил его криком:

— Барин, барин! Георгий убил Зоицу!

— Что такое? Как убил? Каким образом? — спросил Л<ипранди>.

— Ятаганом убил наповал! Извольте посмотреть.

Встревоженный Л<ипранди> выбежал. Зоица лежала мертвая, распростертая подле крыльца. Ятаган по рукоять под самым сердцем. Арнаут Георгий, закрыв лицо руками, стоял над ней.

— Георгий! — крикнул Л<ипранди>,— что ты сделал?

Разбросив вдруг руки, бледный, Георгий обвел кругом помраченный взор.

— Делайте со мной что хотите! Я убил Зоицу! — отвечал он.

— Злодей! Зачем ты убил ее?

— Закон велел,— отвечал Георгий, глубоко и тяжело вздохнув.

— Какой закон?

— Мой! Я не ее одну убил... не ее одну... ах! не ее одну!.. Я убил и кровь свою!..

Георгий был магометанин; Л<ипранди> понял страшный предрассудок и не знал, что говорить. Все стоявшие вокруг также молчали, пораженные ужасом.

— Грешен я! Делайте со мной что хотите! — продолжал Георгий, сложив руки и опустив голову.— Я любил ее... Я говорил ей сегодня в последний раз: «Зоица, я еду с барином на войну... Крови своей я не отдам христианам... Послушай меня: бог один... прими мою веру!..» Три раза сказала она: «Нет!..» А не сказала: «Георгий, лучше убей меня; веры не переменю; а без тебя мне все равно не жить...» «Зоица! — сказал я ей,— крови своей не оставлю я в неверной утробе... я пролью ее... так велит закон!..» Она побоялась смерти... побежала от меня... от меня побежала!..

Георгий закрыл лицо руками, и вдруг, снова разбросив руки, он ударил себя в грудь.

— О! да и ее не оставил бы я здесь живую!.. Она забыла бы меня, полюбила бы другого! Все равно: не

теперь так после я бы убил ее и того, кого бы она полюбила! Делайте со мной что хотите!

Преступника отвели в тюрьму. Когда его призвали к допросу:

— О чем тут разговаривать,— сказал он,— велите рубить мне голову!

— Бедная малявочка! — сказал Ларин жалобно, отирая рукой глаза.— Помнишь, как Иван Петрович сватал мне Зоицу?

— Нет, не помню.

— Как же; а Саша Пушкин говорит: «Зачем ему две жены?» — «Ах, собака! Да какая ж у меня жена?»— «А рюмочка-то?» — «Ах, суконка, врешь, брат Александр, это моя любезная».

— Ну, сиди же ты, Ларин, смирно; мне надо заняться. Вот тебе книга, читай; а я буду писать.

Ларин послушно взял книгу, надел на нос очки и стал читать; а я торопился как на заказ писать, если не повесть, то хоть что-нибудь вроде повести. Начал было фантастический рассказ под заглавием «Нащокинской дом»; но на этот раз фантазия не так легко давалась мне, как самому хозяину чудного дома.

— Ларин! — вскричал я, бросив перо,— расскажи мне какое-нибудь из своих похождений; я его опишу.

— Ах, малявка! — отвечал он, положив книгу и сняв с носа очки,— да мало ли у меня было похождений; а ты все и будешь описывать?

— Расскажи что-нибудь посмешнее.

— Изволь; пресмешной случай расскажу.

— Начинай, я буду писать.

— Хорошо! Как наш начальник бывало: «Пиши, Иванов!» Писарь возьмет перо, а он трубку в зубы, заложит руки в карманы, ходит, ходит по комнате: «Пиши, Иванов!..» Так и я,— сказал Ларин,— постой же, наложу трубочку... Ну! пиши!

«Илья Ларин, всесветный барин, прибыл походом в одну деревню на почлег... Написал? Ну, слушай: Вот, правой-левой, раз-два и пришел, спрашиваю: «А кто здесь таков помещик? а?» — «Терентий Лаврентьевич Коновкин».— «Ах, собака! скажи пожалоста! Терентий Лаврентьевич!.. мой закадычный друг!.. вместе служили, на одной жердочке онучи сушили!.. Назначить у него штаб-квартиру!.. Дома? В бане. И прекрасно! Кстати и мне с дороги бессрочную амуницию побелить. Трах-трах-трах, вступил с барабанным боем в предбанник,

скомандовал «Амуницию долой! Марш! Здравствуй, друг ты мой Терентий Лаврентьевич! Узнал? Илья Ларин, всесветный барин, во всей красоте! ааа!..» Пиши, брат, как он мне обрадовался... А знаешь ли, сколько лет мы с ним не видались? Ровно двадцать пять — солдатский век. Написал?

— Написал.

— Так ли ты написал, прочти-ко.

— Не нужно читать; рассказывай далее.

— Ах, малявка! Ну, пришли из бани, отрекомендовал мне жену. Подле нее сидят два грибочка, распрекраснейшие две девицы-малявочки. А что ты, брат, женат?

— Женат.

— Жаль! Я бы тебе просватал девочку. Сказал бы ей: смотри ты у меня, не балуйся. Ведь это такая душа...

— Ну, ну, ну, рассказывай.

— Ах, собака! не даст слова сказать!.. Фу! какой крепкий табак!.. От него, что ли, живот подвело... Вели подать, брат, чего-нибудь...

— Эй!.. подай ему водки, простой.

— Простой, простой, я не люблю настой! Да подай, брат Яша, кусочек хлебца... Ах, хороша!

— Ну, продолжай.

— Погоди; что ты написал?

— У Терентья Лаврентьевича две дочки.

— Так, хорошо. Ручку малявочки! Александра Терентьевна старшая, а ростом-то поменьше; красавица-плутовочка, а такая строгая на взгляд; протянула мне, вот так, руку, важно! а рябая кукушечка Любенька поцеловала меня в щеку... Ах ты, малявочка моя! что это за добрейшая такая! «Илья Иванович, давайте играть со мной в фофаны».— «Извольте, сударыня барышня!» И сяду с ней играть в фофаны. Написал? Ну, теперь пиши, что в деревне стоял уланский поручик со взводом, Петр Александрович, славный малый! немножко рябенек, да это еще к лицу. Как не познакомиться с своим братом, военным. И пошел: правой-левой, раз-два; мое почтение! поразговорился: тара-бара. Тотчас же велел подать закусить колбаски. «Скучно,— говорит,— здесь у вас».— «А что ж ты, брат, к нам в дом не жалуешь? У нас две распрекраснейшие девицы; погулял бы с ними под ручку в садике, так и не было бы скучно».— «Был я у вас,— говорит,— да что толку: отец про походы, а мать про расходы; а дочерей не показывают».— «Скажи пожалоста! Так ты и не видал их?» — «Вот тебе

раз, не видал; без памяти влюблен».— «Ах, собака! в какую?»— «В меньшую».— «В Любочку? вот умница Петруша! выбрал девочку, под стать себе: парочка; друг в друга уродились. Что ж ты, мигнул ей? а?» — «Послушай,— говорит,— душа Ларин, сослужи службу, передай ей письмецо».— «Ах, суконка! уж и письмецо! Да что ж, впрочем, прекрасно! пожалуй, изволь». Он взял да и настрочил; а я положил за обшлаг, да и пошел: правой-левой, раз-два, сторонись! военная почта идет!.. Пришел; пообедали. После обеда: «Илья Иванович, давайте играть в фофаны».— «Давайте, сударыня барышня...» И начали играть: кому быть фофаном. «Ах ты, моя малявочка! какой здесь молодой офицер стоит со взводом как он славно письмы пишет!.. вот бы тебе парочка женишок».— «Ах, что вы это говорите, перестаньте!» — «А что я узнал от него: ах он, собака! без памяти влюблен в тебя,— хочет руки просить...»

— Постой, постой, Ларин, не торопись. Как, как?

— Ах, суконка! Ну вот, так окошко, а подле окошка стол. С одной стороны я сижу, а с другой она, и играем в фофаны. Ну, я ей и говорю, что вот как любит: так любит, что письмо написал; прочитай-ко, кукушечка, что он пишет.— «Как это можно чужие письма читать!» — «Ах, малявочка, да ведь это не чужое: прочитай, да отпиши! Ты уж верь мне: я солдат, от правды как с караула, ни на шаг: не бойся, что ж тут такого что молодой офицерик склоняет тебя на любовь к себе благородным манером; велика беда: по сердцу — хорошо, а нет — так скомандуй: налево, круг-ом! марш! и кончено. Настрочи письмецо, решай, что долго думать».— «Как это можно!» — «Ну, ну, пиши! слышишь? а не то правой-левой, раз-два — и прощай!» Как прикрикнул, так и написала. А я за обшлаг, да и марш: правой-левой, раз-два, сторонись! военная почта идет! Прибыл к Петруше; ну, брат, поцелуй меня! выпьем водочки; предписание принес тебе: принят в рекруты; на, читай! что, лоб или затылок? хорошо? ну, обними!

— Постой, постой, Ларин! я не успеваю писать.

— Ах, малявка! Это от того, что дело идет на почтовых: еще письмецо, да еще письмецо, да опять письмецо. Нет, брат Петруша, верно плохо, что такая долгая переписка идет; верно начальство не разрешает? а? скажи правду? «В самом деле плохо: за Любоньку сватается какой-то сосед, помещик; отец и мать согласны; что делать?» — «Ах, собака! да это верно толстяк, барабан,

хоть поход бей... скажи пожалоста! а я и не знал! как тут быть?» — «Как быть, так и быть; а я увезу ее!» — «Неужели? Увезешь? Ах ты, молодец, Петруша! Увези, брат! бесподобное дело!..» И написал он записочку; а я к малявочке. Она туда, сюда: «Как это можно!» — «Грибочек ты мой, что тут долго думать, полезай в кузов!» — «Как это можно!» — «Ну, если так, то прощай, не хочу тебя знать, суконка! сейчас иду!» — «Нет,— говорит,— не уходите, Илья Иванович!..» Постой же, я выпью рюмочку, да трубочку закурю. Закури, брат, и ты.

— Хорошо.

— Закури-ко, закури, в самом деле это такое приключение, что ни в сказках сказать, ни пером описать... А что, брат, где тот майор, что своего денщика за пьянство географии учил? Вот наказанье выдумал, хуже розог: «Аа! пьян, собака! хорошо! покажи на карте, где Париж?» — «Батюшка... Владимир Евсеич, отец ты мой! помилуй! в рот ничего не возьму!» — «Вот постой, помилую: а где Петербург?..» А помнишь молдаванского бояра, что дом вверх ногами построил, что дочка Пульхеренька-пупочка? где она?

— Помню; вышла замуж.

— Ах, малявочка!.. А помнишь, по ней сходил с ума Владимир Петрович да Пушкин. Помнишь, он стихи ей писал?

— Помню, помню.

— Ну, а помнишь ли, дуэль у него была с егерьским полковником, на Малине! За что бишь? Да! офицера обидел, офицер не пошел на дуэль, так за него пошел сам полковник. А я прихожу к нему чуть свет: «Здравствуй, малявка, Александр Сергеевич!» А он сидит себе голиком на постеле, да в стену из пистолета попукивает... Помнишь?

— Помню, помню.

— Ах, собака! все помнит!.. Ну...

— Ну, после поговорим; теперь надо одно кончить; продолжай рассказывать про кукушечку.

— Изволь. Какая девочка-то! описал ты ее?

— Описал; рябенькая?

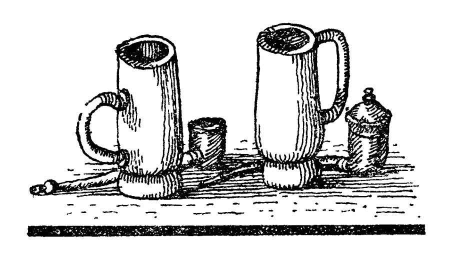
— Разумеется. А поручик-то уланской, на взгляд хват, а глаза в затылке. Так провинился, что я бы его под арест, на хлеб на воду; заморил бы под арестом!.. Пиши же, что все в доме спать улеглись. Написал? Ну, а Илья Ларин, всесветный барин, у крылечка, в саду, на часах стоит, вот с этой дубинкой. Стоит час, другой...

Ах, кукушечка, верно, раздумала. Нет, брат, не раздумала: идет. Не бойся ничего, кукушечка! прокукуй батюшке и матушке, сестрице и всему роду и племени многие лета да и марш!.. Подал я ей ручку. Петруша ждет подле забора. Пересадил я ее, голубушку. «Бесценная ты моя, драгоценная!» — заговорил он ей, принял на руки, прижал к сердцу и понес на дорогу к бричке. Засели, поехали добрые молодцы, и я с ними на облучке. Тут бы следовал быть конец, всему делу венец, да радованец, ан нет, погоди, не с того флангу зашли. Приехали в одно село, к избе. Петруша на руках внес малявочку; душечка ты моя, радость ты моя!.. Ах ты, петушок, золотой гребешок, масляная головка! Глядь — прр! Что, брат, такое? Чего ты испугался? Кукушечка присела на лавочку, закрыла глаза рукой; а он стоял-стоял как вкопанный перед ней, да вдруг как схватит меня за руку, да потащил вон из избы. «Что ты,— говорит,— со мной сделал?» — «Что такое?» — «Что ты со мной сделал? Ведь это не она!» — «Как не она? Кого ж тебе надо?» — «Ты и письма ей отдавал».— «Ей!» — «Ах ты, проклятый!» Проклинал, проклинал меня. «Голубушка, Петруша,— говорю я ему,— ну за что ты сердишься: не сам ли ты сказал, что ты полюбил меньшую сестрицу?» — «Эту,— говорит,— рябую кукушку? да что я, с ума, что ли, сошел?» — «Ах, суконка! скажи пожалоста! а ты, что такое? сам ряб, а ему подавай гладкую! Нет, брат, гладкие-то про гладких».— «Вези,— говорит,— ее назад!» — «Врешь, собака! сам вези! Илья Ларин, всесветный барин, не слуга тебе! прощай! Правой-левой, раз-два!» — и пошел добрый молодец на битую дорожку. Вот и все.

— Только-то?

— Ах, малявка! Да чего ж тебе еще больше? И за то дай рюмочку, да простой, простой, не люблю настой!

Нечего было делать, надо было кончить и мне. Надул Илья Ларин! Думал, что расскажет что-нибудь порядочное; но верно всегда первый блин комом.



ДВА МАЙОРА

Повесть

I

Кларен и Рауман, обрусевшие потомки рыцарей, обратившиеся уже в Кларина и Рамина, оба кавалерийские майоры, сослуживцы, были такими между собою приятелями, что приходили друг к другу на квартиру, как домой, и без всяких *здравствуй* возглашали: «Иван! Трубку!», потому что у них у обоих денщики были Иваны с тою разницею, что один был Иван Коротыга, а другой Иван Долгий.

Оба майора были неразговорчивы, не терпели принуждений и все свободное время проводили вместе, в растяжку на лавках хаты, избы, или *касы,* в молчаньи созерцая потолок, крутя усы, пыхтя дымом как волканы, или сладко засыпая под обаянием тишины внешней и внутреннего спокойствия..По наружности они походили на чету супругов, между которыми мир мог сохраниться только вследствие обета на вечное молчание друг с другом.

Однажды Рамин пришел к товарищу, крикнул: «Иван! Трубку!», закинул нога на ногу и начал с каким-то особенным напряжением тянуть дым, так что пылающий табак трещал, быстро перегорая, а трубка невыносимо сипела.

Кларин, как нарочно, был совершенно в таком же состоянии духа и так же жег немилосердно табак. «Иван! Трубку!» — до того раздавалось вперебой, что денщик Иван рассердился и, не говоря худого слова, плевал при всяком к нему воззвании.

Кларин и Рамин жили очень экономно, в карты не играли, гулять не гуляли, пить не пили, а упивались только кнастером; на удовлетворение этой невинной, как известно, и беспорочной страсти, обуяющей мир, они употребляли большую часть жалованья, и запас табаку был у них всегда так велик, что бедным Иванам никогда не удавалось отвечать с сердцем: «Подай трубку! А табак-то где? У Савки в лавке? Пожалуйте денег».

Упившись кнастером, Рамин начинал уже засыпать.

— Hör'mahl! Рауман,— проговорил Кларин так неожиданно, что Рамин оглянулся, приподнял голову и посмотрел на товарища, что с ним сделалось.

Звук Hör'mahl составлял у Кларина единственный остаток от языка родины; но и его он употреблял в экстренных случаях и только в знак дружбы к Рамину. Рамин, в свою очередь, сохранил только немецкое произношение фамилии товарища и корпусного однокашника и называл его не Кларин, а Кларен.

— Hör'mahl, Рауман!— повторил Кларин.

— Ну? — отозвался Рамин.

— Я не знаю, для чего мы не пойдем к помещику?

Рамин выслушал вопрос, задумался и после долгого размышления потребовал трубку.

Кларин, уверенный, что на каждый ответ необходима обдуманность, не повторял уже вопроса, но спокойно крикнул: «Иван! Трубку!» и терпеливо ожидал решения.

— Хм! — произнес наконец Рамин,— отчего ж не пойти?

— Я сам так думаю: он же нас приглашал,— сказал Кларин, привставая с лавки.

— Он приглашал нас,— отвечал Рамин.

После этого рассуждения о возможности идти к помещику майоры снова прилегли, докурили молча трубки и заснули. Рамин очнулся,— на дворе была уже ночь; он встал и пошел домой. Кларин спал еще в ожидании, покуда придет Иван и, разбудив его, скажет: «Ваше благородие, пора раздеваться».

II

На другой день тот же обычный процесс взаимного препровождения времени повторился, с тою разницею, что не Рамин снова пришел к Кларину, но Кларин к Рамину; потому что врожденная аккуратность и соблюдение строгого приличия в исполнении всех обязан-

ностей требовали от чувств дружбы не беспечной взаимности, но порядка и равенства в каждом движении чувств и в каждом одолжении, по правилу: сперва заплати долг, а потом мы опять можем дать тебе взаймы. На этих, понимаемых только тончайшим приличиям условиях, Кларин и Рамин не оставались друг у друга в долгу, даже в расчете взаимных посещений. Для стройности и для удобнейшего порядка они наблюдали черед: сегодня Кларин у Рамина, завтра Рамин у Кларина.

Спросив трубку у Ивана Долгого, Кларин сперва покурил, ходя по касе, осмотрел со вниманием кругом, все ли предметы на привычном месте, как были третьего дня, или есть какое-нибудь вновь придуманное тактическое передвижение и дизлокация в туалетных вещах, разложенных на столе, покрытом салфеткой.

Заметив, что все в том же порядке и устройстве, Кларин присел, а потом растянулся на махровый ковер лавки и положил голову на кожаную подушку.

После продолжительного молчания он наконец произнес:

— Hör'mahl, Рауман?

— Ну?

— Так мы можем идти к помещику?

— Отчего же не так?

По пословице «тише едешь, дальше будешь» Кларин, покрутив усы, сказал:

— В таком случае надо послать ко мне за новым мундиром.

Рамин, подумав, кого послать, велел кликнуть денщика Бубенку, бывшего у него кучером и называвшегося в домашнем быту Образиной. Кларин дал ему подробное наставление по возлагаемому поручению; но, разделяя вполне мнение Рамина, что Бубенко пошлый дурак, спросил у него:

— Ну, что я тебе приказал?

— Як што прыказали? — спросил, в свою очередь, сердитый Бубенко,— што прыказали, то и прыказали.

— Образина! — крикнул Рауман,— говори, когда приказывают!

— От! — пробормотал Бубенко,— тут молчи, як прыказывают, а тут гавари!

— Повторяй, что майор приказал тебе!

— А як не вмею так казаты.

— Ну!

Бубенко вздрогнул.

— Они казали,— проговорил он,— прынести, гаварят, мундырь... Ну, я пишоу да и прынес... они казали... да бог их знае... Я так не вмею казаты!..

— Пошел вон! — крикнул Рамин,— позови Ивана!

— О-то так! — пробормотал Бубенко, выходя.

Денщик Иван, выслушав исчисление, что принести и что не забыть, а именно: чистый платок носовой, фуляровый с пунцовыми каймами, лайковые перчатки, не забыть также на саблю привесить новый темляк, на шляпу новое перо и пр. и пр., сбегал и без обиняков велел своему тезке идти лично к барину и получать от него приказание.

После долгих сборов оба майора наконец готовы. В новых мундирах, в новых эполетах, перетянуты в рюмочку, рыжие усы нафабрены, откуда взялось — гордая осанка, плечи сами собою приподнялись, стан несколько в перегиб, походка с пришаркиваньем.

Летний вечер прекрасен. Солнце уже за Днестром, и вот майоры идут по селению Городище к *курте боереск,* то есть ко двору боярскому.

III

Бояр Иордаки Дольничан был некогда бояр третьего разряда; это не более чем чиновник, имеющий какую-нибудь *мошию*[1] хутор и более ничего. Но в молодости он был ловкий, сметливый молдаван. Как человека угодливого и расторопного, его определили во время Турецкой кампании в 10-м году исправником одного из цынутов Бессарабии; а это значило то же, что дать ему в аренду сто тысяч душ.

Иордаки Дольничан как нельзя лучше исправлял должность, славно угощал весь штат наместника, давал обеды и даже балы и, таким образом приобретая почет у русских, возносил выю свою и пред боярами первого разряда: точно так же растолстел он, как они, откормил свой подбородок и затылок, точно так же надел *качулу*[2] из сереньких бархатных смушек, точно так же сидел на диване, подвернув под себя ноги, и кричал своему *чубукче-паше*[3], арнауту: «Ха, мой! Иоане! Ада чубуче!»[4]

---

[1] имение, усадьбу *(молд.)*.
[2] шапку *(молд.)*.
[3] слуге, ведающему курительными принадлежностями *(молд.)*.
[4] давай трубку! *(молд.)*

По-русски научился он не хуже русского, употреблял аристократическое предсловие вроде поговорки: «Государь мой, я вам скожу» и величался не куконом Иордаки, а Егором Дмитриевичем.

Кукона Марьола так во всем ему соответствовала, так способствовала приобретать расположение русских, и так любила их, и переняла у барынь все манеры, язык, гостеприимство, подчивание, аханье, всплескивание руками, качанье головой, та-та-та, та-та-та, что ее невозможно было уже никакими средствами отличить от какой-нибудь матушки-сударыни-барыни. Ее иначе и не называли, как по-русски Марья Дмитриевна. Она даже умела не хуже салонной угорелой хозяйки почадить перед каждым из гостей ладаном любезности и поднести изустную конфекту. От бывшей куконы в ней не осталось ничего, вот ни настолько, как говорят греки и молдаване, откусывая ноготь на большом пальце правой руки.

У них была единородная дочь Пульхерица. Тип древних русских девушек: писаная красавица, кровь с молоком. В те времена, когда еще не грех было всем *неверным* подданным султана представлять в дар или продавать своих красавиц дочерей в гарем его султанского высочества, за нее можно было бы приобрести по крайней мере сто мешков золота. Если б она жила во времена Александра, не Великого, а известного под именем Париса, сына Приамова, он не похитил бы жены Менелая, не было бы Троянской войны, и слепец Гомер вместо Илиады пел бы у него на свадьбе *Мититику.*

Улыбка как будто приделана была к ее устам наглухо. Она, в противоположность матери, необыкновенно как мало говорила, но внимательно слушала; и если какой-нибудь русский кавалер относился к ней с каким-нибудь кондитерским выражением или смешил ее притупившейся уже от времени остротой, она так мило произносила вполовину по-французски, вполовину по-русски: «Ах! que vous êtes!»[1] — что невозможно было не пожелать жениться на ней и на пяти стах тысячах приданого. Но излишество женихов ужасно как вредно для девушки. Дом Егора Дмитриевича ежедневно, с утра до полуночи, а иногда даже до рассвета, был набит женихами. Поутру приезжал с визитом один разряд жени-

[1] какие вы! *(фр.)*

хов — чиновный, к обеду другой — штаб-офицерский, а на вечер третий — офицерский.

Пульхерице было около шестнадцати лет. Отец и мать услаждали душу, смотря вокруг себя на толпы уважающих, угождающих, предупреждающих желания, ухаживающих за ними, льстящих им, и незаметно привыкли к этому двору искателей счастья, посреди которых Егор Дмитриевич восседал как какой-нибудь дубовый оракул посреди вопрошающих о судьбе своей. Когда он произносил: «Я вам скожу, государь мой»,— все слушало и дослушивало его речи подобострастно. Он так привык к бесцеремонности или бесчинности с своими гостями, что после званых обедов возлагал попеченье об них на жену и дочь, а сам уходил спать; часто гром музыки в зале будил его, и он, потянувшись, выходил на свой бал в спальной скуфее и в *папушах,* в роде шлепанцев туфлей, сверх шерстяных чулок, садился на диван, сбрасывая их с ног и зевая, ободрял гостей ласковым своим словом: «Тонцуйте, тонцуйте, это хорошо!» Гостеприимная Марья Дмитриевна также блаженствовала: гости и гости, как это мило, и тот мил и тот прекрасный человек, и другой и третий бесподобные люди, ни с одним не расстанешься!

Пульхерица, в свою очередь, привыкала к рою взоров, ищущих ее и возбуждающих самолюбие девушки. Положение молоденькой, богатой красавицы-невесты, царственное положение. Какое же хорошенькое, обаянное этим очарованием существо не затруднится перейти из владетельного, свободного, беззаботного состояния в зависимое, в котором предстоят неизбежно болезни и вечные заботы?

Время уходило без спросу; отец и мать тучнели в полном довольствии и опьянении самолюбия; за Пульхерицей также дело не стало в этом отношении: она на счет своих воздыхателей так раздобрела, что похудевшим от любви и тщедушным от природы стало уже совестно не только подходить к ней с сердечными излияниями, но даже стоять рядом. Между тем Егор Дмитриевич, смотря радостно на дочь свою и на окружающих ее женихов, казалось, говорил каждому из них: «Постойте, погодите, господа, я вам скожу, что я дам за ней в приданое не пять сот тысяч, а мильон!»

Эта тщеславная мысль дать в приданое дочери мильон и поразить тем всех князей и бояр не только Бессарабии, но и обоих княжеств так овладела им, что он пу-

стил свой капитал в откупной оборот. Увы! Капитал его лопнул, как котел машины, освещающей его дом газом счастья, и все потухло.

Известно, что в таком случае пламенные взоры и сердца искателей и ласкателей также тухнут, и настает вокруг обоготворяемых ими что-то вроде мрака, которого не в состоянии уже осветить и само солнце.

Чтоб скрыться заблаговременно от указания пальцами, а вместе с тем для поправления состояния и здоровья, которое при подобных внезапных падениях с вершины к подножию также расстраивается, Егор Дмитриевич отправился на житье в свое поместье на Днестре.

Местоположение чудное, воздух чист, прозрачен, с горы весь божий мир, как на ладонке, все время от восхода солнечного до заката можно употребить на прекрасное занятие — на созерцание красот природы, на спокойствие и благо души и тела; но тоска уединения пожирала невидимо и Егора Дмитриевича, и Марью Дмитриевну, и Пульхерицу.

До сердечного или душевного горя девушка цветет розовой красотой; после горя она еще цветет лилейной красотой. Это уже не *то*, но еще хоть *что-нибудь*. Пульхерица опала; но в утешение ей можно было польстить восклицанием: «Ах, как вы интересны!» — удовлетворенное ее самолюбие отвечало бы по-прежнему: «Ах! que vous êtes!».

В это-то грустное время уединенной жизни, по дизлокации проходящих войск из-за границы, назначено было селение Городище под квартиры двух эскадронов некоего кавалерийского или конного полка, с командирами коих, Клариным и Раминым, мы имели удовольствие познакомиться.

IV

Дом помещика красовался на высоте горы, обнесенный виноградным и фруктовым садом, который тянулся до крутого обрыва Днестровского берега. Старая архитектура боярских домов в городах и в селах однообразна: с лица вы видите выдающееся под навесом крыльцо; с обеих сторон по два окна двух половин дома, разделенных сквозными сенями. На крыльце с одного бока лестница. Взойдете и можете сесть отдохнуть на крыльце, как в беседке, на широкой лавке, покрытой ковром

или устроенной диваном, можете наслаждаться окрестными видами и благорастворенным воздухом.

Одну половину дома можно назвать мужской, а другую женской, на выбор, которую угодно — между ними разницы нет: перегородка разделяет каждую на два покоя и только. В переднем покое, *одае де оаспици,* покое гостином, кругом гостиные диваны, в заднем спальные диваны и кончено. Молдаванское богатство в сундуках, роскошь в банках дульчеца.

Эта прадедовская простота очень хороша для душевного спокойствия, потому что нет ничего хуже, как распустить чувства на волю и дозволить глазам бегать, как баловням, из угла в угол, прыгать с предмета на предмет. За ними и мысли на побегушках. Впрочем, это не общее правило; в обществе, как в грамматике, есть тьма исключений из общих правил. Люди, как глаголы; иной: do, dedi, datum, dare, а другой: fero, tuli, latum, ferre [1], и ничем его не исправишь — он весь не свой.

Кукон Иордаки, надо ему отдать справедливость, несмотря на то, что сделался Егором Дмитриевичем, никогда не посягал на родную его природе одежду, не изменял ее подобно другим боярам на обнаруживающую все излишества и недостатки человеческой природы; но носил свое покойное *антери,* свои турецкие шали, покрывающие весь живот от простуды, свои горностаевые, лисьи и собольи *джубе,* свои желтые *мешти* и красные *папучи.*

Однажды, покушав *заму-супу,* или слово в слово *жижи,* из курицы с рисом, *фриптуры,* или жареной баранины, *плачинды* и *кочковалу,* выпив рюмку ракии и графин одубештского вина, он — извините — несколько раз рыгнул: это уж такое обыкновение, введенное для полного изъявления душевной благодарности, вместо слов: «Слава богу, сыт и доволен!»

Соснув порядком, Егор Дмитриевич проснулся, сел тут же на диван, подогнул под себя ноги, долго зевал, и готов уже был хлопнуть в ладоши и крикнуть: «Хэ, мой Иоане! ада кафе ши чубуче!», как вдруг раздался на крыльце необычайный крик цыганок: «Куконица, куконица! *вине, вине! доу офицер вине аичь!»,* потом послышалась беготня и восклицания: «ди грабе, ди грабе! Скорей, скорей!..» Потом все утихло, замолкло.

---

[1] Приводятся неправильные, несосчетаемые латинские глаголы «давать» и «носить».

«Чи есте? Какие офицеры?» — подумал Егор Дмитриевич, потягиваясь с довольствием. Он привык к офицерам; сверх того посреди деревенской скуки гость — подарок: уши поднимаются на макушку, глаза перестают моргать от дремоты, зевота унимается, язык срывается как будто с привязи.

За дверями раздалось шарканье, побрякиванье шпор и сабли; а вместе с тем и приветливый резкий голос Марьи Дмитриевны: «Покорно просим, покорно просим! Пожалуйте!.. Муж мой сейчас встанет!.. Мы давно ожидали вас разделить с нами время!..»

«А! Это они»,— проговорил сам себе Егор Дмитриевич, и он крякнул, спустился с дивана, вздел на ноги папучи и пошел на половину жены, где два майора усаживались уже молча, по приглашению хозяйки, на диван; Пульхерица, разгоревшись, стояла в отдалении, а толпа цыганок выглядывала из-за красного сукна, висевшего над дверями в другой покой.

— А! Покорно просим! Рад, что пожаловали! — проговорил Егор Дмитриевич, усаживая снова привставших и раскланявшихся с ним Кларина и Рамина.— Хэ, мой Иоане! ада кафе ши чубуче! — прибавил он, захлопав в ладоши.

— Пульхерица,— сказала и Марья Дмитриевна,— вели подать, душа моя, кофе и дульчец. У нас такой обычай,— начала она, подсев к Кларину; между тем как Егор Дмитриевич занялся Раминым и уже намерен был вступить в речь обычным: «Я вам скожу»,— как Рамин предупредил его.

— Какое прекраснейшее у вас местоположение! — сказал он.

— Прекраснейшее местоположение,— повторил и Кларин, обращаясь к Марье Дмитриевне.

Марья Дмитриевна тотчас же замолола, как жернов; а Егор Дмитриевич, медленно и отпуская слова счетом, начал:

— Я вам скожу, что это местоположение в отношении природы не так еще удивительно; а вот у меня есть другая деревня, Гулешти; там есть водопад; то я вам скожу, что то местоположение следует описать в гозетах..

— Ах, да, вот если б вы видели водопад у нас, с ужасной горы,— прервала было Марья Дмитриевна, но ее, в свою очередь, прервал приход арнаута с чубуками в сажень и две цыганки с подносами.

— Покорнейше прошу, чего прикажете: дульчецу или кафе?

— Позвольте мне воды,— сказал Кларин, взяв чубук и стакан воды.

— Может быть, вы пьете кафе со сливками?

— Покорно благодарю.

— Ну, я вам скожу, что турецкий кафе гораздо здоровее... извольте, извольте попробовать... вы, конечно, отдыхаете после обеда?

— Иногда,— отвечал Рамин.

— Так извольте всегда после того, как отдохнете, кушать такой кафе: это очень освежает мысли.

— Может быть, прикажете прибавить сахару? Пульхерица, принеси сахару... Рекомендуем вам, это дочь наша...— сказала Марья Дмитриевна, когда Пульхерица принесла сахар.

Кларин и Рамин, взглянув на Пульхерицу, хотели привстать; но перчатки, шляпа, чубук, кофе в крошечной фарфоровой чашечке на чашечке серебряной поставили их в такое затруднительное положение, что малейшее неловкое движение нарушило бы равновесие и было столь же опасно, как для эквилибриста во время завтрака на канате. Они кивнули кое-как головами и больше ничем не могли отвечать на смущенный поклон с присестом Пульхерицы.

— Покорно прошу,— начала Марья Дмитриевна,— сделайте милость без церемоний, по-деревенски!.. Вот когда мы живем в Кишиневе, там мы очень весело проводим время; у нас, можно сказать, всякой день бал, без исключения, ей-богу! О праздниках и говорить нечего; музыка у нас своя... Как жаль, что в прошлую зиму вы не стояли в Кишиневе... Ах, как весело было! Пульхерица совершенно истомилась от танцев... кавалеров тьма! Все офицеры такие охотники танцовать... не правда ли?

Кларин кивнул головой в знак совершенного согласия.

Покуда Марья Дмитриевна описывала прошедшие блаженные дни, Егор Дмитриевич продолжал суждение о местоположении своего села.

— Извольте ли видеть, что касается до местоположения, то я вам скожу, что здесь в каменной горе, над рекой, есть историческое место, которое стоит описать в гозетах. Я доложу вам, что тут по сие время есть в камне келья, в которой жил в старые времена анахо-

рет, святой человек. Вот когда пришли татары от Черного моря и стали грабить и убивать, народ побежал от них сюда. «Спаси, говорит, нас, святой человек».— «А как же я вас спасу? — сказал он,— разве спрятать вас от татар в келью? Милости просим, проходите, проходите!» А келья, доложу вам, как и сами увидите, и для одного человека тесна; а народу молдаванского собралось страшное число; известное дело, в одной Бессарабии по счету будет с мильон... Несмотря на это, весь народ укрылся в келье. Татары ходили-ходили, видят, что никого нет, и пошли назад. Вот с той поры и слывет это место Городищем.

Рамин слушал рассказ со вниманием, и когда анахорет спрятал весь молдаванский народ от татар в келью, то майор изъявил удивление движением всех мускулов лица.

— А есть у меня еще деревня в Ясском цынуте,— продолжал Егор Дмитриевич,— на реке Чугур; там на горе есть огромный камень, как вам доложить... больше этой комнаты, гораздо больше; на этом, государь мой, камне виден по сие время след лошадиного копыта, или, так сказать, подковы. Это, изволите видеть, если вы читали греческую историю, был в древности некто Беллерофон, сын царский, шалун, знаете, как и все молодые люди. Вот он, с позволения сказать, влюбился без памяти в Зиновию, жену некоего Прокла. Но она была честная женщина и сказала мужу, что не знаю, говорит, что делать: Беллерофон умирает от любви ко мне А Прокл был мудрый человек, подумавши, отвечал ей: «Не бойся, всему этому причиной Химера. Напиши письмо к отцу своему и скажи Беллерофону, чтоб отвез его, а когда отвезет, то и получит желаемую любовь». Так она и сделала. Беллерофон, надо сказать, был славный наездник, а у него был отличный конь, Пегас называемый, скакал с горы на гору. Вот Беллерофон и поехал на нем к отцу Зиновии; а на дороге, по которой ему надлежало ехать, жило чудище с змеиным хвостом, Химерой называемое. Объехать нельзя было; а надо было убить, погибнуть или воротиться назад. Но Беллерофон был храбрый молодой человек и стал сражаться с Химерой и убил ее. Когда же приехал к отцу Зиновии и увидал младшую дочь его Филену, то так страстно влюбился, что забыл Зиновию, полагая, что она с намерением погубить его, послала с письмом к отцу. Потом он и женился на Филене. Вот это-то, доложу вам, как

говорит предание, и есть след копыта Пегаса, на котором ехал Беллерофон. А если вам растолковать эту басню то по сей-то причине и называют с тех пор любовь молодых, неопытных людей химерой. А гораздо лучше найти хорошую девушку, с приданым, жениться, да и удовольствоваться этим. Вот, доложу вам, например, такое местоположение, как мое, с хорошей женой — благодать божия.

Рамина, казалось, пленила эта мысль; он покрутил усы и со вздохом пыхнул дымом; но с непривычки курить турецкий табак закашлялся.

— Это ничего,—сказал Егор Дмитриевич,— хлебните воды, хэ, мой! ада апа!

Между тем Марья Дмитриевна, посматривая на Пульхерицу, в свою очередь, чаровала Кларина счастьем своей супружеской жизни.

Он внимательно слушал ее рассказы, и это почтительное внимание к речам заменяло в нем необходимость говорить самому.

Таким образом вечер прошел в переливании из пустого в порожнее. Кларин и Рамин наконец раскланялись. С них взято слово прийти обедать на другой день.

— Очень хороший человек этот господин майор,— сказал Егор Дмитриевич.

— Который из них нравится тебе больше? Не правда ли тот, с которым я разговаривала? — спросила Марья Дмитриевна, когда Егор Дмитриевич вышел на свою половину.

— Оба одинаковы,— отвечала Пульхерица.

— Ах, нет: какой он умный и деликатный человек!

Пульхерица не возражала.

На другой день майоры явились к обеду. Егор Дмитриевич занимал гостя продолжением описания местоположения его деревень; а Марья Дмитриевна заняла своего собеседника после обеда игрой в карты в *кончину,* а потом снова рассказала о балах. День прошел.

V

На третий день Рамин пришел по обычаю к Кларину, которого, против обыкновения, застал сидящего на постели и крутящего задумчиво усы, облокотясь на колена обеими руками.

Бросив фуражку, Рамин сел и также начал крутить усы по очереди, то один, то другой.

Иван не слыхал обычного восклицания: трубку! но думал, что пропустил его мимо ушей, и потому торопливо наложил, зажег *фидибус* и поднес к Рамину, который, вздув губы, смотрел на свои усы.

— Пожалуйте.

Рамин не слыхал этого учтивого выражения.

— Извольте трубку! — сказал Иван после долгого ожидания.

— Что такое? — спросил Рамин, не изменяя своего положения.

— Трубку!

— А! не хочу.

— А вам прикажете? — спросил Иван своего барина.

Кларин ни слова не отвечал.

Иван пробормотал что-то под нос, поставил трубку в угол и вышел.

— Hör'mahl, Рауман.

— Ну?

— Я полагаю, что нам не следует идти сегодня к помещику. Как ты думаешь?

— Но он звал.

— Но он не отдал нам визита.

— Да,— проговорил Рамин задумчиво.

Решив таким образом дело, касающееся до сохранения своего достоинства в отношении помещика, майоры успокоились и, казалось, совсем забыли о нем.

Егор Дмитриевич не понимал утонченных приличий. В Молдавии изъявление этого *должного* почтения собственно человеку, посредством показания носа, не было в обычае. Соскучившись без майоров и удивляясь, что они не показываются уже третий день, Егор Дмитриевич, без церемоний, послал звать их к себе.

Но посланный возвратился и сказал, что они *не могут пожаловать.*

— Странные люди! Они, верно, совестятся часто бывать,— сказал Егор Дмитриевич, получив тот же ответ на вторичное посольство,— пойду сам и приведу их.

— Приведи, пожалуйста, ведь им, должно быть, очень скучно одним,— сказала заботливая Марья Дмитриевна.

И Егор Дмитриевич, надев вместо скуфии *кочулу,* отправился к майорам, сопровождаемый арнаутом с трубкой. Арнаут с трубкой есть неизбежный хвост бояра: едет бояр в *бутке* — арнаут с трубкой на запят-

ках, прогуливается бояр пешком — арнаут за ним хоботом.

Кроме арнаута, следовали за Егором Дмитриевичем *логофет* — правитель его дел, на случай каких-нибудь приказаний; *ватаман* — староста села, для указания квартир майорских; а *заскал* — секретарь бежал вперед предуведомлять о его прибытии.

Не застав Рамина дома, он отправился к Кларину.

Иван бросился было докладывать; но Егор Дмитриевич вошел уже в касу.

Кларин лежал, забываясь уже сном, трубка вывалилась изо рта, как соска у засыпающего ребенка; но губы его еще продолжали сосать и чмокать. Рамин также лежал; услышав, что дверь отворилась, он думал, что вошел Иван, и крикнул: «Трубку!»

— Это хорошая вещь, господа, отдыхать после обеда,— сказал Егор Дмитриевич,— а не хорошо то, что вы забыли своего приятеля.

— Ах, извините,— проговорил Рамин, вскочив на ноги и раскланиваясь.

— Я прошу у вас извинения, что помешал отдыхать.

Кларин, очнувшись, также ахнул и стал оправляться.

— Без церемоний, без церемоний,— сказал Егор Дмитриевич, садясь на лавку,— как застал, так и хорошо. Иоане! *ада чубуче*!.. а не хорошо то, что вы меня забыли.

— Право, некогда было,— отвечал Кларин, которому Иван подавал галстух и сертук.

— Ну, положим, что некогда было, а теперь можно?

— С величайшим удовольствием.

— Так пойдемте, пойдемте, как есть; нас ждут, я обещал непременно привести вас.

— Теперь? Как же это можно,— сказал Кларин, смотря на Рамина.

— Ничего, ничего, пойдемте,— повторил Егор Дмитриевич, вставая и взяв Рамина за руку.

— Извольте,— сказал Рамин,— я не могу.

— А почему ж так? — спросил с удивлением Егор Дмитриевич.

— Не могу,— сухо отвечал Рамин.

— Нет, уж как хотите, я не даром ходил к вам на квартиру, притом же я дал *моим* слово.

И Егор Дмитриевич насильно повлек майоров к себе. Рамин, узнав, что он был у него на квартире с визитом, успокоился.

Между тем Марья Дмитриевна с нетерпением ожидала возвращения мужа. Ей так понравился Кларин, как еще никто сроду не нравился. Никто еще так не удовлетворял внутренней ее потребности говорить без умолку. Егор Дмитриевич был очень добрый человек, всем бы по ней, да он не любил потоков чужих речей, он любил выслушать какую-нибудь фразу, например, «какая прекрасная погода» и тотчас же взять ее на свое попечение, рассмотреть со всех сторон и потом изложить свое суждение, подробно и поучительно, что это еще не такая хорошая погода, какая была во время Греческой этерии, и что не всякую хорошую погоду можно назвать хорошей, и что иная хорошая погода хуже худой; потом начинал свои положения доказывать. Марья Дмитриевна так утомлялась от его суждений и доказательств, что если б понимала, что такое истерика, обморок и другие признаки благородства и деликатности нерв, то, без всякого сомнения, прерывала бы речи Егора Дмитриевича припадком.

В блаженное прошедшее время, когда искатели руки Пульхерицы окружали и ее, она не могла пожаловаться, не могла роптать на невнимание,— ей внимали; но внимали с судорожным нетерпением ускользнуть от удовольствия слушать ее к настоящему, существенному делу, в толпу соперников, или к даме, ангажированной на мазурку. Ни один злодей не пожертвовал ей ни разу полным вниманием, не дал ей назвониться вдоволь, как в великий праздник пономарь каждому охотнику звонить и трезвонить.

Кларин был первый человек, который слушал ее, как прикованный, не отвлекая своего внимания даже взором на Пульхерицу, которая молча сидела, посматривая то на одного, то на другого майора, и слушала одним ухом медленные, протяжные речи отца, а другим быстрые речи матери.

— Что ты это так попросту причесалась сегодня, Пульхерица? — спросила Марья Дмитриевна у дочери.

— *Аша, так,*— отвечала равнодушно Пульхерица.

— Неравно придут гости.

— Ну уж, много гостей! Два майора! Мне с ними не танцовать.

— Не о танцах думать теперь, Пульхерица,— сказала мать, вздохнув,— пора уж подумать рядиться для одного... Какой прекрасный человек этот майор, какой солидный, умный!.. Хозяин какой! Это удивительно:

о чем я ни говорила с ним, все знает. Вот бы тебе замуж за него, Пульхерица... пора! Не пропадать же в деревне.

Пульхерица не знала настоящей причины отъезда в деревню; отец не только от нее, но и от кого только мог, таил свои плохие дела. Она удивилась словам матери, которая всегда желала, чтоб муж ее был генерал, по крайней мере бригадный, если не дивизионный, или даже не корпусный.

— От чего ж пропадать в деревне? — спросила она.

— От чего?.. Ты еще не знаешь, в каком мы находимся состоянии: мы уже не можем так жить, как жили; покуда не поправятся дела, мы будем и зимовать в деревне.

— И на зиму не поедем в город? — спросила с ужасом Пульхерица.

— И отец говорит, что тебя надо скорее выдать замуж, и непременно за русского.

— Что ж такое?

— А где женихи?

— Хм! — произнесла Пульхерица, улыбнувшись.

— Отец думает выдать тебя за мусье Кондратьева, что по особым поручениям при наместнике...

— Что в парике? Ни за что не пойду, лучше умру! — проговорила пресердито Пульхерица.

— Мне самой не хочется этого; да ты ведь знаешь отца.

— Вине, вине! — закричали цыганки,— офицер вине!

Пульхерица бросилась за красное сукно в двери; а Марья Дмитриевна встретила гостей приветливыми словами: «Что ж это вы забыли нас?.. Покорно прошу садиться!.. Как вы проводите время?» И усадила подле себя Кларина, а Раминым снова овладел Егор Дмитриевич.

Когда вошла Пульхерица, внимание майоров было уже занято; они привстали, поклонились; но всмотреться в красоту ее было некогда; только взор ее черных глаз как будто кольнул в сердце и смутил майоров; но не настолько, чтоб забыть приличие и невнимательно слушать хозяина и хозяйку.

Если б Егор Дмитриевич и Марья Дмитриевна не задумали чего-нибудь особенного и если б майорам отведены были вечные квартиры в с. Городищах, то они вечно курили бы у себя молча трубки, а в гостях у помещика внимательно слушали бы гостеприимный говор, привыкая вместо кнастеру к турецкому табаку; но это

приятное препровождение времени, не возмущающее души, не могло долго тянуться. Надо же было счастливцам подумать и о Пульхерице, которая была совершенно стороной в беседах отца и матери с гостями.

Занимались ли майоры Пульхерицей, хотя мысленно,— этого никак невозможно было узнать. Один только раз Кларин, докуря трубку и поставив ее подле постели, не спросил другую, а сказал:

— Hör'mahl, Рауман.

— Ну?

— Дочь помещика, кажется, достойная девушка?

— Да,— отвечал Рамин.

VI

Егор Дмитриевич прежде всего приступил к заботам о Пульхерице. Он был мужик не дурак и умел ко всему сделать надлежащий приступ. Долго собираясь показать Рамину чудную келью в скале, он как будто берег это путешествие на благоприятное расположение духа и удобное время. Однажды за обедом он против обыкновения, положив на стол руки, дал отдых вниманию Рамина и, казалось, слушал Марью Дмитриевну, которая рассказывала Кларину про стихи на Кишиневский сад и о том, как расхвалили в них Пульхерицу.

Внимание Рамина, получив увольнение, могло свободно располагать очами. Пульхерица, сидела напротив, опустив глаза и изредка приподнимая умильный взор, невольно встречалась со взором своего vis-á-vis

Отец был занят, что ж мешало майору смотреть на нее, покручивая усы? Но Егор Дмитриевич, смотря прямо, умел смотреть и на сторону.

После обеда Марья Дмитриевна засадила Кларина играть в кончину, а Егор Дмитриевич предложил своему собеседнику пойти прогуляться.

Он наконец повел его на берег Днестра, смотреть ту келью, в которой все молдаванское племя древних римлян спаслось от татар.

С вершины отвесной скалы, сажен в 50, они опустились по деревянной лестнице на каменную площадку, огражденную перилами. Тут в скале вырублены были несколько келий и маленькая церковь; старик калугар встретил посетителей.

— Вот это так называемый новый монастырь,— сказал Егор Дмитриевич,— а вот я вам покажу и келью анахорета.

И они взобрались по лесенке в вырубленную в скале пещерку, из которой шла лазейка в другую, которой наружная стена сложена была из толстых дубовых досок с ружейными амбразурами. Тут есть несколько старых пищалей, и предание в самом деле очень простодушно говорит, что здесь скрывался народ и защищался от татар.

— Ну, тут я не пролезу,— сказал Егор Дмитриевич.

— *Пуфтим ма рог,* покорно просим,— сказал калугар, предлагая Рамину пролезть ползком в скважину.

Рамин также отрекся от дальнейшего удовлетворения любопытства.

— Так вот, господин майор, та келья, о которой я вам говорил. Не правда ли, что стоит того, чтоб описать в гозетах?

— Да,— отвечал Рамин.

— Однако же пойдемте, того и гляди закружится голова,— сказал Егор Дмитриевич, боязливо спускаясь по лесенке и торопясь выбраться наверх.

— Удивительное местоположение! — сказал Рамин, смотря с вершины скалы на извивающийся Днестр.

— Все это пойдет в приданое моей дочери. Она стоит того, чтоб быть счастливой, девушка без всяких причуд, смирная, как овца, послушная... сами вы видели...

— Да,— проговорил Рамин, сделав утвердительное движение головой.

— Найдется добрый человек... и с богом!.. Мне ни чиновный, ни богатый не нужны; но человек разумный и солидный... так ли, господин майор? Ведь я прав?

— Совершенно так,— отвечал Рамин.

— Так вот, я вам скожу по чести, что Пульхерица будет не жена, а клад... с позволения спросить, вы откуда родом?

— Из Курляндии.

— А! а родители ваши живы?

— Нет.

— Хм! без родителей плохо. Не правда ли, господин майор, будь они живы, давно бы позаботились найти вам невесту... а как нет их, так уж дозвольте мне позаботиться... Я с вами говорю без церемоний, как с честным человеком, которого я полюбил как сына... за эту откровенность вы не сердитесь на меня...

И Егор Дмитриевич протянул к Рамину руку.

— Помилуйте... я очень ценю ваше благорасположение,— сказал Рамин, несколько смутясь.

— Да, поверьте, что я умею отличать достойных и благородных людей... послушайте... я вот что скожу вам... только между нами: как отец, любящий дочь свою, я знаю все, что у нее на сердце... заметил я и с вашей стороны не простое внимание... И потому, полюбив вас... я скожу прямо: если и вам по сердцу Пульхерица, вот вам и рука моя.

Все это было так неожиданно для Рамина и так согласовалось с его расчетом устроить и упрочить судьбу свою выгодной женитьбой, что он не знал, что отвечать; схватив руку Егора Дмитриевича обеими руками и уставив на него глаза, он потряс ее с чувством.

— Итак, дело решенное?.. пойдемте, завтра мы поговорим с женой и с дочерью; за ними дело не станет: воля моя — их воля!

Взяв за руку своего будущего зятя, Егор Дмитриевич возвратился в дом, довольный как нельзя более сам собой, как хитрый политик, которому удалось доставить знаменательные выгоды государству какой-нибудь пустой уступкой.

— А где ж господин майор? — спросил он Пульхерицу, которая сидела на крыльце с французской книгой в руках: потому что мода держать книгу вместо веера проникла и в Молдавию.

— Они в саду с маминькой,— отвечала она.

— Займись с гостем, Пульхерица... Покорно прошу, побеседуйте с моей дочерью,— сказал Егор Дмитриевич, желая оставить майора наедине со своей будущей невестой; а вместе с тем не понимая, что значило, что Марья Дмитриевна не взяла с собою дочери для прогулки с посторонним человеком.

Словоохотливость ее с Клариным, душевное довольствие до того, что разгорится лицо, необыкновенные заботы при ожидании майоров, при угощении их и даже заботы о наряде, тотчас же приняли в мыслях Егора Дмитриевича смысл, от которого кровь бросилась в голову, и он, потирая лоб, спустился с заднего крыльца в сад и пошел по тропинке, всматриваясь и вслушиваясь, как дозор.

В это время под огромным орешником, где была устроена дерновая скамья, происходила не более как одно мгновение романическая сцена, из которой невозможно было не вывести подозрений. Какого рода было объяснение Марьи Дмитриевны с Клариным, неизвестно, но ее лицо разгорелось, глаза блистали; а Кларин, как

потомок учтивых рыцарей, и следуя во всем их обычаю, вероятно, взволнованный каким-нибудь глубоким чувством и безгласный для выражения этого чувства, преклонил перед Марьей Дмитриевной колено и поцеловал ее руку.

— Ах, какие вы! — произнесла она, смутясь невольно.— Пойдемте, пора: нас, может быть, ждут.

Все это видел и слышал Егор Дмитриевич сквозь деревья.

«Понимаю, понимаю! теперь понимаю!» — проговорил он сам себе, едва переводя дух и торопливо удаляясь.

— Иоане! ада чубуче! — крикнул Егор Дмитриевич громче обыкновенного, возвратясь в дом и взобравшись на диван. Поглаживая усы и коротенькую, но густую бороду, которую прежде брил, он устремил суровые взоры на дверь в ожидании преступников.

— Ах, уж вы дома? — проговорила с светлым взором Марья Дмитриевна, входя в комнату с Клариным,— а я показывала господину майору наш сад.

— Показывала?.. ну, хорошее дело... хорошее!.. Без всякого сомнения, господину майору очень понравился сад? Не правда ли, господин майор?

— Прекрасный сад! — отвечал Кларин, которого глаза были оживлены против обыкновения и взор был не так стояч как прежде.

— Прекраснейший! И яблоки какие славные! — продолжал Егор Дмитриевич, кивнув головой и смотря пристально то на яблоко, которое майор держал в руке, то в глаза майору,— я вам скожу, господин майор, на счет этого забавный анекдот, о том, как лиса и журавль полюбили друг друга и угощали...

Ничего острее не выдумал Егор Дмитриевич, чтоб кольнуть майора и дать понять, что ему не удастся полизать долгим носом дульчеца с тарелки. Но Егор Дмитриевич стрелял горохом в стену. Кларин так внимательно устремил на него глаза, что он даже испугался, не чересчур ли задел за живое майора, и подумал: «Эти господа военные не хуже турок: и хлеб съест хозяйской, да еще и потребует платы за то, что ел своими собственными, а не хозяйскими зубами».

Простодушная Марья Дмитриевна также не понимала едких намеков Егора Дмитриевича и продолжала обычное свое кокетство языком.

Егор Дмитриевич и собственно насчет ее отозвался мысленно не хорошо о женщинах вообще. Прародительница рода человеческого виновата была в глазах его первая, а Марья Дмитриевна последняя. В подражание Еве она также сорвала в саду яблоко недаром.

И Егор Дмитриевич замышлял в душе изгнание; но затаил в себе эту мысль.

— Отдам только дочь замуж, а уж потом...

Потом подумал он со вздохом о мадам Ранеско, первой страстной своей любви, которую за него не выдали.

— Итак, до завтра,— сказал он Рамину, когда майоры взялись за фуражки.

— До завтра,— сказала и Марья Дмитриевна Кларину.

VII

На следующий день Рамин явился к Кларину против обыкновения спозаранку. Крикнул: «Иван! трубку!» — и вместо того, чтоб сесть или лечь, наблюдая спокойствие духа, заходил по касе взад и вперед как маятник. Заметно было, что он обдумывал и собирался с духом что-то сказать, но Кларин предупредил его.

— Hör'mahl, Рауман.

— Ну? — спросил Рамин, остановясь вдруг и устремив на него глаза.

— Я намерен жениться... как ты думаешь?

— Ты?..— произнес Рамин, вздернув веки глаз почти на лоб.

— Да,— отвечал Кларин,— на дочери помещика.

— На дочери помещика?

— Да.

— Это невозможно! — сказал Рамин, заходив снова взад и вперед.

— Почему же невозможно? Она прекрасная девушка.

— Это невозможно,— повторил Рамин, пыхая дымом, как паровоз,— если б ты сказал мне это вчера — дело другое.

— Я не понимаю тебя,— сказал Кларин,— объясни мне... Вчера я не мог это сказать... Да почему же я не могу жениться на достойной девушке?

— Невозможно! — повторил Рамин,— сам помещик сделал мне предложение, и я дал уже слово... Это дело решенное.

— Как? — с удивлением произнес Кларин,— но мне также сделано предложение, и я также дал слово.

— Это невозможно! — вскричал Рамин.

— Как? я лгу? — вскричал и Кларин, вскочив на ноги и уставив вопрошающий грозный взор на товарища.

— Не то, это до тебя не касается; это касается до помещика: я потребую у него сатисфакции! Это насмешка!

— Хм! — произнес Кларин,— но я также должен потребовать от него сатисфакции; потому что муж должен отвечать за жену.

— А! стало быть, тебе, Кларин, не сам отец сделал предложение?

— Мне сделала предложение сама мать, это все равно.

— Ну, нет, не все равно: отец имеет полное право на детей.

— Да,— сказал Кларин, подумав,— на сына; а на дочь, я полагаю, мать имеет более права; сын и дочь большая разница.

— Хм! — произнес Рамин,— насчет этого должен быть закон: имеет ли право мать располагать дочерью без воли отца.

— Конечно, потому что, во всяком случае, мне сделано формальное предложение.

— Нам обоим сделано формальное предложение,— сказал Рамин,— ты, как равно и я, мы имеем одинаковое право на получение руки; но следует определить право отца и матери на дочь.

— Да!.. это так!.. Мы об этом спросим у знающих людей; и если решение последует в мою пользу, а помещик будет противиться, то я потребую сатисфакции.

— Конечно,— сказал Рамин, кивнув утвердительно головой.— Я полагаю, что для решения этого затруднения нам должно обратиться к какому-нибудь юриспруденту?

— И я так думаю, Рауман.

— Надо обратиться к корпусному доктору Романиусу, чтоб он написал в Дорпат к профессору прав.

— В таком случае ты скажешь помещику, что имеешь необходимость отложить решение дела на некоторое время; а я то же скажу матери.

— Так это хорошо, Кларен: я скажу, что мне нужно получить разрешение от пастора.

— И я то же скажу. Я полагаю также, что нам не следует быть у помещика до получения известия.

— Без всякого сомнения; кстати, мы идем в караул в корпусную квартиру.

— Я полагаю, медлить не должно, мы можем теперь же идти к помещику и объявить наше намерение. Как ты думаешь, Рауман?

— Я согласен, мы можем идти.

Решив таким образом, Кларин и Рамин отправились к помещику.

Ни Егор Дмитриевич, только что вставший от сна и сидевший, угрюмо задумавшись, на диване с трубкой в руках; ни Марья Дмитриевна, толковавшая на крыльце с ватаманом,— не ждали так рано гостей. Пульхерица еще не вставала; цыганки были на кухне, и никто не успел прокричать: «Вине, вине, офицер вине».

— Ах! это вы! — проговорила с удивлением Марья Дмитриевна, смущаясь от неожиданного прихода майоров.

Кларин и Рамин, ни слова не отвечая, поклонились.

— Покорнейше прошу!..

— Егор Дмитриевич у себя в комнате? — спросил Рамин.

— У себя, покорно прошу.

Рамин, поклонившись, пошел на половину хозяина; а Кларин приостановился и сказал Марье Дмитриевне, что имеет ей нечто сказать.

— Садитесь, господин майор...

— Позвольте мне просить вас,— прервал ее Кларин,— отложить на некоторое время решение насчет моего счастия получить руку вашей дочери...

— Для чего же это? — проговорила с недоумением Марья Дмитриевна.

— Я обязан просить разрешение от своего пастора.

— Разрешение?.. и это долго надо ждать?

— О, нет, может быть, месяц...

— Ну что ж... отчего же...— начала было Марья Дмитриевна, но появление Егора Дмитриевича с Раминым остановило ее.

— С богом, с богом! — повторял Егор Дмитриевич, провожая Рамина.— А! и вы здесь? — сказал он, увидя Кларина, сидящего на крыльце подле жены.

Кларин поклонился.

— Ваш товарищ, стало быть, остается один здесь?

— Нет, мы вместе едем,— отвечал Рамин.

— Как, вы едете? куда? — спросила с удивлением Марья Дмитриевна.

— Нас требуют в корпусную квартиру,— отвечал Кларин.

— Ну, так с богом, с богом,— сказал, успокоясь, Егор Дмитриевич,— нечего делать, для службы надо отказываться и от удовольствий.

Майоры раскланялись и пошли домой.

— Ах, как жаль, что они едут! — проговорила, вздохнув, Марья Дмитриевна,— какой прекрасный человек этот господин майор!

— Который? их двое: один мой приятель, а другой твой приятель...— сказал Егор Дмитриевич, желая уколоть жену и уходя в свою *одаю*.

Простодушная Марья Дмитриевна не поняла напряженного ударения на слово «приятель».

VIII

Кларин и Рамин на другой же день отправились в корпусную квартиру.

Корпусный доктор Романиус был общий приятель каждой компании офицеров; кто только знал его, все были его пациенты и друзья. Кларин и Рамин были в числе. Романиусу было уже лет за пятьдесят; но, несмотря на это, в нем соединились все четыре возраста: младенчество душевное, пылкая юность с бунтующими чувствами, твердое мужество и суровая старость. Градус его духа повышался и понижался, как на термометре, смотря по погоде. Он был чудак, оригинал из оригиналов. Кроме медицины, он знал все, кроме сослуживцев, он знал всех. Умен, учен, краснобай, анекдотист, бонмотист, гуляка, фокусник, чревовещатель, он говорил на всех языках, как на своем родном, и словом был немецкий Lustig[1] во всем смысле слова, со всеми приложениями и иллюстрациями; такой был Lustig, что, слушая его, необходимо было носить на животе бандаж, чтобы не надорвать его со смеху.

Несмотря на это, кто не знал его коротко и не бывал с ним в приятельских компаниях, у него на обедах, на вечерах, а видел только лета, звание и наружность, тот мог подумать, что Романиус самый сухой, суровый, ученый, непроходимый немец, способный только выслушивать историю болезней, произносить «у-хм!» и писать рецепты.

---

[1] весельчак *(нем.)*.

Если случалось кому-нибудь из его приятелей и знакомых быть больным, то он лечил по своей собственной методе. Выслушав рассказ обо всех чувствуемых симптомах болезни, он брал пульс и потом, кликнув денщика или человека, приказывал ему подавать барину как можно скорей одеваться.

— Это зачем?

— Ну, ну, ну, у тебя болезнь опасная,— отвечал он,— мне нельзя тебя *оставить,* и потому беру с собой. У меня сегодня диетный стол.

И без всякого милосердия и отговорок сажал больного с собой на дрожки и вез к себе.

Дома у него с утра до вечера была всегда толпа пациентов вокруг Анелии Станиславовны, его жены, премилой хват-бабы.

Подле нее нельзя было чувствовать в себе какую-нибудь боль, кроме приятного лихорадочного ощущения. Она и магнетизировала, и электризовала каждого своими яркими взорами, своей какой-то вечной радостью, чудной трелью своего смеха, своей какой-то полнотой, свежестью жизни. Кровь тотчас приходила в движение, в брожение, волновалась, кипела, отвлекалась от всех опухолей и воспалений к сердцу и — болезнь мгновенно исчезала.

Майоры явились на совещание к Романиусу в самый разгул, когда он аранжировал подражание Гайденовской оратории «Создание мира» под названием «Грехопадение» на голоса природы и животных, и, распределяя их на всех присутствовавших пациентов, готовился дирижировать дивным концертом.

— А! браво! вот еще два голоса! — вскричал Романиус, увидя входящих майоров,— у нас для баса недостает двух белых медведей!.. Messieurs [1], кладите шляпы! Ну, asseyez-vous!..[2] Постойте: внутренний голос! Господин Камертон природы.

— О-о-о-о! — подал голос один молоденький офицер, сидевший подле прародительницы.

— Так вы,— сказал Романиус, усадив Рамина в круг,— извольте реветь: у-у-у-у!.. А вы: у-у-у-у! октавой ниже... ну!

Майоры понимали, как неприлично стоять вверх головой, когда все общество поднимает ноги кверху; и потому они послушно, без отговорок, настроили свои голоса и затянули: «у-у-у-у!» по данной каждому ноте.

---

[1] Господа *(фр.).*

[2] садитесь! *(фр.)*

Устроив все, как следует, Романиус встал посреди комнаты.

— Ну! et bien messieurs[1] прорепетируем. Закройте глаза, опустите голову вперед, назад или на которую-нибудь сторону и спите спокойно... Dormez la nature[2].— И он запел экспромтом: — die Sonne geht auf... geht auf![3]

— Ну, солнце! levez-vous![4]

Долговязый офицер стал потихоньку приподниматься на ноги.

— Раскрывайте больше глаза, чего вы боитесь!

Вся природа и все животные, взглянув на восход солнца, не могли удержаться со смеху.

— Messieurs! taisez-vous![5] — вскричал с сердцем Романиус и запел: — И пробуждается природа... Ну! приподнимайте головы, открывайте глаза, сперва один, потом другой, ворочайте голову вправо и влево! hurlez le loup, glouglottez le dindon[6], ǫie Rrahe tráфзе! шъ! piano, pianissimo!..

Только что Романиус хотел воздержать возобновившийся смех, как вдруг вошел денщик.

— Осел! — вскричал он,— кто тебя звал? пошел! Такого животного не было при создании мира!

— Инарал прислал дрожки,— сказал денщик.

— А! ну, нечего делать, messieurs[7], я сейчас ворочусь; вы между тем протвердите с morceau d'ensemble[8]. Анелия Станиславовна, не выпускай никого до моего возвращения.

Если б все играющие в концерте Романиуса положились на слово его скоро возвратиться и решились ожидать, по данному предложению Анелии Станиславовне, не выпускать никого, то ждали бы ровно трое суток, потому что за ним прислали из Бендер, верстах в десяти от Тирасполя. Там был один из его важнейших пациентов, страдавший периодическими припадками. Только что начинал он чувствовать какую-то страшную тоску во всем теле и какое-то расположение жить духом и сбрасывать с себя всю тяготу плоти, то тотчас же по-

---

[1] итак, господа *(фр.)*.
[2] Спите, природа! *(фр.)*
[3] солнце поднимается... поднимается! *(нем.)*
[4] вставайте! *(фр.)*
[5] Господа, замолчите! *(фр.)*
[6] войте, волк, бормочите, индюк *(фр.)*.
[7] господа *(фр.)*.
[8] часть целого *(фр.)*.

сылал за Романиусом и говорил ему: «Уф, вот тово, mein dester Романиус, я намерен полечиться, составь мне микстуру, да подумай, пожалуйста, чтоб это было что-нибудь exquis, изящное, для испорченного моего вкуса».

На этот раз было то же.

— Bien! [1] лекарство должно быть непременно по вкусу больного; и я уж придумал микстуру на венгерском вине,— отвечал Романиус, забыв о концерте.

— Уф, вот тово! Der Henker! [2] у меня есть бесподобное! Commandez!.. [3] Lieber [4] Ахметов, вели подать все что нужно.

Ахметов был свой в доме, Романиус скомандовал принести дюжину венгерского, сотню апельсинов и серебряную чашу, величиною, как говорит Геродот, в шестеро больше кратéра, посвященного Павсанием, сыном Кломврота, Посейдону при устье Понта,— и приступив к составлению микстуры, возжжением рома, потоплением сахара, погружением апельсинов и возлиянием венгерского. Сбросив с себя фрак и накинув на плечо салфетку, побледнев от пылающего перед ним синего пламени, он, казалось, зачерпывал огонь серебряной суповой ложкой и, приподняв, выливал назад. Брызги летели огненными языками, пламень вился змеями, как в аде Данта.

Этого еще пылающего напитка налил он в стакан и крикнул:

— Diable! [5] эту микстуру мы назовем punch infernal! [6]

— У-уф, вот тово, Романиус, чрез сколько времени принимать?

— Через час по стакану. Можно и чаще.

— По два! — воскликнул больной, прихлебнув,— это прекрасно! можно по два?

— Можно,— отвечал доктор.

— Ведь это лекарство от всех болезней? — спросил больной.

— От всех! — отвечал доктор,— от душевных и не душевных и даже задушевных!

---

[1] хорошо *(фр.)*.
[2] Мой палач! *(нем.)*
[3] командуйте *(фр.)*.
[4] дорогой *(нем.)*.
[5] дьявол! *(фр.)*
[6] адский пунш! *(фр.)*

— Браво! Lieber Ахметов, распорядись: если кто придет, то просить!.. Но до моего выздоровления не выпускать никого, поставить в дверях часовых... Чу, кто там? просить!.. А! cher commandant!.. Bester Романиус, это твой пациент?

— Да, да, да!..— отвечал Романиус, наливая пылающего напитка в стакан,— кто попал в эту камеру, тот должен принимать то же лекарство.

У страждущего периодическими припадками собирались ежедневно приятели и сослуживцы. Все знали, как опасно попасть к нему во время припадка, но предостеречь себя от этого было невозможно. Попал — и уже выходу нет, пощады никакой, как в камере больных,— пей назначенный прием микстуры, нет отговорки: душа не принимает!.. Душа бежала бы в пятки от насилия; да в дверях не пропустят: не приказано!

И вот вся компания сидит вокруг огромного стола с стаканами в руках под председательством больного хозяина. Романиус подле него. Перед ним чаша, как море. Совершая возлияние в стаканы, как жрец, он повторял нараспев:

Dans cette petite mer sans poisson,
On peut puiser bonne boisson! [1]

Беседа еще тиха. Каждый, приклонясь на стол, как будто рассуждает сам с собою, или, приклонясь к соседу, совещается с ним. Хозяин также еще как будто совещается шепотом с Романиусом, какую тему задать на общее рассуждение. Все как будто хотят сперва добыть истину со дна стакана; но Романиус, как назло, не дает осушать стаканов, подливает в них, повторяя:

Dans cette petite mer sans poisson,
On peut puiser bonne boisson!

— У-уф, вот тово... Так ты так думаешь, bester Романиус? — проговорил наконец хозяин.— Ты полагаешь, что это пустая речь?

— Да, это не Питт,— отвечал Романиус, подливая ему стакан.

— Как не Питт?

— Ни на столько,— сказал Романиус, хлебнув и брызнув сквозь зубы.

---

[1] Из этого маленького моря без рыбы
Можно черпать славный напиток *(фр.)*.

— Это не Питт? — вскричал хозяин, хлопнув стаканом.

— П... п...ппазвольте!.. д... д... д...доктор! — разразился, заикаясь, Ахметов,— пп...п...почему?

— Diable! почему!.. Ты, mon cher, расстрелял меня.

— Уф, вот тово, ты... не мешайся... Ахметов, не в свое дело.

— Г...г...ггэ-нерал... и... и... я... з-з... за вас... от чего ж не п...пи-пи-пи...пить?

— За меня? У-уф, вот тово... хорошо, Ахметов... слышишь, Романиус?

— Трри ста-к-к-ана... пу... пу... пу...стое дело! дддюжина!

— Именно! — прибавил толстый полковник,—пить так пить! Это... славнейший напиток.

— У-уф, вот тово... слышишь, Романиус? Они все говорят, что Питт.

— Слышу, слышу,— сказал Романиус,— теперь согласен: пить так пить, а Питта в сторону!

— К-к-к... как, дддоктор? Как п-ппить в сторону? ппонимаете, господа?

— Нет, не понимаем,— отвечало несколько голосов, не сводя моргающих взоров со своих стаканов.

— У-уф, вот тово, это дело касается не до вас, господа, а до английского парламента,— сказал хозяин.

— К-к-к-как? до английского п-п-п-п...

— Портеру, mon cher,— договорил Романиус...

— П-п-п-портеру?.. п-п-п-позвольте!

В это время один из присутствовавших качался, качался на стуле и наконец свалился на пол.

Романиус махнул рукой.

— Одна пиявка отпала,— сказал он,— сейчас и другая отпадет.

В самом деле некоторые из членов компании также свихнулись с пахвей, кто под стол, кто на стул.

Хозяин над пятым стаканом также замолк, как будто задумался, прищурив глаза и открыв рот; но вдруг очнулся.

— У-уф, вот тово... Романиус! продолжай!..

— Я еще не начинал,— отвечал Романиус.

— И прекрасно... погоди же, я сейчас приду... мне хочется знать, что отвечал Веллингтон.

Романиус не отвечал ни слова; глаза его были красны, как у альбиноса; но он не моргал ими, но смотрел

прямо против себя — в окно. Восходящий месяц, взобравшись на горизонт, уставился из окна прямо на него.

— Ah! c'est vous[1],— сказал Романиус, и, налив инфернального напитка в стакан, он приподнял его и протянул руку: — бери, mon cher!.. Et bien![2] что ж ты?.. бери; а не то я вылью на голову... ну!

И с этим словом начал лить кипяток вместо месяца на лысую голову одного из собеседников, который, уткнувшись носом в стол и положив руки на затылок, спал крепким сном. Почувствовав боль, ему, верно, причудилось, что его бьют палками, и он начал вопить:

— Не буду! не буду!.. помилуйте, ваше благородие, сделайте божескую милость, помилуйте! век не буду! родному брату закажу!..

— У-уф, вот тово, что такое? — вскричал хозяин, выходя из спальни, где он прилег было чуть-чуть отдохнуть.

Прочие собеседники также очнулись, приподнялись на ноги и смотрели кругом в каком-то недоумении.

— Ничего,— отвечал Романиус.

— Bester Романиус, венгерское слишком тяжело действует на голову; мне кажется, надо теперь на шампанском... как ты думаешь?

— Можно,— отвечал Романиус.

IX

На четвертый день поутру Романиус возвратился из Бендер, голова его была как разваренная, от нее еще шел пар.

У своего подъезда он встретил майоров.

— Хер Романиус, нам нужно с вами посоветоваться,— сказал Кларин.

— Ннда? — проговорил Романиус, потирая лоб.

— Мы хотим поговорить с вами,— прибавил и Рамин.

— Нда! — повторил Романиус, потерев снова лицо и зевая...— allons, messieurs[3].

Войдя в комнату с майорами, он бросил фуражку и, взяв руку Кларина, ощупал пульс.

— Ннда!.. покажите язык.

---

[1] Ах! это вы! *(фр.)*
[2] мой дорогой... Ну что! *(фр.)*
[3] пойдемте, господа *(фр.)*.

— Я здоров, хер Романиус; мы пришли по делу,— сказал Кларин.

— А!.. ну, какое же дело?.. так мы прежде закусим.

— Покорно благодарю, я не хочу.

— Не хотите? Ну майор хочет, и я хочу. Ей! водки! и селедки подай!

— Вот что, хер Романиус,— начал Кларин,— у вас в Дорпате есть знакомый доктор прав?

— Нда! ну?

— Нельзя ли написать к нему, чтоб он разрешил наш спор: кто имеет больше права располагать рукой дочери, отец или мать?

— А! какой же из вас мать? — спросил Романиус, выпивая рюмку водки и закусывая селедкой.

— Я полагаю, что мать,— продолжал Кларин, занятый своим предметом,— а Рауман говорит, что отец; а потому нам необходимо знать, как это считается по закону. Мы просим вас написать об этом какому-нибудь известному юриспруденту, чтоб он разрешил этот вопрос.

— Нда! — проговорил Романиус,— но мне нужно знать, в чем же дело: за ответом нам не нужно далеко ходить. Я сам доктор прав Геттингенского, Страсбургского, Парижского и Лейпцигского университетов. Хотите видеть мои дипломы и докторские шапки и мантии?

— Рауман, мы можем положиться на доктора, и в таком случае писать в Дорпат не нужно.

— Конечно, если доктору известны законы, то для меня все равно.

— Так мы можем рассказать доктору, в чем состоит дело?

Рамин изъявил согласие.

Потирая лицо и подбородок рукой, отдуваясь и зевая, Романиус выслушал историю майоров.

— Нда! — сказал он потом, отдув губы и нахмурив брови,— все обстоит благополучно, беззаконного поступка нет. Оба вы, господа, славные малые; а вашей невесты разделить на две равные части невозможно. Так ли, Рауман?

— Так, без сомнения,— отвечал Рамин.

— Так ли, Кларен?

— Конечно,— отвечал Кларин.

— На вашей стороне отец?

— Да.

— А на вашей мать?

— Так точно.

— Хорошо. Ну, теперь скажите, на чьей стороне дочь?

— Мне сказала мать, что желание дочери согласно с ее желанием.

— Мне сказал отец то же самое,— сказал Рамин.

— А! следовательно, дочь на стороне обоих, поровну.

Романиус приложил палец ко лбу и закрыл глаза, которые и без думы давно уже слипались.

— Так как же по закону, Herr Романиус? — спросил Кларин после долгого ожидания решения.

— Нда! — проговорил Романиус, зевнув и потерев лицо рукой,— по закону?.. Я об этом и думал. Закона на этот случай нет; но мы можем решить по статье о нанесении личных обид. Voyez vous[1], древний закон говорит: Celui qui barre le passage â un homme...[2]

— По-русски, если можно, Herr Романиус,— прервал Кларин.

— А! — это все равно; закон говорит: «кто преградит путь мужчине, тот платит двадцать червонцев, а кто преградит путь женщине, тот платит девятьсот червонцев». Видите, какая дьявольская разница?.. Из этого следует, что за преграждение пути женщине гораздо строже взыскивается, так ли?

Кларин и Рамин, уставив глаза на Романиуса, сделали знак утверждения, не понимая, к чему ведет этот путь.

Романиус, как будто догадавшись, что необходимо прояснить недоумение майоров, прибавил:

— Закон не говорит, какой путь; он говорит вообще о всех путях... так? Ну хорошо; и потому, если я сделаю преграду пути желаниям матери, я больше отвечаю, нежели за отца. Понятно?..

— Нет, я не понимаю, Herr Романиус,— отвечал Рамин.

— А! не понимаете? Ну, погодите же ты, пойдем другой дорогой. Если решить в пользу отца — обидишь мать! Так ли, господин Кларен?

— Так! — отвечал Кларин.

— Если решить в пользу матери — обидишь отца! Так ли, майор?

— Так! — отвечал Рамин.

---

[1] Смотрите *(фр.)*.

[2] Тот, кто преграждает дорогу человеку... *(фр.)*

— Ну; но за обиду женщины закон взыскивает вдвое. Следовательно, во всяком случае женщине отдается предпочтение, хотя Людовик VII и говорит в своей хартии «Effrayès que nous ètions de la multitude de nos filles, nous souhaitions ardement que Dieu nous accordât des enfants d'un sexe meilleur» [1] — понятно.

Рамин надул губы и пожал плечами.

— Хм! Вы понимаете, почему адвокат должен решить в пользу матери и почему женщине отдается предпочтение перед мужчиной?

— Да.

— Я вам объясню; car, dit noblement la loi, la femme ne peut se defendre par les armes [2], то есть: женщина не может поднимать оружие на защиту себя. Понятно теперь?

— Да,— проговорил Рамин, нахмурившись и пройдясь несколько раз по комнате.— Ну, в таком случае это уже дело решенное,— продолжал он,— Кларен, я оставляю свои требования: ты можешь жениться.

— Ну,— сказал Кларин, протягивая к нему руку.

— Решено? — прибавил Романиус, зевнув,— так приходите ко мне обедать; а теперь, messieurs, я пойду отдыхать; извините, я не спал три ночи.

— Так мы можем идти, Рауман? — сказал Кларин.

— Можем,— отвечал Рамин, кивнув головой.

X

Между тем в селе Городище по отъезде майоров происходило следующее.

Егор Дмитриевич или спал, или насупясь сидел на диване и курил трубку, или ходил, заложив руки назад, мрачный и задумчивый; с женой не говорил ни слова, с Пульхерицей очень мало. Так как подобное раздумье часто с ним случалось, особенно после того, как рухнулись не только воздушные его замки, но и все именье, описанное за долги, то Марья Дмитриевна нисколько не обращала внимания на его суровый взгляд и молчанье. Она тарабарила по-прежнему и успела уже высказать Пульхерице желание своё, чтоб она вышла замуж за майора Кларина.

---

[1] «Испуганные множеством наших дочерей, мы горячо желали бы, чтобы Бог даровал нам детей лучшего пола» *(фр.)*.

[2] ибо, говорит с достоинством закон, женщина не может защищаться оружием *(фр.)*.

Пульхерица выслушала очень спокойно страстное желание матери, как будто дело касалось не до нее, и сказала только:

— Я его ни за что не поцелую; у него такие скверные, колючие усы! Он один раз подошел к руке и уколол мне руку.

Марья Дмитриевна уверила Пульхерицу, что в супружестве усы ничего не значат, что бритые усы еще хуже колются.

— Да! — сказала Пульхерица, подумав,— он на мне женится; а вы не дадите мне слова с ним сказать! Это скучно!

— Вот какие глупости ты говоришь! это оттого, что он, как солидный человек, оказывает внимание старшим.

— Да вы всегда будете старшие,— сказала Пульхерица, надув губки,— а он все и будет сидеть с вами да разговаривать. Я уж это знаю, он такой чудак. Он, я думаю, и танцовать не умеет.

— Вот уж, какие глупости ты говоришь.

Прошло около двух недель. Егор Дмитриевич, как будто надумавшись, позвал однажды после обеда Пульхерицу почесать ему в голове, покуда заснет.

— *Фрумушица,*— сказал он ей,— как тебе нравится мой *приятин* майор?.. ну?

— Хороший человек,— отвечала лениво Пульхерица.

— Вот видишь, я тебе скожу: он прекраснейший человек, разумный человек... Не то, что товарищ его, пустой человек. Тебе уж пора замуж выходить... я думал отдать тебя за мусье Кондратьева...

— Ах, избави бог! скверной какой!

— Ну, ну, ну! ты глупая! не понимаешь хороших людей!.. А я вот что тебе скожу, только ты не говори матери... Я отдам тебя замуж за господина майора.

— *Думнедзеуле!* — проговорила Пульхерица жалобно.

— Да, мне необходимо русского зятя по моим делам... Когда отберут именье, то будет поздно выходить замуж.

— *Сараку ди мини!* бедная я! — произнесла Пульхерица обычное молдаванское восклицание.

— То-то и есть, что будешь бедная, если не выйдешь замуж теперь... Как только он приедет — и с богом!

Объявив свое намерение дочери, Егор Дмитриевич замолк и вскоре задремал. Пульхерица продолжала, за-

думавшись, почесывать ему голову. Мысли ее опять начались с отвращения к стоячим усам.

«Думне, думне! — повторяла она про себя,— я лучше ежа поцелую!»

В это самое время в *одае де оаспици,* в гостиной, происходила другая сцена.

Там Марья Дмитриевна, разгоревшись от радости, сидела с Клариным, возвращения которого она не ожидала так скоро.

— Как обрадуется Пульхерица! — повторяла она,— ах, как она грустила, что вы уехали, не простившись с нею!..

— Что ж делать,— отвечал Кларин,— необходимость...

— Как мы все скучали без вас!.. Ей-богу! Каждый день вспоминали!.. Мне все дни такие казались долгие...

Кларин почел обязанностью поцеловать руку Марье Дмитриевне за такое внимание. Только что он приклонился, как вдруг дверь отворилась и Егор Дмитриевич, пораженный неожиданностью видеть Кларина, и тем более столь пламенно целующего руку жены, остановился на пороге, как в раме живой картины.

— А! — проговорил он дрожащим голосом,— мое почтение! как это хорошо!

Кларин бросился к нему и протянул руку.

— Нет, уж позвольте,— сказал Егор Дмитриевич,— мы поговорим сперва... пожалуйте ко мне.

И он повел Кларина на свою половину.

— Покорно прошу... садитесь!.. покорно прошу!.. Я вам вот что скожу... мне понятно и известно все...

Кларин поклонился.

— Я имею желание...— начал он.

— Что вы изволите говорить? — перервал Егор Дмитриевич, расхаживая по комнате в раздраженном состоянии духа и похлопывая папучами,— желание имеете?.. Это очень хорошо! это хорошее дело... Покорно вас благодарю!..

Кларин снова поклонился и намерен был изъявить свою благородность и словесно, но не успел.

— А я вот что вам скожу,— продолжал Егор Дмитриевич, остановясь против него и уставив глаза,— это, государь мой, пустяки!.. Этого... я не дозволю!.. Это, государь мой...

— Как пустяки? — перервал, вспыхнув, Кларин,— мне сама ваша супруга объявила желание...

— Жена моя?.. объявила желание? Это очень хорошо! Это очень хорошо!.. ха, ха, ха! жена моя, сама!..

— Да-с!.. Вы смеетесь?.. вы оскорбляете меня-с! Я требую сатисфакции!

Кларин встал в соответственную положению форменную позицию, когда рыцари бросают перчатку и указывают на нее противнику пальцем. Глаза его выкатились от гнева, губы гордо отдулись, вся наружность ощетинилась.

Раздраженный Егор Дмитриевич вздрогнул, но не оробел. У него у самого глаза налились кровью, и он ходил по комнате, как корабль; полы его антери раскинулись на стороны, как паруса.

— Сатисфакции?..— проговорил он,— нет уж, после этого..., я вам скожу... вы можете взять и идти с ней куда вам угодно!.. куда угодно!..

— Как-с, против воли отца?.. никогда-с!

— Я не отец ей!.. я не отец,— повторял Егор Дмитриевич, не помня себя.

— Стало быть, меня обманули!.. Я шутить над собой не позволю-с. Вы должны или изъявить согласие, или дать сатисфакцию!

— Покорно благодарю! — сказал, побледнев, Егор Дмитриевич, торопливо выходя из своей комнаты чрез сени на половину жены.

Майор в исступлении шел за ним.

— Иоане! Петраки! — закричал Егор Дмитриевич.

— Что такое? Чи есть? Чи есть? — крикнула и испуганная Марья Дмитриевна. Пульхерица бросилась от страха за красное сукно.

— *Аша! бун! Таре фрумос!*.. Очень хорошо!.. Вот, вот она вам!.. извольте взять ее, господин майор! — восклицал Егор Дмитриевич, указывая на жену.

— Нет-с, вы должны отвечать за вашу жену-с! — крикнул Кларин, наступая на него.

— Домне, домне!.. что это такое?.. господин майор!— завопила Марья Дмитриевна, удерживая майора.

— Ваш муж мне делает дерзости-с!.. Вы изъявили желание отдать мне руку вашей дочери... а муж ваш...

— Что такое? — прервал Егор Дмитриевич, едва переводя дух от волнения,— позвольте... о чем дело?.. руки моей дочери?.. позвольте... фу!.. позвольте отдохнуть.

И Егор Дмитриевич сел на диване, утирая платком разгоревшееся лицо.

— Как это можно делать такие неприятности,— заговорила Марья Дмитриевна по-молдавански к мужу,— человек имеет намерение жениться на Пульхерице...

— Позвольте...— повторил Егор Дмитриевич,— жениться?.. господин майор требует руки моей дочери?.. Я, право, не понял... Я прошу у вас извинения, господин майор, что погорячился!.. Вот видите ли... я вам скожу... садитесь, пожалоста... садитесь, сделайте одолжение...

— Садитесь, господин майор,— прибавила ласково и Марья Дмитриевна.

— Позвольте сказать вам... что касается до руки дочери моей, то я вам доложу, что я не виноват; а виновата жена моя... я не знал, что вы имеете намерение жениться, и дал слово вашему товарищу.

— Знаю-с,— отвечал Кларин,— это мне известно... он не может принять вашего предложения. Вот письмо от него.

— Как? не может?

Егор Дмитриевич развернул торопливо письмо. Сперва лицо его нахмурилось было, но вдруг просветлело.

— Скажите, пожалоста!.. Так вот какой случай, господин майор!.. Не сердитесь же на меня... право, я не виноват... Вы мне всегда нравились... и я очень рад... *хэ мой! Иоане! ада чубуче! ши апа!*

— *Ши дульчац!* — прибавила Марья Дмитриевна, сев на другом конце дивана. Ей грустно было, что муж ее овладел майором и ей приходилось только слушать.

— Я вот что вам скожу, господин майор,— начал Егор Дмитриевич, взяв трубку и воду,— бывают разные случаи; хотя бы, например, и этот... все это происходит от недоумения... человек разгорячается и сам себя не помнит... извольте выкушать и вы воды — это хорошо... а потом мы поговорим.

После долгой речи, в которой Егор Дмитриевич исчислил деревни, которые он дает за Пульхерицей, описал их местоположение, рассказал предания о чудной келье, о молодом человеке, называемом Беллерофоном, и, словом, обо всем, что стоило бы напечатать в газетах,— дело было решено. Но Пульхерицу насилу вызвали из-за красного сукна: так испугалась она ощетинившегося майора.

— Я бы посоветовал вам взять отставку,— сказал в заключение Егор Дмитриевич.

— Я взял отпуск на четыре месяца,— сказал Кларин,— но вместе с прошением о женитьбе я подам и в отставку.

— Оно, право, лучше быть хозяином,— прибавил Егор Дмитриевич.— Вот жена с дочерью поедут в Кишинев готовить все к свадьбе, а я вам покажу мое хозяйство.

XI

Как сказано, так и сделано. Егор Дмитриевич остался с будущим зятем в деревне, а Марья Дмитриевна с Пульхерицей отправились в Кишинев.

В это время в Кишиневе в числе многих кукон вдов и разошедшихся с мужьями была мадам Аника Чуло. Красота ее ограничивалась орлиным носом, для ее портрета не нужны были никакие краски, кроме Sepia[1] и туши; состояние ее заключалось в доме на болотистом берегу Быка и в Одае, состоящей из нескольких землянок; но и этим владела она за отсутствием брата, который служил в гусарах. Отличительная черта несходства их между собою состояла только в том, что она была Аника с небольшими усами, а он Костаки с огромными усищами. Нежданно-негаданно вдруг он приехал в отпуск. По наружности он был истинно черный гусар.

Так как нежность была не в их природе и не шла обоим к лицу, то Аника, не дав еще ему переступить через порог, вместо здравствуй сказала:

— Костаки, для какого черта ты сюда приехал?

— Это у тебя новенькая? — спросил он вместо ответа, расстегивая портупею сабли, надетой сверх шинели, и смотря на молоденькую цыганку, которая стояла у дверей в исподнице, обтянутой по поясу ширинкой шерстяного рядна вместо юбки.

Костаки приехал поправить свои плохие дела. Он по обычаю или лучше сказать по-молдавански: *дупа обычулуй*, приписал себя в родню господарю и проиграл на мелок большую часть доходов с Молдавии. Так как ему долго не высылали их, а отыграться не удалось, то он и расчел, что следует сперва подать в отпуск, уехать из полка, а потом подать в отставку. Так он и сделал. Сестра его, мадам Аника, баба—лапчатый зверь, сама взялась устроить его судьбу, зная, что каждый мужчина, никуда не годящийся, всегда еще годится в женихи и так называемые мужья. Приказав запрячь тощих же-

---

[1] Коричневая краска.

ребцов в коляску, она поскакала рыскать лисой по городу и искать мокрой курицы. Проезжая мимо дома Дольничана, она заметила в окошке Пульхерицу, ахнула и прямо на двор. Марьи Дмитриевны не было дома, и потому мадам Анике удобно было обвиться змеей около девушки, расчувствовать ее своей любовью, лаской, участием и выпытать все, что у ней на сердце. Когда Пульхерица, надувши губки, рассказала ей причину приезда в Кишинев и что ее выдают замуж за усатого сердитого буку майора, которого она ни за что целовать не будет,— Аника залилась такими горькими слезами, что у простодушной девушки затрепетало сердце.

— Тебя уморить хотят! такую красоту уморить хотят! — проговорила Аника и, как убитая горем, повесила голову, закрыла лицо платком и ни слова, как будто не о чем уже больше и говорить, все кончено, приговор сделан, остается готовиться к смерти. Пульхерица побледнела. В воображении ее родилось что-то страшное, предвещающее беду.

— Прощай, Пульхерица, сердце мое! — произнесла Аника после долгого молчания, утирая глаза.

— Куда вы, куда? — проговорила Пульхерица, схватив ее за руки,— погодите!

— Чем же я тебе теперь помогу? — сказала Аника, бросив на нее горестный взор и вдруг прижав ее к сердцу.

— Погодите! — повторила Пульхерица.

Слезы брызнули у нее из глаз.

— Сердце мое, я приеду к тебе завтра; меня ждет с нетерпением брат... Ах, как я обрадовалась ему!.. Какой молодец гусар!.. Скажи, пожалуйста, ты выезжала куда-нибудь в эти дни?

— Вчера мы в саду были.

— Ну так, верно, он там тебя видел и уж успел влюбиться...

— Ah, quelle vous êtes![1] — проговорила Пульхерица сквозь слезы с веселой улыбкой.

— Ты заметила его там?

— Я видела одного гусарского офицера; но я не знала, что это он.

— Это должен быть он, непременно он, я в этом уверена; не понимаю, от кого он узнал твое имя?.. Верно, у кого-нибудь спросил... Приехал домой в таком

---

[1] Ах, какие вы! *(фр.)*

восторге от тебя... как сумасшедший!.. Если б кукон Иордаки был здесь, я бы непременно привезла его познакомить... Да теперь уж поздно!.. прощай, сердце мое!..

Пульхерица простилась с Аникой, просила приехать непременно на другой день, отерла слезки, глубоко вздохнула и задумалась о гусаре, которого встретила в саду, стала припоминать прекрасную его наружность.

В тот же день, в сумерки, разъездился перед окнами дома и в скок и рысью черный гусар.

Пульхерица как нарочно сидела подле открытого окна, склонясь на руку и задумавшись о своей горькой участи. Вдруг топот коня, красный кивер с султаном, красный ментик, голубой доломан и два пожирающих глаза...

Пульхерица вспыхнула, обомлела, опустила глаза. Напрасно конь топочет перед окном; она не смеет взглянуть прямо; но у девушки есть боковой взор.

На другой день Аника явилась сердитая.

— Представь себе, сердце мое, Пульхерица,— сказала она,— эти гусары предерзкие люди: уж если влюбился, так хоть на нож полезет!.. Костаки хоть и брат мне, но я рассердилась на него. Вдруг вздумал требовать, чтоб я его сватала на тебе... «Опоздал, *фрате!*» — сказала я ему; и слышать не хочет: «Я,— говорит,— убью ее жениха...» Каков?

— Ах! quel il est! [1] — проговорила Пульхерица, покраснев.

— Я на беду проговорилась: сказала, что ты выходишь по желанию отца и матери... «Как,— вскричал он,— не по своему желанию?» — и поклялся, что майор должен с ним драться. Безумный, совершенно безумный! «Покуда,— говорит,— меня не убьют, никто не женится на ней!» Представь себе! Так меня рассердил, что ужас!

— Ах! quel il est!—повторила Пульхерица, качая головою.

— Но уж я за то его озадачила. «За тебя-то пойдут ли? — сказала я ему.— Видишь, какой молодец! великая вещь гусар!..» Не правда ли, что это глупо?

Пульхерица не успела еще отвечать на такой затруднительный вопрос, как Аника спросила ее:

— А где ж куконица Марьола?

— Маминька поехала во французский магазин, к Дюпону.

[1] каков он! (*фр.*)

— Бедная Пульхерица! поди ко мне, приляг на грудь мою!

Хитрой Анике не много стоило труда напугать простодушную Пульхерицу, влюбить наобум в своего брата!

На следующий день она приехала, объятая ужасом, пораженная отчаянием, и сказала Пульхерице, что Костаки сходит с ума, хочет убить себя перед ее окном, и залилась горькими слезами.

В первый раз сердце Пульхерицы заточило кровью. До сих пор оно было, как железняк, бесчувственно ко всем вздохам и нежным, страстным выражениям любви. Стрелы отскакивали от него; надо было непременно пробить это сердце какою-нибудь *пулей*. Аника отлила пулю не хуже Волшебного стрелка.

В одно прекрасное утро Марья Дмитриевна проснулась с чувством довольствия, что все заботы и хлопоты о приготовлении приданого кончены и, верно, увенчаются общими похвалами ее вкусу. Это утро она назначила для показа приданого всем своим знакомым и пригласила их накануне. Она хотела неожиданно удивить и Пульхерицу, которая не вмешивалась в распоряжения матери и не знала, что для нее делают к свадьбе. Пульхерица спала обыкновенно до полудня; могла бы и дольше спать, но ее будили. На этот раз Марья Дмитриевна не велела ее будить, покуда все не будет готово, и занялась в зале устройством выставки всего приданого. Развесила по креслам и стульям платье, капоты, кацавейки, шали, платки, чепчики, наколки, пелеринки, шемизетки, воротнички; разложила по столам белье, башмаки, перчатки, фермуары, серьги, браслеты, булавки, разные разности и всякую всячину, необходимую для туалета невесты и молодой, налюбовалась всем сама, насмотрелась на все со всех сторон, наслушалась аханья всех своих *служиторов* и наконец готова уже была послать будить Пульхерицу, как вдруг приехали знакомые куконы и куконицы.

— Посмотрите, посмотрите,— повторяла она всем и каждой, показывая вещи,— как вам нравится? хорошо ли?.. не правда ли, что хорошо? как обрадуется и удивится Пульхерица? ах, как обрадуется! она многого еще не видала!.. Она еще спит... надо ее разбудить... разбудите Пульхерицу!

Но психица Пульхерица уже далеко: часах в пяти езды от Кишинева, в Одае куконы Аники; давно уже она

проснулась, лежит в постельке, дрожит, слезы рекой. С ней сбылась пародия на Душеньку и Амура.

Покуда Душенька не видела своего таинственного супруга, она думала, что он какое-нибудь чудовище; но когда увидела:

Пред ней открылся бог Амур,
Прекрасен, бел и белокур,
Хорош, пригож, к любви способен,
И словом роскошь! бесподобен!

С Пульхерицей случилось напротив: когда Пульхерица, очнувшись, взглянула на своего молодого супруга, она вздрогнула от ужаса, спряталась под одеяло и залилась горькими слезами.

Чудовище встало, надело халат, закурило трубку и начало прохаживаться по хате.

В двери заглянуло другое чудовище в женском наряде.

— Что, можно войти? — спросило оно по-молдавански.

Чудовище в халате кивнуло головой.

XII

Покуда Марья Дмитриевна с дочерью была в Кишиневе, Егор Дмитриевич препроводил время в деревне с своим будущим зятем, рассказывал ему тьму вещей, которые стоят быть напечатаны в газетах, учил его играть в шахматы и в трик-трак. Он играл чудно в трик-трак, шашки так и перелетали, так и гоняли друг друга из стойла в стойло, как кони.

Спустя недели две после отъезда Марьи Дмитриевны расположились они после обеда на диване с шахматной доской. Егор Дмитриевич учил будущего зятя подгибать под себя ноги, но длинные ноги Кларина не годились для подобного употребления.

— Экие вы какие, извольте смотреть,— сказал Егор Дмитриевич и начал было снова показывать естественную посадку. Вдруг раздались голоса цыганок:

— Куконица вине! Куконица вине!

— А! — проговорил Егор Дмитриевич, не трогаясь с места,— пора!

Кларин почел неучтивым оставить игру и идти навстречу.

И игра преспокойно продолжалась, покуда не послышался в сенях резкий голос Марьи Дмитриевны:

— Здесь Пульхерица? Пульхерица приехала? здесь Пульхерица?

И вслед за этим раздалось пронзительное восклицание, которое поразило флегматических игроков. Они вытянули лица.

— Кукона умирить,— вскричала бледная цыганка, распахнув двери.

— Домне, Домне, чи есть? — проговорил с ужасом Егор Дмитриевич, вставая с дивана.

Служиторы и цыганки несли на руках Марью Дмитриевну.

Ее положили на диван. Старая *Матуша* начала ее оттирать уксусом.

Все кругом молчало.

Егору Дмитриевичу и в голову не приходит иного горя, кроме припадка, случившегося с женою.

— Не понимаю, что с ней такое сделалось? — говорит он майору, который в ответ пожал плечами и не тревожился о невесте, как о вещи ему уже принадлежащей и которая в свое время будет на своем месте.

Марья Дмитриевна начала приходить в себя; очувствовавшись, она обвела кругом взорами.

— Иордаки! где Пульхерица? — вскрикнула она вдруг, увидя подле себя мужа.

— Пульхерица? — спросил Егор Дмитриевич, обратясь назад с вопросительным взором на стоящих в мрачном молчании служиторов,— где Пульхерица?

— Нушти, не знаем! — произнесли все тихо, пожав плечами.

— Я говорю, где Пульхерица? — крикнул Егор Дмитриевич.

Безмолвный ответ повторился.

— Пульхерицу спрашиваю я! — вневно вскрикнул снова Егор Дмитриевич, бросясь к стоявшей неподвижно цыганке.

— Нушти! Кукона одна приехала,— вскрикнула она, присев на месте и сжавшись от испуга побоев.

— Это что такое? где Пульхерица? — проговорил Егор Дмитриевич, обратясь к жене.

Но Марья Дмитриевна снова лежала уже без памяти, схватясь за голову. Егор Дмитриевич заходил по комнате. Служиторы скрылись за дверь.

Майор стоял в безмолвном недоумении, уставив глаза в потолок, приподняв губы и крутя усы.

Прошел день, проходит другой. Егор Дмитриевич напрасно допрашивал жену, она заливалась слезами и молчала.

Люди отвечали ему, пожимая плечами: «Нушти Боерь! Куконица вдруг пропала, да пропала и бог ее знает куда!..»

Майор ходил в своей комнате из угла в угол молча, также пожимал плечами, как будто в ожидании, чем решится этот странный случай и с какой-то решимостью потребовать сатисфакции за нанесенную обиду.

— Господин майор! пропала дочь моя! — сказал наконец Егор Дмитриевич, войдя к нему и заливаясь слезами.

— Хм! — проговорил Кларин,— я этого не понимаю!

— Кто ж понимает? — спросил Егор Дмитриевич,— я послал повсюду людей... Но я вот что скожу вам: в старинные времена не только что наш брат, простой человек, но и королевичи сами отправлялись искать своих невест, когда они по какому-нибудь случаю пропадали или когда похищали их чародеи.

— Нет-с! покорно благодарю-с! — вскричал майор,— я должен был требовать сатисфакции; но с бабами-с я почитаю за стыд драться-с!..

С этими словами приказал своему денщику Ивану укладываться и запрягать лошадей, он взял фуражку, кивнул презрительно головой и вышел.

Через несколько лет на квартире, в Митаве, снова Кларин и Рамин лежали в том же положении, как мы описывали в начале нашей повести.

— Hör'mahl, Роуман,— сказал Кларин, после обычного молчания и задумчивости.

— Ну? — проговорил Рамин лениво.

— Я намерен жениться; как ты думаешь?

Рамин вместо ответа побледнел и задрожал. Он предчувствовал, что они сошлись опять на одной невесте.

Но это уже другая история.



ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни А. Ф. Вельтмана вышло пятнадцать его романов, два сборника повестей (М., 1836; СПб., 1843), рассказы. Почти все крупные произведения выходили отдельными изданиями, а повести и рассказы публиковались в журналах, альманахах и газетах. Издания советского времени: Вельтман А. Ф. Приключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея. Кн. 1—4. Предисловие и комментарии В. Ф. Переверзева. М.: Художественная литература, 1957; Вельтман А. Ф. Странник. М.: Наука, 1977. Серия «Литературные памятники»; Вельтман А. Ф. Повести и рассказы. М.: Советская Россия, 1979. Оба издания подготовлены Ю. М. Акутиным, опубликовавшим в 70-е годы ряд статей о Вельтмане в научной и массовой печати. Биографический и библиографический материал также наиболее полно представлен в послесловии Ю. М. Акутина к «Страннику» и в его статьях; Вельтман А. Ф. Эродита.— В сб.: Русская романтическая повесть. М., 1980; Вельтман А. Ф. Романы. Составление и вступительная статья В. И. Калугина. Послесловие и комментарии А. П. Богданова. М.: Современник, 1985. Серия «Из наследия»; Вельтман А. Ф. Сердце и Думка. Приключение. Роман в 4-х частях. Подготовка текста, вступительная статья и примечания В. А. Кошелева и А. В. Чернова. М.: Советская Россия, 1986.

В настоящий сборник вошли произведения А. Ф. Вельтмана 1840-х годов, как опубликованные («Воспоминания о Бессарабии», «Райна, королевна Болгарская», «Костештские скалы», так и издающиеся в советское время впервые («Новый Емеля, или Превращения»). Но даже опубликованные произведения известны зачастую лишь в отрывках. Так произошло с «Воспоминаниями о Бессарабии», из которых постоянно перепечатывается только часть, имеющая непосредственное отношение к А. С. Пушкину, полностью же они не переиздавались. В отрывках известны и рассказы «Илья Ларин», «Два майора», входящие в Кишиневский цикл произведений писателя и тоже связанные с именем А. С. Пушкина.

Тексты публикуются с учетом норм современной орфографии и пунктуации, но с сохранением авторского стиля и наиболее характерных особенностей языка эпохи (*скрыпка, сертук, снурок, конфектка, протупея, извощик, шкап, волкан, дизлокация, галстух* и т. п.).

НОВЫЙ ЕМЕЛЯ, ИЛИ ПРЕВРАЩЕНИЯ

Роман «Новый Емеля, или Превращения» вышел отдельным изданием в 1845 году и с тех пор не переиздавался. По своим жанровым признакам, стилистике образов, языка он примыкает к романам-сказкам 30-х годов и продолжает традиции русского романтизма пушкинского времени. В образе Емельяна Герасимовича нетрудно узнать черты Ивы Олельковича из «Кощея бессмертного» — оба они восходят к сказочному Иванушке-дурачку. Тем не менее «Емеля» — не только сказочный, но и социально-психологический роман, предшествующий пятитомной эпопее писателя «Приключения, почерпнутые из моря житейского», первая часть которой, «Саломея», вышла в 1846 году. В «Емеле», как и в «Саломее», предстает сатирическое изображение крепостной действительности и помещичьей аристократии.

Примечания к роману составлены А. Б. Ивановым.

С. 22. *...века тупеев, фижм и робронов.*— XVIII века. Тупей— фасон завивки волос в мужской прическе или парике; фижмы — юбки на каркасе из китового уса и металлической проволоки; роброн — характерный для XVIII века покрой широкого женского платья, буквально «круглое» (от фр. robe ronde).

С. 23. *Паголенки* — голенища чулок.

С. 28. *...арию из «Русалки».*— Имеется в виду популярнейшая в начале XIX века опера «Леста — днепровская русалка», написанная в 1805 году композитором С. И. Давыдовым на либретто Н. С. Краснопольского.

С. 30. *...пасочной системы и волокон.*— Устаревшее название лимфатической системы.

Ассафетида — смола одноименного растения из семейства прямосеменных.

Скрупул — аптекарская единица веса, в метрической системе — 1,244 грамма.

С. 33. *...в блондовом чепчике.*— Блондовый — шелковый кружевной.

...из оперы «Свадьба Волдырева».— Имеется в виду одноактная комическая опера «Свадьба господина Волдырева», написанная в 1790-е годы и имевшая большой успех на столичной и провинциальной сцене. Либретто В. А. Левшина, музыка И. Ф. Керцелли.

С. 34. *...Алаферна представляет.*— Олоферн — ассирийский военачальник, пленившийся чарами красавицы Юдифи и погибший от ее рук. Библейский рассказ об этом широко использовался как сюжет многих драматических произведений.

С. 38. *...дрягал дригодоны.*— Автор иронизирует, намеренно искажая название старинного танца ригодон.

С. 41. *...из милиционных командиров.*— Слово «militia» по-латыни означает «ополчение». Так называлось ополчение, созданное в ходе войны с Наполеоном в 1805—1807 годах, но в войне практически не участвовавшее.

С. 42. *...субалтерн-офицер.*— Общее название офицеров, входивших в состав роты и подчиненных ее командиру, имевшему, как правило, чин капитана.

..до пример-майорского чина.— Установленный «Табелью о рангах» во времена Петра I чин майора в 1731 году был разделен на два: премьер- и секунд-майора (буквально «первый» и «второй майор»). Это разделение было упразднено в 1797 году, но офицеры, вышедшие до того в отставку, сохраняли свой чин до конца жизни.

С. 44. *...в милиционный чекмень.*— Ополченцы (милиция) носили длинный, почти до колен, форменный кафтан-чекмень.

С. 47. *...колосс родосский.*— Имеется в виду огромная статуя, сооруженная в III в. до н. э. на острове Родосе. Колосс родосский считался одним из «семи чудес света». Легенда значительно преувеличивала размеры Колосса: считалось, что между его ногами могли проплывать корабли, входящие в родосскую гавань. На самом деле высота статуи составляла около 70 локтей (примерно 36 метров).

С. 59. *Фурлейт* — солдат-ездовой в артиллерии и обозных частях; буквально «погонщик» («Furleit» — нем.).

С. 71. *...с красной стамедной подкладкой.*— Стамед — легкая шерстяная ткань с косым расположением нити.

С. 95 *...он обер-мундшенк; на его попечении биттер-шнапс, гоголь-моголь, глинт-вейн, шампаньер-вейн-муссе и нон-муссе.*— Автор иронически называет своего героя высоким придворным чином обер-мундшенк (в переводе с немецкого «старший виночерпий»). Далее перечисляются напитки и угощения, излюбленные на офицерских пирушках: биттер-шнапс — горькая водка, гоголь-моголь— взбитые с сахаром яичные желтки, глинт-вейн — горячий напиток из вина со специями. Два последних — разновидности пунша.

С. 98. *Весталка* — у древних римлян жрица богини домашнего очага Весты. Весталки под страхом смерти были обязаны сохранять девственность. В данном случае слово употребляется в ироническом смысле «старая дева».

С. 103. *Неаполитанский король* — маршал Мюрат. Зять Наполеона Иоахим Мюрат (1767—1815) с 1808 года носил титул неаполитанского короля. После разгрома Наполеона русской армией в Отечественной войне 1812 года Мюрат возглавил остатки «Великой армии».

...бригадиры Екатерининских времен.— Явная насмешка: чин бригадира (промежуточный между полковником и генерал-майором) был упразднен Павлом I в 1799 году.

С. 104. *Зельцерская* — старинное название минеральной воды (правильнее «зельтерская» по имени курорта Бад-Зельтерс).

С. 115. *Хандельштат Лейпциг* — (от нем. Handelstadt) торговый город Лейпциг.

С. 124. *Клюмпхен, ганс, мандель-кухен* — излюбленные старонемецкие блюда. Клюмпхен — буквально: комочки; ганс — гусь; мандель-кухен — миндальный пирог.

С 132. *...Эдип в Афинах* — трагедия русского поэта и драматурга В. А. Озерова (1769—1816), созданная в 1804 году по моти-

вам известного античного мифа и пользовавшаяся в России большой популярностью.

Баярд Пьяр де Терайль (1476—1524) — французский военачальник, славившийся отвагой и благородством и еще при жизни прозванный «рыцарем без страха и упрека».

С. 133. *Сажа* — черная краска; *бакан* — красная краска, изготовлявшаяся из особого вида насекомых — обитателей тропиков (другое название «кошениль»). С появлением искусственных красителей вышла из употребления.

С. 136. *Гамазея* — амбар (искаженное «магазин» в значении «склад»).

С 138. *Фемида* — богиня правосудия у древних римлян. В данном случае сочетание «храм Фемиды» — иносказательно-насмешливое в значении «судилище».

С. 140. *...на стул посажу.*— Стул (иногда стуло) — тяжелый обрубок дерева с цепью, к которой приковывали преступника.

...красная... синяя — общеобиходное название десятирублевой и пятирублевой ассигнаций.

С. 144. *Семирамида* — полулегендарная царица Ассирии, жена царя Нина, основателя города Ниневия. С именем Семирамиды связано множество легенд, в том числе о знаменитых «висячих садах».

...Египетская армия.— Намек на египетский поход генерала Бонапарта (будущего императора Наполеона I), предпринятый в 1798 году.

...северный капрал Карл XII.— Имеется в виду шведский король Карл XIII (1682—1718). При нем началась Великая Северная война между Россией и Швецией, завершившаяся полным поражением последней. Ироническое прозвище «капрал» вызвано солдафонскими манерами Карла XII.

Александр Великий — Александр Македонский (356—323 до н. э.), один из наиболее известных в мировой истории завоевателей, создавший в IV веке до н. э. крупнейшую империю, распавшуюся после его смерти.

Август — римский император (с 27 г. до н. э. по 14 г. н. э.); его весьма посредственные стихи вызывали у приближенных потаенные насмешки.

Спагов — в фантасмагории перечисления различных воинов, подвластных Семирамиде, это название следует понимать как обозначение восточных всадников. В действительности же спаги (точнее *сипахи*) — воины турецкой феодальной кавалерии. Позже спагами назывались солдаты французской колониальной кавалерии.

С. 145. *Сивиллы* (Сибиллы) — мифические прорицательницы древних римлян. Считалось, что существовало всего двенадцать Сивилл, предсказания которых были собраны в особой книге.

«Constitutionnel» — название официального правительственного издания во Франции при Наполеоне I и в годы Реставрации.

С. 146. *Атлас* — горная система на северо-западе африканского материка.

Драбанты — телохранители.

Валгалла — в древнегерманской и скандинавской мифологии небесный дворец верховного божества Одина (иначе Вотана), куда девы битвы Валькирии приносят души героев, павших в битве.

С. 147. *...золотого фазана, изжаренного Архимедом.*— О великом ученом древности Архимеде, жившем в III в. до н. э., сохрани-

лось мало достоверных свидетельств. Легенды же приписывают ему множество изобретений, в частности использование зажигательных стекол. Упомянутый здесь эпизод, а равно и легенда о том, что он сжег солнечными лучами римский флот, является до сих пор предметом споров историков науки.

Крез (VI в. до н. э.) — царь государства Лидия на западе Малой Азии. Его баснословные богатства вошли в древности в поговорку.

С. 148. *Кир* — имя двух царей древней Персии (правильнее Куруш).

Сир Лионель — имя рыцаря, которого, по преданию, любила Жанна д'Арк.

С. 149 *...ангажировал вас на манимаску.*— Манимаска — один из салонных танцев рубежа XVIII и XIX вв. Далее упоминается полонез («польский» — фр.) — торжественный танец-шествие, которым обычно открывались балы.

С. 150. *Обер-гренцмейстер* — в переводе с немецкого означает старший, верховный начальник границ (звание придумано автором).

Сезострис — эллинизированная форма имени египетского фараона Рамсеса II Великого (XIV—XIII в. до н. э.), при котором Древний Египет достиг крайних пределов могущества. *Цесарь* — Гай Юлий Цезарь (102 или 100 — 44 гг. до н. э.), римский полководец и государственный деятель, диктатор и фактически первый из императоров.

С. 151. *Нострадамус* — знаменитый французский астролог XVI века Мишель Нотрдам, туманные пророчества которого пользовались успехом в разных странах Европы вплоть до начала XX века.

...вспомните Бендеры.— Имеется в виду эпизод Великой Северной войны, когда Карл XII, содержавшийся в крепости Бендеры в положении пленника, вырвался из-под стражи.

С. 153. *...арабский стих.*— В качестве арабского стиха автор приводит типичную «тарабарщину» — бессмысленный набор звуков. Поэт Тантарани также фигура вымышленная.

С. 154. *Тамбур-мажор* — унтер-офицер в полковом оркестре, начальник горнистов и барабанщиков. Тамбур-мажоры имели особую форму со множеством нашивок, галунов и т. п. и носили жезл наподобие булавы, движением которого задавали ритм оркестру.

С. 155. Перечисляется ряд французских писателей и писательниц, романы которых были популярны в России конца XVIII — начала XIX века,— *Дюкре-Дюмениль* Франсуа Гийом (1761—1819), графиня *де Жанлис* Мадлен Фелисите, урожд. де Сент Обен (1746—1800), *Коттен* Мари Софи, урожд. Ристо (1770—1807), а также английская писательница *Радклиф* Анна (1764—1823), известная как одна из создательниц жанра «романа ужасов». Далее упоминаются персонажи из их романов.

С. 156 *...читает Малек-Аделя.*— Малек-Адель — положительный герой романа французской писательницы Мари Софи Коттен «Мальвина», созданного в 1801 году.

С. 159. *...дружно, как по флигельману.*— Одним из видов воинских упражнений в XVIII—XIX вв. были разного рода перестроения и ружейные приемы, которые показывал стоявший отдельно на правом фланге солдат, обыкновенно самый высокий в роте. Такого солдата именовали флигельманом (буквально «боковой человек»).

С. 163. *Сантуринское* — один из сортов производимого в Греции вина.

С. 169. ...*в сафьяновых папушках*.— В мягких сапожках из сафьяна (кожи особо тонкой выделки).

Венера Каллипига — одно из прозвищ богини любви и красоты.

Каллироя — малораспространенное греческое имя.

Василевс и Василисса — по-гречески означает «царь» и «царица».

...*немецкие романы*.— Перечисляются имена популярных в то время немецких писателей-романтиков, чьи произведения составляли типичный круг чтения девушек и женщин в русских дворянских семьях: *Крамер* Карл Готлиб (1758—1817), *Коцебу* Август Фридрих Фердинанд (1761—1819), *Лафонтен* Август (1758—1831), *Шпис* Христиан Генрих (1755—1799).

С. 173. ...*розовыми кустарниками Кралева в Булгарии*.— Неточность: город Кралево расположен не в Болгарии, а в Сербии.

С. 221. *Опекунский совет* — учреждение, ведавшее воспитательными домами и их имуществом, занимавшееся также кредитно-ссудными операциями.

Экосесы (экосезы) *и матрадуры* — разновидности салонных танцев начала XIX века.

С. 222. *Лаокоон* — в греческой мифологии жрец Аполлона в Трое. предостерегавший троянцев от введения в город знаменитого «троянского коня», внутри которого спрятались греческие воины. За это Афина послала к Лаокоону чудовищных змей, задушивших его вместе с сыновьями.

...*башмаки... вроде котов*.— Большие и нескладные, наподобие бахил, надевавшиеся поверх обуви, для предохранения ее от грязи.

С. 228. *Дормез* (от фр. «dormir» — «спать»)— род дорожной кареты с лежачими местами.

С. 232. ...*нанесенной Венерой обиды Вулкану*.— В античной мифологии бог огня, покровитель кузнечного ремесла Вулкан изображался в виде хромого и неправильно сложенного широкоплечего силача, внешность которого вызывала насмешки других богов Олимпа и прежде всего богини любви и красоты Венеры.

Гипсовые фестоны — лепные украшения в виде цветов, букетов или гирлянд.

Трип — сорт дешевого, довольно грубого шерстяного бархата.

С. 233. *Пике* — строченая ткань (в данном случае, по всей вероятности, льняная тонкая парусина).

С. 237. ...*коринфского ордена*.— Орденом (правильнее ордером) в классической архитектуре называется сочетание в конструкции здания несущих и несомых частей.

С. 246. *Четверть* — старинная мера веса. В описываемое время 8 пудов (128 кг). *Мера* — единица объема, различная в разное время и в разных местностях. По емкости меру можно сравнить с ведром.

С. 248. ...*орден золотого руна*.— Высший орден так называемой Священной Римской империи, а затем Австрии и Австро-Венгрии. Считался фамильным орденом правящей династии Габсбургов.

С. 256. *Антонов огонь* — устаревшее название гангрены.

С. 262. *Иппократ* — устаревшая форма написания имени древнегреческого ученого Гиппократа, считающегося основоположником медицины.

С. 276 *...сельный цвет.*— Едва-едва распустившийся цветок; *синель* — сирень.

С. 290. *...услажденного меркурия.*— Лекарства с примесью ртути; в терминологии фармацевтов прежде «меркурием» называли ртуть, которую считали целебной против многих болезней.

С. 325. *...природа аплике* (от фр. appliquer — прикладывать) — природа обработанная, облагороженная приложенными к ней усилиями человека.

Плежур-граунт — термин садовой архитектуры: отдельно стоящее дерево, специально посаженное или сохраненное при расчистке местности для устройства парка.

С. 327. *Суп а ля тортю* — здесь и далее перечисляются различные блюда французской кухни.

С. 339. *Беленькая* — обиходное название двадцатипятирублевой ассигнации.

РАЙНА, КОРОЛЕВНА БОЛГАРСКАЯ

Общее представление о Вельтмане-историке и Вельтмане-романисте достаточно точно выразил М. П. Погодин, писавший: «С живым, пылким, часто необузданным воображением, которое не знало никаких преград, и с равной легкостию уносилось в облака, даже и за облака, или опускалось в глубь земли, переплывало моря и прыгало через горы, Вельтман страстно был предан историческим разысканиям в самом темном периоде истории. Там романическое воображение его гуляло на просторе с полным удовольствием; он был, как говорится, в своей тарелке, и колонновожатый в молодости, указывавший полкам их позиции перед сражением, и квартиры после сражений, он остался тем же колонновожатым и в старости. Гуннами, Визиготами и Остроготами, Вандалами, Лонгобардами, Маркоманнами, Герулами, Аварами помыкал он еще гораздо смелее и решительнее, чем Бородинским или Тарутинским полками. Направо, налево, марш! Лонгобарды, что стали на дороге, посторонитесь, уступите место Вандалам, вот так! Герулы назад, Маркоманны вперед! Авары торопитесь,— и дикие народы, повинуясь волшебному жезлу недуманного, негаданного предводителя, напавшего на них как снег на голову, спешат исполнять его приказания...» («Русская старина», 1871, октябрь).

Известный историк, а в молодости и беллетрист, М. П. Погодин имеет в виду исторические изыскания А. Ф. Вельтмана о том периоде истории, который до сих пор остается «темным». Его «Варяги» (1834), «Атилла и Русь» (1856), «Исследование о свенах, гуннах и монголах» (1858), «Маги и магийские каганы» (1858) действительно во многом основаны не на научных данных (их попросту еще не было), а на авторском вымысле. Эта способность соединять несоединимое (эпохи, личности, верования, языковые и стилистические пласты) стала основным художественным приемом романов-сказок Вельтмана «Кощей бессмертный», «Светославич, вражий питомец», «Сердце и Думка».

Но при этом нельзя забывать, что у Вельтмана были исторические труды и исторические произведения вполне «достоверные»: «Начертание древней истории Бессарабии» (1828), «О Господине Новгороде Великом» (1834), «Достопамятности Московского Крем-

ля» (1843), «Московская Оружейная палата» (1844). Эти и другие исторические исследования Вельтмана до сих пор остаются в числе первоисточников. Такова и повесть «Райна, королевна Болгарская» (1843), в основе которой лежат подлинные исторические события (первый и второй Дунайские походы Святослава), хотя главная героиня Райна и вся любовная линия (Райна — Святослав — Самуил — Воян) тоже принадлежат к области «романического воображения», без которого, впрочем, не было бы и самого жанра исторической романистики. Тем не менее вымышленные события развертываются на достоверном историческом фоне. Здесь Вельтман-историк опирается на «Повесть временных лет», «Историю» Льва Дьякона и другие византийские хроники, в которых, в свою очередь, тоже есть «темные» места, представляющие возможность для авторского домысла, гипотез.

Вельтман обратился к теме, которой еще в 20-е годы Н. И. Гнедич пытался заинтересовать А. С. Пушкина. В известном письме 1825 года из Михайловского Пушкин отвечал ему: *«Тень Святослава скитается не воспетая,* писали вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? а Пожарский? История народа принадлежит поэту». *Тень Святослава* появится в романе Вельтмана «Светославич, вражий питомец», а в повести «Райна, королевна Болгарская» он вновь возвратится к замыслу пушкинского времени.

Но и в этом произведении Вельтман не просто следует за известными историческими источниками. Отступив от уже сложившихся стереотипов (в том числе и Н. М. Карамзина), он выдвинул свою версию самого похода Святослава, представив его не как набег для получения дани, не как карательную военную экспедицию, а как поход освободительный. Пройдет более чем столетие, и вот к каким выводам придет современный историк, основываясь не на повести Вельтмана, а на анализе первоисточников: «Мы не видим ни одного факта, свидетельствующего о намерении Святослава завоевать Болгарию. Русь и Болгария, где у власти в 970—971 годах стояла антивизантийская группировка, совместно выступили против Византии, русские и болгарские воины дрались рядом против греков под Аркадиополем, Преславой, Доростолом. Появление Святослава в Филиппополе в 970 году объяснялось не его военными действиями против болгар, а стремлением изгнать из Южной Болгарии греческие войска магистра Склира и патрикия Петра; его репрессии в Переяславце, Филиппополе, Доростоле были направлены не против болгар вообще, а против провизантийски настроенной части болгарской знати, за которой шли определенные вооруженные подразделения» (Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. М., 1982, с. 179). При этом исследователь оговаривается, что «у нас нет оснований идеализировать политику Святослава на Балканах и полагать, будто он являлся бескорыстным другом болгарского народа». Но факт остается фактом, подобную версию об освободительном Дунайском походе Святослава впервые выдвинул Вельтман-романист.

Историческая повесть «Райна, королевна Болгарская» впервые опубликована в «Библиотеке для чтения» (1843, т. 59) и до 1985 года не переиздавалась. В настоящем издании сохранено авторское написание *Русы, Греки, Армяне, Бо́лгаре* с прописной буквы, что имеет определенное смысловое значение. В примечаниях использованы комментарии к предыдущему изданию: Вельтман А. Ф. Романы. М.: Современник, 1985.

С. 347. *Симеон* (878—927), князь, а с 919 года — царь Болгарии. С его правлением связан период наибольшего могущества и культурного расцвета Первого Болгарского царства. Под предводительством Симеона болгары в 894—896 годах вели победоносные войны с Византией, которая вынуждена была уступить часть Фракии, Македонии, территорию Албании и выплачивала болгарскому царю дань.

Филархия — здесь: честолюбие, властолюбие.

С. 348. *Роман I Локапин* (Лекапен) — византийский император (920—944) из македонской династии (происходящей от армянских крестьян). Вел тяжелые войны с болгарским царем Симеоном, после смерти которого распространил свое влияние на Болгарию. Укрепил армию, сражался с русским князем Игорем (941 г.) и заключил в 944 г. мирный договор с Русью, возобновив «старый мир, нарушенный уже много лет». Два пункта этого исторического договора имеют самое непосредственное отношение к событиям 960—970-х годов. Первый из них гласил: «И да не имеют русские права зимовать в устье Днепра, в Белобережье и у святого Елферея; но с наступлением осени пусть отправляются по домам в Русь». А вслед за этим следовал второй пункт: «Если придут черные болгары и станут воевать в Корсунской стране, то приказываем князю русскому — чтобы не пускал их, иначе причинят ущерб и его стране» («Повесть временных лет»).

Логофет — в Византии — название некоторых высших государственных должностей (логофеты ведали государственной казной, сбором налогов).

Беллерофон — герой греческой мифологии, совершавший свои подвиги на крылатом коне Пегасе, победитель злобного чудовища Химеры. Одна из легенд о Беллерофоне приведена в рассказе А. Ф. Вельтмана «Два майора».

Эльборджу — Эльбрус.

С. 350. *Георгий калокир.*— В повести Вельтмана, как и в византийских источниках, Георгию калокиру уделяется немалое место. В «Истории» Льва Дьякона сообщается, что «патрикий (высший придворный чин в Византии.— *В. К.)* Калокир, посланный к тавросаксам по его (Никифора) царскому указу, прибыл в Скифию, завязал дружбу с катархонтом тавров (так в Византии титуловали киевских князей.— *В. К.*), совратил его дарами и очаровал льстивыми речами... Калокир уговорил <Сфендослава> собрать сильное войско и выступить против мисян (болгар) с тем, чтобы после победы над ними подчинить и удержать страну для собственного пребывания, а ему помочь против ромеев в борьбе за овладение престолом и ромейской державой». Миссия калокира Георгия вполне удалась, Святослав, «будучи мужем горячим и дерзким, да к тому же отважным и деятельным, поднял на войну все молодое поколение тавров». Византийский хронист даже сообщает, что Святослав соединился с Георгием калокиром «узами побратимства» (Лев Дьякон. История. М., 1988).

С. 351. *Никифор II Фока* — византийский император (963—969) из знатного малоазиатского рода, проводил политику, отражавшую интересы стратиотов. Военная реформа Никифора Фоки признала катафрактов основной силой армии, с которой император вел победоносные войны с арабами. Никифор начал в 966 году войну с Болгарией, которую, судя по византийским хроникам, люто ненавидел. Убит в результате заговора Иоанном Цимисхием у себя во дворце.

С. 352. *Стратиотами* в Византии назывались крестьяне, обязанные за владение неотчуждаемым земельным наделом военной службой. В X веке из них формировалась тяжелая, закованная в латы кавалерия катафрактов. Зажиточные крестьяне, свободные от всех государственных налогов, кроме поземельного, стратиоты дали империи немало видных государственных деятелей.

Аварийский каганат с центром в Паннонии был окончательно разгромлен в VII веке, а сами авары (древнерусские *обры*) растворились в массе других племен; отсюда пословица «Повести временных лет»: «погибоша, аки обри». Здесь Вельтман имеет в виду *угров* — венгров.

Сариссофоры (от гр. «сарисса» — длинное копье) — копьеносцы, тяжеловооруженные пехотинцы, составлявшие фалангу.

С. 353. *Фаранги* — здесь: франки, служившие наемниками.

Порфира — багряница, пурпурная царская одежда.

С. 357. *Меровинги* — первая королевская династия во Франкском королевстве (457—751).

С. 358. *Комитопул* — сын комиса.

Гунь — телогрея, кожух.

Чельник — головной наряд; *челенка* — боевой значок, хоругвь.

С. 359. *«Руси есть веселие пити, не может без того быти!»* — «Повесть временных лет» (под 986 г.) приписывает эти слова великому князю Владимиру Святославичу.

...рода Руссов — поколения древних земных богов. — В работе «Индо-германцы, или Сайване» Вельтман производил слово «Руссы» от древнеиндийского «Раджи».

Воспитанный в обычаях и древнем веровании деда и отца. — В летописи о воспитании Святослава сказано: «Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых. И легко ходил в походах, как пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел. Не имел он и шатра, но спал, подостлав потник, с седлом в головах. Точно так же и прочии вои его вси бяху».

Ус его был злат, как у Перуна, борода бритая... — В «Истории» Льва Дьякона приводится описание внешности Сфендослава (Святослава): «Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчугами» (Лев Дьякон. История. М., 1988). Таков русский князь в восприятии византийского хрониста. Этот облик противоречил всем нормам самих ромеев, которые стригли волосы только по случаю траура или судебного осуждения. Серьги среди мужчин носили только дети и моряки. Поэтому трудно судить, насколько достоверно это описание, хотя и сделано оно современником, но сделано по уже существовавшим канонам: подобным же образом описывался могущественный и зловещий вождь гуннов Атилла. Сфендослава, как и других россов, ромеи называли скифами, применяя к ним уже сложившиеся стереотипы, основанные на контрасте общепринятым «нормам». Вполне возможно, что перед нами именно такой случай.

С. 360. *...а любили полосы.*— Слово «полоса» Вельтман в данном случае производит от древнерусского слова «палас» (полоса меча); здесь показывается, что россы хранили традиции своих индоевропейских предков. Возможно, автор учитывал и сообщения римских авторов о преобладании у древних германцев (*сайван*, которых он считал славянами) длинных рубящих мечей над колющим оружием.

Будучи еще в детском, лет десяти...— Вельтман имеет в виду знаменитую сцену из «Повести временных лет» под 946 годом боевого крещения Святослава, когда Ольга взяла с собой малолетнего сына в поход на древлян. «И когда сошлись оба войска для схватки, Святослав бросил копье в древлян, и копье пролетело между ушей коня и ударило коня в ногу, ибо был Святослав еще ребенок. И сказал Свенельд и Асмуд: «Князь уже начал; последуем, дружина, за князем». И победили древляне». Неизвестен лишь точный возраст Святослава (год его рождения в летописях не указан), скорее всего, ему было 2—3 года, а не десять, речь идет о ребенке.

...И своим оружием да изсечени будем.— Вельтман перефразирует клятву русичей из договоров Руси с греками 912 и 945 гг., приведенных в «Повести временных лет». Описание вокняжения Святослава — художественная реконструкция: в источниках это событие не отражено.

С 361. *Полки Словен... Тиверцев...*— Славянские племена, вошедшие в состав Древнерусского государства, перечислены в «Повести временных лет».

...и с этого времени об Хазарах ни слуху ни духу.— В описании Хазарского похода Святослава (965 г.) Вельтман опирается на сообщение «Повести временных лет» и «Книгу путей и государств» арабского автора второй половины X в. Ибн-Хаукаля (см. в кн.: Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования М., 1976).

...тружаяся ловы деять.— Вельтман цитирует «Поучение Владимира Мономаха», но в «Повести временных лет» сохранилось упоминание о грандиозных ловах княгини Ольги.

...он полюбил хорошенькую Милянку, ключницу и ларечницу Ольги.— Сообщение о Добрыне, *уе* (дяде) князя Владимира и его матери, ключнице Малуше есть в «Повести временных лет» под 970 годом. Перед тем как отправиться в поход на Дунай, Святослав сажает своего старшего сына Ярополка в Киеве, а Олега — у древлян. Свободным остается Новгород. И тогда Добрыня подсказывает новгородцам: «Просите Владимира». «Владимир же был от Малуши — ключницы Ольгиной. Малуша же была сестра Добрыни; отец же им был Малк Любечанин, и приходился Добрыня дядей Владимиру». Существует предположение, что Малуша была не простая рабыня-ключница, а дочь того самого древлянского князя Мала, за которого древляне, убив Игоря, хотели выдать саму Ольгу. Чем и объясняется ее жестокая месть древлянам. Но Ольга не просто сожгла дотла древлянскую столицу Искоростень, «старейшин забрала в плен, а других людей убила, третьих отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань», дочь князя Мала — Малушу она сделала своей ключницей-рабыней. Летописи сохранили упоминания о гневе Ольги на Малку, сосланную в село Будотино, где и родился Владимир. На этих сообщениях и основывается Вельтман, когда пишет: «От Ольги не скрылось, что сын ее преступает заповеди, в гневе своем сослала она Миляну в село

Будотино на покаянье». Вельтман исходит из того, что Ольга, став христианкой, не могла допустить многоженства сына.

С. 362. *Святослав не любил пировать и столовать, как впоследствии пировал сын его...*— Вельтман основывается на былинных описаниях «почестных пиров» князя Владимира Красное Солнышко, противопоставляя ему Святослава.

Говоря о «зазорных женах» Владимира, Вельтман основывается на конкретном описании «Повести временных лет»: «Был же Владимир побежден вожделением, и вот какие были у него жены: Рогнеда, которую поселил на Лыбеди, где ныне находится сельцо Предславино, от нее имел он четырех сыновей: Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода, и двух дочерей; от гречанки имел он Святополка, от чехини — Вышеслава, а еще от одной жены — Святослава и Мстислава, а от болгарыни — Бориса и Глеба, а наложниц было у него триста в Вышгороде, триста в Белгороде и двести на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое». У Вельтмана были основания для противопоставления спартанского образа жизни Святослава «пированиям» его сына.

С. 363. *...оклады на грады русские.*— Дань с Византии установил Олег. В год 907-й, согласно летописи, русские пришли к Царьграду и разбили греков. «И приказал Олег дать воинам своим на две тысячи кораблей по двенадцать гривен за уключину, а затем дань для русских городов: прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для Полотска, для Ростова, для Любеча и для прочих городов: ибо по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу».

...и различные овощи.— Пересказ договора Руси с греками, помещенного в «Повести временных лет».

...и держит его во власти своей.— Под 944 г. «Повесть временных лет» сообщает, что, разгневавшись на предупреждение болгарами византийцев о русском походе, Игорь «повеле печенегам воевать Болгарскую землю, а сам, взяв у греков золото и ткани на всех воинов, возвратился назад к Киеву».

С. 364. *...оставил воеводу Претича охранять Киев.*— Претич упоминается в летописи под 968 годом. Когда Святослав был в Болгарии, Киев осадило бесчисленное множество печенегов. Собрав войско, Претич рассчитывал переправиться через Днепр и спасти из города «княгиню и княжичей». Воодушевив дружину словами: «Если не сделаем этого, погубит нас Святослав», воевода смело двинулся через реку. «Печенегам же показалось, что пришел сам князь и побежали от города врассыпную».

С. 365. *...а узнав Куря, что белый царь поднимается на войну...*— Печенегов, по сообщению летописи, нанимал князь Игорь; «Повесть временных лет» подчеркивает, что в 986 году, в отсутствие Святослава, они впервые пришли войной на Русь.

С. 366. *То не ясен сокол вылетал из гнезда...*— Изменив имя князя Владимира на Святослава, Вельтман вводит в повесть отрывок из былины.

...с кметами и момцами мчались к раду преславскому.— Здесь: сельские старосты с десятскими и подручными (Вельтман использовал современные ему значения слов; в X веке фраза означала бы с воинами и оруженосцами). *Рада* — соборная площадь.

...водя смычком по гусле.— Вельтман и здесь точен в описании: южнорусские гусли — это смычковый струнный инструмент типа

древнерусских *гудков* (скрипок). На русских гуслях звончатых, как на греческих формингах и арфах, на финских кантеле играли перстами.

С. 368. *...за двадцать шесть лет храбрые Болгары...* — То есть в 941 году, когда согласно «Повести временных лет» был отбит набег Игоря на Царьград. Но ни в «Повести временных лет», ни в Новгородской I летописи (использовавшей более древний, чем «Повесть», источник), ни в «Хронике Георгия Амартола», ни в «Краткой Палее», ни, наконец, в обширнейшем рассказе «Жития Василия Нового» нет известий об участии в походе печенегов и о столкновениях русичей с болгарами. Вельтман домыслил этот эпизод, исходя из того, что первый мир Руси с печенегами был заключен уже в 915 году, а болгары могли преследовать проходивших мимо них воинов Игоревых.

С. 373. *Кошулья* — сермяга, нищенская одежда.

Тоболец — сума, мешок.

С. 376. *Челеги* — ловчие птицы.

С. 377. *Огнемир, воевода сторожевого отряда* и первое поражение руссов нужны были Вельтману из художественных, чисто композиционных соображений, так же как и обвинение Сурвусула в убийстве болгарского царя Петра. У Льва Дьякона об этих событиях рассказывается так: «Святослав, собрав ополчение, состоящее из шестидесяти тысяч храбрых воинов, кроме обозных отрядов, отправился против Мисян с Патрикием Калокиром. ..Мисяне, услышав, что он проходит уже мимо Истра и готовится сделать высадку на берег, выступили против него с тридцатью тысячами войска. Тавры быстро сошли с судов, простерли пред собою щиты, извлекли мечи и начали поражать их без всякой пощады. Они (болгары) не выдержали первого сего нападения, обратились в бегство и к стыду своему заперлись в Доростоле (укрепленный город Мисян). Тогда, говорят, предводитель их Петр, человек благочестивый и почтенный, тронутый сим нечаянным бегством, получил паралычный удар и вскоре переселился из сей жизни».

С. 379. *...луницу гривенную.* — Полукруглое драгоценное ожерелье, отличавшееся от гривны тем, что застегивалось на плечах, а не вокруг шеи.

Морана — по предположению Вельтмана, Морана — дух ужаса в древнеславянской мифологии.

С. 380. *Капа* — шапка.

С. 382. *В калугерской одежде* — одеяние пилигрима, калики перехожего русских былин.

...все принадлежности церопластики, или воскования. — В рассказе «Иоланта» (1837), сюжет которого основан на вере в чародейство с помощью церопластики, А. Ф. Вельтман дает в примечании объяснение: «Церопластика — искусство ваяния по воску... В средние века в Западной Европе, вероятно в подражание древним, лики святых делались из воску, бюстами или восковой живописью. Но неизвестно, в какое время явилось чарование... Имея начало свое в язычестве, это мнимое средство порчи и убийства в XII веке было в большом употреблении во Франции. Мщение, чтобы не подвергать себя большим хлопотам и опасностям, делало восковую фигуру, совершенно похожую на врага своего или соперника, и, исполнив над ним все установленные обряды церкви, начинало ее терзать, воображая, что живой человек, изображение которого мучат, чувствует эти муки даже за тридевять земель».

С. 383. *Саян* — здесь: кафтан.

Буздованы (точнее: *буздыганы*) — здесь: палицы.

С. 387. *...столь неожиданно напасть на Преслав.*— В летописных источниках о взятии Святославом Преслава ничего не говорится. В первом Дунайском походе, о котором рассказывает здесь Вельтман, Святослав довольствовался занятием Дунайской Болгарии, и в том числе Переяславца — Малого Преслава на Дунае, по-видимому, без боя. Но во время отлучки в Киев, когда Святослав, согласно летописи, заявил матери: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае — там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли — золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рыба», «провизантийская группировка при дворе нового болгарского царя Бориса одержала верх; Переяславец был осажден и захвачен болгарами. «Повесть временных лет» рассказывает далее, как, вернувшись в 971 году из Киева, «пришел Святослав в Переяславец, и затворились болгары в городе. И вышли болгары на битву против Святослава, и была сеча велика, и стали одолевать болгары. И сказал Святослав своим воинам: «Здесь нам и умереть! Постоим же мужественно, братья и дружина!» И к вечеру одолел Святослав, и взял город приступом, и послал к грекам со словами: «Хочу идти на вас и взять столицу вашу, как и этот город». Последние слова летописца достаточно ясно показывают, что в столкновении с болгарами Русь винила греков. Именно на греков, а не на царя Бориса в Преславе двинул свои войска Святослав.

С. 390. *...разбил комитопула Самуила, собравшего войско, прошел тучей по поморью Болгарии и по Дунаю...*— Речь идет о завоевании Дунайских гирл, когда, согласно летописи, Святослав взял восемьдесят городов. Вскоре после этого Болгария разделилась — Западная Болгария, управлявшаяся комитопулами, заняла антивизантийскую позицию, и Святослав не предпринимал против нее никаких военных действий.

С. 392. *...заплакал плачем Иеремии о Сионе.*— Древнееврейскому пророку Иеремии (VII — начало VI вв. до н. э.) принадлежат вошедшие в Библию проповеди и изречения, а также «Плач Иеремии».

С. 395. *...Чаровник, Коледник, Путник.*— А. Н. Афанасьев приводит перечисление подобных «отреченных» и «отметных» книг, пришедших на Русь вместе с грамотностью именно из Византии: Звездочетцев, Родословий (определение судьбы по дню рождения), Громовников, Волховников, Чаровников. «Сюда же входили Зелейники — описание волшебных и целебных трав; Путники — приметы и предзнаменования о встречах в пути; Трепетники — истолкователи примет, основанных на трепете различных частей человеческого тела («аще верх главы потрепещет, лицо или уши горят, во ухо десное и левое пошумит, длань посвербит» и т. д.» — Поэтические воззрения славян на природу. Т. 3. М., 1869, с. 609—610).

С. 396. *...стал уже станом близ Влахерны.*— Вельтман использует сочинения продолжателя «Хроники Георгия Амартола». Далее в описании унижения Романа он использует тот же первоисточник (см.: Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола. Пг., 1920. Т. I).

С 398. *...Симеон умер именно в тот день и час...*— Описание смерти царя Симеона у Вельтмана, естественно, относится к обла-

сти «романического воображения». В «Хронике Георгия Амартола» (на которую опирается и «Повесть временных лет») смерть Симеона представлена более прозаично: «Симеон ходил на хорватов, и победили его хорваты, и умер, оставив Петра, сына своего, князем над болгарами».

С. 402. *...на хартию* — на пергамент; древнерусские рукописные книги назывались харатейными.

С. 403. *На оболонье* — здесь: под стенами крепости.

С. 404. *Чужой земли ищешь ты, а от своей отчуждался!* — Такой упрек, согласно «Повести временных лет», был действительно брошен Святославу, оставившему Киев на произвол судьбы. «И послали киевляне к Святославу со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли, а свою покинул. А нас чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих? Услышав эти слова, Святослав с дружиною скоро сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал мать свою и детей и сокрушался о том, что случилось с ними от печенегов. И собрал воинов, прогнал печенегов в поле, и наступил мир».

Сс. 404—406. В диалоге Ольги и Святослава Вельтман использует летописные источники, относящиеся к юности князя.

С. 406. *Святослав не мог противиться последнему желанию больной матери...* — Описание Вельтмана основано на рассказе «Повести временных лет»: «Видишь — я больна; куда хочешь уйти от меня?» Ибо она уже разболелась. И продолжала: «Когда похоронишь меня, отправляйся куда захочешь». Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки ее, и все люди». В описании последних дней княгини Ольги домыслена лишь «коварная» роль Добрыни.

Иоанн Цимисхий — византийский император (968—976), прозванный Цимисхием («это армянское слово,— поясняет Лев Дьякон,— в переводе на греческий язык означает «туфелька»; такое прозвище было дано Иоанну, потому что он был малого роста»). Происходил из армянской фемной знати из рода Куркуасов, был стратигом фемы Антоликов. Род Цимисхиев существовал до XII века. Пришел к власти в результате аристократического переворота. Вел активную внешнюю политику на Балканах, в Сирии, жестоко расправляясь с многочисленными восстаниями внутри империи.

С. 407. *...нанять в помощь конницу угорскую...* — Венгры были давними союзниками Руси в войнах с Византией. В 30—40-х годах X века их нападения на греков согласовывались с действиями русских князей; во время первого похода Святослава в Болгарию венгерская конница действовала на Днестре; когда в 968 году отношения Святослава с Константинополем обострились, угры совершили набег на Фессалонику. Святославу первому из русских князей удалось создать настоящий антивизантийский союз: против появившихся во Фракии армий Патрикия Петра и Варда Склира он сумел двинуть два отряда: в первом были русские воины во главе с самим князем. В ожесточенном сражении, описанном русскими летописцами и византийскими историками, они разгромили войска Петра Другой отряд состоял из трех частей: первую составляли болгары и руссы, вторую — венгры, третью — печенеги. О составе и действиях этого отряда сообщали византийские хронисты Лев Дьякон и Скилица, на которых и опирается Вельтман.

...Греки взяли Преслав.— Преслав пал уже после возвращения Святослава в Болгарию. Вельтман, очевидно, стремился снять бремя поражения с непобедимого дотоле князя: поэтому в повести, вопреки историческим фактам, Святослав прибывает в Болгарию к началу обороны Доростола,— и тут же вновь покидает поле битвы, бросившись спасать Райну. Явно вымышленное спасение Райны тем не менее правдоподобно. Подобную ночную вылазку двух тысяч русских воинов действительно отмечают византийские хронисты. Разгромив греков, они вернулись в Доростол. Правда, Райна здесь ни при чем, в осажденном Доростоле начался голод.

С. 408. *Василиса Феофания.*— «Феофана,— сообщает Лев Дьякон,— будучи из незнатного рода, превосходила всех женщин красотою и свежестию своего тела; и потому император Роман сочетался с ней браком». После смерти Романа она с сыновьями Василием и Константином приняла «от Совета и патриарха Полиевкта власть самодержавную». Никифор Фока, захватив с помощью армии престол, решил легализовать захват власти: «Обручился с супругою императора Романа, прекрасною лакедемонянкою, и, после воздержанного образа жизни, получил склонность к мясоядению». «Чрезвычайно плененный ее красотою,— говорит о Никифоре хронист,— он имел к ней чрезвычайную благосклонность». Могучего воина хватило ненадолго: вскоре мы уже видим его предающимся по ночам молитвам и спящим на полу. А прекрасная Феофания вызывает в столицу соратника Никифора — Иоанна Цимисхия, прячет его у себя, впускает ночью в опочивальню императора, отдыхающего «на полу на барсовой коже и красном войлоке». Вырвав Никифору бороду, заговорщики изрубили его и провозгласили императором Иоанна Цимисхия. Но патриарх Полиевкт, «муж святой, престарелый, но пламенный духом», потребовал у Иоанна соблюсти видимость благополучия, казнить заговорщиков и сослать Феофанию. Новый император последовал его совету.

С. 409. *Стратиг* — в Византии. наместник области (фемы), обладающий в ней всей полнотой власти военной и гражданской. Стратиг Феодор — лицо историческое.

...он неожиданно явился из-за высот перед Преславом...— Взятие болгарской столицы было первоочередной задачей Цимисхия: если мы возьмем Преславу, говорил он, то «после того весьма легко преодолеем яростных Россиян». В описании штурма Вельтман опирался на «Историю» Льва Дьякона.

С. 412. *И немедленно велел отправить Бориса с семьей и брата его Романа в Царьград.*— Лев Дьякон сообщает об этих событиях: «Тогда, говорят, Борис, юный государь Мисян... взят был в плен с женою и с двумя малолетними детьми... И приведен к императору, который принял его с честью, называл Государем Болгаров, говоря, что он пришел отомстить Скифам за претерпенные Мисянами обиды». Но здесь же сообщается, что «в сей битве весьма много пало и Мисян, сражавшихся с Римлянами, как виновниками Скифского на них нападения». То есть болгары и русские уже ясно видели своего общего неприятеля — Византию, разжигавшую между ними вражду.

С. 415. *Пласт* — здесь: плащ.

Кула — башня; здесь: укрепленное становище разбойников.

С. 417. *Где твоя ляжет, там и свои сложим!* — Вельтман использует одну из самых известных сцен в «Повести временных лет». Когда воины Святослава вышли на битву и, убоявшася огромного

неприятельского войска, Святослав обратился к ним со словами: «Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые не принимают позора. Если же побежим — позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь». И ответили воины: «Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим». И исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки побежали».

Бой с Святославом нисколько не походил на азиатские игры в войну.— Действительно, в Азии Византия не сталкивалась с серьезной пехотой и самым основным родом войск считалась тяжеловооруженная конница. Скоротечные столкновения кавалерии, в которой одна сторона спасалась бегством, засады и ловушки стали основной тактикой, описанной не только в хрониках, но и в трактате Никифора Фоки «О сшибках с неприятелем». Показательно, что Лев Дьякон, посвятивший свою «Историю» почти исключительно описанию войн, особо подчеркивал стойкость русских воинов. «Как скоро Римские войска сошлись к городу Дористолу,— пишет он,— ...то Тавроскифы, сомкнув щиты и копья наподобие стены ожидали их на месте сражения... Войска сошлись; и началась сильная битва, которая долго с обеих сторон была в равновесии. Россы, приобретшие славу победителей у соседственных народов, почитая ужасным бедствием лишиться оной и быть побежденными, сражались отчаянно». Византийцы отмечают «отважное стремление Россов»; признают, «что сей народ отважен до безумия, храбр, силен»; передают, что «побежденные Тавроскифы никогда живые не сдаются неприятелям». Знаменательны слова, произнесенные, согласно византийским хронистам, Святославом перед сражением под Доростолом: «У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но или жить победителями, или, совершивши знаменитые подвиги, умереть со славою».

Грозен и лют этот муж, презирает золото, а любит острое железо! — Рассказ о посольстве Цимисхия приведен в «Повести временных лет».

С. 422. *Гай* — боевой клич.

С 424. *Святослав приехал на условленное место в ладье...*— Переговоры эти подробно описаны Львом Дьяконом, при этом подчеркивается именно контраст между византийским императором и русским князем. Император «в позлащенном во оружии, на коне приехал к берегу Истра, сопровождаемый великим отрядом всадников, блестящих доспехами. Святослав переезжал через реку в некоторой скифской ладье и, сидя за веслом, греб наравне с прочими без всякого различия».

...на голове хохол, признак великого рода русского, и в ухе серьга, украшенная жемчужинами и рубином, как у благорожденных предков раджей.— Используя известное описание внешности Святослава из «Истории» Льва Дьякона, Вельтман сближает его с древнейшими обычаями индоевропейцев, находя аналогии в древней Индии. Это сравнение Святослава с раджанами он проводит и в третьей главе повести.

С. 428. *Нойон* (ноин) — здесь: ордынский воевода.

С. 429. *Не стало Святослава.*— «Повесть временных лет» так описывает гибель великого князя: «Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился к порогам. И сказал ему воевода отца его Свенельд: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов

печенеги». И не послушал его, и пошел в ладьях. А переяславцы послали к печенегам сказать: «Вот идет мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без числа». Услышав об этом, печенеги заступили пороги. И пришел Святослав к порогам, и нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стало у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову. И тут перезимовал Святослав». И далее, в погодной записи 6480 (972) года. «Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него». В Тверской летописи есть запись XI—XII веков, что «чаша сия и доныне хронима в казнах князей печенежских, пия же из нея князи со княгинею в чертозе, егда поднимаются, глаголюще сице: «каков был сий человек, его же лоб есть, таков буду и родившея от нас».

Свенальд дождался помощи из Киева и возвратился в Русь...— В «Повести временных лет» лишь указано: «Свенельд же пришел в Киев к Ярополку».

С. 430. *И совершилось неслыханное дотоле торжество...*— В «Истории» Льва Дьякона приводится описание триумфа Иоанна Цимисхия: «Он вступил в великий храм божественной Премудрости (имеется в виду царьградская София.— *В. К.*) и, воздав благодарственные молитвы, посвятил Богу первую долю добычи — роскошный мисийский (болгарский.— *В. К.*) венец, а затем последовал в императорский дворец, ввел туда царя мисян Бориса и приказал ему сложить с себя знаки царского достоинства. Они состояли из тиары, отороченной пурпуром, вышитой золотом и жемчугом, а также из багряницы и красных полусапог. Затем он возвел Бориса в сан магистра. Вот каким образом император Иоанн в очень короткое время сверх всяких ожиданий одержал столь великую победу, сломил и поверг ниц своей воинской опытностью, мудрой доблестью и отвагой высокомерное бахвальство росов и подчинил ромеям Мисию». Этот пышный триумф подробно описан и другими византийскими хронистами.

ВОСПОМИНАНИЯ О БЕССАРАБИИ

В 1838 году издатель «Современника» П. А. Плетнев поместил объявление, что отныне журнал, основанный А. С. Пушкиным, будет постоянно публиковать воспоминания и материалы к биографии поэта. А первые публикации появились в «Современнике» уже в 1837 году. Это знаменитое письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину «Последние минуты Пушкина» («Современник», 1837, том V) и не менее знаменитые «Воспоминания о Бессарабии» А. Ф. Вельтмана («Современник», 1837, том VII). «Я никак не отказываюсь даже на коленях принести малую жертву от крох моих тени любимого поэта, но еще не успел ничего сделать доброго и достойного помещения в «Современнике»,— сообщал он М. Н. Погодину вскоре после смерти поэта.

Но публикация в «Современнике» — только часть «Воспоминаний о Бессарабии и Пушкине» (таково первоначальное название), написанных А. Ф. Вельтманом. Полностью же они были опубликованы лишь через полстолетия Л. Н. Майковым в статье «Бессарабские

воспоминания» А. Ф. Вельтмана и его знакомство с Пушкиным» («Русский Вестник», 1893, декабрь), а затем в книге «Л. Н. Майков. Пушкин. Библиографические материалы и историко-литературные опыты» (СПб., 1899). Эта публикация Л. Н. Майкова и легла в основу всех последующих, включая многочисленные переиздания сборника «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», но, как уже говорилось, в сокращенном виде, без «рамы», в которую Вельтман «вставлял» свои воспоминания о Пушкине. В данном случае приводится полный текст «Воспоминаний о Бессарабии» по первой журнальной публикации Л. Н. Майкова 1893 года.

С. 431. *Сия пустынная страна...*— Стихотворное послание А. С. Пушкина Е. А. Баратынскому, сосланному в 1820 году в Финляндию, датируется 1822 годом.

Она Державиным воспета...— Имеется в виду ода Г. Р. Державина «На взятие Измаила» (1790).

Еще доныне тень Назона...— Образ знаменитого римского поэта Публия Овидия Назона (43 до н. э.— ок. 18 н. э.), сосланного в конце жизни и умершего на берегах Дуная,— один из центральных в пушкинской поэзии периода южной ссылки. Стихотворение Пушкина 1821 года «К Овидию» начинается словами: «Овидий, я живу близ тихих берегов, которым изгнанных отеческих богов ты некогда принес и пепел свой оставил...»

О значении Овидия в восприятии Бессарабии достаточно красноречиво свидетельствует дневниковая запись Ф. Н. Лугинина: «Бессарабия, Крым и вся Валахия и Греция принадлежали римлянам. Бессарабия служила ссылкою Рима. Сюда был сослан Овид,— и вообще это колония римлян, которые смешались с природными жителями: молдаванами, валахами, сербами, татарами, что можно заметить из языка молдаванского, который очень похож на итальянский. Римляне для удержания татар построили при императоре Траяне Траянов вал...»

Траянов вал, Овидий, Измаил, Бендеры, Карл XII — все это входило в круг интересов как Пушкина, так и Вельтмана. В воспоминаниях И. П. Липранди есть описание сцены спора между Пушкиным, В. Ф. Раевским с К. А. Охотниковым по поводу статьи П. П. Свиньина в «Сыне Отечества», о месте ссылки Овидия. Пушкин одинаково, как и мы все,— пишет Липранди,— смеялся над П. П. Свиньиным, вообразившим Аккерман местом ссылки Овидия... Словом, я очень хорошо помню, что Раевский и Пушкин, при чтении записок Свиньина, были неистощимы на остроты. Ничто меня не убедит, чтобы Пушкин колебался минуту в убеждении, что Овидий не мог быть сослан в Аккерман; и Александр Сергеевич не мог, наконец, произвольно, голословно отвергать историю, определявшую место ссылки Овидия — в Томи, лежавшем на правом берегу южного рукава Дуная, при устье оного в Черном море».

«Зачем нам знать, где жил изгнанник сей»,— восклицал Вельтман в одном из стихотворений на все эти споры современников, тем не менее именно он сам многие годы искал место ссылки Овидия. Герой «Странника» находит могилу Овидия близ Варны: «Так вот то место, где жил изгнанный из Рима Овидий по неизвестной потомству причине. Вот тот город Томи, где лежал надгробный камень с надписью: «Здесь я лежу, поэт Назон...». В 1866 году Вельтман опубликовал работу «Дон. Место ссылки Овидия», в которой выдвинул новую, весьма фантастическую гипотезу, переместив место ссылки Овидия с Дуная на Дон.

Бессарабия — территория между Днестром, Прутом и низовьями Дуная. По окончании русско-турецкой войны 1806—1812 годов на основании Бухарестского мирного договора часть Молдавии (Бессарабия) вошла в состав России, обеспечив относительные привилегии других Дунайских княжеств Валахии и Молдовы. Согласно «Правилам временного правления Бессарабией» (1813) она находилась на положении особой области, где сохранялись местные обычаи, дела велись на русском и молдавском языках. В 1816 году была утверждена должность полномочного наместника, при котором действовал Верховный совет (из местных и русских дворян) и областной суд. Верховному совету принадлежала вся высшая административная и судебная власть.

... я отправился из Тульчина.— Тульчин — небольшой городок в Подольской губернии, близ реки Буг. Во время службы Вельтмана в Бессарабии там находилась Главная квартира (штаб) Второй армии. Из Тульчина Вельтман выехал в 1818 году в Бессарабию на топографические съемки. После назначения старшим адъютантом и начальником исторического отделения Главной квартиры Второй армии он значительную часть времени находился в Тульчине.

С. 432. *...преддверием «Гетских пустынь».*— Местность между Балканами и Дунаем, где жили племена гетов.

С. 433. *...у князя Меншикова* — «Меншиков Александр Сергеевич, в то время директор канцелярии «начальника Главного штаба, в чине генерал-майора и в звании генерал-адъютанта». *(Прим. Л. Н. Майкова.)*

...до дома наместника.— «В это время бессарабским наместником был один из известнейших генералов александровского времени, Алексей Николаевич Бахметев, состоявший также подольским военным губернатором. Он оставил управление Бессарабией в июне 1820 года». *(Прим. Л. Н. Майкова.)*

...был в митрополии.— «Митрополией назывался в Кишиневе архиерейский дом, ибо первым тамошним архиереем по присоединении Бессарабии к России был Гавриил Банулеско, бывший митрополит киевский; он умер в марте 1821 года, и его заменил его же викарий, епископ бендерский Димитрий Сулима». *(Прим. Л. Н. Майкова.)* Со звоном колоколов митрополии связана строка Пушкина:

Дай, Никита, мне одеться:
В митрополии звонят.

Сохранилось описание митрополии в дневниковой записи Ф. Н. Лугинина 4 июня 1822 года: «Наконец собрался и я сходить к обедне и был в здешней Митрополии, где бывает довольно много.— Видел там Пушкина; был также и полковник наш, которого сегодня и я не узнал в мундире.— Хорошеньких довольно. Служба совершенно наша, но церковь длиною больше похожа на дом; ризы не богаты. После обедни говорил епископ довольно плохую проповедь. .» «Раззевавшись от обедни, к Катакази еду в дом...» — так начинается известное сатирическое стихотворение Пушкина о Кишиневе.

...в доме Тодора Крупенского.— Имеется в виду дом вице-губернатора Кишинева Матвея Егоровича Крупенского. «Из числа замечательных зданий Нового города,— сообщает В. П. Горчаков,— были в то время Митрополия и дома: вице-губернатора Крупенского и члена Верховного правления Варфоломея. В доме Крупенского помещался сам хозяин, казенная палата и театр кочевых немецких

актеров». Тодор Крупенский — брат вице-губернатора, входивший в круг знакомых Вельтмана и Пушкина. О нем упоминает Пушкин в стихах «Раззевавшись от обедни...» и «Тадарашка в вас влюблен».

...наместница, Виктория Степановна Бахметева.— «Рожденная графиня Потоцкая, а по первому мужу — графиня Шаузель-Гуфье» (*Прим. Л. Н. Майкова.*)

С. 434. *В то время Пульхерия Варфоломей была в цвете лет...*— Пульхерия Егоровна Варфоломей (1802—1868) упоминается в стихотворении Вельтмана «На Кишиневский сад», написанном в 1818—1819 годах и получившем широкую известность среди кишиневской молодежи:

И вот Пу .... рия красива,
Прекрасный взор, прелестный стан,
И так умильно молчалива
Венерин, словно, истукан...

В 30-е годы — в «Воспоминаниях о Бессарабии», а в 40-е — рассказах «Илья Ларин», «Два майора» вновь появится образ Пульхерицы.

К «Пульхерице-легконожке» обращался Пушкин в кишиневских стихах и в письмах, ее имя значится в его «донжуанском списке». «Пульхерии Варфоломей объявите за тайну, что я влюблен в нее без памяти»,— напишет он из Одессы в Кишинев Ф. Ф. Вигелю в 1824 году, навсегда покинув Бессарабию. Но вести о Пульхерице он будет получать из Кишинева и позже. «Теперь сцена кишиневская опустела,— сообщит ему в 1826 году ближайший кишиневский друг Н. С. Алексеев.— Все переменилось здесь со времени нашей разлуки: Сандулаки вышла замуж; Соловкина умерла; Пульхерия состарилась и в бедности; Калипсо — в чахотке...» А «состарившейся» Пульхерии не было в ту пору и двадцати пяти лет, но в описанной Вельтманом сцене бала — с императором Александром танцует шестнадцатилетняя Пульхерица. Такой же, «в цвете лет, во всей красе девственности», ее узнал в 1820 году и Пушкин, посвятив ей стихотворение «Дева» (1821):

Я говорил тебе: страшися девы милой!
Я знал: она сердца влечет невольной силой.
Неосторожный друг, я знал: нельзя при ней
Иную замечать, иных искать очей.
Надежду потеряв, забыв измены сладость,
Пылает близ нее задумчивая младость;
Любимцы счастия, наперсники судьбы
Смиренно ей несут влюбленные мольбы;
Но дева гордая их чувства ненавидит
И, очи опустив, не внемлет и не видит.

Кстати, именно в этом пушкинском стихотворении дается ответ на вопрос, который так и не смог разрешить Вельтман, считавший равнодушие Пульхерицы «необъяснимым феноменом природы». Пушкин оказался более прозорлив: «...но дева гордая их чувства ненавидит и, очи опустив, не внемлет и не видит».

Я познакомился с Буджаком, или бывшей татарской частью Бессарабии.— Буджак — Буджакская степь, южная часть Бессарабии, место обитания кочевых народов: во времена Киевской Руси — печенегов, позднее — татар, в XVII—XVIII века — кочевья Белгородской орды. Буджакские татары — ногайцы, кочевавшие в степях Буджáка.

С. 435. *Это-то пространство воспел Мицкевич под названием «Аккерманские степи».*— Имеется в виду сонет Адама Мицкевича (1798—1855) «Аккерманские степи», в которых великий польский поэт писал:

Я выплыл на простор сухого океана;
Возок мой, как ладья, ныряет по волнам
Шумящих буйных трав, минуя там и сям
Уступы островов коралловых бурьяна.

...начинается тот знаменитый вал, который прозван Траяновым путем.— Все писавшие о Бессарабии — Д. Кантемир, Д. Бантыш-Каменский, П. Свиньин — выдвигали новые или оспаривали старые версии о знаменитом Траяновом вале. А. Ф. Вельтман сделал это в 1828 году, опубликовав в «Московском Телеграфе» (№ 4) статью «О древних укреплениях, под названием Траянова вала, существующих в Бессарабии», вошедшую затем в его «Начертание древней истории Бессарабии». Обращаясь к «обманчивым преданиям», он одновременно обследовал этот вал как военный топограф и пришел к неожиданному выводу, «что он построен не Траяном, а, может быть, судя по названию вала, против него народом, который обитал тогда в Бессарабии».

Об отношении Пушкина к Траянову валу свидетельствует И. П. Липранди. «Я показал Пушкину Траянов вал,— рассказывает он о совместной поездке в Бендеры, Аккерман и Измаил,— когда мы проезжали через него: он одинаково со мной не разделял мнения, что это был памятник владычества римлян в этих местах».

По Лактацию...— Луций Целий Фирмиан Лактаций (ок. 250 — ок. 325) — христианский богослов, один из отцов церкви, автор ряда исторических трудов.

...императора Галерия.— Гай Валерий Максимиан (240—310) — римский император. Родом из Дакии. В 293 году при разделе империи получил в управление Дунайские области.

...императора Проба.— Марк Аврелий (232—282) — римский император, прославился как полководец.

Бастарны — Овидий, сосланный на Дунай, называет среди народов, обитавших в Причерноморье, геров, скифов, сарматов, язигов и бастарнов.

...по Ульфиилу, которого язык царствовал в этих местах.— Вульфиил (ок. 311 — ок. 388), вестготский церковный деятель, сын гота и готской военнопленной христианки из Каппадокии. Ок. 341 года возведен в Константинополе в сан «епископа готов». Ок. 348 года, преследуемый вождем готов Атанарихом, переселился со своими приверженцами на Дунай. Считается изобретателем готского алфавита.

С. 436. *Измаил* — с XVI века турецкая крепость на Дунае, считавшаяся неприступной. 11(22) декабря 1790 года взята штурмом русскими войсками под командованием Суворова.

...победу Румянцева над турками.— П. А. Румянцев-Задунайский (1725—1796), русский полководец, генерал-фельдмаршал, во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов одержал ряд блистательных побед. Летом 1770 года трижды в течение месяца разбил превосходящие силы противника при Рябой Могиле.

Дарий — персидский царь из династии Ахеменидов.

С. 437. *Тирас* — колония древних греков в устье Днестра; древнегреческое название Днестра.

«Зачем нам знать, где жил изгнанник сей...»—Стихи А. Ф. Вельтмана. Приводятся в «Воспоминаниях о Бессарабии» и в «Страннике».

С. 438. *Бендеры* — пристань на Днестре, существовавшая уже в начале III в. до н. э. В I в. н. э.— Тигин или Тягин. В XII веке захвачена генуэзцами, построившими цитадель с башнями. В XVI веке захвачена турками, переименовавшими Тигин в Бендереабаси («Я хочу»). По Бухарестскому мирному договору 1812 года в составе Бессарабии Бендеры присоединились к России.

...следы лагеря и канцелярии северного капрала...— Карл XII после поражения в русско-шведской войне под Полтавой (1709) присоединился к туркам, вел с ними переговоры о совместной войне против России. Война окончилась в 1711 году. Карл XII основал шведскую колонию в Бендерах и старался вновь склонить Турцию к военным действиям. Турция требовала ликвидации колонии. Карл XII не согласился и с 50 воинами отбивался от отрядов турок и татар. После падения Бендер Карл XII с воинами засел в доме, но строение загорелось. Карл XII бросился к другому зданию, но споткнулся, упал и был взят в плен.

Не меньший интерес к этим же самым, описанным Вельтманом «следам лагеря и канцелярии северного капрала» проявлял А. С. Пушкин. «Бендеры занимали внимание Пушкина,— свидетельствует И. П. Липранди,— и, конечно, Варница была на первом плане, хотя он и воображал в окрестностях Бендер найти следы могилы Мазепы». Причем Пушкин не только видел лагерь Карла XII, но и услышал рассказ о нем от очевидца, украинского старца Искры, помнившего события столетней давности. Пушкина по вполне понятным причинам больше всего интересовал Мазепа. «Полтава» была написана в 1828 году, но в 1821 году, когда ее автор оказался на месте пленения Карла XII, уже существовал «Мазепа» Байрона. Кстати, заканчивается пушкинская «Полтава» непосредственными впечатлениями самого поэта от поездки в Бендеры в 1821 году.

С. 440. *Монастырь Городище.*—Этот монастырь описан в «Страннике» и в рассказе «Два майора».

С. 441. *Хотин* — в XIII веке укрепленный замок. В XVII—XVIII веках турецкая крепость, игравшая значительную роль в войнах Турции с Польшей и Россией. 11 ноября 1673 года польские войска под командованием гетмана Яна Собеского (1629—1696) разгромили под Хотином 65-тысячную турецкую армию Хусейна-паши.

...победой Владислава...— Польский король Владислав IV Ваза (1595—1648).

С. 443. *Сто Могил.*— В «Страннике» дается такое описание Ста-Могил: «За Костештскими скалами вершина левого берега (р. Прут) верстах в пяти тянется параллельно реке крутым обвалом. От вершины весь скат на несколько верст усеян курганами. Это место называется Сута Можиле (Сто Могил, или Курганов). Неровность места должна бы напоминать сильное землетрясение, страшную битву, но современники их, может быть, несколько уже тысяч лет как лежат под первым слоем земли, не заботясь о том, что иной живой много бы дал иному древнему мертвецу за рассказы о современных ему событиях». Об этих курганах упоминается в рассказе «Костештские скалы».

...о времени смерти Потемкина...— Потемкин Григорий Александрович (1739—1791) — русский государственный и военный деятель, дипломат; фаворит и ближайший помощник императрицы Екатерины II.

...в Валахии возникло уже восстание.— Валашское восстание под предводительством Тодора Владимиреску началось в январе 1821 года. В мае повстанческая армия вступила в Бухарест, но 27 мая в результате заговора, организованного Александром Ипсиланти, Тодор Владимиреску, заподозренный в измене, был убит. Кишинев в начале 20-х годов — как раз во время пребывания там А. Ф. Вельтмана и А. С. Пушкина — стал центром народно-освободительной борьбы Дунайских княжеств. В Кишиневе находились вожди греческого восстания братья Ипсиланти, в Хотине, неподалеку от Кишинева, жила дочь Карагеоргия — легендарного вождя сербского восстания Георгия Черного (ей посвящено пушкинское стихотворение 1820 года). Стихотворением «Война! Подъяты наконец, шумят знамена бранной чести!..» Пушкин приветствовал восстания в Греции и Валахии.

Вельтман описывает эти события в «Воспоминаниях о Бессарабии» (1837) и в повести «Радой» (1839).

С. 444 *...Фанариоты* — буквально: жители Фанара (квартала в Стамбуле, где находилась резиденция греческого патриарха). В Османской империи греческие аристократы на службе у турецкого правительства. Некоторые из них (Ипсиланти) возглавили освободительную борьбу.

С. 445. *...население всей Бессарабии по крайней мере удвоилось.*— Это были беженцы не только из Валахии, Молдовы, Болгарии, Сербии, Греции, спасавшиеся от турецкого ига, но и русские крестьяне, бежавшие от ига крепостного. «Бессарабия и Молдавия ужасно плодородны — жители свободны, отчего здесь пропасть русских, бежавших от господ»,— отмечал в своем дневнике Ф. Н. Лугинин.

С. 447. *Пушкин приехал в Кишинев в то время, как загорелась греческая война...*— А. С. Пушкин прибыл в Кишинев в сентябре 1820 года, за полгода до начала Греческой революции, а уехал в июле 1823 года, то есть почти три года он находился в центре драматичных событий.

...генерал Инзов.— И. П. Инзов, под чей надзор был отдан ссыльный поэт, считался современниками незаконным сыном Павла I. «Происхождение или рождение генерала Инзова,— вспоминал В. Ф. Раевский,— есть *тайна*». Но наместник Бессарабии менее всего подходил для роли «надзирателя» за политическим ссыльным. «Он был,— пишет тот же Раевский,— всегда самый добросовестный человек, мягкосердечный и целомудренный до старости. По доброте его души мы всегда его называли: Инзушко».

С. 448. *...за несколько лет до меня жил Батюшков.*— «Это ошибка; Батюшков никогда не бывал в Кишиневе, но в 1815 году жил в Каменец-Подольском, где стоял под начальством А. Н. Бахметева, который в то время управлял Бессарабией». *(Прим. Л. Н. Майкова.)*

...стихи на Кишиневский вид.— А. Ф. Вельтман вспоминает свое стихотворение «Простите, коль моей нестройной лиры глас...» — сатирический групповой портрет кишиневской знати. Эти стихи Вельтмана пользовались большой популярностью, переписывались и заучивались наизусть, так что ко времени приезда Пушкина за ним действительно закрепилась слава «кишиневского поэта».

С. 449. *...отец Пульхерии.*— Варфоломей Кириллович Кириак Иордаки (1764—1842) — член Верховного совета Бессарабии, генеральный откупщик Бессарабской области, коллежский асессор. В. П. Горчаков вспоминал: «Жил в то время в Кишиневе известный своим гостеприимством Егор Кириллович Варфоломей, который, как говорится, жил открытым домом, был богат или казался богатым, состоял на службе и был членом Верховного совета. Все это, вместе взятое, давало ему право на так называемое положение в свете. Знаем и помним, что гостеприимство Егора Кирилловича и радушие жены его Марьи Дмитриевны постоянно сближало с ним многих. Мы с Пушкиным были постоянными их посетителями». При этом Горчаков не упоминает лишь об одной причине их сближения с домом бессарабского откупщика — о Пульхерице. А причина такого «умолчания» становится ясна из воспоминания Вельтмана: Горчаков был в числе неудачных соискателей сердца Пульхерицы. В рассказе «Илья Ларин» есть такой диалог: «...А помнишь молдаванского бояра, что дом вверх ногами построил, что дочка Пульхеренька — пупочка? где она?» — «Помню; вышла замуж». «Ах, малявочка!.. А помнишь, по ней сходил с ума Владимир Петрович да Пушкин. Помнишь, он стихи ей писал?»

В 1824 году Варфоломей окончательно разорился, был снят со всех должностей и лишился своего великолепного кишиневского дома. Но его дочь Пульхерица в 1835 году все-таки благополучно вышла замуж за греческого консула Константина Мано.

С. 452. *Чаще всего я видал Пушкина у Липранди...*— Существующие воспоминания И. П. Липранди существенно дополняют это сообщение, тем более, что в них упоминается Вельтман. «Все офицеры генерального штаба того времени,— вспоминал Липранди в 1866 году,— составляли как бы одно общество, конечно, с подразделениями, иногда довольно резкими. С одними Пушкин был неразлучен на танцевальных вечерах, с другими любил покутить и поиграть в карты, с иными был просто знаком, встречая их в тех или других местах, но не сближался с ними, как с первыми, по несочувствию их к тем забавам, которые одушевляли первых. Наконец, он умел среди всех отличить А. Ф. Вельтмана, любимого и уважаемого всеми оттенками. Хотя он и не принимал живого участия ни в игре в карты, ни в кутеже и не был страстным охотником до танцевальных вечеров у Варфоломея, но он один из немногих, который мог доставить пищу уму и любознательности Пушкина, а потому беседы с ним были иного рода». На это свидетельство И. П. Липранди, есть, в свою очередь, уточнение В. П. Горчакова (воспоминания кишиневских друзей Пушкина тем и уникальны, что они корректируют друг друга), который добавлял: «...В первоначальный период пребывания Пушкина в Кишиневе Вельтман, по свойственной ему исключительной самобытности, не только не сближался, но даже до некоторой степени избегал сближения с Пушкиным». Сам Вельтман вспоминал о том же — «я боялся не только говорить, но даже быть вместе с Пушкиным».

...известный физик Стойкович.— «На короткое время приезжал Стойкович,— пишет И. П. Липранди,— профессор Харьковского университета; он был серб, но виделся с Пушкиным раза два и очень ему не понравился».

Илья Ларин.— См. рассказ А. Ф. Вельтмана «Илья Ларин».

С. 453. *...осматривают, не заколдовано ли оружие, изготовляют их, а...*— Эта фраза отсутствует в последней публикации «Воспоми-

наний о Бессарабии» А. Ф. Вельтмана («А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. I, М, 1985. С. 294).

С. 455. *...изгнанные илоты.*— Илоты — земледельцы древней Спарты. В публикации «Воспоминаний о Бессарабии» («А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. I. М., 1985. С. 296) допущена досадная ошибка: вместо «илоты» напечатано «плоты», что в контексте выглядит нелепицей: «...изгнанные плоты, там не столь милы, как в поэме Пушкина».

С. 456. *Он важен, важен, очень важен...*— Стихи А. Ф. Вельтмана из «Странника».

С. 457. *...что-нибудь из «Янка».*—Молдавская сказка А. Ф. Вельтмана «Янко Чабан». Два отрывка из нее включены в «Странник».

С. 458. *Я непременно буду писать о «Страннике»,— сказал он мне.*— В библиотеке А. С. Пушкина сохранились вторая и третья части «Странника» с надписью автора: «Александру Сергеевичу Пушкину Вельтман». Без ведома Пушкина в «Литературной газете» (1831, № 30) была опубликована отрицательная рецензия на повести Вельтмана «Беглец» и «Странник». «Я сейчас увидел в «Литературной газете»,— писал об этой публикации Пушкин П. В. Нащокину,— разбор Вельтмана, очень не благосклонный и несправедливый. Чтоб не подумал он, что я тут как-нибудь вмешался. Дело в том, что и я виноват: поленился исполнить обещанное. Не написал сам разбора; но некогда было». Это письмо датировано 1 июня 1831 года, а чуть раньше, 8 мая 1831 года, он писал Е. М. Хитрово: «Посылаю вам, сударыня, «Странника», которого вы у меня просили. В этой немного вычурной болтовне чувствуется настоящий талант. Самое замечательное, что автору уже 35 лет, а это его первое произведение».

КОСТЕШТСКИЕ СКАЛЫ

Рассказ впервые напечатан в «Одесском альманахе на 1840 год» и вошел в сборник «Повести» (1843). Описывая жизнь офицеров-топографов, занятых полевыми съемками в Бессарабии, Вельтман основывается на собственных воспоминаниях. В рассказе действуют его ближайшие кишиневские товарищи, в том числе и сам Вельтман — Светов (*Welt* — мир, свет, *Mann* — человек). Фантанов — это Фантон де Веррайон; Рацкий — Полторацкий, а Лугин — Лугинин. Все они — воспитанники Муравьевского училища для колонновожатых в Москве, отличавшегося, по свидетельству современников, «широтой диапазона культурных интересов, высоким культом товарищества». Муравьевское училище не без оснований считалось «как бы вывескою вольнодумства, какого-то антиправительственного настроения». Не случайно среди декабристов было 24 его воспитанника.

Все офицеры-топографы, описанные Вельтманом, входили в круг знакомых Пушкина. Таков прапорщик-топограф Федор Николаевич Лугинин (1805—1884), сохранившиеся дневниковые записи которого — ценнейший документ эпохи. Запись от 18 июня 1822 года сообщает о приезде в Кишинев Фантона де Веррайона: «...Приехал Фантон, которого я не видел уже с год... Очень обрадовался, и почти целое утро провели в спросах и расспросах. В Кишинев приехал также Вельтман, который был у меня после обеда... В Фантоне нашел я перемену... Он уже много знает по-молдавански. Следуя примеру его, купил я грамматику и буду учиться... После обеда

он пошел к доктору, а я, написав журнал, отправился в сад, где нашел и Фантона. Было ветрено, играла музыка. Ходили, разговаривали, смеялись часу до 9-го, в который пошел я к Симфераки... Пушкин, Катаржи и я пошли потанцевали не более двух часов только мазурку и вальсы, после чего я распрощался со всеми, ибо еду завтра,— танцевали мы под фортепиано. Катаржи едет нынче же в Бендеры. Пришед домой, я с час еще читал с Фантоном комедию «Не любо, не слушай» вслух».

Эта дневниковая запись Ф. Н. Лугинина свидетельствует о широте интересов молодых офицеров: они не только развлекаются, танцуют, дерутся на рапирах («Под фортепиано танцевали мазурку, экосез, кадриль и вальсы, и было очень весело — потом дрался я с Пушкиным на рапирах и получил от него удар очень сильный в грудь»,— записывает он 12 июня 1822 года), но и изучают молдавский язык, читают друг другу вслух литературные произведения. Интерес к Молдавии сохранился у них и в дальнейшем. Вельтман, как известно, напишет историю Бессарабии, а Фантон де Веррайон в 1836 году поместит ряд статей о Бессарабии в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара, позднее, в 1857—1862 годах, он вновь окажется в Кишиневе, но уже не в качестве офицера-топографа, а губернатора края.

В рассказе «Костештские скалы» тоже описывается не только веселое времяпрепровождение молодых офицеров, не менее важен в нем интерес к истории, археологии, народным преданиям. Офицеры едут к знаменитым Костештским скалам, спорят об их происхождении. В рассказ введена солдатская сказка о Костештских скалах и кургане Сто Могил. По сути это этнографический рассказ, вставленный в романтическую «раму».

Текст публикуется по изданию: Вельтман А. Ф. Повести и рассказы. М., 1979.

С. 460. *Пионер* — сапер.

С. 463. *В сюрах* — в козырях.

С. 464. *...по имени Драку.*— Имя *Драку* носит в Бессарабии черт в память о воеводе Дракуле, известном своей жестокостью и бесчеловечностью.

С. 465. *Шлык* — островерхая шапочка.

С. 469. *Осташов (Осташков)* — селение недалеко от Москвы, где проходили полевую практику учащиеся Московского учебного заведения для колонновожатых под руководством генерала Н. М. Муравьева.

Джок (жок) — молдавский танец.

С. 469—470. *Армидин сад* — волшебные сады героини поэмы итальянского поэта Т. Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим» Армиды, увлекшей в эти сады Ринальдо.

С. 471. *Планшеты* — приспособления, на которых закреплялись во время топографической съемки местности карты, чертежные листы.

Хотин — в описываемое время городок-крепость на севере Бессарабии. Там производилась обработка материалов топографических съемок.

ИЛЬЯ ЛАРИН

Впервые — газета «Московский городской листок» (1847, № 8). Об отставном унтер-цейгвартере (армейский чин, ведающий нижним бельем у солдат) Вельтман подробно рассказывает в «Воспомина-

ниях о Бессарабии» (1837), Илья Ларин — действующее лицо в романе «Счастье — несчастье» (1863), но в рассказе «Илья Ларин» описывается встреча с ним не в Кишиневе, а в Москве через двадцать с лишним лет после кишиневских событий.

Текст печатается по первой публикации.

С. 472. *...на повороте с Кузнецкого моста к Голицынской галерее.*— Имеются в виду знаменитые Голицынские палаты, построенные в 1684—1687 гг. в Охотном ряду и бывшие наряду с Троекуровыми палатами одним из выдающихся памятников древнерусского зодчества XVI века.

...сандального цвета.— Сандал — дерево, употребляемое для изготовления краски, обычно красной. Насандалиться, насандалить нос — напиться пьяным.

...отвислыми брылями.— Брыла — губа.

С. 473. *...а Владимир Петрович?* — Владимир Петрович Горчаков (1800—1867) — воспитанник Муравьевского училища, один из ближайших приятелей Пушкина и Вельтмана по Кишиневу.

...Иван Петрович.— Иван Петрович Липранди (1790—1880). В воспоминаниях самого Липранди упоминается и Илья Ларин: «Помню очень хорошо, между Пушкиным и В. Ф. Раевским, горячий спор (как между ними другого и быть не могло) по поводу «режь меня, жги меня»; но не могу положительно сказать, кто из них утверждал, что «жги» принадлежит русской песне, и что вместо «режь» слово «говори» имеет в пытке то же значение, и что спор этот порешил отставной фейерверкер Ларин (оригинал, отлично переданный А. Ф. Вельтманом), который обыкновено жил у меня. Не понимая, в чем дело, и уже довольно попробовавший за ужином полынкового, потянул он эту песню — «Ой жги, говори, рукавички барановые». Эти последние слова превратили спор в хохот и обыкновенные с Лариным проказы». В рассказе Вельтмана «Илья Ларин» на вопрос: «Где теперь наш Иван Петрович?» — следует ответ: «Скоро сюда будет». Вельтман, Горчаков и Липранди сохраняли дружеские отношения, скрепленные именем Пушкина, всю жизнь, хотя в описанные 40-е годы многие из них, в том числе и Липранди, изменились. Если в 1822 году Пушкин рекомендовал Вяземскому Липранди словами: «Он мой добрый приятель и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством и сам не любит его», то в 40-е годы Липранди был уже любим правительством. Более того, став генералом, чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел, он приобрел зловещую репутацию мастера политического сыска. Сведения подосланного им агента Антонелли сыграли решающую роль в деле петрашевцев.

С. 474. *Свайка* — русская народная игра, состоящая в метании большого толстого гвоздя в лежащее на земле кольцо.

С. 477. *Однажды в Кишиневе, у г. О<рлова>...*— Генерал-майор Михаил Федорович Орлов (1788—1842) — герой Отечественной войны 1812 года, принимавший капитуляцию Парижа, деятельный член тайных обществ. Во время пребывания Пушкина и Вельтмана в Кишиневе он, будучи командиром 16-й пехотной дивизии, стоял во главе местного отделения Союза Благоденствия. В Кишиневе Орлов на собственные деньги открыл школу взаимного обучения для солдат, занятия в которой В. Ф. Раевский и К. А Охотников превратили в школу революционной пропаганды. После ареста В. Ф. Раевского в 1822 году Орлов был отстранен от командования диви-

зией. Пушкин знал Орлова еще по «Арзамасу», а потому в Кишиневе сразу же оказался в числе постоянных посетителей его дома, участником жарких политических споров.

...арнаут Георгий.— Об арнауте (албанце) Георгии, убившем Зоицу, Вельтман подробно рассказывает в «Воспоминаниях о Бессарабии». Интересно, что с этим арнаутом Георгием был знаком и Пушкин, у него он проверял точность своих записей болгарских исторических песен. «Александр Сергеевич,— сообщал И. П. Липранди,— имел перевод этих песен; он приносил их ко мне с тем, чтобы поверить со слов моего арнаута Георгия».

С. 479. *...под заглавием «Нащокинский дом».*— Этот рассказ Вельтман написал и опубликовал в 1850 году, только под несколько измененным названием «Не дом, а игрушечка». Среди действующих лиц этого рассказа — П. В. Нащокин и А. С. Пушкин, читающий свое стихотворение «Веселый пир».

С. 482. *...по ней сходил с ума Владимир Петрович да Пушкин.*— Подробнее об этом в примечаниях к «Воспоминаниям о Бессарабии».

...дуэль у него была с егерьским полковником, на Малине! — Об истории дуэли Пушкина с полковником С. Н. Старовым подробно рассказывается в воспоминаниях В. П. Горчакова и И. П. Липранди.

...да в стену из пистолета попукивает...— Описания подобной сцены есть в «Воспоминаниях о Бессарабии». Но И. П. Ипсиланти замечал: «Старов был вовсе не мастер стрелять, Пушкин, хотя иногда и упражнялся, но, лучше сказать, шалил, а потому оба, конечно, поспешат сойтися, и тогда последствия будут ужасны».

ДВА МАЙОРА

Впервые рассказ опубликован в 1848 году в журнале «Москвитянин» (№ 1), и в нем речь идет о том же семействе Варфоломей, о той же Пульхерице, но уже после разорения. Перед нами—грустный конец всей истории некогда знатного семейства и воспетой Пушкиным красавицы Пульхерицы. Правда, при этом нельзя забывать, что это художественное произведение: Вельтман доводит до завершения развитие образа Пульхерицы, созданного его воображением. Реальная Пульхерия Егоровна Варфоломей, как уже говорилось выше, вышла в 1835 году замуж за греческого консула Константина Мано.

С. 485. *...упивались только кнастером.*— Knaster (нем.) — сорт табака.

С. 487. *Темляк* — тесьма с кистью при шпаге, сабле. Серебряный темляк — знак офицерского чина.

С. 493. *...музыка у нас своя.*— Описывая один из танцевальных вечеров у Варфоломея, В. П. Горчаков отмечал: «Кстати заметить, что на всех подобных вечерах музыку выполняли домашние музыканты Варфоломея. Его музыканты из цыган отличались от других подобных музыкантов как искусством в игре, так и пением. В промежутках между танцами они пели, аккомпанируя себе на скрипках, кобзах и тростянках, которые Пушкин по справедливости называл цевницами. И действительно, устройство этих тростянок походило на цевницы, какие мы привыкли встречать в живописи и ваянии, переносящих нас ко временам древности».

С. 494. *Беллерофон.*— Древнегреческий миф о Беллерофоне и Химере использован Вельтманом в повести «Райна, королевна Болгарская».

С. 500. *...про стихи на Кишиневский сад.*— Имеются в виду стихи самого Вельтмана. Подробнее в комментариях к «Воспоминаниям о Бессарабии».

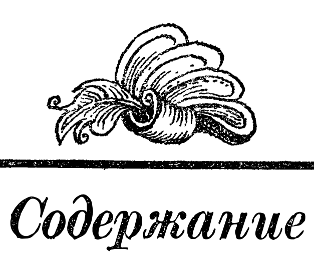
С. 507. *Бонмотист* — остряк.

С. 510. *...в шестеро больше кратера, посвященного Павсанием, сыном Кломврота, Посейдону при устье Понта.*— Вельтман использует описание Геродота: «...В этой местности стоит медный сосуд, величиной, пожалуй, в шесть раз больше сосуда, для смешения вина (кратéра.— *В. К.*), который Павсаний, сын Кломврота, велел посвятить богам и поставить у входа в Понт» (Геродот. История. М., 1972, с. 208).

С. 512. *...свихнуться с похвей (пахвей).*— Похва — ремень от седла, в который продевается хвост лошади. В переносном смысле — свихнуться с толку, с ладу, сойти с ума.

С. 523. *...красный ментик, голубой доломан.*— Доломан — гусарский мундир, расшитый шнурами, на который накидывался ментик (короткая куртка, опушенная мехом).

С. 525. *...пародия на Душеньку и Амура.*— Имеется в виду стихотворная повесть «Душенька» И. Ф. Богдановича (1743—1803).



Содержание

Вельтман А. Ф.

В 28 Избранное / Сост., вступ. ст. В. И. Калугина; Прим. В. И. Калугина и А. Б. Иванова; Ил. и оф. А. Л. Костина, Н. М. Костиной.— М.: Правда, 1989.— 560 с., ил.

А. Ф. Вельтман (1800—1870) — русский писатель, пользовавшийся широкой известностью в пушкинские времена. В сборник включены его произведения 1840-х гг. Впервые на суд современного читателя выносится роман-сказка «Новый Емеля, или Превращения». Историческая повесть «Райна, королевна Болгарская» рассказывает о походе князя Святослава в Болгарию. «Воспоминания о Бессарабии» и сюжетно связанный с ними ряд произведений («Илья Ларин», «Два майора» и др.) относятся ко времени южной ссылки А. С Пушкина.

В $\frac{4702010100-1854}{080(02)-89}$ 1854—89 84 Р 1

Литературно-художественное издание

ВЕЛЬТМАН
Александр Фомич

ИЗБРАННОЕ

Составитель
Калугин Виктор Ильич

Редактор
Е. М. Кострова

Художественный редактор
Т. Н. Костерина

Технический редактор
В. С. Пашкова

ИБ 1854

Сдано в набор 29.09.88. Подписано к печати 26.06.89.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 29,82. Усл. кр.-отт. 31,92. Уч.-изд. л. 33,14.
Тираж 200 000 экз. (2-й завод: 100 001 — 200 000).
Заказ № 4131. Цена 2 р. 90 к.

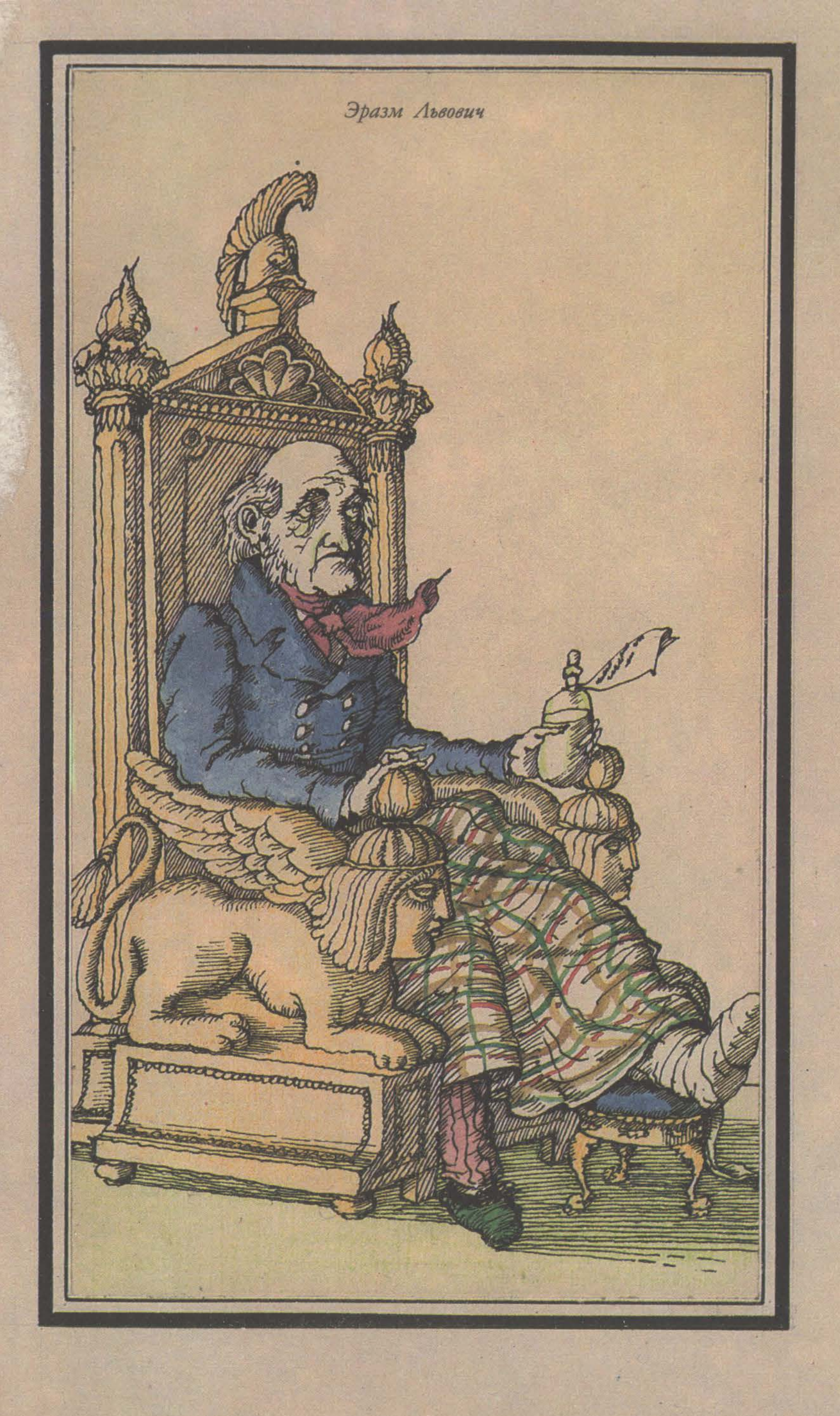
Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.
Отпечатано в типографии «Курская правда»,
305007, г. Курск, ул. Энгельса, 109.



НОВЫЙ ЕМЕЛЯ



Фекла Савишна
и Степанида Ивановна



Эразм Львович


Семирамида
и Емельян Герасимович



Воян, сын Симеона

РАЙНА, КОРОЛЕВНА БОЛГАРСКАЯ



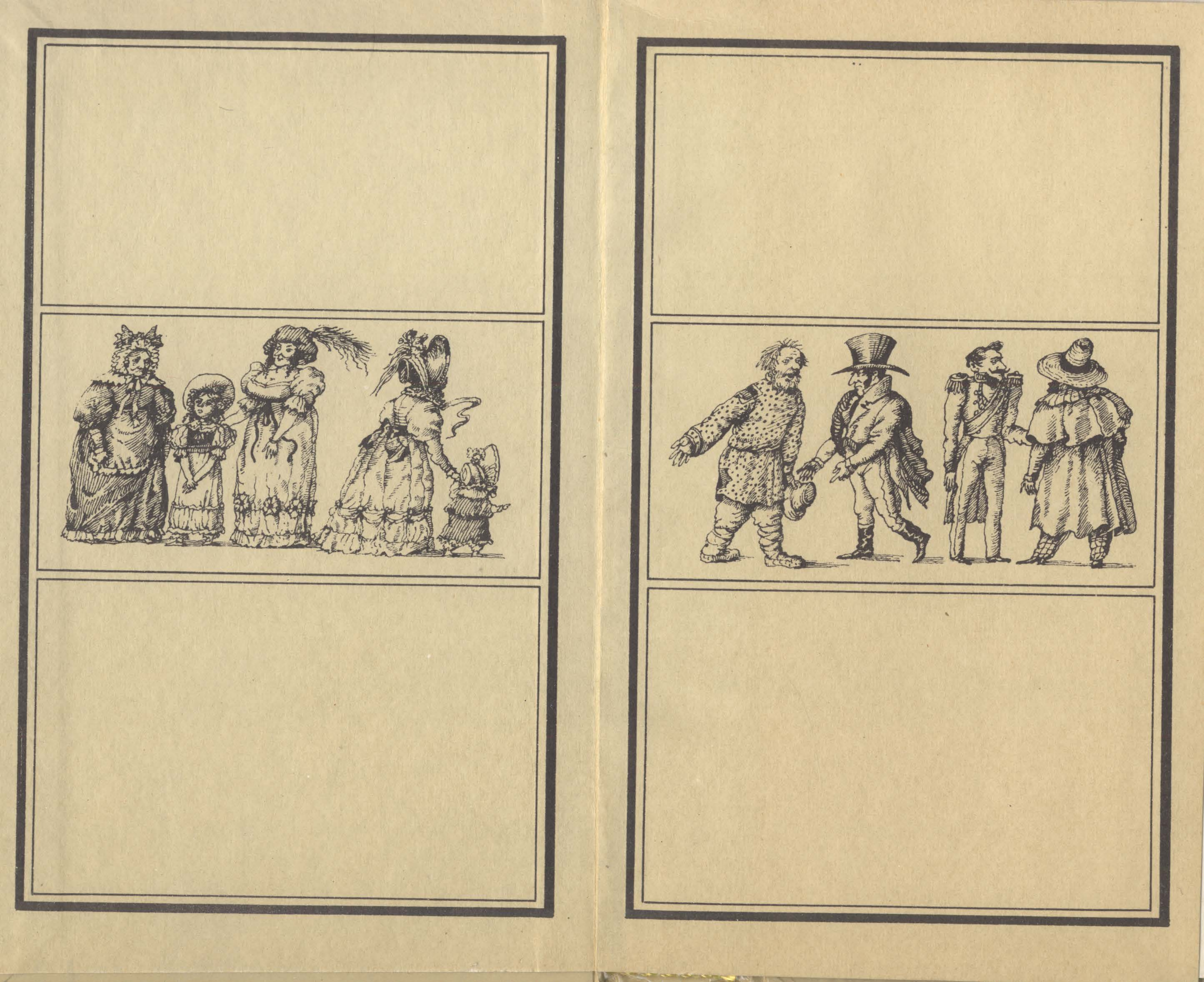
Император Иоанн Цимисхий и князь Святослав



ИЛЬЯ ЛАРИН



ДВА МАЙОРА



2 р. 90 к.